

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

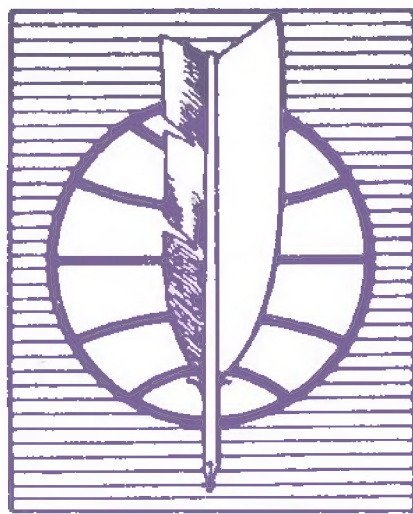


Н. В. ГОГОЛЬ

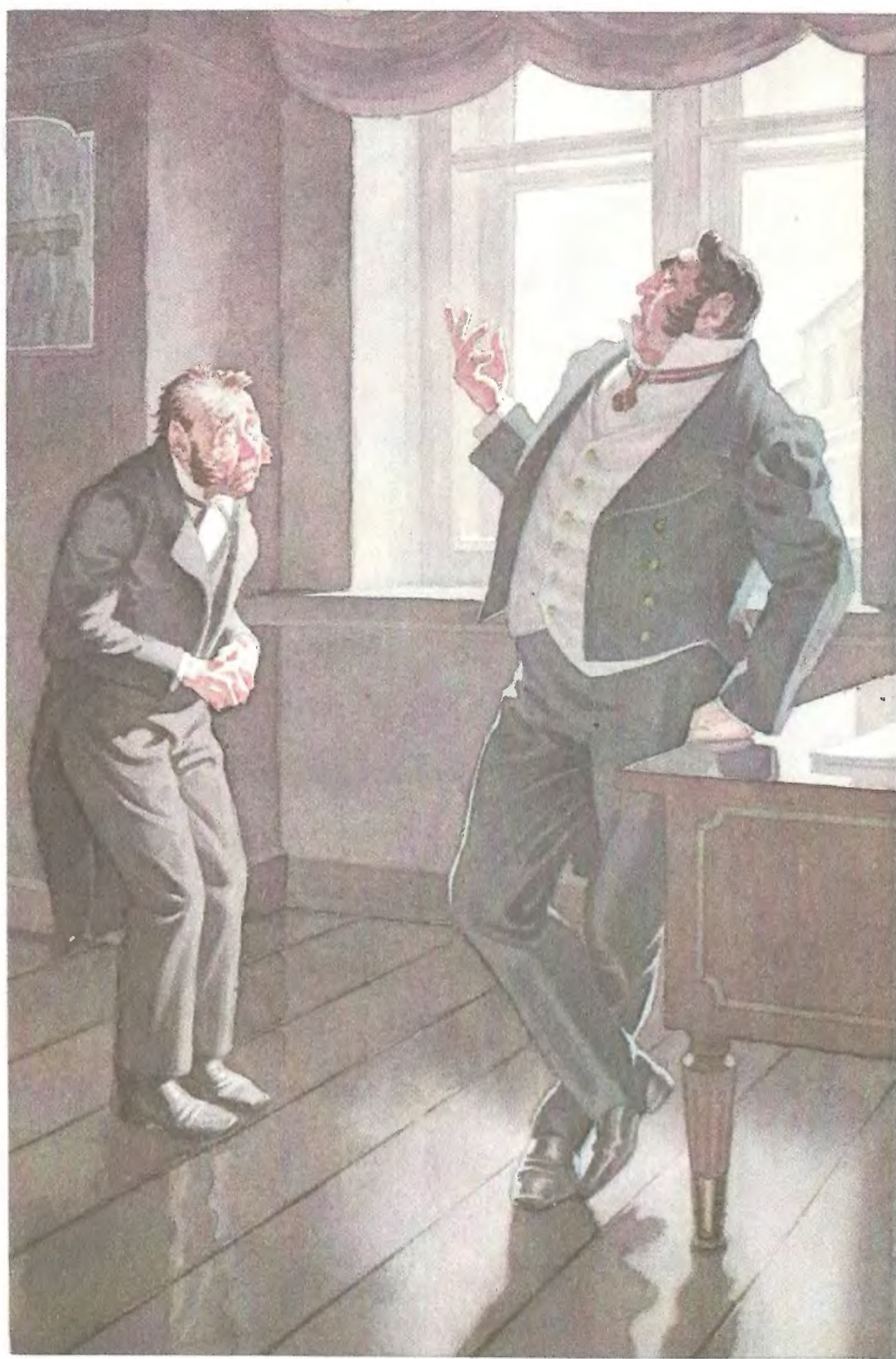
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



Scan Kreyder - 17.06.2015
STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



Н. В. Г О Г О Л Ъ

Р Е В И З О Р

М Е Р Т В Ы Е Д У Ш И

Ш И Н Е Л Ъ



М. Е. С А Л Т Ы К О В - Щ Е Д Р И Н

Г о с п о д а Г о л о в л е в ы

С к а з к и



МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1982

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.	Думбадзе Н. В.	Мустай Карим
Алексин А. Г.	Коржев Г. М.	Новожилова Э. Г.
Барабаш Ю. Я.	Леонов Л. М.	Пешеходова Г. К.
Благой Д. Д.	Лихачев Д. С.	Прилежаева М. П.
Верейский О. Г.	Ломунов К. Н.	Свиридов Н. В.
Виноградов А. А.	Марков Г. М.	Столетов В. Н.
Гамзатов Расул	Межелайтис Э. Б.	Стукалин Б. И.
Гончар Олесь	Миршакар Мирсаид	Танк Максим
Дехтерев Б. А.	Михалков С. В.	Шолохов М. А.
	Мотяшов И. П.	

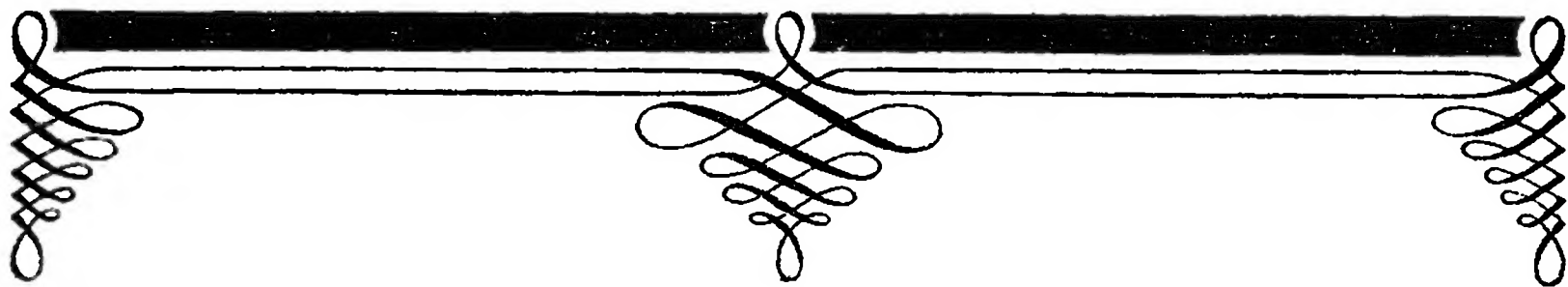
*

*Вступительная статья,
составление и комментарии*
К. И. ТЮНЬКИНА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома
Л. И. ФАЛИНА

Г 4803010101—088 Подп. изд.
М101(03)82



ВЕРШИНЫ РУССКОЙ САТИРЫ

Отрицание смехом, *осмеяние* — один из самых древних, исконных способов выражения неприятия действительности: ее темных, уродливых, страшных сторон. В древности родилась и литературная форма такого осмеяния, получившая уже тогда наименование *сатиры*.

Объект сатиры — порок и уродство, подлежащие отрицанию, ниспровержению, «бичеванию».

О муза пламенной сатиры! —

восклицал Пушкин.—

Приди на мой призывный клич!

Не нужно мне гремющей лиры,

Вручи мне Ювеналов¹ бич!

.

О, сколько лиц бесстыдно-бледных,

О, сколько лбов широко-медных

Готовы от меня принять

Неизгладимую печать!

Но не всякий порок сто́ит того, чтобы обрушивать на него «Ювеналов бич» подлинной, истинно высокой сатиры — сатиры

¹ Ю в е н а л — римский поэт-сатирик I—II веков нашей эры, периода упадка и разложения Римского государства.

Рабле и Свифта, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Такая сатира бичует порок, разъедающий самые основы жизни.

Это понимали и сами великие сатирики. Говоря о русской сатирической поэзии (в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»), Гоголь особо выделил две «истинно общественные комедии» — «Недоросль» Фонвизина и «Горе от ума» Грибоедова. «В них,— писал Гоголь,— уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребления внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей». «Наши комики,— продолжал дальше Гоголь, имея в виду Фонвизина и Грибоедова,— двинулись общественной причиной, а не собственной, восстали не против одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги».

«Раны и болезни общества», пороки, уродства и злоупотребления, свидетельствующие об «уклонении общества от прямой дороги», — вот что «бичует» истинно высокая — общественная — сатира. Такая сатира кладет свою «неизгладимую печать» на «бесстыдно-бледные лица» и «широко-медные лбы» тех, кто олицетворяет собою, кто ответствен за уродливый общественный порядок.

Белинский справедливо связал «громадное явление» Пушкина с пробуждением русского общественного самосознания после и в итоге всенародного подъема в годы Отечественной войны 1812 года.

«Громадное явление» Гоголя свидетельствовало о дальнейшем всемерном углублении национального самосознания. Благодаря Пушкину и Гоголю, благодаря своей великой литературе, в ее ясном и нелицеприятном зеркале увидело русское общество истину своего бытия, свое подлинное лицо.

В письме к Гоголю, написанном в 1847 году, Белинский назвал его «великим писателем, который своими дивно художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале...».

И недаром Гоголь предпослал своей комедии «Ревизор» в качестве эпиграфа русскую пословицу: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Он сам видел в своем творчестве «зеркало», отразившее страшное, «кривое» лицо действительности.

Однако, когда мы говорим о художнике и его творчестве как «зеркале», мы прекрасно понимаем, что это зеркало особого рода, что слово «зеркало» употребляется в этом случае в особом, переносном смысле. Сам Гоголь сказал как-то о Пушкине (речь шла о «Капитанской дочке»): «...всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее». Правда гоголевского, да и вся-

кого истинного творчества — это не только «самая правда» действительности, но и великая правда ее художественного воспроизведения, глубокое постижение того, что скрыто от глаз поверхностного или пристрастного наблюдателя, это боль и скорбь при виде страданий, это беспощадный смех, безжалостная насмешка над тем или теми, кто является причиной страданий...

Подводя итоги многочисленным суждениям о комедии «Ревизор» (эти суждения он сам обобщил в своеобразном, по форме драматическом, произведении «Театральный разъезд после представления новой комедии»), Гоголь писал: «...мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе... Это честное, благородное лицо был — смех... Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно, и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей, — но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе...»

Эти суждения Гоголя о роли смеха в его комедии определили то новое, что принесла с собою гоголевская, *реалистическая* сатира. Смех в гоголевской сатире приобрел особую роль, еще недоступную смеху в комедии догоголевской. Гоголевский смех сделал лишним, ненужным положительного, «добродетельного» героя, так называемого «героя-резонера», играющего роль рупора авторских идей, противостоящего всем своим высокоморальным обликом отрицаемому миру порока.

Гоголевская сатира принесла и другое, огромной значимости новшество. Через много десятилетий, отвечая на вопрос: «Что такое порок как объект сатиры?» (цикл «Круглый год»), Салтыков-Щедрин заметил: «Мне кажется, что моралисты слишком суживают границы порока, чересчур уж тщательно определяют внешние его признаки. Вследствие этого порок представляется чем-то окаменелым, не только не имеющим никакой притягательной силы, но даже прямо отталкивающим». Гоголь, пожалуй, первым из русских сатириков отказался от представления об «окаменелости» порока, его неизменяемости и отталкивающей ясности.

...Гоголь, воспитанный на лоне украинской природы, украинской народной поэзии, начал свой творческий путь на рубеже тридцатых годов прошлого века с романтического воспевания естественной, природной красоты, народного богатырства, героической истории народа, боровшегося за национальное освобождение... Но тем более он уже тогда был потрясен обыденностью, пошлостью окружавших его с детства Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей, пошлостью всего «старосветского», застоявшегося, безыдеального бытия заштатного Миргорода.

Но гоголевский Миргород еще замкнут в своем отдельном, самостоятельном, даже несколько экзотическом существовании, еще не включает общезначимого политического содержания. Есть в Миргороде какая-то поэзия, что-то милое и безобидно-поэтическое. Впрочем, и он вызывает горькое восклицание, которым заканчивается «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Скучно на этом свете, господа!»

Ничего поэтического, ничего положительного нет в том мертво-призрачном, но вместе с тем предельно реальном «сборном городе» (по словам самого Гоголя), образ которого вырастает в комедии «Ревизор» в символ российского самодержавного государства, его политической системы, ставшей бытом, определившей не только служебные, но и человеческие отношения — всю систему нравственных ценностей.

Эти отношения не случайны — это целый определившийся и очень стройный порядок, в котором каждому уготовано свое место. Попечитель богоугодных заведений Артемий Филиппович Земляника так определяет этот порядок: «благоустроенное государство», «благоустроенное общество».

Все то, что происходит в городе, которым «командует» городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, подчинено этому привычному, сложившемуся порядку, столп коего, вершина городской иерархической пирамиды — сам Антон Антонович.

Все главные участники разыгрывающейся на наших глазах комедии — чиновники. Каждый из них, исполняя ту или иную должность (смотритель училищ, судья, попечитель богоугодных заведений, почтмейстер), наделен еще и чином в соответствии с «табелью о рангах». Каждый стоит на определенной ступеньке иерархической лестницы. «У нас прежде всего нужно объявить чин», — писал Гоголь, начиная повесть о «вечном титулярном советнике» Акакии Акакиевиче Башмачкине («Шинель»). Правда, в «Ревизоре» чины уездных «деятелей» называются не сразу, но все же без того, чтобы «объявить чин», обойтись было никак невозможно. Каждый из чиновников «объявляет» свой чин сам, представляясь «генералу» — генералу, конечно, штатскому, носящему, по табели о рангах, чин не ниже

действительного статского советника (чин IV класса), — лицу значительному, выше их стоящему. А то, что петербургский ревизор не мог быть никем иным, кроме как генералом, — в этом для них нет никаких сомнений. Из этих представлений мы узнаем, что судья Ляпкин-Тяпкин — коллежский ассессор (чин VIII класса), почтмейстер Шпекин и попечитель богоугодных заведений Земляника — надворные советники (чин VII класса), смотритель училищ Хлопов — титулярный советник (чин IX класса). Все это чины не очень уж важные. А ведь, иронически размышлял Гоголь, знакомя читателей с другим своим героем, Павлом Ивановичем Чичиковым: «Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник¹. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием».

Так отношения человеческие — дружеские, семейные и прочие — не только определяются, но часто и заменяются отношениями служебными, отношениями «по чину». Характеры мельчают, «дробятся», по выражению Гоголя, искажаются или стираются, теряют свои собственные индивидуально-психологические черты — в зависимости от общественно-служебного положения.

Излюбленной темой мировой поэзии, мировой литературы всегда была тема любви, любовного чувства, отношений «любящих сердец». Это и понятно: ведь любовь чувство истинно человеческое — всечеловеческое, всеобщее. Но с искажением, «дроблением» человеческих характеров искажаются, мельчают, затмеваются иными интересами и человеческие чувства.

Разумея, конечно, свою комедию «Ревизор», Гоголь в «Театральном разъезде» поручил одному из персонажей, «второму любителю искусств», высказать следующую важную мысль: «Да, если принимать завязку в том смысле, как ее обыкновенно принимают, то есть в смысле любовной интриги, так ее точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит взглянуть пристально вокруг. Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить во что бы то ни стало другого, отмстить за пренебрежение, за насмешку.

¹ По табели о рангах — чин VI класса. — К. Т

Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?»

Если раньше, думает Гоголь, сюжет драмы двигало «электричество» любви, то теперь в гораздо большей степени такой движущей силой становится «электричество» чина, «электричество» денежных выгод.

Социальная драма (или ее жанровая разновидность — «общественная комедия», по собственному определению Гоголя) уже не может «завязываться» любовными отношениями, или если они, эти отношения, и входят в ее состав, то всецело лишаются своего человеческого смысла, а потому вместо трагических — и трагедийных — становятся комическими — и комедийными. Любовь, как и все человеческое, профанируется.

Кроме того, продолжает в «Театральном разъезде» «любитель искусств», обыкновенно «ищут частной завязки и не хотят видеть общей», то есть такой, которая определяется главной идеей, мыслью пьесы: «... комедия должна вязаться сама собой, всей своей массой, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, — коснуться того, что волнует более или менее всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пьесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело».

Что же касается частной завязки — «завязать может все: самый ужас, страх ожидания, гроза идущего вдали закона...». Это уже прямо о «Ревизоре», о частной завязке этой «общественной комедии».

Итак, «машина», которой предстоит пережить «потрясение» в гоголевской комедии, — это тот «порядок», который сложился, который управляет всей жизнью уездного городка. Основу его, как сказано, составляет чиновничья иерархия. Но к ней не сводится картина городского социального бытия. «Машина» его сложнее. Колесами этой машины оказываются и неслужащие «городские помещики», и купечество, и мещане, и низшие полицейские чины. Здесь, в сущности, представлена вся социально-политическая структура Российского государства, за исключением «податного сословия», то есть крепостного крестьянства. И гоголевская комедия действительно «вяжется» всей этой массой, ни одно колесико «машины» не остается без потрясения.

Социальная «машина» города до постигшего ее потрясения существует как некий «порядок», который всем винтикам и колесикам ее представляется «благоустройством» чуть ли не божественным. Ведь грехи и грешки — они тоже от бога: по словам городничего, «нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим богом устроено, и волтерианцы

напрасно против этого говорят». Грехи эти, соответственно «порядку», тоже, так сказать, распределяются по чинам: то, что позволено городничему, отнюдь не положено нижнему полицейскому чину, какому-нибудь квартальному надзирателю. «Что ты сделал с купцом Черняевым — а? — распекает Сквозник-Дмухановский своего квартального. — Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берешь!» (Из жалобы купца Абдулина «генералу» Хлестакову мы впоследствии узнаем, что именно так, «по чину», поступал сам Антон Антонович: «Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконцо: снеси-ка его ко мне». Ну, и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят».)

Жаловавшемуся на него купцу городничий очень резонно, в соответствии все с той же логикой, господствовавшей в «благоустроенном обществе», напоминает: «Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это?»

Никто не свободен от грехов, так не следует ли относиться к грехам — как своим, так и чужим — вполне снисходительно, то есть именно так, как относится к грешкам своих собратий-чиновников городничий — чиновник, олицетворяющий и осуществляющий в городе высшую полицейскую власть, власть закона! — так, как он относится и к своим прегрешениям, отнюдь не мелким. Ведь среди них — грабеж казны (пусть не прямой, пусть посредством дельцов вроде купца Абдулина), казны того самого «благоустроенного» Российского государства, блюсти интересы которого он обязан. Представление городничего о государственной службе, о законе, с точки зрения истинно общественной, — глубоко безнравственно. И то и другое, по его прочно укоренившемуся убеждению, служит (или должно служить) его личным интересам, а отнюдь не интересам общественным и государственным (таково же, впрочем, убеждение и всех других чиновников).

Неотъемлемую часть общественного механизма, представленного в «Ревизоре», составляет взятка. Она даже приобретает характер некоего ритуала, обряда.

Чиновники, например, ждут выхода «его превосходительства» Ивана Александровича Хлестакова:

«А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. А что именно?

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Ну, известно что.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Подсунуть?

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Ну да, хоть и подсунуть.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Опасно, черт возьми! раскрывается: государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?

П о ч т м е й с т е р. Или же: «вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие».

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше. Слушайте: эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того... как там следует — чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается!»

Итак, в «благоустроенном государстве» можно и под суд попасть за грехи, и в Сибирь («куды-нибудь подальше») отправиться, но можно в то же время вполне благополучно обделывать свои делишки, зная и помня, однако, как следует их в «благоустроенном государстве» обделывать.

И хотя общественное благоустройство, как обмолвился городничий, «самим богом устроено», и хотя оно, это благоустройство, лицами, прибывающими «по именному повелению», то есть по повелению самого царя, контролируется, тем не менее все оно в самодержавном государстве зиждется на произволе.

Именно произвол, неизвестность рождают страх. Ведь совсем неизвестно, чего от лица начальствующего и действующего, хотя и по именному повелению, но в конечном счете по личному своему произволению, можно ожидать — то ли казнит, то ли помилует, то ли в Сибирь сошлет, то ли сплутовать, казну ограбить поможет...

Страх ожидания чего-то неизвестного, «гроза идущего вдали закона», гроза, исходящая из какой-то неведомой тучи, от какого-то начальствующего лица, имеющего право «грозить» уже по своему положению, в соответствии со своим чином, — этот страх и «завязывает» гоголевскую комедию.

«Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул», — признается смотритель училищ Лука Лукич Хлопов.

Но боится не только титулярный советник Хлопов (чин совсем незначительный, такой же, как и у Акакия Акакиевича Башмачкина, героя повести «Шинель»).

Боится сам городничий (заметим, что его чин Гоголем нигде не назван, может быть, умышленно: ведь городничий в комедии — вершина и символ власти как таковой, власти вообще; впрочем, так как городничий мечтает о генеральстве, ясно, что генеральского чина он не выслужил, да в уездном городке выслужить и не мог; вот Петербург — столица империи, там — другое дело,

гам можно стать и генералом, особенно если находишься в родстве с самим «его превосходительством»!).

Бойтся городничий, конечно, возмездия за содеянное, за те «грехи», которые, он знает, не укладываются в рамки закона — не того, так сказать, естественного «закона», в соответствии с которым течет благословенная жизнь уездного города, а того безусловного и абстрактного Закона, носителем и воплощением которого является высшая власть, а карающим орудием — ревизоры, которые, как снег на голову, могут нагрянуть из Петербурга «по именному повелению».

Но городничий, обманувший трех губернаторов (то есть начальников губернии, административной единицы, в состав которой входил уезд), уверен, что обманет и петербургского ревизора, только бы узнать, «что он такое и в какой мере нужно его опасаться». И потому не столько возмездие его страшит, сколько неясность, таинственность, произвольность этого возмездия, этого «проклятого инкогнито».

Если б не было «проклятого инкогнито», этого: «зачем же в самом деле к нам ревизор?» — городничий знал бы, как ему поступить.

И вдруг непонятное начинает разъясняться: два городских бездельника и сплетника — «городские помещики» Бобчинский и Добчинский обнаруживают этого самого «инкогнито». Живет, дескать, в гостинице, все высматривает и вынюхивает и, главное, денег не платит (значит, право имеет!). Наступает облегчающая ясность, в особенности после того, как деньги взаймы (взятку, конечно) принял. Все приходит в норму, возвращается к обычному — вполне понятному — порядку. И «ревизор» не без греха — это же, как известно, «самим богом устроено». Нарушенное равновесие восстанавливается (в особенности тогда, когда «ревизор» начинает «брать по чину» — как «государственный человек»).

Тем не менее «потрясение» не проходит, только приобретает другой характер и смысл. Действие восходит к кульминации, к идейному и художественному центру комедии — так называемой «сцене вранья» Хлестакова.

Обман, ложь с самого начала играют в комедии роль сюжетного «электричества» — движущую, возбуждающую, толкающую действие. Уже образ «инкогнито» есть, так сказать, очищенный от всяких примесей образ лжи, обмана, неправды. Кажется парадоксальным: чтобы узнать правду, надо лгать, надо прикинуться не тем, что ты есть, каким-то «инкогнито». Границы, очертания этого «инкогнито» неопределенны, оно, в сущности, бессодержательно. И чиновничьему воображению предстоит наполнить этот абстракто-бессодержательный образ определенным, конкретным содержанием. Естественно, что чиновники создают образ

«ревизора» (тоже ведь чиновника) по собственному образу и подобию, только придавая ему размеры колоссальные, создают в своем испуганном воображении мифическое, фантастическое лицо. И Хлестаков всячески им в этом содействует, ибо тот, если можно так сказать, «образ самого себя», «самообраз», который он преподносит потрясенным чиновникам, есть, в конце концов, тот же образ Чиновника вообще, но только предельно гиперболизированный. В сущности, Хлестаков даже и не лжет. Ему, «несколько приглуповатому», по определению Гоголя, удалось обмануть «очень неглупого по-своему» городничего, которого еще никому не удавалось обмануть, удалось именно потому, что Хлестаков и не думал обманывать. Его ложь бессознательна и бесцельна.

Между тем городничий в своем поведении по отношению к мнимому ревизору исходит из «презумпции», из предположения о преднамеренном обмане (инкогнито!), и сам начинает вести ту же игру, что, как он уверен, ведет Хлестаков. Именно поэтому городничий реагирует на явное, видимое поведение Хлестакова обратно действительному смыслу этого поведения. Когда Хлестаков говорит правду, городничему она представляется ложью («врет, врет — нигде не оборвется»), и наоборот, пьяное хвастовство Хлестакова он принимает за истину, по принципу: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

Однако, если вдуматься в пьяные разглагольствования Хлестакова, они, как сказано, в сущности, и не являются ложью.

Много позже, размышляя о природе сатирического творчества, М. Е. Салтыков-Щедрин высказал глубокую мысль, объясняющую смысл реалистической сатиры вообще. Он писал в одном из очерков цикла «Помпадуры и помпадурши»:

«Литературному исследованию подлежат не те только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает. Развяжите человеку руки, дайте ему свободу высказать всю свою мысль — и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условностями, с необычайною яркостью вызовет наружу свойства, остававшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное определение человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той другой действительности, которая любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению. Без этого разоблачения невозможно воспроизведение всего человека, невозможен правдивый суд над

ним. Необходимо коснуться всех готовностей, которые кроются в нем, и испытать, насколько живуче в нем стремление совершать такие поступки, от которых он, в обыденной жизни, поневоле отказывается. Вы скажете: какое нам дело до того, волею или неволею воздерживается известный субъект от известных действий; для нас достаточно и того, что он не совершает их... Но берегитесь! Сегодня он действительно воздерживается, но завтра обстоятельства поблагоприятствуют ему, и он непременно совершит все, что когда-нибудь лелеяла тайная его мысль. И совершит тем с большею беспощадностью, чем больший гнет сдавливал это думанное и лелеянное».

Хвастовство Хлестакова и есть сатирическое разоблачение той, другой действительности, которая прячется за обыденным фактом. Чинопочитание и чиновобязнь обратной своей стороной имеют то, что можно было бы назвать «чиноманией», скрытой манией величия. «Амбиция» маленького, угнетенного и забитого человека, маленького чиновника — его желания, мечты, идеалы — в крайней своей степени может стать безумием, которое, например, поразило героя гоголевских «Записок сумасшедшего» Поприщина, вдруг открывшего, что в Испании есть король: «Этот король я!»

Не подобная ли внезапно вырвавшаяся наружу амбиция сквозит в безудержном вранье Хлестакова, который видит себя уже не только управляющим департаментом, но и главнокомандующим. Хлестаков в своей бессознательной и бесцельной лжи, в сущности, предельно обнаженно, откровенно высказал правду — нравственно-психологическую правду чиновничьего характера и вместе с тем правду чиновничьей иерархии бюрократического Петербурга. Это, конечно, и правда самого городничего, потому так жестоко и обманувшегося. Ведь и его вожделенные мечтания сродни мечтаниям Хлестакова, хотя он и не залетает так высоко: «Ведь почему хочется быть генералом? потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь». Взыграла и его, городничего, чиновничья амбиция!

Такая психология, такая мораль, разумеется, ненормальны, это — болезнь, патология — болезнь, конечно, не физиологическая, а общественная. Герцен и заметил по этому поводу: «Никто и никогда до него (Гоголя) не написал такого полного курса патологической анатомии русского чиновника. Смеясь, он безжалостно проникает в самые сокровенные уголки этой нечистой, зловредной души».

Гоголь был глубоко прав, когда писал о смехе как положительном начале сатиры. Реалистическая сатира действительно не нуж-

дается в «благородном», «добродетельном» герое. Но такой сатире отнюдь не чуждо стремление пробудить в своем, для нее специфическом, весьма неблагоприятном герое чувство стыда и совести (конечно, это чувство может быть очень различным, колебаться в очень широких пределах).

Подлинное возмездие, которое настигает отрицательного героя сатиры, — это карающая сила смеха. Зритель смеется над чиновниками «сборного города» во все продолжение комедии, ибо зритель знает то, чего не знают сами чиновники, — что все они, и в первую голову городничий, жестоко обманулись; зритель видит, как автор, изображая самообман городничего и всей чиновничьей камарильи, безжалостно анатомирует зловерные чиновничьи души.

Но сатирическое возмездие тем сильнее, если герой сатиры способен осознать, что он осмеян и почему он осмеян, если он способен прозреть, то есть в какой-то мере взять на себя ту роль, которая в старой, догоголевской комедии предназначалась «добродетельному» герою, какому-нибудь Милону или Правдину. Такое прозрение лишь увеличивает силу сатиры, ибо снимает с героя долю личной ответственности за содеянное и возлагает ответственность на «благоустроенное общество», в котором — «с волками жить, по-волчьи выть».

Обманутый городничий смешон — и он это понял, он вдруг увидел вокруг себя «свиные рыла вместо лиц», он бросает этим «свиным рылам», которые находятся не только на сцене, но и в зрительном зале: «Чему смеетесь — над собой смеетесь!» Смех — возмездие не только городничему, но всему тому общественно-политическому укладу, который его создал.

Ревизора в уездном городе, изображенном в комедии Гоголя, ждали и опасались. Чичикова, главного героя «Мертвых душ», никто не ждал, и его появление в губернском городе поначалу прошло совершенно незамеченным: лишь два русских мужика высказали известные глубокомысленные соображения относительно колеса чичиковской брички да некий молодой человек оборотился на экипаж, в котором прибыл Чичиков, и пошел своею дорогой. Между тем Чичикову суждено было произвести потрясение всей «машины» в гоголевской поэме-эпопее отнюдь не меньшее, чем то, которое произвел мнимый ревизор в «машине» гоголевской комедии.

Уездный город «Ревизора» символичен. Это предельное, крайнее художественное обобщение русской государственной системы, системы власти, с одной стороны, и «нечистой, зловерной» психологии русского чиновника — с другой. Образ уездного города в комедии освобожден от всяких подробностей, мелочей, деталей, посторонних этому его символическому значению. Для такого образа самой подходящей, самой соответственной формой

была форма драматическая. Мысль Гоголя в «Ревизоре» до предела обнажена: она подчинена задаче показать уклонение общества от прямого пути. И задача эта решается на сравнительно узком художественном пространстве — в рамках уездного города, представляющего тем не менее все Российское государство.

Конечно, эта мысль не покидает Гоголя, и в поэме «Мертвые души» эта задача остается. Но здесь замысел шире и в то же время конкретнее, объемнее. Гоголь пишет Жуковскому 12 ноября 1836 года, работая над «Мертвыми душами»: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем!» Соответственно этому замыслу расширяется и «художественное пространство» — теперь уже не драматического, а эпического произведения.

Действие разворачивается на более высоком уровне — не в уездном, а в губернском городе. Местоположение его более определено: «город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц». Это уже не уездное захолустье, вотчина городничего Сквозник-Дмухановского.

Статичность, неподвижность, ограниченность художественного пространства «Ревизора» сменяется подвижностью, динамичностью, открытостью пространства «Мертвых душ». Ключевым образом поэмы становится образ дороги — образ несущейся тройки. Все действие «Ревизора» сосредоточено в одном моменте, в одной общей картине. Действие «Мертвых душ» — это смена разнообразных картин, открывающихся по мере движения чичиковской брички. Необходимой частью художественной панорамы русской жизни становится здесь Россия деревенская — и не только, и даже, может быть, не столько, Россия помещичья, сколько Россия крестьянская, — на страницы художественного произведения, пожалуй, впервые вышел крепостной русский мужик, «податное сословие», «ревизская душа». Впервые с такой зоркостью и остротой, с такой болью и такой мучительной и горькой иронией была представлена тягчайшая из российских общественных язв — язва крепостничества.

На первый взгляд такое утверждение может показаться странным. Где же в «Мертвых душах» живые «ревизские души»? Крепостные дворовые люди Чичикова Селифан и Петрушка? Или бестолковые дядя Митяй и дядя Миняй? Или босоногая девчонка помещицы Коробочки, не знающая, где право, где лево? Или, наконец, безличная и в этой своей безличности загадочная крестьянская масса, присутствие которой мы все время ощущаем, так сказать, за спиной Манилова, Ноздрева, Собакевича? Конечно, все они — и постоянно сопутствующие Чичикову Селифан и Петрушка, и как бы случайно появляющиеся эпизодические фигуры, начиная с двух «русских мужиков»,

рассуждающих о чичиковском колесе, и мужики Собакевича, столь непочтительно отозвавшиеся о Плюшкине, и т. д., и т. д., — все они, вместе взятые, являют собой пусть еще не полный, как бы составленный из лоскутков, собирательный образ русского крепостного мужика, постоянно маячащего где-то на заднем плане гоголевской картины деревенской России. Но однажды этот мужик и прямо «врывается» на страницы «Мертвых душ» — в той своеобразной и вдохновенной «поэме о мужике», которая вдруг складывается в голове Чичикова, размышляющего по поводу купленных им «мертвых душ». «Казалось, как будто мужики еще вчера были живы», «работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар...».

Но образ русского крепостного крестьянина создается в «Мертвых душах» и другим путем, если можно так сказать, — от противного. Вдумаемся в прямой смысл понятия «мертвые души». В Толковом словаре В. И. Даля, зафиксировавшем словоупотребление первой половины XIX века, можно прочесть: «Говоря *душа* в знач. человека, разумеют иногда людей обоего пола, либо только мужеского, *душу ревизскую*, что собственно означает человека податного состояния».

«Ревизской душой» «человек податного состояния», то есть в настоящем случае крепостной русский мужик, назывался потому, что был внесен в особые списки — так называемую «ревизскую сказку» — перечень крестьян, принадлежащих помещику. «Ревизские сказки» составлялись очень редко, один раз в несколько десятилетий, и «ревизские души», внесенные в них, даже в случае их смерти, ставши «мертвыми душами», продолжали там числиться как бы существующими, живыми. Это доставляло помещику массу хлопот прежде всего потому, что надо было за эти «мертвые души» вносить подушную подать.

Сделавши аферу Чичикова по купле-продаже «ревизских душ» сюжетным стержнем повествования, показавши — главное — всю неприглядную механику, весь привычный цинизм такой купли-продажи, Гоголь поистине вложил пальцы в болезненную, незаживающую рану, разбередил самую страшную язву социального бытия самодержавной России — крепостное право, закабаление крестьян помещиком, превращение человека в вещь. И понятно, почему петербургская цензура потребовала изменить название поэмы, на первый план вынести «похождения Чичикова», а уж потом упомянуть о «мертвых душах» (первый том поэмы вышел в 1842 году из печати под заглавием «Похождения Чичикова, или Мертвые души»).

Художественная ситуация гоголевской поэмы абсурдна и фантастична, но она извлечена из самой русской действительности.

Крепостное право, превращая человека в объект купли-

продажи, в сущности, ставило крепостного крестьянина вне закона, вне «гражданских установлений». Крепостной крестьянин, человек-вещь, оказывался мертв перед законом, защищавшим интересы помещика-крепостника, но отнюдь не интересы закрепощенного крестьянина.

Такой — мертвый перед лицом закона — крепостной всецело зависел от произвола своего господина. «Негоция», то есть торговая операция, Чичикова показывает всю абсурдность и бесчеловечность «гражданских установлений», позволяющих осуществлять подобные «негоции».

В самом деле, покупки Чичикова, как сам он говорит Манилову, вполне правомерны «относительно законной формы», ни в чем не противоречат «гражданским установлениям» и даже совершаются будто бы на пользу отечества.

Формально Чичиков покупает «ревизские души», которые, «относительно законной формы», не только не умерли, но благополучно существуют. С этой точки зрения нет ничего странного в рассуждениях Собакевича, расхваливающего свой товар. Манилов не вникает в ту игру, что ведет Чичиков, и потому быстро и вполне успокаивается, когда Чичиков заверил его в законности сделки. Собакевич же, этот человек-кулак, сразу улавливает смысл «негоции» и принимает правила игры. Игра же эта предполагает, что продаются-покупаются «ревизские души», а тот факт, что эти души мертвые, из условий негоции исключается. Потому он и предлагает Чичикову сыскать такого дурака, который бы «продал по двугривенному ревизскую душу». Ведь признание того факта, что души эти, по словам Чичикова, «давно уже умерли», превращает сделку в нечто весьма сомнительное, как говорит Собакевич — «не всегда позволительное». Собакевич даже упрекает Чичикова: «Право, у вас душа человеческая все равно что пареная репа».

Тем не менее продаются-покупаются именно «мертвые души», то есть крестьяне умершие и похороненные. «Дубиноголовая» Коробочка так прямо дело и понимает. «Нешто хочешь ты их откапывать из земли?» — спрашивает она нашего героя. Но кости и могилы Чичикову вовсе не нужны. Ему потребны именно «ревизские души», но отнюдь не реальные, а, как он деликатно выражается, «несуществующие», точнее сказать существующие на бумаге, бумажные — продукт, порождение российского общественно-государственного бюрократического механизма.

Аферой Чичикова вскрывается и это противоречие: между реальной действительностью и «законной формой» («Я желаю иметь мертвых... не живых в действительности, но живых относительно законной формы»), противоречие между жизнью движущейся, меняющейся и «бумагой» — плоским, неподвижным

отражением жизни, противоречие, характерное для бюрократического механизма, подменяющего живую жизнь мертвой формой. На этом противоречии зиждется, на этом, в сущности, пустом месте, на «прахе» вырастает и цветет «идея» Чичикова.

Между тем «мертвые души», этот «прах», это бумажное существование-несуществование — реальный факт русской чиновничье-крепостнической действительности.

Трезво продуманная затея Чичикова становится чем-то уже прямо фантастическим, превращается в действие, граничащее с чертовщиной, с продажей душ человеческих черту. Чичиков пугает Коробочку: «...мертвые души дело не от мира сего. Тут вы, с своей стороны, никакого не прилагали старания, на то была воля божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству». Получается, что Чичиков, покупая души человеческие подобно дьяволу, исправляет эту божескую несправедливость, это попущение божие. И недаром, наверное, перед появлением Чичикова Коробочке приснился «окаянный»: «Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих». Так быт, обыденность (продажа сала, пеньки, меда) не только граничат, но прямо переходят в фантастику (продажа душ человеческих). Конечно, здесь нет никакой мистики, ничего потустороннего. Гоголь, великий художник-сатирик, с помощью такого фантастического гротеска заставляет нас тревожно задуматься о том, что же стоит за этим абсурдом покупки человеческих душ, что же такое в самом деле душа человеческая, чего она стоит и можно ли эту стоимость выразить в рублях и копейках?

Душа человеческая — с этим понятием мы привыкли связывать некое духовное, нравственное начало, видеть проявление души в жизни и борьбе чувств, в движении мысли, в способности к страданию и состраданию. Религиозное сознание даже наделяет душу человеческую бессмертием. Найдём ли мы такую душу у гоголевских героев?

Крепостничество омертвляло крестьянские души, лишало подневольного мужика человеческого облика, духовной жизни. Идиотизм деревенского существования под игом крепостной неволи накладывал на мужицкую душу свою тяжелую, неизгладимую печать. Но крепостничество делало мертвыми и дворянские, помещичьи души. «Мертвые души», — записал в дневнике Герцен, прочитавши первый том гоголевской поэмы. — Это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и *tutti quanti* (все им подобные) — вот мертвые души...»

Для обозначения жизненного интереса, каким не может не быть одержим всякий живой человек, Гоголь употребил очень характерное и точное слово — «задор». В чем же состоит задор

гоголевских героев, в каком же задоре, в каком интересе находят удовлетворение их души, в чем, следственно, заключен смысл их человеческого существования?

У Манилова, как оказывается, вовсе нет никакого задора, если не считать задором беспрестанного курения трубки и складывания пепла аккуратными кучками да пустого сентиментального мечтательства.

Задор Коробочки — ее мелкое, почти натуральное хозяйство.

Задор «исторического человека» Ноздрева — в самой этой суетливой бессмысленной задорливости, впутывающей его в одну «историю» за другой.

У «медведя», «кулака» Собакевича весь душевный задор сосредоточился в фантастическом, нечеловеческом насыщении: «Толкуют, просвещение, просвещение, а это просвещение — фук!.. У меня не так. У меня когда свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как *душа требует*» (подчеркнуто мною. — К. Т.).

Скопидомский задор Плюшкина приобрел, если можно так сказать, отрицательный характер: он сам, своими руками разрушал то, что когда-то имел, что когда-то создал. И потому Плюшкин — поистине «прореха на человечестве».

Итак, от полного отсутствия какого-либо задора, какой-либо человеческой страсти — к страсти разрушительной, к распаду, к «праху» нравственному и физическому. Поистине, как с болью спрашивает Герцен: «Где интересы общие, живые, в которых живут все вокруг нас дышащие мертвые души?»

Равнодушие, безразличие Манилова к судьбе собственного хозяйства и принадлежащих ему «ревизских душ»; скопидомство мелкой помещицы Коробочки, боящейся продешевить на новом для нее товаре; скаредность «кулака» Собакевича, сразу же разгадавшего «непозволительность» предлагаемой ему сделки и потому твердо стоящего на том, что продает именно «ревизскую душу»; легкомыслие Ноздрева; бессмысленная и вредящая ему самому скупость Плюшкина — что все это, как не омертвление «живущих» и «дышащих» душ, нравственный их распад, что это вместе с тем, как не упадок крепостного помещичьего хозяйства, его полная бесперспективность?

Таким образом, для чичиковской аферы плодородной растительной почвой, благоприятной средой оказывается особый характер функционирования чиновничье-бюрократического механизма — застойная, заскорузлая вторичность этого механизма по отношению к реальной, подвижной, развивающейся жизни. Жизнь шла своим чередом, а механизм вращался, стараясь сковать жизненное содержание мертвой бумажной «формой».

Естественно, что функционирование, деятельность этого меха-

низма власти сосредоточены в городе. Многим отличается губернский город «Мертвых душ» от уездного города «Ревизора». Его облик выступает перед нашими глазами рельефнее, видимее — в многочисленных деталях повседневного быта, со своими улицами, гостиницей, присутственными местами, дворянскими особнячками и домом губернатора. «Автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем», — замечает Гоголь. Действительно, с замечательной обстоятельностью в мелочах и деталях представлен быт города N. Однако в содержании повседневной жизни этих двух гоголевских городов мало отличного. Их объединяет общее свойство — некий своеобразно-«семейственный» характер как отправления функций власти, так и вообще всех чиновничьих отношений. Такое же «благоустройство», что и в городе, которым командует Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, царствует и в городе, находящемся под началом губернатора, вышивающего по тюлю. Все чиновники, так сказать, притерлись друг к другу, и, если бы не неожиданные, приходящие извне потрясения, благолепие и благоустройство, там, наверное, ничем бы не пресеклись. «Все было очень семейственно». Блюститель законности и порядка, символ этого семейственного благоустройства — полицеймейстер «был некоторым образом отец и благодетель в городе». Даже купечество было им премного довольно: «хоть онó и возьмет, но уж зато никак тебя не выдаст». И хотя в городе был свой «вольнодумец», «вдавшийся» в философию почтмейстер, тем не менее все чиновники «были люди надежные — чахоточного между ними никого не было». Ничего «чахоточного» и неблагонадежного не было и в Чичикове. Потому чиновники столь радушно и принимают его в свою семью. И потому так просто и «семейственно» обделывает Чичиков в городе свои делишки по покупке мертвых душ. Даже дамы города — и «просто приятные», и «приятные во всех отношениях» — готовы открыть свои объятия такому «прелестнику».

Особую нежность вся чиновничья семья почувствовала к достойнейшему и приятнейшему Павлу Ивановичу, когда прошел слух, что он к тому же еще и миллионщик. Впрочем, это было не столько нежное расположение к чичиковской персоне, сколько, как пишет Гоголь, «нежное расположение к подлости».

Но на этот раз, в отличие от ситуации «Ревизора», источником подлости явилось уже не магическое «электричество» чина, а электричество, магнетизм «денежного капитала» — миллиона. В самом деле, чтобы купить четыреста душ, нужны были немалые деньги: вспомним, что, как говорит один из гоголевских персонажей, «душа ревизская идет ныне в пятистах рублях» (мы-то знаем, впрочем, что Чичикову мертвые души почти ничего не стоили).

Кульминации, высшей точки этот апофеоз, этот триумф мил-

лионщика и прелестника достигает на балу у губернатора, где своим появлением «распространил он радость и веселье необыкновенное». Особенно довольны, почти счастливы были дамы, которые стали находить в его лице «что-то даже марсовское и военное». И все было бы хорошо, если бы не ложные шаги, которые сделал Чичиков: их роковые последствия обнаружились тут же, на балу.

Слабость, совсем не приличную такому солидному и благонамеренному, а главное — деловому человеку, слабость просто непростительную выказал Чичиков, вдруг потерявшись под влиянием некоего романического чувства, вызванного губернаторской дочкой: образ ее — нежный и мимолетный образ мадонны — мелькнул перед ним на дороге и теперь вновь предстал ему на балу. Совсем некстати вторгся этот образ в его расчеты и «негоции», смутил и лишил обычного и столь необходимого ему равновесия. И вот уже дамы города N оскорблены, и вот уже начинает понемногу складываться легенда, будто Чичиков собирается украсть губернаторскую дочку.

А тут еще Ноздрев, объявляющий во всеуслышание, что Чичиков торгует мертвыми душами. Это вздорное происшествие еще более «расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека». Что же касается городского общества, всех присутствовавших на балу чиновников, то новость, сообщенная Ноздревым, «так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением». Итак, и Чичиков и чиновники чрезвычайно смущены.

Следует вновь напомнить слова Гоголя об общественной комедии, зиждущейся на «потрясении всей машины», когда «ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело».

Ни одно колесо, ни один винтик не остаются ржавыми и не входящими в дело и в «Мертвых душах»: «тут всякий герой». «Ход и течение» поэмы постепенно и последовательно производят, так сказать, всеобщее потрясение, в котором всякий оказывается героем, лицом действующим или страдающим.

Важную роль в этом потрясении играет, конечно, страх, охвативший «нечистые» и «зловредные» чиновничьи души. Всколыхнулось все чиновничье болото, сотряслось семейственное городское благоустройство — разыгралась от страха фантазия, исчезла какая бы то ни было логика. Все было непонятно: покупка мертвых душ, похищение губернаторской дочки, Чичиков — херсонский помещик, и в то же время — что-то в нем «марсовское и военное», и похож на Наполеона, да и к Коробочке вломился, как разбойник Ринальдо Ринальдини... А тут еще — новый генерал-губернатор, а известно, что новая метла чисто метет: «пойдут переборки, распеканья, взбутетенивания и всякие

должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных». Страх первым делом рождает мысль об «инкогнито»: не есть ли Чичиков «подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия»? А тут еще «пришли к губернатору разом две бумаги»: о разыскании делателя фальшивых ассигнаций и убежавшего от законного преследования разбойника. Это почище двух крыс необыкновенной величины, приснившихся Сквозник-Дмухановскому. Было от чего закружиться чиновничьим головам, побледнеть титулярным, коллежским и статским советникам. Путаница была столь велика, что никак невозможно было чиновникам решить, такой ли человек Чичиков, которого «нужно задержать и схватить как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех как неблагонамеренных» (нетрудно убедиться, что эта ситуация близка ситуации «Ревизора»).

«У нас у всех много иронии», — писал Гоголь в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846). Эта «самобытная ирония» «видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости».

В словаре В. И. Даля ирония определена так: «похвала, которая хуже брани». Действительно, ироническое слово — это слово по видимости похвальное. Если понимать его прямо, буквально, оно поднимает, возвышает явление, предмет или человека, о которых говорит. На самом же деле смысл иронического слова иносказательный, переносный. И это иносказание имеет целью не «похвалу», а «брань» — осмеяние, отрицание. Ирония выступает как средство, орудие сатирического разоблачения.

Вся картина помещичье-чиновничьего бытия в «Мертвых душах» иронична. Иронична и каждая ячейка, каждая клеточка этой картины. Гоголь идет от частного к общему — из иронической мозаики, из отдельных иронических характеристик складывается целостная сатирическая картина.

Многие из чиновников, пишет Гоголь, характеризуя чиновничье «семейство», «были не без образования: председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского» и «мастерски читал многие места», «почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы «Ночи» и «Ключ к тайнствам натуры» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки, но какого рода они были, это никому не было известно...», «прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал». Поистине — «похвала, которая хуже брани»!

Выступая словесно как противоречивое, лишенное логики суждение, ирония вскрывает противоречивость, алогизм самого изображаемого мира. Словесная противоречивость, нарочитая нескладица, вызывающая смех, отражает и подчеркивает иронию самой действительности.

Гоголь иронически называет Ноздрева «историческим человеком», потому что вся жизнь его состояла из «историй», точнее говоря — из беспрестанных скандалов вроде того, который он учинил Чичикову. Но поистине историческим человеком предстает перед нами Плюшкин, судьба которого проникнута трагической иронией, имеющей общественно-историческое значение. Плюшкин смешон, пока мы (вместе с Чичиковым) не можем никак разобраться, мужик ли это или баба, нам смешно, что богатейший помещик предстает в облике какой-то ключницы, смешно, что у него для всей дворни одни-единственные сапоги... Но смех застывает на наших устах, становится трагической гримасой, когда мы узнаем историю его жизни — историю превращения помещика-хозяина в какую-то не то ключницу, не то нищего, историю распада и гибели его семьи, омертвления его души. Не всегда, однако, его душа была мертвой. Ведь при воспоминании о школьном приятеле на его «деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, — явление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустынное становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее». Разумеется, в Плюшкине его «мертвая душа» пока еще не способна пробудиться, он не в состоянии осознать весь ужас и «стыд» своего существования. Но этот теплый луч, это бледное отражение чувства — отблеск утраченной человечности — невозможно, конечно, увидеть ни на лице Манилова, ни на лице Коробочки, ни на лице Собакевича.

Такое развернутое сравнение омертвевшего, погибшего человека, способного не на чувство, а лишь на его отражение, с утопающим, сравнение, полное лирического пафоса, позволяет нам прочувствовать и потому глубоко осознать, что же имел в виду Гоголь, когда писал: «Высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением».

Гоголю казалось, что явление, подобное Плюшкину, «редко попадается на Руси», что это явление исключительное. Конечно, это так. Но в том-то и значение и сила художественного обобще-

ния. В «редком явлении» скрыто глубокое, исторически верное пророчество. Ведь жизненный путь, судьба Плюшкина-человека — это, в сущности, та канва, по которой через сорок лет будет «вышит» Салтыковым-Щедриным Иудушка Головлев («Господа Головлевы»). Судьба Плюшкина есть в конечном счете трагическая судьба его сословия, неуклонно шедшего к своей гибели, исторически обреченного.

В абсурдном, но вполне действительном мире помещичьего произвола и чиновничьей иерархии исчезает, испаряется то, что можно назвать нормой человечности: здесь нет мерок, которые позволили бы отличить разум от неразумия, истину от лжи, добро от зла, путь прямой и ясный от пути извилистого и темного.

В «глухой темноте», в зыбкой, «искривленной» общественной атмосфере потрясенное, испуганное воображение начинает создавать невероятные, неестественные фантомы. Таким фантомом в гоголевской комедии был образ Чиновника-ревизора. Глухая темнота, окутывающая бытие города N, порождает в результате потрясения, испытанного чиновниками, образ Разбойника — капитана Копейкина. Фантастический алогизм здесь состоит в самом предположении, будто под маской благонамеренного и «надежного» коллежского советника Павла Ивановича Чичикова может скрываться ветеран Отечественной войны 1812 года, ставший атаманом шайки разбойников!

Чиновники, правда, усомнились в этом и нашли, что почтмейстер, рассказывающий повесть о капитане Копейкине, в таком своем предположении «хватил уже слишком далеко». «Впрочем, — повествует далее Гоголь, — они, с своей стороны, тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее». Их «сметливое предположение» почище почтмейстерского: «не есть ли Чичиков переодетый Наполеон», выпущенный англичанами с острова Елены и пробирающийся в Россию! Ведь и «лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона», да и складом своей фигуры Наполеон, по свидетельству полицеймейстера, участника кампании двенадцатого года, «тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы тонок».

«Во всем этом, — пишет Гоголь, — очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком».

Но во всей этой явной нелогичности, невероятности, бестолковости, как и в «Ревизоре», наличествует безусловная художественная логика, которая не может противоречить логике действительности. Не разбой ли в самом деле мошенничество Чичикова, совершаемое на законных основаниях, хотя и не походит он ничем на «человека с буйными поступками» (а именно таким представлялся чиновникам настоящий разбойник)?

Художественная фантастика проясняет подлинную суть общества, уклонившегося от прямой дороги. Трагическая ирония жизни концентрируется в фантастических ситуациях и художественных преувеличениях гоголевской поэмы. Проявлением такой трагической иронии стала в «Мертвых душах» смерть городского прокурора. А умер он потому, что «стал думать, думать», потому, что возник перед ним какой-то вопрос, на который он не мог ответить. Непонимающее, вопросительное выражение сохранилось в его лице и тогда, когда он стал «уже одно бездушное тело» (подчеркнуто мною.— К. Т.). Вот она, эта трагическая ирония, проникающая в самые глубины жизни, ставящая перед всяким человеком поистине «непосильные вопросы»¹. Ведь только тогда, когда вместо прокурора было «бездушное тело», «тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал». О чем задумался перед смертью прокурор, о чем говорила вопросительно приподнятая бровь покойника, вообще — «зачем он умер или за чем жил»? Не было ли это — пусть слабым, едва мерцающим — предвестием пробуждения стыда и совести? И «Повесть о капитане Копейкине», так, казалось бы, неожиданно вторгающаяся в рассказ о похождениях Чичикова, на самом деле оказывается важнейшей частью этих походов. Мытарства капитана Копейкина — и это становится ясно из дальнейшего повествования, из рассказа о жизненной судьбе Чичикова — концентрированно, как некий художественный фокус, отражают жизненные «похождения» героя гоголевской поэмы, его судорожные попытки как-то осуществить и свою «амбицию»

В продолжение десяти глав гоголевской поэмы путешествовали мы вместе с Павлом Ивановичем Чичиковым по дворянским усадьбам, были свидетелями его «негоций» и его триумфа миллионщика, наконец — того переполоха, который вызвал он своими странными покупками. Мы узнали о нем, в общем, то же, что и обыватели губернского города N, вдруг потрясенные и обескураженные загадкой, которую загадал им этот обыкновенный, заурядный, ничем не примечательный «господин средней руки», благонамеренный коллежский советник. А ведь поначалу «въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным...». Нет в нем вроде бы и никакого «задору», ничего индивидуального, характерного, кроме паразитической «мимикрии», приспособляемости к обстоятельствам и среде. Во всем он «как-то умел найтись и показал в себе опытного светского человека», всегда имевшего «в своих при-

¹ По словам Достоевского в «Дневнике писателя» за 1876 год, произведения Гоголя «давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли».

емах» «что-то солидное». «В разговорах с сими властителями» (имеется в виду верхушка губернской чиновничьей иерархии) «он очень искусно умел польстить каждому», умел приспособиться к каждому чиновнику и помещику, с которыми общался. Благонамеренный коллежский советник пришелся по душе столь же благонамеренным помещикам и чиновникам.

Досконально ознакомились мы и с деталями и подробностями быта этого отнюдь не обремененного большими умственными способностями «господина средней руки», с его заветной шкатулкой, с его выдавшей виды бричкой и тройкой добрых коней, наконец — с дворовыми его людьми Селифаном и Петрушкой.

Мы поняли и то, что не сразу открылось помещикам и чиновникам, а именно: что негоции коллежского советника Чичикова не всегда были в ладу если не с формальным законом, то уж во всяком случае — с совестью.

«Очень сомнительно, — замечает Гоголь, — чтобы избранный нами герой понравился читателям». И в самом деле, чему тут нравиться? Может ли вызвать какое-либо сочувствие этот заурядный, пошлый человек, к тому же еще и мошенник?

Портрет Чичикова, его поступки, быт, весь его облик постоянно освещается иронией. Но ведь ирония, смех у Гоголя, как мы помним, никогда не были, если воспользоваться словом Салтыкова-Щедрина, «веселонравием», смехом ради смеха, бездумной и бесцельной веселостью. Как совместить чичиковскую воплощенную пошлость — свою, родную в мире всеобщей пошлости — с фантастичностью чичиковского предприятия, с фантастичностью самой идеи «мертвых душ»? Несомненно, есть в Чичикове что-то загадочное, что-то непонятное.

И вот за ироническим отношением к пошлому человеку вдруг открывается трагическая ирония его тяжелой жизненной судьбы.

Гоголь задает главный для понимания Чичикова, для поэмы «Мертвые души», для всего его творчества вопрос: кто же этот герой «относительно качеств нравственных»? Только ли мошенник, а если мошенник — то почему?

Жизнеописание Чичикова в последней, одиннадцатой главе дает ответ на этот вопрос: суровая жизненная школа сделала его таким. Маленький человек Чичиков оказывается в одном ряду с другими подобными же героями Гоголя — с Поприщиным («Записки сумасшедшего»), Акакием Акакиевичем Башмачкиным («Шинель»), искалеченными тем «благоустроенным государством», «благоустроенным обществом», в котором они существуют. Поприщин, Башмачкин погибают, не сумевши приспособиться, перебороть ту гнетущую, страшную силу, которая им противостоит, — силу общественной и государственной системы.

Чичиков, с «непреодолимой силой характера», борется за свое место под солнцем, за свое место на жизненном пиру. Он падает, но поднимается и вновь начинает борьбу, в нем не потухает «непостижимая страсть». «Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости: «Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зеваает теперь на должности? — все приобретают... За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем?» Не предчувствуется ли в этом «рассуждении» Чичикова тот вопрос, который через четверть века будет мучить героя Достоевского Раскольникова: вошь ли я или человек?

Конечно, героев Гоголя и Достоевского разделяет не только четверть века, лежащая между созданием «Мертвых душ» и «Преступления и наказания». Их представления о том, что же такое человек, кардинально различны. Особенности характера Чичикова, его социальная и личная судьба выработали идеал, ни в чем не похожий на идеал Раскольникова. Вопрос: червь ли я или человек? — в сознании Чичикова принимал такой вид: способен ли я добиться довольства и оставить детям состояние или «даром бремению землю»? Идеал Чичикова — это плоский и пошлый идеал «жизни во всех довольствах, со всякими достатками, экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его». В голове Раскольникова носилось нечто совсем другое, его невозможно было бы удовлетворить довольством или комфортом. Его идеал — властелин, Наполеон (впрочем, вспомним, что нечто наполеоновское было и в Чичикове, о чем сообщается, конечно, иронически). Но как ни различны и даже противоположны были идеалы Чичикова и Раскольникова, как ни несходно их представление о человеческом, одно было у них общее: их убеждение, что достичь положения, достойного человека, можно в «благоустроенном обществе» только на путях преступления. И тот и другой, разумеется, далеки от понимания истины человеческого существования.

Гоголь, так же как позднее Достоевский, хотел привести своего героя к пониманию такой истины (этому должны были быть посвящены второй, уничтоженный, и третий, ненаписанный, тома «Мертвых душ»).

В ряде своих рецензий 1868 года Салтыков-Щедрин определяет сущность, природу сатиры и в связи с этим касается и вопроса об отношении сатирической литературы уже другого, более позднего времени к творчеству великого зачинателя русской реалистической сатиры — Гоголя. «Трудно живется нашей сатире, — пишет Салтыков-Щедрин. — Капитал, которому некогда положил основание Гоголь, не только не увеличивается, но видимо чахнет и разменивается на мелкую монету».

В чем же дело? Какова ценность гоголевского сатирического «капитала»? Что значит — разменивать этот капитал на мелкую монету? И как его можно увеличивать?

В противоположность Гоголю — разнообразию и силе созданных им сатирических типов, развивает свою мысль Салтыков-Щедрин, современные сатирики «удивляют читателей» однообразием и бессилием своей сатиры (речь шла о сатирических поэтах вроде Д. Минаева). Обличаемые ими явления случайны и разрозненны, «стоят одиноко, вне пространства и времени, и потому несут на одних себе всю ответственность перед негодованием сатирика». За этими обличаемыми явлениями не видно причин, их обусловивших, не видно того *общего жизненного «положения»*, которое их породило и на которое, собственно, и следует возложить ответственность. «Это просто разбойники, грабители, наглецы, которым настоящее место в дневнике происшествий «Полицейских ведомостей», а не в литературе», — пишет Салтыков-Щедрин.

По убеждению Салтыкова-Щедрина, высказанному в цикле «Круглый год», литературе «претит» «канцелярская точность в определении признаков порока, потому что слишком ясные пороки ведаются полицией и судом, и этого вполне для успокоения общества достаточно. Литература же ведает такие человеческие действия, которые заключают в себе известную степень загадочности и относительно которых публика находится еще в недоумении, порочны они или добродетельны. Философы пишут с целью разъяснения подобных действий целые трактаты; романисты кладут их в основание многотомных произведений; сатирики делают то же дело, призывая на помощь оружие смеха. Это оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех. Наконец, и мысль об изменяемости форм порока не может не быть симпатичной для литературы, так как если бы не существовало изменяемости, если б злоба дня не снабжала жизнь все новыми и новыми формами порока, то материя эта давно была бы исчерпана и литературе пришлось бы уступить место полиции и суду».

Сила гоголевской сатиры как раз и состояла в том, что его типы свидетельствовали о «положении», выражали самую суть общественно-политической системы и социальной психологии, в том, что обличаемый Гоголем порок вовсе не был таким очевидным, чтобы достаточно было для его пресечения вмешательства полиции, в том, наконец, что «въедчивость» порока впервые была обнаружена именно Гоголем (вспомним, например, жизненный путь и судьбу Чичикова).

Для Салтыкова-Щедрина было очевидно и другое: «капитал» русской сатиры, основание которому положил Гоголь, должен

«увеличиваться», ибо отнюдь не исчерпан тот жизненный материал, который требует сатирического изображения, требует осмеяния. Больше того, этот материал не только изменяется, он усложняется, расширяется.

Объектом сатирического творчества Салтыкова-Щедрина была уже не та Россия, не те общественные явления, которые сатирически изображал Гоголь. В 1861 году было отменено крепостное право, право собственности помещиков на крепостных крестьян. Русский мужик стал лично свободным, уже невозможны стали аферы, подобные чичиковской «негоции» по покупке мертвых душ.

Общественная жизнь России в шестидесятые годы прошлого века складывалась в условиях осуществления крестьянской реформы, под знаком этой реформы. Среди тех, кто поначалу верил в неминуемую и недалекую гибель «прошлых времен», был и Салтыков-Щедрин. Однако очень скоро оптимистические надежды были разбиты, радостные упования развеяны — «прошлые времена» и не думали и не хотели умирать, напротив, они стали более цепкими, более изворотливыми, умеющими маскироваться в «либеральные» одежды.

«Последнее время, — писал Салтыков-Щедрин в 1868 году, — создало великое множество типов совершенно новых, существования которых гоголевская сатира и не подозревала. Сверх того, гоголевская сатира сильна была исключительно на почве личной и психологической; ныне же арена сатиры настолько расширилась, что психологический анализ отошел на второй план, вперед же выступили сила вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности». Во времена Гоголя не появились еще «моровые поветрия», поглощающие целые массы («язва либерализма, язва праздномыслия, язва легкомыслия...»). Теперь, считает Салтыков-Щедрин, предметом сатиры становится не «психологический» тип со всей его индивидуально-личностной определенностью (разумеется, выражающей и у Гоголя в конечном счете какое-либо общественное «положение»), но именно та или другая «язва», «моровое поветрие». Индивидуально-психологические особенности одержимых этими «поветриями» не только не имеют значения, но попросту исчезают, стираются, «поглощаются».

Именно в эти, шестидесятые, годы начинает Салтыков-Щедрин работать над двумя своими сатирическими циклами, в которых главным его предметом стала «язва» самодержавной власти, — «Помпадуры и помпадурши» и «История одного города». Все индивидуальные особенности «помпадуrows»-градоначальников выражают лишь суть власти — царской администрации. Произвол — вот главное определение этой власти. Помпадур жаждет лишь одного — беспрепятственного осуществления своих часто

совершенно нелепых и разрушительных стремлений. Один из помпадуров выговаривает то словечко, в котором концентрируется смысл, а точнее сказать бессмыслица, его административной деятельности: «Разорю». Галерея градоначальников в «Истории одного города» представляет ту или иную «систему администрации», а личные черты градоначальника (например, «органчик» вместо головы) представляют интерес лишь как воплощение административной «системы» фантастического города Глупова. Сатира Салтыкова-Щедрина становится все более глубокой и беспощадной потому, что деятельность градоначальника оценивается в ее отношении к народу, к народной массе. Именно народная, крестьянская масса является в изображении Салтыкова-Щедрина объектом административных экспериментов градоначальников — экспериментов, ведущих к ее разорению и закабалению. Деяния градоначальников безответственны, бессмысленны, противостественны. Таков, например, «подвиг» одного из глуповских градоначальников, Угрюм-Бурчеева, превратившего город Глупов в грандиозную казарму, пожелавшего в конце концов остановить течение реки, течение самой жизни.

Впрочем, тенденция такого изображения царской администрации была заложена и в гоголевской сатире. Так, например, с «Повестью о капитане Копейкине» в «Мертвые души» входил Петербург — не тот чисто чиновничий Петербург, гипертрофированно отразившийся в недалеской фантазии вряля Хлестакова, а Петербург *чиновный*, роскошно-вельможная столица империи, вершина и средоточие самодержавной власти, само ее местопребывание. Здесь все движется, гремит, сверкает, бросается в глаза, здесь все властвует — и арбуз-громадище, ценою в сто рублей, и стройная англичанка на тротуаре Невского проспекта, и вельможа — «государственный человек», и, наконец, сам император, от чьей монаршей воли зависит судьба бедняги Копейкина.

В 1869 году Салтыков-Щедрин создает первые свои сказки. И в этих сказках опять перед нами царская бюрократия, помещичий быт и мирозерцание в их отношении к народной жизни («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»). Живое, творческое, созидательное начало заложено для Салтыкова-Щедрина в крестьянском труде, в жизни народной массы, а помещичье-бюрократическая система — паразитический нарост, злокачественная опухоль на теле народа.

Разные формы бытия этой системы исследует Салтыков-Щедрин в циклах сатирических очерков, создаваемых им в последующие годы. Одной из таких форм была та, которую сатирик назвал «благонамеренными речами». Это — совокупность идей, «принципов», призванных защитить, идеологически обосновать владычество современной, но уже изжившей себя социально-политической системы.

В одном из своих писем Салтыков-Щедрин говорит, что он, как художник-сатирик, задался «миссией» «спасти идеал свободного исследования, как неотъемлемого права всякого человека, и обратиться к тем современным «основам», во имя которых эта свобода исследования попирается... Я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются». И дальше, в том же письме: «На принцип семейственности написаны мною «Головлевы».

Роман «Господа Головлевы» действительно вырос из сатирического цикла, который Салтыков-Щедрин так и назвал — «Благонамеренные речи». И это определило особенности «свободного исследования» принципа «семейственности» в салтыковском романе.

Распад, разложение, крах дворянского семейства — такова главная тема, основной сюжетный стержень романа «Господа Головлевы». Вспомним, что как эпизод эта тема разработана и Гоголем в «Мертвых душах» в рассказе о гибели семейства Плюшкина. Именно в этом эпизоде звучит не только смех, как ни смешон Плюшкин. Трагический пафос гоголевского повествования о падении человека скрадывает, заглушает сатирическое осмеяние. Но Плюшкин еще не был поражен «язвой праздномыслия» и пустословия — той болезнью, которая губит Иудушку — Порфирия Головлева. Правда, первые признаки этой болезни отмечены и Гоголем — в пустом и в конечном счете разрушительном мечтательстве Манилова. И правильно заметил критик и поэт И. Анненский: Фемистоклос (один из сыновей Манилова) «состарился в Порфирия Головлева». Склонность к «благонамеренным речам» наблюдается и в Павле Ивановиче Чичикове, оправдывающем свои аферы с мертвыми душами чуть ли не государственными интересами и благом России.

История жизни Плюшкина до появления в его усадьбе Чичикова как бы распадается на две части — сначала это деятельный хозяин, создатель благоустроенного помещичьего хозяйства и благополучного «дворянского гнезда». Потом — переживший смерть жены, оставленный детьми одинокий скопидом и бессознательный разрушитель того здания, которое сам ранее воздвигал. Мы вместе с Чичиковым присутствуем при конце, итоге плюшкинского жизнестроительства. Чем же можно объяснить этот печальный итог? В объяснении падения Плюшкина Гоголь в самом деле, если воспользоваться словами Салтыкова-Щедрина, остается еще во многом «на почве личной и психологической». Его душа умерла и очерствела потому, что не сумел он, «выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество», «забрать с собою в путь» «все человеческие движения». Возродить в Плюш-

кине эти «человеческие движения» — значит вернуть ему человеческий облик.

Салтыков-Щедрин дает иной, более сложный ответ на вопрос о причинах краха «жизнестроительства» по-головлевски. Иначе представляются ему и плоды пробуждения стыда и совести в падшем человеке.

В истории головлевской семьи также видятся два «отрезка» — путь наверх, восходящий, путь созидания головлевского помещичьего благополучия, воплотившийся в деятельности Арины Петровны Головлевой, и — нисходящий, история падения, разрушения, жизнестроительство на словах, а на деле — целая цепь «умертвий», настигающих одного за другим членов головлевского семейства. Страшный символ этого упадка и смерти — Порфирий Владимирович Головлев, Иудушка.

Эти два «отрезка» бытия головлевского семейства вместе с тем две эпохи в истории России. Жизнестроительство Арины Петровны происходит в условиях крепостного права, крепостнического помещичьего хозяйства. Превращение всех по видимости богатых плодов этого жизнестроительства в «прах» падает на пореформенное время. (Действие первой главы «Господ Головлевых» — «Семейный суд» — происходит незадолго до отмены крепостного права, в пятидесятых годах; «Расчет» — последняя глава головлевской хроники — производится уже в семидесятые годы.)

Но если между двумя частями плюшкинской жизни, в сущности, целая бездна — это как бы две несоединимые сферы бытия, два противоположных нравственных мира, — то два «отрезка» личной и социальной судьбы головлевского семейства неразделимы. В самом головлевском жизнестроительстве заложена и причина гибели Головлевых.

Уже в первой главе салтыковского романа — «Семейный суд» — произносится слово, определяющее истинную и постоянную суть бытия «господ Головлевых». Это слово — «гроб». Возвращающийся в Головлево «Степка-балбес» — старший сын Арины Петровны — с ужасом ощущает, что погружается в атмосферу «гроба», откуда уже ему лишь один путь — на погост.

Воистину, что же такое все жизнестроительство Арины Петровны, как не созидание «гроба», в котором оказываются похоронены и она сама, и ее дети, и ее внуки?

Мир головлевской усадьбы, когда в нем верховодит Арина Петровна, — это мир единоличного произвола, мир «властности», исходящей от одного лица, властности, не подчиняющейся никакому закону, заключенной лишь в одном принципе — принципе самодержавия. Головлевская усадьба *прообразует* собой, как говорили в XIX веке, всю самодержавную Россию, заочневшую в «оцепенении властности» (этими словами Салтыков-Щедрин

определил самую суть правления Арины Петровны, «женщины властной и притом в сильной степени одаренной творчеством»). Лишь от нее, от Арины Петровны, исходят некие деятельные токи, лишь ей в этом головлевском мире принадлежит привилегия действия. Другие же члены головлевского мира начисто лишены этой привилегии. На одном полюсе, в лице самодержицы Арины Петровны, сосредоточены власть, деятельность, «творчество». На другом — безропотность, пассивность, апатия. И понятно, почему, несмотря на «оцепенение», которое владеет головлевским миром, лишь в Арине Петровне еще сохраняется что-то живое.

Лишь она способна на «жизнестроительство», какое б оно ни было, лишь она живет — в своем хозяйстве, в своем приобретательском пафосе. Конечно, это жизнь весьма относительная, ограниченная очень узкими рамками, а главное — лишающая права на жизнь всех других членов головлевского мира, обрекающая их в конечном итоге на «гроб», на умирание. Ведь жизнестроительство Арины Петровны находит удовлетворение в самой себе, ее «творчество» не имеет какой-либо цели вне себя, какого-либо нравственного содержания. И тот вопрос, который часто задает Арина Петровна: для кого тружусь, для кого коплю? — вопрос, в сущности, незаконный: ведь она копила-то даже не для себя, тем более не для детей, а в силу какого-то бессознательного, почти животного инстинкта накопления. Все было подчинено, все принесено в жертву этому инстинкту.

Но этот инстинкт, конечно, не биологический, а социальный. Накопительство Арины Петровны — по своей общественной, а потому и психологической природе — очень отличается от скупости бальзаковского Гобсека или пушкинского Скупого рыцаря.

Это скопидомство, накопительство русской помещицы, возможное лишь в условиях крепостнического хозяйства. Ведь мерой богатства Арины Петровны служат не десятины принадлежащей ей земли и даже не деньги, а крестьянские «души», которыми она владеет и правит как безграничная самодержица. Каких-нибудь одно-два десятилетия отделяют жизнестроительство Арины Петровны от жизнестроительства гоголевских помещиков. И по существу здесь очень мало отличий, ибо в пределах самодержавно-крепостнического устройства, в условиях «оцепенения власти» отсутствует движение, отсутствует прогресс. Даже по внешним своим чертам хозяйство Арины Петровны похоже на плюшкинское: «Лето-припасуха приближалось к концу; шло варенье, соленье, приготовление впрок; отовсюду стекались запасы на зиму, из всех вотчин возами привозилась бабья натуральная повинность: сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это мерялось, принималось и присовокуплялось к запасам прежних годов. Недаром у головлевской барыни была выстроена целая

линия погребов, кладовых и амбаров; все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было, ради гнилого запаха». В самом способе помещичьего хозяйствования, будь оно плюшкинское, будь головлевское, заключен некий прах, некая порча и гниль.

«Катастрофа», то есть отмена крепостного права, подорвала самодержавие Арины Петровны, как и вообще вотчинную власть дворян-помещиков. «Порча» и «гниль» проели насквозь все бытие головлевцев.

Что скрепляло головлевскую семью помимо кровного родства? В сущности говоря, ничего. «Творчество» на ниве скопидомства и накопительства разрушало естественные нормальные семейные связи, заменяло их связями искусственными, внешними. «Катастрофа» порвала и эти искусственные связи. Арина Петровна, ослепленная своим привычным и, казалось, непоколебимым властолюбием, сама содействовала разрушению семейного клана, передав власть Порфирию Головлеву. В нем, в Иудушке, теперь олицетворились силы гибели и распада.

Один за одним уходят из жизни искалеченные, потерявшие человеческий облик Головлевы, умирает и Арина Петровна — последняя ниточка, связывавшая с «живым миром» Порфирия Головлева.

Так, Арина Петровна, строя свою жизнь, строя свое благополучное, как ей представлялось, хозяйство, в конце концов разрушила семью, обрекла на жалкий конец и мужа и сыновей. Но Арина Петровна делала это, не сознавая печальных итогов своего творчества по-головлевски. Мысль о каких-то «основах» и «принципах» ей и в голову не приходила.

Между тем сам Салтыков-Щедрин, как мы помним, утверждал, что в «Господах Головлевых» его сатира направлена на «принцип семейственности». «Язва праздномыслия», поразившая разные стороны духовной жизни России в пореформенное время, коснулась и сферы семейной жизни. Этой «язвой» одержим и герой салтыковского романа — Иудушка, Порфишка-кровопивец.

Осмеянию в романе подвергается не сама по себе трагическая судьба головлевского семейства — здесь нет места смеху, — а тот «принцип», который провозглашался как фундамент, как основа существования семьи, но которому противоречила реальность семейного уклада, семейных отношений Головлевых. Носителем, идеологом принципа семейственности является в романе Порфирий Головлев. Именно он в неостановимых, безудержных словесных излияниях провозглашал, пропагандировал этот принцип, постоянно подрывая его, однако, своей жизненной практикой, своим неустанным кровопивством. Он, Порфишка-

кровопиец, Иудушка, был «настоящею душою» крушения «семейной твердыни».

Если деятельность Арины Петровны была все же деятельностью, действием, то деятельность Иудушки, богатого помещика, владельца большого имения, все больше и больше становится «деловым бездельничеством», в духе которого он воспитался, будучи петербургским чиновником. Этот чиновник-помещик погрязает в пустяках и мелочах, заводя и в своем помещичьем хозяйстве пустопорожние порядки департамента какого-нибудь министерства. Самодержавная власть помещицы-хозяйки заменяется бумажным, мертвым бюрократическим управлением по принципу: «Разорю!» Одна за другой рвутся все связи Порфирия Головлева с живым миром — и с отпрысками головлевского семейства, и с собственным хозяйством, и с тем миром крестьянской жизни, «перекатной голи», который двигался и дышал где-то поблизости. И свои помещичьи вожделения, свои «праздные помещичьи идеалы» он уже удовлетворяет в мире «мертвых душ», в обществе покойной Арины Петровны или старого Ильи, «который еще при папеньке, Владимире Михайловиче, старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен». Иудушка, в ужасе перед жизнью, все дальше и дальше уходит от мира действительного в мир фантастический, создаваемый его воображением, в мир неразумия, абсурда, гротеска, в мир призраков. Стелет и стелет он «свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую фантастическую оргию», оргию пустословия и праздномыслия.

Между тем жизнь давала о себе знать. Если Арина Петровна не мыслила себе иного существования, кроме головлевского самодержавия помещицы-крепостницы, если все ее сыновья связаны с Головлевым нерасторжимой цепью и фатально принуждены возвратиться в лоно семейного гнезда, чтобы там погибнуть, молодое поколение головлевской семьи жаждет вырваться из головлевского «гроба», стремится к иной жизни, к созиданию какого-то иного мира путем собственного, «личного» труда.

Но судорожные, болезненные попытки эти обречены на неудачу, желание самостоятельного жизнеустройства, «личного труда», не подкрепленное способностью, умением трудиться, подорванное в самом корне головлевским «прахом», оборачивается неизбежным «умертвием». «Перспектива труда» и для них, как и для их отцов, оказывается закрытой. Одни из них мучительно погибают, не надеясь ни на что, не видя выхода, как кончают с собой Володя и Любинька, другие, как Петя и Аннинька, пытаются найти хоть какое-то сочувствие в головлевском семейном гнезде.

Но и в этом случае, как всегда, Иудушка, человек, лишенный нравственного мерил, оказывался, так сказать, на высоте своего

празднословия, скрываясь от всех жизненных ударов в призрачный, фантастический мир.

Пожалуй, лишь одно событие заставило Иудушку поколебаться, ощутить, что живой-то мир в самом деле существует, что мир этот может диктовать какие-то свои условия, что он не укладывается в стройную систему пустых слов. Это событие — неожиданная беременность Евпраксеюшки. «Это была совсем новая узда, которую в первый раз в жизни узнало его праздномыслие». Бунт Евпраксеюшки, матери, потерявшей сына, — бунт примитивного, недалекого существа, и бунт-то нелепый, примитивный, но — бунт жизни против смерти. Однако и в этом случае, в борьбе живого и мертвого, побеждает мертвое, побеждает Иудушка, опять-таки скрываясь за систему слов, за привычный обряд. И недаром в этот момент окончательного преодоления Иудушкой человеческих чувств, чувств отца, чудится головлевской приживалке Улитушке, что перед ней не человек, а сатана.

Иудушка — еще более страшная «прореха на человечестве», чем гоголевский Плюшкин. И Гоголь, и Салтыков-Щедрин, однако, не ограничиваются сатирическим отрицанием своих героев, изображением бездонной глубины их нравственного падения, распада в них человеческой личности. И Гоголь, и Салтыков-Щедрин, художники-гуманисты, не отчаиваются обнаружить в этих «мертвых душах» нечто человеческое...

Судьба Плюшкина трагична. Но существует ли какой-нибудь выход из этой трагедии его пустопорожнего, мелочного существования, есть ли для него какой-нибудь просвет в будущем? Нравственное пробуждение Плюшкина, пробуждение стыда и совести, намеков на возможность которого содержится в тех проблесках человечности, которые еще в нем сохранились, — такое пробуждение, в общем, возможно, оно не противоречит логике характера этого гоголевского героя. Больше того, известно, что Гоголь в следующих частях «Мертвых душ» собирался «возродить» Плюшкина, сделать его человеком. Но в каком отношении оказалась бы эта человечность Плюшкина к тем социальным условиям, к тому «положению», которое его создало? Она, конечно, не могла не вступить с этим «положением» в конфликт, а подобные конфликты разрешаются обыкновенно отнюдь не гармонически.

Что такое пробуждение стыда и совести? В конечном счете — это осознание истины своей жизни, возвращение к действительности, к правде, когда с глаз падает темная завеса, скрывавшая дотоле истину, когда слепой прозревает, когда становится возможным «воскресение» человека.

В таком прозрении — великое счастье обретения истины, великая радость восстановления облика человеческого.

«Бывают минуты, — говорится в «Господах Головлевых», —

когда человек, который дотолѣ только существовал, вдруг начинает понимать, что он не только воистину живет, но что в его жизни есть даже какая-то язва... Действие такого внезапного откровения, будучи для всех одинаково мучительным, в дальнейших практических результатах видоизменяется, смотря по индивидуальным темпераментам. Одних сознание обновляет, воодушевляет решимостью начать новую жизнь на новых основаниях; на других оно отражается лишь преходящею болью, которая не произведет в будущем никакого перелома к лучшему, но в настоящем выказывается даже болезненнее, нежели в том случае, когда встревоженной совести, вследствие принятых решений, все-таки представляются хоть некоторые просветы в будущем».

«Некоторые просветы в будущем» обуславливаются, однако, не только темпераментом; встревоженная совесть, чтобы привести к обновлению, должна найти для себя достойную пищу и такую почву, на которой ростки обновления не погибнут. Не найдя же такой пищи, здорового содержания, пробудившаяся совесть может привести лишь к одному — гибели. В пробуждении совести, в прозрении истины может заключаться и непереносимый ужас, боль, за которой следует только одно — «смерть-избавительница» (как сказано в сказке Салтыкова-Щедрина «Бедный волк»).

Именно такое прозрение поразило Порфирия Головлева, поразило его совесть, истерзанную воспоминаниями о бесчисленных «умертвиях». «И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт». Глаза его открылись: «Что такое! Что такое сделалось?! — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом, — где... все?..»

Так же как и гоголевская сатира, сатира Салтыкова-Щедрина, как мы помним, руководствуется принципом «въедчивости порока», пониманием зависимости порока от «положения», от всей сложной, многообразной, часто неуловимой совокупности условий, влияний, общений, создающей «порочную» личность.

Таким предстает перед нами главный герой «Господ Головлевых» Порфирий Головлев — не только причина гибели «всех», причина бесчисленных «умертвий», но и жертва сложившихся от века общественных и семейных отношений. Он не только калечит, он сам искалечен силой вещей.

Порфирий Головлев сознал себя виновным в том, что «сделалось», он посмотрел на все им содеянное как бы со стороны и ужаснулся. Пала вся хитросплетенная паутина слов и обрядов, непроницаемой завесой скрывавшая от него истину его существования. Истина эта была ужасна, но падение Порфирия Головлева уже столь глубоко, что, хотя совесть и пробудилась, возврат

к человечности — «воскресение» — для него невозможно. Его мольба о прощении остается без ответа.

Роман «Господа Головлевы» — роман сатирический. Однако он очень отличается от таких общественных романов Салтыкова-Щедрина, как, например, «Помпадуры и помпадурши», «История одного города» или цикл «Благонамеренные речи», из которого, собственно, и вырос. В «Господах Головлевых» Салтыкова-Щедрина интересует не только то или иное «моровое поветрие» — некое явление общественной психологии, захватившее целые массы. И здесь сатирик берет «моровое поветрие», общественную «язву», но при этом показывает, каким образом оно, это поветрие, губит человека, выедаёт человеческую душу, обесчеловечивает ее. На фундаменте острейшей социально-политической сатиры «Истории одного города» и других сатирических циклов, обогащенный опытом художественного психологизма в изображении «диалектики души» у Толстого или духовных драм у Достоевского, Салтыков-Щедрин как бы возвращается к гоголевской психологической сатире, создавая не только сатирический, но и психологический роман. Реалистическая сатира Салтыкова-Щедрина прочно утвердилась на общественной почве, пройдя через период беспощадного обличения «моровых поветрий», изображения персонажей, прямо представляющих то или иное «положение» без всяких психологических смягчений. В «Господах Головлевых» салтыковская сатира обогатилась глубоким проникновением в психологию личности, изуродованной своим «положением», давлением не зависящих от этой личности обстоятельств.

В этом же ключе пишет Салтыков-Щедрин в восьмидесятые годы свой новый цикл «Мелочи жизни», где его внимание сосредоточивается на судьбах «калечимых людей» — калечимых обступившими их со всех сторон «терзающими» мелочами общественного быта. Если Порфирий Головлев лишь молил о прощении, но вряд ли мог быть освобожден от личной ответственности: он действительно виновен в «умертвиях», поразивших головлевское семейство и его самого, — то калечимые герои «Мелочей жизни» уже не могут нести никакой ответственности за свое положение, за трагический исход своей жизни. Сатира по отношению к таким героям невозможна, или, по крайней мере, сфера ее применения ограничена. Здесь требуются другие принципы и приемы художественного изображения, здесь нужно проникновение «в глубины души человеческой», души страдающей и гибнущей, души, искалеченной жизнью.

Но все это не значит, что после романа «Господа Головлевы» Салтыков-Щедрин отказывается от сатиры предельно обобщающей, как бы отвлекающейся от индивидуально-человеческих особенностей и личных судеб. Напротив, в последнее десяти-

летие жизни он доводит до совершенства тот сатирический жанр, который был им намечен в сказках «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий помещик». Этот жанр, основывающийся на иносказании, позволил Салтыкову-Щедрину отразить все особенности и процессы русской жизни восьмидесятых годов прошлого века, представить русскую общественную структуру, идейные течения, психологию целых общественных групп и слоев. В сказках при всем том наиболее выпукло, определено и полно высказалась собственная салтыковская философия жизни, нравственный пафос, общественные идеалы.

Сказки Салтыкова-Щедрина иносказательны, аллегоричны, в них всегда есть подтекст, «мораль», которая в иных случаях высказывается с полной определенностью, в иных же — только подразумевается и требует от читателя умелой расшифровки. В этом отношении сказки Салтыкова-Щедрина сходны с русской народной сказкой, прежде всего — сказкой о животных. Народная фантазия, создавая сказки, в которых действуют герои-животные, видит за ними, за их действиями и поведением человека, его характерные черты, особенности человеческих отношений. За каждым из животных закреплена какая-то своя, свойственная именно ему черта, и этой чертой определяются его поступки, его поведение. Круг этих животных обычно более или менее ограничен (медведь, волк, лиса, заяц, баран). Этих же животных встречаем мы и в сказках Салтыкова-Щедрина. Но к их как бы заданным народной фантазией качествам у сатирика прибавляются и другие, которые уточняют их социальную природу, делают более определенным, более конкретным важный автору социально-политический смысл. Так, заяц у него не просто трусливый, но и самоотверженный и здравомысленный. Волк не только жестокий, но и — неожиданно — бедный. Пискарь оказывается премудрым, вобла — вяленой, баран — непомнящим. Медведь — сильный, добродушный и часто недалекий — выполняет в сказке «Медведь на воеводстве» роль воеводы, то есть, как это хорошо понимали современники, градоначальника или вообще всякого начальственного лица, правление которого, как оказывается, не может обойтись без злодейств — будь то злодейства «срамные», «крупные» или «натуральные».

Обращается Салтыков-Щедрин и к былинному эпосу, переосмысливая его в духе своей политической идеи, намекая на исторические судьбы русского самодержавия. Сиднем сидит, беспробудно спит в дупле богатырь (сказка «Богатырь»), но, вместо того чтобы во сне сил набраться и выйти на борьбу с супостатами, оказывается, что, пока спал богатырь, гадюки у него «туловище вплоть до самой шеи отъели».

Герои-животные действуют не только в сказках, но и в баснях

(вспомним хорошо всем известные басни Крылова). И это опять-таки очень часто те же животные, что и в салтыковских сказках. Но главное, чем сказки Салтыкова-Щедрина близки басне,— это социальный и нравственный пафос, явная идейная тенденция, именно то, что в басне и принято называть «моралью». Конечно, «мораль» сказки Салтыкова-Щедрина совсем не обязательно формулируется в завершающей басню концовке-сентенции, как это чаще всего бывало у Крылова (например, в басне «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь, / Всё в музыканты не годитесь»). Но эту «мораль», этот сокровенный смысл сказки читатель-друг всегда умел угадать, даже если она прямо и не высказывалась.

Выше уже приводились слова Салтыкова-Щедрина о том, что подлинной почвой сатиры может быть лишь почва народная. В самом деле, наверное, не будет преувеличением сказать, что центральный герой сказок Салтыкова-Щедрина — это народ, русский крестьянин. Это некий идеал, руководствуясь которым Щедрин-демократ подвергает осмеянию все то, что противостоит этому идеалу, что несовместимо с ним. Салтыков-Щедрин, конечно, не мог не видеть главного исторического «греха» русского мужика — его забитости, безропотности, «бедности сознанием собственной бедности». И в этом смысле мужик — тоже объект сатиры. В таком двойственном свете предстает мужик уже в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». Умелец, мастер на все руки, истинный создатель и кормилец земли русской, он позволяет помыкать собою генералам, которые и «слов-то никаких не знали», не говоря уже о способности к какому-нибудь делу. Столь же покорной и на все согласной оказывается крестьянская масса и в сказке «Орел-меценат». «Ворона — птица плодущая,— сказано здесь,— и на все согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица». В сказке «Коняга» каторжный безысходный труд коняги — это, конечно, труд русского мужика. Трагический пафос, в целом характерный для щедринских сказок восьмидесятых годов, достигает здесь необыкновенной высоты. И сколь ничтожными выглядят на фоне этого трагического образа труженика-коняги пустоплясы, пытающиеся, так сказать, узаконить своими пустопорожними рассуждениями тяжкое конягино житье. Именно пустоплясы — объект салтыковской сатиры в этой сказке.

Салтыков, конечно, видит в русском крестьянстве отнюдь не только бессловесную, бездуховную массу. Живет в русском мужике тяга к вольной жизни, к какому-то иному, осмысленному существованию. «Баран-непомнящий» вдруг стал видеть во сне что-то неясное, что-то такое, что мешало ему делать его «баранье» дело. В словах овчара Никиты скрыта «мораль» сказки: «Стало быть, «вольного барана» во сне увидел... увидеть-то во сне увидал,

а сообразить настоящим манером не мог... Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно как из нашего брата бывает...»

Жаждет русский мужик «сыскать правду» («Путем-дорогою»), высылает ходоков-челобитчиков за этой своей мужицкой Правдой («Ворон-челобитчик»). Но слишком далека суровая реальность крестьянской жизни, жизни коняги или Ивана Бедного, «коренного, задавленного русского мужика» («Соседи»), от того идеала Правды, которую хотел бы сыскать этот задавленный, со всех сторон опутанный сетью неумолимых обстоятельств коренной русский крестьянин. «Кто одолеет, тот и прав», — вот правда жизни, «которую, по нынешнему времени, всякий в расчет принимать должен», втолковывает ястреб старому ворону-челобитчику. «Кабы вы были сильнее — вы бы нас ели, а мы сильнее — мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает».

Почему же Иван Бедный никак не может разбогатеть, почему его правда никак не может одолеть правду Ивана Богатого? На это «местный мудрец и философ» Иван Простопфиля отвечает: «Оттого, что в планту так значится». «Плант» — это и есть тот безжалостный, подавляющий порядок вещей, который делает волка волком, а зайца — зайцем.

Однако Салтыков-Щедрин никак не может согласиться с фаталистической сентенцией Здравомысленного зайца: «Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье». Салтыков верит в то, что в конце концов победит именно та Правда, которая «за облаками летает», а не та, которая ныне «воочию совершается», верит в то, что «не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи» (сказка-элегия «Приключение с Крамольниковым»). Именно эта вера в высокую и единую человеческую Правду, которая «придет и весь мир осияет» («Ворон-челобитчик»), делала столь беспощадным щедринское сатирическое обличение всех эгоистических, «личных» будто бы правд — «правд» современного общественного бытия («правд» волка, воеводы-медведя, орла-мецената, ястреба, предельно обобщенно, сатирически представляющих силы социального угнетения).

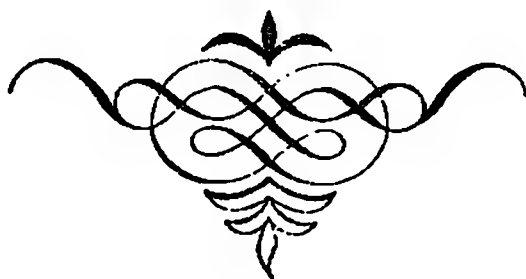
«Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносащие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, — с горьким, мучительным недоумением писал Гоголь в «Мертвых душах», — тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги. Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь

огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди». Веря в этот идеальный прямой путь, Гоголь отдал свой гений изображению общества, уклонившегося от него, ступившего на пути искривленные, глухие, непроходимые.

Всю жизнь Гоголь мечтал о том, чтобы изобразить прекрасного русского человека. Эта мечта была заложена в замысле его поэмы, была частью этого замысла. На возможности нравственного возрождения, «воскресения» человека он строил и свои надежды на то, что общество найдет наконец прямую дорогу.

По глубокому убеждению Салтыкова-Щедрина, пробуждение стыда и совести лишь тогда не бесплодно, когда оно ведет не только к личному нравственному просветлению, но к осознанию необходимости изменения «порядка вещей», к борьбе с этим — социальным порядком.

К. Т ю н ь к и н



Н. В. ГОГОЛЬ

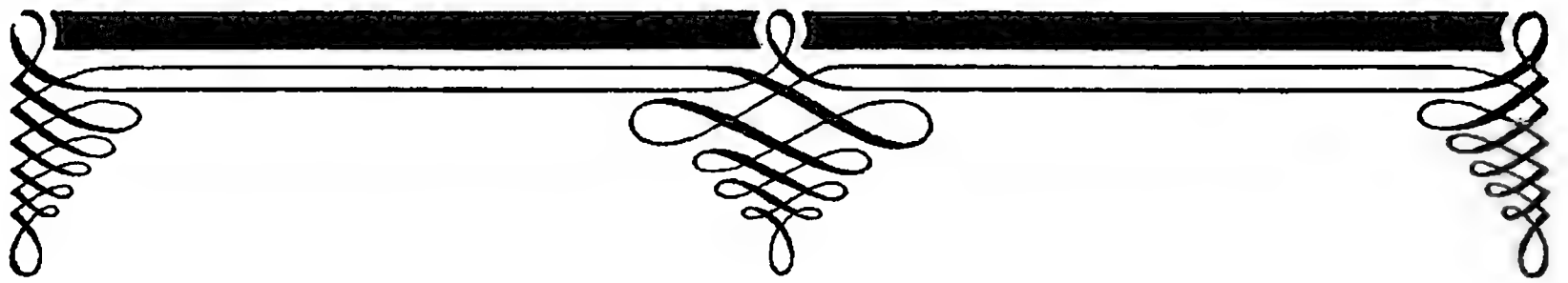
Р Е В И З О Р
Комедия

•
М Е Р Т В Ы Е Д У Ш И
Поэма

ТОМ ПЕРВЫЙ

•
Ш И Н Е Л Ъ
Повесть
•





РЕВИЗОР

Комедия в пяти действиях

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.

Народная пословица

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий.

Анна Андреевна, жена его.

Марья Антоновна, дочь его.

Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ.

Жена его.

Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья.

Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.

Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер.

Петр Иванович Добчинский	}	городские помещики.
Петр Иванович Бобчинский		

Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга.

Осип, слуга его.

Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь.

Федор Андреевич Люлюков

Иван Лазаревич Растаковский

Степан Иванович Коробкин

отставные

чиновники,

почетные

лица в городе.

Степан Ильич Уховертов, частный пристав.

Свистунов

Пуговицын

Держиморда

Абдулин, купец.

} полицейские.

Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.

Жена унтер-офицера.

Мишка, слуга городничего.

Слуга трактирный.

Гости и гости, купцы, мещане, просители.

ХАРАКТЕРЫ И КОСТЮМЫ

Замечания для господ актеров

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен, несколько даже резонёр; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжёлую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженные, с проседью.

Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполнину на романах и альбомах, вполнину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится что отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.

Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове,— один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно; смотрит несколько вниз, резонёр и любит себе самому читать

нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барин-ном принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он ум-нее своего барина, и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его — серый или синий поношенный сюртук.

Б о б ч и н с к и й и Д о б ч и н с к и й, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

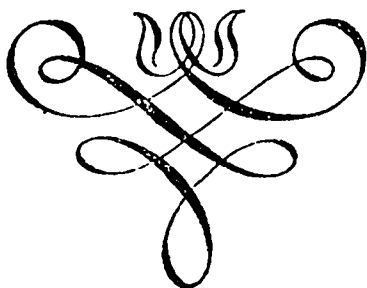
Л я п к и н - Т я п к и н, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом, с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом — как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.

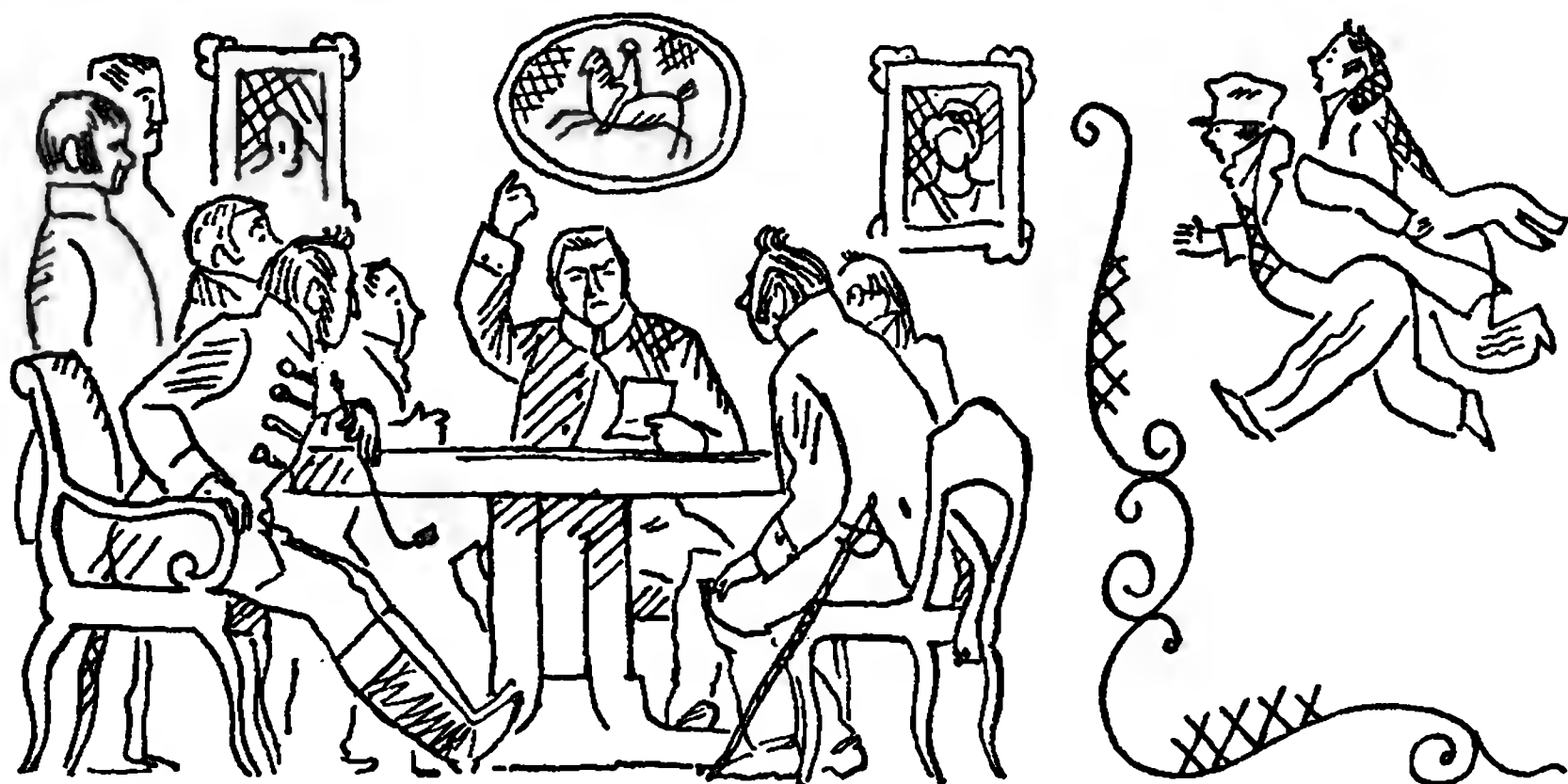
З е м л я н и к а, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, непово-ротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.

П о ч т м е й с т е р, простодушный до наивности человек.

Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти на-ходятся пред глазами.

Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвести электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.





ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната в доме городничего.

ЯВЛЕНИЕ I

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав¹, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, гоепода, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписанием.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!

Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписанием!

Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы,

¹ Объяснение непонятных слов, выражений см. Комментарии, стр. 695.

Артеми́й Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель (*бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами*)... и уведомить тебя». А! вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд (*значительно поднимает палец вверх*). Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...» (*остановясь*) ну, здесь свои... «то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито... Вчерашнего дни я...» Ну, тут уж пошли дела семейные: «сестра Анна Кириловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кирилович очень потолстел и всё играет на скрипке...» — и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое... необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! (*Вздыхнув.*) До сих пор, благодарение богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того... вы не... Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предупредил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам. Особенно вам, Артеми́й Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артеми́й Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.

Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке... это уж по вашей части, Христиан Иванович, — всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа... Нехорошо, что у вас больные такой крепкий

табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше: тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше,— лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.

Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е.

Г о р о д н и ч и й. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусёнками, которые так и шныряют под ногами. Оно конечно, домашним хозяйством заводить всякому похвально, и почему ж сторожу и не завести его? только, знаете, в таком месте неприлично... Я и прежде хотел вам это заметить, но всё как-то позабывал.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.

Г о р о д н и ч и й. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь. и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но всё на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш... он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода,— это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович издает тот же звук.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

Г о р о д н и ч и й. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем

открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

Г о р о д н и ч и й. Ну, щенками или чем другим — всё взятки.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль...

Г о р о д н и ч и й. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? За то вы в бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.

Г о р о д н и ч и й. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, сам бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак (*делает гримасу*), и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, — это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.

Л у к а Л у к и ч. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.

Г о р о д н и ч и й. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хватить стулом об пол! Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.

Л у к а Л у к и ч. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал... Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».

Г о р о д н и ч и й. Да, таков уж неизъяснимый закон судеб: умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.

Л у к а Л у к и ч. Не приведи бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.

Г о р о д н и ч и й. Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья?» — «Ляпкин-Тяпкин». — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» — «Земляника». — «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!

ЯВЛЕНИЕ II

Т е ж е и почтмейстер.

П о ч т м е й с т е р. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?

Г о р о д н и ч и й. А вы разве не слышали?

П о ч т м е й с т е р. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.

Г о р о д н и ч и й. Ну что? Как вы думаете об этом?

П о ч т м е й с т е р. А что думаю? война с турками будет.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. В одно слово! я сам то же думал.

Г о р о д н и ч и й. Да, оба пальцем в небо попали!

П о ч т м е й с т е р. Право, война с турками. Это всё француз гадит.

Г о р о д н и ч и й. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.

П о ч т м е й с т е р. А если так, то не будет войны с турками.

Г о р о д н и ч и й. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?

П о ч т м е й с т е р. Да что я? Как вы, Антон Антонович?

Г о р о д н и ч и й. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко... Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю (*берет его под руку и отводит в сторону*), я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.

П о ч т м е й с т е р. Знаю, знаю... Этому не учите, это я делаю

не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь — так описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше, чем в «Московских ведомостях»!

Г о р о д н и ч и й. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

П о ч т м е й с т е р. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом... очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет...» — с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?

Г о р о д н и ч и й. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.

П о ч т м е й с т е р. С большим удовольствием.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.

П о ч т м е й с т е р. Ах, батюшки!

Г о р о д н и ч и й. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того и у другого.

Г о р о д н и ч и й. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и — шашть...

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, Б о б ч и н с к и й и Д о б ч и н с к и й, оба входят запыхавшись.

Б о б ч и н с к и й. Чрезвычайное происшествие!

Д о б ч и н с к и й. Неожиданное известие!

В с е. Что, что такое?

Д о б ч и н с к и й. Непредвиденное дело: приходим в гости-ницу...

Б о б ч и н с к и й (перебивая). Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...

Д о б ч и н с к и й (перебивая). Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.

Б о б ч и н с к и й. Э, нет, позвольте уж я... позвольте, позвольте... вы уж и слога такого не имеете...

Д о б ч и н с к и й. А вы собьетесь и не припомните всего.

Б о б ч и н с к и й. Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.

Г о р о д н и ч и й. Да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул!

Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.

Ну, что, что такое?

Б о б ч и н с к и й. Позвольте, позвольте: я всё по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с,— так я тогда же забежал... уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович! Я уж всё, всё, всё знаю-с. Так я, вот изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем...

Д о б ч и н с к и й (перебивая). Возле будки, где продаются пироги.

Б о б ч и н с к и й. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: «Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уж услышали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, за чем-то была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Д о б ч и н с к и й (перебивая). За бочонком для французской водки.

Б о б ч и н с к и й (отводя его руки). За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву... Уж вы, Петр Иванович... энтото... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: «Зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня... с утра я ничего не ел, так желудочное трясение...» — да-с, в желудке-то у Петра Ивановича... «А в трактир, говорит, привезли теперь свежей семги, так мы закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...

Д о б ч и н с к и й (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...

Б о б ч и н с к и й. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (*вертит рукою около лба*) много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то Иванович уж мигнули пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек?» — а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепётываете; у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает всё на счет и ни копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!» — говорю я Петру Ивановичу...

Д о б ч и н с к и й. Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э!»

Б о б ч и н с к и й. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?» Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.

Г о р о д н и ч и й. Кто, какой чиновник?

Б о б ч и н с к и й. Чиновник-та, о котором изволили получить нотицию, — ревизор.

Г о р о д н и ч и й (*в страхе*). Что вы, господь с вами! это не он.

Д о б ч и н с к и й. Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов.

Б о б ч и н с к и й. Он, он, ей-богу, он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.

Г о р о д н и ч и й. Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?

Д о б ч и н с к и й. В пятом номере, под лестницей.

Б о б ч и н с к и й. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.

Г о р о д н и ч и й. И давно он здесь?

Д о б ч и н с к и й. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.

Г о р о д н и ч и й. Две недели! (*В сторону.*) Батюшки, сва-

тушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! поношение! (Хватается за голову.)

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»...

Г о р о д н и ч и й. Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. (Обращаясь к Бобчинскому.) Вы говорите, он молодой человек?

Б о б ч и н с к и й. Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.

Г о р о д н и ч и й. Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!

С в и с т у н о в. Что угодно?

Г о р о д н и ч и й. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.

К в а р т а л ь н ы й бежит впопыхах.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Какое колпаки! Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку — а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.

Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.

ЯВЛЕНИЕ IV

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?

Квартальный. Стоят.

Городничий. Ступай на улицу... или нет, стой! Ступай принеси... Да другие-то где? неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтоб и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий. Как так?

Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.

Городничий (*хватаясь за голову*). Ах, боже мой, боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет — беги прежде в комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедem!

Бобчинский. И я, и я... позвольте и мне, Антон Антонович!

Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожках не поместимся.

Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти поступки...

Городничий (*принимая шпагу, к квартальному*). Беги сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет... Эк шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин — видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице... черт возьми, по улице — по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто... слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, — смотри, у меня ухо остро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и частный пристав.

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите ради бога: куда вы запропалились? На что это похоже?

Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.

Г о р о д н и ч и й. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?

Ч а с т н ы й п р и с т а в. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.

Г о р о д н и ч и й. А Держиморда где?

Ч а с т н ы й п р и с т а в. Держиморда поехал на пожарной трубе.

Г о р о д н и ч и й. А Прохоров пьян?

Ч а с т н ы й п р и с т а в. Пьян.

Г о р о д н и ч и й. Как же вы это так допустили?

Ч а с т н ы й п р и с т а в. Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка,— поехал туда для порядка, а возвратился пьян.

Г о р о д н и ч и й. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную вежу, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает откуда и нанесут всякой дряни! *(Вздыхает.)* Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? — чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия... О, ох, хо, хо-х! грешен, во многом грешен. *(Берет вместо шляпы футляр.)* Дай только, боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О боже мой, боже мой! Едем, Петр Иванович. *(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*

Ч а с т н ы й п р и с т а в. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

Г о р о д н и ч и й *(бросая ее)*. Коробка так коробка. Черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами — и правому и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! *(Уходит и возвращается.)* Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарнизанаденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.

Все уходят.

ЯВЛЕНИЕ VI

Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.

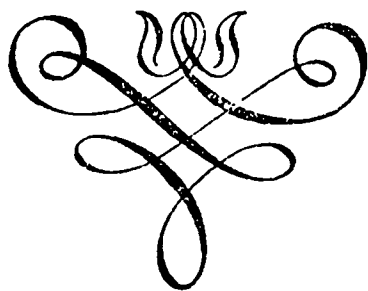
Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, боже мой!.. (Отворяя дверь.) Муж! Антоша! Антон! (Говорит скоро.) А всё ты, а всё за тобой. И пошла копать: «Я булавочку, я косынку». (Подбегает к окну и кричит.) Антон, куда, куда? Что, приехал? ревизор? с усами! с какими усами?

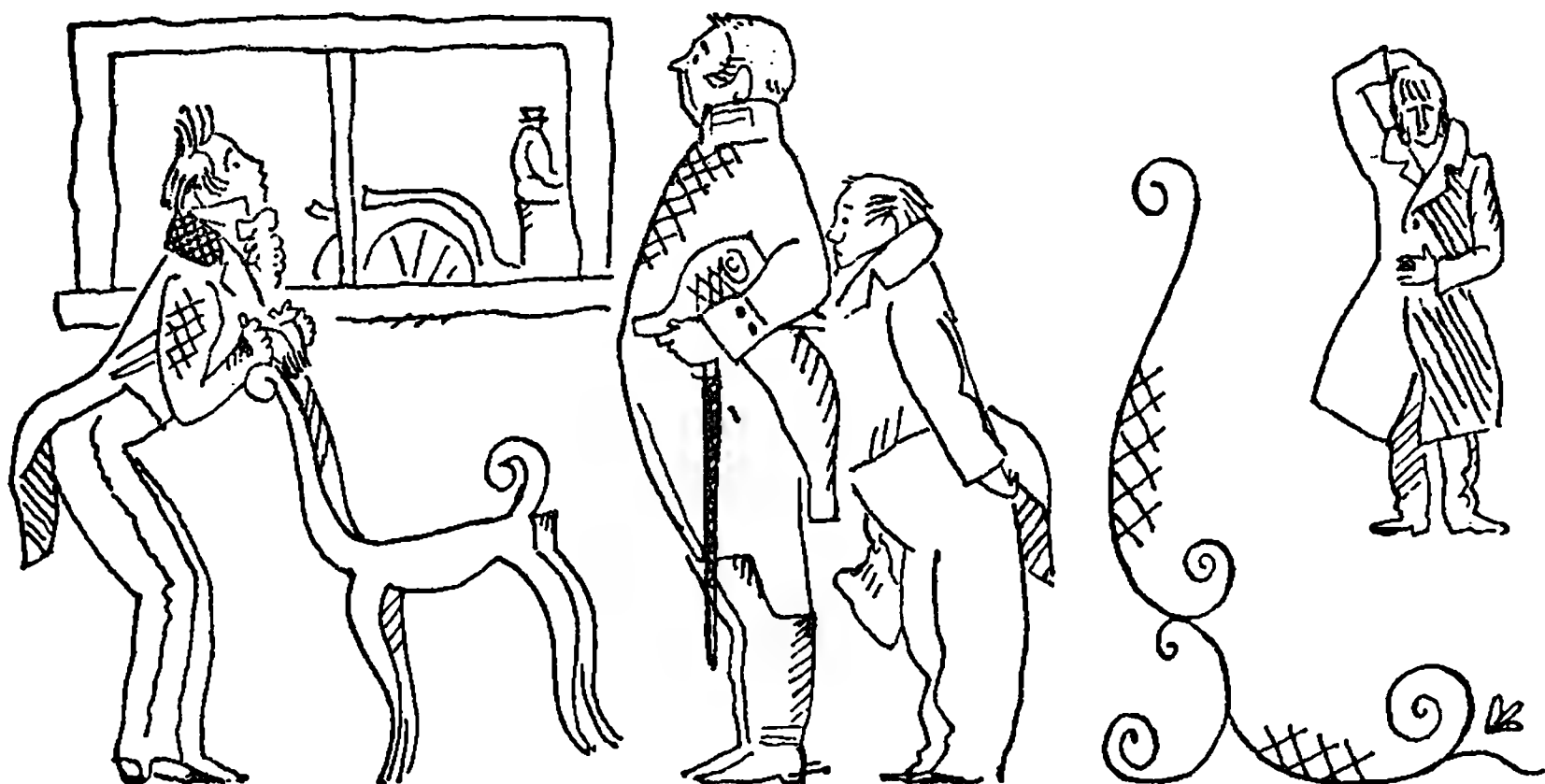
Голос городничего. После, после, матушка!

Анна Андреевна. После? Вот новости — после! Я не хочу после... Мне только одно слово: что он, полковник? А? (С пренебрежением.) Уехал! Я тебе вспомню это! А всё эта: «Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас». Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А всё проклятое кокетство; услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться: и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Всё равно, чрез два часа мы всё узнаем.

Анна Андреевна. Чрез два часа! покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что чрез месяц еще лучше можно узнать! (Свешивается в окно.) Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты всё бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, всё женихи сидят. А? Скоро уехали! да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай, сейчас! Слышишь, побегии расспроси, куда поехали; да расспроси хорошенько: что за приезжий, каков он — слышишь? Подсмотри в щелку и узнай всё, и глаза какие: черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее! (Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.)





ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

ЯВЛЕНИЕ I

О с и п лежит на барской постеле.

Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя. (*Дразнит его.*) «Эй, Осип, ступай, посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки — вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше; возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатах да ешь пироги. Ну, кто ж спорит: конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеатры, собаки тебе танцуют, и всё что хочешь. Разговаривает всё на тонкой де-

ликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: «Почтенный!»; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони всё видишь. Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу! (*Усмехается и трясет головою.*) Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит «вы». Наскучило идти — берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А всё он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь — и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз всё до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... Ей-богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублей полтора ста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего — нипочем идут. А отчего? — оттого, что делом не занимается: вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? (*Со вздохом.*) Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится: верно, это он идет. (*Поспешно схватывается с постели.*)

ЯВЛЕНИЕ II

О с и п и Х л е с т а к о в.

Х л е с т а к о в. На, прими это (*отдает фуражку и тросточку*). А, опять валялся на кровати?

О с и п. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?

Х л е с т а к о в. Врешь, валялся; видишь, вся склочена!

О с и п. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги: я и постою. Зачем мне ваша кровать?

Х л е с т а к о в (*ходит по комнате*). Посмотри, там в картузе табаку нет?

О с и п. Да где ж ему быть, табаку! Вы четвертого дня последнее выкурили.

Х л е с т а к о в (ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом). Послушай... эй, Осип!

О с и п. Чего изволите?

Х л е с т а к о в (громким, но не столь решительным голосом). Ты ступай туда.

О с и п. Куда?

Х л е с т а к о в (голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе). Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать.

О с и п. Да нет, я и ходить не хочу.

Х л е с т а к о в. Как ты смеешь, дурак?

О с и п. Да так; всё равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.

Х л е с т а к о в. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!

О с и п. «Еще, говорит, и к городничему пойду; третью неделю барин денег не платит. Вы-де с барином, говорит, мошенники, и барин твой — плут. Мы-де, говорит, таких шерамыжников и подлецов видали».

Х л е с т а к о в. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне всё это.

О с и п. Говорит: «Этак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобою, чтоб на съезжую да в тюрьму».

Х л е с т а к о в. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай скажи ему. Такое грубое животное!

О с и п. Да лучше я самого хозяина позову к вам.

Х л е с т а к о в. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи.

О с и п. Да, право, сударь...

Х л е с т а к о в. Ну ступай, черт с тобой! позови хозяина.

О с и п уходит.

ЯВЛЕНИЕ III

Х л е с т а к о в один.

Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит, — нет, черт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и всё обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай толь-

ко не привел. Какой скверный городишко! В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. (*Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни сё ни то.*) Никто не хочет идти.

ЯВЛЕНИЕ IV

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

С л у г а. Хозяин приказал спросить, что вам угодно?

Х л е с т а к о в. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?

С л у г а. Слава богу.

Х л е с т а к о в. Ну что, как у вас в гостинице? хорошо ли всё идет?

С л у г а. Да, слава богу, всё хорошо.

Х л е с т а к о в. Много проезжающих?

С л у г а. Да, достаточно.

Х л е с т а к о в. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, — видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.

С л у г а. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему.

Х л е с т а к о в. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю.

С л у г а. Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее». Таков уж ответ его был.

Х л е с т а к о в. Да ты урезонь, уговори его.

С л у г а. Да что ж ему такое говорить?

Х л е с т а к о в. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою... Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!

С л у г а. Пожалуй, я скажу.

ЯВЛЕНИЕ V

Хлестаков один.

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-ни-

будь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: «Кто такой, что такое?» А лакей входит (*вытягиваясь и представляя лакея*): «Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, как я...» (*Потирает руки и подшаркивает ножкой.*) Тьфу! (*плюет*) даже тошнит, как есть хочется.

ЯВЛЕНИЕ VI

Хлестаков, Осип, потом слуга.

Хлестаков. А что?

Осип. Несут обед.

Хлестаков (*прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле*). Несут! несут! несут!

Слуга (*с тарелками и салфеткой*). Хозяин в последний раз уж дает.

Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин... Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?

Слуга. Суп и жаркое.

Хлестаков. Как, только два блюда?

Слуга. Только-с.

Хлестаков. Вот вздор какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это в самом деле такое!.. Этого мало.

Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.

Хлестаков. А соуса почему нет?

Слуга. Соуса нет.

Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нет.

Хлестаков. Как нет?

Слуга. Да уж нет.

Хлестаков. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тех, которые почище-с.

Хлестаков. Ах ты, дурак!

Слуга. Да-с.

Хлестаков. Поросенок ты скверный... Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?

Слуга. Да уж известно, что не такие.

Хлестаков. Какие же?

Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.

Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. (*Наливает суп и ест.*) Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай мне другого.

Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков (*защищая рукою кушанье*). Ну, ну, ну... оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую... (*Ест.*) Боже мой, какой суп! (*Продолжает есть.*) Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу: какие-то перья плавают вместо масла. (*Режет курицу.*) Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось, Осип, возьми себе. (*Режет жаркое.*) Что это за жаркое? Это не жаркое.

Слуга. Да что ж такое?

Хлестаков. Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор зажаренный вместо говядины. (*Ест.*) Мошенники, канальи, чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. (*Ковыряет пальцем в зубах.*) Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! (*Вытирает рот салфеткой.*) Больше ничего нет?

Слуга. Нет.

Хлестаков. Канальи! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.

Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.

ЯВЛЕНИЕ VII

Хлестаков, потом Осип.

Хлестаков. Право, как будто и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.

Осип (*входит*). Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.

Хлестаков (*испугавшись*). Вот тебе на! Эка бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я, пожалуй... нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой... Нет, не хочу... Да что он? как он смеет, в самом деле?

Что я ему, разве купец или ремесленник? (*Бодрится и выпрямляется.*) Да я ему прямо скажу: «Как вы смеете, как вы...»

У дверей вертится ручка, Хлестаков бледнеет и съеживается.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Хлестаков, городничий и Добчинский. Городничий, вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.

Городничий (*немного оправившись и протянув руки по швам*). Желаю здравствовать!

Хлестаков (*кланяется*). Мое почтение!..

Городничий. Извините.

Хлестаков. Ничего...

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений...

Хлестаков (*сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко*). Да что ж делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни.

Добчинский выглядывает из дверей.

Он больше виноват: говядину мне подает такую твердую, как бревно; а суп — он черт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням... Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. За что ж я... Вот новость!

Городничий (*робея*). Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть — в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петербурге. (*Бодрится.*) Я, я, я...

Городничий (*в сторону*). О, господи ты боже, какой сердитый! Всё узнал, всё рассказали проклятые купцы!

Хлестаков (*храбрясь*). Да вот вы хоть тут со всей своей командой — не пойду! Я прямо к министру! (*Стучит кулаком по столу.*) Что вы? что вы?

Городничий (*вытянувшись и дрожа всем телом*). Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным человеком.

Х л е с т а к о в. Нет, я не хочу! Вот еще! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!

Б о б ч и н с к и й выглядывает в дверь и в испуге прячется.

Нет, благодарю покорно, не хочу.

Г о р о д н и ч и й (дрожа). По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточность состояния... Сами извольте посудить. Казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь, да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Х л е с т а к о в. Да что? мне нет никакого дела до них. (В размышлении.) Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеее высесть, до этого вам далеко... Вот еще! смотри ты какой!.. я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.

Г о р о д н и ч и й (в сторону). О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. (Вслух.) Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.

Х л е с т а к о в. Дайте, дайте мне займы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше.

Г о р о д н и ч и й (поднося бумажки). Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Х л е с т а к о в (принимая деньги). Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни... у меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.

Г о р о д н и ч и й (в сторону). Ну, слава богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыреста вернул.

Х л е с т а к о в. Эй, Осип!

О с и п входит.

Позови сюда трактирного слугу! (К городничему и Добчинскому.) А что ж вы стоите? Сделайте милость, садитесь. (Добчинскому.) Садитесь, прошу покорнейше.

Г о р о д н и ч и й. Ничего, мы и так постоим.

Х л е с т а к о в. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие, а то, призна-

юсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... (Добчинскому.) Садитесь!

Городничий и Добчинский садятся. Б о б ч и н с к и й выглядывает в дверь и прислушивается.

Г о р о д н и ч и й (в сторону). Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. (Вслух.) Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием,— и вот, как будто в награду, случай доставил такое приятное знакомство.

Х л е с т а к о в. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал, чем заплатить.

Г о р о д н и ч и й (в сторону). Да, рассказывай, не знал, чем заплатить! (Вслух.) Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?

Х л е с т а к о в. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.

Г о р о д н и ч и й (в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение). В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо остро! (Вслух.) Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь, с другой стороны, развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете?

Х л е с т а к о в. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.

Г о р о д н и ч и й (в сторону). Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика отца приплел! (Вслух.) И на долгое время изволите ехать?

Х л е с т а к о в. Право, не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности, душа моя жаждет просвещения.

Г о р о д н и ч и й (в сторону). Славно завязал узелок! Врет, врет — и нигде не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставляю побольше рассказать!

(Вслух.) Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. (Окидывает глазами комнату.) Кажется, эта комната несколько сыра?

Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал: как собаки, кусают.

Городничий. Скажите! такой просвещенный гость, и терпит — от кого же? — от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате?

Хлестаков. Да, совсем темно, хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почистить, или придет фантазия сочинить что-нибудь, — не могу: темно, темно.

Городничий. Осмелюсь ли просить вас... но нет, я недостойн.

Хлестаков. А что?

Городничий. Нет, нет, недостойн, недостойн!

Хлестаков. Да что ж такое?

Городничий. Я бы дерзнул... У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная... Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь... Не рассердитесь — ей-богу, от простоты души предложил.

Хлестаков. Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.

Городничий. А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня уже такой нрав: гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.

Хлестаков. Покорно благодарю. Я сам тоже — я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение, уважение и преданность.

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь.

Слуга. Изволили спрашивать?

Хлестаков. Да; подай счет.

Слуга. Я уж давеча подал вам другой счет.

Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?

Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли всё в долг брать.

Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. Всего сколько следует?

Городничий. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. (Слуге.) Пошел вон, тебе пришлют.

Хлестаков. В самом деле, и то правда. (Прячет деньги.)

Слуга уходит. В дверь выглядывает Бобчинский.

ЯВЛЕНИЕ X

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то — богоугодные и другие?

Хлестаков. А что там такое?

Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел... порядок какой...

Хлестаков. С большим удовольствием, я готов.

Бобчинский выставляет голову в дверь.

Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы — рассмотрите, как у нас содержатся преступники.

Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.

Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены: в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?

Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.

Городничий (Добчинскому). Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.

Добчинский. Ничего, я так.

Городничий (тихо Добчинскому). Слушайте: вы побегите, да бегом, во все лопатки, и снесите две записки: одну в богоугодное заведение Землянике, а другую жене. (Хлестакову.) Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присут-

ствии одну строчку к жене, чтоб она приготовилась к принятию почтенного гостя?

Хлестаков. Да зачем же?.. А впрочем, тут и чернила, только бумаги — не знаю... Разве на этом счете?

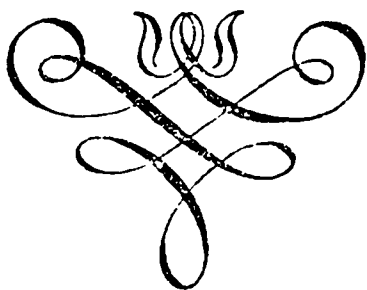
Городничий. Я здесь напишу. *(Пишет и в то же время говорит про себя.)* А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки-толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера: неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. *(Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.)*

Хлестаков. Что? не ушиблись ли вы где-нибудь?

Бобчинский. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх носа небольшая нашлёпка! Я забегу к Христиану Ивановичу: у него-с есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.

Городничий *(делая Бобчинскому укорительный знак Хлестакову)*. Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйста! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. *(Осипу.)* Любезнейший, ты перенеси всё ко мне, к городничему — тебе всякий покажет. Прошу покорнейше! *(Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому.)* Уж и вы! не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает что такое. *(Уходит; за ним Бобчинский.)*

Занавес опускается.





ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната первого действия.

ЯВЛЕНИЕ I

Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.

Анна Андреевна. Ну вот, уж целый час дожидаемся, а всё ты с своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет, еще нужно копаться... Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло всё.

Марья Антоновна. Да, право, маменька, чрез минуты две всё узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. *(Всматривается в окно и вскрикивает.)* Ах, маменька, маменька! кто-то идет, вон в конце улицы.

Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста... во фраке... Кто ж это? а? Это, однако ж, досадно! Кто ж бы это такой был?

Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька.

Анна Андреевна. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое!.. Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй, вы, ступайте сюда! скорее!

Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.

А н н а А н д р е е в н а. Ну, вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе — не Добчинский.

М а р ь я А н т о н о в н а. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский.

А н н а А н д р е е в н а. Ну да, Добчинский, теперь я вижу, — из чего же ты споришь? (Кричит в окно.) Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда — всё равно. Что? очень строгий? А? А муж, муж? (Немного отступя от окна, с досадою.) Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

ЯВЛЕНИЕ II

Т е ж е и Д о б ч и н с к и й.

А н н а А н д р е е в н а. Ну, скажите, пожалуйста: ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека: все вдруг выбежали, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизаньку, а вы вот как со мною поступили!

Д о б ч и н с к и й. Ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевести. Мое почтение, Марья Антоновна!

М а р ь я А н т о н о в н а. Здравствуйте, Петр Иванович!

А н н а А н д р е е в н а. Ну что? Ну рассказывайте: что и как там?

Д о б ч и н с к и й. Антон Антонович прислал вам записочку.

А н н а А н д р е е в н а. Ну, да кто он такой? генерал?

Д о б ч и н с к и й. Нет, не генерал, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.

А н н а А н д р е е в н а. А! так это тот самый, о котором было писано мужу.

Д о б ч и н с к и й. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.

А н н а А н д р е е в н а. Ну, расскажите: что и как?

Д о б ч и н с к и й. Да, слава богу, всё благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с; сердился и говорил, что и в гостинице всё нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме; но потом, как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава богу, всё пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения... А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.

А н н а А н д р е е в н а. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите?

Д о б ч и н с к и й. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.

А н н а А н д р е е в н а. Ну, что ж... это всё, однако ж, вздор. Расскажите, каков он собою! что, стар или молод?

Д о б ч и н с к и й. Молодой, молодой человек; лет двадцати трех; а говорит совсем так, как старик. «Извольте, говорит, я поеду и туда, и туда»... *(размахивает руками)* так это всё славно. «Я, говорит, и написать и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно».

А н н а А н д р е е в н а. А собой каков он: брюнет или блондин?

Д о б ч и н с к и й. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки, так в смущенье даже приводят.

А н н а А н д р е е в н а. Что тут пишет он мне в записке? *(Читает.)* «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...» *(Останавливается.)* Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?

Д о б ч и н с к и й. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге, по скорости: там какой-то счет был написан.

А н н а А н д р е е в н а. А, да, точно. *(Продолжает читать.)* «Ю, уповая на милосердие божие, кажется, всё будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский...» Ах, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей! Эй, кто там? Мишка!

Д о б ч и н с к и й *(бежит и кричит в дверь)*. Мишка! Мишка! Мишка!

М и ш к а входит.

А н н а А н д р е е в н а. Послушай: беги к купцу Абдулину... постой, я дам тебе записочку *(садится к столу, пишет записку и между тем говорит)*: эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.

Д о б ч и н с к и й. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обзореваает.

А н н а А н д р е е в н а. Ступайте, ступайте! я не держу вас.

ЯВЛЕНИЕ III

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмел. Тебе приличнее всего надеть твоё голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь — лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!

Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?

Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.

Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму?

Марья Антоновна. Ах, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценою.)* Этакое вдруг вообразится! червонная дама! Бог знает что такое!

По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.

ЯВЛЕНИЕ IV

Мишка и Осип.

Осип. Куда тут?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал?

Осип. Какой генерал?

Мишка. Да барин ваш.

Осип. Барин? Да какой он генерал?

Мишка. А разве не генерал?

Осип. Генерал, да только с другой стороны.

М и ш к а. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала?

О с и п. Больше.

М и ш к а. Вишь ты как! то-то у нас сумятицу подняли.

О с и п. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.

М и ш к а. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.

О с и п. Ну, а простова-то что у вас есть?

М и ш к а. Щи, каша да пироги.

О с и п. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, всё будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?

М и ш к а. Есть.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

ЯВЛЕНИЕ V

Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков; за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку — они бегут и снимают ее, толкая друг друга впопыхах.

Х л е с т а к о в. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим всё в городе. В других городах мне ничего не показывали.

Г о р о д н и ч и й. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.

Х л е с т а к о в. Завтрак был очень хорош; я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой?

Г о р о д н и ч и й. Нарочно для такого приятного гостя.

Х л е с т а к о в. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч (подбегая). Лабарданс-с.

Х л е с т а к о в. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Так точно-с, в богоугодном заведении.

Х л е с т а к о в. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? там их, кажется, немного.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор как я принял начальство,— может быть, вам покажется даже невероятным,— все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Г о р о д н и ч и й. Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки... словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение богу, всё идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, всё думаешь: «Господи боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольным?..» Наградит ли оно или нет — конечно, в его воле; по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало... то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью всё прах и суета.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч (в сторону). Эка, бездельник, как расписывает! Дал же бог такой дар!

Х л е с т а к о в. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стихишки выкинутся.

Б о б ч и н с к и й (Добчинскому). Справедливо, всё справедливо, Петр Иванович! Замечания такие... видно, что наукам учился.

Х л е с т а к о в. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?

Г о р о д н и ч и й (в сторону). Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! (Вслух.) Боже сохрани! здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно; и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю ночь снились проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?

Л у к а Л у к и ч (в сторону). А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей.

Г о р о д н и ч и й. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.

Х л е с т а к о в. Ну, нет, вы напрасно, однако же... Всё зави-

сит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от трех углов... ну, тогда конечно... Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Осмелюсь представить семейство мое: жена и дочь.

Хлестаков (*раскланиваясь*). Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.

Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.

Хлестаков (*рисуюсь*). Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить, для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастье; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет... Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.

Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить, comparez vous¹, в свете, и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества... Если б, признаюсь, не такой случай, который меня... (*посматривает на Анну Андреевну и рисует-ся перед ней*) так вознаградил за всё...

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.

Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.

Анна Андреевна. Как можно-с. Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.

Анна Андреевна. Я живу в деревне...

Хлестаков. Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец,

¹ Вы меня понимаете.

обедать!» Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так! А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только — тр, тр... пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». (Городничему.) Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вместе: { Городничий. Чин такой, что еще можно по-
стоять.
Артемий Филиппович. Мы постоим.
Лука Лукич. Не извольте беспокоиться!

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну, что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё...» Большой оригинал.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды» и «Московский телеграф»... всё это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение.

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

А н н а А н д р е е в н а. Я сейчас догадалась.

М а р ь я А н т о н о в н а. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.

А н н а А н д р е е в н а. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.

Х л е с т а к о в. Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

А н н а А н д р е е в н а. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Х л е с т а к о в. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. (*Обращаясь ко всем.*) Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

А н н а А н д р е е в н а. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!

Х л е с т а к о в. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж — скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель...» Что ж я вру — я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкуются и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...

Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев.

Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, — куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Какое положение? — я спрашиваю. «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате, хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список тоже... «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо остро! уж я...» И точно: бывало, как про-

хожу через департамент,— просто землетрясение, всё дрожит и трясется, как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... *(Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)*

Г о р о д н и ч и й *(подходя и трясясь всем телом, силится выговорить)*. А ва-ва-ва... ва...

Х л е с т а к о в *(быстрым, отрывистым голосом)*. Что такое?

Г о р о д н и ч и й. А ва-ва-ва... ва...

Х л е с т а к о в *(таким же голосом)*. Не разберу ничего, всё вздор.

Г о р о д н и ч и й. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?... вот и комната, и всё, что нужно.

Х л е с т а к о в. Вздор — отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош... я доволен, я доволен. *(С декламацией.)* Лабардан! лабардан! *(Входит в боковую комнату, за ним городничий.)*

ЯВЛЕНИЕ VII

Т е ж е, кроме Хлестакова и городничего.

Б о б ч и н с к и й *(Добчинскому)*. Вот это, Петр Иванович, человек-то! вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?

Д о б ч и н с к и й. Я думаю, чуть ли не генерал.

Б о б ч и н с к и й. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. Слышали: государственный-то совет как прижал? Пойдем расскажем поскорее Аммосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!

Д о б ч и н с к и й. Прощайте, кумушка!

Оба уходят.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч *(Луке Лукичу)*. Страшно просто. А отчего, и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится да в Петербург махнет донесение? *(Уходит в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся:)* Прощайте, сударыня!

ЯВЛЕНИЕ VIII

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!

Марья Антоновна. Ах, милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и всё это такое... Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила — всё на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!

Анна Андреевна. Пожалуйста, с своим вздором по-
дальше! Это здесь вовсе неуместно.

Марья Антоновна. Нет, маменька, право!

Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, всё смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.

Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее!»

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и городничий.

Городничий (*входит на цыпочках*). Чш... ш...

Анна Андреевна. Что?

Городничий. И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? (*Задумывается.*) Да как же и не быть правде? Подгулявши, человек всё несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного. Да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит... Так вот, право, чем больше думаешь... черт его знает, не знаешь, что и делается в голове; просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости; я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.

Городничий. Ну, уж вы — женщины! Всё кончено,

одного этого слова достаточно! Вам всё — финтирлюшки! Вдруг брякнут ни из того ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.

А н н а А н д р е е в н а. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое... (*Посматривает на дочь.*)

Г о р о д н и ч и й (*один*). Ну, уж с вами говорить!.. Эка в самом деле оказия! До сих пор не могу очнуться от страха. (*Отворяет дверь и говорит в дверь.*) Мишка, позови квартальных Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. (*После небольшого молчания.*) Чудно всё завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький — как его узнаешь, кто он! Еще военный всё-таки кажется из себя, а как наденет фракшишку — ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире, заламливал такие аллегории и екивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот наконец и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.

ЯВЛЕНИЕ X

Т е ж е и О с и п. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.

А н н а А н д р е е в н а. Подойди сюда, любезный!

Г о р о д н и ч и й. Чш!.. что? что? спит?

О с и п. Нет еще, немножко потягивается.

А н н а А н д р е е в н а. Послушай, как тебя зовут?

О с и п. Осип, сударыня.

Г о р о д н и ч и й (*жене и дочери*). Полно, полно вам! (*Осипу.*) Ну что, друг, тебя накормили хорошо?

О с и п. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.

А н н а А н д р е е в н а. Ну что, скажи: к твоему барину, слишком, я думаю, много ездит графов и князей?

О с и п (*в сторону*). А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. (*Вслух.*) Да, бывают и графы.

М а р ь я А н т о н о в н а. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!

А н н а А н д р е е в н а. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он...

Г о р о д н и ч и й. Да перестаньте, пожалуйста! Вы этакими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг?..

А н н а А н д р е е в н а. А чин какой на твоём барине?

О с и п. Чин обыкновенно какой.

Г о р о д н и ч и й. Ах, боже мой, вы всё с своими глупыми расспросами! не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин?.. строг? любит этак распекать или нет?

О с и п. Да, порядок любит. Уж ему чтоб все было в исправности.

Г о р о д н и ч и й. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что...

А н н а А н д р е е в н а. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит, или...

Г о р о д н и ч и й. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека... (К Осипу.) Ну, что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик — оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай.

О с и п (принимая деньги). А покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.

Г о р о д н и ч и й. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг...

А н н а А н д р е е в н а. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?

М а р ь я А н т о н о в н а. Осип, душенька! какой миленький носик у твоего барина!..

Г о р о д н и ч и й. Да постойте, дайте мне!.. (К Осипу.) А что, друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть, что ему в дороге больше нравится?

О с и п. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.

Г о р о д н и ч и й. Хорошее?

О с и п. Да, хорошее. Вот уж на что я, крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу! Бывало, заедем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» — «Плохо, ваше высокоблагородие!» — «Э, говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду». — «А, — думаю себе (махнув рукою), — бог с ним! я человек простой».

Г о р о д н и ч и й. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.

О с и п. За что жалуется, ваше высокоблагородие? (Прячет деньги.) Разве уж выпью за ваше здоровье.

А н н а А н д р е е в н а. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь.

М а р ь я А н т о н о в н а. Осип, душенька, поцелуй своего барина!

Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.

Г о р о д н и ч и й. Чш! (Поднимается на цыпочки; вся сцена

вполголоса.) Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! полно уж вам...

А н н а А н д р е е в н а. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.

Г о р о д н и ч и й. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только да послушай — и уши потом заткнешь. (Обращаясь к Осипу.) Ну, друг...

ЯВЛЕНИЕ XI

Т е ж е, Держиморда и Свистунов.

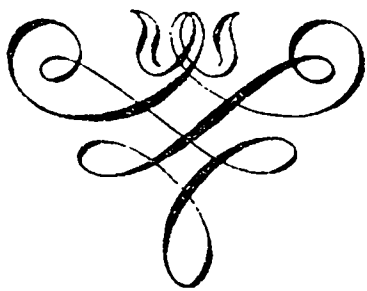
Г о р о д н и ч и й. Чш! экие косолапые медведи — стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?

Д е р ж и м о р д а. Был по приказанию...

Г о р о д н и ч и й. Чш! (Закрывает ему рот.) Эк как каркнула ворона! (Дразнит его.) Был по приказанию! Как из бочки, так рычит! (К Осипу.) Ну, друг, ты ступай приготавливай там, что нужно для барина. Всё, что ни есть в доме, требуй.

О с и п уходит.

А вы — стоять на крыльце, и ни с места! И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! (Показывает ногою.) Слышите? Чш... чш... (Уходит на цыпочках вслед за квартальными.)





ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Та же комната в доме городничего.

ЯВЛЕНИЕ I

Входят осторожно, почти на цыпочках: Аммос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский, в полном параде и мундирах. Вся сцена происходит вполголоса.

Аммос Федорович (*строит всех полукружием*). Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку! Бог с ним: и во дворец ездит, и государственный совет распекает! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забежите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут.

Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках.

Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.

Аммос Федорович. А что именно?

Артемий Филиппович. Ну известно что.

Аммос Федорович. Подсунуть?

Артемий Филиппович. Ну да, хоть и подсунуть.

Аммос Федорович. Опасно, черт возьми! раскричится: государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?

П о ч т м е й с т е р. Или же: «вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие».

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Смотрите, чтоб он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше. Слушайте: эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того... как там следует — чтобы и уши не слышали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.

Л у к а Л у к и ч. Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет и язык, как в грязь, завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте!

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке...

В с е (пристают к нему). Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении... Нет, Аммос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!.. Нет, Аммос Федорович!

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Отвяжитесь, господа!

В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат наперерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются вполголоса восклицания:

Г о л о с Б о б ч и н с к о г о. Ой! Петр Иванович, Петр Иванович! наступили на ногу!

Г о л о с З е м л я н и к и. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние — совсем прижали!

Выхватываются несколько восклицаний: «Ай! ай!» — наконец все выпираются, и комната остается пуста.

ЯВЛЕНИЕ II

Х л е с т а к о в один, выходит с заспанными глазами.

Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? даже вспотел. Кажется, они вчера мне под-

сунули чего-то за завтраком: в голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностию проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничего очень недурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.

ЯВЛЕНИЕ III

Хлестаков и Аммос Федорович.

Аммос Федорович (*входя и останавливаясь, про себя*). Боже, боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает. (*Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.*) Имею честь представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский ассессор Ляпкин-Тяпкин.

Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?

Аммос Федорович. С восьмьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.

Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьей?

Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства. (*В сторону.*) А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.

Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так.

Аммос Федорович (*высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону*). Господи боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.

Хлестаков. Что это у вас в руке?

Аммос Федорович (*потерявшись и роняя на пол ассигнации*). Ничего-с.

Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммос Федорович (*дрожа всем телом*). Никак нет-с! (*В сторону.*) О боже! вот уж я и под судом! и тележку подвезли схватить меня!

Хлестаков (*подымая*). Да, это деньги.

Аммос Федорович (*в сторону*). Ну, всё кончено — пропал! пропал!

Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне взаймы.

Аммос Федорович (*поспешно*). Как же-с, как же-с... с большим удовольствием. (*В сторону.*) Ну смелее, смелее! Вывози, пресвятая мать!

Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да сё... Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Помилуйте, как можно! и без того это такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству... постараюсь заслужить... (*Приподымается со стула, вытянувшись и руки по швам.*) Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказанья?

Х л е с т а к о в. Какого приказанья?

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?

Х л е с т а к о в. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.

А м м о с Ф е д о р о в и ч (*раскланиваясь и уходя, в сторону*). Ну, город наш!

Х л е с т а к о в (*по уходе его*). Судья — хороший человек!

ЯВЛЕНИЕ IV

Х л е с т а к о в и почтмейстер, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.

П о ч т м е й с т е р. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.

Х л е с т а к о в. А, милости просим! Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?

П о ч т м е й с т е р. Так точно-с.

Х л е с т а к о в. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно — ну что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?

П о ч т м е й с т е р. Совершенная правда.

Х л е с т а к о в. Ведь это только в столице бонтон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?

П о ч т м е й с т е р. Так точно-с. (*В сторону.*) А он, однако ж, ничуть не горд: обо всем расспрашивает.

Х л е с т а к о в. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?

П о ч т м е й с т е р. Так точно-с.

Х л е с т а к о в. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, — не правда ли?

П о ч т м е й с т е р. Совершенно справедливо.

Х л е с т а к о в. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. (*Глядя в глаза ему, говорит про себя.*) А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы. (*Вслух.*) Какой странный со мною случай: в дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

П о ч т м е й с т е р. Почему же? почту за величайшее счастье. Вот-с, извольте. От души готов служить.

Х л е с т а к о в. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли?

П о ч т м е й с т е р. Так точно-с. (*Встает, вытягивается и придерживает шпагу.*) Не смея долее беспокоить своим присутствием... Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

Х л е с т а к о в. Нет, ничего.

П о ч т м е й с т е р раскланивается и уходит.

(*Раскуривая сигарку.*) Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере услужлив. Я люблю таких людей.

ЯВЛЕНИЕ V

Х л е с т а к о в и Л у к а Л у к и ч, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух: «Чего робеешь?»

Л у к а Л у к и ч (*вытягиваясь не без трепета и придерживая шпагу*). Имею честь представиться: смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.

Х л е с т а к о в. А, милости просим! Садитесь, садитесь! Не хотите ли сигарку? (*Подает ему сигару.*)

Л у к а Л у к и ч (*про себя, в нерешимости*). Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?

Х л е с т а к о в. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка, просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. (*Подает ему свечу.*)

Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.

Да не с того конца!

Л у к а Л у к и ч (*от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя*). Черт побери всё! сгубила проклятая робость!

Х л е с т а к о в. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь: это моя слабость. Вот еще насчет женского полу, никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся — брюнетки или блондинки?

Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.

Нет, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукич. Не смею знать.

Хлестаков. Нет, нет, не отговаривайтесь! Мне хочется узнать непременно ваш вкус.

Лука Лукич. Осмелюсь доложить... *(В сторону.)* Ну, и сам не знаю, что говорю!

Хлестаков. А! а! не хотите сказать. Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую заглазничку. Признайтесь, сделала?

Лука Лукич молчит.

А! а! покраснели. Видите! видите! Отчего ж вы не говорите?

Лука Лукич. Оробел, ваше блà... преос... сият... *(В сторону.)* Продал проклятый язык! продал!

Хлестаков. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?

Лука Лукич. Так точно-с.

Хлестаков. Вот со мной престранный случай: в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей займа?

Лука Лукич *(хватаясь за карманы, про себя)*. Вот-те штука, если нет! Есть, есть. *(Вынимает и подает, дрожа, ассигнации.)*

Хлестаков. Покорнейше благодарю.

Лука Лукич *(вытягиваясь и придерживая шпагу)*. Не смею долее беспокоить присутствием.

Хлестаков. Прощайте.

Лука Лукич *(летит вон почти бегом и говорит в сторону)*. Ну, слава богу! авось не заглянет в классы!

ЯВЛЕНИЕ VI

Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.

Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Рад стараться на службу отечеству.

Х л е с т а к о в. Я — признаюсь, это моя слабость, — люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Очень может быть. (Помолчав.) Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. (Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.) Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются... извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами, — конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, — поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть; и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов... И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.

Х л е с т а к о в. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Вот и смотритель здешнего училища... Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я всё это изложу лучше на бумаге?

Х л е с т а к о в. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, этак, люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное... Как ваша фамилия? я всё позабываю.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Земляника.

Х л е с т а к о в. А, да! Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Как же-с! пятеро; двое уже взрослых.

Х л е с т а к о в. Скажите, взрослых! А как они... как они того?..

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. То есть не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?

Х л е с т а к о в. Да, как их зовут?

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.

Х л е с т а к о в. Это хорошо.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Не смея беспокоить своим

присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности... (*Раскланивается с тем, чтобы уйти.*)

Хлестаков (*проводя*). Нет, ничего. Это всё очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время... Я это очень люблю. (*Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.*) Эй вы! как вас? я всё позабываю, как ваше имя и отчество.

Артеми́й Филиппович. Артеми́й Филиппович.

Хлестаков. Сделайте милость, Артеми́й Филиппович, со мной странный случай: в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы — рублей четыреста?

Артеми́й Филиппович. Есть.

Хлестаков. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.

ЯВЛЕНИЕ VII

Хлестаков, Бобчинский и Добчинский.

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр Иванов сын Бобчинский.

Добчинский. Помещик Петр Иванов сын Добчинский.

Хлестаков. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали? Что, как ваш нос?

Бобчинский. Слава богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.

Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад... (*Вдруг и отрывисто.*) Денег нет у вас?

Бобчинский. Денег? как денег?

Хлестаков (*громко и скоро*). Взаймы рублей тысячу.

Бобчинский. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?

Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.

Хлестаков. Да, ну если тысячи нет, так рублей сто.

Бобчинский (*шаря в карманах*). У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня всего сорок ассигнациями.

Добчинский (*смотря в бумажник*). Двадцать пять рублей всего.

Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович! У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха, так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.

Добчинский. Нет, право, и в прорехе нет.

Хлестаков. Ну, всё равно. Я ведь только так. Хорошо,

пусть будет шестьдесят пять рублей. Это всё равно. (*Принимает деньги.*)

Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.

Хлестаков. А что это?

Добчинский. Дело очень тонкого свойства-с: старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака.

Хлестаков. Да?

Добчинский. То есть, оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и всё это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.

Хлестаков. Хорошо, пусть называется! Это можно.

Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой... большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и, если где попадется ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с. Вот и Петр Иванович знает.

Бобчинский. Да, большие способности имеет.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить... я надеюсь... всё это будет сделано, да, да... (*Обращаясь к Бобчинскому.*) Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?

Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков. А что, о чем?

Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Хлестаков. Ничего, ничего! Мне очень приятно. (*Вы провожает их.*)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Хлестаков один.

Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки — пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила!

Осип выглянул из дверей, произнесши: «Сейчас».

А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, — берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди; это с их стороны хорошая черта, что они мне дали займы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи триста; это от почтмейстера триста, шестьсот, семьсот, восемьсот... Какая замасленная бумажка! Восемьсот, девятьсот... Ого! за тысячу перевалило... Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! Посмотрим, кто кого!

ЯВЛЕНИЕ IX

Хлестаков и Осип с чернилами и бумагой.

Хлестаков. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? *(Начинает писать.)*

Осип. Да, слава богу! Только знаете что, Иван Александрович?

Хлестаков *(пишет.)* А что?

Осип. Уезжайте отсюда! Ей-богу, уже пора.

Хлестаков *(пишет.)* Вот вздор! Зачем?

Осип. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька — ну, и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровён час, какой-нибудь другой наедет... ей-богу, Иван Александрович! А лошади тут славные — так бы закатали!..

Хлестаков *(пишет.)* Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.

Осип. Да что завтра! Ей-богу, поедem, Иван Александрович! Оно хоть и большая честь вам, да всё, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли... И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатали славно! А лошадей бы важных здесь дали.

Хлестаков *(пишет.)* Ну хорошо. Отнеси только наперед

это письмо; пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтоб лошади хорошие были! Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому; чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели!.. *(Продолжает писать.)* Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху...

О с и п. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.

Х л е с т а к о в *(пишет)*. Хорошо. Принеси только свечу.

О с и п *(выходит и говорит за сценой)*. Эй, послушай, брат! отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб всё живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.

Х л е с т а к о в *(продолжает писать)*. Любопытно знать, где он теперь живет — в Почтамтской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и не доплачивать. Напишу наудалую в Почтамтскую. *(Свертывает и надписывает.)*

О с и п приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморды: «Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать».

Х л е с т а к о в *(дает Осипу письмо)*. На, отнеси.

Г о л о с а к у п ц о в. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за делом пришли.

Г о л о с Д е р ж и м о р д ы. Пошел, пошел! Не принимает, спит.

Шум увеличивается.

Х л е с т а к о в. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.

О с и п *(глядя в окно)*. Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.

Х л е с т а к о в *(подходя к окну)*. А что вы, любезные?

Г о л о с а к у п ц о в. К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.

Х л е с т а к о в. Впустите их, впустите! пусть идут. Осип, скажи им: пусть идут.

О с и п уходит.

(Принимает из окна просьбы, разворачивает одну из них и читает:) «Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина...» Черт знает что: и чина такого нет!

ЯВЛЕНИЕ X

Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.

Хлестаков. А что вы, любезные?

Купцы. Челом бьем вашей милости!

Хлестаков. А что вам угодно?

Купцы. Не погуби, государь! Обиждательство терпим совсем понапрасну.

Хлестаков. От кого?

Один из купцов. Да всё от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-богу! Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем: что следует на платья супружнице его и дочке — мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, всё берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконце: снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.

Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!

Купцы. Ей-богу! такого никто не запомнит городничего. Так всё и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь.

Хлестаков. Да это просто разбойник!

Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. «Я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать — это, говорит, запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»

Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь.

Купцы. Да уж куда милость твоя ни запровадит его, всё будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.

Хлестаков. Нет, вы этого не думайте: я не беру совсем никаких взяток. Вот, если бы вы, например, предложили мне займы рублей триста — ну тогда совсем другое дело: займы я могу взять.

Купцы. Изволь, отец наш! (*Вынимают деньги.*) Да что триста! Уж лучше пятьсот возьми, помоги только.

Хлестаков. Извольте: займы — я ни слова, я возьму.

Купцы (*подносят ему на серебряном подносе деньги*). Уж пожалуйста, и подносик вместе возьмите.

Хлестаков. Ну и подносик можно.

Купцы (*кланяясь*). Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.

Хлестаков. О нет, я взятки никаких...

Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге всё пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай всё! всё пойдет впрок. Что там? веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно.

Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.

Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь.

Купцы уходят. Слышен голос женщины: «Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!»

Кто там? (*Подходит к окну.*) А, что ты, матушка?

Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу! Повели, государь, выслушать.

Хлестаков (*в окно*). Пропустить ее.

ЯВЛЕНИЕ XI

Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.

Слесарша (*кланяясь в ноги*). Милости прошу...

Унтер-офицерша. Милости прошу...

Хлестаков. Да что вы за женщины?

Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой...

Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу: на городничего челом бью! Пошли ему бог всякое зло! Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было!

Хлестаков. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! да и по закону нельзя: он женатый.

Хлестаков. Как же он мог это сделать?

Слесарша. Сделал, мошенник, сделал — побей бог его и на том и на этом свете! Чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если жив у него, то чтоб и он, каналья, окошел или поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки; так он ко мне. «На что, говорит, тебе муж? он уж тебе не годится». Да я-то знаю — годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! «Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да всё равно, говорит, он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекруты». Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света божьего! А если есть теща, то чтоб и теще...

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? (*Вы провожает старуху.*)

Слесарша (*уходя*). Не позабудь, отец наш! Будь милостив!

Унтер-офицерша. На городничего, батюшка, пришла...

Хлестаков. Ну да что, зачем? говори в коротких словах.

Унтер-офицерша. Высек, батюшка!

Хлестаков. Как?

Унтер-офицерша. По ошибке, отец мой! Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня. Да так отрапортовали: два дни сидеть не могла.

Хлестаков. Так что ж теперь делать?

Унтер-офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь оченьгодились.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Ступайте, ступайте! я распоряджусь.

В окно высовываются руки с просьбами.

Да кто там еще? (*Подходит к окну.*) Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! (*Отходя.*) Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип!

Осип (*кричит в окно*). Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!

Дверь отворяется и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небритою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею в перспективе показывается несколько других.

Пошел, пошел! чего лезешь? (*Упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, хлопнув за собою дверь.*)

ЯВЛЕНИЕ XII

Хлестаков и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ах!

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.

Хлестаков (*рисуетя*). Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти?

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька...

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.

Хлестаков (*рисуетя*). А ваши глаза лучше, нежели важные дела... Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принести удовольствие.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а трон.

Марья Антоновна. Право, я не знаю... мне так нужно было идти. (*Села.*)

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек... Сегодня какая странная погода!

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы всё эдакое говорите... Я бы вас попросила, чтоб вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.

Хлестаков. Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам?

Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие — хорошие, новые.

Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.

Марья Антоновна. Ну скажите же, какие же вы мне напишете?

Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю их...

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек!..» Ну и другие... теперь не могу припомнить; впрочем, это всё ничего. Я вам лучше вместо этого представляю мою любовь, которая от вашего взгляда... (Придвигая стул.)

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь... (Отдвигает стул.)

Хлестаков (придвигая стул). Отчего ж вы отдвигаете свой стул? нам лучше будет сидеть близко друг к другу.

Марья Антоновна (отдвигаясь). Для чего ж близко? всё равно и далеко.

Хлестаков (придвигаясь). Отчего ж далеко? всё равно и близко.

Марья Антоновна (отдвигается). Да к чему ж это?

Хлестаков (придвигаясь). Да ведь это вам кажется только, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия.

Марья Антоновна (смотрит в окно). Что это там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?

Хлестаков (целует ее в плечо и смотрит в окно). Это сорока.

Марья Антоновна (встает в негодовании). Нет, это уж слишком... Наглость такая!..

Хлестаков (удерживая ее). Простите, сударыня: я это сделал от любви, точно от любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку... (Силится уйти.)

Хлестаков (продолжая удерживать ее). Из любви, право, из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения. (Падает на колени.) Простите же, простите! Вы видите, я на коленях.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна (увидев Хлестакова на коленях). Ах, какой пассаж!

Хлестаков (вставая). А, черт возьми!

Анна Андреевна (дочери). Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?

Марья Антоновна. Я, маменька...

Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слышишь: прочь, прочь! И не смей показываться на глаза.

Марья Антоновна уходит в слезах.

Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление...

Хлестаков (в сторону). А она тоже очень аппетитна, очень недурна. (Бросается на колени.) Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.

Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем нечист.

Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях! Я хочу знать, что такое мне суждено: жизнь или смерть.

Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?

Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем.

Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия! и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу!

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Марья Антоновна, вдруг вбегает.

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы... (Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает.) Ах, какой пассаж!

Анна Андреевна. Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.

Марья Антоновна (сквозь слезы). Я, право, маменька, не знала...

Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? не нужно тебе глядеть на

них. Тебе есть примеры другие — перед тобою мать твоя. Вот каким примерам ты должна следовать.

Хлестаков (схватывая за руку дочь). Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь!

Анна Андреевна (с изумлением). Так вы в нее?..

Хлестаков. Решите: жизнь или смерть?

Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь: из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала как сумасшедшая. Ну вот, право, сто́ит, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастья.

Марья Антоновна. Не буду, маменька. Право, вперед не буду.

ЯВЛЕНИЕ XV

Те же и городничий впопыхах.

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

Хлестаков. Что с вами?

Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша нагала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла.

Хлестаков. Провались унтер-офицерша — мне не до нее!

Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны... им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.

Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.

Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее.

Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен.

Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорят тебе?

Хлестаков. Я не шутя вам говорю... Я могу от любви свихнуть с ума.

Городничий. Не смею верить, недостойн такой чести.

Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я черт знает что готов...

Г о р о д н и ч и й. Не могу верить: изволите шутить, ваше превосходительство!

А н н а А н д р е е в н а. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну, когда тебе толкуют?

Г о р о д н и ч и й. Не могу верить.

Х л е с т а к о в. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на всё: когда застрелюсь, вас под суд отдадут.

Г о р о д н и ч и й. Ах, боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться! извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь... я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.

А н н а А н д р е е в н а. Ну благословляй!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Г о р о д н и ч и й. Да благословит вас бог, а я не виноват!

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной. Городничий смотрит на них.

Что за черт! в самом деле! (*протирает глаза.*) Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! (*Вскрикивает, подпрыгивая от радости.*) Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вона, как дело-то пошло!

ЯВЛЕНИЕ XVI

Т е ж е и О с и п.

О с и п. Лошади готовы.

Х л е с т а к о в. А, хорошо... я сейчас.

Г о р о д н и ч и й. Как-с? Изволите ехать?

Х л е с т а к о в. Да, еду.

Г о р о д н и ч и й. А когда же, то есть... вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?

Х л е с т а к о в. А это... На одну минуту только... на один день к дяде — богатый старик; а завтра же и назад.

Г о р о д н и ч и й. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения.

Х л е с т а к о в. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя... нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! (*Целует ее ручку.*)

Г о р о д н и ч и й. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?

Х л е с т а к о в. О нет, к чему это? (*Немного подумав.*) А впрочем, пожалуй.

Г о р о д н и ч и й. Сколько угодно вам?

Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то есть не двести, а четыреста,— я не хочу воспользоваться вашей ошибкою,— так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.

Городничий. Сейчас! *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.

Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.

Городничий. Так точно-с.

Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька, Марья Антоновна!

Выходят.

За сценой:

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей, Марья Антоновна.

Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?

Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший — что по голубому полю, персидский. Скорей!

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас?

Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра.

Голос Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! теперь давай-ко с этой стороны сена.

Голос ямщика. Тпр...

Голос Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо! Славно будет! *(Бьет рукою по коврику.)* Теперь садитесь, ваше благородие!

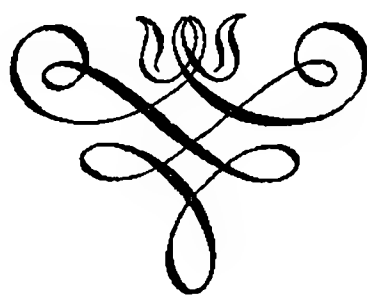
Г о л о с Х л е с т а к о в а . П р о щ а й т е , А н т о н А н т о н о в и ч !
Г о л о с г о р о д н и ч е г о . П р о щ а й т е , в а ш е п р е в о с х о д и -
т е л ь с т в о !

Ж е н с к и е г о л о с а . П р о щ а й т е , И в а н А л е к с а н д р о в и ч !

Г о л о с Х л е с т а к о в а . П р о щ а й т е , м а м е н ь к а !

Г о л о с я м щ и к а . Э й в ы , з а л е т н ы е !

Колокольчик звенит. Занавес опускается.





ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Та же комната.

ЯВЛЕНИЕ I

Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и во сне не виделось — просто из какой-нибудь городничихи и вдруг... фу ты, канальство!.. с каким дьяволом породнилась!

Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.

Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы! Эй, кто там?

Входит квартальный.

А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их, каналий! Так жаловаться на меня? Вишь ты, проклятый иудейский народ! Постойте ж, голубчики! Прежде я вас кормил

до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали: что вот, дискать, какую честь бог послал городничему, — что выдает дочь свою — не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может всё сделать, всё, всё, всё! Всем объяви, чтобы все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество!

К в а р т а л ь н ы й уходит.

Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?

А н н а А н д р е е в н а. Натурально, в Петербурге. Как можно здесь оставаться!

Г о р о д н и ч и й. Ну, в Питере так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?

А н н а А н д р е е в н а. Натурально, что за городничество!

Г о р о д н и ч и й. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрата со всеми министрами и во дворец ездит, так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?

А н н а А н д р е е в н а. Еще бы! конечно, можно.

Г о р о д н и ч и й. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна: красную или голубую?

А н н а А н д р е е в н а. Уж конечно, голубую лучше.

Г о р о д н и ч и й. Э? вишь чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? — потому, что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, всё дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой, городничий! Хе, хе, хе! *(Заливается и помирает со смеху.)* Вот что, канальство, заманчиво!

А н н а А н д р е е в н а. Тебе всё такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты едешь травить зайцев, или Земляника; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские... Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.

Г о р о д н и ч и й. Что ж? ведь слово не вредит.

А н н а А н д р е е в н а. Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.

Г о р о д н и ч и й. Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.

А н н а А н д р е е в н а. Ему всё бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза. (*Зажмуривает глаза и нюхает.*) Ах, как хорошо!

ЯВЛЕНИЕ II

Т е ж е и к у п ц ы.

Г о р о д н и ч и й. А! здорово, соколики!

К у п ц ы (*кланяясь*). Здравия желаем, батюшка!

Г о р о д н и ч и й. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы мирские! жаловаться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

А н н а А н д р е е в н а. Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!

Г о р о д н и ч и й (*с неудовольствием*). А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? а? что теперь скажете? Теперь я вас... у!.. обманываете народ... Сделаешь подряд с казною, на сто тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь двадцать аршин, да и давай тебе еще награду за это? Да если б знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед: он купец; его не тронь. «Мы, говорит, и дворянам не уступим». Да дворянин... ах ты, рожа! дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо да набьешь себе карман, так и заважничал! Фү ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

К у п ц ы (*кланяясь*). Виноваты, Антон Антонович!

Г о р о д н и ч и й. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?

Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!

Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? — оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.

Купцы (*кланяются в ноги*). Не погуби, Антон Антонович!

Городничий. Не погуби! Теперь: не погуби! а прежде что? Я бы вас... (*Махнув рукой.*) Ну, да бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было... понимаешь? не то чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару... Ну, ступай с богом!

Купцы уходят.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, потом Растаковский.

Аммос Федорович (*еще в дверях*). Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастье?

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал. (*Подходит к ручке Анны Андреевны.*) Анна Андреевна! (*Подходит к ручке Марьи Антоновны.*) Марья Антоновна!

Растаковский (*входит*). Антона Антоновича поздравляю. Да продлит бог жизнь вашу и новой четы, и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат! Анна Андреевна! (*Подходит к ручке Анны Андреевны.*) Марья Антоновна! (*Подходит к ручке Марьи Антоновны.*)

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! (*Подходит к ручке Анны Андреевны.*) Марья Антоновна! (*Подходит к ее ручке.*)

Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем.

Л ю л ю к о в. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! (Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.) Марья Антоновна! Имею честь поздравить. (Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.)

ЯВЛЕНИЕ V

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» — потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!» Б о б ч и н с к и й и Д о б ч и н с к и й проталкиваются.

Б о б ч и н с к и й. Имею честь поздравить!

Д о б ч и н с к и й. Антон Антонович! имею честь поздравить!

Б о б ч и н с к и й. С благополучным происшествием!

Д о б ч и н с к и й. Анна Андреевна!

Б о б ч и н с к и й. Анна Андреевна!

Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами.

Д о б ч и н с к и й. Марья Антоновна! (Подходит к ручке.) Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастье, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время.

Б о б ч и н с к и й (перебивая). Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с этакое маленького, вон этакое-с (показывает рукою), чтоб можно было на ладонку посадить, да-с! Всё будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!..

ЯВЛЕНИЕ VI

Еще несколько гостей, подходящих к ручкам, Лука Лукич с женою.

Л у к а Л у к и ч. Имею честь...

Ж е н а Л у к и Л у к и ч а (бежит вперед). Поздравляю вас, Анна Андреевна! (Целуются.) А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку». «Ах, боже мой!» — думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне!»

«Ну,— думаю себе,— слава богу!» И говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъяснить лично Анне Андреевне...» «Ах, боже мой! — думаю себе,— Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела»,— и так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь?» — «Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются».

Г о р о д н и ч и й. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка! принеси сюда побольше стульев!

Гости садятся.

ЯВЛЕНИЕ VII

Т е ж е, частный пристав и квартальцы.

Ч а с т н ы й п р и с т а в. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета!

Г о р о д н и ч и й. Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа!

Гости усаживаются.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом всё это началось, постепенный ход всего, то есть, дела.

Г о р о д н и ч и й. Ход дела чрезвычайный: изволил собственноручно сделать предложение.

А н н а А н д р е е в н а. Очень почтительным и самым тонким образом. Всё чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: «Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам...» И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь — копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества».

М а р ь я А н т о н о в н а. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.

А н н а А н д р е е в н а. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, изумляюсь...» В таких лестных рассыпался словах... И когда я хотела сказать: «Мы никак не смеем надеяться на такую честь»,— он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил.

Анна Андреевна. Да, конечно... и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.

Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится: «Застрелюсь, застрелюсь!» — говорит.

Многие из гостей. Скажите пожалуйста!

Аммос Федорович. Экая штука!

Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.

Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба — индейка: заслуги привели к тому. *(В сторону.)* Этакой свинье лезет всегда в рот счастье!

Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.

Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.

Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.

Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью! вы не можете себе представить.

Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал за чем-то.

Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу.

Анна Андреевна. К своему дяде, чтоб испросить благословения.

Городничий. Испросить благословения; но завтра же... *(Чихает.)*

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад... *(Чихает.)*

Поздравительный гул; слышнее других голоса:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!

Добчинского. Продли бог на сорок сороков!

Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал!

Жены Коробкина. Черт тебя поberi!

Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.

Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... деревенский уж слишком!.. признаюсь, большая неприятность... Вот и муж мой! он там получит генеральский чин.

Г о р о д н и ч и й. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.

Л у к а Л у к и ч. И дай бог получить!

Р а с т а к о в с к и й. От человека невозможно, а от бога всё возможно.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Большому кораблю — большое плавание.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. По заслугам и честь.

А м м о с Ф е д о р о в и ч (в сторону). Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч (в сторону). Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. (Обращаясь к нему.) Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. И если что случится, например какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!

К о р о б к и н. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так, сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.

Г о р о д н и ч и й. Я готов с своей стороны, готов стараться.

А н н а А н д р е е в н а. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно, и с какой стати себя обременять такими обещаниями?

Г о р о д н и ч и й. Почему ж, душа моя? иногда можно.

А н н а А н д р е е в н а. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.

Ж е н а К о р о б к и н а. Вы слышали, как она трактует нас?

Г о с т ь я. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои...

ЯВЛЕНИЕ VIII

Т е ж е и почтмейстер впопыхах, с распечатанным письмом в руке.

П о ч т м е й с т е р. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.

В с е. Как не ревизор?

П о ч т м е й с т е р. Совсем не ревизор, — я узнал это из письма...

Г о р о д н и ч и й. Что вы? что вы? из какого письма?

П о ч т м е й с т е р. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес — вижу: «в Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну, — думаю себе, — верно, нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство». Взял да и распечатал.

Г о р о д н и ч и й. Как же вы?..

П о ч т м е й с т е р. Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера с тем, чтобы отправить его с эшпафетой, — но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу! слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-богу, мороз. И руки дрожат, и всё помутилось.

Г о р о д н и ч и й. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

П о ч т м е й с т е р. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!

Г о р о д н и ч и й. Что ж он, по-вашему, такое?

П о ч т м е й с т е р. Ни сё ни то; черт знает что такое!

Г о р о д н и ч и й (запальчиво). Как ни сё ни то? Как вы смеете назвать его ни тем ни сем, да еще и черт знает чем? Я вас под арест...

П о ч т м е й с т е р. Кто? Вы?

Г о р о д н и ч и й. Да, я!

П о ч т м е й с т е р. Коротки руки!

Г о р о д н и ч и й. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?

П о ч т м е й с т е р. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо?

В с е. Читайте, читайте!

П о ч т м е й с т е р (читает). «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, — думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали нашерамыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет до-

ходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают займы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статьи: помести их в свою литературу. Во-первых, городничий — глуп, как сивый мерин...»

Г о р о д н и ч и й. Не может быть! Там нет этого.

П о ч т м е й с т е р (*показывает письмо*). Читайте сами.

Г о р о д н и ч и й (*читает*). «Как сивый мерин». Не может быть! вы это сами написали.

П о ч т м е й с т е р. Как же бы я стал писать?

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Читайте!

Л у к а Л у к и ч. Читайте!

П о ч т м е й с т е р (*продолжая читать*). «Городничий—глуп, как сивый мерин...»

Г о р о д н и ч и й. О черт возьми! нужно еще повторять! как будто оно там и без того не стоит.

П о ч т м е й с т е р (*продолжая читать*). Хм... хм... хм... хм... «сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек...» (*Оставляя читать.*) Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.

Г о р о д н и ч и й. Нет, читайте!

П о ч т м е й с т е р. Да к чему ж?..

Г о р о д н и ч и й. Нет, черт возьми, когда уж читать так читать! Читайте всё!

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Позвольте, я прочитаю. (*Надевает очки и читает:*) «Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьет горькую».

П о ч т м е й с т е р (*к зрителям*). Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь: больше ничего!

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч (*продолжая читать*). «Надзиратель над богоугодным заведе... и... и... и...» (*Заикается.*)

К о р о б к и н. А что ж вы остановились?

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Да нечеткое перо... впрочем, видно, что негодяй.

К о р о б к и н. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. (*Берет письмо.*)

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч (*не давая письма*). Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.

К о р о б к и н. Да позвольте, уж я знаю.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Прочитать я и сам прочитаю; далее, право, всё разборчиво.

П о ч т м е й с т е р. Нет, всё читайте! ведь прежде всё читано.

В с е. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо! (*Коробкину.*) Читайте.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Сейчас. (*Отдает письмо.*) Вот, позвольте... (*Закрывает пальцем.*) Вот отсюда читайте.

Все приступают к нему.

П о ч т м е й с т е р. Читайте, читайте! вздор, всё читайте!

К о р о б к и н (читая). «Надзиратель за богоугодным заведением Земляника — совершенная свинья в ермолке».

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч (к зрителям). И не остроумно! Свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?

К о р о б к и н (продолжая читать). «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».

Л у к а Л у к и ч (к зрителям). Ей-богу, и в рот никогда не брал луку.

А м м о с Ф е д о р о в и ч (в сторону). Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет!

К о р о б к и н (читает). «Судья...»

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Вот тебе на!.. (Вслух.) Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем: дрянь этакую читать.

Л у к а Л у к и ч. Нет!

П о ч т м е й с т е р. Нет, читайте!

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Нет уж, читайте!

К о р о б к и н (продолжает). «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон...» (Останавливается.) Должно быть, французское слово.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже.

К о р о б к и н (продолжая читать). «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить; хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. (Переворачивает письмо и читает адрес.) Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петербурге, в Почтамтскую улицу, в доме под номером девяносто седьмым, поворота на двор, в третьем этаже направо».

О д н а и з д а м. Какой репримант неожиданный!

Г о р о д н и ч и й. Вот когда зарезал так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц; а больше ничего... Воротить, воротить его! (Машет рукою.)

П о ч т м е й с т е р. Куды воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание.

Ж е н а К о р о б к и н а. Вот уж точно, вот беспримерная конфузия!

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Однако ж, черт возьми, господа! он у меня взял триста рублей взаймы.

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. У меня тоже триста рублей.

П о ч т м е й с т е р *(вздыхает)*. Ох! и у меня триста рублей.

Б о б ч и н с к и й. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.

А м м о с Ф е д о р о в и ч *(в недоумении расставляет руки)*. Как же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали?

Г о р о д н и ч и й *(бьет себя по лбу)*. Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!.. Что губернаторов! *(махнув рукой)* нечего и говорить про губернаторов...

А н н а А н д р е е в н а. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...

Г о р о д н и ч и й *(в сердцах)*. Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обручением!.. *(В исступлении.)* Вот смотрите, смотрите, весь мир, всё христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! *(Грозит самому себе кулаком.)* Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище... найдется щелкопёр, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь!.. Эх, вы!.. *(Стучит со злости ногами об пол.)* Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкопёры, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. *(Сует кулаком и бьет каблуком в пол. После некоторого молчания.)* До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор, ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч *(расставляя руки)*. Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.

А м м о с Ф е д о р о в и ч. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! *(Показывает на Добчинского и Бобчинского.)*

Б о б ч и н с к и й. Ей-ей, не я! и не думал...

Д о б ч и н с к и й. Я ничего, совсем ничего...

А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Конечно, вы.

Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и денег не платит...» Нашли важную птицу!

Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!

Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые.

Лука Лукич. Колпаки!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...

Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Те же и жандарм.

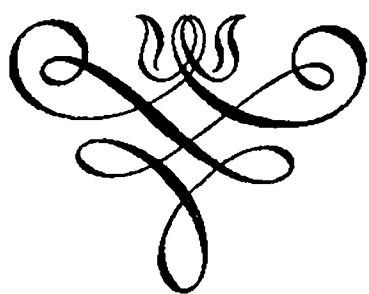
Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

Произнесенные слова поражают, как громом, всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.

НЕМАЯ СЦЕНА

Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявший самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гости, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего.

По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнести: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движениями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.





МЕРТВЫЕ ДУШИ

Поэма

ТОМ ПЕРВЫЙ

Глава первая

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян,— словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем

к сидевшему в нем. «Вишь ты,— сказал один другому,— вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет»,— отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет»,— отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною, как смоль, бороною.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда всё это было

внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устраиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками, — словом, всё то же, что и везде; только и различия, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему всё это подавалось и разогретое и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор — о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить

с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы: он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, — словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного и всё так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой номер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям». Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только

что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаше же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво покрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что «город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день», и что при этом «было очень умирительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». Расспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посередине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу, с тем чтобы, пришедши домой, прочитав ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке, и, еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления; потом переверотил на другую сторону: узнать, нет ли и там чего-нибудь, но, не найдши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.

Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой

добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками... жаль, что несколько трудно упомянуть всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза: «ваше превосходительство», что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.

О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он незначащий червь мира сего и недостойн того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за неременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезжем оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляски с фонаря-

ми, перед подъездом два жандарма, форейторские крики вдали — словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, поднимающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставляя ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы, — волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие.

Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, — которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался, несколько набок, впрочем не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!» — если же король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я ее по усам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубен!» Или же просто восклицания: «черви! червоточина! пикенция!», или: «пикендрас! пичурущих! пичура!» и даже просто: «пичук!» — названия, которыми перекрестили они масти в своем

обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но: «вы изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклоном головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священный долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне прошу», — шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырех слов начал говорить «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески; но, когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого; на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий

во всем как-то умел найтись и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему неизвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках — и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облечь какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты — что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер — что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле художавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: приятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» — и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти всего города.

Глава вторая

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, ближе к сердцу... Но обо всем этом читатель узнает постепенно

и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку; Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют, второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их,— но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем и с этой стороны, несмотря на то что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, не много времени и места, потому что не много нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник,— он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит. Это чтение совершалось более в лежащем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характерические черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывающийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет десять жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувши к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом; или подходил с щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал,— может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош, не надоело тебе сорок раз повторять одно и то же»,— бог ведает, трудно знать, что

думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек... Но автор весьма сожалеет, занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уж русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням,— а в тот день случись воскресенье,— выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротиньке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыснул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой мучке, будет скоро конец; и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих, шитых узорами утиральников. Несколько мужиков, по обыкновению, зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по

словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:

— Маниловка, может быть, а не Заманиловка?

— Ну да, Маниловка.

— Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть, так прямо направо.

— Направо? — отозвался кучер.

— Направо, — сказал мужик. — Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было.

Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатошь горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частью по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрач-

ный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то что голова продолблена была до самого мозга носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

— Павел Иванович! — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. — Насилу вы таки нас вспомнили!

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера; там просто бросай краски со всей руки на полотно: черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ — и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.

Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се; ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать

почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком выше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтись на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков,— словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать». — «Да, недурно», — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно недурно», — повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать». — «Ступай», — говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложённая закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недоставало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с

перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготавлиемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были, то что говорится, счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни; фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время; все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова... но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.

— Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после,— говорил Чичиков.

— Нет, Павел Иванович, нет, вы гость,— говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

— Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите,— говорил Чичиков.

— Нет, уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.

— Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите.

— Ну, да уж извольте проходить вы.

— Да отчего ж?

— Ну да уж оттого! — сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.

— Позвольте мне вам представить жену мою,— сказал Манилов.— Душенька! Павел Иванович!

Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не заметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна; одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета; тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела. Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее, не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем.

— Да,— примолвил Манилов,— уж она, бывало, все спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» — «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение... майский день... именины сердца...

Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.

— Вы все имеете,— прервал Манилов с такою же приятною улыбкою,— все имеете, даже еще более.

— Как вам показался наш город? — примолвила Манилова.— Приятно ли провели там время?

— Очень хороший город, прекрасный город,— отвечал Чичиков,— и время провел очень приятно: общество самое обходительное.

— А как вы нашли нашего губернатора? — сказала Манилова.

— Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек? — прибавил Манилов.

— Совершенная правда,— сказал Чичиков,— препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей.

— Как он может этак, знаете, принять всякого, соблюсти деликатность в своих поступках,— присовокупил Манилов с

улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

— Очень обходительный и приятный человек,— продолжал Чичиков,— и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры! Он мне показывал своей работы кошелек: редкая дама может так искусно вышить.

— А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? — сказал Манилов, опять несколько прищулив глаза.

— Очень, очень достойный человек,— отвечал Чичиков.

— Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

— Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов; очень, очень достойный человек.

— Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера? — прибавила Манилова.— Не правда ли, прелюбезная женщина?

— О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю,— отвечал Чичиков.

Засим не пропустили председателя палаты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

— Вы всегда в деревне проводите время? — сделал наконец, в свою очередь, вопрос Чичиков.

— Больше в деревне,— отвечал Манилов.— Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидаться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти.

— Правда, правда,— сказал Чичиков.

— Конечно,— продолжал Манилов,— другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое...— Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал,— тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого... Вот только иногда считаешь «Сын отечества».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединенье, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу...

— Но знаете ли,— прибавил Манилов,— все если нет друга, с которым бы можно поделиться...

— О, это справедливо, это совершенно справедливо! — прервал Чичиков. — Что все сокровища тогда в мире! «Не имей денег, имей хороших людей для обращения», сказал один мудрец.

— И знаете, Павел Иванович! — сказал Манилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента, — тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение... Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным нашим разговором...

— Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего, — отвечал Чичиков.

— О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!

— Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее...

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

— Прошу покорнейше, — сказал Манилов. — Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу.

Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошел боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

— Какие миленькие дети, — сказал Чичиков, посмотрев на них, — а который год?

— Старшему осьмой, а меньшому вчера только минуло шесть, — сказала Манилова.

— Фемистоклюс! — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку.

Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому, неизвестно почему, Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привести лицо в обыкновенное положение.

— Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?

Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но наконец совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал: «Париж».

— А у нас какой лучший город? — спросил опять Манилов. Учитель опять настроил внимание.

— Петербург, — отвечал Фемистоклюс.

— А еще какой?

— Москва, — отвечал Фемистоклюс.

— Умница, душенька! — сказал на это Чичиков. — Скажите, однако ж... — продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым, — в такие лета и уже такие сведения! Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности.

— О, вы еще не знаете его, — отвечал Манилов, — у него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшей, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс, — продолжал он, снова обратясь к нему, — хочешь быть посланником?

— Хочу, — отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было у места, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли», на что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил

с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

— В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет,— сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес.— Вот мой уголок,— сказал Манилов.

— Приятная комнатка,— сказал Чичиков, окинувши ее глазами.

Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой; четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложеною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах, и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

— Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах,— сказал Манилов.— Здесь вам будет попокойнее.

— Позвольте, я сяду на стуле.

— Позвольте вам этого не позволить,— сказал Манилов с улыбкою.— Это кресло у меня уж ассигновано для гостя: ради или не ради, но должны сесть.

Чичиков сел.

— Позвольте мне вас попотчевать трубкою.

— Нет, не курю,— отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

— Отчего? — сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления.

— Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит.

— Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но, благодаря бога, до сих пор здоров, как нельзя лучше.

Чичиков заметил, что это, точно, случается и что в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.

— Но позвольте прежде одну просьбу...— проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно отчего оглянулся назад. Манилов тоже неизвестно отчего оглянулся назад.— Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?

— Да уж давно; а лучше сказать, не припомню.

— Как с того времени много у вас умерло крестьян?

— А не могу знать; об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек! позови приказчика, он должен быть сегодня здесь.

Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики; водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла победнее, проснувшись в девятом часу утра, поджидал самовара и пил чай.

— Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?

— Да как сколько? Многие умирали с тех пор,— сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою, наподобие щитка.

— Да, признаюсь, я сам так думал,— подхватил Манилов.— Именно, очень многие умирали! — Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: — Точно, очень многие.

— А как, например, числом? — спросил Чичиков.

— Да, сколько числом? — подхватил Манилов.

— Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало, их никто не считал.

— Да, именно,— сказал Манилов, обратясь к Чичикову,— я тоже предполагал, большая смертность; совсем неизвестно, сколько умерло.

— Ты, пожалуйста, их перечти,— сказал Чичиков,— и сделай подробный реестрик всех поименно.

— Да, всех поименно,— сказал Манилов.

Приказчик сказал: «Слушаю!» — и ушел.

— А для каких причин вам это нужно? — спросил по уходе приказчика Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя, в лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел, напряжение что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши.

— Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие:

я хотел бы купить крестьян...— сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.

— Но позвольте спросить вас,— сказал Манилов,— как желаете вы купить крестьян: с землею или просто на вывод, то есть без земли?

— Нет, я не то чтобы совершенно крестьян,— сказал Чичиков,— я желаю иметь мертвых...

— Как-с? извините... я несколько туг на ухо, мне слышалось престранное слово...

— Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые,— сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он; но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегают в глазах сумасшедшего человека, все было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею.

— Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше?

Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.

— Мне кажется, вы затрудняетесь?..— заметил Чичиков.

— Я?.. нет, я не то,— сказал Манилов,— но я не могу постичь... извините... я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться... Может быть, здесь... в этом вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое... Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?

— Нет,— подхватил Чичиков,— нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые, точно, уже умерли.

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос —

черт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а чрез носовые ноздри.

— Итак, если нет препятствий, то с богом, можно бы приступить к совершению купчей крепости,— сказал Чичиков.

— Как, на мертвые души купчую?

— А, нет! — сказал Чичиков. — Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанности для меня дело священное, закон — я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел, и больше ничего.

— Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

— О! помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть, критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция,— так не будет ли эта негоция не соответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет не соответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины.

— Так вы полагаете?..

— Я полагаю, что это будет хорошо.

— А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего,— сказал Манилов и совершенно успокоился.

— Теперь остается условиться в цене...

— Как в цене? — сказал опять Манилов и остановился. — Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безынтересно и купчую беру на себя.

Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после



таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку; сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностию, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и наконец уже выразился, что это сущее ничего, что он, точно хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.

— Очень не дрянь,— сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова: — Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдове беспомощной и сироте-горемыке!..— Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручить. Наконец, выдернув ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее и хорошо бы, если бы он сам понаведался в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.

— Как? вы уж хотите ехать? — сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись.

В это время вошла в кабинет Манилова.

— Лизанька,— сказал Манилов с несколько жалостливым видом,— Павел Иванович оставляет нас!

— Потому что мы надоели Павлу Ивановичу,— отвечала Манилова.

— Сударыня! здесь,— сказал Чичиков,— здесь, вот где,— тут он положил руку на сердце,— да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами! и поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами если не в одном доме, то по крайней мере в самом ближайшем соседстве.

— А знаете, Павел Иванович,— сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль,— как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под

тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..

— О! это была бы райская жизнь! — сказал Чичиков вздохнувши. — Прощайте, сударыня! — продолжал он, подходя к ручке Маниловой. — Прощайте, почтеннейший друг! Не забудьте просьбы!

— О, будьте уверены! — отвечал Манилов. — Я с вами расстаюсь не долес как на два дни.

Все вышли в столовую.

— Прощайте, миленькие малютки! — сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. — Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете; но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю?

— Хочу, — отвечал Фемистоклос.

— А тебе барабан: не правда ли, тебе барабан? — продолжал он, наклонившись к Алкиду.

— Парпан, — отвечал шепотом и потупив голову Алкид.

— Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой славный барабан, этак все будет: туррр... ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! Прощай! — Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.

— Право, останьтесь, Павел Иванович! — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. — Посмотрите, какие тучи.

— Это маленькие тучки, — отвечал Чичиков.

— Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?

— Об этом хочу спросить вас.

— Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру. — Тут Манилов с такою же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы».

Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие», и Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на цыпочках хозяев.

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удаляющуюся бричку, и, когда она уже совершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки,

потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и все время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.

Глава третья

А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудились от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом ленивца. — Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой — почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотою дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползет!» Здесь он опять хлыснул его кнутом, примолвив: «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!..» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» — и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие

люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда свои друзья, тонкие приятели: выпить ли чаю или закусить — с охотою, коли хороший человек. Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает; потому что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеской советник...»

Так рассуждая, Селифан забрался наконец в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя: все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдет, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтенные!» — и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи.

— Селифан! — сказал он наконец, высунувшись из брички.

— Что, барин? — отвечал Селифан.

— Погляди-ка, не видно ли деревни?

— Нет, барин, нигде не видно! — После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло: все ободрительные и по-

будительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого; прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попало на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова.

— Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? — сказал Чичиков.

— Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма! — Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.

— Держи, держи, опрокинешь! — кричал он ему.

— Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, — говорил Селифан. — Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину. — Затем начал он слегка поворачивать бричку; поворачивал-поворачивал и наконец выворотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил, впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, слясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!»

— Ты пьян, как сапожник! — сказал Чичиков.

— Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого; и закусили вместе. Закуска не обидное дело; с хорошим человеком можно закусить.

— А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? а? забыл? — сказал Чичиков.

— Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что...

— Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком!

— Как милости вашей будет завгодно, — отвечал на все согласный Селифан, — коли высесть, то и высесть; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посесть, коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посесть, потому что мужик балуется; порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посесть?

На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать. Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударила оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманною струею до забора, указавши нашим дорожным ворота. Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабьин голос:

— Кто стучит? чего расходились?

— Приезжие, матушка, пусти перночевать, — произнес Чичиков.

— Вишь ты, какой востроногой, — сказала старуха, — приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор: помещица живет.

— Что ж делать, матушка: вишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.

— Да, время темное, нехорошее время, — прибавил Селифан.

— Молчи, дурак, — сказал Чичиков.

— Да кто вы такой? — сказала старуха.

— Дворянин, матушка.

Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать.

— Погодите, я скажу барыне, — произнесла она и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке.

Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавши на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходящим из окон; видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это наконец повершал бас, может быть старик,

наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе: тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда: комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев, за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате... невмочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожай, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комодке ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопы, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою; бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.

Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. «Ничего, ничего,— сказала хозяйка.— В какое это время вас бог принес! Сумятица и вьюга такая... С дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя».

Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянув вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить.

За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево.

Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет.

— По крайней мере знаете Манилова? — сказал Чичиков.

— А кто таков Манилов?

— Помещик, матушка.

— Нет, не слыхивала, нет такого помещика.

— Какие же есть?

— Бобров, Свиньин, Канапатов, Харпакин, Трепакин, Плешаков.

— Богатые люди или нет?

— Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет.

Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь.

— Далеко ли по крайней мере до города?

— А верст шестьдесят будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать! не хотите ли, батюшка, выпить чаю?

— Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели.

— Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послал бог: гром такой — у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! где так изволил засалиться?

— Еще слава богу, что только засалился, нужно благодарить, что не отломал совсем боков.

— Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину?

— Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке повисушить и вычистить мое платье.

— Слышишь, Фетинья! — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходявшей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обеих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате. — Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как дельвали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько.

— Слушаю, сударыня! — говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.

— Ну, вот тебе постель готова,— сказала хозяйка.— Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.

Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его крепко чихнуть,— обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту скрылось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух — окно же было очень близко от земли — заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно «желаю здравствовать», на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник, по крайней мере находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка

и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник, переграждал дощатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах, с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но, по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым; ворота нигде не покосились, а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленька», — сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.

— Здравствуйте, батюшка. Каково почивали? — сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, — в темном платье и уже не в спальном чепце, но на шее все так же было что-то навязано.

— Хорошо, хорошо, — говорил Чичиков, садясь в кресла. — Вы как, матушка?

— Плохо, отец мой.

— Как так?

— Бессонница. Все поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот и ломит.

— Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть.

— Дай бог, чтобы прошло. Я-то смазывала свиным салом и скипидаром тоже смачивала. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая.

— Недурно, матушка, хлебом и фруктовой.

Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободой, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком и с мелким табач-

ным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот,— словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных,— да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович,— говоришь, глядя на него.— Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот черт знает что: пищит птицей и все смеется». Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! «Эхе-хе!» — думаешь себе... Ну, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовой, повел такие речи:

— У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?

— Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят,— сказала хозяйка,— да беда, времена плохи; вот и прошлый год был такой неурожай, что боже храни.

— Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся... приехал в ночное время...

— Коробочка, коллежская секретарша.

— Покорнейше благодарю. А имя и отчество?

— Настасья Петровна.

— Настасья Петровна? Хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.

— А ваше имя как? — спросила помещица.— Ведь вы, я чай, заседатель?

— Нет, матушка,— отвечал Чичиков усмехнувшись,— чай, не заседатель, а так ездим, по своим делишкам.

— А, так вы покупатель! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.

— А вот меду и не купил бы.

— Что ж другое? Разве пеньку? Да, вить, и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

— Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

— Ох, батюшка, осьмнадцать человек! — сказала старуха вздохнувши.— И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них: всё такая мелюзга; а заседатель подъехал — подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати, как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.

— Разве у вас был пожар, матушка?

— Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь, а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем: некому лошадей подковать.

— На все воля божья, матушка! — сказал Чичиков вздохнувши.— Против мудрости божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

— Кого, батюшка?

— Да вот этих-то всех, что умерли.

— Да как же уступить их?

— Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.

— Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?

Чичиков увидел, что старухахватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

— Да на что ж они тебе? — сказала старуха, выпучив на него глаза.

— Это уж мое дело.

— Да ведь они ж мертвые.

— Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?

— Право, не знаю,— произнесла хозяйка с расстановкой.— Ведь я мертвых никогда еще не продавала.

— Еще бы! Это бы скорее походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?

— Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые.

«Ну, баба, кажется, крепколобая!» — подумал про себя Чичиков.

— Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого...

— Ох, отец мой, и не говори об этом! — подхватила помещица.— Еще третью неделю взнесла больше полутора ста. Да заседателя подмаслила.

— Ну, видите, матушка. А теперь примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них; я, а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?

Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупатель; приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.

— Так что ж, матушка, по рукам, что ли? — говорил Чичиков.

— Право, отец мой, никогда еще не случалось продавать мне покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух девок, по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткут.

— Ну, да не о живых дело, бог с ними! Я спрашиваю мертвых.

— Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того... они больше как-нибудь стоят...

— Послушайте, матушка... эх, какие вы! что ж они могут стоять? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?

— Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мертвые.

«Эк ее, дубинноголовая какая!» — сказал про себя Чичи-

ков, уже начиная выходить из терпения.— Пойди ты сладь с нею! в пот бросила, проклятая старуха!» Тут он, вынувши из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какую-нибудь иною стороною.

— Вы, матушка,— сказал он,— или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну признайтесь, почему продали мед?

— По двенадцати рублей пуд.

— Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали.

— Ей-богу, продала.

— Ну видите ль? Так зато это мед. Вы собирали его, может быть, около года, с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму; а мертвые души дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания, на то была воля божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а всё синими ассигнациями.— После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец поддастся.

— Право,— отвечала помещица,— мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.

— Страм, страм, матушка! Просто страм! Ну, что вы это говорите, подумайте сами! Кто ж станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?

— А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся...— возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

— Мертвые в хозяйстве! Эх куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

— С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха крестясь.

— Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы — все вам остается, перевод только на

бумаге. Ну, так что же? Как же? отвечайте по крайней мере.

Старуха вновь задумалась.

— О чем же вы думаете, Настасья Петровна?

— Право, я все не приберу, как мне быть, лучше я вам пеньку продам.

— Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?

— Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!

Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта.

Черта помещица испугалась необыкновенно.

— Ох, не припоминай его, бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих.

— Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду... да пропади и околей со всей вашей деревней!..

— Ах, какие ты забранки пригинаешь! — сказала старуха, глядя на него со страхом.

— Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене: и сама не ест сена, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду... — Здесь он прилгнул, хоть и вскользь и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну, по крайней мере она произнесла уже почти просительным голосом:

— Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прекословила.

— Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!

— Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией! Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня.

— Нет, матушка, не обижу, — говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует.

— Как же, протопопа, отца Кирила, сын служит в палате, — сказала Коробочка.

Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо, и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было,— подумала между тем про себя Коробочка,— если бы он забирал у меня в казну муку и скотину. Нужно его задобрить: теста со вчерашнего вечера еще осталось, так пойти сказать Фетинье, чтоб спекла блинов; хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом, у меня его славно загибают, да и времени берет немного». Хозяйка вышла, с тем чтобы привести в исполнение мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни; а Чичиков вышел в гостиную, где провел ночь, с тем чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было все прибрано, роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял покрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке: все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро. «Эк уморила как, проклятая старуха!» — сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить! Вот оно, внутреннее расположение: в самой середине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкою для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек, для того что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист; потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка.

— Хорош у тебя ящик, отец мой,— сказала она, подсевши к нему.— Чай, в Москве купил его?

— В Москве,— отвечал Чичиков, продолжая писать.

— Я уж знала это: там все хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей: такой прочный товар, до сих пор носится. Ахти, сколько у тебя тут гербовой бумаги! — продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле, гербовой бумаги было там немало.— Хоть бы мне листок подарил! а у меня такой недостаток; случится в суд просьбу подать, а и не на чем.

Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть; он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: «Экой длинный!» Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич», иной оказался просто: Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.

— Прошу покорно закусить,— сказала хозяйка.

Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припёками: припёкой с лучком, припёкой с маком, припёкой с творогом, припёкой со сняточками, и невесть чего не было.

— Пресный пирог с яйцом! — сказала хозяйка.

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.

— А блинков? — сказала хозяйка.

В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинов.

— У вас, матушка, блинцы очень вкусны,— сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

— Да у меня-то их хорошо пекут,— сказала хозяйка,— да вот беда: урожай плох, мука уж такая неавантажная... Да что же, батюшка, вы так спешите? — проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз.— Ведь и бричка еще не заложена.

— Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают.

— Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов.

— Не забуду, не забуду,— говорил Чичиков, выходя в сени.

— А свиного сала не покупаете? — сказала хозяйка, следуя за ним.

— Почему не покупать? Покупаю, только после.

— У меня о святках и свиное сало будет.

— Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим.

— Может быть, понадобится птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья.

— Хорошо, хорошо,— говорил Чичиков.

— Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова,— сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

— Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.

— Как же бы это сделать? — сказала хозяйка.— Рассказать-то мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей.

— Как не быть.

— Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу; только ты, смотри! не завези ее, у меня уже одну завезли купцы.

Чичиков уверил ее, что не завезет, и Коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать все, что было во дворе ее; вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосыгаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанию хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя: еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...

— А вот бричка, вот бричка! — вскричал Чичиков, увидя

наконец подъезжавшую свою бричку.— Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило.

Селифан на это ничего не отвечал.

— Прощайте, матушка! А что же, где ваша девчонка?

— Эй, Пелагея! — сказала помещица стоявшей около крыльца девчонке лет одиннадцати, в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги — так они были облеплены свежеею грязью.— Покажи-ка барину дорогу.

Селифан помог взлезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленок, наконец поместился, сказавши:

— А! теперь хорошо! прощайте, матушка!

Кони тронулись.

Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случалось с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотолѣ почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожди всегда как-то лениво держались в руках словоохотного возницы и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно-неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона! зевай! зевай!» — и больше ничего. Даже сам гнедой и Заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни «любезные», ни «почтенные». Чубарый чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его! — думал он сам про себя, несколько припрыдывая ушами.— Небось знает, где бить! Не хлыснет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее: по ушам зацепит или под брюхо захлыснет».

— Направо, что ли? — с таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными освеженными полями.

— Нет, нет, я уж покажу, — отвечала девчонка.

— Куда ж? — сказал Селифан, когда подъехали поближе.

— Вот куды, — отвечала девчонка, показывая рукою.

— Эх ты! — сказал Селифан. — Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!

Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени за-
грязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались ско-
ро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило
экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно.
То и другое было причиною, что они не могли выбраться из
проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно
сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны,
как пойманные раки, когда их высыплют из мешка, и Селифану
довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка
показала рукой на черневшее вдали строение, сказавши:

— Вон столбовая дорога!

— А строение? — спросил Селифан.

— Трактир, — сказала девчонка.

— Ну, теперь мы сами доедем, — сказал Селифан, — ступай
себе домой.

Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы:
«Эх ты, черноногая!»

Чичиков дал ей медный грош, и она побрела восвояси, уже
довольная тем, что посидела на козлах.

Г л а в а ч е т в е р т а я

Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по
двум причинам. С одной стороны, чтоб дать отдохнуть лоша-
дям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и
подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует
аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ни-
чего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге
и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое
поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и при-
нимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот
пилюлю; глотающие устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом
отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа
никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки,
что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка,
на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с
луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое
хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит
и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой
с сомовьим плёсом, так что вчуже пронимает аппетит, — вот эти
господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один гос-
подин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину
душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных,

со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, ни же имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобрести такого желудка, какой бывает у господина средней руки.

Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами.

Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйста!» В комнате попались все старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно: заиндеветый самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец, натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего.

— Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.

— Есть.

— С хреном и со сметаною?

— С хреном и со сметаною.

— Давай его сюда!

Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол.

Герой наш, по обыкновению, сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе, — словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что любопытствовал узнать, какие в округности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики: Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков-полковник, Собакевич. «А! Со-

бакевича знаешь?» — спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова и что Манилов будет повеликатней Собакевича: велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки; коли есть баранья печенка, то и бараньей печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато все съест, даже и подбавки потребует за ту же цену.

Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, слышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин: один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясочка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время схавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый, или что называют издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то по крайней мере табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они, вероятно бы, разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем и теперь ехать и прохладно и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми как снег зубами и черными как смоль бакенбардами. Свеж он был как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его.

— Ба, ба, ба! — вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. — Какими судьбами?

Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он, с своей стороны, не подал к тому никакого повода.

— Куда ездил? — говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал: — А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся

в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! — Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку. — Видишь, какая дрянь! Насилу дотащили, проклятые, я уже перелез вот в его бричку. — Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. — А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним все утро говорили о тебе. «Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова». Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Пове-ришь ли, что не только убухал четырех рысаков — все спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов... — Чичиков взглянул и уви-дел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже по-казалось, что и один бакенбард был у него меньше, и не так густ, как другой. — А ведь будь только двадцать рублей в кармане, — продолжал Ноздрев, — именно не больше как двадцать, я отыграл бы всё, то есть кроме того, что отыграл бы, вот как честный чело-век, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник.

— Ты, однако, и тогда так говорил, — отвечал белокурый, — а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их.

— И не просадил бы! ей-богу, не просадил бы! Не сделай я сам глупость, право не просадил бы. Не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк.

— Однако ж не сорвал, — сказал белокурый.

— Не сорвал потому, что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?

— Хорошо или не хорошо, однако ж он тебя обыграл.

— Эка важность! — сказал Ноздрев. — Этак и я его обы-граю. Нет, вот попробуй он играть дублетом, так вот тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичи-ков, как покутили мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили! Теперь даже, как вспомнишь... черт возьми! то есть как жаль, что ты не был. Во-образи, что в трех верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе... Как начали мы, братец, пить... Штабс-ротмистр Поцелуев... такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников... Ах, братец, какой премилый человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы всё были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь — сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает; но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь

бутылочку,— ну, просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое — что пред ним губернаторское? просто квас! Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? — розетка и все что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, всё офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского!

— Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь,— заметил белокурый.

— Как честный человек говорю, что выпил,— отвечал Ноздрев.

— Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь.

— Ну хочешь об заклад, что выпью?

— К чему же об заклад?

— Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе.

— Не хочу.

— Ну да поставь, попробуй!

— И пробовать не хочу.

— Да, был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то, что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик, и в банчишку, и во все что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? Он приехал бог знает откуда, я тоже здесь живу... А сколько было, брат, карет, и всё это en gros¹. В фортунку крутнул: выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шесть целковых. А какой, если бы ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и черт знает чего не было... я думаю себе только: «Черт возьми!» А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты... Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один, хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?

— А я к человечку к одному,— сказал Чичиков.

¹ скопом, всё вместе (франц.).

— Ну, что человечек, брось его! поедem ко мне!

— Нет, нельзя, есть дело.

— Ну, вот уж и дело! уж и выдумал! Ах ты, Оподелдок Иванович!

— Право, дело, да еще и нужное.

— Пари держу, врешь! ну скажи только, к кому едешь?

— Ну, к Собакевичу.

Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк его разобрало!»

— Что ж тут смешного? — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом.

Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая:

— Ой, пощади, право тресну со смеху!

— Ничего нет смешного: я дал ему слово, — сказал Чичиков.

— Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к черту Собакевича, поедem ко мне! каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: «Для вас только, всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий! — закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. — Эй, Порфирий, — кричал Ноздрев, — принеси-ка щенка! Каков щенок! — продолжал он, обращаясь к Чичикову. — Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева... — Чичиков, впрочем, отроду не видал ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

— Барин! ничего не хотите закусить? — сказала в это время, подходя к нему, старуха.

— Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки; какая у тебя есть?

— Анисовая, — отвечала старуха.

— Ну, давай анисовой, — сказал Ноздрев.

— Давай уж и мне рюмку! — сказал белокурый.

— В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня, — «вот, говорит, брат, попользовался бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди четыре часа вертелся мельницею. — Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась. — А, давай его сюда! — закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет так же, как и барин, в каком-то архалуке, стеганном на вате, но несколько позамасленней.

— Давай его, клади сюда на пол!

Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю.

— Вот щенок! — сказал Ноздрев, взявши его за спинку и приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.

— Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил, — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка, — и не подумал вычесать его?

— Нет, я его вычесывал.

— А отчего же блохи?

— Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли.

— Врешь, врешь, и не воображал чесать; я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка пощупай рукою.

— Да зачем, я и так вижу: доброй породы! — отвечал Чичиков.

— Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши!

Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши:

— Да, хорошая будет собака.

— А нос, чувствуешь, какой холодный? возьми-ка рукою.

Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши:

— Хорошее чутье.

— Настоящий мордаш, — продолжал Ноздрев, — я, признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его!

Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку.

— Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне; пять верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу.

«А что ж, — подумал про себя Чичиков, — заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других? такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на все — стало быть, у него даром можно кое-что выпросить».

— Изволь, едем, — сказал он, — но, чур, не задержать, мне время дорого.

— Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо, постой же, я те-

бя поцелую за это.— Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались.— И славно: втроем и покатым!

— Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти,— говорил белокурый.— Мне нужно домой.

— Пустяки, пустяки, брат, не пущу.

— Право, жена будет сердиться; теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку.

— Ни, ни, ни! И не думай!

Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку,— словом, начнут гладью, а кончат гадью.

— Вздор! — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление белокурого, надел ему на голову картуз, и — белокурый отправился вслед за ними.

— За водочку, барин, не заплатили...— сказала старуха.

— А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек! заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане.

— Сколько тебе? — сказал зятек.

— Да что, батюшка, двугривенник всего,— сказала старуха.

— Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно с нее.

— Маловато, барин,— сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностию и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка.

Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собою разговаривать в продолжение дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колясочка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком.

Так как разговор, который путешественники вели между собою, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме.

Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слынут еще в детстве и в школе за хороших товарищей, и при всем том бывают весь-

ма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек; но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять. Женильба его ничуть не переменила, тем более что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; он уж в одно мгновение ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В картишки, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардам, так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он чрез несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался как ни в чем не бывало, и он, как говорится, ничего, и они ничего.

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или провретя самым жестоким образом, так что наконец самому делается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнеся: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородною наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на

размышления, а потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами, и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах, вызывающих на размышление, так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходил, тому он скорее всех насаливал: распускал небылицу, глупее которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он покупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомоиник, голландского холста, крупчатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой; почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня со всем: с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно-непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком.

Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню; пол весь был обрызган белилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеления. Гости слышали, как он заказывал повару обед; сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько

чувствовать аппетит, увидел, что раньше пяти часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне, и в два часа с небольшим показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели двух кобыл, одну серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч.

— Десяти тысяч ты за него не дал, — заметил зять. — Он и одной не стоит.

— Ей-богу, дал десять тысяч, — сказал Ноздрев.

— Ты себе можешь божиться, сколько хочешь, — отвечал зять.

— Ну, хочешь, побьемся об заклад! — сказал Ноздрев.

Об заклад зять не захотел биться.

Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого, по старому поверью, почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи. «Вот волчонок! — сказал он. — Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем!» Пошли смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако ж, родственник не преминул усомниться. «Я тебе, Чичиков, — сказал Ноздрев, — покажу отличнейшую пару собак: крепость черных мясов просто наводит изумление, щиток — игла!» — и повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих... Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди них совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собакеев правылами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, — хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро из-

дохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука; осмотрели и суку — сука, точно, была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, — «порхающий», по чудному выражению русского мужика.

— А вот тут скоро будет и кузница! — сказал Ноздрев.

Немного прошедши, они увидели, точно, кузницу, осмотрели и кузницу.

— Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги.

— Ну, русака ты не поймаешь рукою! — заметил зять.

— А вот же поймал, нарочно поймал! — отвечал Ноздрев. — Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля.

Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогам и взбороненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где бóльшая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидели, точно, границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва.

— Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синее, и все, что за лесом, все мое.

— Да когда же этот лес сделался твоим? — спросил зять. — Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой.

— Да, я купил его недавно, — отвечал Ноздрев.

— Когда же ты успел его так скоро купить?

— Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, черт возьми, дал.

— Да ведь ты был в то время на ярмарке.

— Эх ты, Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил.

— Да, ну разве приказчик! — сказал зять, но и тут усумнился и покачал головою.

Гости воротились тою же гадкою дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья, — одно в триста, а другое в восемьсот рублей. Зять, осмотревши, покачал только головою.

Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в середине ее, кажется, что-то случилось: ибо мазурка оканчивалась песнею: «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна. Потом показались трубки — деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, кисет, вышитый какою-то графинею, где-то на почтовой станции влюбившеюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самой субдительной сюперфлю — слово, вероятно означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ пяти часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попала — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох — словом, катать-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет. Зато Ноздрев налег на вина: еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому гостерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что всё вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принести какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо и налево, и зятю и Чичикову. Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он не много прибавлял. Это заставило его быть осторожным, и, как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз называл его уже другим именем. Обед



давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости все еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, он стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.

— И ни ни! не пущу! — сказал Ноздрев.

— Нет, не обижай меня, друг мой, право поеду, — говорил зять, — ты меня очень обидишь.

— Пустяки, пустяки! мы соорудим сию минуту банчишку.

— Нет, сооружай, брат, сам, а я не могу, жена будет в большой претензии, право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня!

— Ну ее, жену, к...! важное в самом деле дело станете делать вместе!

— Нет, брат! она такая почтенная и верная! Услуги оказывает такие... поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести.

— Пусть его едет, что в нем проку! — сказал тихо Чичиков Ноздреву.

— А и вправду! — сказал Ноздрев. — Смерть не люблю таких растепелей! — и прибавил вслух: — Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, фетюк!¹

— Нет, брат, ты не ругай меня фетюком, — отвечал зять, — я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает... до слез разбирает; спросит, что видел на ярмарке, нужно все рассказать, такая, право, милая.

— Ну поезжай, ври ей чепуху! Вот картуз твой.

— Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться; этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая.

— Ну, так и убирайся к ней скорее!

— Да, брат, поеду, извини, что не могу остаться. Душой рад бы был, но не могу.

Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота и перед

¹ Ф е т ю к — слово обидное для мужчины, происходит от *Ө*, буквы, считае-
мой некоторыми неприличною буквою. (Прим. Н. В. Гоголя.)

ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена не много слышала подробностей о ярмарке.

— Такая дрянь! — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж. — Вон как потащился! конек пристяжной недурен, я давно хотел подцепить его. Да ведь с ним нельзя никак сойтись. Фетюк, просто фетюк!

Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.

— А что, брат, — говорил Ноздрев, прижавши бока колоды пальцами и несколько погнувши ее, так что треснула и отскочила бумажка. — Ну, для препровождения времени, держу триста рублей банку!

Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив:

— А! чтоб не позабыть: у меня к тебе просьба.

— Какая?

— Дай прежде слово, что исполнишь.

— Да какая просьба?

— Ну, да уж дай слово!

— Изволь.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Вот какая просьба: у тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии?

— Ну есть, а что?

— Переведи их на меня, на мое имя.

— А на что тебе?

— Ну да мне нужно.

— Да на что?

— Ну да уж нужно... уж это мое дело, — словом, нужно.

— Ну уж, верно, что-нибудь затеял. Признайся, что?

— Да что ж затеял? из такого пустяка и затеять ничего нельзя.

— Да зачем же они тебе?

— Ох, какой любопытный! ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать!

— Да к чему ж ты не хочешь сказать?

— Да что же тебе за прибыль знать? ну, просто так, пришла фантазия.

— Так вот же: до тех пор, пока не скажешь, не сделаю!

— Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны: слово дал, да и на понятный двор.

— Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что.

«Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после

минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместьев больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.

— Врешь, врешь! — сказал Ноздрев, не давши окончить. — Врешь, брат!

Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб.

— Ну, так я ж тебе скажу прямее, — сказал он поправившись, — только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая, право, комиссия: не рад, что связался, хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у меня целых почти полутора ста крестьян недостает...

— Ну врешь! врешь! — закричал опять Ноздрев.

— Ну вот уж здесь, — сказал Чичиков, — ни вот на столько не солгал, — и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.

— Голову ставлю, что врешь!

— Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу?

— Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.

Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.

— Ей-богу, повесил бы, — повторил Ноздрев. — Я тебе говорю это откровенно, не с тем, чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.

— Всему есть границы, — сказал Чичиков с чувством достоинства. — Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы. — И потом присовокупил: — Не хочешь подарить, так продай.

— Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?

— Эх, да ты ведь тоже хорсш! смотри ты! что, они у тебя бриллиантовые, что ли?

— Ну, так и есть. Я уж тебя знал.

— Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение! Ты бы должен просто отдать мне их.

— Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-

нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.

— Помилуй, на что ж мне жеребец? — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.

— Как на что? да ведь я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре.

— Да на что мне жеребец? завода я не держу.

— Да послушай, ты не понимаешь: ведь я с тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мне после.

— Да не нужен мне жеребец, бог с ним!

— Ну, купи каурую кобылу.

— И кобылы не нужно.

— За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только две тысячи.

— Да не нужны мне лошади.

— Ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.

— Так лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое.

— Я знаю, что выиграю, да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду.

Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.

— Ну, так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет!

— Да зачем мне собаки? я не охотник.

— Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку, чудная шарманка; самому, как честный человек, обошлась в полторы тысячи; тебе отдаю за девятьсот рублей.

— Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащась с ней по дорогам, выпрашивать деньги.

— Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган; посмотри нарочно: вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще! — Здесь Ноздрев, схвативши за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и, как тот ни упирался ногами в пол и ни уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбруг. — Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты мне дай свою бричку и триста рублей в придачу.

— Ну вот еще, а я-то в чем поеду?

— Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будет чудо бричка.

«Эк его неугомонный бес как обуял!» — подумал про себя Чичиков и решился во что бы ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на нестижимую уму бочковатость ребр и комкость лап.

— Да ведь бричка, шарманка и мертвые души, всё вместе!

— Не хочу, — сказал еще раз Чичиков.

— Отчего ж ты не хочешь?

— Оттого, что просто не хочу, да и полно.

— Экой ты право, такой! с тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами, такой, право!.. Сейчас видно, что двуличный человек!

— Да что же я, дурак, что ли? ты посуди сам: зачем же приобретать вещь, решительно для меня ненужную?

— Ну, уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалия! Ну, послушай, хочешь метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже.

— Ну, решаться в банк — значит подвергаться неизвестности, — говорил Чичиков и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый крап глядел весьма подозрительно.

— Отчего ж неизвестности? — сказал Ноздрев. — Никакой неизвестности! будь только на твоей стороне счастье, ты можешь выиграть чертову пропасть! Вон она! экое счастье! — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. — Экое счастье! экое счастье! вон: так и колотит! вот та проклятая девятка, на которой я все просадил! Чувствовал, что продаст, да уже, зажмурив глаза, думаю себе: «Черт тебя побери, продавай, проклятая!»

Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.

— Отчего ж ты не хочешь играть? — сказал Ноздрев.

— Ну оттого, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть.

— Отчего ж не охотник?

Чичиков пожал плечами и прибавил:

— Потому что не охотник.

— Дрянь же ты!

— Что ж делать? так бог создал.

— Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком

близким... никакого прямодушия, ни искренности! совершенный Собакевич, такой подлец!

— Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору.

— Черта лысого получишь! хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть три царства давай, не отдам. Такой шильник, печник гадкий! С этих пор с тобою никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено.

Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.

— Лучше б ты мне просто на глаза не показывался! — сказал Ноздрев.

Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель:

— Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе!

Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренне досадовал на себя, бранил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время. Но еще более бранил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребенок, как дурак: ибо дело совсем не такого рода, чтобы быть вверену Ноздреву... Ноздрев человек-дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что, выйдут еще какие-нибудь сплетни — нехорошо, нехорошо. «Просто дурак я», — говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие пребойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А, чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах.

Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось.

— Так себе, — отвечал Чичиков весьма сухо.

— А я, брат, — говорил Ноздрев, — такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать, и во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь: снилось, что меня высекли, ей-ей! и вообрази кто? Вот ни за что не угадаешь: штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым.

«Да,— подумал про себя Чичиков,— хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».

— Ей-богу! да пребольно! Проснулся: черт возьми, в самом деле что-то почесывается,— верно, ведьмы блохи. Ну, ты ступай теперь одевайся, я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика.

Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась во все. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам, или выстриженных под гребенку.

— Ну, так как же думаешь? — сказал Ноздрев, немного помолчавши.— Не хочешь играть на души?

— Я уже сказал тебе, брат, что не играю; купить — изволь, куплю.

— Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. В банчик — другое дело. Прокинем хоть талию!

— Я уж сказал, что нет.

— А меняться не хочешь?

— Не хочу.

— Ну, послушай, сыграем в шашки, выиграешь — твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу.

— Напрасен труд, я не буду играть.

— Да ведь это не в банк; тут никакого не может быть счастья или фальши: всё ведь от искусства; я даже тебя предвещаю, что я совсем не умею играть, разве что-нибудь мне дашь вперед.

«Сем-ка я,— подумал про себя Чичиков,— сыграю с ним в шашки! В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться».

— Изволь, так и быть, в шашки сыграю.

— Души идут в ста рублях!

— Зачем же? довольно, если пойдут в пятидесяти.

— Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам.

— Ну, изволь! — сказал Чичиков.

— Сколько же ты мне дашь вперед? — сказал Ноздрев.

— Это с какой стати? Конечно, ничего.

— По крайней мере пусть будут мои два хода.

— Не хочу, я сам плохо играю.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку.

— Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсади-ка ее назад! — говорил Чичиков.

— Кого?

— Да шашку-то, — сказал Чичиков и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки; откуда она взялась, это один только бог знал. — Нет, — сказал Чичиков, вставши из-за стола, — с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг!

— Отчего ж по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.

— А другая-то откуда взялась?

— Какая другая?

— А вот эта, что пробирается в дамки?

— Вот тебе на, будто не помнишь!

— Нет, брат, я все ходы считал, и всё помню; ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где!

— Как, где место? — сказал Ноздрев покрасневши. — Да ты, брат, как я вижу, сочинитель!

— Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.

— За кого ж ты меня считаешь? — говорил Ноздрев. — Стану я разве плутовать?

— Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду.

— Нет, ты не можешь отказаться, — говорил Ноздрев, горячась. — Игра начата!

— Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку.

— Нет, врешь, ты этого не можешь сказать!

— Нет, брат, сам ты врешь!

— Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию!

— Этого ты меня не заставишь сделать,— сказал Чичиков хладнокровно и, подошедши к доске, смешал шашки.

Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад.

— Я тебя заставляю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.

— Нет, брат, дело кончено, я с тобою не стану играть.

— Так ты не хочешь играть?

— Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.

— Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? — говорил Ноздрев, подступая еще ближе.

— Не хочу! — сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко.

Эта предосторожность была весьма у места, потому что Ноздрев размахнулся рукой... и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестьем; но, счастливо отведши удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко.

— Порфирий, Павлушка! — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.

Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены, и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.

— Так ты не хочешь оканчивать партии? — говорил Ноздрев. — Отвечай мне напрямик!

— Партии нет возможности оканчивать,— говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться: в дверях стояли два дюжих крепостных дурака.

— Так ты не хочешь доканчивать партии? — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.

— Если б ты играл, как прилично честному человеку. Но теперь не могу.

— А! Так ты не можешь, подлец! когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! — кричал он иступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен как полотно. Он хотел

что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.

— Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облако крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает, чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно: кто-то, с усами, в полувоенном сюртуке, вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.

— Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? — сказал незнакомец, посмотревши в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения.

— Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить? — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе.

— Капитан-исправник.

— А что вам угодно?

— Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.

— Что за вздор, по какому делу? — сказал Ноздрев.

— Вы были замешаны в историю, по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде.

— Вы врете! я и в глаза не видал помещика Максимова!

— Милостивый государь! позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне!

Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку да по-за спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.

Глава пятая

Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась во всю пропалую и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк, какую баню задал! смотри ты какой!» Тут много было посулено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний; попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще и в сердцах. К тому ж дело было совсем нешуточное. «Что ни говори,— сказал он сам в себе,— а не подоспей капитан-исправник, мне бы, может быть, не далось бы более и на свет божий взглянуть! Пропал бы, как волдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени!» Герой наш очень заботился о своих потомках.

«Экой скверный барин! — думал про себя Селифан.— Я еще не видал такого барина. То есть плюнуть бы ему за это! Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство: что, примером, нам кошт, то для него овес, он его продовольство».

Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздреве: не только гнедой и Заседатель, но и сам чубарый был не в духе. Хотя ему на часть и доставался всегда овес похуже и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавши прежде: «Эх ты, подлец!», — но, однако ж, это все-таки был овес, а не простое сено, он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корытца к товарищам, поотведать, какое у них было продовольствие, особливо когда Селифана не было в конюшне, но теперь одно сено... нехорошо; все были недовольны.

Но скоро все недовольные были прерваны среди излиятий

своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на них наскочила коляска с шестериком коней и почти над головами их раздались крик сидевших в коляске дам, брань и угрозы чужого кучера: «Ах ты, мошенник эдакой; ведь я тебе кричал в голос: сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность, но так как русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, то тут же вымолвил он приосанясь: «А ты что так расскакался? глаза-то свои в кабаке заложил, что ли?» Вслед за сим он принялся отсаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи, но не тут-то было, все перепуталось. Чубарый с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в лицах. Одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатилетняя, с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какою-то прозрачною белизною, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца; ее тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы — все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши постромки. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами.

На такую сумятицу успели, однако ж, собраться мужики из деревни, которая была, к счастью, неподалеку. Так как подобное зрелище для мужика сущая благодать, все равно что для немца газеты или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. Постромки отвязали; несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попятиться; словом, их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с приятелями, или просто дурь, только, сколько ни хлыстал их кучер, они не двигались и стояли как

вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый наперерыв совался с советом: «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного! Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню, или, лучше, на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было, ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой! — кричали мужики. — Садись-ка ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечий мужик с черною как уголь бородою и брюхом, похожим на тот исполнский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотою сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. «Теперь дело пойдет! — кричали мужики. — Накаливай, накаливай его! пришпандорь кнутом вон того, того, солового, что он корячится, как корамора!¹» Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливанье, дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец кучер, потерявши терпение, прогнал и дядю Митяя и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватили не переводя духа станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явление, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде поперек каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглухнувшей бедной деревушки, не выдавшей ничего, кроме сель-

¹ К о р а м о р а — большой, длинный, вялый комар; иногда залетает в комнату и торчит где-нибудь одиночкой на стене. К нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, в ответ на что он только топырится или корячится, как говорит народ. (Прим. Н. В. Гоголя.)

ской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он, или просто только что начавший жизненное поприще, — и боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нем! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи в даль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распеканья за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и всё, что ни есть в мире.

Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлажденного характера. Он тоже задумался и думал, но положительнее, не так безотчетны и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная бабёшка! — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. — Но ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, все в ней просто, она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выдет дрянь! Вот пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность, станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть, всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно, запутается наконец сама и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и выдет просто черт знает что!» Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека». Двести тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренне начал досадовать на самого себя, зачем в продолжении хлопотни около экипажей не разведал от форейтора или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету.

Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее,

были у ней справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами, — дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и повертел на место их одно маленькое, вероятно, понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сарай и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирчѣных стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «Прошу!» — и повел его во внутренние жилища.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинные, панталоны длинные, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча:хватила топором раз — вышел нос,хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет,

сказавши: «живет!» Такой же самый крепкий и на диво стачанный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и, в силу такого неповорота, редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства.

Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: «Прошу!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиную отворилась и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма.

— Это моя Феодулия Ивановна! — сказал Собакевич.

Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом.

— Душенька, рекомандую тебе, — продолжал Собакевич: — Павел Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться.

Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» — и сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериновым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью.

Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с

толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке.

Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, — все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства, — словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!»

— Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича, — сказал наконец Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговора, — в прошедший четверг. Очень приятно провели там время.

— Да, я не был тогда у председателя, — отвечал Собакевич.

— А прекрасный человек!

— Кто такой? — сказал Собакевич, глядя на угол печи.

— Председатель.

— Ну, может быть, это вам так показалось: он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.

Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал:

— Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор, какой превосходный человек!

— Губернатор превосходный человек?

— Да, не правда ли?

— Первый разбойник в мире!

— Как, губернатор разбойник? — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. — Признаюсь, этого я бы никак не подумал, — продолжал он. — Но позвольте, однако же, заметить: поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много. — Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.

— И лицо разбойничье! — сказал Собакевич. — Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это Гога и Магога!

«Нет, он с ними не в ладах, — подумал про себя Чичиков. — А вот заговорю я с ним о полицеймейстере: он, кажется, друг его».

— Впрочем, что до меня,— сказал он,— мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый; в лице видно что-то простосердечное.

— Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно,— продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все хриstopродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.

После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.

— Что ж, душенька, пойдем обедать,— сказала Собакевичу его супруга.

— Прошу! — сказал Собакевич.

Засим, подошедши к столу, где была закуска, гость и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую; впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на четыре прибора. На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме: что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го!

— Щи, моя душа, сегодня очень хороши! — сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками.— Эдакой няни,— продолжал он, обратившись к Чичикову,— вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!

— У губернатора, однако ж, недурен стол,— сказал Чичиков.

— Да знаете ли, из чего это все готовится? вы есть не станете, когда узнаете.

— Не знаю, как готовится, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны.

— Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке

покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца.

— Фу! какую ты неприятность говоришь, — сказала супруга Собакевича.

— А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват, так у них у всех делается. Все что ни есть ненужного, что Акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп! да в суп! туда его!

— Ты за столом всегда эдакое расскажешь! — возразила опять супруга Собакевича.

— Что ж, душа моя, — сказал Собакевич, — если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется! Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкокостая натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это все не то, это все выдумки, это все... — Здесь Собакевич даже сердито покачал головою. — Толкуют: просвещение, просвещение, а это просвещение — фук! Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня когда свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует. — Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки.

«Да, — подумал Чичиков, — у этого губа не дура».

— У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфеткою руки, — у меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха!

— Кто такой этот Плюшкин? — спросил Чичиков.

— Мошенник, — отвечал Собакевич. — Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом.

— Вправду! — подхватил с участием Чичиков. — И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве?

— Как мухи мрут.

— Неужели как мухи! А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?

— В пяти верстах.

— В пяти верстах! — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. — Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?

— Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке! — сказал Собакевич. — Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему.

— Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест, — отвечал на это Чичиков.

За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и неведь чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился; но, когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюде варенье — ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла, с тем чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только побрякивал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами:

— Я хотел было поговорить с вами об одном дельце.

— Вот еще варенье, — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком: — редька, варенная в меду!

— А вот мы его после! — сказал Собакевич. — Ты ступай теперь в свою комнату, мы с Павлом Ивановичем скинем фраки, маленько приотдохнем!

Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах», и хозяйка ушла.

Собакевич слегка принагнул голову, приготавливаясь слышать, в чем было дельце.

Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются... Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончивши жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма... Собакевич все слушал, наклонив-

ши голову,— и что, однако же, при всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их вносить подати так, как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими.

Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности.

— Итак?..— сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа.

— Вам нужно мертвых душ? — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

— Да,— отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши,— несуществующих.

— Найдутся, почему не быть...— сказал Собакевич.

— А если найдутся, то вам, без сомнения... будет приятно от них избавиться?

— Извольте, я готов продать,— сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупатель, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Черт возьми,— подумал Чичиков про себя,— этот уж продает прежде, чем я заикнулся!» — и проговорил вслух:

— А, например, как же цена?.. хотя, впрочем, это такой предмет... что о цене даже странно...

— Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку! — сказал Собакевич.

— По сту! — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.

— Что ж, разве это для вас дорого? — произнес Собакевич и потом прибавил: — А какая бы, однако ж, ваша цена?

— Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положив руку на сердце: по восьми гривен за душу, это самая красная цена!

— Эх куда хватили — по восьми гривенок!

— Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя!

— Ведь я продаю не лапти.

— Однако ж согласитесь сами: ведь это тоже и не люди.

— Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ревизскую душу?

— Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то самые давно уже умерли, остался один не осязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубли, извольте, дам, а больше не могу.

— Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!

— Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу: чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать,— говорил Чичиков, однако ж по полтинке еще прибавил.

— Да чего вы скупитесь? — сказал Собакевич.— Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час,— прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот, с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи — откуда взялась рысь и дар слова:

— А Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете, но Собакевича, как видно, пронесло; полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

— Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного! А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

— Но позвольте,— сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было,— зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

— Да, конечно, мертвые,— сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: — впрочем, и то сказать: что из этих людей,

которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди.

— Да всё же они существуют, а это ведь мечта.

— Ну, нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!

Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони, как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе не знакомому, от которого, знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники; и несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащее приличие, и потом уже уйти прочь.

— Нет, больше двух рублей я не могу дать,— сказал Чичиков.

— Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте — по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями, право только для знакомства!

«Что он в самом деле,— подумал про себя Чичиков,— за дурака, что ли, принимает меня?» — и прибавил потом вслух:

— Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, иначе я не могу себе объяснить... Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? кому нужен?

— Да вот вы же покупаете, стало быть нужен.

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал просто:

— Мне не нужно знать, какие у вас отношения: я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили.

— Два рублика,— сказал Чичиков.

— Эк право, затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица; как наладили на два, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену!

«Ну, уж черт его побери,— подумал про себя Чичиков,— по полтине ему прибавлю, собаке, на орехи!»

— Извольте, по полтине прибавлю.

— Ну, извольте, и я вам скажу тоже мое последнее слово: пятьдесят рублей! право, убыток себе, дешевле нигде не купите такого хорошего народа!

«Экой кулак!» — сказал про себя Чичиков и потом продолжал вслух с некоторою досадою:

— Да что в самом деле... как будто точно сурьезное дело; да я в другом месте нипочем возьму. Еще мне всякий с охотой сбудет их, чтобы только поскорей избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати!

— Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами, по дружбе, не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной — такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства.

«Вишь, куды метит, подлец!» — подумал Чичиков и тут же произнес с самым хладнокровным видом:

— Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по склонности собственных мыслей. Два с полтиною не хотите — прощайте!

«Его не собьешь, неподатлив!» — подумал Собакевич.

— Ну, бог с вами, давайте по тридцати и берите их себе!

— Нет, я вижу, вы не хотите продать, прощайте!

— Позвольте, позвольте! — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл поберечься, в наказание за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге. — Прошу прощенья! я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйста, садитесь сюда! Прошу! — Здесь он усадил его в кресла с некоторою даже ловкостью, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся» или: «А как, Миша, малые ребята горох крадут?»

— Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить.

— Посидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово. — Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет: — Хотите угол?

— То есть двадцать пять рублей? Ни, ни, ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю.

Собакевич замолчал, Чичиков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.

— Какая ж ваша будет последняя цена? — сказал наконец Собакевич.

— Два с полтиною.

— Право, у вас душа человеческая все равно что пареная репа. Уж хоть по три рубли дайте!

— Не могу.

— Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да уж нрав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь, я чай, нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке.

— Разумеется.

— Ну вот то-то же, нужно будет ехать в город.

Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил списочка крестьян. Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже с означением похвальных качеств.

А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриваньем всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренно: «Эк наградил-то тебя бог! вот уж, точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит!.. Родился ли ты уж так медведем или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты чрез них сделался то, что называют человек-кулак? Но нет: я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши ватрушкою в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да вот теперь у тебя под властью мужики: ты с ними в ладу и, конечно, их не обидишь, потому что они твои, тебе же будет хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощелкивал, смекнув, что они не твои же крепостные, или грабил бы ты казну! Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два пальца, выдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку. Да еще, пожалуй, скажет потом: «Дай-ка себя покажу!» Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно... Эх, если бы все кулаки!..»

— Готова записка,— сказал Собакевич оборотившись.

— Готова? Пожалуйте ее сюда! — Он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности: не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но даже на полях находились особенные отметки насчет поведения, трезвости,— словом, любо было глядеть.

— Теперь пожалуйста же задаточек! — сказал Собакевич.

— К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги.

— Всё, знаете, так уж водится,— возразил Собакевич.

— Не знаю, как вам дать, я не взял с собою денег. Да, вот десять рублей есть.

— Что ж десять! Дайте по крайней мере хоть пятьдесят!

Чичиков стал было отговариваться, что нет; но Собакевич так сказал утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул еще бумажку, сказавши:

— Пожалуй, вот вам еще пятнадцать, итого двадцать пять. Пожалуйста только расписку.

— Да на что ж вам расписка?

— Все, знаете, лучше расписку. Не ровен час... все может случиться.

— Хорошо, дайте же сюда деньги!

— На что ж деньги? У меня вот они в руке! как только напишете расписку, в ту же минуту их возьмете.

— Да позвольте, как же мне писать расписку? прежде нужно видеть деньги.

Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывши их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток двадцать пять рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна. Написавши записку, он пересмотрел еще раз ассигнации.

— Бумажка-то старенькая! — произнес он, рассматривая одну из них на свете. — Немножко разорвана, ну да между приятелями нечего на это глядеть.

«Кулак, кулак! — подумал про себя Чичиков, — да еще и бестия в придачу!»

— А женского пола не хотите?

— Нет, благодарю.

— Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку.

— Нет, в женском поле не нуждаюсь.

— Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона: кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица.

— Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами, — говорил Чичиков прощаясь.

— Да уж само собою разумеется. Третьего сюда нечего мешать; что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте! Благодарю, что посетили; прошу и вперед не забывать: коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу.

«Да, как бы не так! — думал про себя Чичиков, садясь в бричку. — По два с полтиною содрал за мертвую душу, чертов кулак!»

Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то

ни было, человек знакомый, и у губернатора и у полицеймейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял деньги! Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет.

— Подлец, до сих пор еще стоит! — проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивши к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, попавши где-то на дороге претолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу.

— Эй, борода! а как проехать отсюда к Плюшкину, так чтоб не мимо господского дома?

Мужик, казалось, затруднился сим вопросом.

— Что ж, не знаешь?

— Нет, барин, не знаю.

— Эх, ты! А и седым волосом еще подернуло! скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?

— А! заплатанной, заплатанной! — вскрикнул мужик.

Было им прибавлено и существительное к слову «заплатанной», очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а вlepливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, — одной чертой обрисован ты с ног до головы!

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами рассыпано на святой, благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится,

пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенностью и других даров бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выражение его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

Г л а в а ш е с т а я

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности, — все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый ли правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, фронт ли уездный, попавшийся среди города, — ничто не ускользало от свежего тонкого внимания, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на не виданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфет, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо — я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно

смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою наружностью; и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!

Покамест Чичиков думал и внутренне посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в средину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок, произведенный бревенчатою мостовою, пред которою городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и необерегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в ведро и сама не каплет, бабиться же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке и на большой дороге, — словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном; балкончики под крышами с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные кладки хлеба, застоявшиеся, как видно, долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе, то справа, то слева, по мере того как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой: опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими

стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась и наместо их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкою, местами изломанною городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна, с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги.

Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетolistными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе деревьев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался из этой зеленой гущи и округлился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других деревьев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных

из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает не скрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности.

Сделав один или два поворота, герой наш очутился наконец перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плеснь уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений: людских, амбаров, погребов, видимо ветшавших,—наполняла двор; возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину: ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженной телегой, покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места; в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сильным для женщины. «Ой, баба! — подумал он про себя и тут же прибавил: — Ой, нет!» — «Конечно, баба!» — наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, ключница.

— Послушай, матушка, — сказал он, выходя из брички, — что барин?..

— Нет дома, — прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, спустя минуту, прибавила: — А что вам нужно?

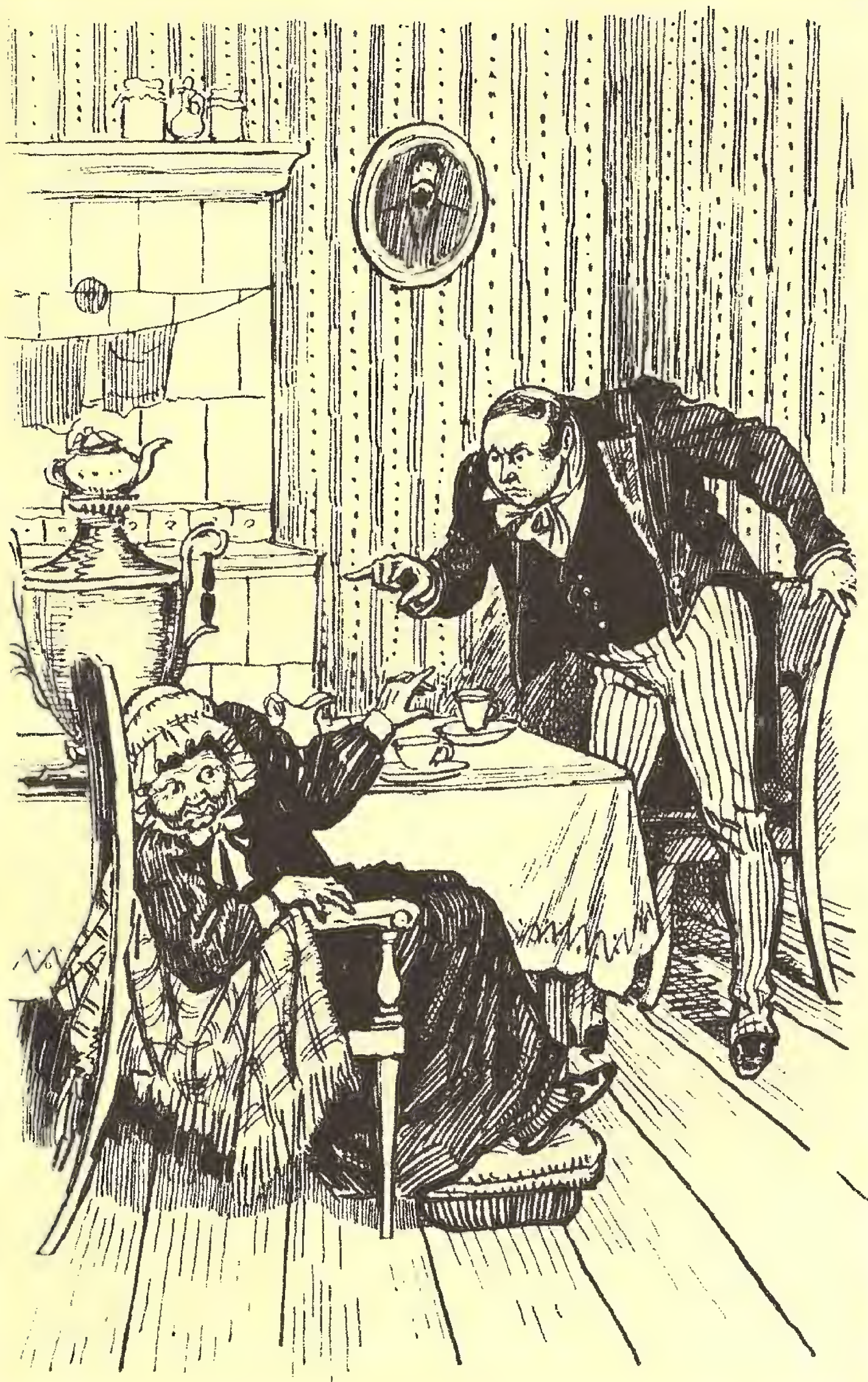
— Есть дело!

— Идите в комнаты! — сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже.

Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холо-

дом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюро, выложенном перламутрной мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.

По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что поглубже и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребыванье старый, поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и вошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница по крайней мере не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу



из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпением, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже, с своей стороны, ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить:

— Что ж барин? у себя, что ли?

— Здесь хозяин, — сказал ключник.

— Где же? — повторил Чичиков.

— Что, батюшка, слепы-то, что ли? — сказал ключник. — Эхва! А вить хозяин-то я!

Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случилось видеть немало всякого рода людей, даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придется увидеть; но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун-мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараниями нельзя было докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо, к чести героя нашего, нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба, зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, — ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои

хозяйственные запасы и где горами белеет всякое дерево — шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, — но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже рыболов пошел на охоту!» — говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но, если только она попадала в кучу, тогда все кончено: он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что ни видел: сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и все это клал на бюро или на окошко.

А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни; везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал, хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум; опытностью и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать; приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; навстречу выходили две милостивые дочери, обе белоскурые и свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна, антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда к обеду тетерек или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел. На антресолях жила также его компатриотка, наставница

двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке: нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру Степановну он не мог во всем положиться, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и обвенчалась с ним где-то наскоро, в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться; учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны; сын, будучи отправлен в губернский город с тем, чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своему определению, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш. Наконец, последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты; он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из вида, более и более, главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате; неуступчивее становился он к покупателям, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения; покупщики торговались-торговались и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил

только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему: столько же оброку должен был принести мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба, столько же поставов холста должна была наткать ткачиха, — все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна.

Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! Должно сказать, что подобное явление редко попадает на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться, и тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, темных владельцев: дворцами глядят его белые каменные дома с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещеньями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и площадками, оглашенный громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является чрез то ночное небо, и, далеко трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни.

Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате.

Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум.

На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя черт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!»

— Я давненько не вижу гостей,— сказал он,— да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения... да и лошадей их корми сеном! Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсем развалилась, начнешь топить, еще пожару наделаешь.

«Вон оно как! — подумал про себя Чичиков.— Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока».

— И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клочок в целом хозяйстве! — продолжал Плюшкин.— Да и в самом деле, как прибережешь его? землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабаке... того и гляди, пойдешь на старости лет по миру!

— Мне, однако же, сказывали,— скромно заметил Чичиков,— что у вас более тысячи душ.

— А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! Он, пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тысячи душ, а поди-тка сосчитай, а и ничего не начтешь! Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков.

— Скажите! и много выморила? — воскликнул Чичиков с участием.

— Да, снесли многих.

— А позвольте узнать: сколько числом?

— Душ восемьдесят.

— Нет?

— Не стану лгать, батюшка.

— Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?

— Это бы еще слава богу,— сказал Плюшкин,— да лихто, что с того времени до ста двадцати наберется.

— Вправду? Целых сто двадцать? — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.

— Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу! — сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким, почти радостным, восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнает.

— Да ведь соболезнование в карман не положишь,— сказал Плюшкин.— Вот возле меня живет капитан; черт знает его, откуда взялся, говорит — родственник: «дядюшка, дядюшка!» — и в руку целует, а как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезняет!

Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его и, не откладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил:

— Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?

— Нет,— отвечал Чичиков довольно лукаво,— служил по статской.

— По статской? — повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал.— Да ведь как же? Ведь это вам самим-то в убыток?

— Для удовольствия вашего готов и на убыток.

— Ах, батюшка! ах, благодетель мой! — вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого кофия, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматриванья.— Вот утешили старика! Ах, господи ты мой! ах, святители вы мои!..— Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла, будто ее вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернув его в комоч, стал им возить себя по верхней губе.

— Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас,

вы за всякий год беретесь платить за них подать? и деньги будете выдавать мне или в казну?

— Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали.

— Да, купчую крепость...— сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами.— Ведь вот купчую крепость — всё издержки. Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание, сказал бы какое-нибудь поучение: ведь что ни говори, а против слова-то божия не устоишь.

«Ну ты, я думаю, устоишь!» — подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что, из уважения к нему, он готов принять даже издержки по купчей на свой счет.

Услыша, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а, верно, был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет. Подошед к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Чрез минуту было слышно, что кто-то вбежал впопыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами, наконец дверь отворилась и вошел Прошка, мальчик лет тринадцати, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул из окошка в осеннее время и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие скачки, какие вряд ли удастся выделывать на театрах самому бойкому танцовщику.

— Вот посмотрите, батюшка, какая рожа! — сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки.— Глуп ведь как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет! Ну, чего ты пришел, дурак, скажи, чего? — Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием.— Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к

чаю!.. Пстой, куда же ты? Дурачина! эхва, дурачина! Бес у тебя в ногах, что ли, чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, испортился, так пусть соскоблит его ножом да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты, ты не входи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь! березовым-то веником, чтобы для вкуса-то! Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше! Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять,— продолжал он, обратившись к Чичикову, после того, как Прошка убрался вместе с своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя: «Ведь черт его знает, может быть, он просто хвастун, как все эти мотишки: наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет!» А потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчую поскорее, потому что-де в человеке не уверен: сегодня жив, а завтра и бог весть.

Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам.

Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно, взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и наконец произнес:

— Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили! народ такие воры! А вот разве не это ли он? — Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке.— Еще покойница делала,— продолжал Плюшкин,— мошенница ключница совсем было его забросила и даже не закупирила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь сор-то повынул, и теперь вот чистенькая, я вам налью рюмочку.

Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил и ел.

— Пили уже и ели! — сказал Плюшкин.— Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь: он не ест, а сыт; а как эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми... Ведь вот капитан — приедет: «Дядюшка, говорит, дайте чего-нибудь поесть!» А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так вот он и шатается! Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев? Как же, я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть.

Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такою пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом.

Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие: и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий Доезжай-не-доедешь; всех было сто двадцать с лишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.

— В город? Да как же?.. а дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник: в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить.

— Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?

— Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшка! как не иметь, имею! — вскричал он. — Ведь знаком сам председатель, ездая даже в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж такой знакомый! так уж не к нему ли написать?

— И конечно к нему.

— Как же, уж такой знакомый! в школе были приятели.

И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, — явление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустынее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее.

— Лежала на столе четвертка чистой бумаги, — сказал он, — да не знаю, куда запропастилась: люди у меня такие негодные! — Тут стал он заглядывать и под стол и на стол, шарил везде и наконец закричал: — Мавра! а Мавра!

На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор:

— Куда ты дела, разбойница, бумагу?

— Ей-богу, барин, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку.

— А вот я по глазам вижу, что подтибрила.

— Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого: я грамоте не знаю.

— Врешь, ты снесла пономаренку: он маракует, так ты ему и снесла.

— Да пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка!

— Вот погоди-ка: на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками! вот посмотришь, как припекут!

— Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки? Уж скорее другой какой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал.

— А вот черти-то тебя и припекут! скажут: «А вот тебе, мошенница, за то, что бари́на-то обманывала!» — да горячими-то тебя и припекут!

— А я скажу: «Не за что! ей-богу, не за что, не брала я...» Да вон она лежит на столе. Всегда понапраслиной попрекаете!

Плюшкин увидел, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес:

— Ну, что ж ты расходилась так? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ десяток! Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой, ты схватишь саленую свечу, сало дело топкое: сгорит — да и нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лучинку!

Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четвертку, придумывая: нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но наконец убедился, что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какою-то заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая раскачивалась по всей бумаге, лепя скупю строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек!» — но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.

— А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, — сказал Плюшкин, складывая письмо, — которому бы понадобились беглые души?

— А у вас есть и беглые? — быстро спросил Чичиков очнувшись.

— В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки: говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный: мастер при-топывать шпорой, а если бы похлопотать по судам...

— А сколько их будет числом?

— Да десятков до семи тоже наберется.

— Нет?

— А ей-богу, так! Ведь у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего... А уж я бы за них что ни дай взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то: отыщись ведь только десятков, так вот уж у него славная денюга. Ведь ревизская душа стоит в пятистах рублях.

«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», — сказал про себя Чичиков и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подалее; но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать... но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить.

— А сколько бы вы дали? — спросил Плюшкин и сам ожедвел: руки его задрожали, как ртуть.

— Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу.

— А как вы покупаете, на чистые?

— Да, сейчас деньги.

— Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копеек.

— Почтеннейший! — сказал Чичиков, — не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! с удовольствием заплатил бы, потому что вижу — почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.

— А ей-богу, так! ей-богу, правда! — сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. — Все от добродушия.

— Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему же не дать бы мне по пятисот рублей за душу, но... состоянья нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась, таким образом, в тридцать копеек.

— Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копейки пристегните.

— По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили семьдесят?

— Нет. Всего наберется семьдесят восемь.

— Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет... — здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: — это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек! — он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, еже-

минутно боясь расхлестать ее. Подошедши к бюро, он переглядел их еще раз и уложил, тоже чрезвычайно осторожно, в один из ящичков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, покамест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого, к неописанной радости зятя и дочери, а может быть, и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавший деньги, Плюшкин сел в кресла и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.

— А что, вы уж собираетесь ехать? — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.

Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать.

— Да, мне пора! — произнес он, взявшись за шляпу.

— А чайку?

— Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время.

— Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прощка! не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавре, слышишь: пусть его положит на то же место, или нет, подай его сюда, я уж снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас бог, а письмо-то председателю вы отдайте. Да! пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же! были с ним однокорытниками!

Засим это странное явление, этот съездившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые, с тем чтобы осмотреть, на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок, наместо чугунной доски; после того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся препорядочно щей с кашею и, выбравивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя за такое, в самом деле, беспримерное великодушие. «Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или бронзовые; немножко поиспорчены, да ведь он себе переправит; он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте! Или нет, — прибавил он после некоторого размышления, — лучше я оставляю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».

Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего двести с лишком человек! Конечно, еще подъез-

жая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и наконец затянул какую-то песню, да такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал и потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и, казалось, самые предметы перемешались тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет; усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка въехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ, в виде дам в красных шالях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил много тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: «Врешь, пьяница! я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» или: «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!..» Словом, те слова, которые вдруг обдадут, как варом, какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? он в небесах и к Шиллеру заехал в гости — и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь.

Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась, как будто в яму, в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал, со свечой в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно, по крайней мере они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась.

— Долго изволили погулять, — сказал половой, освещая лестницу.

— Да, — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. — Ну, а ты что?

— Слава богу,— отвечал половой кланяясь.— Вчера приехал поручик какой-то военный, занял шестнадцатый номер.

— Поручик?

— Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади.

— Хорошо, хорошо, води себя и вперед хорошо! — сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: — Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер!

— Да я их отпирал,— сказал Петрушка, да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавши самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.

Глава седьмая

Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!

Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печально своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплещая, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном

имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах... Нет равного ему в силе — он бог! Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи,— всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлечением; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движения незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю; без разделенья, без ответа, без участия, как бессмейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество.

И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, ведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святой ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...

В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотрим, что делает Чичиков.

Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и почувствовал, что выспался хорошо. Полежав минуты две на спине, он щелкнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без

малого четыреста душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им пред кем-нибудь из приятелей, особливо если это происходило во время бритья. «Вот, посмотри,— говорил он обыкновенно, поглаживая его рукою,— какой у меня подбородок: совсем круглый!» Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо, так как был, надел сафьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря халатным побуждениям русской натуры, и, по-шотландски, в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, прилепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу: перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходящий к закуске, и тот же час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить все, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, написать и переписать, чтоб не платить ничего подьячим. Форменный порядок был ему совершенно известен: бойко выставил он большими буквами: «Тысяча восемьсот такого-то года», потом вслед за тем мелкими: «помещик такой-то», и все, что следует. В два часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью в слоге: часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностью: ни одно из качеств мужика не было пропущено; об одном было сказано: «хороший столяр», к другому приписано: «дело смыслит и хмельного не берет». Означено было также обстоятельно, кто отец и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: «Отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии: это был известный Петр Са-

вельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх, какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был, или просто мужик, и какую смертью тебя прибрало? в кабаке ли, или среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог. Где тебя прибрало? Взмогнулся ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись, оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» — а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник! «Пьян, как сапожник», — говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу: учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник, и не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом. А как кончилось твое ученье: «А вот теперь я заведусь своим домком, — сказал ты, — да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею». И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты лавчонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. Достал где-то втридешева гнилушки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через недели две перелопались твои сапоги, и выбрали тебя подлейшим образом. И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете! Нет житья русскому человеку, всё немцы мешают». Это что за мужик: Елизавета Воробей. Фу ты пропасть: баба! она как сюда затесалась? Подлец Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на букву з, то есть не Елизавета, а Елизаветъ. Однако же он это не принял в уважение и тут же ее вычеркнул. «Григорий Доезжай-недоедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатах,

думал-думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай как звали. Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью! А вы что, мои голубчики? — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина. — Вы хоть и в живых еще, а что в вас толку! то же что и мертвые, и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? Плохо ли вам было у Плюшкина или просто, по своей охоте, гуляете по лесам да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита — эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя беспашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. «Чей ты?» — говорит капитан-исправник, ввернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. «Такого-то и такого-то помещика», — отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпущен на оброк», — отвечаешь ты без запинки. «Где твой пашпорт?» — «У хозяина, мещанина Пименова». — «Позвать Пименова! Ты Пименов?» — «Я Пименов». — «Давал он тебе пашпорт свой?» — «Нет, не давал он мне никакого пашпорта». — «Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. «Так точно, — отвечаешь ты бойко, — я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звонарю». — «Позвать звонаря! Давал он тебе пашпорт?» — «Нет, не получал я от него пашпорта». — «Что ж ты опять врешь! — говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. — Где ж твой пашпорт?» — «Он у меня был, — говоришь ты проворно, — да, статься может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его». — «А солдатскую шинель, — говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо, — зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными деньгами?» — «Никак нет, — говоришь ты не сдвинувшись, — в воровском деле никогда еще не оказывался». — «А почему же шинель нашли у тебя?» — «Не могу знать: верно, кто-нибудь другой принес ее». — «Ах, ты, бестия, бестия! — говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. — А набейте ему на ноги колодки да сведите в тюрьму». — «Извольте! я с удовольствием», — отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты потчевашь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашивашь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты

переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!» Абакум Фыров! ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу и влюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?..» Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова или задумался так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканьях, нацепляя крючком до девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню.

«Эхе, хе! двенадцать часов! — сказал наконец Чичиков, взглянув на часы. — Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал, а то ни с того ни с другого сначала загородил околесину, а потом задумался. Экой я дурак в самом деле!» Сказавши это, он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, вспрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и бумаги под мышку и отправился в гражданскую палату совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать, — опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанью присутствие, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средство додраться, но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу; до тех пор ему казалось все неспокойно и неловко; все-таки приходила мысль, что души не совсем настоящие и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее с плеч. Не успел он выйти на улицу, размышляя об всем этом и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся тоже с господином в медведях, крытых коричневым сукном, и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул, это был Мани-

лов. Они заключили тут же друг друга в объятия и минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича; речь была заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами.

— Это что?

— Мужички.

— А! — Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. — Славно написано, — сказал он, — не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг! кто это так искусно сделал каемку?

— Ну, уж не спрашивайте, — сказал Манилов.

— Вы?

— Жена.

— Ах боже мой! мне, право, совестно, что нанес столько затруднений.

— Для Павла Ивановича не существует затруднений.

Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шел в палату за совершением купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении, или горке, или ступеньке Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятною улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленек. Во взаимных услугах они дошли наконец до площади, где находились присутственные места: большой трехэтажный каменный дом, весь белый как мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в нем должностей; прочие здания на площади не отвечали огромностию каменному дому. Это были: караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, две-три извозчичьи биржи, и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом; более не находилось ничего на сей уединенной, или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа высовывались неподкупные головы жрецов Феиды. и в ту ж минуту прятались опять: вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избежать поддерживанья под руки

со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже, с своей стороны, летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает, как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сюртуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову набок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттягиванье земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей и внуков под его покровом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельцо за № 368!» — «Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и просидишь ты у меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями.

Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели два чиновника еще юных лет, и спросили:

— Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?

— А что вам нужно? — сказали оба чиновника оборотившись.

— А мне нужно подать просьбу.

— А вы что купили такое?

— Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?

— Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем где, а так нельзя знать.

Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям.

— Послушайте, любезные, — сказал он, — я очень хорошо

знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других.

Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно.

— Позвольте узнать,— сказал Чичиков с поклоном,— здесь дела по крепостям?

Старик поднял глаза и произнес с расстановкою:

— Здесь нет дел по крепостям.

— А где же?

— Это в крепостной экспедиции.

— А где же крепостная экспедиция?

— Это у Ивана Антоновича.

— А где же Иван Антонович?

Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание.

— Позвольте узнать,— сказал Чичиков с поклоном,— здесь крепостной стол?

Иван Антонович как будто бы и не слышал и углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за сорок лет; волос на нем был черный, густой; вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос,— словом, это было то лицо, которое называют в общежитие кувшинным рылом.

— Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция? — сказал Чичиков.

— Здесь,— сказал Иван Антонович, поворотил свое кувшинное рыло и приложился опять писать.

— А у меня дело вот какое: куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод: купчая есть, остается совершить.

— А продавцы налицо?

— Некоторые здесь, а от других доверенность.

— А просьбу принесли?

— Принес и просьбу. Я бы хотел... мне нужно поторопиться... так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?

— Да, сегодня! сегодня нельзя,— сказал Иван Антонович.— Нужно навести еще справки, нет ли еще запрещений.

— Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг...

— Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и другие,— сказал сурово Иван Антонович.

Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал:

— Другие тоже не будут в обиде, я сам служил, дело знаю...

— Идите к Ивану Григорьевичу,— сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее,— пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит.

Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать.

— Вот он вас проведет в присутствие! — сказал Иван Антонович, кивнув головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Virgilius прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зеркалом и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Virgilius почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую, как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером. Вошедши в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один: подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зеркалом. Приход гостей произвел восклицание, правительственные кресла были отодвинуты с шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуями; спросили друг друга о здоровье; оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько смешало нашего героя, особливо когда он увидел, что и Собакевич и Манилов, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил:

— А ваше как здоровье?

— Слава богу, не пожалуюсь,— сказал Собакевич.

И точно, не на что было жаловаться: скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот на диво сформованный помещик.

— Да вы всегда славились здоровьем,— сказал председатель,— и покойный ваш батюшка был также к^реппкий человек.

— Да, на медведя один хаживал,— отвечал Собакевич.

— Мне кажется, однако ж,— сказал председатель,— вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него.

— Нет, не повалю,— отвечал Собакевич,— покойник был меня покрепче,— и, вздохнувши, продолжал: — Нет, теперь не те люди; вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как-то себе...

— Чем же ваша жизнь не красна? — сказал председатель.

— Нехорошо, нехорошо,— сказал Собакевич, покачав головою.— Вы посудите, Иван Григорьевич: пятый десяток живу, ни разу не был болен; хоть бы горло заболело, веред или чирей выскочил... Нет, не к добру! когда-нибудь придется заплатить за это.— Тут Собакевич погрузился в меланхолию.

«Эк его,— подумали в одно время и Чичиков и председатель,— на что вздумал пенять!»

— К вам у меня есть письмецо,— сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина.

— От кого? — сказал председатель и, распечатавши, воскликнул: — А! от Плюшкина. Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба, ведь какой был умнейший, богатейший человек! а теперь...

— Собака,— сказал Собакевич,— мошенник, всех людей переморил голодом.

— Извольте, извольте,— сказал председатель, прочитав письмо,— я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?

— Теперь,— сказал Чичиков,— я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что мне завтра хотелось бы выехать из города; я принес и крепости и просьбу.

— Все это хорошо, только, уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы все-таки с нами поживите. Вот я сейчас отдам приказ,— сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам.— Иван Антонович здесь?

— Здесь,— отозвался голос изнутри.

— Позовите его сюда!

Уже известный читателям Иван Антонович кувшинное рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился.

— Вот возьмите, Иван Антонович, все эти крепости их...

— Да не позабудьте, Иван Григорьевич,— подхватил Собакевич,— нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой сторо-

ны. Пошлите теперь же к прокурору, он человек праздный и, верно, сидит дома, за него все делает стряпчий Золотуха, первый хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты, да еще тут много есть, кто поближе,— Трухачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю!

— Именно, именно! — сказал председатель и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского.

— Еще я попрошу вас, — сказал Чичиков, — пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирила; он служит у вас же.

— Как же, пошлем и за ним! — сказал председатель. — Все будет сделано, а чиновным вы никому не давайте ничего, об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить. — Сказавши это, он тут же дал какое-то приказанье Ивану Антоновичу, как видно ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей. Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выраженьем большого удовольствия и наконец сказал:

— Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! так вот вы приобрели.

— Приобрел, — отвечал Чичиков.

— Благое дело, право, благое дело!

— Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал наконец твердой стопой на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности. — Тут он весьма кстати выбранил за либерализм, и поделом, всех молодых людей. Но замечательно, что в словах его была все какая-то нетвердость, как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно!» Он даже не взглянул на Собакевича и Манилова, из боязни встретить что-нибудь на их лицах. Но напрасно боялся он: лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обвороченный фразой, от удовольствия только потряхивал одобрительно головою, погружаясь в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрипку и пискнула такую тонкую ноту, какая невмочь и птичьему горлу.

— Да, что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу, — отзывался Собакевич, — что такое именно вы приобрели; а вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! просто золото. Ведь я им продал и каретника Михеева.

— Нет, будто и Михеева продали? — сказал председатель. — Я знаю каретника Михеева: славный мастер; он мне дрожки

переделал. Только позвольте, как же... Ведь вы мне сказывали, что он умер...

— Кто, Михеев умер? — сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. — Это его брат умер, а он преживехонький и стал здоровее прежнего. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему, по-настоящему, только на одного государя и работать.

— Да, Михеев славный мастер, — сказал председатель, — и я дивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться.

— Да будто один Михеев! А Пробка Степан, плотник, Милушкин, кирпичник, Телятников Максим, сапожник, — ведь все пошли, всех продал! — А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнувши рукой: — А! так просто, нашла дурь: дай, говорю, продам, да и продал сдуру! — Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: — Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума.

— Но позвольте, Павел Иванович, — сказал председатель, — как же вы покупаете крестьян без земли? разве на вывод?

— На вывод.

— Ну, на вывод другое дело. А в какие места?

— В места... в Херсонскую губернию.

— О, там отличные земли! — сказал председатель и отозвался с большою похвалою насчет рослости тамошних трав. — А земли в достаточном количестве?

— В достаточном, столько, сколько нужно для купленных крестьян.

— Река или пруд?

— Река. Впрочем, и пруд есть. — Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице его: «Ой, врешь ты! вряд ли есть река, и пруд, да и вся земля!»

Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели: знакомый читателю прокурор-моргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову: недостававшие и лишние набраны были тут же, из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа отца Кирила, но даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто просто чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите. Известный Иван Антонович управился весьма проворно: крепости были записаны, поме-

чены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентных и за припечатку в «Ведомостях», и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая, неизвестно каким образом, отнесена была на счет какого-то другого просителя.

— Итак,— сказал председатель, когда все было кончено,— остается теперь только вспрыснуть покупочку.

— Я готов,— сказал Чичиков.— От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для эдакого приятного общества да не раскупорить другую-третью бутылочку шипучего.

— Нет, вы не так приняли дело: шипучего мы сами поставим,— сказал председатель,— это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость: нам должно угощать. Знаете ли что, господа! Покамест что, а мы вот как сделаем: отправимтесь-ка все, так, как есть, к полицеймейстеру; он у нас чудотворец: ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погребца, так мы, знаете ли, как закусим! да при этой okazji и в вистишку.

От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименование рыбного ряда почувствовали аппетит; взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович кувшинное рыло, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову:

— Крестьян накупили на сто тысяч, а за труды дали только одну беленькую.

— Да ведь какие крестьяне,— отвечал ему на это тоже шепотом Чичиков,— преспустой и преничтожный народ, и половины не стоит.

Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст.

— А почему купили душу у Плюшкина? — шепнул ему на другое ухо Собакевич.

— А Воробья зачем приписали? — сказал ему в ответ на это Чичиков.

— Какого Воробья? — сказал Собакевич.

— Да бабу, Елизавету Воробья, еще и букву з поставили на конце.

— Нет, никакого Воробья я не приписывал,— сказал Собакевич и отошел к другим гостям.

Гости добрались наконец гурьбой к дому полицеймейстера. Полицеймейстер, точно, был чудотворец: как только услышал он, в чем дело, в ту ж минуту кликнул квартального, бойкого малого в лакированных ботфортах, и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо да прибавил только: «Понимаешь?»,— а уж

там, в другой комнате, в продолжение того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюжки, сыры, копченые языки и балыки — это все было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны, изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хрящ и щеки девятипудового осетра, другой пирог — с груздями, пряженцы, масляницы, взваренцы. Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своем месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не горд; и точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем: как делишки, что и как. Если узнает, что детеныш как-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует, — словом, молодец! Поедет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому-другому: «Что, Михеич! нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку». — «Да, Алексей Иванович, — отвечал тот, снимая шапку, — нужно бы». — «Ну, брат, Илья Парамоныч, приходи ко мне поглядеть рысака: в обгон с твоим пойдет, да и своего заложи в беговые; попробуем». Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на это с особенною, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович!» Даже все сидельцы обыкновенно в это время, снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший человек!» Словом, он успел приобрести совершенную народность, и мнение купцов было такое, что Алексей Иванович «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст».

Заметив, что закуска была готова, полицеймейстер предложил гостям окончить вист после завтрака, и все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу,

кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что когда полицеймейстер вспомнил было о нем и, сказавши: «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?» — подошел было к нему с вилкою вместе с другими, то увидел, что от произведения природы оставался всего один хвост; а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицеймейстер, кажется, не любил жалеть вина; тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика, потом за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало приятную улыбку с уст нашего героя. Приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на две недели в городе:

— Нет, Павел Иванович! как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать: на порог, да и назад! нет, вы проведите время с нами! Вот мы вас женим: не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?

— Женим, женим! — подхватил председатель. — Уж как ни упирайтесь руками и ногами, мы вас женим! Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь. Мы шутить не любим.

— Что ж? зачем упираться руками и ногами, — сказал усмехнувшись, Чичиков. — Женильба еще не такая вещь, чтобы того, была бы невеста.

— Будет и невеста, как не быть, все будет, все что хотите!..

— А коли будет...

— Bravo, остается! — закричали все. — Виват, ура, Павел Иванович! ура! — И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках.

Чичиков перечекался со всеми. «Нет, нет, еще!» — говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечекались; потом полезли в третий раз чокаться, перечекались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый человек, когда развеселялся, обнимал несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии сердечном: «Душа ты моя! маменька моя!» — и даже, щелкнув пальцами, пошел приплясывать вокруг него, припевая известную песню: «Ах ты такой и этакой комаринский мужик». После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли;

спорили, кричали, говорили обо всем: об политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении, воображал себя уже настоящим херсонским помещиком, говорил об разных улучшениях: о трехпольном хозяйстве, о счастьях и блаженстве двух душ, и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарlotte, на которое тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже слишком развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось в дороге, был малый опытный, потому что правил одной только рукой, а другую засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом, уже на прокурорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго еще у него вертелся на языке всякий вздор: белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания: собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную переписку. Селифан молча слушал очень долго и потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина!» Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол и самого барина. Но наконец сапоги были сняты, барин разделся как следует и, поворочавшись несколько времени на постеле, которая скрипела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка между тем вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривши на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьем поняли друг друга: барин-де завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнеся в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия и балагурия дорогою совершенно о постороннем. Прогулку сделали они недалекую: именно, перешли только на другую сторону улицы, к дому, бывшему насупротив гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких: и бривших и не бривших бороды, и в нагольных тулупах и просто в рубахе, а кое-кто и во фризовой шинели. Что делали там Петрушка с Селифаном, бог их ведает, но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука

в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели ее и взошли. Петрушка остановился с минуту перед низенькою своею кроватью, придумывая, как бы лечь приличнее, и лег совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол. Селифан лег и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а, может быть, в людской, если не в конюшне близ лошадей. Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все угомонилось, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук.

Глава восьмая

Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно,— говорили иные,— это так, против этого и спору нет: земли в южных губерниях, точно, хороши и плодородны; но каково будет крестьянам Чичикова без воды? реки ведь нет никакой».— «Это бы еще ничего, что нет воды, это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение-то ненадежная вещь. Дело известное, что мужик: на новой земле, да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора,— убежит, как дважды два, наострит так лыжи, что и следа не отыщешь».— «Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу».— «Но, Иван Григорьевич, ты упустил из виду важное дело: ты не спросил еще, каков мужик у Чичикова. Позабыл то, что ведь хорошего человека не продаст помещик; я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения».— «Так, так, на это я согласен, это правда, никто не продаст хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы, но нужно принять во внимание, что вот тут-то и есть мораль, тут-то и заключена

мораль: они теперь негодяи, а, переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж было немало таких примеров: просто в мире, да и по истории тоже». — «Никогда, никогда, — говорил управляющий казенными фабриками, — поверьте, никогда это не может быть. Ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю: в две недели они изопьются и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретется крестьянами во время переселения. Нужно разве, чтобы они вечно были пред глазами Чичикова и чтоб он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор, да и не то чтобы полагаясь на другого, а чтобы сам-таки лично, где следует, дал бы и зуботычину и подзатыльника». — «Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники, он может найти и управителя». — «Да, найдете управителя: все мошенники!» — «Мошенники потому, что господа не занимаются делом». — «Это правда, — подхватили многие. — Знай господин сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве да умеи различать людей — у него будет всегда хороший управитель». Но управляющий сказал, что меньше как за пять тысяч нельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за три тысячи сыскать. Но управляющий сказал: «Где же вы его сыщете? разве у себя в носу?» Но председатель сказал: «Нет, не в носу, а в здешнем же уезде, именно: Петр Петрович Самойлов: вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова!» Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашала; стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. На это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не ездит, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода: были такие, которые уже чересчур отзывались военною жестокостью и строгостию, едва ли не излишнею; были, однако же, и такие, которые дышали кротостию. Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выражению, ввести даже благодетельное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкастеровой школе взаимного обучения.

Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие,



побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для безопасного препровождения крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не преминет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера, чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может.

Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, каких только мог ожидать Чичиков. Именно, пронесли слухи, что он не более не менее как миллионщик. Жители города и без того, как уже мы видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости: «Любезный друг Илья Ильич!», «Послушай, брат, Антипатор Захарьевич!», «Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич». К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: «шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?» — словом, все было очень семейственно. Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостью, и мастерски читал многие места, особенно: «Бор заснул, долина спит», и слово «чу!» так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы «Ночи» и «Ключ к тайнствам натуры» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки, но какого рода они были, это никому не было известно. Впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: «судырь ты мой, эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, некоторым образом», и прочими, которые сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае. Насчет благовидности уже известно, все они

были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузантика, чернушки, кики, жужу и проч. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба-соли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким, тем более Чичиков с своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну нравиться. Они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города, только и слышал он: «Ну недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович!» — словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечатление (совершенный предмет изумления!), которое произвел Чичиков на дам. Чтоб это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества; но для автора это очень трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны... с другой стороны — просто трудно. Дамы города N были... нет, никаким образом не могу: чувствуется точно робость. В дамах города N больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть: о характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее краски и побольше их на палитре, а нам придется разве слова два о наружности да о том, что поповерхностней. Дамы города N были то, что называют презентабельны, и в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких, а особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода, сзади покачивался лакей, и ливрея в золотых позументах. Визитная карточка, будь она писана хоть на трефовой двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно, именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни старались потом мужья и родственники примирить их, но нет, оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя: примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского света. Насчет занятия первых мест происходило тоже множество весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские, великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно,

между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах дамы города N были строги, исполнены благородного негодования противу всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то, что называют *другое-третье*, то оно происходило втайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило; сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел *другое-третье* или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицею: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела». Еще нужно сказать, что дамы города N отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: «этот стакан нехорошо ведет себя» — или что-нибудь вроде этого. Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо жестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города N, говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей; но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничась поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но с тех пор как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскиались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово «миллионщик», — не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, — словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получают от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегают ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть попросят насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами; однако же в многих гостиных стали говорить, что,

конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины: что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человека. В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостинном дворе сделалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материй, привезенных ими с ярмарки и не сходявших с рук по причине цены, показавшейся высокою, пошли вдруг в ход и были раскуплены нарасхват. Во время обедни у одной из дам заметили внизу платья такое руло, которое растопырило его на полцеркви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подальше, то есть поближе к паперти, чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел на столе у себя письмо; откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать; трактирный слуга отозвался, что принесли-де и не велели сказывать, от кого. Письмо начиналось очень решительно, именно так: «Нет, я должна к тебе писать!» Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами; эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки; потом следовало несколько мыслей, весьма замечательных по своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать: «Что жизнь наша? — Долина, где поселились горести. Что свет? — Толпа людей, которая не чувствует». Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которая, протекло двадцать пять лет, как уже не существует на свете; приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом; окончание письма отзывалось даже решительным отчаяньем и заключалось такими стихами:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах,
Воркуя томно, скажут,
Что она умерла во слезах.

В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего: письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и и числа. В *postscriptum*¹ было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую и что на бале

¹ приписке (лат.).

у губернатора, имеющем быть завтра, будет присутствовать сам оригинал.

Это очень его заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытство, что он перечел и в другой и в третий раз письмо и наконец сказал: «Любопытно бы, однако ж, знать, кто бы такая была писавшая!» Словом, дело, как видно, сделалось сурьезно; более часу он все думал об этом, наконец, расставив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень, очень кудряво написано!» Потом, само собой разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какою-то афишею и пригласительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте. Немного спустя принесли к нему, точно, приглашение на бал к губернатору — дело весьма обыкновенное в губернских городах: где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства.

Все постороннее было в ту ж минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовление к балу; ибо, точно, было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки; отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты, мордашка эдакой!» — и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостью и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод, и упала со стола щетка.

Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу, кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора произнесши: «А нижний земский суд отвечает на это...», но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах, боже мой, Павел Иванович! Любезный Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот

он, наш Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицеймейстера; полицеймейстер сдал его инспектору врачебной управы; инспектор врачебной управы — откупщику, откупщик — архитектору... Губернатор, который в то время стоял возле дам и держал в одной руке конфетный билет, а в другой болонку, увидя его, бросил на пол и билет и болонку, — только завизжала собачонка; словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или по крайней мере отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест: после того как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится, и он сам изволил наконец пошутить, то есть произнести с приятною усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники; смеются от души те, которые, впрочем, несколько плохо услышали произнесенные им слова, и, наконец, стоящий далеко у дверей у самого выхода какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот по неизменным законам отражения выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающею гирляндой и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий: одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиков подымал только нос кверху да нюхал. В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: «Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!» Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было примечать). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновен-

ною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя», эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали наперед и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, — словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется. Чичиков, стоя перед ними, думал: «Которая, однако же, сочинительница письма?» — и высунул было вперед нос; но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзе, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — все поднялось и понеслось...

— Вона! пошла писать губерния! — проговорил Чичиков, попятившись назад, и, как только дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать: нельзя ли по выражению в лице и глазах узнать, которая была сочинительница; но никак нельзя было узнать ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была сочинительница. Везде было заметно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо-тонкое, у! какое тонкое!.. «Нет, — сказал сам в себе Чичиков, — женщины, это такой предмет... — Здесь он и рукой махнул. — Просто и говорить нечего! Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегают на их лицах, все те излучинки, намеки, — а вот просто ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек — и поминай как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный. Бог их знает, какого нет еще! и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или,

как иные говорят, в неге, или без неги, но пуше нежели в неге — так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода, да и ничего больше!»

Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что же делать? Таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех возможных произношений: по-французски в нос и картавя, по-английски произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичьей, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии; а вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем какая взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным, — словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рты да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода; но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее.

А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительница письма. Попробовавши устремить внимательнее взор, он увидел, что с дамской стороны тоже выражалось что-то такое, ниспосылающее вместе и надежду и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он наконец сказал: «Нет, никак нельзя угадать!» Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным, мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички щеголи на высоких каблуках, называемые мышинными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскиали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице, что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться: заметивши, что он становился обыкновенно около

дверей, некоторые наперерыв спешили занять стул поближе к дверям, и когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пренеприятная история, и многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительною подобная наглость.

Чичиков так занялся разговорами с дамами, или, лучше, дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадывать, отчего даже выступил у него на лбу пот,— что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла несколько ласковым и лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Павел Иванович, так вот как вы!..» В точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то исполненное большой любезности, в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостиные и похвалиться знанием высшего тона в духе того, что «неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами». Герой наш поворотился в ту ж минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей ответ, вероятно ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и всякие ловкие военные люди, как, невзначай поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом.

Перед ним стояла не одна губернаторша: она держала под руку молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, свеженькую блондинку с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для мадонны и какое только редким случаем попадает на Руси, где любит все оказаться в широком размере, все что ни есть: и горы и леса и степи, и лица и губы и ноги; ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавши от Ноздрева, когда, по глупости кучеров или лошадей, их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с дядею Миняем взялись распутывать дело. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова, и пробормотал черт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин.

— Вы не знаете еще моей дочери? — сказала губернаторша. — Институтка, только что выпущена.

Он отвечал, что уже имел счастье нечаянным образом познакомиться; попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав два-три слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков

все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу, с тем чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека: вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он, — не платок ли? но платок в кармане; не деньги ли? но деньги тоже в кармане, все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянno и смутно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску — и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него. В это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостью и любезностью. «Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете?» — «Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша?» — «Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?» Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули, как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро; каждая внутренно решила употребить всевозможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам, — я говорю у некоторых, это не то, что у всех, — есть маленькая слабость: если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их так первая и бросится всем в глаза и все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческий нос!» или: «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи!» — а на лицо, волосы, нос, лоб даже не взглянут, если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательней в танцах и показать во всем блеске превосходство того, что у нее было самого превосходного. Почтмейстерша, вальсируя, с такой томностью опустила набок голову, что слышалось в самом деле что-то неземное. Одна очень любезная дама, — которая приехала вовсе не с тем, чтобы танцевать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого инкомодите в виде горошинки на правой ноге, вследствие чего должна была даже надеть плисовые са-

поги,— не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов в плисовых сапогах, для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала в самом деле слишком много себе в голову.

Но все это никак не произвело предполагаемого действия на Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка; приседал и вниз тоже, высматривая промеж плечей и спин, наконец доискался и увидел ее, сидящую вместе с матерью, над которою величаво колебалась какая-то восточная чалма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом; весеннее ли расположение подействовало на него, или толкал его кто сзади, только он протеснялся решительно вперед, несмотря ни на что; откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге, не то бы, конечно, повалил за собою целый ряд; почтмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией, но он на них не поглядел; он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там в стороне четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол и, армейский штабс-капитан работал и душою и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и франтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях оказалась какая-то неловкость.

Нельзя сказать наверно, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви,— даже сомнительно, чтобы господя такого рода, то есть не так чтобы толстые, однако ж и не то чтобы тонкие, способны были к любви; но при всем том здесь было что-то такое, странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали; скрипки и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки: ее овально-круглившееся личико, ее тоненький-тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платье, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы.

Видно, так уж бывает на свете; видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов; но слово «поэт» будет уже слишком. По крайней мере он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевши возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дело пошло, и он начал даже получать форс, но... здесь, к величайшему прискорбию, надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами; на это мастера господа поручики и никак не далее капитанских чинов. Как они делают, бог их ведает: кажется, и не очень мудреные вещи говорят, а девица то и дело качается на стуле от смеха; статский же советник бог знает что расскажет: или поведет речь о том, что Россия очень пространное государство, или отпустит комплимент, который, конечно, выдуман не без остроумия, но от него ужасно пахнет книгою; если же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно, в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были: свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софией Ростиславной и двумя сводными сестрами — Софией Александровной и Маклатурой Александровной.

Всем дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичикова. Одна из них нарочно прошла мимо его, чтобы дать ему это заметить, и даже задела блондинку довольно небрежно толстым руло своего платья, а шарфом, который порхал вокруг плеч ее, распорядилась так, что он махнул концом своим ее по самому лицу; в то же самое время позади его из одних дамских уст изнеслось, вместе с запахом фиалок, довольно колкое и язвительное замечание. Но или он не услышал в самом деле, или прикинулся, что не услышал, только это было нехорошо, ибо мнением дам нужно дорожить: в этом он и раскаялся, но уже после, стало быть, поздно.

Негодование, во всех отношениях справедливое, изобразилось во многих лицах. Как ни велик был в обществе вес Чичикова, хотя он и миллионщик и в лице его выражалось величие и даже что-то

марсовское и военное, но есть вещи, которых дамы не простят никому, будь он кто бы ни было, и тогда прямо пиши пропало! Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего что ни есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым, почти неумышленное, восстановило между дамами даже согласие, бывшее было на краю гибели по случаю завладения стулом. В произнесенных им невзначай каких-то сухих и обыкновенных словах нашли колкие намеки. В довершение бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах. Эти стихи были приписаны тут же Чичикову. Негодование росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом; а бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее уже был подписан.

А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Из буфета ли он вырвался или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей ли волею или вытолкали его, только он явился веселый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны свои густые брови, как бы придумывая средство выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле, оно было невыносимо. Ноздрев, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно не без рома, врал немилосердно. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться: ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но, как на беду, в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судиею в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет; а между тем Ноздрев уже увидал его и шел прямо навстречу.

— А, херсонский помещик, херсонский помещик! — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенняя роза, щеки. — Что? много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство, — горлачил он тут же, обратившись к губернатору, — он торгует мертвыми душами! Ей-богу! Послушай, Чичиков! ведь ты, — я тебе говорю по дружбе, вот мы все здесь твои друзья, воти его превосходительство здесь, — я бы тебя повесил, ей-богу повесил!

Чичиков просто не знал, где сидел.

— Поверите ли, ваше превосходительство, — продолжал Ноздрев, — как сказал он мне: «Продай мертвых душ», я так и лопнул со смеха. Приезжаю сюда, мне говорят, что купил на три миллиона крестьян на вывод: каких на вывод! да он торговал у меня мертвых. Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей-богу скотина, вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор?

Но прокурор, и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашлись совершенно, что отвечать, а между тем Ноздрев, нимало не обращая внимания, нес полутрезвую речь:

— Уж ты, брат, ты, ты... я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно, у тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор? Вы не поверите, ваше превосходительство, как мы друг к другу привязаны, то есть, просто если бы вы сказали, вот, я тут стою, а вы бы сказали: «Ноздрев! скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков?» — скажу: «Чичиков», ей-богу... Позволь, душа, я тебе влеплю один безе. Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не противься, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!

Ноздрев был так оттолкнут с своими безе, что чуть не полетел на землю: от него все отступились и не слушали больше; но все же слова его о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождаемы таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою и в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу; но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный: как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» — а другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания!» — и вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавши ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!»

И это непременно обойдет весь город, и все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта и потом признают, что это не стоит внимания и недостойно, чтобы о нем говорить.

Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно: точь-в-точь как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу, — словом, нехорошо, совсем нехорошо! Он пробовал об этом не думать, старался рассеяться, развлечься, присел в вист, но все пошло, как кривое колесо: два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил сдуру свою же. Председатель никак не мог понять, как Павел Иванович, так хорошо и, можно сказать, тонко разумевший игру, мог сделать подобные ошибки и подвел даже под обух его пикового короля, на которого он, по собственному выражению, надеялся, как на бога. Конечно, почтмейстер и председатель и даже сам полицеймейстер, как водится, подшучивали над нашим героем, что уж не влюблен ли он и что мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сердчишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелено; но все это никак его не утешало, как он ни пробовал усмехаться и отшучиваться. За ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то что общество за столом было приятное и что Ноздрева давно уже вывели; ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур становилось скандально. Посреди котильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что было уже ни на что не похоже, по выражению дам. Ужин был очень весел, все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфетами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки — все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать у слуг блюда, чтобы с необыкновенною ловкостью предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая дельное слово рыбой или говядиной, обмакнутой нещадным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие; но он был похож на какого-то человека, уставшего или разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум и который не в силах войти ни во что. Даже не дождался он окончания ужина и уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать.

Там, в этой комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом, и выглядывавшими иногда из углов тараканами, положение мыслей и духа его было так же беспокойно, как беспокойны те кресла, в которых он сидел. Неприятно,

смутно было у него на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там. «Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти балы! — говорил он в сердцах. — Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожай, дороговизна, так вот они за балы! Эк штука: разрядились в бабьи тряпки! Невидаль, что иная навертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков или, что еще хуже, на счет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того, чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Сидорова, что на почтмейстерше лучше было платье, да из-за нее бух тысячу рублей. Кричат: «Бал, бал, веселость!» — просто дрянный бал, не в русском духе, не в русской натуре; черт знает что такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. Иной даже, стоя в паре, переговаривает с другим об важном деле, а ногами в то же самое время, как козленок, вензеля направо и налево... Всё из обезьянства, всё из обезьянства! Что француз в сорок лет такой же ребенок, каким был и в пятнадцать, так вот давай же и мы! Нет, право... после всякого бала точно как будто какой грех сделал; и вспомнить даже о нем не хочется. В голове просто ничего, как после разговора с светским человеком: всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергал из книжек, пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес, и видишь потом, как даже разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек. Ну что из него выжмешь, из этого бала? Ну если бы, положим, какой-нибудь писатель вздумал описывать всю эту сцену так, как она есть? Ну и в книге, и там была бы она так же бестолкова, как в натуре. Что она такое: нравственная ли, безнравственная ли? просто черт знает что такое! Плюнешь, да и книгу потом закроешь». Так отзывался неблагоприятно Чичиков о балах вообще; но, кажется, сюда вмешалась другая причина негодования. Главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться, что он вдруг показался пред всеми бог знает в каком виде, что сыграл какую-то странную, двусмысленную роль. Конечно, взглянувши оком благоразумного человека, он видел, что все это вздор, что глупое слово ничего не значит, особливо теперь, когда главное дело уже обделано как следует. Но странен человек: его огорчало сильно нерасположение тех самых, которых он не уважал и насчет которых отзывался резко, понося их суетность и наряды. Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился, и в том, конечно, был прав. Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь

ближнего, на ком бы выместить свою досаду, например на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который в пору подвернулся, на жене или, наконец, на стуле, который швырнется черт знает куда, к самым дверям, так что отлетит от него ручка и спинка: пусть, мол, его знает, что такое гнев. Так и Чичиков скоро нашел ближнего, который потащил на плечах своих все, что только могла внушить ему досада. Ближний этот был Ноздрев, и нечего сказать, он был так отделан со всех боков и сторон, как разве только какой-нибудь плут староста или ямщик бывает отделан каким-нибудь езжалым, опытным капитаном, а иногда и генералом, который сверх многих выражений, сделавшихся классическими, прибавляет еще много неизвестных, которых изобретение принадлежит ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многие из членов его фамилии в восходящей линии сильно потерпели.

Но в продолжение того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшею черною шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только (увы!) слишком протертую русским забубенным народом дорогу, — в это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно, в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядели даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхождения, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутою легкой проседью, — лицо, известное под именем «малого». Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника, который, подняв свою алебарду, закричал спросонья что стало мочи: «Кто идет?» — но, увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжанье, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю,

казнил его тут же у себя на ноге. После чего, оставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и притом, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась перед воротами дома протопопши. Из брички вылезла девка, с платком на голове, в телогрейке, ихватила обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из пеструшки был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки). Собаки залаяли, и ворота, разинувшись наконец, проглотили, хотя с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами; из экипажа вылезла барыня: эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое пришла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не проспавши три ночи сряду, решилась ехать в город, несмотря на то что лошади не были подкованы, и там узнать наверно, почем ходят мертвые души и уж не промахнулась ли она, боже сохрани, продав их, может быть, втридешева. Какое произвело следствие это прибытие, читатель может узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей... но пусть лучше сей разговор будет в следующей главе.

Глава девятая

Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе N для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке, сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощенной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенною поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: «Пошел!» Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела, к несказанной досаде, что все еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного; белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она наконец не вытерпела не сказать: «Проклятое строение, и конца нет!» Кучер уже два раза получал приказание: «Поскорее, поскорее, Андрюшка! ты сегодня неснос-

но долго едешь!» Наконец цель была достигнута. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета, с белыми барельефчиками над окнами, с высокою деревянною решеткою перед самыми окнами и узеньким палисадником, за решеткою которого находившиеся тоненькие деревца побелели от никогда не сходившей с них городской пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, попугай, качавшийся в клетке, уцепясь носом за кольцо, и две собачонки, спавшие перед солнцем. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как серживались встарь. Назвать выдуманною фамилиею опасно. Какое ни придумаешь имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь, носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно с тем, чтобы выведать все, что он такое сам, и в каком тулупчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне наведывается, и что любит покушать. Назови же по чинам — боже сохрани, и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что все, что ни есть в печатной книге, уже кажется им личностью: таково уж, видно, расположение в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность; вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже человек, стало быть я тоже глуп», — словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потому, для избежания всего этого, будем называть даму, к которой приехала гостья, так, как она называлась почти единогласно в городе N: именно, дамою приятною во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо, точно, ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени, хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась, ух, какая юркая прыть женского характера! и хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала, ух, какая булавка! а уж не приведи бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первые. Но все это было облечено самою тонкою светскостью, какая только бывает в губернском городе. Всякое движение производила она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать голову, — и все согласились, что она, точно, дама приятная во всех отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее: просто приятная дама. Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора

и цвета и в длинных хвостах на шее; жасмины понеслись по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже вбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком, и обе дамы отправились в гостиную, разумеется голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом; вслед за ними побежали, ворча, мохнатая Адель и высокий Попури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда, вот в этот уголок! — говорила хозяйка, усаживая гостью в угол дивана. — Вот так! вот так! вот вам и подушка!» Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь таким образом, как их всегда вышивают по канве: нос вышел лестницею, а губы четвероугольником. «Как же я рада, что вы... Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, кто бы мог так рано. Параша говорит: «вице-губернаторша», а я говорю: «Ну вот, опять приехала дура надоедать», и уж хотела сказать, что меня нет дома...»

Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость. Но восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору.

— Какой веселенький ситец! — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы.

— Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки... Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете.

— Милая, это пестро.

— Ах, нет, не пестро.

— Ах, пестро!

Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонна к отрицанию и сомнению и отвергала весьма многое в жизни.

Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула:

— Да, поздравляю вас: оборок более не носят.

— Как не носят?

— На место их фестончики.

— Ах, это нехорошо, фестончики!

— Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики.

— Нехорошо, Софья Ивановна, если всё фестончики.

— Мило, Анна Григорьевна, до невероятности; шьется в два рубчика: широкие проймы и сверху... Но вот, вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что... Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ; юбка вся собирается вокруг, как, бывало, в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бельфам.

— Ну уж это просто: признаюсь! — сказала дама приятная во всех отношениях, сделавши движение головою с чувством достоинства.

— Именно, это уж, точно, признаюсь! — отвечала просто приятная дама.

— Уж как вы хотите, я ни за что не стану подражать этому.

— Я сама тоже... Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода... ни на что не похоже! Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху; Меланья моя принялась шить.

— Так у вас разве есть выкройка? — вскрикнула во всех отношениях приятная дама не без заметного сердечного движения.

— Как же, сестра привезла.

— Душа моя, дайте ее мне ради всего святого.

— Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне. Разве после нее.

— Кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уж слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим.

— Да ведь она тоже мне двоюродная тетка.

— Она вам тетка еще бог знает какая: с мужниной стороны... Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу, это выходит: вы мне хотите нанести такое оскорбление... Видно, я вам наскучила уже, видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство.

Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась! Она бы готова была исколоть за это иголками глупый язык.

— Ну что ж наш прелестник? — сказала между тем дама приятная во всех отношениях.

— Ах, боже мой! что ж я так сижу перед вами! вот хорошо! Ведь вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам? — Тут дыхание госты сперлось, слова, как ястребы, готовы были

пуститься в погоню одно за другим, и только нужно было до такой степени быть бесчеловечной, какова была искренняя приятельница, чтобы решиться остановить ее.

— Как вы ни выхваляйте и ни превозносите его, — говорила она с живостью, более нежели обыкновенною, — а я скажу прямо, и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный.

— Да послушайте только, что я вам открою...

— Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него... самый неприятный нос.

— Позвольте же, позвольте же только рассказать вам... душенька, Анна Григорьевна, позвольте рассказать! Ведь это история, понимаете ли: история, сконапелъ истоар, — говорила гостя с выражением почти отчаяния и совершенно умоляющим голосом. Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как не исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно из глубокого чувства любви к отчизне, но при всем том никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски.

— Какая же история?

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только представить то положение, в котором я находилась! Вообразите: приходит ко мне сегодня протопопша — протопопша, отца Кирилы жена, и что бы вы думали: наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а?

— Как, неужели он и протопопше строил куры?

— Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего; слушайте только, что рассказала протопопша: приехала, говорит, к ней помещица Коробочка, перепуганная и бледная как смерть, и рассказывает, и как рассказывает! послушайте только; совершенный роман: вдруг в глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается в ворота стук, ужаснейший, какой только можно себе представить; кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!» Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник?

— Да что Коробочка, разве молода и хороша собою?

— Ничуть, старуха!

— Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться.

— Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный

с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина, и требует: «Продайте, говорит, все души, которые умерли». Коробочка отвечает очень резонно, говорит: «Я не могу продать, потому что они мертвые». — «Нет, говорит, они не мертвые, это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они, или нет; они не мертвые, не мертвые, кричит, не мертвые!» Словом, скандалюзу наделал ужасного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает, ну просто оррёр, оррёр, оррёр!.. Но вы себе представить не можете, Анна Григорьевна, как я перетревожилась, когда услышала все это. «Голубушка барыня, — говорит мне Машка, — посмотрите в зеркало: вы бледны». — «Не до зеркала, говорю, мне, я должна ехать рассказать Анне Григорьевне». В ту ж минуту приказываю заложить коляску: кучер Андриушка спрашивает меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить, гляжу просто ему в глаза, как дура; я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если б вы только могли себе представить, как я перетревожилась!

— Это, однако ж, странно, — сказала во всех отношениях приятная дама. — Что бы такое могли значить эти мертвые души? Я, признаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во второй раз я все слышу про эти мертвые души; а муж мой еще говорит, что Ноздрев врет: что-нибудь верно же есть.

— Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положение, когда я услышала это. «И теперь, — говорит Коробочка, — я не знаю, говорит, что мне делать. Заставил, говорит, подписать меня какую-то фальшивую бумагу, бросил пятнадцать рублей ассигнациями; я, говорит, неопытная, беспомощная вдова, я ничего не знаю...» Так вот происшествие! Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась.

— Но только, воля ваша, здесь не мертвые души, здесь скрывается что-то другое.

— Я, признаюсь, тоже, — произнесла не без удивления просто приятная дама и почувствовала тут же сильное желание узнать, что бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкой: — А что ж, вы полагаете, здесь скрывается?

— Ну, как вы думаете?

— Как я думаю?.. Я, признаюсь, совершенно потеряна.

— Но, однако ж, я бы все хотела знать, какие ваши насчет этого мысли?

Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но, чтобы составить какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не ставало, и оттого, более нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах.

— Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души,— сказала дама приятная во всех отношениях, и гостя при таких словах вся обратилась в слух: ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновения.

Так русский барин, собачей и иора-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный доезжачими заяц, превращается весь с своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уж допечет его неотбойный, как ни воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку.

— Мертвые души...— произнесла во всех отношениях приятная дама.

— Что, что? — подхватила гостя, вся в волнении.

— Мертвые души!..

— Ах, говорите ради бога!

— Это просто выдуманно только для прикрытья, а дело вот в чем: он хочет увезти губернаторскую дочку.

Это заключение, точно, было никак не ожидаемо и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, побледнела как смерть и, точно, перетревожилась не на шутку.

— Ах, боже мой! — вскрикнула она, всплеснув руками,— уж этого я бы никак не могла предполагать.

— А я, признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело,— отвечала дама приятная во всех отношениях.

— Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание! ведь вот невинность!

— Какая невинность! Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их.

— Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла наконец безнравственность.

— А мужчины от нее без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней... Манерна нестерпимо.

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя, и хоть бы какое-нибудь выражение в лице.

— Ах, как манерна! ах, как манерна! Боже, как манерна! Кто выучил ее, я не знаю, но я еще не видывала женщины, в которой бы было столько жеманства.

— Душенька! она статуя и бледна как смерть.

— Ах, не говорите, Софья Ивановна: румянится безбожно.

— Ах, что это вы, Анна Григорьевна: она мел, мел, чистейший мел.

— Милая, я сидела возле нее: румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку.

— Ну позвольте, ну положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего имения, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца!

— Ах, что вы это говорите, Софья Ивановна! — сказала дама приятная во всех отношениях и всплеснула руками.

— Ах, какие же вы, право, Анна Григорьевна! я с изумлением на вас гляжу! — сказала приятная дама и всплеснула тоже руками.

Да не покажется читателю странным, что обе дамы были не согласны между собою в том, что видели почти в одно и то же время. Есть, точно, на свете много таких вещей, которые имеют уже такое свойство: если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные, красные, как брусника.

— Ну, вот вам еще доказательство, что она бледна, — продолжала приятная дама: — я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему: «Посмотрите, какая она бледная!» Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник... Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным.

— Да, однако же, нашлись некоторые дамы, которые были равнодушны к нему.

— Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете сказать этого, никогда, никогда!

— Да я не говорю об вас, как будто, кроме вас, никого нет.

— Никогда, никогда, Анна Григорьевна! Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю; а разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных.

— Уж извините, Софья Ивановна! Уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандалозностей никогда еще не водилось. За кем другим разве, а уж за мной нет, уж позвольте мне вам это заметить.

— Отчего же вы обиделись? ведь там были и другие дамы, были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе.

Ну, уж после таких слов, произнесенных приятною дамою, должна была неминуемо последовать буря, но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что

выкройка для модного платья еще не находится в ее руках, а просто приятная дама смекнула, что она еще не успела вывести никаких подробностей насчет открытия, сделанного ее искреннею приятельницею, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы нельзя сказать чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятность, и вообще в характерах их ничего не было злого, а так, нечувствительно, в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга; просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо: вот, мол, тебе! на, возьми, съешь! Разного рода бывают потребности в сердцах как мужеского, так и женского пола.

— Я не могу, однако же, понять только того, — сказала просто приятная дама, — как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников.

— А вы думаете, нет их?

— А кто же бы, полагаете, мог помогать ему?

— Ну да хоть и Ноздрев.

— Неужели Ноздрев?

— А что ж? ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца хотел продать или, еще лучше, проиграть в карты.

— Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас! Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю!

— А я всегда предполагала.

— Как подумаешь, право, чего не происходит на свете! Ну можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась! Если бы не ваша благосклонность и дружба... вот уже, точно, на краю гибели... куда ж? Машка моя видит, что я бледна как смерть: «Душечка барыня, — говорит мне, — вы бледны как смерть». — «Машка, говорю, мне не до того теперь». Так вот какой случай! Так и Ноздрев здесь, прошу покорно!

Приятной даме очень хотелось вывести дальнейшие подробности насчет похищения, то есть в котором часу и прочее, но многого захотела. Во всех отношениях приятная дама прямо отождествилась незнанием. Она не умела лгать: предположить что-нибудь — это другое дело, но и то в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении; если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда умела она постоять за себя, и попробовал бы какой-нибудь дока адвокат, славящийся даром побеждать чужие мнения, попробовал бы он состязаться здесь, — увидел бы он, что значит внутреннее убеждение.

Что обе дамы, наконец, решительно убедились в том, что прежде предположили только как одно предположение, в этом ничего нет необыкновенного. Наша братья, народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом: не оттуда ли? не из того ли угла получила имя такая-то страна? или: не принадлежит ли этот документ к другому, позднейшему времени? или: не нужно ли под этим народом разуместь вот какой народ? Цитует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает за них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением; ему уже кажется, что он это видит, что это ясно,— и рассуждение заключено словами: «так это вот как было, так вот какой народ нужно разуместь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет!» Потом во всеуслышанье с кафедры,— и новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников.

В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор с вечно неподвижною своею физиономией, густыми бровями и моргавшим глазом. Дамы наперерыв принялись сообщать ему все события, рассказали о покупке мертвых душ, о намерении увезти губернаторскую дочку и сбили его совершенно с толку, так что сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, считая оттуда табак, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован; все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. Положение их в первую минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищу, вставшие пораньше, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши впросонках весь табак к себе, со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза, во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро, с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с осветившеюся речкою, там и там пропадающею блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазы-

вающими на купанье, и потом уже наконец чувствует, что в носу у него сидит гусар. Таково совершенно было в первую минуту положение обитателей и чиновников города. Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно; и потом уже, после первого одурения, они как будто бы стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мертвые души? Логика нет никакой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется? и на какие слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? и зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увезти ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, так зачем увозить губернаторскую дочку? подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор, в самом деле, разнесли по городу? Что ж за направление такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь смысл был... Однако ж разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина? Какая же причина в мертвых душах? даже и причины нет. Это, выходит, просто: Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку! это просто черт побери!.. Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что ни есть, поднялось. Как вихорь взметнулся дотол, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по несколько лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу-кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знали только, как выражаются, с помещиками Завалишиным да Полежаевым (знаменитые термины, произведенные от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси, все равно как фраза: заехать к Сопикову и Храповицкому, означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях, с храпами, носовыми свистами и прочими принадлежностями); все те, которых нельзя было выманить из дому, даже зазывом на расхлебку пятисотрублевой ухи с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, коле-

сосвистки — и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания; но город N уже давно не получал никаких совершенно вестей. Даже не происходило в продолжение трех месяцев ничего такого, что называют в столицах комеражами, что, как известно, для города то же, что своевременный подвоз съестных припасов. В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения и образовались вдруг две противоположные партии: мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочери. В этой партии, надо заметить к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности. Таково уже, видно, самое назначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у них скоро приняло живой определенный вид, облеклось в ясные и очевидные формы, объяснилось, очистилось, одним словом, вышла оконченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор даже бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат, как жид, если бы причиною не была жена его, которую он бросил (откуда они узнали, что Чичиков женат, — это никому не было ведомо), и что жена, которая страдает от безнадёжной любви, написала письмо к губернатору самое трогательное, и что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось это несколько иначе: что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял, с тем чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею сердечную тайную связь, и что потом сделал декларацию насчет руки дочери; но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление, противное религии, и чувствуя в душе угрызение совести, отказала наотрез, и что вот потому Чичиков решился на похищение. Ко всему этому присоединялись многие объяснения и поправки по мере того, как слухи проникали наконец в самые глухие переулки. На Руси же общества низшие очень любят поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших, а потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, где даже в глаза не видывали и не знали Чичикова, пошли прибавления и еще большие пояснения. Сюжет становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы и наконец так как есть, во всей своей окончательности, доставлен был в собственные уши губернаторши. Губернаторша, как мать семейства, как первая в городе дама, наконец, как дама, не подозревавшая ничего подобного, была совершенно оскорблена подобными историями и пришла в негодование, во всех отношениях справедливое. Бедная блондинка выдержала самый неприятный

tête-à-tête¹, какой только когда-либо случалось иметь шестнадцатилетней девушке. Полились целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, упреков, увещаний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла понять ни одного слова; швейцару дан был строжайший приказ не принимать ни в какое время и ни под каким видом Чичикова.

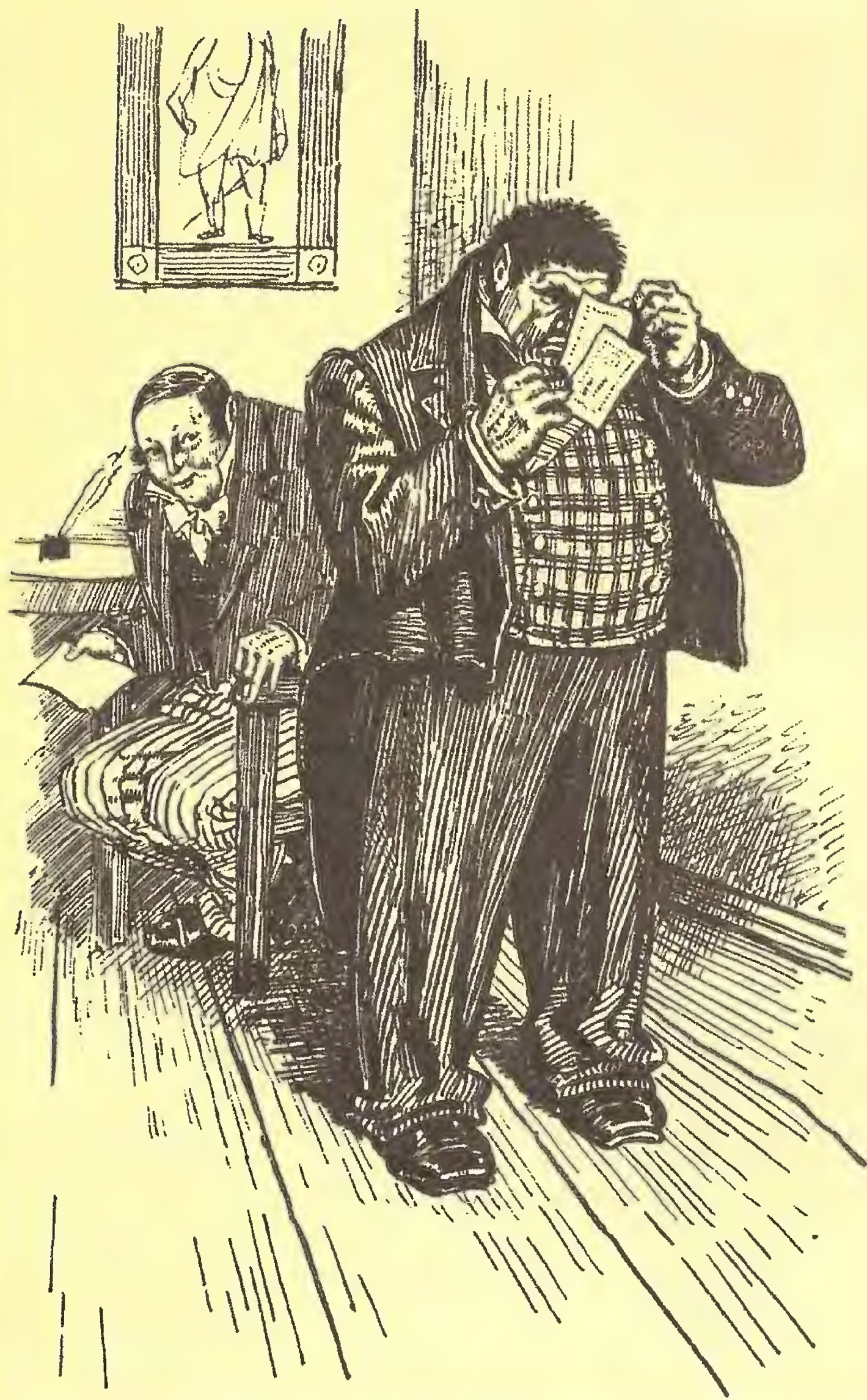
Сделавши свое дело относительно губернаторши, дамы надели было на мужскую партию, пытаясь склонить их на свою сторону и утверждая, что мертвые души выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешнее произвести похищение. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их партии, несмотря на то что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками — именами, как известно, очень обидными для мужского пола.

Но как ни вооружались и ни противились мужчины, а в их партии совсем не было такого порядка, как в женской. Всё у них было как-то черство, неотесано, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях, — одним словом, так и вызначилась во всем пустая природа мужчины, природа грубая, тяжелая, неспособная ни к домостроительству, ни к сердечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни. Они говорили, что всё это вздор, что похищение губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба — что мешок: что положат, то несет; что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, черт его знает, что значат, но в них заключено, однако ж, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключалось скверное и нехорошее, сию минуту узнаем: в губернию назначен был новый генерал-губернатор — событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние: пойдут переборки, распеканья, взбутетениванья и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных. «Ну что, — думали чиновники, — если он узнает только просто, что в городе их вот-де какие глупые слухи, да за это одно может вскипятить не на жизнь, а на самую смерть». Инспектор врачебной управы вдруг побледнел; ему представилось бог знает что: не разумеются ли под словом «мертвые души» больные, умершие в значительном количестве в лазаретах и в других местах от повальной горячки, против которой не было взято надлежащих мер, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия. Он сообщил об этом

¹ разговор с глазу на глаз (франц.).

председателю. Председатель отвечал, что это вздор, и потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос: а что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые? а он допустил совершить на них крепость да еще сам сыграл роль поверенного Плюшкина, и дойдет это до сведения генерал-губернатора, что тогда? Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот и другой; страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскиали в себе такие грехи, каких даже не было. Слово «мертвые души» так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела, вследствие двух не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим устьсыольским купцам, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сольвычегодские уходили насмерть устьсыольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствовавшую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот носос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своем купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили; носились слухи, будто при повинной голове они приложили по четыре государственных каждый; впрочем, дело слишком темное; из учиненных выправок и следствий оказалось, что устьсыольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили как угоревших. Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее: казенные крестьяне сельца Вшивая-спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, Задирайловотож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина; что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяжкин, повадился уж чересчур часто ездить в их деревню, что в иных случаях сто́ит повальной горячки, а причина-де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок. Наверное, впрочем, неизвестно, хотя в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был-де блудлив, как кошка, и что уже не раз они его оберегали и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Конечно, земская полиция достоин был наказания за сердечные слабости, но мужиков как Вшивой-спеси, так и Задирайлова-тож нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убиении. Но дело было темно, земскую полицию нашли на дороге, мундир или сюртук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать

нельзя было. Дело ходило по судам и поступило наконец в палату, где было сначала наедине рассужено в таком смысле: так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяжкин же человек мертвый, стало быть, ему не много в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были еще живы, стало быть, для них весьма важно решение в их пользу; то вследствие того решено было так: что заседатель Дробяжкин был сам причиною, оказывая несправедливые притеснения мужикам Вшивой-спеси и Задирайлова-тож, а умер-де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло, но чиновники, неизвестно почему, стали думать, что, верно, об этих мертвых душах идет теперь дело. Случись же так, что, как нарочно, в то время, когда господа чиновники и без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что по дошедшим показаниям и донесениям находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее розыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что буде окажется в их губернии какой подозрительный человек, не предъявляющий никаких свидетельств и пашпортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так и ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову, однако ж все, как поразмыслили каждый с своей стороны, как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица, говорил, правда, что потерпел по службе за правду, да ведь все это как-то неясно, и когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более: стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали, стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое... да кто же он в самом деле такой? Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки, а тем более быть разбойником: наружность благонамеренна; но при всем том, кто же бы, однако ж, он был такой на самом деле? И вот господа чиновники задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе вначале, то есть в первой главе нашей поэмы. Решено было еще сделать несколько расспросов тем, у которых были куплены души, чтобы по крайней мере узнать, что за покупка, и что именно нужно разуместь под этими мертвыми душами, и не объяснил ли он кому, хоть, может быть, невзначай, хоть вскользь как-нибудь, настоящих своих намерений, и не сказал ли он кому-нибудь о том, кто он такой. Прежде всего отнеслись к Коробочке, но тут почерпнули не много: купил-де



за пятнадцать рублей и птичьи перья тоже покупает, и много всего обещался закупить, в казну сало тоже ставит, и потому, наверно, плут, ибо уж был один такой, который покупал птичьи перья и в казну сало поставлял, да обманул всех и протопопшу надул более чем на сто рублей. Все, что ни говорила она далее, было повторение почти одного и того же, и чиновники увидели только, что Коробочка была просто глупая старуха. Манилов отвечал, что за Павла Ивановича всегда готов он ручаться, как за самого себя, что он бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Ивановича, и отозвался о нем вообще в самых лестных выражениях, присовокупив несколько мыслей насчет дружбы уже с зажмуренными глазами. Эти мысли, конечно, удовлетворительно объяснили нежное движение его сердца, но не объяснили чиновникам настоящего дела. Собакевич отвечал, что Чичиков, по его мнению, человек хороший, а что крестьян он ему продал на выбор и народ во всех отношениях живой; но что он не ручается за то, что случится вперед, что если они попримрут во время трудностей переселения в дороге, то не его вина, и в том властен бог, а горячек и разных смертоносных болезней есть на свете немало, и бывают примеры, что вымирают-де целые деревни. Господа чиновники прибегнули еще к одному средству, не весьма благородному, но которое, однако же, иногда употребляется, то есть стороною, посредством разных лакейских знакомств, расспросить людей Чичикова, не знают ли они каких подробностей насчет прежней жизни и обстоятельств барина, но слышали тоже не много. От Петрушки слышали только запах жилого покоя, а от Селифана, что сполнял службу государственную да служил прежде по таможне, и ничего более. У этого класса людей есть весьма странный обычай. Если его спросить прямо о чем-нибудь, он никогда не вспомнит, не приберет всего в голову и даже просто ответит, что не знает, а если спросить о чем другом, тут-то он и приплетет его, и расскажет с такими подробностями, которых и знать не захочешь. Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они наверное никак не знают, что такое Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно. Они положили наконец потолковать окончательно об этом предмете и решить по крайней мере, что и как им делать, и какие меры предпринять, и что такое он именно: такой ли человек, которого нужно задержать и схватить как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех как неблагонамеренных. Для всего этого предположено было обратиться нарочно у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города.

Глава десятая

Собравшись у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города, чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле, назначение нового генерал-губернатора, и эти полученные бумаги такого сурьезного содержания, и эти бог знает какие слухи — все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделались заметно просторней. Все подалось: и председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись, как и везде бывает, кое-кто неробкого десятка, которые не теряли присутствия духа, но их было весьма немного. Почтмейстер один только. Он один не изменялся в постоянно ровном характере и всегда в подобных случаях имел обыкновение говорить: «Знаем мы вас, генерал-губернаторов! Вас, может быть, три-четыре переменится, а я вот уже тридцать лет, судырь мой, сижу на одном месте». На это обыкновенно замечали другие чиновники: «Хорошо тебе, шпрехен зи дейч Иван Андрейч, у тебя дело почтовое: принять да отправить экспедицию; разве только надуешь, заперши присутствие часом раньше, да возьмешь с опоздавшего купца за прием письма в неуказанное время или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать, — тут, конечно, всякий будет святой. А вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку, так что вот и не хочешь брать, а он сам сует. Тебе, разумеется, сполагоря, у тебя один сынишка, а тут, брат, Прасковью Федоровну наделил бог такою благодатию, что год, то несет: либо Праскушку, либо Петрушку; тут, брат, другое запоешь». Так говорили чиновники, а можно ли в самом деле устоять против черта, об этом судить не авторское дело. В собравшемся на сей раз совете очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком. Вообще мы как-то не создались для представительных заседаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если в них нет одной главы, управляющей всем, присутствует препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это; видно, уже народ такой, только и удаются те совещания, которые составляются для того, чтобы покутить или пообедать, как-то: клубы и всякие воксалы на немецкую ногу. А готовность всякую минуту есть, пожалуй, на всё. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общества благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит оттого, что мы вдруг удовлетворяем-

ся в самом начале и уже почитаем, что все сделано. Например, затеявши какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас в ознаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым сановникам города, разумеется на половину всех пожертвованных сумм; на остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира, с отоплением и сторожами, а затем и остается всей суммы для бедных пять рублей с полтиною, да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание было совершенно другого рода: оно образовалось вследствие необходимости. Не о каких-либо бедных или посторонних шло дело, дело касалось всякого чиновника лично, дело касалось беды, всем равно грозившей; стало быть, поневоле тут должно быть единодушнее, теснее. Но при всем том вышло черт знает что такое. Не говоря уже о разногласиях, свойственных всем советам, во мнении собравшихся обнаружилась какая-то даже непостижимая нерешительность: один говорил, что Чичиков делатель государственных ассигнаций, и потом сам прибавлял: «а может быть, и не делатель»; другой утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии, и тут же присовокуплял: «а впрочем, черт его знает, на лбу ведь не прочтешь». Против догадки, не переодетый ли разбойник, вооружились все; нашли, что сверх наружности, которая сама по себе была уже благонамеренна, в разговорах его ничего не было такого, которое бы показывало человека с буйными поступками. Вдруг почтмейстер, остававшийся несколько минут погруженным в какое-то размышление, вследствие ли внезапного вдохновения, осенившего его, или чего иного, вскрикнул неожиданно:

— Знаете ли, господа, кто это?

Голос, которым он произнес это, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех в одно время:

— А кто?

— Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин!

А когда все тут же в один голос спросили:

— Кто таков этот капитан Копейкин? — почтмейстер сказал:

— Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?

Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин.

— Капитан Копейкин, — сказал почтмейстер, открывший свою табакерку только вполовину, из боязни, чтобы кто-нибудь из соседей не запустил туда своих пальцев, в чистоту которых он плохо верил и даже имел обыкновение приговаривать: «Знаем, батюшка: вы пальцами своими, может быть, невесть в какие места наведываетесь, а табак — вещь, требующая чистоты». — Капитан

Копейкин,— сказал почтмейстер, уже понюхавши табаку,— да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма.

Все присутствующие изъявили желание узнать эту историю, или, как выразился почтмейстер, презанимательную для писателя в некотором роде целую поэму, и он начал так:

ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ

«После кампании двенадцатого года, судырь ты мой,— так начал почтмейстер, несмотря на то что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро,— после кампании двенадцатого года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли, или под Лейпцигом, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Копейкин видит: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу; отец говорит: «Мне нечем тебя кормить, я,— можете представить себе,— сам едва достаю хлеб». Вот мой капитан Копейкин решился отправиться, судырь мой, в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости: «что вот-де, так и так, в некотором роде, так сказать, жизнью жертвовал, проливал кровь...» Ну как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными,— словом, судырь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе: эдакой какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский проспект или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми! или там эдакая какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения,— словом, Семирамида, судырь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиры, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры — Персия целиком; ногой, так сказать, попираешь капиталы. Ну, просто, то есть, идешь по улице, а уж нос твой так и слышит, что пахнет тысячами; а у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь десяти синюх. Ну, как-то там приютился в ревельском трактире, за рубль в сутки: обед — щи, кусок битой говядины. Видит: заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Говорят, есть, в некотором роде, высшая комис-

сия, правленье, понимаете, эдакое, и начальником генерал-аншеф такой-то. А государя, нужно вам знать, в то время не было еще в столице; войска, можете себе представить, еще не возвращались из Парижа, всё было за границей. Копейкин мой, вставший поранее, поскреб себе левой рукой бороду, потому что платить цирюльнику — это составит, в некотором роде, счет, натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартиру. «Вон», — говорят, указав ему дом на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья: стеклушки в окнах, можете себе представить, полуторасаженные зеркала, так что вазы и все, что там ни есть в комнатах, кажутся как бы внаруже: мог бы, в некотором роде, достать с улицы рукой; драгоценные мраморы на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей, так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавочку, да купить на грош мыла, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишься ухватиться за нее, — словом: лаки на всем такие — в некотором роде ума помрачение. Один швейцар уже смотрит генералиссимусом: вызолоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь; батистовые воротнички, канальство!.. Копейкин мой встацился кое-как с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем, можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию — раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эдакую. Ну, разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что, можете представить себе, пришел еще в такое время, когда генерал, в некотором роде, едва поднялся с постели и камердинер, может быть, поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний эдаких. Ждет мой Копейкин часа четыре, как вот входит наконец адъютант или там другой дежурный чиновник. «Генерал, говорит, сейчас выйдет в приемную». А в приемной уж народу — как бобов на тарелке. Все это не то, что наш брат холоп, всё четвертого или пятого класса, полковники, а кое-где и толстый макарон блестит на эполете — генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суeta, как эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там: «шу, шу», и наконец тишина настала страшная. Вельможа входит. Ну... можете представить себе: государственный человек! В лице, так сказать... ну, сообразно с званием, понимаете... с высоким чином... такое и выражение, понимаете. Все, что ни было в передней, разумеется, в ту же минуту в струнку, ожидает, дрожит, ждет решения, в некотором роде, судьбы. Министр, или вельможа, подходит к одному, к другому: «Зачем вы? зачем вы? что вам угодно? какое ваше дело?» Наконец, судырь мой, к Копейкину. Копейкин, собравшись с духом: «Так и так, ваше превосходительство: проливал кровь, лишился,

в некотором роде, руки и ноги, работать не могу, осмеливаюсь просить монаршей милости». Министр видит: человек на деревяшке и правый рукав пустой пристегнут к мундиру: «Хорошо, говорит, понаведайтесь на днях». Копейкин мой выходит чуть не в восторге: одно то, что удостоился аудиенции, так сказать, с первостатейным вельможею; а другое то, что вот теперь наконец решится, в некотором роде, насчет пенсiona. В духе, понимаете, таком, подпрыгивает по тротуару. Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки, пообедал, судырь мой, в Лондоне, приказал подать себе котлетку с каперсами, пулярку спросил с разными финтерлеями; спросил бутылку вина, ввечеру отправился в театр, — одним словом, понимаете, кутнул. На тротуаре, видит, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, можете себе представить, эдакой. Мой Копейкин — кровь-то, знаете, разыгралась в нем, — побежал было за ней на своей деревяшке, трюх-трюх следом — «да нет, — подумал — пусть после, когда получу пенсion, теперь уж я что-то расходился слишком». Вот, судырь мой, каких-нибудь через три, четыре дня является Копейкин мой снова к министру, дождался выхода. «Так и так, говорит, пришел, говорит, услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и за ранами...» — и тому подобное, понимаете, в должностном слоге. Вельможа, можете вообразить, тотчас его узнал: «А, говорит, хорошо, говорит, на этот раз ничего не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя; тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли я ничего не могу сделать». Поклон, понимаете, и — прощайте. Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самом неопределенном. Он-то уже думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги: «На тебе, голубчик, пей да веселись»; а вместо того ему приказано ждать, да и время не назначено. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой: и хвост у него между ног, и уши повесил. «Ну, нет, — думает себе, — пойду в другой раз, объясню, что последний кусок доедаю, — не поможете, должен умереть, в некотором роде, с голода». Словом, приходит он, судырь мой, опять на Дворцовую набережную; говорят: «Нельзя, не принимает, приходите завтра». На другой день — то же; а швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него из синюх-то, понимаете, уж остается только одна в кармане. То, бывало, едал щи, говядины кусок; а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленный да хлеба на два гроша, — словом, голодает, бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана — повар там, можете себе представить, иностранец, француз эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук,

белизною равный снегам, работает там фензерв какой-нибудь, котлетки с трюфелями, словом — рассупе-деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо Милютинских лавок, там из окна выглядывает, в некотором роде, семга эдакая, вишенки — по пяти рублей штучка, арбуз-громадище, дилижанс эдакой, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил сто рублей, — словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут, а он слышит между тем все «завтра». Так можете вообразить себе, каково его положение: тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой-то — ему подносят все одно и то же блюдо: «завтра». Наконец сделалось бедняге, в некотором роде, невтерпеж, решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель, и там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул с своей деревяшкой в приемную. Вельможа, по обыкновению, выходит: «Зачем вы? Зачем вы? А! — говорит, увидевши Копейкина, — ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения». — «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, — не имею, так сказать, куска хлеба...» — «Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать; старайтесь покамест помочь себе сами, ищите сами средств». — «Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, в некотором роде, судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги». — «Но, — говорит сановник, — согласитесь: я не могу вас содержать, в некотором роде, на свой счет; у меня много раненых, все они имеют равное право... Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что его монаршая милость вас не оставит». — «Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать», — говорит Копейкин, и говорит, в некотором отношении, грубо. Вельможе, понимаете, сделалось уже досадно. В самом деле: тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний; дела, так сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения, — минута упущения может быть важна, — а тут еще привязался сбоку неотвязчивый черт. «Извините, говорит, мне некогда... меня ждут дела важнее ваших». Напоминает способом, в некотором роде, тонким, что пора наконец и выдти. А мой Копейкин, — голод-то, знаете, пришпорил его: «Как хотите, ваше высокопревосходительство, говорит, не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию». Ну... можете представить: отвечать таким образом вельможе, которому стоит только слово — так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и черт тебя не отыщет... Тут если нашему брату скажет чиновник, одним чином поменьше, подобное, так уж и грубость. Ну, а там размер-то, размер каков: генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин! Девяносто рублей и нуль! Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд —

огнестрельное оружие: души уж нет — уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, ни с места, стоит как вкопанный. «Что же вы?» — говорит генерал и принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво: иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы после того улица вверх ногами, а он сказал только: «Хорошо, говорит, если вам здесь дорого жить и вы не можете в столице покойно ожидать решения вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря! препроводить его на место жительства!» А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трехаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков, — словом, дантист эдакой... Вот его, раба божия, схватили, судырь мой, да в тележку, с фельдъегерем. «Ну, — Копейкин думает, — по крайней мере не нужно платить прогонов, спасибо и за то». Вот он, судырь мой, едет на фельдъегере, да, едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе: «Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, — хорошо, говорит, я, говорит, найду средства!» Ну, уж как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но, позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь мой, не кто другой...»

— Только позволь, Иван Андреевич, — сказал вдруг, прервав его, полицеймейстер, — ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова...

Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: «русский человек задним умом крепок». Однако ж минуто спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было.

Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер хватил уже слишком далеко. Впрочем, они, с своей стороны, тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели едва ли

не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно — странно даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под собакой разумеется Наполеон: «Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!» — и вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков.

Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать, чтобы слишком толст, однако ж и не так, чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным; автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным; но, как на беду, все именно произошло так, как рассказывается, и тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались по крайней мере на целые восемь лет заклятыми политиками. «Московские ведомости» и «Сын отечества» зачитывались немилосердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни на какое употребление. Вместо вопросов: «почем, батюшка, продали меру овса? как воспользовались вчерашней порошей?» говорили: «а что пишут в газетах, не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже три года сидевшего в остроге; пророк пришел неизвестно откуда в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал, как следует, в острог, но тем не менее дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом и, зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве,

из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение; многие даже открыли в нем апокалипсические цифры. Итак, ничего нет удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте; скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уже чересчур рысисто и что все это не то. Думали, думали, толковали, толковали и наконец решили, что не худо бы еще расспросить хорошенько Ноздрева. Так как он первый вынес историю о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым, стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать еще, что скажет Ноздрев.

Странные люди эти господа чиновники, а за ними и все прочие звания: ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между тем именно прибегнули к нему. Поди ты сладь с человеком! не верит в бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, все проникнутое согласием и высокою мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выверотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: «вот оно, вот настоящее знание тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, которая, бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять; но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились наконец и за Ноздрева. Полицеймейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и квартальный, в ботфортах, с привлекательным румянцем на щеках, побежал в ту же минуту, придерживая шпагу, вприскочку на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом; целые четыре дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко, — словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности: оно состояло в подборании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работы оставалось еще по крайней мере на две недели; во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить медевянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его три раза на день в мыле. Ноздрев был очень рассержен

за то, что потревожили его уединение; прежде всего он отправил квартального к черту, но, когда прочитал в записке городничего, что может случиться пожива, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту ж минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся как попало и отправился к ним. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе; и сколько у них заметно было шаткости и робости в предположениях, столько у него твердости и уверенности. Он отвечал на все пункты даже не заикнувшись, объявил, что Чичиков купил мертвых душ на несколько тысяч и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не продать; на вопрос, не шпион ли он и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом, и что за это товарищи, а в том числе и он, несколько его поизмывали, так что нужно было потом приставить к одним вискам двести сорок пьявок, — то есть он хотел было сказать сорок, но двести сказалось как-то само собою. На вопрос, не делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что в его доме находилось на два миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул, на каждую дверь по два солдата, и как Чичиков переменял их все в одну ночь, так что на другой день, когда сняли печати, увидели, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал и что если бы не он, то не вышло бы ничего, — тут он и спохватился было, видя, что солгал вовсе напрасно и мог таким образом накликать на себя беду, но языка никак уже не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представились сами собою такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухмачевка, поп — отец Сидор, за венчание — семьдесят пять рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лабазника Михайла на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уже начинал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что

не имела подобия, так что чиновники, вздохнув, все отошли прочь; один только полицеймейстер долго еще слушал, думая, не будет ли по крайней мере чего-нибудь далее, но наконец и рукой махнул, сказавши: «Черт знает что такое!» И все согласились в том, что как с быком ни биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде, и решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода создание человек: мудр, умен и толков он бывает во всем, что касается других, а не себя; какими осмотрительными, твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни! «Экая расторопная голова! — кричит толпа. — Какой неколебимый характер!» А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни, куды делся характер, весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок, или просто фетюк, как называет Ноздрев.

Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, боже мой!» — послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появление смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил, об этом один бог ведает.

Но это, однако ж, несообразно! это не согласно ни с чем! это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя; создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело! Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово «дурак» и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему. Довольно из десяти сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо девяти хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все,

что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз, уже наведенные нисходящим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захоластья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добратсья до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход, где дорога? Видит теперь всё ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки.

Чичиков ничего обо всем этом не знал совершенно. Как нарочно, в то время он получил легкую простуду — флюс и небольшое воспаление в горле, в раздаче которых чрезвычайно щедр климат многих наших губернских городов. Чтобы не прекратилась, боже сохрани, как-нибудь жизнь без потомков, он решился лучше посидеть денька три в комнате. В продолжение сих дней он полоскал беспрестанно горло молоком с фигой, которую потом съедал, и носил привязанную к щеке подушечку из ромашки и камфары. Желая чем-нибудь занять время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накупленным крестьянам, прочитал даже какой-то том «Герцогини Лавальер», отыскавшийся в чемодане, пересмотрел в ларце разные находившиеся там предметы и записочки, кое-что перечел и в другой раз, и все это прискучило ему сильно. Никак не мог он понять, что бы значило, что ни один из городских чиновников не приехал к нему хоть бы раз навеститься о здоровье, тогда как еще недавно то и дело стояли перед гостиницей дрожки — то почтмейстерские, то прокурорские, то председательские. Он пожимал только плечами, ходя по комнате. Наконец почувствовал он себя лучше и обрадовался бог знает как, когда увидел возможность выйти на свежий воздух. Не откладывая, принялся он немедленно за туалет, отпер свою шкатулку, налил в стакан горячей воды, вынул щетку и мы-

ло и расположился бриться, чему, впрочем, давно была пора и время, потому что, пощупав бороду рукою и взглянув в зеркало, он уже произнес: «Эк какие пошли писать леса!» И в самом деле, леса не леса, а по всей щеке и подбородку высыпал довольно густой посев. Выбравшись, принялся он за одеванье живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из панталон. Наконец он был одет, вспрыснут одеколоном и, закутанный потеплее, выбрался на улицу, завязавши из предосторожности щеку. Выход его, как всякого выздоровевшего человека, был точно праздничный. Все, что ни попадалось ему, приняло вид смеющийся: и дома, и проходившие мужики, довольно, впрочем, сурьезные, из которых иной уже успел съездить своего брата в ухо. Первый визит он намерен был сделать губернатору. Дорогою много приходило ему всяких мыслей на ум; вертелась в голове блондинка, воображение начало даже слегка шалить, и он уже сам стал немного шутить и подсмеиваться над собою. В таком духе очутился он перед губернаторским подъездом. Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами:

— Не приказано принимать!

— Как, что ты, ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо! — говорил ему Чичиков.

— Как не узнать, ведь я вас не впервой вижу, — сказал швейцар. — Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно.

— Вот тебе на! отчего? почему?

— Такой приказ, так уж, видно, следует, — сказал швейцар и прибавил к тому слово: «да». После чего стал перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя того ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель. Казалось, он думал, глядя на него: «Эге! уж коли тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе, шушера какой-нибудь!»

«Непонятно!» — подумал про себя Чичиков и отправился тут же к председателю палаты, но председатель палаты так смутился, увидя его, что не мог связать двух слов, и наговорил такую дрянь, что даже им обоим сделалось совестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогою и добаться, что такое разумел председатель и насчет чего могли относиться слова его, но ничего не мог понять. Потом зашел к другим: к полицеймейстеру, к вице-губернатору, к почтмейстеру, но все или не приняли его, или приняли так странно, такой принужденный и непонятный вели разговор, так растерялись, и такая вышла бестолковщина изо всего, что он усомнился в здоровье их мозга. Попробовал было еще зайти кое к кому, чтобы узнать по крайней мере причину, и не добрался никакой причины. Как полусонный, бродил он без цели по городу, не будучи в со-

стоянии решить, он ли сошел с ума, чиновники ли потеряли голову, во сне ли все это делается или наяву заварилась дурь почище сна. Поздно уже, почти в сумерки, возвратился он к себе в гостиницу, из которой было вышел в таком хорошем расположении духа, и от скуки велел подать себе чаю. В задумчивости и в каком-то бессмысленном рассуждении о странности положения своего стал он разливать чай, как вдруг отворилась дверь его комнаты и предстал Ноздрев никак неожиданным образом.

— Вот говорит пословица: «Для друга семь верст не околица!» — говорил он, снимая картуз. — Прохожу мимо, вижу свет в окне, дай, думаю себе, зайду, верно, не спит. А! вот хорошо, что у тебя на столе чай, выпью с удовольствием чашечку: сегодня за обедом объелся всякой дряни, чувствую, что уж начинается в желудке возня. Прикажи-ка мне набить трубку! Где твоя трубка?

— Да ведь я не курю трубки, — сказал сухо Чичиков.

— Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй! как, бишь, зовут твоего человека? Эй, Вахрамей, послушай!

— Да не Вахрамей, а Петрушка.

— Как же? да у тебя ведь прежде был Вахрамей.

— Никакого не было у меня Вахрамея.

— Да, точно, это у Деребина Вахрамей. Вообрази, Деребину какое счастье: тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной, и теперь записала ему все имение. Я думаю себе, вот если бы эдакую тетку иметь для дальнейших! Да что ты, брат, так отдалился от всех, нигде не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными предметами, любишь читать (уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать, этого, признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичиков и того менее). Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал... вот уж, точно, была бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова был сатирический ум, это тоже неизвестно). Вообрази, брат, у купца Лихачева играли в горку, вот уж где смех был! Перепендев, который был со мною: «Вот, говорит, если бы теперь Чичиков, уж вот бы ему точно!...» (между тем Чичиков отроду не знал никакого Перепендева). А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мною, помнишь, как играли в шашки; ведь я выиграл... Да, брат, ты просто поддедюлил меня. Но ведь я, черт меня знает, никак не могу сердиться. Намедни с председателем... Ах, да! я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя; они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки, пристали ко мне, да я за тебя горой, наговорил им, что с тобой учился и отца знал, ну и, уж нечего говорить, слил им пулю порядочную.

— Я делаю фальшивые бумажки? — вскрикнул Чичиков, приподнявшись со стула.

— Зачем ты, однако ж, так напугал их? — продолжал Ноздрев. — Они, черт знает, с ума сошли со страху: нарядили тебя в разбойники и в шпионы... А прокурор с испугу умер, завтра будет погребение. Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло; а я насчет генерал-губернатора такого мнения, что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала, да ведь этим что ж? Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако ж, Чичиков, рискованное дело затеял.

— Какое рискованное дело? — спросил беспокойно Чичиков.

— Да увезти губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждал этого, ей-богу ждал! В первый раз, как только увидел вас вместе на бале, ну уж, думаю себе, Чичиков, верно, недаром... Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор, я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна, родственница Бикусова, сестры его дочь, так вот уж девушка! можно сказать: чудо коленкор!

— Да что ты, что ты путаешь? Как увезти губернаторскую дочку, что ты? — говорил Чичиков, выпуча глаза.

— Ну, полно, брат, экой скрытный человек! Я, признаюсь, к тебе с тем пришел: изволь, я готов тебе помогать. Так и быть: подержу венец тебе, коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором: ты должен мне дать три тысячи взаймы. Нужны, брат, хоть зарежь!

В продолжение всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он все это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиною будто бы он, приезд генерал-губернатора — все это навело на него порядочный испуг. «Ну, уж коли пошло на то, — подумал он сам в себе, — так мешкать более нечего, нужно отсюда убираться поскорей».

Он постарался сбыть поскорее Ноздрева, призвал к себе тот же час Селифана и велел ему быть готовым на заре, с тем чтобы завтра же в шесть часов утра выехать из города непременно, чтобы все было пересмотрено, бричка подмазана и прочее, и прочее. Селифан произнес: «Слушаю, Павел Иванович!» — и остановился, однако ж, несколько времени у дверей, не двигаясь с места. Барин тут же велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся уже порядочно пылью, и принялся укладывать вместе с ним, без большого разбора, чулки, рубашки, белье мытое и немытое, сапожные колодки, календарь... Все это укладывалось как попало; он хотел непременно быть готовым с вечера, чтобы назавтра не могло случиться никакой задержки. Селифан,

постоявши минуты две у дверей, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестницы, отпечатывая своими мокрыми сапогами следы по сходящим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесыванье? и что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная на завтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком, где-нибудь во царевом кабаке, или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердечная и приходится оставлять вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белые ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи разночинный отработавшийся народ? Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи, да шей с городским мягким пирогом, с тем чтобы вновь тащиться под дождь и слякоть и всякую дорожную невзгоду? Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у русского народа почесыванье в затылке.

Глава одиннадцатая

Ничто, однако же, не случилось так, как предполагал Чичиков. Во-первых, проснулся он позже, нежели думал,— это была первая неприятность. Вставши, он послал тот же час узнать, заложена ли бричка и все ли готово; но донесли, что бричка еще была не заложена и ничего не было готово. Это была вторая неприятность. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан появился в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в таком случае, когда нужно скоро ехать.

— Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать.

— Ах ты, чушка! чурбан! а прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?

— Да время-то было... Да вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста, шибень такой везде пошел... Да если позволите доложить: перед у брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух станций не сделает.

— Подлец ты! — вскрикнул Чичиков, всплеснув руками, и подошел к нему так близко, что Селифан из боязни, чтобы не получить от барина подарка, попятился несколько назад и посторонился.— Убить ты меня собрался? а? зарезать меня хочешь?

На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник, чушка ты проклятый, страшилище морское! а? а? Три недели сидели на месте, а? Хоть бы заикнулся, беспутный, — а вот теперь к последнему часу и пригнал! когда уж почти начеку: сесть бы да и ехать, а? а ты вот тут-то и напакостил, а? а? Ведь ты знал это прежде? ведь ты знал это, а? а? Отвечай. Знал? А?

— Знал, — отвечал Селифан, потупивши голову.

— Ну так зачем же тогда не сказал, а?

На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе: «Вишь ты, как оно мудрено случилось; и знал ведь, да не сказал!»

— А вот теперь ступай приведи кузнеца, да чтоб в два часа все было сделано. Слышишь? непременно в два часа, а если не будет, так я тебя, я тебя... в рог согну и узлом завяжу! — Герой наш был сильно рассержен.

Селифан оборотился было к дверям, с тем чтоб идти выполнить приказание, но остановился и сказал:

— Да еще, сударь, чубарого коня, право, хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец; он такой конь, просто не приведи бог, только помеха.

— Да! вот пойду, побегу на рынок продавать!

— Ей-богу, Павел Иванович, он только что на вид казистый, а на деле самый лукавый конь; такого коня нигде...

— Дурак! когда захочу продать, так продам. Еще пустился в рассужденья! Вот посмотрю я: если ты мне не приведешь сейчас кузнецов да в два часа не будет все готово, так я тебе такую дам потасовку... сам на себе лица не увидишь! Пошел! ступай!

Селифан вышел.

Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездил с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому следует. Около четверти часа с лишком провозился он с кузнецами, покамест сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы, и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно вшестеро. Как он ни горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями проезжающих, намекнул даже на страшный суд, но кузнецов ничем не пронял: они совершенно выдержали характер — не только не отступились от цены, но даже провозились за работой вместо двух часов целых пять с половиною. В продолжение этого времени он имел удовольствие испытать приятные минуты, известные всякому путешественнику, когда в чемодане все уложено и в комнате валяются только веревочки, бумажки да разный сор, когда человек не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью на месте, видит из окна проходящих плетущихся людей, толкующих об своих гривнах и с каким-то глупым любопытством поднимающих глаза, чтобы, взглянув на него, опять продолжать свою дорогу, что еще

более растравляет нерасположение духа бедного неедущего путешественника. Все, что ни есть, все что ни видит он: и лавчонка против его окон, и голова старухи, живущей в супротивном доме, подходящей к окну с коротенькими занавесками,— все ему гадко, однако же он не отходит от окна. Стоит, то позабываясь, то обращая вновь какое-то притупленное внимание на все, что перед ним движется и не движется, и душит с досады какую-нибудь муху, которая в это время жужжит и бьется об стекло под его пальцем. Но всему бывает конец, и желанная минута настала: все было готово, перед у брички как следует был налажен, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены с водопоя, и разбойники-кузнецы отправились, пересчитав полученные целковые и пожелав благополучия. Наконец и бричка была заложена, и два горячие калача, только что купленные, положены туда, и Селифан уже засунул кое-что для себя в карман, бывший у кучерских козел, и сам герой наконец, при взмахивании картузом пологого, стоявшего в том же демикотоновом сюртуке, при трактирных и чужих лакеях и кучерах, собравшихся позевать, как выезжает чужой барин, и при всяких других обстоятельствах, сопровождающих выезд, сел в экипаж,— и бричка, в которой ездят холостяки, которая так долго застоялась в городе и так, может быть, надоела читателю, наконец выехала из ворот гостиницы. «Слава те, господи!» — подумал Чичиков и перекрестился. Селифан хлыснул кнутом; к нему подсел сперва повисевший несколько времени на подножке Петрушка, и герой наш, усевшись получше на грузинском коврике, заложил за спину себе кожаную подушку, притиснул два горячие калача, и экипаж пошел опять подплясывать и покачиваться благодаря мостовой, которая, как известно, имела подкидывающую силу. С каким-то неопределенным чувством глядел он на дома, стены, забор и улицы, которые также с своей стороны, как будто подсакивая, медленно уходили назад и которые, бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни. При повороте в одну из улиц бричка должна была остановиться, потому что во всю длину ее проходила бесконечная погребальная процессия. Чичиков, высунувшись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, и узнал, что хоронят прокурора. Исполненный неприятных ощущений, он тот же час спрятался в угол, закрыл себя кожею и задернул занавески. В это время, когда экипаж был таким образом остановлен, Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпу, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, считая числом, сколько было всех и пеших и ехавших, а барин, приказавши им не признаваться и не кланяться никому из знакомых лакеев, тоже принялся рассматривать робко сквозь стеклышка, находившиеся в кожаных занавесках: за гробом шли, снявши шляпы, все чиновники. Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа,

но им было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какие обыкновенно ведут между собою провожающие покойника. Все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе: они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их. За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движениям губ и рук их видно было, что они были заняты живым разговором; может быть, они тоже говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет балов, какие он даст, и хлопотали о вечных своих фестончиках и нашивочках. Наконец за каретами следовало несколько пустых дрожек, вытянувшихся гуськом, наконец и ничего уже не осталось, и герой наш мог ехать. Открывши кожаные занавески, он вздохнул, произнеся от души: «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови». Тут он приказал Селифану ехать поскорее и между тем подумал про себя: «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны; говорят, значит счастье, если встретишь покойника».

Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоянного двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батарее, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянута вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны, как мухи, и горизонт без конца... Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные деревья и плющи, вросшие в дома, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется

назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух... покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмемся к углу! В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены, и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся... Как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся и «Не белы снега», и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа. Проснулся: пять станций убежало назад; луна, неведомый город, церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими остроконечьями, темные бревенчатые и белые каменные дома. Сияние месяца там и там: будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают их черные, как уголь, тени; подобно сверкающему металлу блистают вкось озаренные деревянные крыши, и нигде ни души — все спит. Один-одинешенек, разве где-нибудь в окош-

ке брезжит огонек: мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке — что до них? А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышит свежо в самые очи холодное ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь и забываешься, и храпишь, и ворочается сердито, почувствовав на себе тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся — и уже опять перед тобою поля и степи, нигде ничего — везде пустырь, все открыто. Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем холодном небосклоне золотая бледная полоса; свежее и жестче становится ветер: покрепче в теплую шинель!.. какой славный холод! какой чудный, вновь обнимающий тебя сон! Толчок — и опять проснулся. На вершине неба солнце. «Полегче! легче!» — слышится голос, телега спускается с кручи: внизу плотина широкая и широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня, избы рассыпались на косогоре; как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке... Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!.. Но и друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы. А посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только назад, желая увериться, точно ли выехал из города; но, когда увидел, что город уже давно скрылся, ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно и даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю, он занялся только одной дорогою, посматривал только направо и налево, и город N как будто не бывал в его памяти, как будто проезжал он его давно, в детстве. Наконец и дорога перестала занимать его, и он стал слегка закрывать глаза и склонять голову к подушке. Автор, признается, этому даже рад, находя, таким образом, случай поговорить о своем герое; ибо доселе, как читатель видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрев, то балы, то дамы, то городские сплетни, то, наконец, тысячи тех мелочей, которые кажутся только тогда мелочами, когда внесены в книгу, а покамест обращаются в свете, почитаются за весьма важные дела. Но теперь отложим совершенно все в сторону и прямо займемся делом.

Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям. Дамам он не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, чтоб герой был решительное совершенство, и, если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, тогда беда! Как глубоко ни загляни автор ему в душу, хоть отрази

чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «Фи, такой гадкий!» Увы! Все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека, но... может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самосотвержения. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертвая книга пред живым словом! Подымутся русские движения... и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов... Но к чему и зачем говорить о том, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время! А добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек»; потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрять и подлеца. Итак, припряжем подлеца!

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные — бог ведает. Лицом он на них не походил: по крайней мере родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабу с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать ни в отца, а в проезжего молодца». Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприятно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на

губах, вечная пропись перед глазами: «Не лги, послушествоуй старшим и носи добродетель в сердце»; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «Опять задурил!» — отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем сорóки; ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На сорóке тащились они полтора дни с лишком; на дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули неожиданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом сорóка бултыхнула вместе с тележкой в яму, которою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном и самим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а води себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь на-

дежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей соро́ке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностью; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощение, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив — в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, — признак подступающего голода, — он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! — говорил он. — Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования? это все вздор, — говаривал он. — Я смотрю только на поведение. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешли-

вость, я тому нуль, хотя он Солона заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумеи», и всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит; что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как ни щипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всех треух (учитель ходил в треухе); подавши треух, он выходил первый из класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоверение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за *примерное прилежание и благонадежное поведение*. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сюртука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить; наконец и пить уже было ему не на что; больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленной, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыв лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих; слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного дитяти. «При смерти на одре привел бог заплакать», — произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: «Эх, Павлуша! вот как переменится человек! ведь какой был благодетельный, ничего буйного, шелк! Надул, сильно надул...»

Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства и чувства его были до того притуп-

лены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал и то и другое, он бы даже хотел помочь, но только чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать; словом, отцовское наставление: береги и копи копейку — пошло впрок. Но в нем не было привязанности собственно к деньгам для денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась впереди жизнь во всех удовольствиях, со всякими достатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы наконец потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупотой отказываемая до времени и себе и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!» И все, что ни отзывалось богатством и удовольствием, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть: так сильно было у него желание скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция! Местечко досталось ему ничтожное, жалованья тридцать или сорок рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, все победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпенье и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас с сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица, точно дурно выпеченный хлеб: щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырем, которая в прибавку к тому еще и треснула; словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить; приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть еще много остатков язычества; приходили даже подчас в присутствие, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и невзрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога; он попал под на-

чальство уже престарелому повытчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непоколебимости: вечно тот же, неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома; хоть бы раз показал он в чем-нибудь участие, хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту, но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно: ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось в сем отсутствии всего. Черство-мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство; в суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение, но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах: рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку; сдувал и сметал со стола его песок и табак; завел новую тряпку для его чернильницы; отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия; чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены,—но все это осталось решительно без всякого замечания, так, как будто ничего этого не было и делано. Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом, тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз насупротив ее, чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку,—и дело возымело успех: пошатнулся суровый повытчик и зазвал его на чай! И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку и сахар, с дочерью обращался, как с невестой, повытчика звал папенькой и целовал его в руку; все положили в палате, что в конце февраля перед великим постом будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и чрез несколько времени Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его с старым повытчиком, потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повытчика пере-

стал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый понытчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!»

Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира: и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток; преследований он не испугался и обратил их тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как: как только приходил проситель и засовывал руку в карман, с тем чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражаются у нас на Руси: «Нет, нет,— говорил он с улыбкой, удерживая его руки,— вы думаете, что я... нет, нет. Это наш долг, наша обязанность, без всяких возмездий мы должны сделать! С этой стороны уж будьте покойны: завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вам и заботиться не нужно самим, все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот наконец человек, каких нужно побольше, это просто драгоценный алмаз!» Но ждет проситель день, другой — не приносят дела на дом, на третий тоже. Он в канцелярию — дело и не начиналось; он к драгоценному алмазу. «Ах, извините! — говорил Чичиков очень учтиво, схвативши его за обе руки,— у нас было столько дел; но завтра же все будет сделано, завтра непременно, право, мне даже совестно!» И все это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дела на дом. Проситель берется за ум: да полно, нет ли чего? Выведывает; говорят, нужно дать писарям. «Почему ж не дать? я готов четвертак, другой». — «Нет, не четвертак, а по беленькой». — «По беленькой писарям!» — вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь? — отвечают ему. — Оно так и выйдет, писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдет к начальству». Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит на чем свет стоит новый порядок вещей, преследование взяток и вежливые,

облагороженные обращения чиновников. Прежде было знаешь по крайней мере, что делать: принес правителю дел красную, да и дело в шляпе; а теперь по беленькой, да еще неделю проводишься, пока догадаешься; черт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство! Проситель, конечно, прав, но зато теперь нет взяточников: все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только да писаря мошенники. Скоро представилось Чичикову поле гораздо просторнее: образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержанья и неумолимого своего самоотверженья. Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества: он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою; уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом; уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости коже, уже...

Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности; дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов, все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно, бог ведает,— иногда даже просто не бывает на это причин,— и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как все же он был человек военный,

стало быть не знал всех тонкостей гражданских проделок, то чрез несколько времени, посредством правдивой наружности и умения подделаться ко всему, втерлись к нему в милость другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках еще больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими; даже был доволен, что выбрал наконец людей как следует, и хвастался не в шутку тонким умением различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под начальством его, сделалось страшными гонителями неправды; везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по несколько тысяч капитала. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу. Но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался и ни стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управление генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была все равно что железный гвоздь: ничем нельзя было ее оттуда вытеребить. Все, что мог сделать умный секретарь, было уничтожение запачканного послужного списка, и на то уже он подвинул начальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него не было.

«Ну что ж! — сказал Чичиков, — зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать». И вот решился он сизнова начать карьер, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Все как-то не клеилось. Две, три должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева и все бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дни переменял на себе белье, а летом во время жаров даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причи-

не он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки; и потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличьем в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном: о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая! какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил, и — перешел наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни, и добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В три-четыре недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все: даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи; взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье: нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые



бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели» — и, говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек: он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжение нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкою сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбсжавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его, с тем чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капиталца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти наконец до сведения начальства. Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведения о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть немного получил бы; но теперь... теперь совсем другое дело: он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятствен-

ней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно: читатель, без сомнения, слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабантских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. Не участвуя он сам в этом предприятии, никаким жидом в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После трех или четырех бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по четыреста тысяч капитала. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за пятьсот, потому что был побойчее. Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников; чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника поповичем, а тот, хотя действительно был попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты так попович!» И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да вот, мол, что!» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обротив на него им же приданное название, и хотя выражение: «вот, мол, что!» могло быть сильно, но, недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников; что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в темном переулке поизбить нашего героя; но что оба чиновника были в дураках и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело в самом деле, бог их ведает; пусть лучше читатель-охотник досочинит сам. Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но-таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрешилось вдруг как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник, по русскому обычаю, с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как ни чутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребил все тонкие извороты ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо

людей: где подействовал приятностью оборотов, где трогательною речью, где покурил лестью, ни в каком случае не портящею дела, где всунул деньжонку,— словом, обработал дело по крайней мере так, что отставлен был не с таким бесчестьем, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещей, ничего не осталось ему; на все это нашлись другие охотники. Удержалось у него тысячонок десяток, запрятанных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусков мыла для сбережения свежести щек, вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш! Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову! Это называл он: потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными десятию тысячками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклёкнет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом нешумный, но в своем роде тоже небесполезный век. Но так не случилось. Надобно отдать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпенье, пред которым ничто деревянное терпенье немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтоб набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости: «Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зеваает теперь на должности? — все приобретают. Несчастливым я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы, не воспользуюсь я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне

угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои дети? Вот, скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!»

Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покосившись только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватается поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу — словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш, а между тем деятельность никак не умирала в голове его; там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданства, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыкание в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно: похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутами приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников, и, наконец, бестолковьем самого помещика, убившего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку все состояние свое до последней копейки, так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось наконец заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивши всех (без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку), — итак, расположивши всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство: половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок...

— Да ведь они по ревизской сказке числятся? — сказал секретарь.

— Числятся, — отвечал Чичиков.

— Ну, так чего же вы оробели? — сказал секретарь. — Один умер, другой родится, а все в дело годится.

Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким-простота,— сказал он сам в себе,— ищу рукавиц, а обе за поясом! Да купи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капиталу! А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует; все полезло в Петербург служить; имения брошены, управляются как ни попало, подати уплачиваются с каждым годом труднее, так мне с радостью уступит их каждый, уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег; может, в другой раз так случится, что с иного и я еще зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное, то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не прочь, почему же нет? я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка или по имени, данному при крещении: селцо Павловское». И вот таким образом составилась в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма.

Перекрестясь, по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертей и прочего, и прочего — словом, где бы можно удобнее и дешевле закупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более

дружбою, а не покупкою приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, донныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу; это вина Чичикова, здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если, точно, падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала все серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двинутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от Заседателя до подлеца чубарого. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одной чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть, подлец? Почему ж подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два, три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых. Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятно время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро все превращается в человеке; не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обратив-

ший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, заставляла его забывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен избравший себе из всех прекраснейшую страсть; растет и десятирится с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: все равно, в мрачном ли образе или пронестись светлым явлением, возрадующим мир,— одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме.

Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы как живой пред глазами; зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы! «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? — говорит помещик приказчику.— Я, брат, это знаю без тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив». И вот те деньги,

которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвенье. Спит ум, может быть обретший бы внезапный родник великих средств; а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру с душою, от крайности готовою на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.

Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накапливают себе капиталы, устраивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше, — хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве вот что: жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: «Вот, например, зверь, — говорил он, ходя по комнате, — зверь рождается нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? почему не вылупливается из яйца? Как, право, того: совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься!» Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рождением зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: всё или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве всё, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя; даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович, а впрочем, был он доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем: «Помилуй, батюшка барин, Кифа Мокиевич, — говорила отцу и своя и чужая дворня, — что у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень!» — «Да, шаловлив, шаловлив, — говорил обыкновенно на это отец, — да ведь как быть: драться с ним поздно, да и меня же все

обвинят в жестокости; а человек он честолюбивый, укори его при другом-третьем, он уймется, да ведь гласность-то — вот беда! город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? разве я не отец? Что занимаюсь философией да иной раз нет времени, так уж я и не отец? Ан вон нет же, отец! отец, черт их побери, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце! — Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт.— Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его». И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: «Ну, а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые неожиданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвинение со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями на счет сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, не патриотизм и не первое чувство суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумаящими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть даже похвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек!» И после таких слов с удвоившеюся гордостью обратитесь к себе, самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!» А кто из вас, полный христианского смирения, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так! А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин ни слишком большой, ни слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за ним вдогонку,

поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»

Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может слышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю споллагая, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем: еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части впереди — это не безделица.

— Эхе-хе! что ж ты? — сказал Чичиков Селифану, — ты?

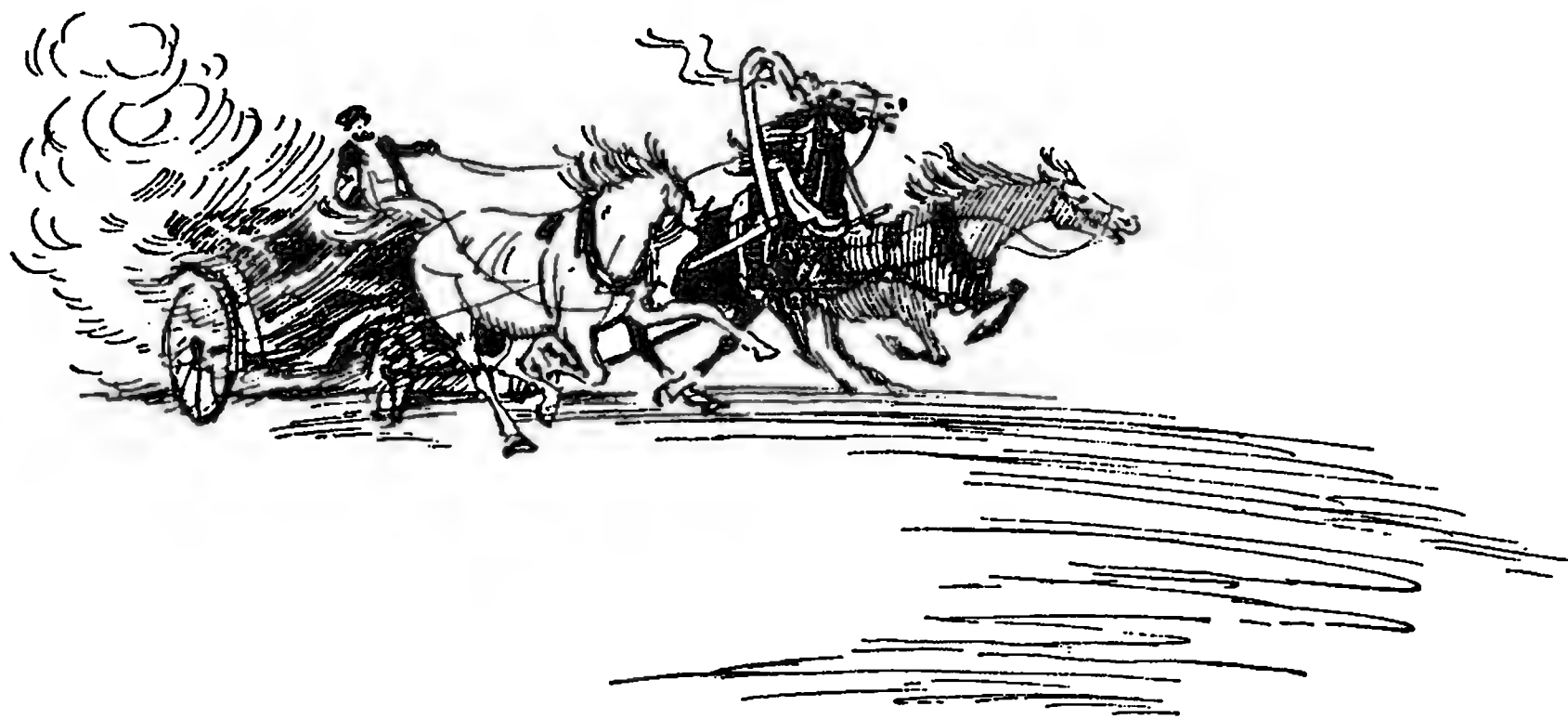
— Что? — сказал Селифан медленным голосом.

— Как что? Гусь ты! как ты едешь? Ну же, потрогивай!

И в самом деле, Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза, изредка только потряхивая впросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно невесть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!» — плавно подскакивая на козлах по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт поberi все!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а на-

скоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.





ШИНЕЛЬ

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню, какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам

шек и цветом лица, что называется, геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет,— подумала покойница,— имена-то всё такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание,— проговорила старуха.— Какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще перевернули страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу,— сказала старуха,— что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма; так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмун-

дире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: «Перепишите», или: «Вот интересное хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменялось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его.

Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжеватого-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длиною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того пронзительность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло после департаментского скрыпенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колющие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в

тошенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного, и выходило, точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков,— разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведущей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов,— взбираясь по лестнице, Акакий

Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, варварка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствовать желаю, сударь,— сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того...

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частию предложениями, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно того...», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

— Что ж такое? — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петель,— что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы.

Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одним немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного...

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою за окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно — неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!

У Акакия Акакиевича при этих словах ёкнуло сердце.

— Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка. — Ведь только всего, что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.

— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, поддержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуи ветер, так разлетится.

— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..

— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровиной табакерки.

— Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне. — Ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую, — сказал с варварским спокойствием Петрович.

— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...

— То есть, что будет стоить?

— Да.

— Да три полсотни с лишком надо будет приложить, — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

— Полтора ста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич; вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

— Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, — как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.

— Да нет, это выйдет: и работу убивать, и деньги попусту тратить, — сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.

А Петрович, по уходе его, долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этакое-то дело этакое, — говорил он сам себе, — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того... — а потом, после некоторого молчания, прибавил: — Так вот как! наконец вот что вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: «Так этак-то! вот какое уж, точно, никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, он, вместо того чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самом сердечном и близком. «Ну нет, — сказал Акакий Акакиевич, — теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того... жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я

лучше приду к нему в воскресный день утром: он после кануна-нешной субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее, и шинель тогда и того...» Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул.

— Нельзя,— сказал,— извольте заказать новую.

Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек.

— Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье,— сказал Петрович.— А уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим.

Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович недослышал и сказал:

— Уж новую я вам сошью бесприменно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике.

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи, да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге,— словом, все деньги совершенно должны были разойтись; и если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты, с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина.

Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя по крайней мере в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занасивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самым временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыкло и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно,нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу,— и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул: «ух!» и перекрестился. В продолжение каждого месяца он, хотя один раз, навещался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей: уж пред-

чувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось, точно, около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорогá, а вместо нее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытисняя ими разные фигуры. Это было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынув шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает

Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не заметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что по крайней мере он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговариваться. Он уже минут через несколько, весь покрасневшись, начал было уверять довольно престодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знает-ся даже с низшими себя, сказал:

— Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник.

Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез то случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравнения, прежний капот свой,

совершенно расползшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постеле, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и всё, что ни есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно по крайней мере то, что чиновник жил в лучшей части города, — стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но, по мере приближения к квартире чиновника, улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками, — напротив, всё попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши таким образом всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! Что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж, точно, того...» А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать все, что он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми во-

ротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошло тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей,— все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более что уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновления по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси.

Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные дома, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видимыми на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забило в груди.

— А ведь шинель-то моя! — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник.

Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак, величиною в чиновничью голову, примолвив:

— А вот только крикни!

Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила

с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю, — итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился по крайней мере помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к кварталь-

ному, потому что, хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*, что *значительное лицо*, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решил идти к *значительному лицу*. Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно *значительное лицо* недавно сделался *значительным лицом*, а до того времени он был *незначительным лицом*. Впрочем, место его и теперь не почиталось *значительным* в сравнении с другими, еще *значительнейшими*. Но всегда найдется такой круг людей, для которых *незначительное* в глазах прочих есть уже *значительное*. Впрочем, он старался усилить *значительность* многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками, в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в «комнате присутствия» насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», — говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень *значительно* в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе; завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал, стоя ввытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему

быть. Если ему случалось быть с равными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то *значительному лицу* явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник». — «А! может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговарили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку, давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частицу «того», что была-де шинель совершенно

новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамильярным.

— Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...

— Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ...

— Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет.

— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.

Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать

ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора суток неперенный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал:

— А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог.

Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!» — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее

покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивалось на царей и повелителей мира... Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос: «Почему?» выразился словами: «Да так, уж он умер, четвертого дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь? Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно, будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой; но табак, верно, был такого рода,

которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!», — и мертвецчиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили одно *значительное лицо*, который, по-настоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как и нельзя ли, в самом деле, чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что́ всего лучше — все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стака́на два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что *значительное лицо* был уже человек не молодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и милостивая шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: «Bonjour, рара»¹. Супруга его, еще женщина свежая

¹ Добрый день, папа (франц.).

и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переверотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: «К Каролине Ивановне», — а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг бог знает откуда и неведь от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлопуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи:

— А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, — отдавай же теперь свою!

Бедное значительное лицо чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: «У, какой характер!», — но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом:

— Пошел во весь дух домой!

Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою

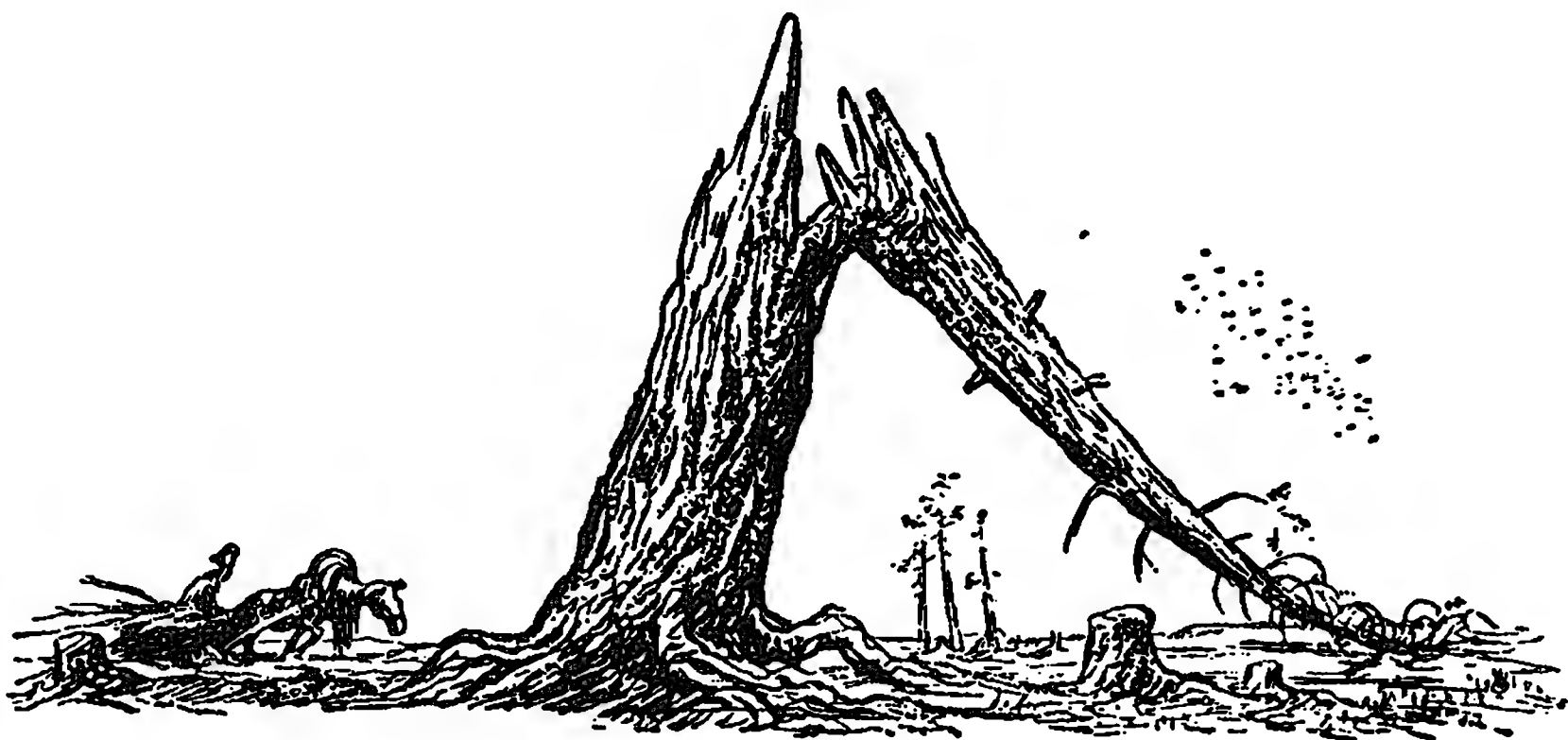
в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут в шесть с небольшим значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак,— итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», — да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Господа Головлевы

Сказки





ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

СЕМЕЙНЫЙ СУД

Однажды бурмистр из дальней вотчины, Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно замялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался и не решался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась.

— Что еще? — спросила она, смотря на бурмистра в упор.

— Все-с, — попробовал было отвитьнуть Антон Васильев.

— Не ври! еще есть! по глазам вижу!

Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу.

— Сказывай, какое еще дело за тобой есть? — решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна. — Говори! не виляй хвостом... сумá переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людям, составлявшим ее административный и домашний персонал. Антона Василье-

ва она прозвала «переметной сумой» не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение.

— Есть, действительно... — пробормотал наконец Антон Васильев.

— Что? что такое? — взволновалась Арина Петровна.

Как женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла.

— Степан Владимирыч дом-то в Москве продали... — доложил бурмистр с расстановкой.

— Ну?

— Продали-с.

— Почему? как? не мни! сказывай!

— За долги... так нужно полагать! Известно, за хорошие дела продавать не станут.

— Стало быть, полиция продала? суд?

— Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел.

Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если б ей сказали, что Степан Владимирыч кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину или что крепостное право рушилось, — и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не заметила даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, увидев барыню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад (в другое время этот поступок вызвал бы целое следствие). Наконец она, однако, опаматовалась и произнесла:

— Какова потеха!

После чего опять последовало несколько минут грозowego молчания.

— Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала? — переспросила она.

— Так точно.

— Это — родительское-то благословение! Хорош... мерзавец!

Арина Петровна чувствовала, что, ввиду полученного известия, ей необходимо принять немедленное решение, но ничего придумать не могла, потому что мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной стороны, думалось: «Полиция продала! ведь не в одну же минуту она продала! чай, опись была, оценка, вызовы к торгам? Продала за восемь тысяч, тогда как она за этот самый дом, два года тому назад, собственными руками двенадцать тысяч, как одну копейку, выложила! Кабы знать да ведать, можно бы и самой за восемь-то тысяч с аукциона приобрести!» С другой стороны, приходило на мысль и то: «Полиция за восемь тысяч продала! Это — родительское-то благословение! Мерзавец! за восемь тысяч родительское благословение спустил!»

— От кого слышал? — спросила наконец она, окончательно остановившись на мысли, что дом уже продан и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда.

— Иван Михайлов, трактирщик, сказывал.

— А почему он вовремя меня не предупредил?

— Поопасился, стало быть.

— Поопасился! вот я ему покажу: «поопасился»! Вызвать его из Москвы, и как явится — сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить! «Поопасился»!

Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище «сума переметная» невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того, это был его приятель душевный и кум — и вдруг его в солдаты, ради того только, что он, Антон Васильев, как сума переметная, не сумел язык за зубами попридержать!

— Простите... Ивана-то Михайлыча! — заступился было он.

— Ступай... потатчик! — прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова.

Но прежде, нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением.

Арина Петровна — женщина лет шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно;

единолично и бесконтрольно управляет обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупое, с соседями дружбы не водит, местным властям доброхотствует, а от детей требует, чтоб они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя: что-то об этом маменька скажет? Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее — человек легкомысленный и пьяненький (Арина Петровна охотно говорит об себе, что она — ни вдова, ни мужняя жена); дети частью служат в Петербурге, частью пошли в отца и, в качестве «постылых», не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла, хотя слово «семья» не сходит с ее языка и, по наружности, всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел.

Глава семейства, Владимир Михайлыч Головлев, еще смолodu был известен своим безалаберным и озорным характером и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т. д. и занимался сочинением так называемых «вольных стихов». В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова и что последний будто бы даже благословил его на одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир Михайлыч собственно для того и женился, чтоб иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились, со стороны жены, полным и презрительным равнодушием к мужу-шуту, со стороны мужа — искреннею ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная доля трусости. Муж называл жену «ведьмою» и «чертом», жена называла мужа — «ветряною мельницей» и «бесструнной балайкой». Находясь в таких отношениях, они пользовались совместною жизнью в продолжение с лишком сорока лет, и никогда ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайлыча не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе, он начал попивать и охотно подкарауливал в коридоре горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего

мужа брезгливо и даже с волнением (в котором, однако ж, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтоб девки-поганки не носили барину ерофеича. С тех пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет: на округление головлевского имения, и действительно, в течение сорокалетней супружеской жизни, успела удесятить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету и всегда, как снег на голову, являлась на аукционах. В круговороте этой фанатической погони за благоприобретением Владимир Михайлыч все дальше и дальше уходил на задний план, а наконец и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ, это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальни, то единственно для того, чтоб просунуть голову в полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: «Черт!» — и опять скрыться.

Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась.

Степан Владимыч, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастью, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатления, которые вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери — способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству, он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили,

причем в особенности доставалось «ведьме», то есть Арине Петровне. Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки-балбеса. Но Степка не унижался; он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями.

— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна. — Убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!

Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, повадливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками...

Двадцати лет Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а, взамен того, гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванию; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и *riqueassiette*¹ и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он естественно тяготел все ниже и ниже, так что к концу четвертого курса вышутился окончательно. Тем не меньше, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата.

Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожалала плечами и промолвила: «Дивлюсь!» Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по сту рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекций у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом — никакой. Праздная мысль

¹ Прихлебателя (франц.).

молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для нее непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге и наконец должен был сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «Я раньше в сем была уверена» и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там, в совете излюбленных крестьян, было решено: определить Степку-балбеса в надворный суд, поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимирович в надворном суде — неизвестно, но через три года его уж там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она «выбросила сыну кусок», который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и «родительское благословение». Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.

В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку («то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше ничего!» — молвила при этом Арина Петровна) и обещал оправдать оказанную ему милость. Но, увы! он так мало привык обращаться с деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень ненадолго. В какие-нибудь четыре — пять лет он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить, в качестве заместителя, в ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир, довольно, однако ж, потертый, на ногах — сапоги навыпуск, и в кармане — сто рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты, и недолге проиграл всё. Тогда он принялся ходить по зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал. Но, наконец, наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь — в Головлево...

После Степана Владимировича старшим членом головлевского семейства была дочь, Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал. Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в деревне, в чаянье сделать из нее дарового домашнего секретаря и бухгалтера, а вместо того Аннушка, в одну прекрасную ночь, бежала из Головлева с корнетом Улановым и повенчалась с ним.

— Так, без родительского благословения, как собаки, и повенчались! — сетовала по этому случаю Арина Петровна. — Да хорошо еще, что кругом налоя-то муженек обвел! Другой бы попользовался — да и был таков! Ищи его потом да свищи!

И с дочерью Арина Петровна поступила столь же решительно, как и с постылым сыном: взяла и «выбросила ей кусок». Она отделила ей капитал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать душ с упалою усадьбой, в которой изо всех окон дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал прожили, и корнет неизвестно куда бежал, оставив Анну Владимировну с двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затем и сама Анна Владимировна через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была приютить круглых сирот у себя. Что она и исполнила, поместив малюток во флигеле и приставив к ним кривую старуху Палашку.

— У бога милостей много, — говорила она при этом, — сиротки хлеба не бог знает что съедят, а мне на старости лет — утешение! Одну дочку бог взял — двух дал!

И в то же время писала к сыну Порфирию Владимирычу: «Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков...»

Вообще, как ни циничным может показаться это замечание, но справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых произошло «выбрасывание кусков», не только не произвели ущерба в финансах Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была женщина строгих правил и, раз «выбросивши кусок», уже считала поконченными все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о сиротах-внучках ей никогда не представлялось, что со временем придется что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать выжатое в опекунский совет. При чем говорила:

— Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением да уходом стоят — ничего уж с них не беру! За мою хлеб-соль, видно, бог мне заплатит!

Наконец младшие дети, Порфирий и Павел Владимирычи, находились на службе в Петербурге: первый — по гражданской час-

ти, второй — по военной. Порфирий был женат, Павел — холостой.

Порфирий Владимирыч известен был в семействе под тремя именами: Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится с счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваньям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд или сыновнюю почтительность.

— И сама понять не могу, что у него за глаза такие, — рассуждала она иногда сама с собою: — взглянет — ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!

И припомнились ей при этом многознаменательные подробности того времени, когда она еще была «тяжела» Порфишей. Жил у них тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый старик, которого называли Порфишей-блаженненьким и к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила его, скоро ли последуют роды и кого-то бог даст ей, сына или дочь, — ничего прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед за тем пробормотал:

— Петушок, петушок! востер ноготок! Петух кричит, наседке грозит; наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет!

И только. Но через три дня (вот оно — три раза-то прокричал!) она родила сына (вот оно — петушок, петушок!), которого и называли Порфирием, в честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственные слова: «Наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет»? — вот об этом-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая из-под руки на Порфишу, покуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом.

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придиричивая подозрительность — и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил: «Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как ни сильно говорила в ней

уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб передать его ласковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго.

Совершенную противоположность с Порфирием Владимирычем представлял брат его, Павел Владимирыч. Это было полнейшее олицетворение человека, лишенного каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком он не выказывал ни малейшей склонности ни к ученью, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и начнет фантазировать. Представляется ему, что он толкена наелся, что от этого ноги сделались у него тоненькие, и он не учится. Или — что он не Павел — дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла болонá, как и у Давыдки, что он арапником щелкает и не учится. Поглядит-поглядит, бывало, на него Арина Петровна, и так и раскипятится ее материнское сердце.

— Ты что, как мышь на крупу, надулся! — не утерпит, прикрикнет она на него, — или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет того, чтобы к матери подойти: маменька, мол, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидал свой угол и медленными шагами, словно его в спину толкали, приближался к матери.

— Маменька, мол, — повторял он каким-то неестественным для ребенка басом, — приласкайте меня, душенька!

— Пошел с моих глаз... тихоня! ты думаешь, что забьешься в угол, так я и не понимаю? Насквозь тебя понимаю, голубчик! все твои планы-прожекты, как на ладони, вижу!

И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в свой угол.

Шли годы, и из Павла Владимирыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, из которой, в конечном результате, получается человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и неглуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от этих трат ни для кого никогда не происходило; он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слышали, чтоб кто-нибудь сказал: «Как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев!» В довершение всего он нередко огрызался против матери и в то же время боялся ее, как огня. Повторяю: это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков — и ничего больше.

В зрелом возрасте различие характеров обоих братьев всего резче выказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех подробностях петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаскивал из себя каждое слово. «Деньги, столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного вашего, крестьянина Ерофеева, получил,— уведомлял, например, Порфирий Владимирыч,— а за присылку оных, для употребления на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую благодарность и с нелицемерною сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и сомнением мучусь: не слишком ли утруждаете вы драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами об удовлетворении не только нужд, но и прихотей наших?! Не знаю, как брат, а я...» и т. д. А Павел, по тому же поводу, выражался: «Деньги, столько-то на такой-то срок, дражайшая родительница, получил, и, по моему расчету, следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить». Когда Арина Петровна посылала детям выговоры за мотовство (это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было), то Порфиша всегда с смирением покорялся этим замечаниям и писал: «Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших; знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений, и, что всего хуже, по свойственному человеку заблуждению, даже забываем о сем, в чем и приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего избавиться и быть, в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег, осмотнительным». А Павел отвечал так: «Дражайшая родительница! хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в названии меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение». Даже на письмо Арины Петровны, с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны, оба брата отзывались различно. Порфирий Владимирыч писал: «Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбью, каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест в лице двух сирот-малюток. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право, хоть и грешно, но иногда невольно пороп-

щешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае убежище — это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос». Павел же писал: «Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что всевышний успокоит ее в своих сёнях, хотя сие и неизвестно».

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимирыча, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей.

— Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! — восклицала она. — Недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одного-то ведь слова верного нет! все-то он лжет! и «милый дружок маменька», и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует!

Потом примется за письмо Павла Владимирыча, и опять чудится, что вот он-то и есть ее будущий злодей.

— Глуп-глуп, а смотри, как исподтишка мать козыряет! «В чем и прошу чувствительнейше принять уверение...», милости просим! Вот я тебе покажу, что́ значит «чувствительнейше принимать уверение»! Выброшу тебе кусок, как Степке-балбесу, — вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои «уверения»!

И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический вопль:

— И для кого я всю эту прорву коплю! для кого я припасаю! ночей не досыпаю, куска не доедаю... для кого?!

Таково было семейное положение Головлевых в ту минуту, когда бурмистр Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой-балбесом «выброшенного куска», который, ввиду дешевой его продажи, получал уже сугубое значение «родительского благословения».

Арина Петровна сидела в спальней и не могла прийти в себя. Что-то такое шевелилось у нее внутри, в чем она не могла отдать себе ясного отчета. Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но все-таки сыну, или говорило одно нагое чувство оскорбленного самовластия — этого не мог бы определить самый опытный психолог: до такой степени перепутывались и быстро сменялись в ней все чувства и ощущения. Наконец из общей массы накопившихся представлений яснее других выделилось опасение, что «постылый» опять сядет ей на шею.

«Анютка щенков своих навязала, да вот еще балбес...» — рассчитывала она мысленно.

Долго просидела она таким образом, не молвив ни слова и смотря в окно в одну точку. Принесли обед, до которого она почти не коснулась; пришли сказать: «Барину водки пожалуйста!» — она, не глядя, швырнула ключ от кладовой. После обеда она ушла в образную, велела засветить все лампадки и затворилась, предварительно заказав истопить баню. Все это были признаки, которые несомненно доказывали, что барыня «гневается», и потому в доме все вдруг смолкло, словно умерло. Горничные ходили на цыпочках; ключница Акулина совалась, как помешанная: назначено было после обеда варенье варить, и вот пришло время, ягоды вычищены, готовы, а от барыни ни приказа, ни отказа нет; садовник Матвей пришел было с вопросом, не пора ли персики обирать, но в девичьей так на него цыкнули, что он немедленно отретировался.

Помолившись богу и вымывшись в баньке, Арина Петровна почувствовала себя несколько умиротворенною и вновь потребовала Антона Васильева к ответу.

— Ну, а что же балбес делает? — спросила она.

— Москва велика — и в год ее всю не исходить!

— Да ведь, чай, пить-есть надо?

— Около своих мужичков прокармливаются. У кого пообедуют, у кого на табак гривенничек выпросят.

— А кто позволил давать?

— Помилуйте, сударыня! Мужички разве обижаются! Чужим неимущим подают, а уж своим господам отказать!

— Вот я им ужо... подавальщикам! Сошлю балбеса к тебе в вотчину — и содержите его всем обществом на свой счет!

— Вся ваша власть, сударыня.

— Что? что ты такое сказал?

— Вся, мол, ваша власть, сударыня. Прикажете, так и прокормим!

— То-то... прокормим! ты у меня говори, да не заговаривайся!

Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище «переметной суммы». Он не вытерпливает и вновь начинает топтаться на месте, сгорая желанием нечто доложить.

— Да еще какой прокурат! — наконец произносит он. — Сказывают, как из похода-то воротился, сто рублей денег с собой принес. Не велики деньги сто рублей, а и на них бы сколько-нибудь прожить можно...

— Ну?

— Поправиться, вишь, полагал, в аферу пустился...

— Говори, не мни!

— В немецкое, чу, собрание свез. Думал дурака найти в карты обыграть, ан, вместо того, сам на умного попался. Он было и наутек, да в прихожей, сказывают, задержали. Что было денег — всё обрали!

— Чай, и бокам досталось?

— Было всего. На другой день приходит к Ивану Михайлычу да сам же и рассказывает. И даже удивительно это: смеется... веселый! словно бы его по головке погладили!

— Нйшто ему! лишь бы ко мне на глаза не показывался!

— А надо полагать, что так будет.

— Что ты! да я его на порог к себе не пушу!

— Не иначе, что так будет! — повторяет Антон Васильев, — и Иван Михайлыч сказывал, что он проговаривался: «Шабаш! говорит, пойду к старухе хлеб всухомятку есть!» Да ему, сударыня, коли по правде сказать, и деваться-то, кроме здешнего места, некуда. По своим мужичкам долго в Москве не находится. Одежа тоже нужна, покой...

Вот этого-то именно и боялась Арина Петровна, это-то именно и составляло суть того неясного представления, которое бессознательно тревожило ее. «Да, он явится, ему некуда больше идти — этого не миновать! Он будет здесь, вечно у нее на глазах, клятой, постылый, забытый! Для чего же она выбросила ему в то время «кусок»? Она думала, что, получивши «что следует», он канул в вечность, — а он возрождается! Он придет, будет требовать, будет всем мозолить глаза своим нищенским видом. И надо будет удовлетворять его требованиям, потому что он человек наглый, готовый на всякое буйство. «Его» не спрячешь под замок; «он» способен и при чужих явиться в отребье, способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать им вся сокровенная Головлевых дел. Сослать его разве в Суздаль-монастырь? — Но кто ж его знает, полно, есть ли еще этот Суздаль-монастырь, и в самом ли деле он для того существует, чтоб освобождать огорченных родителей от лицезрения строптивых детей? Сказывают еще, что смиренный дом есть... да ведь смиренный дом — ну, как ты его туда, экого сорокалетнего жеребца, приведешь?» Одним словом, Арина Петровна совсем растерялась при одной мысли о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с приходом Степки-балбеса.

— Я его к тебе в вотчину пришлю! корми на свой счет! — пригрозила она бурмистру, — не на вотчинный счет, а на собственный свой!

— За что так, сударыня?

— А за то, что не каркай. Кра! кра! «не иначе, что так будет»... пошел с моих глаз долой... ворона!

Антон Васильев повернул было налево кругом, но Арина Петровна вновь остановила его.

— Стой! погоди! так это верно, что он в Головлево лыжи наострил? — спросила она.

— Стану ли я, сударыня, лгать! Верно говорил: к старухе пойду хлеб всухомятку есть!

— Вот я ему покажу ужю, какой для него у старухи хлеб припасён!

— Да что, сударыня, недолго он у вас наживет.

— А что такое?

— Да кашляет очень сильно... за левую грудь все хватается... Не заживется!

— Этакие-то, любезный, еще дольше живут! и нас всех переживет! Кашляет да кашляет — что ему, жеребцу долговязому, делается! Ну, да там посмотрим. Ступай теперь: мне нужно распоряжение сделать.

Весь вечер Арина Петровна думала и наконец-таки надумала: созвать семейный совет для решения балбесовой участи. Подобные конституционные замашки не были в ее нравах, но на этот раз она решилась отступить от преданий самодержавия, дабы решением всей семьи оградить себя от нареканий добрых людей. В исходе предстоящего совещания она, впрочем, не сомневалась и потому с легким духом села за письма, которыми предписывалось Порфирию и Павлу Владимирычам немедленно прибыть в Головлево.

Покуда все это происходило, виновник кутерьмы, Степка-балбес, уж подвигался из Москвы по направлению к Головлеву. Он сел в Москве, у Рогожской, в один из так называемых «дележанов», в которых в былое время езжали, да и теперь еще кой-где ездят, мелкие купцы и торгующие крестьяне, направляясь в свое место в побывку. «Дележан» ехал по направлению к Владимиру, и тот же сердобольный трактирщик Иван Михайлыч вез на свой счет Степана Владимирыча, взявши для него место и уплачивая за его харчи в продолжение всей дороги.

— Так уж вы, Степан Владимирыч, так и сделайте: на поворотке слезьте да пешком, как есть в костюме, — так и отъявитесь к маменьке! — условливался с ним Иван Михайлыч.

— Так, так, так! — подтверждал и Степан Владимирыч. — Много ли от поворотки — пятнадцать верст пешком пройти! мигом отхватаю! В пыли, в навозе — так и явлюсь!

— Увидит маменька в костюме-то — может, и пожалеет!

— Пожалеет! как не пожалеть! Мать — ведь она старуха добрая!

Степану Головлеву нет еще сорока лет, но по наружности ему никак нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на нем никакого признака дворянского сына, ни малейшего следа того, что и он был когда-то в университете и что и к нему тоже было обращено воспитательное слово науки. Это — чрезмерно длинный, нечесаный, почти немый, худой от недостатка питания, с впалою грудью, с

длинными, заgreбистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на голове и бороде растрепанные, с сильною проседью, голос громкий, но сиплый, простуженный, глаза навывкате и воспаленные, частью от непомерного употребления водки, частью от постоянного нахождения на ветру. На нем ветхая и совершенно затасканная серая ополченка, галуны с которой содраны и проданы на выжигу, на ногах — стоптанные, порыжелые и запла-танные сапоги навывпуск; из-за распахнутой ополченки виднеется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей, — рубашка, которую он с истинно ополченским цинизмом сам называет «блoшнiцею». Смотрит он исподлобья, угрюмо, но эта угрю-мость не выражает внутреннего недовольства, а есть следст-вие какого-то смутного беспокойства, что вот-вот еще минута, и он, как червяк, подохнет с голоду.

Говорит он без умолку, без связи перескакивая с одного предмета на другой; говорит и тогда, когда Иван Михайлыч слушает его, и тогда, когда последний засыпает под музыку его говора. Ему ужасно неловко сидеть. В «дележане» поместилось четыре человека, а потому приходится сидеть, скрючивши ноги, что уже на протяжении трех-четырех верст производит невы-носимую боль в коленках. Тем не менее, несмотря на боль, он постоянно говорит. Облака пыли врываются в боковые отверстия повозки; по временам заползают туда косые лучи солнца и вдруг, словно полымем, обожгут всю внутренность «дележана», — а он все говорит.

— Да, брат, тяпнул-таки я на своем веку горя, — рассказывает он, — пора и на боковую! Не объем же ведь я ее, а куска-то хлеба, чай, как не найтись! Ты как, Иван Михайлыч, об этом думаешь?

— У маменьки вашей много кусков!

— Только не про меня — так, что ли, ты хочешь ска-зать? Да, дружище, деньжищ у нее — целая прорва, а для меня пятака медного жаль! И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненави-дела! За что? Ну, да теперь, брат, шалишь! с меня взятки-то гладки, я и за горло возьму! Выгнать меня вздумает — не пойду! Есть не даст — сам возьму! Я, брат, отечеству послужил — теперь мне всякий помочь обязан! Одного боюсь: табаку не будет давать — скверность!

— Да, уж с табачком, видно, проститься придется!

— Так я бурмистра за бока! может лысый черт и подарить барину!

— Подарить отчего не подарить! А ну, как она, маменька-то ваша, и бурмистру запретит?

— Ну, тогда я уж совсем мат; только одна роскошь у меня и осталась от прежнего великолепия — это табак! Я, брат, как при деньгах был, в день по четвертке Жукова выкуривал!

— Вот и с водочкой тоже проститься придется!

— Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна — мокрótу разбивает. Мы, брат, как походом под Севастополь шли — еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло!

— Чай, очунели?

— Не помню. Кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харькова дошел, а хоть убей — ничего не помню. Помню только, что и деревнями шли и городами шли, да еще, что в Туле откупщик нам речь говорил. Прослезился, подлец! Да, тяпнула-таки в ту пору горя наша матушка-Русь православная! Откупщики, подрядчики, приемщики — как только бог спас!

— А вот маменьке вашей так и тут барышóк вышел. Из нашей вотчины больше половины ратников домой не вернулось, так за каждого, сказывают, зачетную рекрутскую квитанцию нынче выдать велют. Ан она, квитанция-то, в казне с лишком четыре ста стоит.

— Да, брат, у нас мать — умница! Ей бы министром следовало быть, а не в Головлеве пенки с варенья снимать! Знаешь ли что! Несправедлива она ко мне была, обидела она меня, — а я ее уважаю! Умна, как черт, — вот чтó главное! Кабы не она — чтó бы мы теперь были? Были бы при одном Головлеве — сто одна душа с половиной! А она — посмотри, какую чертову пропасть она накупила!

— Будут ваши братцы при капитале!

— Будут. Вот я так ни при чем останусь — это верно! Да, вылетел, брат, я в трубу! А братья будут богаты, особливо Кровопивушка. Этот без мыла в душу влезет. А впрочем, он ее, старую ведьму, со временем порешит; он и именье и капитал из нее высосет — я на эти дела провидец! Вот Павел-брат — тот душа-человек! он мне табаку потихоньку пришлет — вот увидишь! Как приеду в Головлево — сейчас ему цидулу: так и так, брат любезный, успокой! Э-э-эх, эх-ма! вот кабы я богат был!

— Что ж бы вы сделали?

— Во-первых, сейчас бы тебя озолотил...

— Меня зачем же! Вы об себе, а я и так, по милости вашей маменьки, доволен.

— Ну, нет — это, брат, аттáнде! я бы тебя главнокомандующим надо всеми именьями сделал! Да, друг, накормил, обогрел ты служивого — спасибо тебе! Кабы не ты, понтировал бы я теперь пешедралом до дома предков моих! И вольную бы тебе сейчас в зубы, и все бы перед тобой мои сокровища открыл — пей, ешь и веселись! А ты как обо мне полагал, дружище?

— Нет, уж про меня вы, сударь, оставьте. Что бы еще-то вы сделали, кабы богаты были?

— Во-вторых, сейчас бы штучку себе завел. В Курске ходил я к владычице молебен служить, так одну видел... ах, хороша штучка! Веришь ли, ни одной-то минуты не было, чтоб она спокойно на месте стояла!

— А может, она бы в штучки-то и не пошла?

— А деньги на что! презренный металл на что? Мало ста тысяч — двести бери! Я, брат, коли при деньгах, ничего не пожалею, только чтоб в свое удовольствие пожить! Я, признаться сказать, ей и в ту пору через ефрейтора три целковеньких послал — пять, бестия, запросила!

— А пяти-то, видно, не случилось?

— И не знаю, брат, как сказать. Говорю тебе: все словно как во сне видел. Может, она даже и была у меня, да я забыл. Всю дорогу, целых два месяца — ничего не помню! А с тобой, видно, этого не случилось?

Но Иван Михайлыч молчит. Степан Владимирович вглядывается и убеждается, что спутник его мерно кивает головой и, по временам, когда касается носом чуть не колен, как-то нелепо вздрагивает и опять начинает кивать в такт.

— Эх-ма! — говорит он, — уж и укачало тебя! на боковую просишься! Разжирел ты, брат, на чаях да на харчах-то трактирных! А у меня так и сна нет! нет у меня сна — да и шабаш! Что бы теперь, однако ж, какую бы штуkenцию предпринять! Разве вот от плода сего виноградного...

Головлев озирается кругом и удостоверяется, что и прочие пассажиры спят. У купца, который рядом с ним сидит, голову об перекладину колотит, а он все спит. И лицо у него сделалось глянцевое, словно лаком покрыто, и мухи кругом рот облепили.

«А что, если б всех этих мух к нему в хайло препроводить — то-то бы, чай, небо с овчинку показалось!», — вдруг осеняет Головлева счастливая мысль, и он уже начинает подкрадываться к купцу рукой, чтобы привести свой план в исполнение, но на половине пути что-то припоминает и останавливается.

— Нет, полно проказничать — баста! Спите, други, и почитайте! А я покуда... и куда это он полштоф засунул? Ба! вот он, голубчик! Полезай, полезай сюда! Спа-си, го-о-споди, люди твоя! — запекает он вполголоса, вынимая посудину из холщовой сумки, прикрепленной сбоку кибитки, и прикладывая ко рту горлышко. — Ну вот, теперь ладно! тепло сделалось! Или еще? Нет, ладно... до станции-то верст двадцать еще будет, успею натенькаться... или еще? Ах, прах ее побери, эту водку! Увидишь полштоф — так и подманивает! Пить скверно, да и не пить нельзя — потому сна нет! Хоть бы сон, черт его возьми, сморил меня!

Булькнув еще несколько глотков из горлышка, он засовывает полштоф на прежнее место и начинает набивать трубку.

— Важно! — говорит он. — Сперва выпили, а теперь трубочки покурим! Не даст, ведьма, мне табаку, не даст — это он верно сказал. Есть-то даст ли? Обьедки, чай, какие-нибудь со стола посылать будет! Эх-ма! были и у нас денежки — и нет их! Был человек — и нет его! Так-то вот и всё на сем свете! сегодня ты и сыт и пьян, живешь в свое удовольствие, трубочку покуриваешь...

А завтра — где ты, человек?

Однако надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь-пьешь, словно бочка с изъяном, а закусить путем не закусишь. А доктора сказывают, что питье тогда на пользу, когда при нем и закуска благопотребная есть, как говорил преосвященный Смарагд, когда мы через Обоянь проходили. Через Обоянь ли? А черт его знает, может и через Кромь! Не в том, впрочем, дело — а как бы закуски теперь добыть. Помнится, что он в мешочек колбасу и три французских хлеба положил! Небось икорки пожалел купить! Ишь ведь как спит, какие песни носом выводит! Чай, и провизию-то под себя сгреб!

Он шарит кругом себя и ничего не нашаривает.

— Иван Михайлыч! а Иван Михайлыч! — окликает он.

Иван Михайлыч просыпается и с минуту словно не понимает, каким образом он очутился *vis-à-vis*¹ с барином.

— А меня только что было сон заводить начал! — наконец говорит он.

— Ничего, друг, спи! Я только спросить, где у нас тут мешок с провизией спрятан?

— Поесть захотелось? да ведь прежде, чай, выпить надо!

— И то дело! где у тебя полштоф-то?

Выпивши, Степан Владимирыч принимается за колбасу, которая оказывается твердою, как камень, соленою, как сама соль, и облеченною в такой прочный пузырь, что нужно прибегнуть к острому концу ножа, чтобы проткнуть его.

— Белорыбицы бы теперь хорошо, — говорит он.

— Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил: непременно напомни об белорыбице — и вот, словно грех случился!

— Ничего, и колбасы поедим. Походом шли — не то едали. Вот папенька рассказывал: англичанин с англичанином об заклад побился, что дохлую кошку съест, — и съел!

— Тсс... съел?

— Съел. Только тошнило его после! Ромом вылечился. Две бутылки залпом выпил — как рукой сняло. А то еще один

¹ друг против друга (франц.).

англичанин об заклад бился, что целый год одним сахаром питаться будет.

— Выиграл?

— Нет, двух суток до году не дожил — околел! Да ты что ж сам-то? водочки бы долбанул?

— Сроду не пивал.

— Чаем одним наливаешься? Нехорошо, брат; оттого и брюхо у тебя растет. С чаем надобно тоже осторожно: чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокрóту накопляет, а водка разбивает. Так, что ли?

— Не знаю; вы люди ученые — вам лучше знать.

— То-то. Мы как походом шли — с чаями-то да с кофеями нам некогда было возиться. А водка — святое дело: отвинтил манерку, налил, выпил — и шабаш. Скоро уж больно нас в ту пору гнали, так скоро, что я дней десять не мывшись был!

— Много вы, сударь, трудов приняли!

— Много не много, а попробуй попонтируй-ко по столбовой! Ну, да вперед-то идти все-таки нешто́ было: жертвуют, обедами кормят, вина вволю. А вот как назад идти — чувствовать-то уж и перестали!

Головлев с усилием грызет колбасу и наконец прожевывает один кусок.

— Солоненька, брат, колбаса-то! — говорит он. — Впрочем, я не прихотлив! Мать-то ведь тоже разносолами потчевать не станет: щец тарелку да каши чашку — вот и все!

— Бог милостив! Может, и пирожка в праздничек пожалует!

— Ни чаю, ни табаку, ни водки — это ты верно сказал. Говорят, она нынче в дураки играть любить стала — вот разве это? Ну, позовет играть и напоит чайком. А уж насчет прочего — ау, брат!

На станции остановились часа на четыре кормить лошадей. Головлев успел покончить с полуштофом, и его разбирал сильный голод. Пассажиры ушли в избу и расположились обедать. Побродив по двору, заглянув на задворки и в ясли к лошадям, вспугнувши голубей и даже попробовавши заснуть, Степан Владимирович наконец убеждается, что самое лучшее для него — это последовать за прочими пассажирами в избу. Там, на столе, уже дымятся щи, и в сторонке, на деревянном лотке, лежит большой кус говядины, которую Иван Михайлыч крошит на мелкие куски. Головлев садится несколько поодаль, закуривает трубку и долгое время не знает, как поступить относительно своего насыщения.

— Хлеб да соль, господа! — наконец говорит он. — Щи-то, кажется, жирные?

— Ничего щи! — отзывается Иван Михайлыч. — Да вы бы, сударь, и себе спросили!

— Нет, я только к слову, сыт я!

— Чего сыты! Колбасы кусок съели, а с ее, с проклятой, еще пуще живот пучит. Кушайте-ка! вот я велю в сторонке для вас столик накрыть — кушайте на здоровье! Хозяюшка! накрой барину в сторонке — вот так!

Пассажиры молча приступают к еде и только загадочно переглядываются между собой. Головлев догадывается, что его «проникли», хотя он, не без нахальства, всю дорогу разыгрывал барина и называл Ивана Михайлыча своим казначеем. Брови у него насуплены, табачный дым так и валит изо рта. Он готов отказаться от еды, но требования голода до того настоятельны, что он как-то хищно набрасывается на поставленную перед ним чашку щей и мгновенно опоражнивает ее. Вместе с сытостью возвращается к нему и самоуверенность, и он, как ни в чем не бывало, говорит, обращаясь к Ивану Михайлычу:

— Ну, брат-казначей, ты уж и расплачивайся за меня, а я пойду на сеновал с Храповицким поговорить!

Переваливаясь, отправляется он на сенник и на этот раз, так как желудок у него обременен, засыпает богатырским сном. В пять часов он опять уже на ногах. Видя, что лошади стоят у пустых яслей и чешутся мордами об края их, он начинает будить ямщика.

— Дрыхнет, каналья! — кричит он. — Нам к спеху, а он приятные сны видит!

Так идет дело до станции, с которой дорога поворачивает на Головлево. Только тут Степан Владимырьч несколько остепеняется. Он явно упадает духом и делается молчаливым. На этот раз уж Иван Михайлыч ободряет его и паче всего убеждает бросить трубку.

— Вы, сударь, как будете к усадьбе подходить, трубку-то в крапиву бросьте! после найдете!

Наконец лошади, долженствующие везти Ивана Михайлыча дальше, готовы. Наступает момент расставания.

— Прощай, брат! — говорит Головлев дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайлыча. — Заест она меня!

— Бог милостив! вы тоже не слишком пугайтесь!

— Заест! — повторяет Степан Владимырьч таким убежденным тоном, что Иван Михайлыч невольно опускает глаза.

Сказавши это, Головлев круто поворачивает по направлению проселка и начинает шагать, опираясь на суковатую палку, которую он перед тем срезал от дерева.

Иван Михайлыч некоторое время следит за ним и потом бросается ему вдогонку.

— Вот что, барин! — говорит он, нагоняя его. — Давеча, как ополченку вашу чистил, так три целковеньких в боковом кармане видел — не оброните как-нибудь ненароком!

Степан Владимирович видимо колеблется и не знает, как ему поступить в этом случае. Наконец он протягивает Ивану Михайлычу руку и говорит сквозь слезы:

— Понимаю... служивому на табак... благодарю! А что касается до того... заест она меня, друг любезный! вот помани мое слово — заест!

Головлев окончательно поворачивается лицом к проселку, и через пять минут уж далеко мелькает его серый ополченский картуз, то исчезая, то вдруг появляясь из-за чащи молодой лесной поросли. Время стоит еще раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьется над проселком, едва пропуская лучи только что показавшегося на горизонте солнца; трава блестит; воздух напоен запахами ели, грибов и ягод; дорога идет зигзагами по низменности, в которой кишат бесчисленные стада птиц. Но Степан Владимирович ничего не замечает; все легкомыслие вдруг соскочило с него, и он идет, словно на Страшный суд. Одна мысль до краев переполняет все его существо: еще три-четыре часа — и дальше идти уже некуда. Он припоминает свою старую головлевскую жизнь, и ему кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что, как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся, — и тогда все кончено. Припоминаются и другие подробности, хотя непосредственно до него не касающиеся, но несомненно характеризующие головлевские порядки. Вот дяденька Михаил Петрович (в просторечии «Мишка-буян»), который тоже принадлежал к числу «постылых» и которого дедушка Петр Иванович заточил к дочери в Головлево, где он жил в людской и ел из одной чашки с собакой Трезоркой. Вот тетенька Вера Михайловна, которая из милости жила в головлевской усадьбе у братца Владимира Михайлыча и которая умерла «от умеренности», потому что Арина Петровна корила ее каждым куском, съедаемым за обедом, и каждым поленом дров, употребляемым для отопления ее комнаты. То же самое приблизительно предстоит пережить и ему. В воображении его мелькает бесконечный ряд безрассветных дней, утопающих в какой-то зияющей серой пропасти, — и он невольно закрывает глаза. Отныне он будет один на один с злою старухой, и даже не злою, а только оцепеневшею в апатии властности. Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением. Не с кем молвить слова, некуда бежать — везде она, властная, цепенящая, презирающая. Мысль об этом неотвратимом будущем до такой степени всего его наполнила тоской, что он остановился около дерева и несколько времени бился об него головой. Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездельничества, буффонства, вдруг словно осветилась перед его умственным оком. Он идет теперь в Головлево, он знает, что ожидает там его, — и все-таки идет, и не может не идти. Нет у него другой дороги, нет! Самый последний

из людей может что-нибудь для себя сделать, может добыть себе хлеба — он один *ничего не может*. Эта мысль словно впервые проснулась в нем. И прежде ему случалось думать о будущем и рисовать себе всякого рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда — перспективы труда. И вот теперь ему предстояла расплата за тот угар, в котором бесследно потонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся в одном ужасном слове: «заест!»

Было около десяти часов утра, когда из-за леса показалась белая головлевская колокольня.

Лицо Степана Владимирыча побледнело, руки затряслись; он снял картуз и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся домой, но он тотчас же понял, что, в применении к нему, подобные воспоминания составляют только одно обольщение. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на головлевской земле, на той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, выпустила постылым на все четыре стороны и теперь, постылого же, вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило бесконечные головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить.

Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного; но на него ее вид произвел действие Медузиной головы. Там чудился ему гроб. «Гроб! гроб! гроб!» — повторял он бессознательно про себя. И не решился-таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька.

Попадья при виде его закручинилась и захлопотала об яичнице; деревенские мальчишки столпились вокруг него и смотрели на барина изумленными глазами; мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и как-то загадочно взглядывали на него; какой-то старик-дворовый даже подбежал и попросил у барина ручку поцеловать. Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко и жутко.

Наконец поп пришел и сказал, что «маменька готовы принять» Степана Владимирыча. Через десять минут он был уже там. Арина Петровна встретила его торжественно-строго и смирла с ног до головы ледяным взглядом; но никаких бесполезных упреков не позволила себе. И в комнаты не допустила, а так на девичьем крыльце свиделась и рассталась, приказав проводить молодого барина через другое крыльцо к папеньке. Старик дремал

в постели, покрытой белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец. Увидевши его, он проснулся и идиотски захохотал.

— Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! — крикнул он, покуда Степан Владимырь целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил: — Съест! съест! съест!

«Съест!» — словно эхо, откликнулось и в его душе.

Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его и — захлопнулись.

Потянулся ряд вялых, безобразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени. Арина Петровна не принимала его; к отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Финогей Ипатыч объявил ему от маменьки «положение», заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежду и, сверх того, по фунту Фалера¹ в месяц. Он выслушал маменькину волю и только заметил:

— Ишь ведь, старая! Пронюхала, что Жуков два рубля, а Фалер рубль девяносто стоит, — и тут десять копеечек ассигнациями в месяц утянула! Верно, нищему на мой счет подать собиралась!

Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался проселком к Головлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомыслие опять вступило в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с «маменькиным положением». Будущее, безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалось туманом и, наконец, совсем перестало существовать. На сцену выступил насущный день, с его цинической наготою, и выступил так назойливо и нагло, что всецело заполонил все помыслы, все существо. Да и какую роль может играть мысль о будущем, когда течение всей жизни бесспоротно и в самых малейших подробностях уже решено в уме Арины Петровны?

Целыми днями шагал он взад и вперед по отведенной комнате, не выпуская трубки изо рта и напевая кой-какие обрывки песен, причем церковные напевы неожиданно сменялись разухабистыми, и наоборот. Когда в конторе находился налицо земский, то он

¹ Известный в то время табачный фабрикант, конкурировавший с Жуковым. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

заходил к нему и высчитывал доходы, получаемые Ариной Петровной.

— И куда она экую прорву деньжищ деваает! — удивлялся он, досчитываясь до цифры с лишком в восемьдесят тысяч на ассигнации. — Братьям, я знаю, не ахти сколько посылает, сама живет скаречно, отца солеными полотками кормит... В ломбард! больше некуда, как в ломбард кладет.

Иногда в контору приходил и сам Финогей Ипатыч с оброками, и тогда на конторском столе раскладывались по пачкам те самые деньги, на которые так разгорались глаза у Степана Владимировича.

— Ишь, пропасть какая деньжищ! — восклицал он, — и все-то к ней в хайло уйдут! нет того, чтоб сыну пачечку уделить! на, мол, сын мой, в горести находящийся! вот тебе на вино и на табак!

И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма разговоры с Яковом-земским о том, какими бы средствами сердце матери так смягчить, чтоб она души в нем не чаяла.

— В Москве у меня мещанин знакомый был, — рассказывал Головлев, — так он «слово» знал... Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это «слово» и скажет... И сейчас это всю ее корчить начнет, руки, ноги — словом, всё!

— Порчу, стало быть, какую ни на есть пушал! — догадывался Яков-земский.

— Ну, уж там как хочешь разумеешь, а только истинная это правда, что такое «слово» есть. А то еще один человек сказывал: возьми, говорит, живую лягушку и положи ее в глухую полночь в муравейник; к утру муравьи ее всю объедят, останется одна косточка; вот эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя в кармане — что хочешь у любой бабы проси, ни в чем тебе отказу не будет.

— Что ж, это хоть сейчас сделать можно!

— То-то, брат, что сперва проклятие на себя наложить нужно! Кабы не это... то-то бы ведьма мелким бесом передо мной заплясала.

Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств все-таки не обреталось. Всё — либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу черту продать. В результате ничего другого не оставалось, как жить на «маменькином положении», поправляя его некоторыми произвольными поборами с сельских начальников, которых Степан Владимирович поголовно обложил данью в свою пользу, в виде табаку, чаю и сахара. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно приносили остатки маменькинова обеда, а так как Арина Петровна была умеренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было в особенности для него мучительно, потому что с тех

пор, как вино сделалось для него запретным плодом, аппетит его быстро усилился. С утра до вечера он голодал и только об том и думал, как бы наестся. Подкарауливал часы, когда маменька отдыхала, бегал в кухню, заглядывал даже в людскую и везде что-нибудь нашаривал. По временам садился у открытого окна и поджидал, не проедет ли кто. Ежели проезжал мужик из своих, то останавливал его и облагал данью: яйцом, ватрушкой и т. д.

Еще при первом свидании Арина Петровна в коротких словах выяснила ему полную программу его житья-бытья.

— Покуда — живи! — сказала она, — вот тебе угол в конторе, пить-есть будешь с моего стола, а на прочее — не погневайся, голубчик! Разносолов у меня отроду не бывало, а для тебя и подавно заводить не стану. Вот братья ужó приедут: какое положение они промежду себя для тебя присоветуют — так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу, как братья решат — так тому и быть!

И вот теперь он с нетерпением ждал приезда братьев. Но при этом он совсем не думал о том, какое влияние будет иметь этот приезд на дальнейшую его судьбу (по-видимому, он решил, что об этом и думать нечего), а загадывал только, привезет ли ему брат Павел табаку и сколько именно.

«А может, и денег отвалит! — прибавлял он мысленно. — Порфишка-кровопивец — тот не даст, а Павел... Скажу ему: дай, брат, служивому на вино... даст! как, чай, не дать!»

Время проходило, и он не замечал его. Это была абсолютная праздность, которою он, однако, почти не тяготился. Только по вечерам было скучно, потому что земский уходил часов в восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свечей, на том основании, что по комнате взад и вперед шагать и без свечей можно. Но он и к этому скоро привык и даже полюбил темноту, потому что в темноте сильнее разыгрывалось воображение и уносило его далеко из постылого Головлева. Одно его тревожило: сердце у него беспокойно было и как-то странно трепыхалось в груди, в особенности когда он ложился спать. Иногда он вскакивал с постели, словно ошеломленный, и бегал по комнате, держась рукой за левую сторону груди.

«Эх, кабы околеть! — думалось ему при этом. — Нет ведь, не околею! А может быть!..»

Но когда однажды утром земский таинственно доложил ему, что ночью братцы приехали, — он невольно вздрогнул и изменился в лице. Что-то ребяческое вдруг в нем проснулось; хотелось бежать поскорее в дом, взглянуть, как они одеты, какие постланы им постели и есть ли у них такие же дорожные несессеры, как он видел у одного ополченского капитана; хотелось послушать, как они будут говорить с маменькой, подсмотреть, что будут

им подавать за обедом. Словом сказать, хотелось и еще раз приобщиться к той жизни, которая так упорно отметала его от себя, броситься к матери в ноги, вымолить ее прощение и потом, на радостях, пожалуй, съесть и упитанного тельца. Еще в доме было все тихо, а он уж сбегал к повару на кухню и узнал, что к обеду заказано: на горячее щи из свежей капусты — небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено, на холодное — полоток соленный да сбоку две пары котлеточек, на жаркое — баранину да сбоку четыре бекасика, на пирожное — малиновый пирог со сливками.

— Вчерашний суп, полоток и баранина — это, брат, постылому! — сказал он повару. — Пирога, я полагаю, мне тоже не дадут!

— Это как будет угодно маменьке, сударь.

— Эх-ма! А было время, что и я дупелей едал! едал, братец! Однажды с поручиком Гремыкиным даже на пари побился, что сряду пятнадцать дупелей съем, — и выиграл! Только после этого целый месяц смотреть без отвращения на них не мог!

— А теперь и опять бы покушали?

— Не даст! А чего бы, кажется, жалеть. Дупель — птица вольная: ни кормить ее, ни смотреть за ней — сама на свой счет живет! И дупель некупленный, и баран некупленный — а вот поди ж ты! знает, ведьма, что дупель вкуснее баранины — ну и не даст! Сгноит, а не даст! А на завтрак что заказано?

— Печенка заказана, грибы в сметане, сочни...

— Ты бы хоть соченька мне прислал... постарайся, брат!

— Надо постараться. А вы вот что, сударь. Ужо, как завтракать братцы сядут, пришлите сюда земского: он вам парочку соченьков за пазухой пронесет.

Все утро прождал Степан Владимыч, не придут ли братцы, но братцы не шли. Наконец, часов около одиннадцати, принес земский два обещанных сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальней.

Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее под руки; седые волосы прядями выбивались из-под белого чепца, голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки. Степка-балбес называл такие торжественные приемы архиерейским служением, мать — архиерейшею, а девок Польшку и Юльку — архиерейскими жезлоносицами. Но так как был уже второй час ночи, то свидание произошло без слов. Молча подала она детям руку для

целования, молча перецеловала и перекрестила их, и когда Порфирий Владимирыч изъявил готовность хоть весь остаток ночи прокалякать с милым другом маменькой, то махнула рукой, сказав:

— Ступайте! отдохните с дороги! не до разговоров теперь, завтра поговорим.

На другой день, утром, оба сына отправились к папеньке ручку поцеловать, но папенька ручки не дал. Он лежал на постели с закрытыми глазами и, когда вошли дети, крикнул:

— Мытаря судить приехали?.. вон, фарисеи... вон!

Тем не менее Порфирий Владимирыч вышел из папенькинова кабинета взволнованный и заплаканный, а Павел Владимирыч, как «истинно бесчувственный идол», только ковырял пальцем в носу.

— Нехорош он у вас, добрый друг маменька! ах, как нехорош! — воскликнул Порфирий Владимирыч, бросаясь на грудь к матери.

— Разве очень сегодня слаб?

— Уж так слаб! так слаб! Не жилец он у вас!

— Ну, поскрипит еще!

— Нет, голубушка, нет! И хотя ваша жизнь никогда не была особенно радостна, но как подумаешь, что столько ударов зараз... право, даже удивляешься, как это вы силу имеете переносить эти испытания!

— Что ж, мой друг, и перенесешь, коли господу богу угодно! знаешь, в Писании-то что сказано: тяготы друг другу носите — вот и выбрал меня он, батюшко, чтоб семейству своему тяготы носить!

Арина Петровна даже глаза зажмурила: так это хорошо ей показалось, что все живут на всем на готовеньком, у всех-то все припасено, а она одна — целый-то день мается да всем тяготы носит.

— Да, мой друг! — сказала она после минутного молчания. — Тяжеленько-таки мне на старости лет! Припасла я детям на свой пай — пора бы и отдохнуть! Шутка сказать — четыре тысячи душ! этакой-то махиной управлять в мои лета! за всяким ведь погляди! всякого уследи! да походи, да побегай! Хоть бы эти бурмистры да управители наши: ты не гляди, что он тебе в глаза смотрит! одним-то глазом он на тебя, а другим — в лес норовит! Самый это народ... маловерный! Ну, а ты что? — прервала она вдруг, обращаясь к Павлу. — В носу ковыряешь?

— Мне что ж! — огрызнулся Павел Владимирыч, обеспокоенный в самом разгаре своего занятия.

— Как что! все же отец тебе — можно бы и пожалеть!

— Что ж — отец! Отец как отец... как всегда! Десять лет он такой! Всегда вы меня притесняете!

— Зачем мне тебя притеснять, друг мой, я мать тебе!

Вот Порфиша: и приласкался и пожалел — все как след доброму сыну сделал, а ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь, все исподлобья да сбоку, словно она — не мать, а враг тебе! Не укуси, сделай милость!

— Да что же я...

— Пстой! помолчи минутку! дай матери слово сказать! Помнишь ли, что в заповеди-то сказано: чти отца твоего и мать твою — и благо ти будет... стало быть, ты «блага»-то себе не хочешь?

Павел Владимирыч молчал и смотрел на мать недоумевающими глазами.

— Вот видишь, ты и молчишь, — продолжала Арина Петровна, — стало быть, сам чувствуешь, что блохи за тобой есть. Ну, да уж бог с тобой! Для радостного свидания оставим этот разговор. Бог, мой друг, все видит, а я... ах, как давно я тебя насквозь понимаю! Ах, детушки, детушки! вспомните мать, как в могилке лежать будет, вспомните — да поздно уж будет!

— Маменька! — вступился Порфирий Владимирыч, — оставьте эти черные мысли! оставьте!

— Умирать, мой друг, всем придется! — сентенциозно произнесла Арина Петровна, — не черные это мысли, а самые, можно сказать... божественные! Хирею я, детушки, ах, как хирею! Ничего-то во мне прежнего не осталось — слабость да хворость одна! Даже девки-поганки заметили это — и в ус мне не дуют! Я слово — они два! я слово — они десять! Одну только угрозу и имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь! Ну, иногда и попритихнут!

Подали чай, потом завтрак, в продолжение которых Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама над собой. После завтрака она пригласила сыновей в свою спальную.

Когда дверь была заперта на ключ, Арина Петровна немедленно приступила к делу, по поводу которого был созван семейный совет.

— Балбес-то ведь явился! — начала она.

— Слышали, маменька, слышали! — отозвался Порфирий Владимирыч не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал.

— Пришел, словно и дело сделал, словно так и следовало: сколько бы, мол, я ни кутил, ни мучил, у старухи-матери всегда про меня кусок хлеба найдется! Сколько я в своей жизни ненависти от него видела! сколько от одних его буффонств да каверзов мучения вытерпела! Что я в ту пору трудов приняла, чтоб его на службу-то втереть! — и все как с гуся вода! Наконец билась-билась, думаю: господи! да коли он сам об себе радеть не хочет — неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать! Дай, думаю, выкину ему кусок, авось

свой грош в руки попадет — постепеннее будет! И выкинула. Сама и дом-то для него высмотрела, сама собственными руками, как одну копейку, двенадцать тысячек серебром денег выложила! И что ж! не прошло после того и трех лет — ан он и опять у меня на шее повис! Долго ли мне надругательства-то эти переносить?

Порфиша вскинул глазами в потолок и грустно покачал головою, словно бы говорил: «А-а-ах! дела! дела! и нужно же милого друга маменьку так беспокоить! сидели бы все смирно, ладком да мирком, — ничего бы этого не было, и маменька бы не гневалась... а-а-ах, дела, дела!» Но Арине Петровне, как женщине, не терпящей, чтобы течение ее мыслей было чем бы то ни было прерываемо, движение Порфиши не понравилось.

— Нет, ты погоди головой-то вертеть, — сказала она, — ты прежде выслушай! Каково мне было узнать, что он родительское-то благословение, словно обглоданную кость, в помойную яму выбросил? Каково мне было чувствовать, что я, с позволения сказать, ночей недосыпала, куска недоедала, а он — на-тко! Слово вот взял, купил на базаре бирюльку — не зандобилась, и выкинул ее за окно! Это родительское-то благословение!

— Ах, маменька! Это такой поступок! такой поступок! — начал было Порфирий Владимыч, но Арина Петровна опять остановила его.

— Стой! погоди! когда я прикажу, тогда свое мнение скажешь! И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил! Виноват, мол, маменька, так и так — не воздержался! Я ведь и сама, кабы вовремя, сумела бы за бесценок дом-то приобрести! Не сумел недостойный сын пользоваться, — пусть попользуются достойные дети! Ведь он, шутя-шутя, дом-то, пятнадцать процентов в год интересу принесет! Может быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бедность выкинула! А то — на-тко! сижу здесь, ни сном, ни делом не вижу, а он уж и распорядился! Двенадцать тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона в восьми тысячах спустил!

— А главное, маменька, что он с родительским благословением так низко поступил! — поспешил скороговоркой прибавить Порфирий Владимыч, словно опасаясь, чтоб маменька вновь не прервала его.

— И это, мой друг, да и то. У меня, голубчик, деньги-то не шальные; я не танцами да курантами приобретала их, а хребтом да потом. Я как богатства-то достигала? Как за папеньку-то я шла, у него только и было, что Головлево, сто одна душа, да в дальних местах, где двадцать, где тридцать — душ с полтора набралось! А у меня, у самой-то — и всего ничего! И ну-тко, при таких-то средствах, какую махину выстроила! Четыре-то тысячи душ — их ведь не скроешь! И хотела бы в могилку с собой унести, да нельзя! Как ты думаешь, легко мне они, эти четыре тысячи

душ, достались? Нет, друг мой любезный, так нелегко, так нелегко, что, бывало, ночью не спишь — все тебе мерещится, как бы так дельце умненько обделать, чтоб до времени никто и пронюхать об нем не мог! Да чтобы кто-нибудь не перебил, да чтобы копеечки лишненькой не истратить! И чего я не попробовала! и слякоть-то, и распутицу-то, и гололедицу-то — всего отведала! Это уж в последнее время я в тарантасах-то роскошничать начала, а в первое-то время соберут, бывало, тележонку крестьянскую, кибитчонку кой-какую на нее навяжут, пару лошабочек запрягут — я и плетусь трюх-трюх до Москвы! Плетусь, а сама все думаю: а ну, как кто-нибудь именье-то у меня перебьет! Да и в Москву приедешь, у Рогожской на постоялом остановишься, вони да грязи — все я, друзья мои, вытерпела! На извозчика, бывало, гривенника жаль, — на своих на двоих от Рогожской до Солянки пру! Даже дворники — и те дивятся: барыня, говорят, ты молоденькая и с достатком, а такие труды на себя принимаешь! А я все молчу да терплю. И денег-то у меня в первый раз всего тридцать тысяч на ассигнации было — папенькины кусочки дальние, душ со сто, продала, — да с этою-то суммой и пустилась я, шутка сказать, тысячу душ покупать! Отслужила у Иверской молебен, да и пошла на Солянку счастья попытать. И что ж ведь! Словно видела заступница мои слезы горькие — оставила-таки имение за мной! И чудо какое: как я тридцать тысяч, кроме казенного долга, надавала, так словно вот весь аукцион перерезала! Прежде и галдели и горячились, а тут и надбавлять перестали, и стало вдруг тихо-тихо кругом. Встал это присутствующий, поздравляет меня, а я ничего не понимаю! Стряпчий тут был, Иван Николаич, подошел ко мне: с покупочкой, говорит, сударыня! а я словно вот столб деревянный стою! И как ведь милость-то божия велика! Подумайте только: если б, при таком моем исступлении, вдруг кто-нибудь на озорство крикнул: тридцать пять тысяч даю! — ведь я, пожалуй, в беспамятстве-то и все сорок надавала бы! А где бы я их взяла?!

Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения, но, по-видимому, она и доднесь не утратила в их глазах интереса новизны. Порфирий Владимирыч слушал маменьку то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская их, смотря по свойству перипетий, через которые она проходила. А Павел Владимирыч даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку.

— А вы, чай, думаете, даром состояние-то матери досталось! — продолжала Арина Петровна. — Нет, друзья мои! даром-то и прыщ на носу не вскочит: я после первой-то покупки в горячке шесть недель вылежала! Вот теперь и судите: каково мне видеть, что после таких-то, можно сказать, истязаний трудовые мои де-

нежки, ни дай ни вынеси за что, в помойную яму выброшены!

Последовало минутное молчание. Порфирий Владимирович готов был ризы на себе разодрать, но опасался, что в деревне, пожалуй, некому починить их будет; Павел Владимирович, как только кончилась «сказка» о благоприобретении, сейчас же опустился, и лицо его приняло прежнее апатичное выражение.

— Так вот я за тем вас и призвала, — вновь начала Арина Петровна. — Судите вы меня с ним, со злодеем! Как вы скажете, так и будет. Его осудите — он будет виноват, меня осудите — я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам! — прибавила она совсем неожиданно.

Порфирий Владимирович почувствовал, что праздник на его улице наступил, и разошелся соловьем. Но, как истинный кровопивец, он не приступил к делу прямо, а начал с околичностей.

— Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение, — сказал он, — то вот оно в двух словах: дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости — вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, — все принадлежит родителям. Поэтому родители могут судить детей; дети же родителей — никогда. Обязанность детей — чтить, а не судить. Вы говорите: судите меня с ним! Это великодушно, милая маменька, велико-лепно! Но можем ли мы без страха даже подумать об этом, мы, от первого дня рождения благодетельствованные вами с головы до ног? Воля ваша, но это будет святотатство, а не суд! Это будет такое святотатство, такое святотатство...

— Стой! погоди! коли ты говоришь, что не можешь меня судить, так оправь меня, а его осуди! — прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никак не могла разгадать: какой такой подвох у Порфишки-кровопивца в голове засел.

— Нет, голубушка маменька, и этого не могу! Или, лучше сказать, не смею и не имею права. Ни оправлять, ни обвинять — вообще судить не могу. Вы — мать, вам одним известно, как с нами, вашими детьми, поступать. Заслужили мы — вы наградите нас, провинились — накажите. Наше дело — повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже и переступить, в минуту родительского гнева, меру справедливости — и тут мы не смеем роптать, потому что пути провидения скрыты от нас. Кто знает? Может быть, это и нужно так! Так-то и здесь: брат Степан поступил низко, даже, можно сказать, чернó, но определить степень возмездия, которое он заслуживает за свой поступок, можете вы одни!

— Стало быть, ты отказываешься? Выпутывайтесь, мол, милая маменька, как сами знаете!

— Ах, маменька, маменька! и не грех это вам? Ах-ах-ах! Я говорю: как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет — а вы... ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете!

— Хорошо. Ну, а ты как? — обратилась Арина Петровна к Павлу Владимировичу.

— Мне что ж! разве вы меня слушаетесь? — заговорил Павел Владимирович словно сквозь сон, но потом неожиданно захрабрился и продолжал: — Известно, виноват... на куски рвать... в ступе истолочь... вперед известно... мне что ж!

Пробормотавши эти бессвязные слова, он остановился и с разинутым ртом смотрел на мать, словно сам не верил ушам своим.

— Ну, голубчик, с тобой — после! — холодно оборвала его Арина Петровна. — Ты, я вижу, по Степкиным следам идти хочешь... ах, не ошибись, мой друг! Покаешься после — да поздно будет!

— Я что ж! Я ничего!.. Я говорю: как хотите! что же тут... непочтительного? — спасовал Павел Владимирович.

— После, мой друг, после с тобой поговорим! Ты думаешь, что офицер, так и управы на тебя не найдется! Найдется, голубчик, ах, как найдется! Так значит, вы оба от судьбы отказываетесь?

— Я, милая маменька...

— И я тоже. Мне что! По мне, пожалуй, хоть на куски...

— Да замолчи, Христа ради... недобрый ты сын! (Арина Петровна понимала, что имела право сказать «негодяй», но ради радостного свидания воздержалась.) Ну, ежели вы отказываетесь, то приходится мне уж собственным судом его судить. И вот какое мое решение будет: попробую и еще раз добром с ним поступить: отделию ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю там флигелечек небольшой поставить — и пусть себе живет, вроде как убогого, на прокормлении у крестьян!

Хотя Порфирий Владимирович и отказался от суда над братом, но великодушные маменьки так поразило его, что он никак не решился скрыть от нее опасные последствия, которые влекла за собой сейчас высказанная мера.

— Маменька! — воскликнул он, — вы больше чем великодушны! Вы видите перед собой поступок... ну, самый низкий, черный поступок... и вдруг все забыто, все прощено! Великолепно. Но извините меня... боюсь я, голубушка, за вас! Как хотите меня судите, а на вашем месте... я бы так не поступил!

— Это почему?

— Не знаю... Может быть, во мне нет этого великодушия... этого, так сказать, материнского чувства... Но все как-то сдается: а что ежели брат Степан, по свойственной ему испорченности, и с

этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым?

Оказалось, однако, что соображение это уж было в виду у Арины Петровны, но что, в то же время, существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать.

— Вологодское-то именье ведь папенькино, родовое, — процедила она сквозь зубы, — рано или поздно все-таки придется ему из папенькинова имения часть выделять.

— Понимаю я это, милый друг маменька...

— А коли понимаешь, так, стало быть, понимаешь и то, что, выделивши ему вологодскую-то деревню, можно обязательство с него стревовать, что он от папеньки отделен и всем доволен?

— Понимаю и это, голубушка маменька. Большую вы тогда, по доброте вашей, ошибку сделали! Надо было тогда, как вы дом покупали, — тогда надо было обязательство с него взять, что он в папенькино именье не вступщик!

— Что делать! не догадалась!

— Тогда он, на радостях-то, какую угодно бумагу бы подписал! А вы, по доброте вашей... ах, какая это ошибка была! такая ошибка! такая ошибка!

— «Ах» да «ах» — ты бы в ту пору, ахало, ахал, как время было. Теперь ты все готов матери на голову свалить, а чуть коснется до дела — тут тебя и нет! А впрочем, не об бумаге и речь: бумагу, пожалуй, я и теперь сумею от него вытребовать. Папенька-то не сейчас, чай, умрет, а до тех пор балбесу тоже пить-есть надо. Не выдаст бумаги — можно и на порог ему указать: жди папенькиной смерти! Нет, я все-таки знать желаю: почему тебе не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отделить?

— Промотает он ее, голубушка! дом промотал — и деревню промотает!

— А промотает, так пусть на себя и пеняет!

— К вам же ведь он тогда придет!

— Ну нет, это дудки! И на порог к себе его не пущу! Не только хлеба — воды ему, постылому, не вышлю! И люди меня за это не осудят, и бог не накажет. На-тко! дом прожил, именье прожил — да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другие дети есть!

— И все-таки к вам он придет. Наглый ведь он, голубушка маменька!

— Говорю тебе: на порог не пущу! Что ты, как сорока, заладил: «придет» да «придет» — не пущу!

Арина Петровна умолкла и уставилась глазами в окно. Она и сама смутно понимала, что вологодская деревнюшка только временно освободит ее от «постылого», что в конце концов он все-таки и ее промотает и опять придет к ней и что, как мать, она не может отказать ему в угле, но мысль, что ее ненавистник оста-

нется при ней навсегда, что он, даже заточенный в контору, будет, словно привидение, ежемгновенно преследовать ее воображение,— эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всем телом вздрагивала.

— Ни за что! — крикнула она наконец, стукнув кулаком по столу и вскакивая с кресла.

А Порфирий Владимирович смотрел на милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою.

— А ведь вы, маменька, гневаетесь! — наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать.

— А по-твоему, в пляс, что ли, я пуститься должна?

— А-а-ах! а что в Писании насчет терпенья-то сказано? В терпении, сказано, стяжите души ваши! в терпении — вот как! Бог-то, вы думаете, не видит? Нет, он все видит, милый друг маменька! Мы, может быть, и не подозреваем ничего, сидим вот: и так прикинем и этак примерим, — а он там уж и решил: дай, мол, пошлю я ей испытание! А-а-ах! а я-то думал, что вы, маменька, паинька!

Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что Порфишка-кровопивец только петлю закидывает, и потому окончательно рассердилась.

— Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь! — прикрикнула она на него. — Мать об деле говорит, а он — скоморошничает! Нечего зубы-то мне заговаривать! сказывай, какая твоя мысль! В Головлеве, что ли, его, у матери на шее, оставить хочешь?

— Точно так, маменька, если милость ваша будет. Оставить его на том же положении, как и теперь, да и бумагу насчет наследства от него вытребовать.

— Так... так... знала я, что ты это присоветуешь. Ну хорошо. Положим, что сделается по-твоему. Как ни несносно мне будет ненавистника моего всегда подле себя видеть, — ну, да, видно, пожалеть обо мне некому. Молода была — крест несла, а старухе и подавно от креста отказываться не след. Допустим это, будем теперь об другом говорить. Покуда мы с папенькой живы — ну, и он будет жить в Головлеве, с голоду не помрет. А потом как?

— Маменька! друг мой! Зачем же черные мысли?

— Черные ли, белые ли — подумать все-таки надо. Не молоденькие мы. Поколеем оба — что с ним тогда будет?

— Маменька! да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? в таких ли мы правилах вами были воспитаны?

И Порфирий Владимирович взглянул на нее одним из тех загадочных взглядов, которые всегда приводили ее в смущение.

«Закидывает!» — откликнулось в душе ее.

— Я, маменька, бедному-то еще с большею радостью помогу!

богатому что! Христос с ним! у богатого и своего довольно! А бедный — знаете ли, что Христос про бедного-то сказал!

Порфирий Владимырьч встал и поцеловал у маменьки ручку.

— Маменька! позвольте мне брату два фунта табаку подарить! — попросил он.

Арина Петровна не отвечала. Она смотрела на него и думала: неужто он в самом деле такой кровопивец, что брата родного на улицу выгонит?

— Ну, делай, как знаешь! В Головлеве так в Головлеве ему жить! — наконец сказала она. — Окружил ты меня кругом! опутал! начал с того: как вам, маменька, будет угодно! а под конец заставил-таки меня под свою дудку плясать! Ну, только слушай ты меня! Ненавистник он мне, всю жизнь он меня казнил да позорил, а наконец и над родительским благословением моим надругался, а все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти, — нет тебе моего благословения! Нет, нет и нет! Ступайте теперь оба к нему! чай, он и буркалы-то свои проглядел, вас высматриваячи!

Сыновья ушли, а Арина Петровна встала у окна и следила, как они, ни слова друг другу не говоря, переходили через красный двор к конторе, Порфиша беспрестанно снимал картуз и крестился, то на церковь, белевшуюся вдали, то на часовню, то на деревянный столб, к которому была прикреплена кружка для подаяний. Павлуша, по-видимому, не мог оторвать глаз от своих новых сапогов, на кончике которых так и переливались лучи солнца.

— И для кого я припасала! ночей недосыпала, куска недоедала... для кого? — вырвался из груди ее вопль.



Братцы уехали; головлевская усадьба запустела. С усиленною ревностью принялась Арина Петровна за прерванные хозяйственные занятия; притихла стукотня поварских ножей на кухне, но зато удвоилась деятельность в конторе, в амбарах, кладовых, погребах и т. д. Лето-припасуха приближалось к концу; шло варенье, соленье, приготовление впрок; отовсюду стекались запасы на зиму, из всех вотчин возами привозилась бабья натуральная повинность: сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это мерялось, принималось и присовокуплялось к запасам прежних годов. Недаром у головлевской барыни была выстроена целая линия погребов, кладовых и амбаров; все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было, ради гнилого запаха. Весь этот материал сортировался к концу лета, и та часть его, которая оказывалась ненадежною, сдавалась в застольную.

— Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко словно

поослизи, припахивают, ну, да уж пусть дворовые полакомятся,— говорила Арина Петровна, приказывая оставить то ту, то другую кадку.

Степан Владимыч удивительно освоился с своим новым положением. По временам ему до страсти хотелось «дерябнуть», «куликнуть» и вообще «закатиться» (у него, как увидим дальше, были даже деньги для этого), но он с самоотвержением воздерживался, словно рассчитывая, что «самое время» еще не наступило. Теперь он был ежеминутно занят, ибо принимал живое и суетливое участие в процессе припасания, бескорыстно радуясь и печалась удачам и неудачам головлевского скопидомства. В каком-то азарте пробирался он от конторы к погребам в одном халате, без шапки, хоронясь от матери позади деревьев и всевозможных клетушек, загромаждавших красный двор (Арина Петровна, впрочем, не раз замечала его в этом виде, и закипало-таки ее родительское сердце, чтоб Степку-балбеса хорошенько осадить, но, по размышлении, она махнула на него рукой), и там с лихорадочным нетерпением следил, как разгружались подводы, приносились с усадьбы банки, бочонки, кадушки, как все это сортировалось и, наконец, исчезало в зияющей бездне погребов и кладовых. В большей части случаев он оставался доволен.

— Сегодня рыжиков из Дубровина привезли две телеги — вот, брат, так рыжики! — в восхищении сообщал он земскому. — А мы уж думали, что на зиму без рыжиков останемся! Спасибо, спасибо дубровинцам! молодцы дубровинцы! выручили!

Или:

— Сегодня мать карасей в пруду наловить велела — ах, хороши старики! Больше чем в пол-аршина есть! Должно быть, мы всю эту неделю карасями питаться будем!

Иногда, впрочем, и печалился:

— Огурчики-то, брат, нынче не удались! Корявые да с пятнами — нет настоящего огурца, да и шабаш! Видно, прошлогодними будем питаться, а нынешние — в застольную, больше некуда!

Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его.

— Сколько, брат, она добра перегноила — страсть! Таскали нынче, таскали: солонину, рыбу, огурцы — все в застольную велела отдать! Разве это дело? разве расчет таким образом хозяйство вести! Свежего запаса пропасть, а она и не прикоснется к нему, покуда всей старой гнили не приест!

Уверенность Арины Петровны, что с Степки-балбеса какую угодно бумагу без труда требовать можно, оправдалась вполне. Он не только без возражений подписал все присланные ему матерью бумаги, но даже хвастался в тот же вечер земскому:

— Сегодня, брат, я всё бумаги подписывал. Отка́зные всё —

чист теперь! Ни плошки, ни ложки — ничего теперь у меня нет, да и впредь не предвидится! Успокоил старуху!

С братьями он расстался мирно и был в восторге, что теперь у него целый запас табаку. Конечно, он не мог воздержаться, чтоб не обозвать Порфишу кровопивушкой и Иудушкой, но выражения эти совершенно незаметно утонули в целом потоке болтовни, в которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощанье братцы расщедрились и даже дали денег, причем Порфирий Владимыч сопровождал свой дар следующими словами:

— Маслица в лампадку зандобится или богу свечечку поставить захочется — ан деньги-то и есть! Так-то, брат! Живи-ко, брат, тихо да смирно — и маменька будет тобой довольна, и тебе будет покойно, и всем нам весело и радостно. Мать — ведь она добрая, друг!

— Добрая-то добрая, — согласился и Степан Владимыч, — только вот солониной протухлой кормит!

— А кто виноват? кто над родительским благословением надругался? сам виноват, сам именице-то спустил! А именице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное именице! Вот кабы ты повел себя скромненько да ладненько, ел бы ты и говядинку и телятинку, а не то так и соусу бы приказал. И всего было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку... Так ли, брат, я говорю?

Если б Арина Петровна слышала этот диалог, наверно она не воздержалась бы, чтоб не сказать: ну, затарантила таранта! Но Степка-балбес именно тем и счастлив был, что слух его, так сказать, не задерживал посторонних речей. Иудушка мог говорить сколько угодно и быть вполне уверенным, что ни одно его слово не достигнет по назначению.

Одним словом, Степан Владимыч проводил братьев дружелюбно и не без самодовольства показал Якову-земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания.

— Теперь, брат, мне надолго станет! — сказал он. — Табак у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены, только вина не доставало — захотим, и вино будет! Впрочем, покуда еще придерживусь — времени теперь нет, на погреб бежать надо! Не присмотри крошечку — мигом растащат! А видела, брат, она меня, видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался! Стоит это у окна, смотрит, чай, на меня да думает: «То-то я огурцов не досчитываюсь, — ан вот оно что!»

Но вот наконец и октябрь на дворе; полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимой. Степану Владимычу некуда было выйти, потому что на ногах у него были заношенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат. Безвыход-

но сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молотба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе масленицы управиться со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении. Двери конторы уже не были отперты настежь, как летом, и в самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков.

Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимирыча картина трудовой деревенской осени и даже признавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи, под непрерывным ливнем дождя; но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков. С утра, чуть брезжил свет, уж весь горизонт был сплошь обложен ими; облака стояли словно застывшие, очарованные; проходил час, другой, третий, а они всё стояли на одном месте, и даже не заметно было ни малейшей перемены ни в колере, ни в очертаниях их. Вон это облако, что пониже и почернее других: и давеча оно имело разорванную форму (точно поп в рясе с распростертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков,— и теперь, в полдень, сохранило ту же форму. Правая рука, правда, покорооче сделалась, зато левая безобразно вытянулась, и льет из нее, льет так, что даже на темном фоне неба обозначилась еще более темная, почти черная полоса. Вон и еще облако подалее: и давеча оно громадным косматым комом висело над соседней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее — и теперь тем же косматым комом на том же месте висит, а лапы книзу протянуло, словно вот-вот спрыгнуть хочет. Облака, облака и облака — так весь день. Часов около пяти после обеда совершается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается, заволакивается и, наконец, совсем пропадает. Сначала облака исчезнут и все затянутся безразличной черной пеленою; потом куда-то пропадет лес и Нагловка; за нею утонет церковь, часовня, ближний крестьянский поселок, фруктовый сад, и только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких саженьях барскую усадьбу. В комнате уж совсем темно; в конторе еще сумерничают, не зажигают огня; остается только ходить, ходить, ходить без кон-

ца. Болезненная истома сковывает ум; во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление; одна только мысль мечется, сосет и давит — и эта мысль: «Гроб! гроб! гроб!» Вон эти точки, что давеча мелькали на темном фоне грязи, около деревенских гумен, — их эта мысль не гнетет, и они не погибнут под бременем уныния и истомы: они ежели и не борются прямо с небом, то по крайней мере барахтаются, что-то устроят, ограждают, ухичивают. Стоит ли ограждать и ухичивать то, над устройством чего они день и ночь выбиваются из сил, — это не приходило ему на ум, но он сознавал, что даже и эти безымянные точки стоят неизмеримо выше его, что он и барахтаться не может, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать.

Вечера он проводил в конторе, потому что Арина Петровна, по-прежнему, не отпускала для него свечей. Несколько раз просил он через бурмистра, чтоб прислали ему сапоги и полушубок, но получил ответ, что сапогов для него не припасено, а вот наступят заморозки, то будут ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылого в такой мере, чтоб он только не умер с голоду. Сначала он ругал мать, но потом словно забыл об ней; сначала он что-то припоминал, потом перестал и припоминать. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и тот опостылел ему, и он затворялся в своей комнате, чтоб остаться один на один с темнотою. Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимой силой тянул его к себе. Этот ресурс — напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтоб и выкарабкаться из нее было нельзя. Все увлекало его в эту сторону: и буйные привычки прошлого, и насильственная бездеятельность настоящего, и больной организм с удушливым кашлем, с несносною, ничем не вызываемою одышкой, с постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконец он не выдержал.

— Сегодня, брат, надо ночью штоф припасти, — сказал он однажды земскому голосом, не предвещавшим ничего доброго.

Сегодняшний штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратно каждую ночь напивался. В девять часов, когда в конторе гасили свет и люди расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней. Кругом все засыпало мертвым сном; только мыши скреблись за оставшими от стен обоями да часы назойливо чикали в конторе. Снявши халат, в одной рубашке, сновал он взад и вперед по жарко натопленной комнате, по временам останавливался, подходил к столу, нашаривал в темноте штоф и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасы-

вая в себя жгучую влагу; но мало-помалу биение сердца учащалось, голова загоралась — и язык начинал бормотать что-то несвязное. Притупленное воображение силилось создать какие-то образы, помертвелая память пробовала прорваться в область прошлого, но образы выходили разорванные, бессмысленные, а прошлое не откликалось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним и настоящей минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее в форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства и идея времени. Комната, печь, три окна в наружной стене, деревянная скрипучая кровать и на ней тонкий притоптанный тюфяк, стол с стоящим на нем штофом — ни до каких других горизонтов мысль не додумывалась. Но, по мере того как убывало содержание штофа, по мере того как голова распалялась, — даже и это скудное чувство настоящего становилось не под силу. Бормотанье, имевшее вначале хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось; зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно расширялись; самая тьма, наконец, исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное фосфорическим блеском. Это была бесконечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единым жизненным звуком, зловеще лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало; одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтоб даже пустоты этой не было. Еще несколько усилий — и он был у цели. Спотыкающиеся ноги из стороны в сторону носили онемевшее тело, грудь издавала не бормотанье, а хрип, самое существование как бы прекращалось. Наступало то странное оцепенение, которое, нося на себе все признаки отсутствия сознательной жизни, вместе с тем несомненно указывало на присутствие какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо от каких бы то ни было условий. Стоны за стонами вырывались из груди, нимало не нарушая сна; органический недуг продолжал свою разъедающую работу, не причиняя, по-видимому, физических болей.

Утром он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались: тоска, отвращение, ненависть. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная, ненависть к чему-то неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза бессмысленно останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и пристально смотрят; руки и ноги дрожат; сердце то замрет, словно вниз покатится, то начнет колотить с такою силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желания. Перед глазами печка — и мысль до того переполняется этим представлением, что не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило печку, окно, окно, окно... Не нужно ничего, ничего, ничего не нуж-

но. Трубка набивается и закуривается машинально и, недокуренная, опять выпадает из рук; язык что-то бормочет, но, очевидно, только по привычке. Самое лучшее — сидеть и молчать, молчать и смотреть в одну точку. Хорошо бы опохмелиться в такую минуту; хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствие жизни, но днем ни за какие деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тех блаженных минут, когда земля исчезает из-под ног и вместо четырех постылых стен перед глазами открывается беспредельная светящаяся пустота.

Арина Петровна не имела ни малейшего понятия о том, как «балбес» проводит время в конторе. Случайный проблеск чувства, мелькнувший было в разговоре с кровопивцем Порфишкой, погас мгновенно, так что она и не заметила. С ее стороны не было даже систематического образа действия, а было простое забвение. Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни. Как сама она, раз войдя в колею жизни, почти машинально наполняла ее одним и тем же содержанием, так, по мнению ее, должны были поступать и другие. Ей не приходило на мысль, что самый характер жизненного содержания изменяется сообразно с множеством условий, так или иначе сложившихся, и что, наконец, для одних (и в том числе для нее) содержание это представляет нечто излюбленное, добровольно избранное, а для других — постылое и невольное. Поэтому хотя бурмистр неоднократно докладывал ей, что Степан Владимыч «нехорош», но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя в ее уме никакого впечатления. Много-много если она отвечала на них стереотипною фразой:

— Небось, отдышится, еще нас с тобой переживет! Что ему, жеребцу долговязому, делается! Кашляет! иной сряду тридцать лет кашляет, и все равно что с гуся вода!

Тем не менее, когда ей однажды утром доложили, что Степан Владимыч ночью исчез из Головлева, она вдруг пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый. Первое, что поразило ее, — это стоявший на столе штоф, на дне которого еще плескалось немного жидкости и который впопыхах не догадались убрать.

— Это что? — спросила она, как бы не понимая.

— Стало быть... занимались, — отвечал, заминаясь, бурмистр.

— Кто доставал? — начала было она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр.

Комната была грязна, черна, заслякощена так, что даже ей, не знавшей и не признававшей никаких требований комфорта, сде-

лалось неловко. Потолок был закопчен, обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями, подоконники чернели под густым слоем табачной золы, подушки валялись на полу, покрытом липкою грязью, на кровати лежала скомканная простыня, вся серая от насевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была выставлена, или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено приотворенным: этим путем, очевидно, и исчез постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворе стоял уж ноябрь в начале, но осень в этот год была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дорога и поля — все стояло черное, размокшее, невылазное. Как он прошел? Куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да туфель, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставаяючи шел дождь.

— Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала! — молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, тютюна и прокислых овчин.

Весь день, покуда люди шарили по лесу, она простояла у окна, с тупым вниманием вглядываясь в обнаженную даль. Из-за балбеса да такая кутерьма! — ей казалось, что это какой-то нелепый сон. Говорила тогда, что надо его в вологодскую деревню сослать, — так нет, лебезит проклятый Иудушка: оставьте, маменька, в Головлеве! — вот и купайся теперь с ним! Жил бы он там заглазно, как хотел — и Христос бы с ним! Свое дело сделала: один кусок промотал — другой выбросила! А другой бы промотал — ну, и не прогневайся, батюшка! Бог — и тот на ненасытную утробу не напасется! И все бы у нас было смирно да мирно, а теперь — легко ли, штуку какую удрал! ищи его по лесу да свищи! Хорошо еще, как живого в дом привезут — ведь с пьяных-то глаз и в петлю угодить недолго! Взял веревку, зацепил за сук, обмотал кругом шеи, да и был таков! Мать ночей не досыпала, куска не доедала, а он, на-тко, какую моду выдумал — вешаться вздумал! И добро бы худо ему было, есть-пить бы не давали, работой бы изнуряли — а то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел да пил, ел да пил! Другой бы не знал, чем мать отблагодарить, а он вешаться вздумал — вот так одолжил сынок любезный!

Но на этот раз предположения Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. К вечеру в виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадей, и подвезла беглеца к конторе. Он находился в полубесчувственном состоянии, весь избитый, порезанный, с посинелым и распухшим лицом. Оказалось, что за ночь он дошел до Дубровинской усадьбы, отстоявшей в двадцати верстах от Головлева.

Целые сутки после того он проспал, на другие — проснулся.

По обыкновению, он начал шагать назад и вперед по комнате, но к трубке не прикоснулся, словно позабыл, и на все вопросы не проронил ни одного слова. С своей стороны, Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть было не приказала перевести его из конторы в барский дом, но потом успокоилась и опять оставила балбеса в конторе, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное белье, повесить на окна шторы и проч. На другой день вечером, когда ей доложили, что Степан Владимырьч проснулся, она велела позвать его в дом к чаю и даже отыскала ласковые тоны для объяснения с ним.

— Ты куда ж это от матери уходил? — начала она. — Знаешь ли, как ты мать-то беспокоил? Хорошо еще, что папенька ни об чем не узнал — каково бы ему было при его-то положении?

Но Степан Владимырьч, по-видимому, остался равнодушным к материнской ласке и уставился неподвижными, стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовывался на фитиле.

— Ах, дурачок, дурачок! — продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее, — хоть бы ты подумал, какая через тебя про мать слава пойдет! Ведь завистников-то у ней — слава богу! и невесть что наплетут! Скажут, что и не кормила-то и не одевала-то... ах, дурачок, дурачок!

То же молчание и тот же неподвижный, бессмысленно устремленный в одну точку взор.

— И чем тебе худо у матери стало! Одет ты и сыт — слава богу! И теплехонько тебе и хорошохонько... чего бы, кажется, искать! Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой, — на то и деревня! Веселиев да балов у нас нет — и все сидим по углам да скучаем! Вот я и рада была бы поплясать да песни попеть — ан посмотришь на улицу, и в церковь-то Божию в этакую мокрыеть ехать охоты нет!

Арина Петровна остановилась, в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит; но балбес словно окаменел. Сердце мало-помалу закипает в ней, но она все еще сдерживается.

— А ежели ты чем недоволен был — кушанья, может быть, не достало или из белья там, — разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить — неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и винца — ну, захотелось тебе винца, ну и Христос с тобой! Рюмка, две рюмки — неужто матери жалко? А то на-тко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были все льстивые слова: Степан Владимырьч не только не расчувствовался (Арина Петровна надеялась, что он ручку у ней поцелует) и не обнаружил раскаяния, но даже как будто ничего не слышал.

С этих пор он безусловно замолчал. По целым дням ходил по комнате, наморщив угрюмо лоб, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, как бы желая что-то выразить, но не находил слова. По-видимому, он не утратил способности мыслить; но впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же забывал их. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала в нем даже нетерпения. Арина Петровна, с своей стороны, думала, что он непременно подожжет усадьбу.

— Целый день молчит! — говорила она. — Ведь думает же, балбес, об чем-нибудь, покуда молчит! вот помяните мое слово, ежели он усадьбы не спалит!

Но балбес просто совсем не думал. Казалось, он весь погрузился в безрассветную мглу, в которой нет места не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. Словно черное облако окутало его с головы до ног, и он всматривался в него, в него одного, следил за его воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал и словно оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и умственный мир...

В декабре того же года Порфирий Владимирович получил от Арины Петровны письмо следующего содержания:

«Вчера утром постигло нас новое, ниспосланное от господ испытание: сын мой, а твой брат, Степан, скончался. Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал, а наутро найден в постеле мертвым — такова сей жизни скоротечность! И что всего для материнского сердца прискорбнее: так, без напутствия, и оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного.

Сие да послужит нам всем уроком: кто семейными узами небрежет — всегда должен для себя такого конца ожидать. И неудачи в сей жизни, и напрасная смерть, и вечные мучения в жизни следующей — все из сего источника происходит. Ибо, как бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаем, то оные как раз и высокоумие и знатность нашу в ничто обратят. Таковы правила, кои всякий живущий в сем мире человек затвердить должен, а рабы, сверх того, обязаны почитать господ.

Впрочем, несмотря на сие, всё почести отшедшему в вечность были отданы сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец архимандрит соборне. Сорокоусты же и поминовения и поднесь совершаются, как следует, по христианскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смею, и вам, дети мои, не советую. Ибо — кто может сие знать? — мы здесь ропщем, а его душа в горних увеселяется!»

ПО-РОДСТВЕННОМУ

Жаркий июльский полдень. На Дубровинской барской усадьбе словно все вымерло. Не только досужие, но и рабочие люди разбрелись по углам и улеглись в тень. Собаки раскинулись под навесом громадной ивы, стоящей посреди красного двора, и слышно, как они хлопают зубами, ловя в полусне мух. Даже деревья стоят понурые и неподвижные, точно замученные. Все окна, как в барском доме, так и в людских, отворены настежь. Жар так и окачивает сверху горячей волной; земля, покрытая коротенькой, опаленной травой, пылает; нестерпимый свет, словно золотистой дымкой, задернул окрестность, так что с трудом можно различать предметы. И барский дом, когда-то выкрашенный серой краской, а теперь побелевший, и маленький палисадник перед домом, и березовая роща, отделенная от усадьбы проезжей дорогой, и пруд, и крестьянский поселок, и ржаное поле, начинающееся сейчас за околицей, — все тонет в светящейся мгле. Всякие запахи, начиная с благоуханий цветущих лип и кончая миазмами скотного двора, густой массой стоят в воздухе. Ни звука. Только с кухни доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающее неизменную окрошку и битки за обедом.

Внутри господского дома царствует бесшумная тревога. Старуха барыня и две молодые девушки сидят в столовой и, не притрогиваясь к вязанью, брошенному на столе, словно застыли в ожидании. В девичьей две женщины занимаются приготовлением горчичников и примочек, и мерное звяканье ложек, подобно крику сверчка, прорезывается сквозь общее оцепенение. В коридоре осторожно двигаются девчонки на босу ногу, перебегая по лестнице из антресолей в девичью и обратно. По временам сверху раздается крик: «Что ж горчичники? заснули? а?» — и вслед за тем стрелой промчится девчонка из девичьей. Наконец слышится скрип тяжелых шагов по лестнице, и в столовую входит полковой доктор. Доктор — человек высокий, широкоплечий, с крепкими, румяными щеками, которые так и прыщут здоровьем. Голос у него звонкий, походка твердая, глаза светлые и веселые, губы полные, сочные, вид открытый. Это жуир в полном смысле слова, несмотря на свои пятьдесят лет, жуир, который и прежде не отступал и долго еще не отступит ни перед какой попойкой, ни перед каким объедением. Одет по-летнему, щеголем, в пикейный сюртучок необычайной белизны, украшенный светлыми гербовыми пуговицами. Он входит, причмокивая губами и присасывая языком.

— Вот что, голубушка, принеси-ка ты нам водочки да закусить что-нибудь! — отдает он приказание, останавливаясь в дверях, ведущих в коридор.

— Ну что? как? — тревожно спрашивает старуха барыня.

— У бога милостей без конца, Арина Петровна! — отвечает доктор.

— Как же это? стало быть...

— Да так же. Денька два-три протянет, а потом — шабаш!

Доктор делает многозначительный жест рукою и вполголоса мурлыкает: «*Кувырком, кувырком, ку-выр-ком по-ле-тит!*»

— Как же это так? лечили-лечили доктора — и вдруг!

— Какие доктора?

— Земский наш да вот городской приезжал.

— Доктора!! кабы ему месяц назад заволоку здоровенную соорудить — был бы жив!

— Неужто ж так-таки ничего и нельзя?

— Сказал: у бога милостей много, а больше ничего прибавить не могу.

— А может быть, и подействует?

— Что подействует?

— А вот, что теперь... горчичники эти...

— Может быть-с.

Женщина, в черном платье и в черном платке, приносит поднос, на котором стоят графин с водкой и две тарелки с колбасой и икрой. При появлении ее разговор смолкает. Доктор наливает рюмку, высматривает ее на свет и щелкает языком.

— За ваше здоровье, маменька! — говорит он, обращаясь к старухе барыне и проглатывая водку.

— На здоровье, батюшка!

— Вот от этого самого Павел Владимирыч и погибает в цвете лет — от водки от этой! — говорит доктор, приятно морщась и тыкая вилкой в кружок колбасы.

— Да, много через нее людей пропадает.

— Не всякий эту жидкость вместить может — оттого! А так как мы вместить можем, то и повторим! Ваше здоровье, сударыня!

— Кушайте, кушайте! вам — ничего!

— Мне — ничего! у меня и легкие, и почки, и печенка, и селезенка — всё в исправности. Да, бишь! вот что! — обращается он к женщине в черном платье, которая приостановилась у дверей, словно прислушиваясь к барскому разговору. — Что у вас нынче к обеду готовлено?

— Окрошка, да битки, да цыплята на жаркое, — отвечает женщина, как-то кисло улыбаясь.

— А рыба соленая у вас есть?

— Как, сударь, рыбы не быть! осетрина есть, севрюжина... Найдется рыбы — довольно!

— Так скомандуй ты нам к обеду ботвиньи с осетринкой... звеньшко, знаешь, да пожирнее! как тебя: Улитушкой, что ли, звать?

— Улитой, сударь, люди зовут.

— Ну, так живо, Улитушка, живо!

Улитушка уходит; на минуту водворяется тяжелое молчание. Арина Петровна встает с своего места и высматривает в дверь, точно ли Улитушка ушла.

— Насчет сироток-то говорили ли вы ему, Андрей Осипыч? — спрашивает она доктора.

— Разговаривал-с.

— Ну, и что ж?

— Все одно и то же-с. Вот как выздоровею, говорит, непременно и духовную и векселя напишу.

Молчание, еще более тяжелое, водворяется в комнате. Девушки берут со стола канвовые работы, и руки их с заметною дрожью выделывают шов за швом; Арина Петровна как-то безнадежно вздыхает; доктор ходит по комнате и насвистывает: «Кувырком, ку-вы-ы-рком!»

— Да вы бы хорошенько ему сказали!

— Чего еще лучше: подлец, говорю, будешь, ежели сирот не обеспечишь. Да, мамашечка, опростоволосились вы! Кабы месяц тому назад вы меня позвали, я бы и заволоку ему соорудил, да и насчет духовной постарался бы... А теперь все Иудушке, законному наследнику, достанется... непременно!

— Бабушка! что ж это такое будет! — почти сквозь слезы жалуется старшая из девиц. — Что ж это дядя с нами делает!

— Не знаю, милая, не знаю. Вот даже насчет себя не знаю. Сегодня — здесь, а завтра — уж и не знаю где... Может быть, бог приведет где-нибудь в сарайчике ночевать, а может быть, и у мужичка в избе!

— Господи! какой этот дядя глупый! — восклицает младшая из девиц.

— А вы бы, молодая особа, язычок-то на привязи придержали! — замечает доктор и, обращаясь к Арине Петровне, прибавляет: — Да что ж вы сами, мамашечка! сами бы уговорить его попробовали!

— Нет, нет, нет! Не хочет! даже видеть меня не хочет! Намеднись сунулась было я к нему: напутствовать, что ли, меня пришли? говорит.

— Я думаю, что это все больше Улитушка... она его против вас настраивает.

— Она! именно она! И все Порфишке-кровопивцу передает! Сказывают, что у него и лошади в хомутах целый день стоят, на случай, ежели брат отходить начнет! И представьте, на днях она даже мебель, вещи, посуду — все переписала: на случай, дескать, чтобы не пропало чего! Это она нас-то, нас-то воровками представить хочет!

— А вы бы ее по-военному... Кувырком, знаете, кувырком...

Но не успел доктор развить свою мысль, как в комнату вбежала вся запыхавшаяся девчонка и испуганным голосом крикнула:
— К барину! доктора барин требует!

Семейство, которое выступает на сцену в настоящем рассказе, уже знакомо нам. Старуха барыня — не кто иная, как Арина Петровна Головлева; умирающий владелец Дубровинской усадьбы — ее сын, Павел Владимирович; наконец, две девушки, Аннинька и Любинька — дочери покойной Анны Владимировны Улановой, той самой, которой некогда Арина Петровна «выбросила кусок». Прошло не больше десяти лет с тех пор, как мы видели их, а положения действующих лиц до того изменились, что не осталось и следа тех искусственных связей, благодаря которым головлевская семья представлялась чем-то вроде неприступной крепости. Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, как это случилось, сделалась соучастницею и даже явным двигателем этого разрушения, настоящею душою которого был, разумеется, Порфишка-кровопивец.

Из бесконтрольной и бранчивой обладательницы головлевских имений Арина Петровна сделалась скромною приживалкой в доме младшего сына, приживалкой праздною и не имеющею никакого голоса в хозяйственных распоряжениях. Голова ее поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, поступь сделалась вялою, порывистость движений пропала. От нечего делать она научилась, на старости лет, вязанию, но и оно не спорится у ней, потому что мысль ее постоянно где-то витает, — где? — она и сама не всегда разберет, но, во всяком случае, не около вязальных спиц. Посидит, повяжет несколько минут — и вдруг руки сами собой опустятся, голова откинется на спинку кресел, и начнет она припоминать... Припоминает, припоминает, покуда старческая дремота не охватит всего старческого существа. Или встанет и начнет бродить по комнатам и все чего-то ищет, куда-то заглядывает, словно женщина, которая всю жизнь была в ключах и не понимает, где и как она их потеряла.

Первый удар власти Арины Петровны был нанесен не столько отменой крепостного права, сколько теми приготовлениями, которые предшествовали этой отмене. Сначала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии — все это изнуряло, посеяло смуту. Воображение Арины Петровны, и без того богатое творчеством, рисовало ей целые массы пустяков. То вдруг вопрос представится: «Как это я Агашку звать буду? чай, Агафьюшкой... а может, и Агафьей Федоровной величать придется!» То представится: ходит она по пустому дому, а людишки в людскую

забрались и жрут! Жрать надоест — под стол бросают! То покажется, что заглянула она в погреб, а там Юлька с Фёшкой так-то за обе щеки уписывают, так-то уписывают! Хотела было она реприманд им сделать — и поперхнулась. «Как ты им что-нибудь скажешь! теперь они вольные, на них, поди, и суда нет!»

Как ни ничтожны такие пустяки, но из них постепенно создается целая фантастическая действительность, которая втягивает в себя всего человека и совершенно парализует его деятельность. Арина Петровна как-то вдруг выпустила из рук бразды правления и в течение двух лет только и делала, что с утра до вечера восклицала:

— Хоть бы одно что-нибудь — пан либо пропал! а то: первый призыв! второй призыв! ни богу свеча, ни черту кочерга!

В это время, в самый развал комитетов, умер и Владимир Михайлыч. Умер примиренный, умиротворенный, отрекшись от Баркова и всех дел его. Последние слова его были:

— Благодарю моего бога, что не допустил меня, наряду с холопами, предстать перед лицом свое!

Слова эти глубоко запечатлелись в восприимчивой душе Арины Петровны, и смерть мужа, вместе с фантазмагориями будущего, наложила какой-то безнадежный колорит на весь головлевский обиход. Как будто и старый головлевский дом и все живущее в нем — все разом собралось умереть.

Порфирий Владимирович, по немногим жалобам, вылившимся в письмах Арины Петровны, с изумительной чуткостью отгадал сумятицу, овладевшую ее помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на божью помощь, «которая, по нынешнему легковерному времени, и рабов не оставляет, а тем паче тех, кои, по достаткам своим, надежнейшей опорой для церкви и ее украшения были». Иудушка инстинктом понял, что ежели маменька начинает уповать на бога, то это значит, что в ее существовании кроется некоторый изъян. И он воспользовался этим изъяном с свойственною ему лукавою ловкостью.

Перед самым концом эмансипационного дела он совсем неожиданно посетил Головлево и нашел Арину Петровну унывающей, почти измученною.

— Что? как? что в Петербурге поговаривают? — был первый ее вопрос по окончании взаимных приветствий.

Порфиша потупился и сидел молча.

— Нет, ты в мое положение войди! — продолжала Арина Петровна, поняв из молчания сына, что хорошего ждать нечего. — Теперь у меня одних поганок в девичьей тридцать штук сидит — как с ними поступить? Ежели они на моем иждивении останутся — чем я их кормить стану? Теперь у меня и капуста, и картофельцу, и хлеба — всего довольно, ну, и питаемся понемногу!

Картофельцу нет — велишь капустки сварить; капустки нет — огурчиками извернешься! А ведь тогда я сама за всем на базар побеги, да за все денежки заплати, да купи да подай — где на такую ораву напасешься!

Порфиша глядел милому другу маменьке в глаза и горько улыбался в знак сочувствия.

— Ежели же их на все на четыре стороны выпустят: бегите, мол, милые, вытаращивши глаза! — ну, уж не знаю! Не знаю! не знаю! не знаю, что из этого выйдет!

Порфиша ухмыльнулся, как будто ему и самому очень уж смешно показалось, «что из этого выйдет».

— Нет, ты не смейся, мой друг! Это дело так серьезно, так серьезно, что разве уж господь им разуму прибавит — ну, тогда... Скажу хоть бы про себя: ведь и я не огрызок; как-никак, а и меня пристроить ведь надобно. Как тут поступить? Ведь мы какое воспитание-то получили? Потанцевать, да попеть, да гостей принять — что я без поганок-то без своих делать буду? Ни я подать, ни принять, ни сготовить для себя — ничего ведь я, мой друг, не могу!

— Бог милостив, маменька!

— Был милостив, мой друг, а нынче, нет! Милостив, милостив, а тоже с расчетцем: были мы хороши — и нас царь небесный жаловал; стали дурны — ну, и не прогневайтесь! Уж я что думаю: не бросить ли все за добра-ума! Право! выстрою себе избушку около папенькиной могилки, да и буду жить да поживать!

Порфирий Владимирыч наострил уши; на губах его показалась слюна.

— А именьями кто же распоряжаться будет? — возразил он осторожно, словно закидывая удочку.

— Не погневайтесь, и сами распорядитесь! Слава богу — припасла! Не все мне одной тяготы носить...

Арина Петровна вдруг словно споткнулась и подняла голову. В глаза ее бросилось ослабляющееся, слюнявое лицо Иудушки, все словно маслом подернутое, все проникнутое каким-то плотоядным внутренним сиянием.

— Да ты, никак, уж хоронить меня собрался! — сухо заметила она. — Не рано ли, голубчик! не ошибись!

Таким образом, на первый раз дело кончилось ничем. Но есть разговоры, которые, раз начавшись, уже не прекращаются. Через несколько часов Арина Петровна вновь возвратилась к прерванной беседе.

— Уеду к Сергию-троице, — мечтала она, — разделю имение, куплю на посаде домичек — и заживу!

Но Порфирий Владимирыч, искушенный давешним опытом, на этот раз смолчал.

— Прошлого года, как еще покойник папенька был жив, —

продолжала мечтать Арина Петровна, — сидела я у себя в спальне одна и вдруг слышу, словно мне кто шепчет: съезди к чудотворцу! съезди к чудотворцу! съезди к чудотворцу!.. да ведь до трех раз! Я этак, знаешь, обернулась — нет никого! Однако думаю: ведь это — видение мне! Что ж, говорю, коли моя вера угодна богу — я готова! И только что я это выговорила, как вдруг это в комнате... такое благоухание! такое благоухание разлилось! Разумеется, сейчас же велела укладываться, а к вечеру уж в дороге была!

У Арины Петровны даже слезы на глазах выступили. Иудушка воспользовался этим, чтоб поцеловать у маменьки ручку, причем позволил себе даже обнять ее за талию.

— Вот теперь вы — паинька! — сказал он. — Ах! хорошо, голубушка, коли кто с богом в ладу живет! И он к богу с молитвой, и бог к нему с помощью. Так-то, добрый друг маменька!

— Поймай! Я еще не все досказала! Приезжаю я на другой день вечером в посад, и прямо — к угоднику. А там всенощная: поют, свечи горят, благоухание от кадил — и не знаю, где я, на земле или на небеси! Пошла я от всенощной к иеромонаху Ионе и говорю: чтой-то, ваше высокопреподобие, больно у вас сегодня хорошо в храме! А он мне: «Чего, сударыня! ведь нынче отцу Аввакуму видение за всенощной было! Только что начал он руки на молитву заводить — смотрит, ан в самом кумполе свет, и голубь на него смотрит!» Вот с этих пор я себе и положила: какова пора ни мера, а конец жизни у Сергия-троицы пожить!

— А об нас-то кто позаботится? об детях-то ваших кто похлопочет? Ах, маменька, маменька!

— Ну, не маленькие, и сами об себе промыслите! А я... удалюсь я с Аннушкиными сиротками к чудотворцу и заживу у него под крылышком! Может быть, и из них у которой-нибудь явится желание богу служить, так тут и Хотьков рукой подать! Куплю себе домичек, огородец вскопаю; капустки, картофельцу — всего у меня довольно будет!

Несколько дней сряду велся этот праздный разговор; несколько раз делала Арина Петровна самые смелые предположения, брала их назад и опять делала, но, наконец, довела дело до такой точки, что и отступить уж было нельзя. Не далее, как через полгода после Иудушкиной побывки, положение дел было следующее: Арина Петровна не уехала ни к Сергию-троице, ни в домик у могилки мужа, а имение разделила, оставив при себе только капитал. При этом Порфирию Владимирычу была выделена лучшая часть, а Павлу Владимирычу — похуже.

Арина Петровна осталась, по-прежнему, в Головлеве, причем, разумеется, не обошлось без семейной комедии. Иудушка пролил

слезы и умолил доброго друга маменьку управлять его имением безотчетно, получать с него доходы и употреблять по своему усмотрению, «а что вы мне, голубушка, из доходов уделите, я всем, даже малостью, буду доволен». Напротив того, Павел поблагодарил мать холодно («точно укусить хотел»), тотчас же вышел в отставку («так, без материнского благословения, как оглашенный, и выскочил на волю!») и поселился в Дубровине.

С этих пор на Арину Петровну нашло затмение. Тот внутренний образ Порфишки-кровопивца, который она когда-то с такою редкою проницательностью угадывала, вдруг словно туманом задернулся. Казалось, она ничего больше не понимала, кроме того, что, несмотря на раздел имения и освобождение крестьян, она по-прежнему живет в Головлеве и по-прежнему ни перед кем не отчитывается. Тут же, под боком, живет другой сын — но какая разница! Тогда как Порфиша и себя и семью — все вверил маменькиному усмотрению, Павел не только ни об чем с ней не советуется, но даже при встречах как-то сквозь зубы говорит!

И чем больше затмевался ее рассудок, тем больше раскипалось в ней сердце ревностью к ласковому сыну. Порфирий Владимирыч ничего у ней не просил — она сама шла навстречу его желаниям. Мало-помалу она начала находить недостатки в фигуре головлевских дач. В таком-то месте чужая земля врезывалась в дачу — хорошо было бы эту землю прикупить; в таком-то месте можно бы хуторок отдельный устроить, да покосцу мало, а тут, го смежности, и покосец продажный есть — ах, хорош покос! Арина Петровна увлекалась и как мать и как хозяйка, желающая выставить во всем блеске свои способности перед ласковым сыном. Но Порфирий Владимирыч словно в непроницаемую скорлупу схоронился. Напрасно Арина Петровна соблазняла его покупками — на все ее предложения приобрести такой-то лесок или такой-то покосец он неизменно отвечал: «Я, добрый друг маменька, и тем доволен, что вы, по милости вашей, мне пожаловали».

Ответы эти только разжигали Арину Петровну. Увлекаясь, с одной стороны, хозяйственными задачами, с другой — полемическими соображениями относительно «подлеца Павлушки», который жил подле и знать ее не хотел, она совершенно утратила представление о своих действительных отношениях к Головлеву. Прежняя горячка приобретения с новою силою овладела всем ее существом, но приобретения уже не за свой собственный счет, а за счет любимого сына. Головлевское имение разрослось, округлилось и зацвело.

И вот, в ту самую минуту, когда капитал Арины Петровны до того умалился, что сделалось почти невозможным самостоятельное существование на проценты с него, Иудушка, при самом почтительном письме, прислал ей целый тюк форм счетоводства,

которые должны были служить для нее руководством на будущее время, при составлении годовой отчетности. Тут, рядом с главными предметами хозяйства, стояли: малина, крыжовник, грибы и т. д. По всякой статье был особенный счет приблизительно следующего содержания:

К 18** году состояло кустов малины . . .	00
К сему поступило вновь посаженных . . .	00
С наличного числа кустов собрано ягод . .	00 п. 00 ф. 00 зол.
Из сего числа:	
Вами, милый друг маменька, употреблено . .	00 п. 00 ф. 00 зол.
Израсходовано на варенье для дома Его Пре- восходительства Порфирия Владимирыча Го- ловлева	00 п. 00 ф. 00 зол.
Дано мальчику N в награду за добронравие .	1 ф.
Продано простому народу на лакомство . .	00 п. 00 ф. 00 зол.
Сгнило, по неимению в виду покупателей, а рав- но и от других причин	00 п. 00 ф. 00 зол.
И т. д. И т. д.	

Примечание. В случае ежели урожай отчетного года менее против прошлого года, то здесь должны быть объясняемы причины сего, как-то: засуха, дожди, град и проч.

Арина Петровна так и ахнула. Во-первых, ее поразила ску-
пость Иудушки: она никогда и не слыхивала, чтоб крыжовник мог
составлять в Головлеве предмет отчетности, а он, по-видимому,
на этом предмете всего больше и настаивал; во-вторых, она очень
хорошо поняла, что все эти формы не что иное, как конституция,
связывающая ее по рукам и по ногам.

Кончилось дело тем, что, после продолжительной полеми-
ческой переписки, Арина Петровна, оскорбленная и негодующая,
перебралась в Дубровино, а вслед за тем и Порфирий Владими-
рыч вышел в отставку и поселился в Головлеве.

С этих пор для старухи начался ряд мутных дней, посвя-
щенных насильственному покою. Павел Владимирыч, как чело-
век, лишенный поступков, был как-то особенно придирчив в отно-
шении к матери. Он принял ее довольно сносно, то есть обязался
кормить и поить ее и сирот-племянниц, но под двумя условия-
ми: во-первых, не ходить к нему на антресоли и, во-вторых, не
вмешиваться в распоряжения по хозяйству. Последнее условие
в особенности волновало Арину Петровну. Всем в доме Павла
Владимирыча заправляли: во-первых, ключница Улитушка, жен-
щина ехидная и уличенная в секретной переписке с кровопивцем
Порфишкой, и, во-вторых, бывший папенькин камердинер Ки-
рюшка, ничего не смысливший в полеводстве и ежедневно чи-
тавший Павлу Владимирычу холуйского свойства поучения. Оба
крали немилосердно. Сколько раз болело сердце Арины Пет-
ровны при виде господствовавшего в доме расхищения! сколько

раз порывалась она предупредить, раскрыть сыну глаза насчет чая, сахару, масла! Всего этого выходили массы, и неоднократно Улитушка, нимало не стесняясь присутствием старухи барыни, даже в глазах ее, прятала в карман целые пригоршни сахару. Арина Петровна видела все это и должна была оставаться безмолвной свидетельницей расхищения. Потому что, едва разевала она рот, чтобы заметить что-нибудь, как Павел Владимырьч в ту же минуту ее осаживал.

— Маменька! — говорил он, — надобно, чтоб кто-нибудь один в доме распоряжался! Это не я говорю, все так поступают. Я знаю, что мои распоряжения глупые, ну и пусть будут глупые. А ваши распоряжения умные — ну и пусть будут умные! Умны вы, даже очень умны, а Иудушка все-таки без угла вас оставил!

К довершению всего Арина Петровна сделала ужасное открытие: Павел Владимырьч пил. Страсть эта въелась в него крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, и, наконец, получила то страшное развитие, которое должно было привести к неизбежному концу. В первое время, когда в доме поселилась мать, он как будто еще совестился; довольно часто сходил с антресолей вниз и разговаривал с матерью. Замечая, как путается его язык, Арина Петровна долго думала, что это происходит от глупости. Она не любила, когда он приходил «разговаривать», и считала эти разговоры большим для себя притеснением. В самом деле, он постоянно и как-то нелепо роптал. То дождя по целым неделям нет, то вдруг такой зарядит, словно с цепи сорвется; то жук одолел, все деревья в саду обглодал; то крот появился, все луга изрыл. Все это представляло неистощимый источник для ропота. Сойдет, бывало, с антресолей, сядет против матери и начнет:

— Кругом тучи ходят — Головлево далеко ли? у кровопивца вчера проливной был! — а у нас нет да и нет! Ходят тучки, похаживают кругом — и хоть бы те капля на наш пай!

Или:

— Ишь льет-поливает! рожь только что зацвела, а он знай поливает! Половину сена уж сгноили, а он прыскает да попрыскивает! Головлево далеко ли? кровопивец давно с поля убрался, а мы сиди-посиди! Придется скотину зимой гнилым сеном кормить!

Молчит-молчит Арина Петровна, слушая глупые речи, но иногда не вытерпит и молвит:

— Ты бы побольше руки сложа сидел!

Не успеет она это вымолвить, как Павел Владимырьч уж и взбеленился.

— А вы что ж мне прикажете делать? В Головлево дождик, что ли, перевести?

— Не дождик, а вообще...

— Нет, вы скажите, что, по-вашему, делать мне нужно? Не «вообще», а прямо... Климат, что ли, я для вас переменить должен? Вот в Головлеве: нужен был дождик — и был дождик; не нужно дождя — и нет его! Ну, и растет там все... А у нас — все напротив! вот посмотрим, как-то вы станете разговаривать, как есть нечего будет!

— Стало быть, божья воля такова...

— Так вы так и говорите, что божья воля! А то «вообще» — вот какое объяснение нашли!

Иногда дело доходило до того, что он даже собственностью отягощался.

— И зачем только это Дубровино мне досталось? — жаловался он. — Что в нем?

— Чем же Дубровино не усадьба! земля хорошая, всего довольно... И что тебе вдруг вздумалось!

— А то и вздумалось, что, по нынешнему времени, совсем собственности иметь не надо! Деньги — это так! Деньги взял, положил в карман и удрал с ними! А недвижимость эта...

— Да что ж это за время такое за особенное, что уж и собственности иметь нельзя?

— А такое время, что вы вот газет не читаете, а я читаю. Нынче адвокаты везде пошли — вот и понимайте. Узнает адвокат, что у тебя собственность есть, — и почнет кружить!

— Как же он тебя кружить будет, коль скоро у тебя праведные документы есть?

— Так и будет кружить, как кружат. Или вот Порфишка-кровопивец: наймет адвоката, а тот и будет тебе повестку за повесткой присылать!

— Что ты! не бессудная, чай, земля?

— Оттого и будут повестки присылать, что не бессудная. Кабы бессудная была, и без повесток бы отняли, а теперь с повестками. Вон у товарища моего, у Горлопятова, дядя умер, а он возьми да сдуру и прими после него наследство! Наследства-то оказался грош, а долгов — на сто тысяч: векселя, да всё фальшивые. Вот и судят его третий год сряду: сперва дядино имение обрали, а потом и его собственное с аукциону продали! Вот тебе и собственность!

— Неужто такой закон есть?

— Кабы не было закона — не продали бы. Стало быть, всякий закон есть. У кого совести нет, для того все законы открыты, а у кого есть совесть, для того и закон закрыт. Поди, отыскивай его в книге-то!

Арина Петровна всегда уступала в этих спорах. Не раз ее подмывало крикнуть: вон с моих глаз, подлец! но подумает-подумает, да и смолчит. Только разве про себя поропщет:

— Господи! и в кого я этаких извергов уродила! Один —

кровопивец, другой — блаженный какой-то! Для кого я припала! ночей недосыпала, куска недоедала... для кого?!

И чем больше овладевал Павлом Владимировичем запой, тем фантастичнее и, так сказать, внезапнее становились его разговоры. Наконец Арина Петровна начала замечать, что тут есть что-то неладное. Например: с утра в шкафчик, в столовой, ставится полный графин водки, а к обеду уж ни капли в нем нет. Или: сидит она в гостиной и слышит какой-то таинственный скрип, происходящий в столовой, около заветного шкафчика; крикнет: «Кто там?» — и слышит, что чьи-то шаги быстро, но осторожно удаляются по направлению к антресолям.

— Матушки! да, никак, он у вас пьет! — спросила она однажды Улитку.

— Занимаются-с, — отвечала та, язвительно улыбаясь.

Убедившись, что мать отгадала его, Павел Владимирович окончательно перестал церемониться. В одно прекрасное утро шкафчик совсем исчез из столовой, и на вопрос Арины Петровны, куда он девался, Улитка отвечала:

— На антресоли перенести приказали; там им свободнее заниматься будет.

Действительно, на антресолях графинчики следовали друг за другом с изумительной быстротой. Уединившись с самим собой, Павел Владимирович возненавидел общество живых людей и создал для себя особенную, фантастическую действительность. Это был целый глупо героический роман, с превращениями, исчезновениями, внезапными обогащениями, роман, в котором главными героями были: он сам и кровопивец Порфишка. Он сам не сознавал вполне, как глубоко залегла в нем ненависть к Порфишке. Он ненавидел его всеми помыслами, всеми внутренностями, ненавидел беспрестанно, ежеминутно. Словно живой, метался перед ним этот паскудный образ, а в ушах раздавалось слезно-лицемерное пустословие Иудушки, пустословие, в котором звучала какая-то сухая, почти отвлеченная злоба ко всему живому, не подчиняющемуся кодексу, созданному преданием лицемерия. Павел Владимирович пил и припоминал. Припоминал все обиды и унижения, которые ему приходилось вытерпеть благодаря претензии Иудушки на главенство в доме. В особенности же припоминал раздел имения, рассчитывал каждую копейку, сравнивал каждый клочок земли — и ненавидел. В разгоряченном вине воображении создавались целые драмы, в которых вымещались все обиды и в которых обидчиком являлся уже он, а не Иудушка. То будто выиграл он двести тысяч и приезжает сообщить об этом Порфишке (целая сцена с разговорами), у которого от зависти даже перекосило лицо. То будто умер дедушка (опять сцена с разговорами, хотя никакого дедушки не было), ему оставил миллион, а Порфишке-кровопивцу — шиш. То будто он изобрел сред-

ство делаться невидимкой и через это получил возможность творить Порфишке такие пакости, от которых тот начинает стонать. В изобретении этих проказ он был неистощим, и долго нелепый хохот оглашал антресоли, к удовольствию Улитушки, спешившей уведомить о происходящем братца Порфирия Владимирыча.

Он ненавидел Иудушку и в то же время боялся его. Он знал, что глаза Иудушки источают чарующий яд, что голос его, словно змей, заползает в душу и парализует волю человека. Поэтому он решительно отказался от свиданий с ним. Иногда кровопивец приезжал в Дубровино, чтоб поцеловать ручку у доброго друга маменьки (он выгнал ее из дому, но почтительности не прекращал), — тогда Павел Владимирыч запирали антресоли на ключ и сидел взаперти все время, покуда Иудушка калякал с маменькой.

Таким образом шли дни за днями, покуда наконец Павел Владимирыч не очутился лицом к лицу с смертным недугом.

Доктор переночевал «для формы» и на другой день, рано утром, уехал в город. Оставляя Дубровино, он высказал прямо, что больному остается жить не больше двух дней и что теперь поздно думать об каких-нибудь «распоряжениях», потому что он и фамилии путем подписать не может.

— Подпишет он вам «обмокни» — потом и с судом, пожалуй, не разделаетесь, — прибавил он. — Ведь Иудушка хоть и очень маменьку уважает, а дело о подлоге всё-таки начнет, и ежели по закону мамашеньку в места не столь отдаленные ушлют, так ведь он только молебен в путь шествующим отслужит!

Арина Петровна целое утро ходила как в отупении. Попробовала было встать на молитву — не внушит ли что бог? — но и молитва на ум не шла, даже язык как-то не слушался. Начнет: *Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей*, и вдруг, сама не знает как, съедет на от лукавого. «Очисти! очисти!» — машинально лепечет язык, а мысль так и летает: то на антресоли заглянет, то на погреб зайдет («сколько добра по осени было — всё растащили!»), то начнет что-то припоминать — далекое-далекое. Всё сумерки какие-то, и в этих сумерках люди, много людей, и все они копошутся, стараются, припасают. *Блажен муж... блажен муж... яко кадило... научи мя... научи мя...* Но вот и язык мало-помалу смяк, глаза смотрят на образа и не видят; рот раскрыт широко, руки сложены на поясе, и вся она стоит неподвижно, словно застыла.

Наконец она села и заплакала. Слезы так и лились из потухших глаз по старческим засохшим щекам, задерживаясь в углублениях морщин и капая на замасленный ворот старой ситцевой блузы. Это было что-то горькое, полное безнадежности и вместе с тем бессильно строптивное. И старость, и немощи, и беспомощ-

ность положения — все, казалось, призывало ее к смерти, как к единственному примиряющему исходу, но в то же время замешивалось и прошлое с его властью, довольством и простором, и воспоминания этого прошлого так и впивались в нее, так и притягивали ее к земле. «Умереть бы!» — мелькало в ее голове, а через мгновение то же слово сменялось другим: «Пожить бы!» Она не вспоминала ни об Иудушке, ни об умирающем сыне — оба они словно перестали существовать для нее. Ни об ком она не думала, ни на кого не негодовала, никого не обвиняла; она даже забыла, есть ли у нее капитал и достаточен ли он, чтоб обеспечить ее старость. Тоска, смертная тоска охватила все ее существо. Тошно! горько! — вот единственное объяснение, которое она могла бы дать своим слезам. Эти слезы пришли издалека; капля по капле копились они с той самой минуты, как она выехала из Головлева и поселилась в Дубровине. Ко всему, что теперь предстояло, она была уж приготовлена, все она ожидала и предвидела, но ей никогда как-то не представлялось с такою ясностью, что этому ожидаемому и предвиденному должен наступить конец. И вот теперь этот конец наступил, конец, полный тоски и безнадёжного одиночества. Всю-то жизнь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, а оказывается, что убивалась над призраком. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нее с языка; во имя семьи она одних казнила, других награждала; во имя семьи она подвергала себя лишениям, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь — и вдруг выходит, что семьи-то именно у нее и нет!

«Господи! да неужто ж и у всех так!» — вертелось у нее в голове.

Она сидела, опершись головой на руку и обратив обмоченное слезами лицо навстречу поднимающемуся солнцу, как будто говорила ему: видь!! Она не стонала и не кляла, а только потихоньку всхлипывала, словно захлебывалась слезами. И в то же время на душе у ней так и горело:

«Нет никого! нет никого! нет! нет! нет!»

Но вот иссякли и слезы. Умывши лицо, она без цели побрела в столовую, но тут девицы осадил ее новыми жалобами, которые на этот раз показались ей как-то особенно назойливыми.

— Что ж это, бабушка, будет! Неужто ж мы так без ничего и останемся! — роптала Аннинька.

— Какой этот дядя глупый! — вторила ей Любинька.

Около полудня Арина Петровна решилась проникнуть к умирающему сыну. Осторожно, чуть ступая, взошла она по лестнице и ощупью отыскала впотьмах двери, ведущие в комнаты. На антресолях царствовали сумерки; окна занавешены были зелеными шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался свет; давно не возобновляемая атмосфера комнат пропиталась противною смесью разнородных запахов, в составлении которой участвова-

ли и ягоды, и пластыри, и лампадное масло, и те особенные миазмы, присутствие которых прямо говорит о болезни и смерти. Комнат было всего две: в первой сидела Улитушка, чистила ягоды и с ожесточением сдувала мух, которые шумным роем вились над ворохами крыжовника и нахально садились ей на нос и на губы. Сквозь полуотворенную дверь из соседней комнаты, не переставая, доносился сухой и короткий кашель, от времени до времени разрешающийся мучительною экспекторацией. Арина Петровна остановилась в нерешительной позе, вглядываясь в сумерки и как бы выжидая, что предпримет Улитушка в виду ее прихода. Но Улитушка даже не шевельнулась, словно была уже слишком уверена, что всякая попытка подействовать на больного останется бесплодною. Только сердитое движение скользнуло по ее губам, и Арине Петровне послышалось произнесенное шепотом слово «черт».

— Ты бы, голубушка, вниз пошла! — обратилась Арина Петровна к Улитушке.

— Это еще что за новости! — огрызнулась последняя.

— Мне с Павлом Владимирычем говорить нужно. Ступай!

— Помилуйте, сударыня! как же я их оставляю? А ежели что вдруг случится — ни подать, ни принять.

— Что там? — раздалось глухо из спальни.

— Прикажи, мой друг, Улите уйти. Мне с тобой переговорить нужно.

На этот раз Арина Петровна действовала настолько настойчиво, что осталась победительницей. Она перекрестилась и вошла в комнату. Около внутренней стены, подальше от окон, стояла постель больного. Он лежал на спине, покрытый белым одеялом, и почти бессознательно дымил папироской. Несмотря на табачный дым, мухи с каким-то ожесточением налетали на него, так что он беспрестанно то той, то другой рукой проводил около лица. Это были руки до такой степени бессильные, лишённые мускулов, что ясно представляли очертания кости, почти одинаково узкой от кисти до плеча. Голова его как-то безнадежно прильнула к подушке, лицо и все тело горели в сухом жару. Большие круглые глаза ввалились и смотрели беспредметно, как бы чего-то искали; нос вытянулся и заострился, рот был полуоткрыт. Он не кашлял, но дышал с такою силой, что, казалось, вся жизненная энергия сосредоточилась в его груди.

— Ну что? как ты сегодня себя чувствуешь? — спросила Арина Петровна, опускаясь в кресло у его ног.

— Ничего... завтра... то бишь сегодня... когда это лекарь у нас был?

— Сегодня был лекарь.

— Ну, значит, завтра...

Больной заметался, как бы силясь припомнить слово.

— Встать можно будет? — подсказала Арина Петровна.—
Дай бог, мой друг, дай бог!

Оба замолкли на минуту. Арине Петровне хотелось сказать что-то, но для того, чтоб сказать, нужно было разговаривать. Вот этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была с глазу на глаз с Павлом Владимычем.

— Иудушка... живет? — спросил наконец сам больной.

— Что ему делается! живет да поживает.

— Чай, думает: вот братец Павел умрет — и еще, по милости божией, именьице мне достанется!

— И все когда-нибудь умрем, и после всех именья пойдут...
законным наследникам...

— Только не кровопивцу. Собакам выброшу, а не ему!

Случай выходил отличный: сам Павел Владимыч заговаривал. Арина Петровна не преминула воспользоваться этим.

— Надо бы подумать об этом, мой друг! — сказала она, словно мимоходом, не глядя на сына и рассматривая на свет руки, точно они составляли в эту минуту главный предмет ее внимания.

— Об чем «об этом»?

— А вот хоть бы насчет того, если ты не желаешь, чтоб брату именье твое осталось...

Больной молчал. Только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдело.

— Можно бы, друг мой, и то в соображение взять, что у тебя племянницы-сироты есть — какой у них капитал? Ну, и мать тоже... — продолжала Арина Петровна.

— Всё Иудушке спустить успели?

— Как бы то ни было... Знаю, что сама виновата... Да ведь и не бог знает какой грех... Думала тоже, что сын... Да и тебе бы можно не попомнить этого матери.

Молчание.

— Что же! скажи хоть что-нибудь!

— А вы как скоро собираетесь меня хоронить?

— Не хоронить, а все-таки... И прочие христиане... Не все сейчас умирают, а вообще...

— То-то «вообще»! Вы всегда «вообще»! Думаете, что я и не вижу!

— Что же ты видишь, мой друг?

— А то и вижу, что вы меня за дурака считаете! Ну, и положим, что я дурак, и пусть буду дурак! зачем же приходите к дураку? и не приходите! и не беспокойтесь!

— Я и не беспокоюсь; я только вообще... что всякому человеку предел жизни положен...

— Ну и ждите!

Арина Петровна понурила голову и раздумывала. Она очень хорошо видела, что дело ее стоит плохо, но безнадежность будущего до того терзала ее, что даже очевидность не могла убедить в бесплодности дальнейших попыток.

— Не знаю, за что ты меня ненавидишь! — произнесла она наконец.

— Нисколько... я вас... нисколько! Я даже очень... Помилуйте! вы нас так вели... всех ровно...

Он говорил это порывисто, захлебываясь; в звуках голоса слышался какой-то надорванный и в то же время торжествующий хохот; в глазах показались искры; плечи и ноги беспокойно вздрагивали.

— Может, я и в самом деле чем-нибудь провинилась, так уж прости Христа ради!

Арина Петровна встала и поклонилась, коснувшись рукой до земли. Павел Владимирович закрыл глаза и не отвечал.

— Положим, что насчет недвижности... Это точно, что в теперешнем твоём положении нечего и думать, чтобы распоряжения делать... Порфирий — законный наследник, ну, пускай ему недвижность и достаётся... А движимость, а капитал как? — решила прямо объяснить Арина Петровна.

Павел Владимирович вздрогнул, но молчал. Очень возможно, что при слове «капитал» он совсем не об инсинуациях Арины Петровны помышлял, а просто ему подумалось: вот и сентябрь на дворе, проценты получать надобно... шестьдесят семь тысяч шестьсот на пять помножить да на два потом разделить — сколько это будет?

— Ты, может быть, думаешь, что я смерти твоей желаю, так разуверься, мой друг! Ты только живи, а мне, старухе, и горюшка мало! Что мне! мне и тепленько, и сытенько у тебя, и даже ежели из сладенького чего-нибудь захочется — всё у меня есть! Я только насчет того говорю, что у христиан обычай такой есть, чтобы в ожидании предбудущей жизни...

Арина Петровна остановилась, словно искала подходящего слова.

— Присных своих обеспечивать, — dokonчила она, смотря в окно.

Павел Владимирович лежал неподвижно и потихоньку откашливался, ни одним движением не выказывая, слушает он или нет. По-видимому, причитания матери надоели ему.

— Капитал-то можно бы при жизни из рук в руки передать, — молвила Арина Петровна, как бы вскользь бросая предположение и вновь принимаясь рассматривать на свет свои руки.

Больной чуть-чуть дрогнул, но Арина Петровна не заметила этого и продолжала:

— Капитал, мой друг, и по закону к перемещению допускается. Потому это вещь наживная: вчера он был, сегодня — нет его. И никто в нем отчета не может спрашивать — кому хочу, тому и отдаю.

Павел Владимирович вдруг как-то зло засмеялся.

— Палочкина историю, должно быть, вспомнили! — зашипел он. — Тот тоже *из рук в руки* жене капитал отдал, а она с любовником убежала!

— У меня, мой друг, любовников нет!

— Так без любовника убежите... с капиталом!

— Как ты, однако, меня понимаешь!

— Никак я вас не понимаю... Вы на весь свет меня дураком прославили — ну, и дурак я! И пусть буду дурак! Смотрите, какие штуки-фигуры придумали — капитал им из рук в руки передай! А сам что? — в монастырь, что ли, прикажете мне спастись идти да оттуда глядеть, как вы моим капиталом распоряжаться будете?

Он выговорил все это залпом, злобствуя и волнуясь, и затем совсем изнемог. В продолжение по крайней мере четверти часа после того он кашлял во всю мочь, так что было даже удивительно, что этот жалкий человеческий остов еще заключает в себе столько силы. Наконец он отдышался и закрыл глаза.

Арина Петровна потерянно оглядывалась кругом. До сих пор ей все как-то не верилось, теперь она окончательно убедилась, что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества Иудушки. Иудушка так и мелькал перед ее глазами. Вот он идет за гробом, вот отдает брату последнее Иудино лобзание, и две паскудные слезинки вытекли из его глаз. Вот и гроб опустили в землю. «Прррощай, брат!» — восклицает Иудушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести, и вслед за тем обращается вполоборота к Улитушке и говорит: «Кутью-то, кутью-то не забудьте в дом взять! да на чистенькую скатертьцу поставьте... братца опять в доме помянуть!» Вот кончился и поминальный обед, во время которого Иудушка без устали говорит с батюшкой об добродетелях покойного и встречает со стороны батюшки полное подтверждение этих похвал. «Ах, брат! брат! не захотел ты с нами пожить!» — восклицает он, выходя из-за стола и протягивая руку ладонью вверх под благословение батюшки. Вот наконец все, слава богу, наелись и даже выпались после обеда; Иудушка расхаживает хозяином по комнатам дома, принимает вещи, заносит в опись и по временам подозрительно взглядывает на мать, ежели в чем-нибудь встречает сомнение.

Все эти неизбежные сцены будущего так и металась перед глазами Арины Петровны. И как живой звенел в ее ушах маслянисто-пронзительный голос Иудушки, обращенный к ней:

— А помните, маменька, у брата золотенькие запоночки были... хорошенькие такие, еще он их по праздникам надевал... и куда только эти запоночки девались — ума приложить не могу!

Не успела Арина Петровна сойти вниз, как на бугре у дубровинской церкви показалась коляска, запряженная четверней. В коляске, на почетном месте, восседал Порфирий Головлев без шапки и крестился на церковь; против него сидели два его сына: Петенька и Володенька. У Арины Петровны так и захолонуло сердце: «Почуяла Лиса Патрикевна, что мертвечиной пахнет!» — подумалось ей; девицы тоже струсили и как-то беспомощно жалась к бабушке. В доме, до сих пор тихом, вдруг поднялась тревога: захлопали двери, забежали люди, раздались крики: «Барин едет! барин едет!» — и все население усадьбы разом высыпало на крыльцо. Одни крестились, другие просто стояли в выжидательном положении, но все, очевидно, сознавали, что то, что до сих пор происходило в Дубровине, было лишь временное, что только теперь наступает настоящее, заправское, с заправским хозяином во главе. Многим из старых, заслуженных дворовых выдавалась при «прежнем» барине месячина; многие держали коров на барском сене, имели огороды и вообще жили «свободно»; всех, естественно, интересовал вопрос, оставит ли «новый» барин старые порядки или заменит их новыми, головлевскими.

Иудушка между тем подъехал и по сделанной ему встрече уже заключил, что в Дубровине дело идет к концу. Не торопясь вышел он из коляски, замахал руками на дворовых, бросившихся барину к ручке, потом сложил обе руки ладонями внутрь и начал медленно взбираться по лестнице, шепотом произнося молитву. Лицо его в одно и то же время выражало и скорбь и твердую покорность. Как человек, он скорбел; как христианин — роптать не осмеливался. Он молился «о ниспослании», но больше всего уповал и покорялся воле провидения. Сыновья, в паре, шли сзади его. Володенька передразнивал отца, то есть складывал руки, закатывал глаза и шевелил губами; Петенька наслаждался представлением, которое давал брат. За ними, безмолвной гурьбой, следовал кортеж дворовых.

Иудушка поцеловал маменьку в ручку, потом в губы, потом опять в ручку; потом потрепал милого друга за талию и, грустно покачав головою, произнес:

— А вы всё унываете! Нехорошо это, друг мой! ах, как плохо! А вы бы спросили себя: что, мол, бог на это скажет? Скажет: «Вот я в премудрости своей все к лучшему устрою, а она ропщет!» Ах, маменька! маменька!

Потом перецеловал обеих племянниц и с тою же пленительною родственностью в голосе сказал:

— И вы, стрекозы, туда же в слезы! чтоб у меня этого не было! Извольте сейчас улыбаться — и дело с концом!

И он затопал на них ногами или, лучше сказать, делал вид, что топает, но, в сущности, только благосклонно шутил.

— Посмотрите на меня! — продолжал он. — Как брат — я скорблю! Не раз, может быть, и всплакнул... Жаль брата, очень, даже до слез жаль... Всплакнешь, да и опомнишься: а бог-то на что! Неужто бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак — и ободрись. Так-то и всем поступать надо! И вам, маменька, и вам, племяннушки, и вам... всем! — обратился он к прислуге. — Посмотрите на меня, каким я молодцом хожу!

И он с тою же пленительностью представил из себя «молодца», то есть выпрямился, отставил одну ногу, выпятил грудь и откинул назад голову. Все улыбнулись, но кисло как-то, словно всякий говорил себе: ну, пошел теперь паук паутину ткать!

Окончив представление в зале, Иудушка перешел в гостиную и вновь поцеловал у маменьки ручку.

— Так так-то, милый друг маменька! — сказал он, усаживаясь на диване. — Вот и брат Павел...

— Да, и Павел... — потихоньку отозвалась Арина Петровна.

— Да, да, да... раненько бы! раненько! Ведь я, маменька, хоть и бодрюсь, а в душе тоже... очень-очень об брате скорблю! Не любил меня брат, крепко не любил — может, за это бог и посылает ему!

— В такую минуту можно бы и забыть про это! Старые-то дразги оставить надо...

— Я, маменька, давно позабыл! Я только к слову говорю: не любил меня брат, а за что — не знаю! Уж я ли, кажется... и так и сяк, и прямо и стороной, и «голубчик» и «братец» — пятится от меня, да и шабаш! Ан бог-то взял да невидимо к своему пределу и приурочил!

— Говорю тебе: нечего поминать об этом! Человек на ладан уж дышит!

— Да, маменька, великая это тайна — смерть! Не вёсте ни дня ни часа — вот это какая тайна! Вот он всё планы планировал, думал, уж так высоко, так высоко стоит, что и рукой до него не достанешь, а бог-то разом, в одно мгновение, все его мечтания опроверг. Теперь бы он, может, и рад грешки свои поприкрыть — ан они уж в книге живота записаны значатся. А из этой, маменька, книги, что там записано, нескоро выскоблишь!

— Чай, раскаянье-то приемлется!

— Желаю! от души брату желаю! Не любил он меня, а я — желаю! Я всем добра желаю! и ненавидящим и обидящим — всем! Несправедлив он был ко мне — вот бог болезнь ему послал, не я, а бог! А много он, маменька, страдает?

— Так себе... Ничего. Доктор был, даже надежду подал,— солгала Арина Петровна.

— Ну, вот как хорошо! Ничего, мой друг! не огорчайтесь! может быть, и отдышится. Мы-то здесь об нем сокрушаемся да на создателя ропщем, а он, может быть, сидит себе тихохонько на постельке да бога за исцеленье благодарит!

Эта мысль до того понравилась Иудушке, что он даже полегоньку хихикнул.

— А ведь я к вам, маменька, погостить приехал,— продолжал он, словно делая маменьке приятный сюрприз,— нельзя, голубушка... по-родственному! Не ровён случай — все же, как брат... и утешить, и посоветовать, и распорядиться... ведь вы позволите?

— Какие я позволения могу давать! сама здесь гостья!

— Ну, так вот что, голубушка. Так как сегодня у нас пятница, так уж вы прикажете, если ваша такая милость будет, мне постненького к обеду изготовить. Рыбки там, что ли, соленькой, грибков, капустки — мне ведь немного нужно! А я между тем по-родственному... на антресоли к брату поплетусь — может быть, и успею. Не для тела, так для души что-нибудь полезное сделаю. А в его положении душа-то, пожалуй, поважнее. Тело-то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можем, а для души лекарства поосновательнее нужны.

Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвратимости «конца» до такой степени охватила все ее существо, что она в каком-то оцепенении присматривалась и прислушивалась ко всему, что происходило кругом нее. Она видела, как Иудушка, побрякивая, встал с дивана, как он сгорбился, зашаркал ногами (он любил иногда притвориться немощным: ему казалось, что так почтнее); она понимала, что внезапное появление кровопивца на антресолях должно глубоко взволновать больного и, может быть, даже ускорить развязку; но после волнений этого дня на нее напала такая усталость, что она чувствовала себя точно во сне.

Покуда это происходило, Павел Владимирович находился в неописанной тревоге. Он лежал на антресолях совсем один и в то же время слышал, что в доме происходит какое-то необычное движение. Всякое хлопанье дверьми, всякий шаг в коридоре отзывались чем-то таинственным. Некоторое время он звал и кричал во всю мочь, но, убедившись, что крики бесполезны, собрал все силы, приподнялся на постели и начал прислушиваться. После общей беготни, после громкого говора голосов вдруг наступила мертвая тишина. Что-то неизвестное, страшное обступило его со всех сторон. Дневной свет сквозь опущенные гардины лился скупо, и так как в углу, перед образом, теплилась лампадка, то сумерки, наполнявшие комнату, казались еще темнее и гуще.

В этот таинственный угол он и уставился глазами, точно в первый раз его поразило нечто в этой глубине. Образ в золоченом окладе, в который непосредственно ударяли лучи лампадки, с какою-то изумительной яркостью, словно что-то живое, выступал из тьмы; на потолке колебался светящийся кружок, то вспыхивая, то бледнея, по мере того как усиливалось или слабело пламя лампадки. Внизу господствовал полусвет, на общем фоне которого дрожали тени. На той же стене, около освещенного угла, висел халат, на котором тоже колебались полосы света и тени, вследствие чего казалось, что он движется. Павел Владимирыч всматривался-всматривался, и ему почудилось, что там, в этом углу, все вдруг задвигалось. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина — и посреди этого тени, целый рой теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут... В неопisanном ужасе, раскрыв глаза и рот, он глядел в таинственный угол и не кричал, а стонал. Стонал глухо, порывисто, точно лаял. Он не слышал ни скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате — как вдруг у его постели выросла ненавистная фигура Иудушки. Ему померещилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась; что там есть и еще, и еще... тени, тени, тени без конца! Идут, идут...

— Зачем? откуда? кто пустил? — инстинктивно крикнул он, бессильно опускаясь на подушку.

Иудушка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой.

— Больно? — спросил он, сообщая своему голосу ту степень елейности, какая только была в его средствах.

Павел Владимирыч молчал и бессмысленными глазами уставился в него, словно усиливался понять. А Иудушка тем временем приблизился к образу, стал на колени, умилился, сотворил три земных поклона, встал и вновь очутился у постели.

— Ну, брат, вставай! Бог милости прислал! — сказал он, садясь в кресло, таким радостным тоном, словно и в самом деле «милость» у него в кармане была.

Павел Владимирыч наконец понял, что перед ним не тень, а сам кровопивец во плоти. Он как-то вдруг съежился, как будто знобить его начало. Глаза Иудушки смотрели светло, по-родственному, но больной очень хорошо видел, что в этих глазах скрывается «петля», которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло.

— Ах, брат, брат! какая ты бяка сделался! — продолжал подшучивать по-родственному Иудушка. — А ты возьми да и прибодрись! Встань, да и побег! Трусом-трусом — пусть-ка, мол, маменька полюбуется, какими мы молодцами стали! Фу-ты! ну-ты!

— Иди, кровопивец, вон! — отчаянно крикнул больной.

— А-а-ах! брат, брат! Я к тебе с лаской да с утешением, а ты... какое ты слово сказал! А-а-ах, грех какой! И как это язык у тебя, дружок, повернулся, чтоб этакое слово родному брату сказать! стыдно, голубчик, даже очень стыдно... Пстой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю!

Иудушка встал и ткнул в подушку пальцем.

— Вот так! — продолжал он. — Вот теперь славно! Лежи себе хорошохонько — хоть до завтра поправлять не нужно!

— Уйди... ты!

— Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила! Даже характер в тебе — и тот какой-то строптивый стал! Уйди да уйди — ну, как я уйду! Вот тебе испытать захочется — я водички подам; вон лампадка не в исправности — я и лампадочку поправлю, масла деревяненького подолью. Ты полежишь, я посижу; тихо да смирно — и не увидим, как время пройдет!

— Уйди... кровопивец!

— Вот ты меня бранишь, а я за тебя богу помолюсь. Я ведь знаю, что ты это не от себя, а болезнь в тебе говорит. Я, брат, привык прощать — я всем прощаю. Вот и сегодня — еду к тебе, встретился по дороге мужичок и что-то сказал. Ну и что ж! и Христос с ним! он же свой язык осквернил! А я... да не только я не рассердился, а даже перекрестил его, право!

— Ограбил... мужика?..

— Кто? я-то! Нет, мой друг, я не граблю; это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем лугу поймал — ну, и ступай, голубчик, к мировому! Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется, — и бог с ним! А скажет, что травить не дозволяется, — нечего делать! штраф пожалуйста! По закону я, голубчик, по закону!

— Иуда! предатель! мать по миру пустил!

— И опять-таки скажу: хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дело ты говоришь. И если б я не был христианин, я бы тоже... попретендовать за это на тебя мог!

— Пустил, пустил, пустил... мать по миру!

— Ну, перестань же, перестань! Вот я богу помолюсь: может быть, ты и попокойнее будешь...

Как ни сдерживал себя Иудушка, но ругательства умирающего до того его проняли, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию. С последними словами он действительно стал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнивши это, он возвратился к постели умирающего с лицом успокоенным, почти ясным.

— А ведь я, брат, об деле с тобой поговорить приехал, — сказал он, усаживаясь в кресло. — Ты меня вот бранишь, а я об

душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз утешение принял?

— Господи! да что ж это... уведите его! Улитка! Агашка! Кто тут есть? — стонал больной.

— Ну, ну, ну! успокойся, голубчик! знаю, что ты об этом говорить не любишь! Да, брат, всегда ты дурным христианином был и теперь таким же остаешься. А не худо бы, ах, как бы не худо в такую минуту об душе-то подумать! Ведь душа-то наша... ах, как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг! Церковь-то что нам предписывает? Приносите, говорит, моления, благодарения... А еще: христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны — вот что, мой друг! Послать бы тебе теперь за батюшкой, да искренно, с раскаяньем... Ну-ну! не буду! не буду! А право бы так...

Павел Владимирыч лежал весь багровый и чуть не задыхался. Если б он мог в эту минуту разбить себе голову, он несомненно сделал бы это.

— Вот и насчет имения — может быть, ты уж и распорядился? — продолжал Иудушка. — Хорошенькое, очень хорошенькое именьеце у тебя — нечего сказать. Земля даже лучше, чем в Головлеве: с песочком суглиночек-то! Ну и капитал у тебя... я ведь, брат, ничего не знаю. Знаю только, что ты крестьян на выкуп отдал, а что и как — никогда я этим не интересовался. Вот и сегодня; еду к тебе и говорю про себя: должно быть, у брата Павла капитал есть! а впрочем, думаю, если и есть у него капитал, так уж, наверное, он насчет его распоряжение сделал!

Больной отвернулся и тяжело вздыхал.

— Не сделал? — ну и тем лучше, мой друг! По закону — оно даже справедливее. Ведь не чужим, а своим же присным достанется. Я вот на что уж хил — одной ногой в могиле стою! а все-таки думаю: зачем же мне распоряжение делать, коль скоро закон за меня распорядиться может. И ведь как это хорошо, голубчик! Ни свары, ни зависти, ни кляуз... закон!

Это было ужасно. Павлу Владимирычу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит словно скованный, в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевелинуть и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его.

— Уйди... ради Христа... уйди! — начал он наконец молить своего мучителя.

— Ну-ну-ну! успокойся! уйду! Знаю, что ты меня не любишь... стыдно, мой друг, очень стыдно родного брата не любить! Вот я так тебя люблю! И детям всегда говорю: хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю! Так ты, значит, не делал распоряжений — и прекрасно, мой друг! Бывает, впрочем, иногда, что и при жизни капитал растащат, особенно кто без родных, один... ну, да уж я попригляжу... А? что? на-

доел я тебе? Ну, ну, так и быть, уйду! Дай только богу помолюсь!

Он встал, сложил ладони и наскоро пошептал.

— Прощай, друг! не беспокойся! Почивай себе хорошохонько — может, и даст бог! А мы с маменькой потолкуем да поговорим — может быть, что и попридумаем! Я, брат, постненького себе к обеду изготовить просил... рыбки солененькой, да грибков, да капуста — так ты уж меня извини! Что? или опять надоел? Ах, брат, брат!.. ну-ну, уйду, уйду! Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя — спи себе да почивай! Хрр... хрр... — шутливо поддразнил он в заключение, решаясь наконец уйти.

— Кровопивец! — раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло.

Покуда Порфирий Владимырьч растабарывает на антресолях, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокруг себя молодежь (не без цели что-нибудь выведать) и беседует с нею.

— Ну, ты как? — обращается она к старшему внуку, Петеньке.

— Ничего, бабушка, вот на будущий год в офицеры выйду.

— Выйдешь ли? который уж ты год обещаешь! Экзамены, что ли, у вас трудные — бог тебя знает!

— Он, бабушка, на последних экзаменах из «Начатков» срезался. Батюшка спрашивает: что есть бог? а он: бог есть дух... и есть дух... и святому духу...

— Ах, бедный ты, бедный! как же это ты так? Вот они, сироты, — и то, чай, знают!

— Еще бы! бог есть дух, невидимый... — спешит блеснуть своими познаниями Аннинька.

— Его же никто же не виде нигде же, — перебивает Любинька.

— Всеведущий, всеблагий, всемогущий, вездесущий, — продолжает Аннинька.

— Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бегу? аще взыду на небо — тамо еси, аще сниду во ад — тамо еси...

— Вот и ты бы так отвечал, — с эполетами теперь был бы. А ты, Володя, что с собой думаешь?

Володя багровеет и молчит.

— Тоже, видно: «и святому духу»! Ах, детки, детки! На вид какие вы шустрые, а никак науку преодолеть не можете. И добро бы отец у вас баловник был... что, как он теперь с вами?

— Все то же, бабушка.

— Колотит? А я ведь слышала, что он перестал драться-то?

— Меньше, а все-таки... А главное, надоедает уж очень.

— Этого я что-то уж и не понимаю. Как это отец надоедать может?

— Очень, бабушка, надоедает. Ни уйти без спросу нельзя, ни взять что-нибудь... совсем подлость!

— А вы бы спрашивались! язык-то, чай, не отвалится!

— Нет уж. С ним только заговори, он потом и не отвяжется. Постой да погоди, потихоньку да полегоньку... уж очень, бабушка, скучно он разговаривает!

— Он, бабушка, за нами у дверей подслушивает. Только на днях его Петенька и накрыл...

— Ах вы, проказники! Что ж он?

— Ничего. Я ему говорю: «Это не дело, папенька, у дверей подслушивать; пожалуй, недолго и нос вам расквасить!» А он: «Ну-ну! ничего, ничего! я, брат, яко тать в нощи!»

— Он, бабушка, на днях яблоко в саду поднял да к себе в шкаф и положил, а я взял да и съел. Так он потом искал его, искал, всех людей к допросу требовал...

— Что это! скуп, что ли, он очень сделался?

— Нет, и не скуп, а так как-то... пустяками все занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет...

— Он всякое утро проскомидию у себя в кабинете служит, а потом нам по кусочку просвиры дает... черствой-пречерствой! Только мы однажды с ним штуку сделали: подсмотрели, где у него просвиры лежат, надрезали в просвиरे дно, вынули мякиш да чухонского масла и положили!

— Однако ж вы тоже... головорезы!

— Нет, вы представьте на другой день его удивление! Просвира да еще с маслом!

— Чай, на порядках досталось вам!

— Ничего... Только целый день плевался и все словно про себя говорил: шельмы! Ну, мы, разумеется, на свой счет не приняли. А ведь он, бабушка, вас боится!

— Чего меня бояться... не пугало, чай!

— Боится — это верно; думает, что вы проклянете его. Он этих проклятиев — страх как трусит!

Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль: а что, ежели и в самом деле... прокляну? Так-таки возьму да и прокляну... пррокліннаю!! Потом на смену этой мысли поступает другой, более насущный вопрос: что-то Иудушка? какие-то проделки он там, наверху, проделывает? так, чай, и извивается! Наконец ее осеняет счастливая мысль.

— Володя! — говорит она, — ты, голубчик, легонький! сходил бы потихоньку да подслушал бы, что у них там?

— С удовольствием, бабушка.

Володенька на цыпочках направляется к дверям и исчезает в них.

— Как это вы к нам сегодня надумали? — начинает Арина Петровна допрашивать Петеньку.

— Мы, бабушка, давно собирались, а сегодня Улитушка прислала с нарочным сказать, что доктор был и что не нынче, так завтра дядя непременно умереть должен.

— Ну, а насчет наследства... был у вас разговор?

— Мы, бабушка, целый день всё об наследствах говорим. Он все рассказывает, как прежде, еще до дедушки было... даже Горюшкино, бабушка, помнит. «Вот, говорит, кабы у тетеньки Варвары Михайловны детей не было — нам бы Горюшкино-то принадлежало! И дети-то, говорит, бог знает от кого — ну, да не нам других судить! У ближнего сучок в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем... так-то, брат!»

— Ишь ведь какой! Замужем, чай, тетенька-то была; коли что и было — все муж прикрыл!

— Право, бабушка. И всякий раз, как мы мимо Горюшкина едем, всякий-то раз он эту историю поднимает! И бабушка Наталья Владимировна, говорит, из Горюшкина взята была — по всем бы правам ему в головлевском роде быть должно; ан папенька, покойник, за сестрою в приданое отдал! А дыни, говорит, какие в Горюшкине росли! По двадцати фунтов весу — вот какие дыни!

— Уж в двадцать фунтов! чтой-то я об таких не слыхивала! Ну, а насчет Дубровина какие его предположения?

— Тоже в этом роде. Арбузы да дыни... пустяки все! В последнее время, впрочем, все спрашивал: «А как вы, детки, думаете, велик у брата Павла капитал?» Он, бабушка, уж давно все вычислил: и выкупной ссуды сколько, и когда имение в опекунский совет заложено, и сколько долгу уплачено... Мы и бумажку видели, на которой он вычисления делал, только мы ее, бабушка, унесли... Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть с ума не свели! Он ее в стол положит, а мы возьмем да в шкаф переложим; он в шкапу на ключ запрет, а мы подберем ключ да в просвиры засунем... Раз он в баню мыться пошел, — смотрит, а на полке бумажка лежит!

— Веселье у вас там!

Возвращается Володенька; все глаза устремляются на него.

— Ничего не слыхать, — сообщает он шепотом, — только и слышно, что отец говорит: «Безболезненны, непостыдны, мирны», а дядя ему: «Уйди, кровопивец!»

— А насчет «распоряжения»... не слыхал?

— Кажется, было что-то, да не разобрал... Очень уж, бабушка, плотно отец дверь захлопнул. Жужжит — и только... А потом дядя вдруг как крикнет: «У-уй-дди!» Ну, я поскорей-поскорей, да и сюда!

— Хоть бы сиротам... — тоскует в раздумье Арина Петровна.

— Уж если отцу достанется, он, бабушка, никому ничего не даст,— удостоверяет Петенька.— Я даже так думаю, что он и нас-то наследства лишит.

— Не в могилу же с собой унесет?

— Нет, а какое-нибудь средство выдумает. Он намеднись недаром с попом поговаривал: «А что, говорит, батюшка, если бы вавилонскую башню выстроить — много на это денег потребуется?»

— Ну, это он так... может, из любопытства...

— Нет, бабушка, проект у него какой-то есть. Не на вавилонскую башню, так в Афон пожертвует, а уж нам не даст!

— А большое, бабушка, у отца имение будет, когда дядя умрет? — любопытствует Володенька.

— Ну, это еще богу известно, кто прежде кого умрет.

— Нет, бабушка, отец наверно рассчитывает. Давеча, только мы до дубровинской ямы доехали, он даже картуз снял, перекрестился: «Слава богу, говорит, опять по своей земле поедем!»

— Он, бабушка, все уж распределил. Лесок увидал: «Вот, говорит, кабы на хозяина — ах, хорош бы был лесок!» Потом на покосец посмотрел: «Ай да покосец! смотри-ка, смотри-ка, стогов-то что наставлено! тут прежде конный заводец был».

— Да, да... и лесок и покосец — все ваше, голубчики, будет! — вздыхает Арина Петровна.— Батюшки! да никак на лестнице-то скрипнуло!

— Тише, бабушка, тише! Это он... яко тать в нощи... у дверей подслушивает.

Наступает молчание; но тревога оказывается ложною. Арина Петровна вздыхает и шепчет про себя: «Ах, детки, детки!» Молодые люди в упор глядят на сироток, словно пожрать их хотят; сиротки молчат и завидуют.

— А вы, кузина, мамзель Лотар видели? — заговаривает Петенька.

Аннинька и Любинька взглядывают друг на друга, точно спрашивают, из истории это или из географии.

— В «Прекрасной Елене»... она на театре Елену играет.

— Ах да... Елена... это Парис? «Будучи прекрасен и молод, он разжег сердца богинь...» Знаем! знаем! — обрадовалась Любинька.

— Это, это самое и есть. А как она: *cas-ca-ader*, *ca-as-ca-der* выделяет... прелесть!

— У нас давеча доктор все «кувырком» пел.

— «Кувырком» — это покойная Лядова... вот, кузина, прелесть-то была! Когда умерла, так тысячи две человек за гробом шли... думали, что революция будет!

— Да ты об театрах, что ли, болтаешь? — вмешивается Ари-

на Петровна.— Так им, мой друг, не по театрам ездить, а в монастырь...

— Вы, бабушка, все нас в монастыре похоронить хотите! — жалуется Аннинька.

— А вы, кузина, вместо монастыря-то, в Петербург укатите! Мы вам там все покажем!

— У них, мой друг, не удовольствия на уме должны быть, а божественное,— продолжает наставительно Арина Петровна.

— Мы их, бабушка, в Сергиеву пустынь на лихаче прока- тим,— вот и божественное будет!

У сироток даже глазки разгорелись и кончики носиков покрас- нели при этих словах.

— А как, говорят, поют у Сергия! — восклицает Аннинька.

— Сем уж, кузина, возьмите. *Трисвятую песнь припеваю- ще* — даже отец так не споеет. А потом мы бы вас по всем трем Подьяческим покатали.

— Мы бы вас, кузина, всему-всему научили! В Петербурге ведь таких, как вы, барышень очень много: ходят да каблучками постукивают.

— Разве что этому научите! — вступается Арина Петровна.— Уж оставьте вы их, Христа ради... учителя! Тоже учить собра- лись... наукам, должно быть! Вот я с ними, как Павел умрет, в Хотьков уеду... и так-то мы там заживем!

— А вы всё сквернословите! — вдруг раздалось в дверях.

Посреди разговора, никто и не слышал, как подкрался Иудуш- ка, яко тать в нощи. Он весь в слезах, голова поникла, лицо бледно, руки сложены на груди, губы шепчут. Некоторое время он ищет глазами образа, наконец находит и с минуту возносит свой дух.

— Плох! ах, как плох! — наконец восклицает он, обнимая милого друга маменьку.

— Неужто уж так?

— Очень-очень дурен, голубушка... а помните, каким он преж- де молодцом был!

— Ну, когда же молодцом... что-то я этого не помню!

— Ах, нет, маменька, не говорите! Всегда он... я как сейчас помню, как он из корпуса вышел: стройный такой, широкопле- чий, кровь с молоком... Да, да! Так-то, мой друг маменька! Все мы под богом ходим! сегодня и здоровы, и сильны, и пожить бы, и пожуировать бы, и сладенького скушать, а завтра...

Он махнул рукой и умилился.

— Поговорил ли он по крайней мере?

— Мало, голубушка; только и молвил: «Прощай, брат!» А ведь он, маменька, чувствует! чувствует, что ему плохо при- ходится!

— Будешь, батюшка, чувствовать, как грудь-то ходуном ходит!

— Нет, маменька, я не об том. Я об прозорливости; прозорливость, говорят, человеку дана; который человек умирает — всегда тот заранее чувствует. Вот грешникам — тем в этом утешенье отказано.

— Ну, ну! об «распоряжении» не говорил ли чего?

— Нет, маменька. Хотел он что-то сказать, да я остановил. Нет, говорю, нечего об распоряжениях разговаривать! Что ты мне, брат, по милости своей, оставишь, я всем буду доволен, а ежели и ничего не оставишь — и даром за упокой помяну! А как ему, маменька, пожить-то хочется! так хочется! так хочется!

— И всякому пожить хочется!

— Нет, маменька, вот я об себе скажу. Ежели господу богу угодно призвать меня к себе — хоть сейчас готов!

— Хорошо, как к богу, а ежели к сатане угодишь?

В таком духе разговор длится и до обеда, и во время обеда, и после обеда. Арине Петровне даже на стуле не сидится от нетерпения. По мере того как Иудушка растабарывает, ей все чаще и чаще приходит на мысль: а что ежели... прокляну? Но Иудушка даже и не подозревает того, что в душе матери происходит целая буря; он смотрит так ясно и продолжает себе потихоньку да полегоньку притеснять милого друга маменьку своей безнадежною канителью.

«Прокляну! прокляну! прокляну!» — все решительнее да решительнее повторяет про себя Арина Петровна.

В комнатах пахнет ладаном, по дому раздается протяжное пение, двери отворены настежь, желающие поклониться покойному приходят и уходят. При жизни никто не обращал внимания на Павла Владимировича, со смертью его — всем сделалось жалко. Припоминали, что он «никого не обидел», «никому грубого слова не сказал», «ни на кого не взглянул косо». Все эти качества, казавшиеся прежде отрицательными, теперь представлялись чем-то положительным, и из неясных обрывков обычного похоронного празднословия вырисовывался тип «доброго барина». Многие в чем-то раскаивались, сознавались, что по временам пользовались простотою покойного в ущерб ему, — да ведь кто же знал, что этой простоте так скоро конец настанет? Жила-жила простота, думали, что ей и веку не будет, а она вдруг... А была бы жива простота — и теперь бы ее накаливали: накаливай, робята! что дуракам в зубы смотреть! Один мужичок принес Иудушке три целковых и сказал:

— Должок за мной покойному Павлу Владимировичу был. Записок промежду нас не было — так вот!

Иудушка взял деньги, похвалил мужичка и сказал, что он эти три целковых на масле для «неугасимой» отдаст.

— И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь и вымолит там для тебя! Ты и не ждешь — ан вдруг тебе бог счастье пошлет!

Очень возможно, что в мирской оценке качеств покойного неясно участвовало и сравнение. Иудушку не любили. Не то чтобы его нельзя было обойти, а очень уж он пустяки любил, надоедал да приставал. Даже земельные участки немногие решались у него кортомить, потому что он сдаст участок да за каждый лишний запаханный или закошенный вершок, за каждую пропущенную минуту в уплате денег сейчас начнет съемщика по судам таскать. Многих он так-то затаскал и сам ничего не выиграл (его привычку кляузничать так везде знали, что, почти не разбирая дел, отказывали в его претензиях) и народ волокитами да прогулами разорил. «Не купи двора, а купи соседа», — говорит пословица, а у всех на знати, каков сосед головлевский барин. Нужды нет, что мировой тебя оправит, он тебя своим судом, сатанинским, изведет. И так как злость (даже не злость, а скорее нравственное окостенение), прикрытая лицемерием, всегда наводит какой-то суеверный страх, то новые «соседи» (Иудушка очень приветливо называет их «соседушками») боязливо кланялись в пояс, проходя мимо кровопивца, который весь в черном стоял у гроба с сложенными ладонями и воздетыми вверх глазами.

Покуда покойник лежал в доме, домашние ходили на цыпочках, заглядывали в столовую (там, на обеденном столе, был поставлен гроб), качали головами, шептались. Иудушка притворялся чуть живым, шаркал по коридору, заходил к «покойничку», умилялся, поправлял на гробе покров и шептался с становым приставом, который составлял описи и прикладывал печати. Петенька и Володенька суеились около гроба, ставили и зажигали свечки, подавали кадило и проч. Аннинька и Любинька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпевали дьячкам на панихидах. Дворовые женщины, в черных коленкорových платьях, утирали передниками раскрасневшиеся от слез носы.

Арина Петровна, тотчас же как последовала смерть Павла Владимировича, ушла в свою комнату и заперлась там. Ей было не до слез, потому что она сознавала, что сейчас же должна была на что-нибудь решиться. Остаться в Дубровине она и не думала... «ни за что!» — следовательно, предстояло одно: ехать в Погорелку, имение сирот, то самое, которое некогда представляло «кусочек», выброшенный ею непочтительной дочери Анне Владимировне. Принявши это решение, она почувствовала себя облегченной, как будто Иудушка вдруг и навсегда потерял всякую власть над нею. Спокойно пересчитала пятипроцентные билеты (капиталу оказалось: своего пятнадцать тысяч, да столько же сирот-

ского, ею накопленного) и спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денег, чтоб привести погорелковский дом в порядок. Затем немедленно послала за погорелковским старостой, отдала нужные приказания насчет найма плотников и присылки в Дубровино подвод за ее и сиротскими пожитками, велела готовить тарантас (в Дубровине стоял ее собственный тарантас, и она имела доказательства, что он ее собственный) и начала укладываться. К Иудушке она не чувствовала ни ненависти, ни расположения: ей просто сделалось противно с ним дело иметь. Даже ела она неохотно и мало, потому что с нынешнего дня приходилось есть уже не Павлово, а Иудушкино. Несколько раз Порфирий Владимирыч заглядывал в ее комнату, чтоб покалякать с милым другом маменькой (он очень хорошо понимал ее приготовления к отъезду, но делал вид, что ничего не замечает), но Арина Петровна не допускала его.

— Ступай, мой друг, ступай! — говорила она. — Мне некогда.

Через три дня у Арины Петровны все было уже готово к отъезду. Отстояли обедню, отпели и схоронили Павла Владимирыча. На похоронах все произошло точно так, как представляла себе Арина Петровна в то утро, как Иудушке приехать в Дубровино. Именно так крикнул Иудушка: «Прощай, брат!» — когда опускали гроб в могилу, именно так же обратился он вслед за тем к Улитушке и торопливо сказал:

— Кутью-то! кутью-то не позабудьте взять! да в столовой на чистенькую скатерть поставьте... чай, и в доме братца помянуть придется!

К обеду, который, по обычаю, был подан сейчас, как пришли с похорон, были приглашены три священника (в том числе отец благочинный) и дьякон. Дьячкам была устроена особая трапеза в прихожей. Арина Петровна и сироты вышли в дорожном платье, но Иудушка и тут сделал вид, что не замечает. Подойдя к закуске, Порфирий Владимирыч попросил отца благочинного благословить яствие и питье, затем налил себе и духовным отцам по рюмке водки, умилился и произнес:

— Новопреставленному! вечная память! Ах, брат, брат! оставил ты нас! а кому бы, кажется, и пожить, как не тебе. Дурной ты, брат! нехороший!

Сказал, перекрестился и выпил. Потом опять перекрестился и проглотил кусочек икры, опять перекрестился — и балычка отведал.

— Кушайте, батюшка! — убеждал он отца благочинного. — Все это запасы покойного братца! любил покойник покушать! И сам хорошо кушал, а еще больше других любил угостить! Ах, брат, брат! оставил ты нас! Нехороший ты, брат! недобрый!

Словом сказать, так зарапортовался, что даже позабыл об

маменьке. Только тогда вспомнил, когда уж рыжичков зачерпнул и совсем было собрался ложку в рот отправить.

— Маменька! голубчик! — всполошился он, — а я-то, просто-филя, уписываю — ах, грех какой! Маменька! закусочки! рыжичков-то, рыжичков! Дубровинские ведь рыжички-то! знаменитые!

Но Арина Петровна только безмолвно кивнула головой в ответ и не двинулась. Казалось, она с любопытством к чему-то прислушивалась. Как будто какой-то свет пролился у ней перед глазами, и вся эта комедия, к повторению которой она с малолетства привыкла, в которой сама всегда участвовала, вдруг показалась ей совсем новою, невиданною.

Обед начался с родственных пререканий. Иудушка настаивал, чтобы маменька на хозяйское место села; Арина Петровна отказывалась.

— Нет, ты здесь хозяин — ты и садись, куда тебе хочется! — сухо проговорила она.

— Вы хозяйка! вы, маменька, везде хозяйка! и в Головлеве и в Дубровине — везде! — убеждал Иудушка.

— Нет уж! садись! Где мне хозяйкой бог приведет быть, там я и сама сяду, где вздумается! А здесь ты хозяин — ты и садись!

— Так мы вот что сделаем! — умилился Иудушка. — Мы хозяйский-то прибор незанятым оставим! Как будто брат здесь невидимо с нами сотрапезует... он хозяин, а мы гостями будем!

Так и сделали. Покуда разливали суп, Иудушка, выбрав приличный сюжет, начинает беседу с батюшками, преимущественно, впрочем, обращая речь к отцу благочинному.

— Вот многие нынче в бессмертие души не верят... а я верю! — говорит он.

— Уж это разве отчаянные какие-нибудь! — отвечает отец благочинный.

— Нет, и не отчаянные, а наука такая есть. Будто бы человек сам собою... Живет это, и вдруг — умер!

— Очень уж много этих наук нынче развелось — поубавить бы! Наукам верят, а в бога не верят. Даже мужики — и те в ученые норовят.

— Да, батюшка, правда ваша. Хотят, хотят в ученые попасть. У меня вот нагловские: есть нечего, а намеднись приговор написали, училище открывать хотят... ученые!

— Против всего нынче науки пошли. Против дождя — наука, против вёдра — наука. Прежде, бывало, попросту: придут да молебен отслужат — и даст бог. Вёдро нужно — вёдро господь пошлет; дождя нужно — и дождя у бога не занимать стать. Всего у бога довольно. А с тех пор как по науке начали жить — словно вот отрезало: все пошло безо времени. Сеять нужно — засуха, косить нужно — дождик!

— Правда ваша, батюшка, святая ваша правда. Прежде, как богу-то чаще молились, и земля лучше родила. Урожай-то были не нынешние, сам-четвёрт да сам-пят,— сторицею давала земля. Вот маменька, чай, помнит? Помните, маменька? — обращается Иудушка к Арине Петровне с намерением и ее вовлечь в разговор.

— Не слыхала, чтоб в нашей стороне... Ты, может, об хаананской земле читал — там, сказывают, действительно это бывало,— сухо отзывается Арина Петровна.

— Да, да, да,— говорит Иудушка, как бы не слыша замечания матери,— в бога не верят, бессмертия души не признают... а жрать хотят!

— Именно, только бы жрать бы да пить бы! — вторит отец благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтобы положить на тарелку кусок поминального пирога.

Все принимаются за суп; некоторое время только и слышится, как лязгают ложки об тарелки да фыркают попы, дую на горячую жидкость.

— А вот католики,— продолжает Иудушка, переставая есть,— так те хотя бессмертия души и не отвергают, но, взамен того, говорят, будто бы душа не прямо в ад или в рай попадает, а на некоторое время... в среднее какое-то место поступает.

— И это опять неосновательно.

— Как бы вам сказать, батюшка...— задумывается Порфирий Владимирыч,— коли начать говорить с точки зрения...

— Нечего об пустяках и говорить. Святая церковь как поет? Поет: в месте злачем, в месте прохладнем, иде же несть ни печали, ни воздыхания... Об каком же тут «среднем» месте еще разговаривать!

Иудушка, однако ж, не вполне соглашается и хочет кой-что возразить. Но Арина Петровна, которую начинает уж коробить от этих разговоров, останавливает его.

— Ну уж, ешь, ешь... богослов! и суп, чай, давно простыл! — говорит она и, чтобы переменить разговор, обращается к отцу благочинному: — С рожью-то, батюшка, убрались?

— Убрался, сударыня; нынче рожь хороша, а вот яровые — не обещают! Овсы зерна не успели порядком налить, а уж мешаться начали. Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя.

— Везде нынче на овсы жалуются! — вздыхает Арина Петровна, следя за Иудушкой, как он вычерпывает ложкой остатки супа.

Подают другое кушанье: ветчину с горошком. Иудушка пользуется этим случаем, чтоб возобновить прерванный разговор.

— Вот жида этого кушанья не едят,— говорит он.

— Жиды — пакостники,— отзывается отец благочинный,— их за это свиным ухом дразнят.

— Однако ж, вот и татары... Какая-нибудь причина этому да есть...

— И татары тоже пакостники — вот и причина.

— Мы конины не едим, а татары — свиной брезгают. Вот в Париже, сказывают, крыс во время осады ели.

— Ну, те — французы!

Таким образом идет весь обед. Подают карасей в сметане — Иудушка объясняет:

— Кушайте, батюшка! Это караси особенные: покойный братец их очень любил!

Подают спаржу — Иудушка говорит:

— Вот это так спаржа! В Петербурге за такую спаржу рублик серебром платить надо. Покойный братец сам за нею ухаживал! Вон она, бог с ней — толстая какая!

У Арины Петровны так и кипит сердце: целый час прошел, а обед только в половине. Иудушка словно нарочно медлит: поест, потом положит ножик и вилку, покалякает, потом опять поест и опять покалякает. Сколько раз, в бывалое время, Арина Петровна крикивала за это на него: «Да ешь же, прости господи, сатана!» — да, видно, он позабыл маменькины наставления. А может быть, и не позабыл, а нарочно делает, мстит. А может быть, даже и не мстит сознательно, а так, нутро его, от природы ехидное, играет. Наконец подали жаркое; в ту самую минуту, как все встали и отец дьякон затянул «о блаженном успении» — в коридоре поднялась возня, слышались крики, которые совсем уничтожили эффект зауспокойного возгласа.

— Что там за шум! — крикнул Порфирий Владимирович. — В кабак, что ли, забрались?

— Не кричи, сделай милость! Это я... это мои сундуки перетаскивают, — отозвалась Арина Петровна и не без иронии прибавила: — Будешь, что ли, осматривать?

Все вдруг смолкли, даже Иудушка не нашелся и побледнел. Он, впрочем, сейчас же сообразил, что надо как-нибудь замять неприятную апострофу матери, и, обратясь к отцу благочинному, начал:

— Вот тетерев, например... В России их множество, а в других странах...

— Да ешь, Христа ради: нам ведь двадцать пять верст ехать; надо засветло поспевать, — прервала его Арина Петровна. — Петенька! поторопи там, голубчик, чтоб пирожное подавали!

Несколько минут длилось молчание. Порфирий Владимирович живо доел свой кусок тетерки и сидел бледный, постукивая ногой в пол и вздрагивая губами.

— Обижаете вы меня, добрый друг маменька! крепко вы меня обижаете! — наконец произносит он, не глядя, впрочем, на мать.

— Кто тебя обидит! И чем это я так... крепко тебя обидела?

— Очень-очень обидно... так обидно! так обидно! В такую минуту... уезжать!.. Всё жили да жили... и вдруг... И наконец эти сундуки... осмотр... Обидно!

— Уж коли ты хочешь все знать, так я могу и ответ дать. Жила я тут, покуда сын Павел был жив; умер он — я и уезжаю. А что касается до сундуков, так Улитка давно за мной, по твоему приказанью, следит. А по мне, лучше прямо сказать матери, что она в подозрении состоит, нежели, как змея, из-за чужой спины на нее шипеть.

— Маменька! друг мой! да вы... да я... — простонал Иудушка.

— Будет! — не дала ему продолжать Арина Петровна. — Я высказалась.

— Но чем же, друг мой, я мог...

— Говорю тебе: я высказалась — и оставь. Отпусти меня, ради Христа, с миром. Тарантас, чу, готов.

Действительно, на дворе раздались бубенчики и стук подъезжающего экипажа. Арина Петровна первая встала из-за стола, за ней поднялись и прочие.

— Ну, теперь присядемте на минутку, да и в путь! — сказала она, направляясь в гостиную.

Посидели, помолчали, а тем временем Иудушка совсем уж успел оправиться.

— А не то пожили бы, маменька, в Дубровине... посмотрите-ка, как здесь хорошо! — сказал он, глядя матери в глаза с ласковостью провинившегося пса.

— Нет, мой друг, будет! не хочу я тебе, на прощание, неприятного слова сказать... а нельзя мне здесь оставаться! Не у чего! Батюшка! помолимтесь!

Все встали и помолились; затем Арина Петровна со всеми перецеловалась, всех благословила... по-родственному и, тяжело ступая ногами, направилась к двери. Порфирий Владимирыч, во главе всех домашних, проводил ее до крыльца, но тут при виде тарантаса его смутил бес любомудрия. «А тарантас-то ведь братьев!» — блеснуло у него в голове.

— Так увидимся, добрый друг маменька! — сказал он, подсаживая мать и искоса поглядывая на тарантас.

— Коли бог велит... отчего же и не увидеться!

— Ах, маменька, маменька! проказница вы, право! Велите-ка тарантас-то отложить, да с богом на старое гнездышко... Право! — лебезил Иудушка.

Арина Петровна не отвечала; она совсем уж уселась и крестное знамение даже сотворила, но сиротки что-то медлили.

А Иудушка между тем поглядывал да поглядывал на тарантас.

— Так тарантас-то, маменька, как же? вы сами доставите или прислать за ним прикажете? — наконец не выдержал он.

Арина Петровна даже затряслась вся от негодования.

— Тарантас — мой! — крикнула она таким болезненным криком, что всем сделалось и неловко и совестно. — Мой! мой! мой тарантас! Я его... у меня доказательства... свидетели есть! А ты... а тебя... ну, да уж подожду... посмотрю, что дальше от тебя будет! Дети! долго ли?

— Помилуйте, маменька! я ведь не в претензии... если б даже тарантас был дубровинский...

— Мой тарантас, мой! Не дубровинский, а мой! не смей говорить... слышишь!

— Слушаю, маменька... Так вы, голубушка, не забывайте нас... попросту, знаете, без затей! Мы к вам, вы к нам... по-родственному!

— Сели, что ли? трогай! — крикнула Арина Петровна, едва сдерживая себя.

Тарантас дрогнул и покатился мелкой рысцой по дороге. Иудушка стоял на крыльце, махал платком и, покуда тарантас не скрылся совсем из виду, кричал ему вслед:

— По-родственному! Мы к вам, вы к нам... по-родственному!

СЕМЕЙНЫЕ ИТОГИ

Никогда не приходило Арине Петровне на мысль, что может наступить минута, когда она будет представлять собой «лишний рот», — и вот эта минута подкралась, и подкралась именно в такую пору, когда она, в первый раз в жизни, практически убедилась, что нравственные и физические ее силы подорваны. Такие минуты всегда приходят внезапно; хотя человек, быть может, уж давно надломлен, но все-таки еще перемогается и стоит, — и вдруг откуда-то сбоку наносится последний удар. Подстеречь этот удар, сознать его приближение очень трудно; приходится просто и безмолвно покориться ему, ибо это тот самый удар, который недавно бодрого человека мгновенно и безапелляционно превращает в развалину.

Тяжело было положение Арины Петровны, когда она, разорвавши с Иудушкой, поселилась в Дубровине, но тогда она по крайней мере знала, что Павел Владимырьч хоть и косо смотрит на ее вторжение, но все-таки он человек достаточный, для которого лишний кусок не много значит. Теперь — дело приняло совсем иной оборот: она стояла во главе такого хозяйства, где все «куски» были на счету. А она знала цену этим «кускам», ибо, проводя всю жизнь в деревне, в общении с крестьянским людом, вполне

усвоила себе крестьянское представление об ущербе, который наносит «лишний рот» хозяйству, и без того уже скудному.

Тем не менее первое время по переселении в Погорелку она еще бодрилась, хлопотливо устраивалась на новом месте и выказывала прежнюю ясность хозяйственных соображений. Но хозяйство в Погорелке было суетливое, мелочное, требовало ежеминутного личного присмотра, и хотя сгоряча ей показалось, что достигнуть точного учета там, где из полушек составляются гроши, а из грошей гривенники, не составляет никакой мудрости, однако скоро она должна была сознаться, что это убеждение ошибочное. Мудрости действительно не было, но и не было ни прежней охоты, ни прежних сил. К тому же дело происходило осенью, в самый разгар хозяйственных итогов, а между тем время стояло ненастное и полагало невольный предел усердию Арины Петровны. Явились старческие немощи, не позволявшие выходить из дома, настали длинные, тоскливые осенние вечера, осуждавшие на фаталистическую праздность. Старуха волновалась и рвалась, но ничего не могла сделать.

С другой стороны, она не могла не заметить, что и с сиротами делается что-то неладное. Они вдруг заскучали и опустили головы. Какие-то смутные планы будущего волновали их — планы, в которых представления о труде шли вперемежку с представлениями об удовольствиях, конечно самого невинного свойства. Тут были и воспоминания об институте, в котором они воспитывались, и вычитанные урывками мысли о людях труда, и робкая надежда, с помощью институтских связей, ухватиться за какую-то нить и при ее пособии войти в светлое царство человеческой жизни. Над всей этой смутностью тем не менее господствовала одна щемящая и очень определенная мысль: во что бы ни стало уйти из постылой Погорелки. И вот в одно прекрасное утро Аннинька и Любинька объявили бабушке, что долее оставаться в Погорелке не могут и не хотят. Что это ни на что не похоже, что они в Погорелке никого не видят, кроме попа, который к тому же постоянно, при свидании с ними, почему-то заговаривает о девах, погасивших свои светильники, и что вообще — «так нельзя». Девуцы говорили резко, ибо боялись бабушки, и тем больше напускали на себя храбрости, чем больше ждали с ее стороны гневной вспышки и отпора. Но, к удивлению, Арина Петровна выслушала их сетования не только без гнева, но даже не выказав поползновения к бесплодным поучениям, на которые так торовата бессильная старость. Увы! это была уже не та властная женщина, которая во времена юны с уверенностью говаривала: «Уеду в Хотьков и внучат с собой возьму». И не одно старческое бессилие участвовало в этой перемене, но и понимание чего-то лучшего, более справедливого. Последние удары судьбы не просто смирили ее, но еще осветили в ее умственном кругозоре некоторые уголки, в которые мысль ее, по-видимому,

никогда дотолѣ не заглядывала. Она поняла, что в человеческом существѣ кроются известные стремления, которые могут долго дремать, но, раз проснувшись, уже неотразимо влекут человека туда, где прорезывается луч жизни, тот отрадный луч, появление котораго так давно подстерегали глаза среди безнадежной мглы настоящаго. И, раз поняв законность подобнаго стремления, она уж была бессильна противодействовать ему. Правда, она отговаривала внучек от их намерения, но слабо, без убѣждения; она беспокоилась насчет ожидающаго их будущаго, тем болѣе что сама не имела никаких связей в так называемом светѣ, но в то же время чувствовала, что разлука с девушками есть дело должное, неизбежное. Что с ними будет? — этот вопрос вставал перед ней назойливо и ежеминутно; но ведь ни этим вопросом, ни даже болѣе страшными не удержишь того, кто рвется на волю. А девушки только об том и твердили, чтоб вырваться из Погорелки. И действительно, после немногих колебаний и отсрочек, сделанных в угоду бабушке, уехали.

С отъездом сирот погорелковскій дом окунулся в какую-то безнадежную тишину. Как ни сосредоточенна была Арина Петровна по природе, но близость человеческого дыханія производила на нее успокоительное дѣйствіе. Проводивши внучек, она, может быть в первый раз, почувствовала, что от ея существа что-то оторвалось и что она разом получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видела перед собой, кроме пустаго пространства. Чтоб как-нибудь скрыть в собственных глазах эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадныя комнаты и мезонин, в котором жили сироты («кстати, и дров меньше выходить будет», — думала она при этом), а для себя отделила всего две комнаты, из которых в одной помещался большой киотъ с образами, а другая представляла в одно и то же время спальную, кабинетъ и столовую. Прислугу тоже, ради экономіи, распустила, оставив при себѣ только старую, едва таскающую ноги ключницу Афимьюшку да одноглазую солдатку Марковну, которая готовила кушанье и стирала белье. Но все эти предосторожности помогли мало: ощущение пустоты не замедлило проникнуть и в те две комнаты, в которых она думала отгородиться от него. Беспомощное одиночество и унылая праздность — вот два врага, с которыми она очутилась лицом к лицу и с которыми отныне обязывалась коротать свою старость. А вслѣд за ними не заставила себя ждать и работа физическаго и нравственнаго разрушенія, работа тем болѣе жестокая, чем меньше отпора дает ей праздная жизнь.

Дни чередовались днями с тем удручающим однообразіем, которым так богата деревенская жизнь, если она не обставлена ни комфортом, ни хозяйственным трудом, ни матеріалом, дающим пищу для ума. Независимо от внешних причин, делавших личный

хозяйственный труд не доступным, Арине Петровне и внутренне сделалась противною та грошовая суета, которая застигла ее под конец жизни. Может быть, она бы и перемогла свое отвращение, если б была в виду цель, которая оправдывала бы ее усилия, но именно цели-то и не было. Всем она опостылела, надоела, и ей всё и все опостытели, надоели. Прежняя лихорадочная деятельность вдруг уступила место сонливой праздности, а праздность, мало-помалу, развратила волю и привела за собой такие наклонности, о которых, конечно, и во сне не снилось Арине Петровне за несколько месяцев тому назад. Из крепкой и сдержанной женщины, которую никто не решался даже назвать старухой, получилась развалина, для которой не существовало ни прошлого, ни будущего, а существовала только минута, которую предстояло прожить.

Днем она большею частью дремала. Сядет в кресло перед столом, на котором разложены вонючие карты, и дремлет. Потом вздрогнет, проснется, взглянет в окно и долго, без всякой сознательной мысли, не отрывает глаз от расстилающейся без конца дали. Погорелка была печальная усадьба. Она стояла, как говорится, на тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Даже палисадника впереди не было. Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод; сзади расположены были немногочисленные службы, тоже пришедшие в ветхость; а кругом стлались поля, поля без конца; даже лесу на горизонте не было видно. Но так как Арина Петровна с детства почти безвыездно жила в деревне, то эта бедная природа не только не казалась ей унылою, но даже говорила ее сердцу и пробуждала остатки чувств, которые в ней теплились. Лучшая часть ее существа жила в этих нагих и бесконечных полях, и взоры инстинктивно искали их во всякое время. Она вглядывалась в полевую даль, вглядывалась в эти измокшие деревни, которые, в виде черных точек, пестрели там и сям на горизонте; вглядывалась в белые церкви сельских погостов, вглядывалась в пестрые пятна, которые бродячие в лучах солнца облака рисовали на равнине полей, вглядывалась в этого неизвестного мужика, который шел между полевых борозд, а ей казалось, что он словно застыл на одном месте. Но при этом она ни об чем не думала или, лучше сказать, у нее были мысли до того разорванные, что ни на чем не могла остановиться на более или менее продолжительное время. Она только глядела, глядела до тех пор, пока старческая дремота не начинала вновь гудеть в ушах и не заволакивала туманом и поля, и церкви, и деревни, и бредущего вдали мужика.

Иногда она, по-видимому, припоминала; но память прошлого возвращалась без связи, в форме обрывков. Внимание ни на чем не могло сосредоточиться и беспрерывно перебегало от одного дале-

кого воспоминания к другому. По временам, однако ж, ее поражало что-нибудь особенное, не радость — на радости прошлое ее было до жестокости скупое, — а обида какая-нибудь, горькая, непереносная. Тогда внутри ее словно загоралось, тоска заползала в сердце, и слезы подступали к глазам. Она начинала плакать, плакала тяжело, с болью, плакала так, как плачет жалкая старость, у которой слезы льются точно под тяжестью кошмара. Но, покуда слезы лились, бессознательная мысль продолжала свое дело и, незаметно для Арины Петровны, отвлекала ее от источника, породившего печальное настроение, так что через несколько минут старуха и сама с удивлением спрашивала себя, что такое случилось с нею.

Вообще она жила как бы не участвуя лично в жизни, а единственно в силу того, что в этой развалине еще хоронились какие-то забытые концы, которые надлежало собрать, учесть и подвести итоги. Покуда эти концы были еще налицо, жизнь шла своим чередом, заставляя развалину производить все внешние отправления, какие необходимы для того, чтобы это полусонное существование не рассыпалось в прах.

Но ежели дни проходили в бессознательной дремоте, то ночи были положительно мучительны. Ночью Арина Петровна боялась; боялась воров, привидений, чертей — словом, всего, что составляло продукт ее воспитания и жизни. А защита против всего этого была плохая, потому что, кроме ветхой прислуги, о которой было сказано выше, ночной погорелковский штат весь воплощался в лице хроменького мужичка Федосеюшки, который, за два рубля в месяц, приходил с села сторожить по ночам господскую усадьбу и обыкновенно дремал в сенцах, выходя в урочные часы, чтоб сделать несколько ударов в чугунную доску. Хотя же на скотном дворе и жило несколько работников и работниц, но скотная изба отстояла от дома саженьях в двадцати и вызвать оттуда кого-нибудь было делом далеко не легким.

Есть что-то тяжелое, удручающее в бессонной деревенской ночи. Часов с девяти или много-много с десяти жизнь словно прекращается, и наступает тишина, наводящая страх. И делать нечего, да и свечей жаль — поневоле приходится лечь спать. Афимьюшка, как только сняли со стола самовар, по привычке, приобретенной еще при крепостном праве, постелила войлок поперек двери, ведущей в барынину спальную; затем почесалась, позевала и, как только повалилась на пол, так и замерла. Марковна возилась в девичьей несколько долее и все что-то бормотала, кого-то ругала; но вот наконец и она притихла, и через минуту уж слышно, как она поочередно то храпит, то бредит. Сторож несколько раз звякнул в доску, чтоб заявить о своем присутствии, и умолк надолго. Арина Петровна сидит перед нагоревшей сальной свечой и пробует разогнать сон пасьянсом; но едва принимает-

ся она за раскладывание карт, как дремота начинает одолевать ее. «Того и гляди еще пожар со сна наделаешь!» — говорит она сама с собой и решается лечь в кровать. Но едва успела она утонуть в пуховиках, как приходит другая беда: сон, который целый вечер так и манил, так и ломал, вдруг совсем исчез. В комнате и без того натоплено: из открытого душника жар так и валит, а от пуховиков атмосфера делается просто нестерпимою. Арина Петровна ворочается с боку на бок; и хочется ей покликать кого-нибудь, и знает она, что на ее клич никто не придет. Загадочная тишина царит вокруг — тишина, в которой настороженное ухо умеет отличить целую массу звуков. То хлопнуло где-то, то раздался вдруг вой, то словно кто-то прошел по коридору, то пролетело по комнате какое-то дуновение и даже по лицу задело. Лампадка горит перед образом и светом своим сообщает предметам какой-то обманчивый характер, точно это не предметы, а только очертания предметов. Рядом с этим сомнительным светом является другой, выходящий из растворенной двери соседней комнаты, где перед киотом зажжено четыре или пять лампад. Этот свет желтым четырехугольником лег на полу, словно врезался в мрак спальни, не сливаясь с ним. Всюду тени, колеблющиеся, беззвучно движущиеся. Вот мышь заскреблась за обоями; «шт... паскудная!» — крикнет на нее Арина Петровна, и опять все смолкнет. Опять тени, опять неизвестно откуда берущийся шепот. В чуткой, болезненной дремоте проходит большая часть ночи, и только к утру сон настоящим образом вступает в свои права. А в шесть часов Арина Петровна уж на ногах, измученная бессонной ночью.

Ко всем этим причинам, достаточно обрисовывающим жалкое существование, которое вела Арина Петровна, присоединялись еще две: скудость питания и неудобства помещения. Ела она мало и дурно, вероятно думая этим наверстать ущерб, производимый в хозяйстве недостаточностью надзора. Что же касается до помещения, то погорелковский дом был ветх и сыр, а комната, в которой заперлась Арина Петровна, никогда не освежалась и по целым неделям оставалась неубранною. И вот среди этой полной беспомощности, среди отсутствия всякого комфорта и ухода приближалась дряхлость.

Но чем больше она дряхлела, тем сильнее сказывалось в ней желание жизни. Или, лучше сказать, не столько желание жизни, сколько желание «полакомиться», сопряженное с совершенным отсутствием идеи смерти. Прежде она боялась смерти, теперь — как будто совсем позабыла об ней. И так как ее жизненные идеалы немногим разнились от идеалов любого крестьянина, то и представление о «хорошем житье», которым она себя обольщала, было довольно неизменного свойства. Все, в чем она отказывала себе в течение жизни — хороший кусок, покой, беседа с живыми людьми, — все это сделалось предметом самых упорных помышлений.

Все наклонности завзятой приживалки — празднословие, льстивая угодливость ради подачи, прожорливость — росли с изумительной быстротой. Она питалась дома людскими щами с несвежей солониной — и в это время мечтала о головлевских запасах, о карасях, которые водились в дубровинских прудах, о грибах, которыми полны были головлевские леса, о птице, которая откармливалась в Головлеве на скотном дворе. «Супцу бы теперь с гусиным потрохом или рыжичков бы в сметане», — мелькало в ее голове, мелькало до того живо, что даже углы губ у нее опускались. Ночью она ворочалась с боку на бок, замирая от страха при каждом шорохе, и думала: «Вот в Головлеве и запоры крепкие и сторожа верные, стучат себе да постукивают в доску не уставаючи — спи себе, как у Христа за пазушкой!» Днем ей по целым часам приходилось ни с кем не вымолвить слова, и во время этого невольного молчания само собой приходило на ум: вот в Головлеве — там людно, там есть и душу с кем отвести! Словом сказать, ежеминутно припоминалось Головлево, и, по мере этих припоминаний, оно делалось чем-то вроде светозарного пункта, в котором сосредоточивалось «хорошее житье».

И чем чаще смущалось воображение представлением о Головлеве, тем сильнее развращалась воля и тем дальше уходили вглубь недавние кровные обиды. Русская женщина, по самому складу ее воспитания и жизни, слишком легко мирится с участью приживалки, а потому и Арина Петровна не минула этой участи, хотя, казалось, все ее прошлое предостерегало и оберегало ее от этого ига. Не сделай она «в то время» ошибки, не отдели сыновей, не доверься Иудушке, она была бы и теперь брюзгливой и требовательной старухой, которая заставляла бы всех смотреть из ее рук. Но так как ошибка была сделана бесповоротно, то переход от брюзжаний самодурства к покорности и льстивости приживалки составлял только вопрос времени. Покуда силы сохраняли остатки прежней крепости, переход не выказывался наружу, но как только она себя признала безвозвратно осужденною на беспомощность и одиночество, так тотчас же в душу начали заползть все поползновения малодушия и мало-помалу окончательно развратили и без того уже расшатанную волю. Иудушка, который, в первое время приезжая в Погорелку, встречал там лишь самый холодный прием, вдруг перестал быть ненавистным. Старые обиды забылись как-то само собой, и Арина Петровна первая сделала шаг к сближению.

Началось с выпрашиваний. Из Погорелки являлись к Иудушке гонцы сначала редко, потом чаще и чаще. То рыжичков в Погорелке не родилось, то огурчики от дождей вышли с пятнышками, то индюшки, по нынешнему вольному времени, переколели, «да приказал бы ты, сердечный друг, карасиков в Дубровине ловить, в коих и покойный сын Павел старухе матери никогда не

отказывал». Иудушка морщился, но открыто выражать недовольствие не решался. Жаль ему было карасей, но он пуще всего боялся, что мать его проклянет. Он помнил, как она раз говорила: «Приеду в Головлево, прикажу открыть церковь, позову попа и закричу: проклиная!» — и это воспоминание останавливало его от многих пакостей, на которые он был великий мастер. Но, выполняя волю «доброго друга маменьки», он все-таки вскользь намекал своим окружающим, что всякому человеку положено нести от бога крест и что это делается не без цели, ибо, не имея креста, человек забывается и спадает в разврат. Матери же писал так: «Огурчиков, добрый друг маменька, по силе возможности, посылаю; что же касается до индюшек, то, сверх пущенных на племя, остались только петухи, кои для вас, по огромности их и ограниченности вашего стола, будут бесполезны. А не угодно ли вам будет пожаловать в Головлево разделить со мною убогую трапезу; тогда мы одного из сих тунеядцев (именно тунеядцы, ибо мой повар Матвей преискусно оных каплунит) велим зажарить и всласть с вами, дражайший друг, покушаем».

С этих пор Арина Петровна зачастила в Головлево. Отведывала с Иудушкой и индюшек и уток; спала всласть и ночью и после обеда и отводила душу в бесконечных разговорах о пустяках, на которые Иудушка был тороват по природе, а она сделалась тороватою вследствие старости. Даже и тогда не прекратила посещений, когда до нее дошло, что Иудушка, наскучив продолжительным вдовством, взял к себе в экономки девицу из духовного звания, именем Евпраксию. Напротив того, узнав об этом, она тотчас же поехала в Головлево и, не успев еще вылезти из экипажа, с каким-то ребяческим нетерпением кричала Иудушке: «А ну-ка, ну, старый греховодник! кажи мне, кажи свою кралю!» Целый этот день она провела в полном удовольствии, потому что Евпраксеюшка сама служила ей за обедом, сама постелила для нее постель после обеда, а вечером она играла с Иудушкой и его кралей в дураки. Иудушка тоже был доволен такой развязкой и, в знак сыновней благодарности, велел при отъезде Арины Петровны в Погорелку положить ей в тарантас, между прочим, фунт икры, что было уже высшим знаком уважения, ибо икра — предмет не свой, а купленный. Этот поступок так тронул старуху, что она не вытерпела и сказала:

— Ну, вот за это спасибо! И бог тебя, милый дружок, будет любить за то, что мать на старости лет покоишь да холишь. По крайности, приеду ужю в Погорелку — не скучно будет. Всегда я икорку любила — вот и теперь, по милости твоей, полакомлюсь!

Прошло лет пять со времени переселения Арины Петровны в Погорелку. Иудушка как засел в своем родовом Головлеве,

так и не двигается оттуда. Он значительно постарел, вылинял и потускнел, но шильничает, лжет и пустословит еще пуще прежнего, потому что теперь у него почти постоянно под руками добрый друг маменька, которая ради сладкого старушечьего куска сделалась обязательной слушательницей его пустословия.

Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. Нет, ежели он и был лицемер, то лицемер чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерил и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, лгун, пустослов и, в довершение всего, боялся черта. Все это такие отрицательные качества, которые отнюдь не могут дать прочного материала для действительного лицемерия.

Во Франции лицемерие вырабатывается воспитанием, составляет, так сказать, принадлежность «хороших манер» и почти всегда имеет яркую политическую или социальную окраску. Есть лицемеры религии, лицемеры общественных основ, собственности, семейства, государственности, а в последнее время народились даже лицемеры «порядка». Ежели этого рода лицемерие и нельзя назвать убеждением, то во всяком случае — это знамя, кругом которого собираются люди, которые находят расчет полицемерить именно тем, а не иным способом. Они лицемерят сознательно, в смысле своего знамени, то есть и сами знают, что они лицемеры, да, сверх того, знают, что это и другим небезызвестно. В понятиях француза-буржуа вселенная есть не что иное, как обширная сцена, где дается бесконечное театральное представление, в котором один лицемер подает реплику другому. Лицемерие — это приглашение к приличию, к декоруму, к красивой внешней обстановке, и что всего важнее, лицемерие — это узда. Не для тех, конечно, которые лицемерят, плавая в высотах общественных эмпиреев, а для тех, которые нелицемерно кишат на дне общественного котла. Лицемерие удерживает общество от разнузданности страстей и делает последнюю привилегией лишь самого ограниченного меньшинства. Пока разнузданность страстей не выходит из пределов небольшой и плотно организованной корпорации, она не только безопасна, но даже поддерживает и питает традиции изящества. Изящное погибло бы, если б не существовало известного числа *cabinets particuliers*¹, в которых оно культивируется в минуты, свободные от культа официального лицемерия. Но разнузданность становится положительно опасною, как только она делается общедоступною и соединяется с предоставлением каждому свободы предъявлять

¹ отдельных кабинетов в ресторанах (франц.).



свои требования и доказывать их законность и естественность. Тогда возникают новые общественные наслоения, которые стремятся ежели не совсем вытеснить старые, то по крайней мере в значительной степени ограничить их. Спрос на *cabinets particuliers* до того увеличивается, что наконец возникает вопрос: не проще ли, на будущее время, совсем обходиться без них? Вот от этих-то нежелательных возникновений и вопросов и оберегает дирижирующие классы французского общества то систематическое лицемерие, которое, не довольствуясь почвою обычая, переходит на почву легальности и из простой черты нравов становится законом, имеющим характер принудительный.

На этом законе уважения к лицемерию основан, за редкими исключениями, весь современный французский театр. Герои лучших французских драматических произведений, то есть тех, которые пользуются наибольшим успехом именно за необыкновенную реальность изображаемых в них житейских пакостей, всегда улучат под конец несколько свободных минут, чтоб подправить эти пакости громкими фразами, в которых объявляется святость и сладости добродетели. Адель может, в продолжение четырех актов, всячески осквернять супружеское ложе, но в пятом она непременно во всеуслышание заявит, что семейный очаг есть единственное убежище, в котором французскую женщину ожидает счастье. Спросите себя: что было бы с Аделью, если б авторам вздумалось продолжить свою пьесу еще на пять таких же актов, и вы можете безошибочно ответить на этот вопрос, что в продолжение следующих четырех актов Адель опять будет осквернять супружеское ложе, а в пятом опять обратится к публике с тем же заявлением. Да и нет надобности делать предположения, а следует только из *Théâtre Français* отправиться в *Gymnase*, оттуда в *Vaudeville* или *Variétés*, чтоб убедиться, что Адель везде одинаково оскверняет супружеское ложе и везде же под конец объявляет, что это-то ложе и есть единственный алтарь, в котором может священнодействовать честная француженка. Это до такой степени въелось в нравы, что никто даже не замечает, что тут кроется самое дурацкое противоречие, что правда жизни является рядом с правдою лицемерия и обе идут рука об руку, до того перепутываясь между собой, что становится затруднительным сказать, которая из этих двух правд имеет более прав на признание.

Мы, русские, не имеем сильно окрашенных систем воспитания. Нас не муштруют, из нас не вырабатывают будущих поборников и пропагандистов тех или других общественных основ, а просто оставляют расти, как крапива растет у забора. Поэтому между нами очень мало лицемеров и очень много лгунов, пусто-святых и пустословов. Мы не имеем надобности лицемерить ради каких-нибудь общественных основ, ибо никаких таких

основ не знаем, и ни одна из них не прикрывает нас. Мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем, лжем и пустословим сами по себе, без всяких основ.

Следует ли по этому случаю радоваться или соболеznовать — судить об этом не мое дело. Думаю, однако ж, что если лицемерие может внушить негодование и страх, то беспредметное лганье способно возбудить доуку и омерзение. А потому самое лучшее — это, оставив в стороне вопрос о преимуществах лицемерия сознательного перед бессознательным или наоборот, запереться и от лицемеров и от лгунов.

Итак, Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов. Запершись в деревне, он сразу почувствовал себя на свободе, ибо нигде, ни в какой иной сфере, его наклонности не могли бы найти себе такого простора, как здесь. В Головлеве он ниоткуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать: вот, дескать, и напакостил бы, да людей совестно. Ничье суждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил — следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сделалась господствующею чертою его отношений к самому себе. Давным-давно влекла его к себе эта полная свобода от каких-либо нравственных ограничений, и ежели он еще раньше не переехал на житье в деревню, то единственно потому, что боялся праздности. Проведя более тридцати лет в тусклой атмосфере департамента, он приобрел все привычки и вождедения закоренелого чиновника, не допускающего, чтобы хотя одна минута его жизни оставалась свободною от переливания из пустого в порожнее. Но, взглядевшись в дело пристальнее, он легко пришел к убеждению, что мир делового бездельничества настолько подвижен, что нет ни малейшего труда перенести его куда угодно, в какую угодно сферу. И действительно, как только он поселился в Головлеве, так тотчас же создал себе такую массу пустяков и мелочей, которую можно было не переставая переворачивать, без всякого опасения когда-нибудь исчерпать ее. С утра он садился за письменный стол и принимался за занятия; во-первых, усчитывал скотницу, ключницу, приказчика, сперва на один манер, потом на другой; во-вторых, завел очень сложную отчетность, денежную и материальную: каждую копейку, каждую вещь заносил в двадцати книгах, подводил итоги, то терял полкопейки, то целую копейку лишнюю находил. Наконец брался за перо и писал жалобы к мировому судье и к посреднику. Все это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имело все внешние формы усидчивого, непосильного труда. Не на праздность жаловался Иудушка, а на то, что не успевал всего переделать, хотя целый день корпел в кабинете, не выходя из халата. Груды тщательно подшитых, но не обревизованных рапортичек постоянно валялись

на его письменном столе, и в том числе целая годовая отчетность скотницы Феклы, деятельность которой с первого раза показалась ему подозрительной и которую он тем не менее никак не мог найти свободную минуту учсть.

Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана. Он не получал ни книг, ни газет, ни даже писем. Один сын его, Володенька, кончил самоубийством, с другим, Петенькой, он переписывался коротко и лишь тогда, когда посылал деньги. Густая атмосфера невежественности, предрассудков и кропотливого переживания из пустого в порожнее царила кругом него, и он не ощущал ни малейшего поползновения освободиться от нее. Даже о том, что Наполеон III уже не царствует, он узнал лишь через год после его смерти, от станового пристава, но и тут не выразил никакого особенного ощущения, а только перекрестился, пошептал: «Царство небесное!» — и сказал:

— А как был горд! Фу-ты! ну-ты! И то нехорошо и другое неладно! Цари на поклон к нему ездили, принцы в передней дежурили! Ан бог-то взял да в одну минуту все его мечтания ниспроверг!

Собственно говоря, он не знал даже, что делается у него в хозяйстве, хотя с утра до вечера только и делал, что считал да учитывал. В этом отношении он имел все качества закоренелого департаментского чиновника. Представьте себе столоначальника, которому директор, под веселую руку, сказал бы: «Любезный друг! для моих соображений необходимо знать, сколько Россия может ежегодно производить картофеля, — так потрудитесь сделать подробное вычисление!» Встал ли бы в тупик столоначальник перед подобным вопросом? Задумался ли бы он по крайней мере над приемами, которые предстоит употребить для выполнения заказанной ему работы? Нет, он поступил бы гораздо проще: начертил бы карту России, разлиновал бы ее на совершенно равные квадратики, доискался бы, какое количество десятин представляет собой каждый квадратик, потом зашел бы в мелочную лавочку, узнал, сколько сеется на каждую десятину картофеля и сколько средним числом получается, и в заключение, при помощи божией и первых четырех правил арифметики, пришел бы к результату, что Россия *при благоприятных условиях* может производить картофеля столько-то, а *при неблагоприятных условиях* — столько-то. И работа эта не только удовлетворила бы его начальника, но, наверное, была бы помещена в сто втором томе каких-нибудь «Трудов».

Даже экономку он выбрал себе как раз подходящую к той обстановке, которую создал. Девуца Евпраксия была дочь дьячка при церкви Николы в Капельках и представляла во всех отношениях чистейший клад. Она не обладала ни быстротой соображения, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамен того

была работаща, безответна и не предъявляла почти никаких требований. Даже тогда, когда он «приблизил» ее к себе, — и тут она спросила только: можно ли ей, когда захочется, кваску холодненького без спросу испить? — так что сам Иудушка умилился ее бескорыстию и немедленно отдал в ее распоряжение, сверх кваса, две кадушки моченых яблоков, уволив ее от всякой по этим статьям отчетности. Наружность ее тоже не представляла особенной привлекательности для любителя, но в глазах человека неприхотливого и знающего, что ему нужно, была вполне удовлетворительна. Лицо широкое, белое, лоб узкий, обрамленный желтоватыми негустыми волосами, глаза крупные, тусклые, нос совершенно прямой, рот стертый, подернутый тою загадочною, словно куда-то убегающею улыбкой, какую можно встретить на портретах, писанных доморощенными живописцами. Вообще ничего выдающегося, кроме разве спины, которая была до того широка и могуча, что у человека самого равнодушного невольно поднималась рука, чтобы, как говорится, «дать девке разá» между лопаток. И она знала это и не обижалась, так что когда Иудушка в первый раз слегка потрепал ее по жирному загривку, то она только лопатками передернула.

Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями, один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи. Только приезд Арины Петровны несколько оживлял эту жизнь, и надо сказать правду, что ежели Порфирий Владимирыч поначалу морщился, завидев вдали маменькину повозку, то с течением времени он не только привык к ее посещениям, но и полюбил их. Они удовлетворяли его страсти к пустословию, ибо ежели он находил возможным пустословить один на один с самим собою, по поводу разнообразных счетов и отчетов, то пустословить с добрым другом маменькой было для него еще поваднее. Собравшись вместе, они с утра до вечера говорили и не могли наговориться. Говорили обо всем: о том, какие прежде бывали урожаи и какие нынче бывают, о том, как прежде жилали помещики и как нынче живут; о том, что соль, что ли, прежде лучше была, а только нет нынче прежнего огурца.

Эти разговоры имели то преимущество, что текли, как вода, и без труда забывались; следовательно, их можно было возобновлять без конца с таким же интересом, как будто они только сейчас в первый раз пущены в ход. При этих разговорах присутствовала и Евпраксеюшка, которую Арина Петровна так полюбила, что ни на шаг не отпускала от себя. Иногда, наскучив беседою, все трое садились за карты и засиживались до поздней ночи, играя в дураки. Пробовали учить Евпраксеюшку в вист с болваном, но она не поняла. Громадный головлевский дом словно оживал в такие вечера. Во всех окнах светились огни, мелькали тени, так что проезжий мог думать, что тут и невесть какое веселье затеялось.

Самовары, кофейники, закуски целый день не сходили со стола. И сердце Арины Петровны веселилось и играло, и загащивалась она, вместо одного дня, дня на три и на четыре. И даже, уезжая в Погорелку, уже заранее придумывала повод, чтоб как-нибудь поскорее вернуться к соблазнам головлевского «хорошего житья».

Ноябрь в исходе, земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном. На дворе ночь и метелица; резкий, холодный ветер буровит снег, в одно мгновение наметает сугробы, захлестывает все, что попадется на пути, и всю окрестность наполняет воплем. Село, церковь, ближний лес — все исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе; старинный головлевский сад могуче гудит. Но в барском доме светло, тепло и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого собрались: Арина Петровна, Порфирий Владимирович и Евпраксеюшка. В сторонке поставлен ломберный стол, на котором брошены истрепанные карты. Из столовой открытые двери ведут с одной стороны в образную, всю залитую огнем зажженных лампад; с другой — в кабинет барина, в котором тоже теплится лампадка перед образом. В жарко натопленных комнатах душно, пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. Евпраксия, усевшись против самовара, перемывает чашки и вытирает их полотенцем. Самовар так и заливается; то загудит во всю мочь, то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Клубы пара вырываются из-под крышки и окутывают туманом чайник, уж с четверть часа стоящий на конфорке. Сидящие беседуют.

— А ну-ко, сколько ты раз сегодня душой осталась? — спрашивает Арина Петровна Евпраксеюшку.

— Не осталась бы, кабы сама не поддалась. Вам же удовольствие сделать хочу, — отвечает Евпраксеюшка.

— Сказывай. Видела я, какое ты удовольствие чувствовала, как я давеча под тебя тройками да пятерками подваливала. Я ведь не Порфирий Владимирович: тот тебя балует, все с одной да с одной ходит, а мне, матушка, не из чего.

— Да еще бы вы плутовали!

— Вот уж этого греха за мной не водится!

— А кого я давеча поймала? кто семерку треф с восьмеркой червей за пару спустить хотел? Уж это я сама видала, сама уличила!

Говоря это, Евпраксеюшка встает, чтоб снять с самовара чайник, и поворачивается к Арине Петровне спиной.

— Эх у тебя спина какая... Бог с ней! — невольно вырывается у Арины Петровны.

— Да, у нее спина... — машинально отзывается Иудушка.

— Спина да спина... бесстыдники! И что моя спина вам сделала!

Евпраксеюшка смотрит направо и налево и улыбается. Спина — это ее конек. Давеча даже старик Савельич, повар, и тот загляделся и сказал: «Ишь ты спина! ровно плита!» И она не пожаловалась на него Перфирию Владимирычу.

Чашки поочередно наливаются чаем, и самовар начинает утихать. А метель разыгрывается пуще и пуще: то целым снежным ливнем ударит в стекла окон, то каким-то невыразимым плачем прокатится вдоль печного бора.

— Метель-то, видно, взаправду взялась, — замечает Арина Петровна, — визжит да повизгивает!

— Ну и пушай повизгивает. Она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем — так-то, друг мой маменька! — отзывается Перфирий Владимирыч.

— Ах, нехорошо теперь в поле, коли кого этакая милость божья застанет!

— Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а нам и светлехонько и теплехонько. Сидим да чаек попиваем. И с сахарцем, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим с ромцом — и с ромцом будем пить.

— Да, коли ежели теперича...

— Позвольте, маменька. Я говорю: теперича в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки — все замело. Опять же волки. А у нас здесь и светленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. Сидим мы здесь да посиживаем, ладком да мирком. В карточки захотелось поиграть — в карточки поиграем; чайку захотелось попить — чайку попьем. Сверх нужды пить не станем, а сколько нужно, столько и выпьем. А отчего это так? Оттого, милый друг маменька, что милость божья не оставляет нас. Кабы не он, царь небесный, может, и мы бы теперь в поле плутали и было бы нам и темненько и холодненько... В зипунишечке каком-нибудь, кушачок плохонький, лаптишечки...

— Что-то уж и лаптишечки! Чай, тоже в дворянском званье родились? какие ни есть, а все-таки сапожнишки носим!

— А знаете ли вы, маменька, отчего мы в дворянском званье родились? А все оттого, что милость божья к нам была. Кабы не она, и мы сидели бы теперь в избушечке, да горела бы у нас не свечечка, а лучинушка, а уж насчет чайку да кофейку — об этом и думать бы не смели! Сидели бы; я бы лаптишечки ковырял, вы бы щец там каких-нибудь пустыньких поужинать собирали, Евпраксеюшка бы краснó ткала... А может быть, на беду, десятский еще с подводой бы выгнал...

— Ну, и десятский в такую пору с подводой не нарядит!

— Как знать, милый друг маменька! А вдруг полки идут! Может быть, война или возмущение — чтоб были полки в срок

на местах! Вон намеднись становой сказывал мне, Наполеон III помер — наверное, теперь французы куролесить начнут! Натурально, наши сейчас вперед — ну и давай, мужичок, подводку! Да в стыть, да в метель, да в бездорожицу — ни на что не посмотрят: поезжай, мужичок, коли начальство велит! А нас с вами покамест еще поберегут, с подводой не выгонят!

— Это что и говорить! велика для нас милость божия!

— А я что же говорю? Бог, маменька, — всё. Он нам и дровец для тепла и провизийцы для пропитания — все он. Мы-то думаем, что всё сами, на свои деньги приобретаем, а как посмотрим, да поглядим, да сообразим — ан всё бог. И коли он не захочет, ничего у нас не будет. Я вот теперь хотел бы апельсинчиков, и сам бы поел, и милого дружка маменьку угостил бы, и всем бы по апельсинчику дал, и деньги у меня есть, чтоб апельсинчиков купить, взял бы вынул — давай! Ан бог говорит: тпру! вот я и сижу: филозѳов без огурцов.

Все смеются.

— Рассказывайте! — отзывается Евпраксеюшка. — Вот у меня дяденька понáмарем у Успенья в Песочном был; уж как, кажется, был к богу усерден — мог бы бог что-нибудь для него сделать! — а как застигла его в поле метелица — все равно замерз.

— И я про то же говорю. Коли захочет бог — замерзнет человек, не захочет — жив останется. Опять и про молитву надо сказать: есть молитва угодная и есть молитва неугодная. Угодная достигает, а неугодная — все равно что она есть, что ее нет. Может, дяденькина-то молитва неугодная была — вот она и не достигла.

— Помнится, я в двадцать четвертом году в Москву ездила — еще в ту пору я Павлом была тяжела, — так ехала я в декабре месяце в Москву...

— Позвольте, маменька. Вот я об молитве кончу. Человек обо всем молится, потому что ему всего нужно. И маслица нужно, и капустки нужно, и огурчиков — ну, словом, всего. Иногда даже чего и не нужно, а он все, по слабости человеческой, просит. Ан богу-то сверху виднее. Ты у него маслица просишь, а он тебе капустки либо лучку даст; ты об вёдрышке да об тепленькой погодке хлопчешь, а он тебе дождинка да с градцем пошлет. И должен ты это понимать и не роптать. Вот мы в прошлом сентябре всё морозцев у бога просили, чтоб озими у нас не подопре-ли, ан бог морозцу не дал — ну, и сопрели наши озими.

— Еще как сопрели-то! — соболезнует Арина Петровна, — в Новинках у мужичков все озимое поле хоть брось. Придется весной перепахивать да яровым засеивать.

— То-то вот и есть. Мы здесь мудрствуем да лукавим, и так прикинем, и этак примерим, а бог разом, в один момент, все наши

планы-соображения в прах обратит. Вы, маменька, что-то хотели рассказать, что с вами в двадцать четвертом году было?

— Что такое! нїшто уж я позабыла! Должно быть, все об ней же, об милости божьей. Не помню, мой друг, не помню.

— Ну, бог даст, в другое время вспомните. А покуда там на дворе кутит да мутит, вы бы, милый друг, вареньица покушали. Это вишенки, головлевские! Евпраксеюшка сама варила.

— И то ем. Вишенки-то мне, признаться, теперь в редкость. Прежде, бывало, частенько-таки лакомливалась ими, ну а теперь... Хороши у тебя в Головлеве вишни, сочные, крупные; вот в Дубровине как ни старались разводить, — всё несладки выходят. Да ты, Евпраксеюшка, французской-то водки клала в варенье?

— Как не класть! как вы учили, так и делала. Да вот я об чем хотела спросить: вы, как огурцы солите, кладете кардамону?

Арина Петровна на некоторое время задумывается и даже руками разводит.

— Не помню, мой друг; кажется, прежде и кардамону клала. Теперь — не кладу: теперь какое мое соленье! а прежде клала... даже очень хорошо помню, что клала! Да вот домой приеду, в рецептах пороюсь, не найду ли. Я ведь, как в силах была, все примечала да записывала. Где что понравится, я сейчас все выпрошу, запишу на бумажку да дома и пробую. Я один раз такой секрет, такой секрет достала, что тысячу рублей давали — не открывает тот человек, да и дело с концом! А я ключнице четвертачок сунула — она мне все до капли пересказала!

— Да, маменька, в свое время вы-таки были... министр!

— Министр не министр, а могу бога благодарить: не растранижирила, а присовокупила. Вот и теперь поедаю от трудов своих праведных: вишни-то в Головлеве ведь я развела!

— И спасибо вам за это, маменька, большое спасибо! Вечное спасибо и за себя и за потомков — вот как!

Иудушка встает, подходит к маменьке и целует у ней ручку.

— И тебе спасибо, что мать покоишь! Да, хороши у тебя запасы, очень хороши!

— Что у нас за запасы! вот у вас бывали запасы, так это так. Сколько одних погребов было, и нигде ни одного местечка пустого!

— Бывали и у меня запасы — не хочу солгать, никогда не была бездомовницей. А что касается до того, что погребов было много, так ведь тогда и колесо большое было, ртов-то вдесятеро против нынешнего было. Одной дворни сколько — всякому припаси да всякого накорми. Тому огурчика, тому кваску — понемножку да помаленьку — ан, смотришь, и многонько всего изойдет.

— Да, хорошее было время. Всего тогда много было. И хлеба и фруктов — всего в изобилии!

— Навозу копили больше — оттого и родилось.

— Нет, маменька, и не от этого. А было божье благословение — вот от чего. Я помню, однажды папенька из сада яблоко апорт принес, так все даже удивились: на тарелке нельзя было уместить.

— Этого не помню. Вообще знаю, что были яблоки хорошие, а чтобы такие были, в тарелку величиной, — этого не помню. Вот карася в двадцать фунтов в дубровинском пруде в ту коронацию изловили — это точно, что было.

— И караси и фрукты — все тогда крупное было. Я помню, арбузы Иван-садовник выводил — вот какие!

Иудушка сначала оттопыривает руки, потом скругляет их, причем делает вид, что никак не может обхватить.

— Бывали и арбузы. Арбузы, скажу тебе, друг мой, к году бывают. Иной год их и много и они хороши, другой год и немного и невкусные, а в третий год и совсем ничего нет. Ну, и то еще надо сказать: что где поведется. Вон у Григорья Александрыча, в Хлебникове, ничего не родилось — ни ягод, ни фруктов, ничего. Одни дыни. Только уж и дыни бывали!

— Стало быть, ему на дыни милость божья была!

— Да, уж конечно. Без божьей милости нигде не обойдешься, никуда от нее не убежишь!

Арина Петровна уж выпила две чашки и начинает поглядывать на ломберный стол. Евпраксеюшка тоже так и горит нетерпением сразиться в дураки. Но планы эти расстраиваются по милости самой Арины Петровны, потому что она внезапно что-то припоминает.

— А ведь у меня новость есть, — объявляет она, — письмо вчера от сироток получила.

— Молчали-молчали, да и откликнулись. Видно, туго пришлось, денег просят?

— Нет, не просят. Вот полюбуйся.

Арина Петровна достает из кармана письмо и отдает Иудушке, который читает:

«Вы, бабушка, больше нам ни индюшек, ни кур не посылайте. Денег тоже не посылайте, а копите на проценты. Мы не в Москве, а в Харькове, поступили на сцену в театр, а летом по ярмаркам будем ездить. Я, Аннинька, в «Периколе» дебютировала, а Любинька в «Анютиных глазках». Меня несколько раз вызывали, особенно после сцены, где Перикола выходит навеселе и поет: *я гото-о-ва, готова, готооова!* Любинька тоже очень понравилась. Жалованья мне директор положил по сту рублей в месяц и бенефис в Харькове, а Любиньке по семидесяти пяти в месяц и бенефис летом, на ярмарке. Кроме того, подарки бывают от офицеров и от адвокатов. Только адвокаты иногда фальшивые деньги дают,

так нужно быть осторожной. И вы, милая бабушка, всем в Погорелке пользуйтесь, а мы туда никогда не приедем и даже не понимаем, как там можно жить. Вчера первый снег выпал, и мы с здешними адвокатами на тройках ездили; один на Плеваку похож — чудо как хорош! Поставил на голову стакан с шампанским и плясал трепака — прелесть как весело! Другой — не очень собой хорош, вроде петербургского Языкова. Представьте, расстроил себе воображение чтением «Собрания лучших русских песен и романсов» и до того ослаб, что даже в суде падает в обморок. И так почти каждый день проводим то с офицерами, то с адвокатами. Катаемся, в лучших ресторанах обедаем, ужинаем и ничего не платим. А вы, бабушка, ничего в Погорелке не жалеете и что там растет: хлеб, дыня, грибы — всё кушайте. Мы бы и капитал с удово...

Прощайте, приехали наши кавалеры — опять на тройках кататься зовут. Милка! божественная! прощайте!

Аннинька.
И я тоже — Любинька».

— Тьфу! — отплевывается Иудушка, возвращая письмо.

Арина Петровна сидит задумавшись и некоторое время не отвечает.

— Вы им, маменька, ничего еще не отвечали?

— Нет еще, и письмо-то вчера только получила; с тем и поехала к вам, чтоб показать, да вот за тем да за сем чуть было не позабыла.

— Не отвечайте. Лучше.

— Как же я не отвечу? Ведь я им отчетом обязана. Погорелка-то ихняя.

Иудушка тоже задумывается; какой-то зловещий план мелькает в его голове.

— А я все об том думаю, как они себя соблюдут в вертепе-то этом? — продолжает между тем Арина Петровна. — Ведь это такое дело, что тут только раз оступись — потом уж чести-то девичьей и не воротишь! Ищи ее потом да свищи!

— Очень им она нужна! — огрызается Иудушка.

— Как бы то ни было... Для девушки — это даже, можно сказать, первое в жизни сокровище... Кто потом эдакую-то за себя возьмет?

— Нынче, маменька, и без мужа все равно что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются. Дошли до куста, под кустом обвенчались — и дело в шляпе. Это у них гражданским браком называется.

Иудушка вдруг спохватывается, что ведь и он находится в блудном сожителстве с девицей духовного звания.

— Конечно, иногда, по нужде...— поправляется он,— коли ежели человек в силах и притом вдовый... по нужде и закону перемена бывает!

— Что говорить! В нужде и кулик соловьем свищет. И святые в нужде согрешали, не то что мы, грешные!

— Так вот оно и есть. На вашем месте, знаете ли, что бы я сделал?

— Посоветуй, мой друг, скажи.

— Я бы от них полную доверенность на Погорелку вытребо-вал.

Арина Петровна пугливо взглядывает на него.

— Да у меня и то полная доверенность на управление есть,— произносит она.

— Не на одно управление. А так, чтобы и продать, и заложить, и, словом, чтоб всем можно было по своему усмотрению распорядиться...

Арина Петровна опускает глаза в землю и молчит.

— Конечно, это такой предмет, что надо его обдумать. Подумайте-ка, маменька! — настаивает Иудушка.

Но Арина Петровна продолжает молчать. Хотя, вследствие старости, сообразительность у нее значительно притупела, но ей все-таки как-то не по себе от инсинуаций Иудушки. И боится-то она Иудушки: жаль ей тепла и простора, и изобилия, которые царствуют в Головлеве, и в то же время сдается, что недаром он об доверенности заговорил, что это он опять новую петлю на-кидывает. Положение делается настолько натянутым, что она начинает уже внутренно бранить себя, зачем ее дернуло показывать письмо. К счастью, Евпраксеюшка является на выручку.

— Что ж! будем, что ли, в карты-то играть? — спрашивает она.

— Давай! давай! — спешит ответить Арина Петровна и живо выскакивает из-за чая. Но по дороге к ломберному столу ее посещает новая мысль.

— А ты знаешь ли, какой сегодня день? — обращается она к Порфирию Владимирычу.

— Двадцать третье ноября, маменька,— с недоумением отвечает Иудушка.

— Двадцать третье-то, двадцать третье, да помнишь ли ты, что двадцать третьего-то ноября случилось? Про панихидку-то, небось, позабыл?

Порфирий Владимирыч бледнеет и крестится.

— Ах, господи! вот так беда! — восклицает он.— Да так ли? точно ли? позвольте-ка, я в календаре посмотрю.

Через несколько минут он приносит календарь и отыскивает в нем вкладной лист, на котором написано:

«23 ноября. Память кончины милого сына Владимира.

Покойся, милый прах, до радостного утра!
и моли бога за твоего Папу, который в сей день будет неуклонно творить по тебе поминовение и с литургиею».

— Вот тебе и на! — произносит Порфирий Владимирович. — Ах, Володя, Володя! недобрый ты сын! дурной! Видно, не молишься богу за папу, что он даже память у него отнял! как же быть-то с этим, маменька?

— Не бог знает что случилось — и завтра панихидку отслужишь. И панихидку и обеденку — все справим. Все я, старая да беспамятная, виновата. С тем и ехала, чтобы напомнить, да все дорогой и растеряла.

— Ах, грех какой! Хорошо еще, что лампадки в образной зажжены. Точно ведь свыше что меня озарило. Ни праздник у нас сегодня, ни что — просто с Введеньева дня лампадки зажжены, — только подходит ко мне давеча Евпраксеюшка, спрашивает: «Лампадки-то боковые тушить, что ли?» А я, точно вот толкнуло меня, подумал эдак с минуту и говорю: «Не тронь! Христос с ними, пускай погорят!» Ан вот оно что!

— И то хорошо, хоть лампадочки погорели! И то для души облегчение! Ты где садишься-то? опять, что ли, под меня ходить будешь или крале своей станешь мирволить?

— Да уж я и не знаю, маменька, мне можно ли...

— Чего не можно! Садись! Бог простит! не нарочно ведь, не с намерением, а от забвения. Это и с праведниками случилось! Завтра вот чем свет встанем, обеденку отстоим, панихидочку отслужим — все как следует сделаем. И его душа будет радоваться, что родители да добрые люди об нем вспомнили, и мы будем покойны, что свой долг выполнили. Так-то, мой друг. А горевать не след — это я всегда скажу: первое, гореваньем сына не воротишь, а второе — грех перед богом!

Иудушка урезонивается этими словами и целует у маменьки руку, говоря:

— Ах, маменька, маменька! золотая у вас душа, право! Кабы не вы — ну что бы я в эту минуту делал! Ну просто пропал бы! Как есть растерялся бы, пропал!

Порфирий Владимирович делает распоряжение насчет завтрашней церемонии, и все садятся за карты. Сдают раз, сдают другой, Арина Петровна горячится и негодует на Иудушку за то, что он ходит под Евпраксеюшку все с одной. В промежутках сдачи Иудушка предается воспоминаниям о погибшем сыне.

— А какой ласковый был! — говорит он. — Ничего, бывало, без позволения не возьмет. Бумажки нужно — «можно, папа, бумажки взять?» — «Возьми, мой друг!» Или: «Не будете ли,

папа, такой добренький, сегодня карасиков в сметане к завтраку заказать?» — «Изволь, мой друг!» Ах, Володя, Володя! Всем ты был пайка, только тем не пайка, что папку оставил!

Проходит еще несколько туров; опять воспоминания:

— И что такое с ним вдруг случилось — и сам не понимаю! Жил хорошохонько да смирнехонько, жил да поживал, меня радовал — чего бы, кажется, лучше! вдруг — бац! Ведь грех-то, представьте, какой! подумайте только об этом, маменька, на что человек посягнул! на жизнь свою, на дар отца небесного! Из-за чего? зачем? чего ему недоставало? Денег, что ли? Жалованья я, кажется, никогда не задерживаю; даже враги мои, и те про меня этого не скажут. Ну а ежели маловато показалось — так не прогневайся, друг! У папы денежки тоже вот где сидят! Коли мало денег — умей себя сдерживать. Не все сладенького, не все с сахарцем, часком и с кваском покушай! Так-то, брат! Вот папа твой, и надеялся он давеча денежек получить, ан приказчик пришел: терпенковские крестьяне оброка не платят! Ну, нечего делать, написал к мировому прошение! Ах, Володя, Володя! Нет, не пайка ты, бросил папку! Сиротой оставил!

И чем живее идет игра, тем обильнее и чувствительнее делаются воспоминания.

— И какой умный был! Помню я такой случай. Лежит он в кори — лет не больше семи ему было, — только подходит к нему покойница Саша, а он ей и говорит: «Мама! мама! ведь правда, что крылышки только у ангелов бывают?» Ну, та и говорит: «Да, только у ангелов». — «Отчего же, говорит, у папы, как он сюда сейчас входил, крылышки были?»

Наконец разыгрывается какая-то гомерическая игра. Иудушка остается дураком с целыми восемью картами на руках, в числе которых козырные туз, король и дама. Поднимается хохот, подтрунивание, и всему этому благосклонно вторит сам Иудушка. Но среди общего разгара веселости Арина Петровна вдруг стихает и прислушивается.

— Стойте! не шумите! кто-то едет! — говорит она.

Иудушка с Евпраксеюшкой тоже прислушиваются, но без результата.

— Говорю вам: едут! Вона... чу! ветром сюда вдруг подуло... Чу! едет! и даже близко!

Вновь начинают вслушиваться и действительно слышат какое-то далекое позвякивание, то доносимое, то относимое ветром. Проходит минут пять, и колокольчик слышится уже явственно, а вслед за ним и голоса на дворе.

— Молодой барин! Петр Порфирьич приехали! — доносится из передней.

Иудушка встал и застыл на месте, бледный как полотно.

Петенька вошел как-то вяло, поцеловал у отца руку, потом соблюл тот же церемониал относительно бабушки, поклонился Евпраксеюшке и сел. Это был малый лет двадцати пяти, довольно красивой наружности, в дорожной офицерской форме. Вот все, что можно сказать про него, да и сам Иудушка едва ли знал что-нибудь больше. Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми: совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленное, то есть им же самим определенное, жалованье и от которого, взамен того, он имеет право требовать почтения и повиновения. Петенька, с своей стороны, знал, что есть у него отец, который может его во всякое время притеснить. Он довольно охотно ездил в Головлево, особенно с тех пор, как вышел в офицеры, но не потому, чтобы находил удовольствие беседовать с отцом, а просто потому, что всякого человека, не отдавшего себе никакого отчета в жизненных целях, как-то инстинктивно тянет в свое место. Но теперь он, очевидно, приехал по нужде, по принуждению, вследствие чего он не выразил даже ни одного из тех знаков радостного недоумения, которыми обыкновенно ознаменовывает всякий блудный дворянский сын свой приезд в родное место.

Петенька был неразговорчив. На все восклицания отца: «Вот так сюрприз! ну, брат, одолжил! а я-то сижу да думаю: кого это, прости господи, по ночам носит? — ан вот он кто!» и т. д. — он отвечал или молчанием, или принужденною улыбкою. А на вопрос: «И как это тебе вдруг вздумалось?» — отвечал даже грубо:

— Так вот, вздумалось и приехал.

— Ну, спасибо тебе! спасибо! вспомнил про отца! обрадовал! Чай, и про бабушку-старушку вспомнил?

— И про бабушку вспомнил.

— Стой! да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке?

— Да, и про это вспомнилось.

В таком тоне разговор длился с полчаса, так что нельзя было понять, взаправду ли отвечает Петенька, или только отделяется. Поэтому, как ни вынослив был Иудушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил:

— Да, брат, неласков ты! нельзя сказать, чтоб ты ласковый сын был!

Смолчи на этот раз Петенька, прими папенькино замечание с кротостью, а еще лучше, поцелуй у папеньки ручку и скажи ему: «Извините меня, добренький папенька! я ведь с дороги, устал!» — и все бы обошлось благополучно. Но Петенька поступил совсем как неблагодарный.

— Каков есть! — ответил он так грубо, словно хотел сказать: да отвяжись ты от меня, сделай милость!

Тогда Порфирию Владимировичу сделалось так больно, так больно, что и он уж не нашел возможным молчать.

— Кажется, как я об вас заботился! — сказал он с горечью. — Даже и здесь сидишь, а все думаешь: как бы получше, да поскладнее, да чтобы всем было хорошохонько, да уютненько, без нужды да без горяшка... А вы всё от меня прочь да прочь!

— Кто же... вы?

— Ну, ты... да, впрочем, и покойник, царство ему небесное, был такой же...

— Что ж! я вам очень благодарен!

— Никакой я от вас благодарности не вижу! Ни благодарности, ни ласки — ничего!

— Характер неласковый — вот и все. Да вы что всё во множественном говорите? один уж умер...

— Да, умер, бог наказал. Бог непокорных детей наказывает. И все-таки я его помню. Он непокорен был, а я его помню. Вот завтра обеденку отстоим и панихидку отслужим. Он меня обидел, а я все-таки свой долг помню. Господи ты боже мой! да что ж это нынче делается! Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает! Так ли мы, в наше время, поступали! Бывало, едешь в Головлево-то, да за тридцать верст все твердишь: помяни, господи, царя Давида и всю кротость его! Да вот маменька живой человек — она скажет! А нынче... не понимаю! не понимаю!

— И я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал, теперь сижу, вас не трогаю, пью чай, а коли дадите ужинать — и поужинаю. С чего вы всю эту историю подняли?

Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. И сдается ей, что она все ту же знакомую повесть слышит, которая давно, и не запомнит она когда, началась. Закрылась было совсем эта повесть, да вот и опять, нет-нет, возьмет да и раскроется на той же странице. Тем не менее она понимает, что подобная встреча между отцом и сыном не обещает ничего хорошего, и потому считает долгом вмешаться в распрю и сказать примирительное слово.

— Ну, ну, петухи индейские! — говорит она, стараясь придать своему поучению шуточный тон, — только что свиделись, а уж и разодрались! Так и насканивают друг на дружку, так и насканивают! Смотри, сейчас перья полетят! Ах-ах-ах! горе какое! А вы, молодцы, смирненько посидите да ладком между собою поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на вас! Ты, Петенька, — уступи! Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он — отец! Ежели иной раз и горькенько что от отца покажется, а ты прими с готовностью, да с покорностью, да с почте-

нием, потому что ты — сын! Может, из горького-то да вдруг сладкое сделается, — вот ты и в выигрыше! А ты, Порфирий Владимирыч, — снизойди! Он — сын, человек молодой, неженный. Он семьдесят пять верст по ухабам да по сугробам проехал: и устал, и иззяб, и уснуть ему хочется! Вот чай-то уж кончили, велика подавать ужинать, да и на покой! Так-то, други мои! Разбредемся все по своим местам, помолимся, ан сердце-то у нас и пройдет. И все, какие у нас дурные мысли были, — все сном бог прогонит! А завтра ранехонько встанем да об покойнике помолимся. Обеденку отстоим, панихидку отслушаем, а потом, как воротимся домой, и побеседуем. И всякий, отдохнувши, свое дело по порядку, как следует, расскажет. Ты, Петенька, про Петербург, а ты, Порфирий, — про деревенское свое житье. А теперь поужинаем — и с богом, на боковую!

Это увещание оказывает свое действие не потому, чтобы оно заключало что-нибудь действительно убедительное, а потому, что Иудушка и сам видит, что он зарапортовался, что лучше как-нибудь миром покончить день. Поэтому он встает с своего места, целует у маменьки ручку, благодарит «за науку» и приказывает подавать ужинать. Ужин проходит сурово и молчаливо.

Столовая опустела, все разошлись по своим комнатам. Дом мало-помалу стихает, и мертвая тишина ползет из комнаты в комнату и наконец доползает до последнего убежища, в котором дольше прочих закоулков упорствовала обрядовая жизнь, то есть до кабинета головлевского барина. Иудушка наконец покончил с поклонами, которые он долго-долго отсчитывал перед образами, и тоже улегся в постель.

Лежит Порфирий Владимирыч в постели, но не может сомкнуть глаз. Чует он, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное, и уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется: они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и появляются на свет божий по мере того, как наползают на язык. Тем не менее, как только случится в жизни какой-нибудь казус, выходящий из ряда обыкновенных, так в голове поднимается такая суматоха от наплыва афоризмов, что даже сон не может умиротворить ее.

Не спится Иудушке: целые массы пустяков обступили его изголовье и давят его. Собственно говоря, загадочный приезд Петеньки не особенно волнует его, ибо, что бы ни случилось, Иудушка уже ко всему готов заранее. Он знает, что ничто не застанет его врасплох и ничто не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афориз-

мов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его глазах, есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия. Уж на что было больше горя, когда Володя покончил с собой, а он и тут устоял. Это была очень грустная история, продолжавшаяся целых два года. Целых два года Володя перемогался; сначала выказывал гордость и решимость не нуждаться в помощи отца; потом ослаб, стал молить, доказывать, грозить... И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, поданный голодному человеку. Сознавал ли Иудушка, что это камень, а не хлеб, или не сознавал — это вопрос спорный; но во всяком случае у него ничего другого не было, и он подавал свой камень как единственное, что он мог дать. Когда Володя застрелился, он отслужил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время ежегодно 23 ноября служить панихиду «и с литургиею». Но когда, по временам, даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством — вещь по малой мере подозрительная, тогда он выводил на сцену целую свиту готовых афоризмов, вроде «бог непокорных детей наказывает», «гордым бог противится» и проч. — и успокоивался.

Вот и теперь. Нет сомнения, что с Петенькой случилось что-то недоброе, но, что бы ни случилось, он, Порфирий Головлев, должен быть выше этих случайностей. Сам запутался — сам и распутывайся; умел кашу заварить — умеи ее и расхлебывать; любишь кататься — люби и саночки возить. Именно так; именно это самое он и скажет завтра, об чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что ежели и он... Иудушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее наваждению лукавого. Он переворачивается с боку на бок, усиливается уснуть и не может. Только что начнет заводить его сон — вдруг: и рад бы до неба достать, да руки коротки! или: по одежке протягивай ножки... вот я... вот ты... притки вы очень, а знаешь пословицу: поспешность потребна только блох ловить? Обступили кругом пустяки, ползут, лезут, давят. И не спит Иудушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу.

Не спится и Петеньке, хотя дорога порядком-таки изломала его. Есть у него дело, которое может разрешиться только здесь, в Головлеве, но такое это дело, что и невесть как за него взяться. По правде говоря, Петенька отлично понимает, что дело его безнадежное, что поездка в Головлево принесет только лишние неприятности, но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то темный инстинкт самосохранения, который пересиливает всякую сознательность и который так и подталкивает: испробуй все до

последнего! Вот он и приехал, да вместо того чтоб закалить себя и быть готовым перенести все, чуть было с первого шагу не разругался с отцом. Что-то будет из этой поездки? совершится ли чудо, которое должно превратить камень в хлеб, или не совершится?

Не прямее ли было бы взять револьвер и приставить его к виску: господа! я не достоин носить ваш мундир! я растратил казенные деньги! и потому сам себе произношу справедливый и строгий суд! Бац — и все кончено! Исключается из списков умерший поручик Головлев! Да, это было бы решительно и... красиво. Товарищи сказали бы: ты был несчастен, ты увлекался, но... ты был благородный человек! Но он, вместо того чтобы сразу поступить таким образом, довел дело до того, что поступок его стал всем известен, — и вот его отпустили на определенный срок, с тем, чтобы в течение его растрата была непременно пополнена. А потом — вон из полка. И для достижения этой-то цели, в конце которой стоял позорный исход только что начатой карьеры, он поехал в Головлево, поехал с полной уверенностью получить камень вместо хлеба!

А может быть, что-нибудь и будет?! Ведь случается же... Вдруг нынешнее Головлево исчезнет и на месте его очутится новое Головлево, с новой обстановкой, в которой он... Не то чтобы отец... умрет — зачем? — а так... вообще, будет новая «обстановка»... А может быть, и бабушка — ведь у ней деньги есть! Узнает, что беда впереди, — и вдруг даст! На, скажет, поезжай скорее, куда срок не прошел! И вот он едет, торопит ямщиков, насилу поспевает на станцию — и является в полк как раз за два часа до срока! «Молодец Головлев! — говорят товарищи. — Руку, благородный молодой человек! и пусть отныне все будет забыто!» И он не только остается в полку по-прежнему, но производится сначала в штабс-капитаны, потом в капитаны, делается полковым адъютантом (казначеем он уж был), и, наконец, в день полкового юбилея...

Ах! поскорее бы эта ночь прошла! Завтра... ну, завтра пусть будет, что будет! Но что он должен будет завтра выслушать... ах, чего только он не выслушает! Завтра... но для чего же завтра? ведь есть и еще целый день впереди... Ведь он выговорил себе два дня собственно для того, чтобы иметь время убедить, растрогать... Черта с два! убедишь тут, растрогаешь! Нет уж...

Тут мысли его окончательно путаются и постепенно, одна за другой, утопают в сонной мгле. Через четверть часа головлевская усадьба всецело погружается в тяжкий сон.

На другой день, рано утром, весь дом уже на ногах. Все поехали в церковь, кроме, впрочем, Петеньки, который остался дома под предлогом, что устал с дороги. Наконец отслушали обедню и панихиду и воротились домой. Петенька, по обыкновению, подошел к руке отца, но Иудушка подал руку боком, и все

заметили, что он даже не перскрестил сына. Напились чаю, поели поминальной кутьи; Иудушка ходил мрачный, шаркал ногами, избегал разговоров, вздыхал, беспрестанно складывал руки, в знак умной молитвы, и совсем не глядел на сына. С своей стороны, и Петенька ежился и молча курил папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положение не только не улучшилось за ночь, но приняло такие резкие тоны, что Арина Петровна серьезно обеспокоилась и решила разведать у Евпраксеюшки, не случилось ли чего-нибудь.

— Что такое сделалось? — спросила она, — что они с утра словно вороги друг на друга смотрят?

— А я почему знаю? разве я в ихние дела вхожу! — отгрызнулась Евпраксея.

— Уж не ты ли? Может, и внучек к тебе пристаёт?

— Чего ко мне приставать! Просто давеча подкараулил меня в коридоре, а Порфирий Владимырьч и увидели!

— Н-да, так вот оно что!

И действительно, несмотря на крайность своего положения, Петенька отнюдь не оставил присущего ему легкомыслия. И он тоже загляделся на могучую спину Евпраксеюшки и решился ей высказать это. С этою собственно целью он и в церковь не поехал, надеясь, что и Евпраксея, в качестве экономки, останется дома. И вот, когда в доме все стихло, он накинул на плечи шинель и притаился в коридоре. Прошла минута, другая, хлопнула дверь, ведущая из сеней в девичью, и в конце коридора показалась Евпраксея, держа в руках поднос, на котором лежал теплый сдобный крендель к чаю. Но не успел еще Петенька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успел произнести: вот это так спина! — как дверь из столовой отворилась и в ней показался отец.

— Ежели ты сюда пакостничать, мерзавец, приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить! — произнес Иудушка каким-то бесконечно злым голосом.

Разумеется, Петенька в один момент стушевался.

Он не мог, однако ж, не понять, что утреннее происшествие было не из таких, чтобы благоприятно подействовать на его фонды. Поэтому он решился молчать и отложить объяснение до завтра. Но в то же время он не только ничего не делал, чтоб унять раздражение отца, но, напротив того, вел себя самым неосмотрительным и дурацким образом. Не переставая курил папироски, не обращая никакого внимания на то, что отец усиленно отмахивался от облаков дыма, которыми он наполнил комнату. Затем поминутно кидал умильно-дурацкие взоры на Евпраксеюшку, которая под влиянием их как-то вкось улыбалась, что тоже замечал Иудушка.

День потянулся вяло. Попробовала было Арина Петровна

в дураки с Евпраксеюшкой сыграть, но ничего из этого не вышло. Не игралось, не говорилось, даже пустяки как-то не шли на ум, хотя у всех были в запасе целые непочатые углы этого добра. Насилу пришел обед, но и за обедом все молчали. После обеда Арина Петровна собралась было в Погорелку, но Иудушку даже испугало это намерение доброго друга маменьки.

— Христос с вами, голубушка! — воскликнул он. — Что ж, одного, что ли, вы меня оставить хотите, с глазу на глаз с этим... дурным сыном? Нет, нет! и не думайте! не пущу!

— Да что такое? случилось, что ли, что-нибудь промежду вас! рассказывай! — спросила она его.

— Нет, покамест еще ничего не случилось, но вы увидите... Нет, вы уж не оставьте меня! пусть уж при вас... Это не даром! не даром он прикатил... Так если что случится — уж вы будьте свидетельницей!

Арина Петровна покачала головой и решила остаться.

После обеда Порфирий Владимирович удалился спать, усявшись предварительно Евпраксеюшку на село к попу; Арина Петровна, отложив отъезд в Погорелку, тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала. Петенька считал это время самым благоприятным, чтоб попытать счастья у бабушки, и отправился к ней.

— Что ты? в дурачки, что ли, с старухой поиграть пришел? — встретила его Арина Петровна.

— Нет, бабушка, я к вам за делом.

— Ну, рассказывай, говори.

Петенька с минуту помялся на месте и вдруг брякнул:

— Я, бабушка, казенные деньги проиграл.

У Арины Петровны даже в глазах потемнело от неожиданности.

— И много? — спросила она перепуганным голосом, глядя на него остановившимися глазами.

— Три тысячи.

Последовала минута молчания; Арина Петровна беспокойно смотрела из стороны в сторону, точно ждала, не явится ли откуда к ней помощь.

— А ты знаешь ли, что за это и в Сибирь недолго попасть? — наконец произнесла она.

— Знаю.

— Ах, бедный ты, бедный!

— Я, бабушка, у вас хотел займы попросить... я хороший процент заплачу.

Арина Петровна совсем испугалась.

— Что ты, что ты! — заметалась она. — Да у меня и денег только на гроб да на поминаенье осталось! И сыта я только по милости внушек да вот чем у сына полакомлюсь! Нет, нет, нет!

Ты уж меня оставь! Сделай милость, оставь! Знаешь что, ты бы у папеньки попросил!

— Нет, уж что! от железного попа да каменной просвиры ждать! Я, бабушка, на вас надеялся!

— Что ты! что ты! да я бы с радостью, только какие же у меня деньги! и денег у меня таких нет! А ты бы к папеньке обратился, да с лаской, да с почтением! вот, мол, папенька, так и так: виноват, мол, по молодости, проштрафился... Со смешком да с улыбочкой, да ручку поцелуй, да на коленки встань, да поплачь — он это любит, — ну и развяжет папенька мошну для милого сынка.

— А что вы думаете! сделать разве? Стойте-ка! стойте! а что, бабушка, если б вы ему сказали: коли не дашь денег — прокляну! Ведь он этого давно боится, проклятья-то вашего.

— Ну, ну, зачем проклипать! Попроси и так. Попроси, мой друг! Ведь ежели отцу и лишний разок поклонись, так ведь голова не отвалится: отец он! Ну, и он с своей стороны увидит... сделай-ко это! право!

Петенька ходит подбоченившись взад и вперед, словно обдумывает; наконец останавливается и говорит:

— Нет уж. Все равно — не даст. Что бы я ни делал, хоть бы лоб себе разбил кланявшись, — все одно не даст. Вот кабы вы проклятием пригрозили... Так как же мне быть-то, бабушка?

— Не знаю, право. Попробуй — может, и смягчишь. Как же ты это, однако ж, такую себе волю дал: лёгко ли дело — казенные деньги проиграл? научил тебя, что ли, кто-нибудь?

— Так вот, взял да и проиграл. Ну, коли у вас своих денег нет, так из сиротских дайте!

— Что ты? опомнись! как я могу сиротские деньги давать? Нет, уж сделай милость, уволь ты меня! не говори ты со мной об этом, ради Христа!

— Так не хотите? Жаль. А я бы хороший процент дал. Пять процентов в месяц хотите? нет? ну, через год капитал на капитал?

— И не соблазняй ты меня! — замахала на него руками Арина Петровна. — Уйди ты от меня, ради Христа! еще папенька неравно услышит, скажет, что я же тебя возмутила! Ах ты, господи! Я, старуха, отдохнуть хотела, даже задремала совсем, а он вон с каким делом пришел!

— Ну, хорошо. Я уйду. Стало быть, нельзя? Прекрасно-с. По-родственному. Из-за трех тысяч рублей внук в Сибирь должен пойти! Напутственный-то молебен отслужить не забудьте!

Петенька хлопнул дверью и ушел. Одна из его легкомысленных надежд лопнула — что теперь предпринять? Остается одно: во всем открыться отцу. А может быть... Может быть, что-нибудь...

«Пойду сейчас и покончу разом! — говорил он себе. — Или нет! Нет, зачем же сегодня... Может быть, что-нибудь... да, впрочем, что же такое может быть? Нет, лучше завтра... Все-таки, хоть нынче день... да, лучше завтра. Скажу — и уеду».

На том и покончил, что завтра — всему конец...

После объяснения с бабушкой вечер потянулся еще вялее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действительную причину приезда Петеньки. Иудушка пробовал было заигрывать с маменькой, но, видя, что она об чем-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только курил. За ужином Порфирий Владимыч обратился к нему с вопросом:

— Да скажешь ли ты наконец, зачем ты сюда пожаловал?

— Завтра скажу, — угрюмо ответил Петенька.

Петенька встал рано после почти совсем бессонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преследовала его — мысль, начинавшаяся надеждой: может быть, и даст! и неизменно кончавшаяся вопросом: и зачем я сюда приехал? Может быть, он не понимал своего отца, но во всяком случае он не знал за ним ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и, эксплуатируя которую, можно было бы чего-нибудь достигнуть. Он чувствовал только одно: что в присутствии отца он находится лицом к лицу с чем-то неизъяснимым, неуловимым. Незнание, с какого конца подойти, с чего начать речь, порождало ежели не страх, то во всяком случае беспокойство. И так шло с самого детства. Всегда, с тех пор как он начал себя помнить, дело было поставлено так, что лучше, казалось, совсем отказаться от какого-нибудь предположения, нежели поставить его в зависимость от решения отца. Так было и теперь. С чего он начнет? как начнет? что скажет?.. Ах, зачем только он приехал?

Им овладела тоска. Тем не менее он понял, что впереди оставалось только несколько часов и что, следовательно, надо же что-нибудь делать. Набравшись напускной решимости, застегнувши сюртук и пошептавши что-то на ходу, он довольно твердым шагом направился к отцовскому кабинету.

Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что бог избавит его от лукавого. Он знал множество молитв, и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния. То есть знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь и когда держать их воздетыми, когда надлежит умиляться и когда стоять чинно,

творя умеренные крестные знамения. И глаза и нос его краснели и увлажнялись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог молиться и проделывать все нужные телодвижения — и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и т. д. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы.

Когда Петенька вошел в кабинет, Порфирий Владимирович стоял на коленях с воздетыми руками. Он не переменил своего положения, а только подрыгал одной рукой в воздухе, в знак того, что еще не время. Петенька расположился в столовой, где уже был накрыт чайный прибор, и стал ждать. Эти полчаса показались ему вечностью, тем более что он был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно. Напускная твердость, которою он вооружился, мало-помалу стала уступать место чувству досады. Сначала он сидел смирно, потом принялся ходить взад и вперед по комнате и, наконец, стал что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабинета приотворилась и оттуда послышался раздраженный голос Иудушки:

— Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти!

Немного погодя Порфирий Владимирович вышел, одетый весь в черном, в чистом белье, словно приготовленный к чему-то торжественному. Лицо у него было светлое, умиленное, дышащее смирением и радостью, как будто он сейчас только «сподобился». Он подошел к сыну, перекрестил и поцеловал его.

— Здравствуй, друг! — сказал он.

— Здравствуйте!

— Каково почивал? постельку хорошо ли постлали? клопиков, блошек не чувствовал ли?

— Благодарю вас. Спал.

— Ну, спал — так и слава богу. У родителей только и можно слатенько поспать. Это уж я по себе знаю: как ни хорошо, бывало, устроишься в Петербурге, а никогда так сладко не уснешь, как в Головлеве. Точно вот в колыбельке тебя покачивает. Так как же мы с тобой: попьем чайку, что ли, сначала, или ты сейчас что-нибудь сказать хочешь?

— Нет, лучше теперь поговорим. Мне через шесть часов усхать надо, так, может быть, и обдумать кой-что время понадобится.

— Ну, ладно. Только я, брат, говорю прямо: никогда я не обдумываю. У меня всегда ответ готов. Коли ты правильного чего просишь — изволь! никогда я ни в чем правильном не откажу. Хоть и трудненько иногда и не по силам, а ежели правильно — не могу отказать! Натура такая. Ну, а ежели просишь

неправильно — не прогневайся! Хоть и жалко тебя — а откажу! У меня, брат, вывертов нет! Я весь тут, на ладони. Ну, пойдем, пойдем в кабинет! Ты поговоришь, а я послушаю! Послушаем, послушаем, что такое!

Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимирович оставил дверь слегка приотворенною и затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. Словно он инстинктивно чувствовал, что дело будет щекотливое и что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее. И выражение лица скрыть удобнее и прекратить объяснение, ежели оно примет слишком неприятный оборот, легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетелей можно сослаться, потому что маменька с Евпраксеюшкой, наверное, не замедлят явиться к чаю в столовую.

— Я, папенька, казенные деньги проиграл, — разом и как-то тупо высказался Петенька.

Иудушка ничего не сказал. Только можно было заметить, как дрогнули у него губы. И вслед за тем он, по обыкновению, начал шептать.

— Я проиграл три тысячи, — пояснил Петенька, — и ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия.

— Что ж, внеси! — любезно молвил Порфирий Владимирович.

Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясняться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло.

— Откуда же я возьму деньги? — наконец выговорил он.

— Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги, — из тех и плати.

— Вы сами очень хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают!

— Ничего я, мой друг, не знаю. Я в карты никогда не игрывал — только вот разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтоб потешить старушку. И, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай, а пойдем-ка лучше чайку попьем. Попьем да посидим, может и поговорим об чем-нибудь, только уж, ради Христа, не об этом.

И Иудушка направился было к двери, чтобы юркнуть в столовую, но Петенька остановил его.

— Позвольте, однако ж, — сказал он, — надобно же мне как-нибудь выйти из этого положения.

Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо.

— Надо, голубчик! — согласился он.

— Так помогите же!

— А это... это уж другой вопрос. Что надобно как-нибудь

выйти из этого положения — это так, это ты правду сказал. А как выйти — это уж не мое дело!

— Но почему же вы не хотите помочь?

— А потому, во-первых, что у меня нет денег для покрытия твоих дрянных дел, а во-вторых, — и потому, что вообще это до меня не касается. Сам напутал — сам и выпутывайся. Любишь кататься — люби и саночки возить. Так-то, друг. Я ведь и давеча с того начал, что ежели ты просишь правильно...

— Знаю, знаю. Много у вас на языке слов...

— Пстой, попридержи свои дерзости, дай мне досказать. Что это не одни слова — это я тебе сейчас докажу... Итак, я тебе давеча сказал: если ты будешь просить должного, дельного — изволь, друг! всегда готов тебя удовлетворить! Но ежели ты приходишь с просьбой не дельною — извини, брат! На дрянные дела у меня денег нет, нет и нет! И не будет — ты это знай! И не смей говорить, что это одни «слова», а понимай, что эти слова очень близко граничат с делом.

— Подумайте, однако ж, что со мной будет!

— А что богу угодно, то и будет, — отвечал Иудушка, слегка воздевая руки и искоса поглядывая на образ.

Отец и сын опять сделали несколько туров по комнате. Иудушка шел нехотя, словно жаловался, что сын держит его в плену. Петенька, подбоченившись, следовал за ним, кусая усы и нервно усмехаясь.

— Я последний сын у вас, — сказал он, — не забудьте об этом!

— У Иова, мой друг, бог и всё взял, да он не роптал, а только сказал: бог дал, бог и взял — твори, господи, волю свою! Так-то, брат!

— То бог взял, а вы сами у себя отнимаете. Володя...

— Ну, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить!

— Нет, это не пошлости, а правда. Всем известно, что Володя...

— Нет, нет, нет! Не хочу я твои пошлости слушать! Да и вообще — довольно. Что надо было высказать, то ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить. Посидим да поговорим, потом поедим, выпьем на прощанье — и с богом. Видишь, как бог для тебя милостив! И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трюх да трюх — и не увидишь, как доплетешься до станции!

— Послушайте! наконец я прошу вас! ежели у вас есть хоть капля чувства...

— Нет, нет, нет! не будем об этом говорить! Пойдем в столовую: маменька, поди, давно без чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать.

Иудушка сделал крутой поворот и почти бегом направился к двери.

— Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставляю! — крикнул ему вслед Петенька. — Хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать!

Иудушка воротился назад и встал прямо против сына.

— Что тебе от меня, негодяй, нужно... сказывай! — спросил он взволнованным голосом.

— Мне нужно, чтоб вы заплатили те деньги, которые я проиграл.

— Никогда!!

— Так это ваше последнее слово?

— Видишь? — торжественно воскликнул Иудушка, указывая пальцем на образ, висевший в углу. — Это видишь? Это папенькино благословение... Так вот я при нем тебе говорю: никогда!!

И он решительным шагом вышел из кабинета.

— Убийца! — пронеслось вдогонку ему.

Арина Петровна сидит уже за столом, и Евпраксеюшка делает все приготовления к чаю. Старуха задумчива, молчалива и даже как будто стыдится Петеньки. Иудушка, по обычаю, подходит к ее ручке, и, по обычаю же, она машинально крестит его. Потом, по обычаю, идут вопросы, все ли здоровы, хорошо ли почивали, на что следуют обычные односложные ответы.

Уже накануне вечером она была скучна. С тех пор как Петенька попросил у нее денег и разбудил в ней воспоминание о «проклятии», она вдруг впала в какое-то загадочное беспокойство, и ее неотступно начала преследовать мысль: «А что, ежели прокляну?» Узнавши утром, что в кабинете началось объяснение, она обратилась к Евпраксеюшке с просьбой:

— Поди-ко, сударка, подслушай потихоньку у дверей, что они там говорят!

Но Евпраксеюшка хотя и подслушала, но была настолько глупа, что ничего не поняла.

— Так, промежду себя разговаривают! Не очень кричат! — объяснила она возвратившись.

Тогда Арина Петровна не вытерпела и сама отправилась в столовую, куда тем временем и самовар был уже подан. Но объяснение уж приходило к концу; слышала она только, что Петенька возвышает голос, а Порфирий Владимирович словно зудит в ответ.

«Зудит! именно зудит! — вертелось у нее в голове. — Вот и тогда он так же зудел! и как это я в то время не поняла!»

Наконец оба, и отец и сын, появились в столовой. Петенька был красен и тяжело дышал; глаза у него смотрели широко,

волосы на голове растрепались, лоб был усеян мелкими каплями пота. Напротив, Иудушка вошел бледный и злой; хотел казаться равнодушным, но, несмотря на все усилия, нижняя губа его дрожала. Насилу мог он выговорить обычное утреннее приветствие милому другу маменьке.

Все заняли свои места вокруг стола; Петенька сел несколько поодаль, отвалился на спинку стула, положил ногу на ногу и, закуривая папироску, иронически посматривал на отца.

— Вот, маменька, и погодка у нас унялась, — начал Иудушка, — какое вчера смятение было, ах богу стоило только захотеть — вот у нас тишь да гладь да божья благодать! так ли, друг мой?

— Не знаю; не выходила я из дому сегодня.

— А мы кстати дорогого гостя провожаем, — продолжал Иудушка, — я давеча еще где-где встал, посмотрел в окно — ах на дворе тихо да спокойно, точно вот ангел божий пролетел и в одну минуту своим крылом все это возмущение усмирил!

Но никто даже не ответил на ласковые Иудушкины слова; Евпраксеюшка шумно пила с блюдечка чай, дуя и отфыркиваясь; Арина Петровна смотрела в чашку и молчала; Петенька, раскачиваясь на стуле, продолжал посматривать на отца с таким иронически вызывающим видом, точно вот ему больших усилий стоит, чтоб не прыснуть со смеха.

— Теперича ежели Петенька и не шибко поедет, — опять начал Порфирий Владимырьч, — и тут к вечеру легко до станции железной дороги поспеет. Лошади у нас свои, не мученные, часика два в Муравьеве покормят — мигом домчат. А там — фиюю! пошла машина погромохивать! Ах, Петька! Петька! недобрый ты! остался бы ты здесь с нами, погостил бы — право! И нам было бы веселее, да и ты бы — смотри, как бы ты здесь в одну неделю поправился!

Но Петенька все продолжает раскачиваться на стуле и посматривать на отца.

— Ты что на меня все смотришь? — закипает наконец Иудушка, — узоры, что ли, видишь?

— Смотрю, жду, что еще от вас будет!

— Ничего, брат, не высмотришь! как сказано, так и будет. Я своего слова не изменю!

Наступает минута молчания, в продолжение которой явственно раздается шепот:

— Иудушка!

Порфирий Владимырьч несомненно слышал эту апострофу (он даже побледнел), но делает вид, что восклицание до него не относится.

— Ах, детки, детки, — говорит он, — и жаль вас, и хотелось бы приласкать да приголубить вас, да, видно, нечего делать — не судьба! Сами вы от родителей бежите, свои у вас завелись

друзья-приятели, которые дороже для вас и отца с матерью. Ну, и нечего делать! Подумаешь-подумаешь — и покоришься. Люди вы молодые, а молодому, известно, приятнее с молодым побыть, чем со стариком-ворчуном! Вот и смиряешь себя и не ропщешь; только и просишь отца небесного: твори, господи, волю свою!

— Убийца! — вновь шепчет Петенька, но уже так явственно, что Арина Петровна со страхом смотрит на него. Перед глазами ее что-то вдруг пронеслось, словно тень Степки-балбеса.

— Ты про кого это говоришь? — спрашивает Иудушка, весь дрожа от волнения.

— Так, про одного знакомого.

— То-то! так ты так и говори! Ведь бог знает, что у тебя на уме: может быть, ты из присутствующих кого-нибудь так честишь!

Все смолкают; стаканы с чаем стоят нетронутыми. Иудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущает что-то вроде предсмертной тоски и под влиянием ее готов идти до крайних пределов. И отец и сын с какою-то неизъяснимою улыбкой смотрят друг другу в глаза. Как ни высколил себя Порфирий Владимыч, но близится минута, когда и он не в состоянии будет сдерживаться.

— Ты бы лучше за добра́ ума уехал! — наконец высказывается он. — Да!

— И то уеду.

— Чего ждать-то! Я вижу, что ты на ссору лезешь, а я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно, без ссор да без свар — вот бабушка-старушка здесь сидит, хоть бы ее ты посовестился! Ну, зачем ты к нам приехал?

— Я вам говорил, зачем.

— А коли затем только, так напрасно трудился. Уезжай, брат! Эй, кто там? велите-ка для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жареного, да икорки, да еще там чего-нибудь... яичек, что ли, в бумажку заверните. На станции, брат, и закусишь, покуда лошадей подкормят. С богом!

— Нет! я еще не поеду. Я еще в церковь пойду, попрошу панихиду по убиенном рабе божием, Владимире, отслужить.

— По самоубийце то есть...

— Нет, по убиенном.

Отец и сын смотрят друг на друга во все глаза. Так и кажется, что оба сейчас вскочат. Но Иудушка делает над собой нечеловеческое усилие и оборачивается со стулом лицом к столу.

— Удивительно! — говорит он надорванным голосом, — удивитель-но!

— Да, по убиенном! — грубо настаивает Петенька.

— Кто же его убил? — любопытствует Иудушка, по-видимому все-таки надеясь, что сын опомнится.

Но Петенька, нимало не смущаясь, выпаливает, как из пушки:

— Вы!!

— Я?!

Порфирий Владимирович не может прийти в себя от изумления. Он торопливо поднимается со стула, обращается лицом к образу и начинает молиться.

— Вы! вы! вы! — повторяет Петенька.

— Ну, вот! ну, слава богу! вот теперь полегче стало, как помолился! — говорит Иудушка, вновь присаживаясь к столу. — Ну, стой! погоди! хоть мне, как отцу, можно было бы и не входить с тобой в объяснения, — ну, да уж пусть будет так! Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку?

— Да, вы!

— А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он — в Петербурге. При чем же я тут мог быть? как мог я его за семьсот верст убить?

— Уж будто вы и не понимаете?

— Не понимаю... видит бог, не понимаю!

— А кто Володю без копейки оставил? кто ему жалованье прекратил? кто?

— Те-те-те! так зачем он женился против желанья отца?

— Да ведь вы же позволили?

— Кто? я? Христос с тобой! Никогда я не позволял! нни-когда!

— Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово десять значений имеет; пойдя угадывай!

— Никогда я не позволял! Он мне в то время написал: «Хочу, папа, жениться на Лидочке». Понимаешь: «хочу», а не «прошу позволения». Ну, и я ему ответил: коли хочешь жениться, так женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было, — поддразнивает Петенька, — а разве это не позволение?

— То-то что нет. Я что сказал? я сказал: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю — это другой вопрос. Он у меня позволения и не просил, он прямо написал: хочу, папа, жениться на Лидочке — ну, и я насчет позволения умолчал. Хочешь жениться — ну, и Христос с тобой! женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке — я препятствовать не могу!

— А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и писали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтоб ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере тогда было бы ясно.

— Нет, этого я никогда не позволю себе сделать! Чтоб я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну — никогда!! У меня такое правило, что я никому не препятствую! Захотел жениться — женись! Ну, а насчет последствий — не погневайся! Сам должен был предусматривать — на то и ум тебе от бога дан. А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да не прошу, чтоб и другие в мои дела вмешивались. Да, не прошу, не прошу, не прошу, и даже... запрещаю! Слышишь ли, дурной, непочтительный сын, — за-пре-щаю!

— Запрещайте, пожалуй! всем ртов не замажете!

— И хоть бы он раскаялся! хоть бы он понял, что отца обидел! Ну, сделал пошлость — ну, и раскайся! Попроси прощения! простите, мол, душенька папенька, что вас огорчил! А то на-тко!

— Да ведь он писал вам; он объяснял, что ему жить нечем, что дольше ему терпеть нет сил...

— С отцом не объясняются-с. У отца прощения просят — вот и все.

— И это было. Он так был измучен, что и прощения просил. Все было, все!

— А хоть бы и так — опять-таки он не прав. Попросил раз прощения, видит, что папа не прощает — и в другой раз попроси!

— Ах вы!

Сказавши это, Петенька вдруг перестает качаться на стуле, оборачивается к столу и облокачивается на него обеими руками.

— Вот и я... — чуть слышно произносит он.

Лицо его постепенно искажается.

— Вот и я... — повторяет он, разражаясь истерическими рыданиями.

— А кто ж вино...

Но Иудушке не удалось покончить свое поучение, ибо в эту самую минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчас перестрелки об Арине Петровне словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротив того, с первого же взгляда можно было заподозрить, что в ней происходит что-то не совсем обыкновенное и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни. Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово — и не могли. И вдруг, в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась с своего кресла, протянула вперед руку, и из груди ее вырвался вопль:

— Прро-кли-инаааю!

ПЛЕМЯННУШКА

Иудушка так-таки и не дал Петеньке денег, хотя, как добрый отец, приказал в минуту отъезда положить ему в повозку и курочки, и телятинки, и пирожок. Затем он, несмотря на стужу и ветер, самолично вышел на крыльцо проводить сына, справился, ловко ли ему сидеть, хорошо ли он закутал себе ноги, и, возвратившись в дом, долго крестил окно в столовой, посылая заочное напутствие повозке, увозившей Петеньку. Словом, весь обряд выполнял как следует, по-родственному.

— Ах, Петька, Петька! — говорил он, — дурной ты сын! нехороший! Ведь вот что набедокурил... ах-ах-ах! И что бы, кажется, жить потихоньку да полегоньку, смирененько да ладненько, с папкой да с бабушкой-старушкой — так нет! Фу-ты! ну-ты! У нас свой царь в голове есть! своим умом проживем! Вот и ум твой! Ах, горе какое вышло!

Но ни один мускул при этом не дрогнул на его деревянном лице, ни одна нота в его голосе не прозвучала чем-нибудь похожим на призыв блудному сыну. Да, впрочем, никто и не слышал его слов, потому что в комнате находилась одна Арина Петровна, которая, под влиянием только что испытанного потрясения, как-то разом потеряла всякую жизненную энергию и сидела за самоваром, раскрыв рот, ничего не слыша и без всякой мысли глядя вперед.

Затем жизнь потекла по-прежнему, исполненная праздной суеты и бесконечного пустословия...

Вопреки ожиданиям Петеньки, Порфирий Владимирович вынес материнское проклятие довольно спокойно и ни на волос не отступил от тех решений, которые, так сказать, всегда готовые сидели в его голове. Правда, он слегка побледнел и бросился к матери с криком:

— Маменька! душенька! Христос с вами! успокойтесь, голубушка! бог милостив! все устроится!

Но слова эти были скорее выражением тревоги за мать, нежели за себя. Выходка Арины Петровны была так внезапна, что Иудушка не догадался даже притвориться испуганным. Еще накануне маменька была к нему милостива, шутила, играла с Евпраксеюшкой в дурачки — очевидно, стало быть, что ей только что-нибудь на минуту помстилось, а преднамеренного, «настоящего» не было ничего. Действительно, он очень боялся маменькинова проклятия, но представлял его себе совершенно иначе. В праздном его уме на этот случай целая обстановка сложилась: образа, зажженные свечи, маменька стоит среди комнаты, страшная, с почерневшим лицом... и проклиная! Потом: гром, свечи потухли, завеса разодралась, тьма покрыла землю, а сверху, среди

туч, виднеется разгневанный лик Иеговы, освещенный молниями. Но так как ничего подобного не случилось, то значит, что маменька просто сблажила, показалось ей что-нибудь — и больше ничего. Да и не с чего было ей «настоящим образом» проклинать, потому что в последнее время у них не было даже предлогов для столкновения. С тех пор, как он заявил сомнение насчет принадлежности маменьке тарантаса (Иудушка соглашался внутренно, что *тогда* он был виноват и заслуживал проклятия), воды утекло много; Арина Петровна смирилась, а Порфирий Владимирыч только и думал об том, как бы успокоить доброго друга маменьку.

«Плоха старушка, ах, как плоха! временем даже забываться уж начала! — утешал он себя. — Сядет, голубушка, в дураки играть — смотришь, ан она дремлет!»

Справедливость требует сказать, что ветхость Арины Петровны даже тревожила его. Он еще не приготовился к утрате, ничего не обдумал, не успел сделать надлежащие выкладки: сколько было у маменьки капитала при отъезде из Дубровина, сколько капитал этот мог приносить в год доходу, сколько она могла из этого дохода тратить и сколько присовокупить. Словом сказать, не проделал еще целой массы пустяков, без которых он всегда чувствовал себя застигнутым зрасплох.

«Старушка крепонька! — мечталось ему иногда, — не проживет она всего — где прожить! В то время как она нас отделяла, хороший у нее капитал был! Разве сироткам чего не передала ли — да нет, и сироткам не много даст! Есть у старушки деньги, есть!»

Но мечтания эти покуда еще не представляли ничего серьезного и улетучивались, не задерживаясь в его мозгу. Масса обыденных пустяков и без того была слишком громадна, чтоб увеличивать ее еще новыми, в которых покамест не настояло насущной потребности. Порфирий Владимирыч все откладывал да откладывал и только после внезапной сцены проклятия спохватился, что пора начинать.

Катастрофа наступила, впрочем, скорее, нежели он предполагал. На другой день после отъезда Петеньки Арина Петровна уехала в Погорелку и уже не возвращалась в Головлево. С месяц она провела в совершенном уединении, не выходя из комнаты и редко-редко позволяя себе промолвить слово даже с прислугой. Вставши утром, она по привычке садилась к письменному столу, по привычке же начинала раскладывать карты, но никогда почти не доканчивала и словно застывала на месте с вперенными в окно глазами. Что она думала и даже думала ли об чем-нибудь — этого не разгадал бы самый проницательный знаток сокровеннейших тайн человеческого сердца. Казалось, она хотела что-то вспомнить, хоть, например, то, каким образом она очутилась здесь, в этих стенах, и — не могла. Встревоженная ее молчанием,



Афимьюшка заглядывала в комнату, поправляла в кресле подушки, которыми она была обложена, пробовала заговорить об чем-нибудь, но получала только односложные и нетерпеливые ответы. Раза с два в течение этого времени приезжал в Погорелку Порфирий Владимирыч, звал маменьку в Головлево, пытался распалить ее воображение представлением об рыжичках, карасиках и прочих головлевских соблазнах, но она только загадочно улыбалась на его предложения.

Одним утром она, по обыкновению, собралась встать с постели и не могла. Она не ощущала никакой особенной боли, ни на что не жаловалась, а просто не могла встать. Ее даже не встревожило это обстоятельство, как будто оно было в порядке вещей. Вчера сидела еще у стола, была в силах бродить — нынче лежит в постели, «неможется». Ей даже покойнее чувствовалось. Но Афимьюшка всполошилась и, потихоньку от барыни, послала гонца к Порфирию Владимирычу.

Иудушка приехал рано утром на другой день; Арине Петровне было уж значительно хуже. Обстоятельно расспросил он прислугу, что маменька кушала, не позволила ли себе чего лишненького, но получил ответ, что Арина Петровна уж с месяц почти ничего не ест, а со вчерашнего дня и вовсе отказалась от пищи. Потужил Иудушка, помахал руками и, как добрый сын, прежде чем войти к матери, погрелся в девичьей у печки, чтоб не охватило больную холодным воздухом. И, кстати (у него насчет покойников какой-то дьявольский нюх был), тут же начал распоряжаться. Расспросил насчет попа, дома ли он, чтоб, в случае надобности, можно было сейчас же за ним послать, справился, где стоит маменькин ящик с бумагами, заперт ли он, и, успокоившись насчет существенного, призвал кухарку и велел приготовить обедать для себя.

— Мне немного надо! — говорил он, — курочка есть? Ну, супцу из курочки сварите! Может быть, солонинка есть — солонинки кусочек приготовьте! Жаркóвца какого-нибудь... вот я и сыт!

Арина Петровна лежала, распростершись, навзничь на постеле, с раскрытым ртом и тяжело дыша. Глаза ее смотрели широко; одна рука выбилась из-под заячьего одеяла и застыла в воздухе. Очевидно, она прислушивалась к шороху, который произвел приезд сына, а может быть, до нее долетали и самые приказания, отдаваемые Иудушкой. Благодаря опущенным шторам в комнате царствовали сумерки. Светильни догорали на дне лампадок, и слышно было, как они трещали от прикосновения с водою. Воздух был тяжел и смраден; духота от жарко натопленных печей, от чада, распространяемого лампадками, и от миазмов стояла невыносимая. Порфирий Владимирыч, в валяных сапогах, словно змей, проскользнул к постели матери; длинная и сухощавая его фигура загадочно колебалась, охваченная сумерками.

Арина Петровна следила за ним не то испуганными, не то удивленными глазами и жалась под одеялом.

— Это я, маменька, — сказал он, — что это как вы развинтились сегодня! ах-ах-ах! То-то мне нынче не спалось; всю ночь вот так и поталкивало: дай, думаю, проведу, как-то погорелковские друзья поживают! Утром сегодня встал, сейчас-это кибиточку, парочку лошадушек — и вот он-он!

Порфирий Владимирович любезно хихикнул, но Арина Петровна не отвечала и все больше и больше жалась под одеялом.

— Ну, бог милостив, маменька! — продолжал Иудушка. — Главное, в обиду себя не давайте! Плюньте на хворость, встаньте с постельки да пройдитесь молодцом по комнате! вот так!

Порфирий Владимирович встал со стула и показал, как молодцы прохаживаются по комнате.

— Да постойте, дайте-ка я шторку подниму да посмотрю на вас! Э! да вы молодец молодцом, голубушка! Стоит только подбодриться, да богу помолиться, да прифрантиться — хоть сейчас на бал! Дайте-ка, вот я вам святой водицы богоявленской привез, откушайте-ка!

Порфирий Владимирович вынул из кармана пузырек, отыскал на столе рюмку, налил и поднес больной. Арина Петровна сделала было движение, чтоб поднять голову, но не могла.

— Сирот бы... — простонала она.

— Ну вот, уж и сиротки понадобились! Ах, маменька, маменька! Как это вы вдруг... на-тко! Капельку прихворнули — и уж духом упали! Все будет! и к сироткам эстафету пошлем, и Петьку из Питера выпишем — все чередом сделаем! Не к спеху ведь; мы с вами еще поживем! да еще как поживем-то! Вот лето настанет — в лес по грибы вместе пойдем; по малину, по ягоду, по черну смородину! А не то — так в Дубровино карасей ловить поедем! Запряжем старика савраску в длинные дроги, потихоньку да полегоньку, трюх-трюх, сядем и поедем!

— Сирот бы... — повторила Арина Петровна тоскливо.

— Приедут и сиротки. Дайте срок — всех скличем, все приедем. Приедем да кругом вас и обсядем. Вы будете насадка, а мы цыплятки... цып-цып-цып! Все будет, коли вы будете пайнька. А вот за это вы уж не пайнька, что хворать вздумали. Ведь вот вы что, проказница, затеяли... ах-ах-ах! чем бы другим пример подавать, а вы вот как! Нехорошо, голубушка! ах, плохо!

Но как ни старался Порфирий Владимирович и шуточками и прибаутками подбодрить милого друга маменьку, силы ее падали с каждым часом. Послали в город нарочного за лекарем, и так как больная продолжала тосковать и звать сироток, то Иудушка собственноручно написал Анниньке и Любиньке письмо, в котором сравнивал их поведение с своим, себя называл христианином, а их — неблагодарными. Ночью лекарь приехал, но было

уже поздно. Арину Петровну, как говорится, в один день «сварило». Часу в четвертом ночи началась агония, а в шесть часов утра Порфирий Владимирович стоял на коленях у постели матери и вопил:

— Маменька! друг мой! благословите!

Но Арина Петровна не слыхала. Открытые глаза ее тускло смотрели в пространство, словно она старалась что-то понять и не понимала.

Иудушка тоже не понимал. Он не понимал, что открывавшаяся перед его глазами могила уносила последнюю связь его с живым миром, последнее живое существо, с которым он мог делить прах, наполнявший его. И что отныне этот прах, не находя истока, будет накапливаться в нем до тех пор, пока окончательно не задушит его.

Собычною суетливостью окунулся он в бездну мелочей, сопровождающих похоронный обряд. Служил панихиды, заказывал сорокоусты, толковал с попом, шаркал ногами, переходя из комнаты в комнату, заглядывал в столовую, где лежала покойница, крестился, воздевал глаза к небу, вставал по ночам, неслышно подходил к двери, вслушивался в монотонное чтение псаломщика и проч. При чем был приятно удивлен, что даже особенных издержек для него по этому случаю не предстояло, потому что Арина Петровна еще при жизни отложила сумму на похороны, расписав очень подробно, сколько и куда следует употребить.

Схоронивши мать, Порфирий Владимирович немедленно занялся приведением в известность ее дел. Разбирая бумаги, он нашел до десяти разных завещаний (в одном из них она называла его «непочтительным»); но все они были писаны еще в то время, когда Арина Петровна была властною барыней, и лежали неоформленными, в виде проектов. Поэтому Иудушка остался очень доволен, что ему не привелось даже покривить душой, объявляя себя единственным законным наследником оставшегося после матери имущества. Имущество это состояло из капитала в пятнадцать тысяч рублей и из скудной движимости, в числе которой был и знаменитый тарантас, едва не послуживший яблоком раздора между матерью и сыном. Арина Петровна тщательно отделяла свои счета от опекунских, так что сразу можно было видеть, что принадлежит ей и что — сироткам. Иудушка немедленно заявил себя где следует наследником, опечатав бумаги, относящиеся до опеки, роздал прислуге скудный гардероб матери; тарантас и двух коров, которые, по описи Арины Петровны, значились под рубрикой «мои», отправил в Головлево и затем, отслуживши последнюю панихиду, отправился восвояси.

— Ждите владелиц, — говорил он людям, собравшимся в сенях, чтоб проводить его, — приедут — милости просим! не приедут — как хотят! Я, с своей стороны, все сделал; счета по опеке

привел в порядок, ничего не скрыл, не утаил — все у всех на глазах делал. Капитал, который после маменьки остался, принадлежит мне — по закону; тарантас и две коровы, которые я в Головлево отправил, — тоже мои, по закону. Может быть, даже кой-что из моего здесь осталось — ну, да бог с ним! сироткам и бог велел подавать! Жаль маменьку! добрая была старушка! пёчная! Вот и об вас, об прислуге, позаботилась, гардероб свой вам оставила! Ах, маменька, маменька! нехорошо вы это, голубушка, сделали, что нас сиротами покинули! Ну, да уж если так богу угодно, то и мы святой его воле покоряться должны! Только бы вашей душе было хорошо, а об нас... что уж об нас думать!

За первой могилкой скоро последовала и другая.

К истории сына Порфирий Владимирыч отнесся довольно загадочно. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял и потому сведений о процессе, в котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог. Да вряд ли он и желал что-нибудь знать об этом предмете. Вообще это был человек, который пуще всего сторонился от всяких тревог, который по уши погряз в тину мелочей самого паскудного самосохранения и которого существование, вследствие этого, нигде и ни на чем не оставило после себя следов. Таких людей довольно на свете, и все они живут особняком, не умея и не желая к чему-нибудь приютиться, не зная, что ожидает их в следующую минуту, и лопаюсь под конец, как лопаются дождевые пузыри. Нет у них дружеских связей, потому что для дружества необходимо существование общих интересов; нет и деловых связей, потому что даже в мертвом деле бюрократизма они выказывают какую-то уж совершенно нестерпимую мертвенность. Тридцать лет сряду Порфирий Владимирыч толкался и мелькал в департаменте; потом в одно прекрасное утро исчез — и никто не заметил этого. Поэтому он узнал об участи, постигшей сына, последний, когда весть об этом распространилась уже между дворовыми. Но и тут притворился, что ничего не знает, так что когда Евпраксеюшка заикнулась однажды упомянуть об Петеньке, то Иудушка замахал на нее руками и сказал:

— Нет, нет, нет! и не знаю, и не слыхал, и слышать не хочу! Не хочу я его грязных дел знать!

Но наконец узнать все-таки привелось. Пришло от Петеньки письмо, в котором он уведомлял о своем предстоящем отъезде в одну из дальних губерний и спрашивал, будет ли папенька высылать ему содержание в новом его положении. Весь день после этого Порфирий Владимирыч находился в видимом недоумении, сновал из комнаты в комнату, заглядывал в образную, крестился и охал. К вечеру, однако ж, собрался с духом и написал.

«Преступный сын Петр!

Как верный подданный, обязанный чтить законы, я не должен был бы даже отвечать на твое письмо. Но как отец, причастный человеческим слабостям, не могу, из чувства сострадания, отказать в благом совете детищу, ввергнувшему себя, по собственной вине, в пучину зол. Итак, вот вкратце мое мнение по сему предмету. Наказание, коему ты подвергся, тяжело, но вполне тобою заслужено — такова первая и самая главная мысль, которая отныне всегда должна тебе в твоей новой жизни сопутствовать. А все остальные прихоти и даже воспоминания об оных ты должен оставить, ибо в твоём положении все сие может только раздражать и побуждать к ропоту. Ты уже вкусил от горьких плодов высокоумия, попробуй же вкусить и от плодов смирения, тем более что ничего другого для тебя в будущем не предстоит. Не ропщи на наказание, ибо начальство даже не наказывает тебя, но преподает лишь средства к исправлению. Благодарить за сие и стараться загладить содеянное — вот об чем тебе непрестанно думать надлежит, а не о роскошном препровождении времени, коего, впрочем, я и сам, никогда не быв под судом, не имею. Последуй же сему совету благоразумия и возродись для новой жизни, возродись совершенно, довольствуясь тем, что начальство, по милости своей, сочтет нужным тебе назначить. А я, с своей стороны, буду неустанно молить подателя всех благ о ниспослании тебе твердости и смирения, и даже в сей самый день, как пишу сии строки, был в церкви и воссылал о сем горячие мольбы. Затем благословляю тебя на новый путь и остаюсь негодующий, но все еще любящий отец твой

Порфирий Головлев».

Неизвестно, дошло ли до Петеньки это письмо; но не дальше как через месяц после его отсылки Порфирий Владимирыч получил официальное уведомление, что сын его, не доехавши до места ссылки, слег в одном из попутных городков в больницу и умер.

Иудушка очутился один, но сгоряча все-таки еще не понял, что с этой новой утратой он уже окончательно пущен в пространство, лицом к лицу с одним своим пустословием. Это случилось вскоре после смерти Арины Петровны, когда он был весь поглощен в счета и выкладки. Он пересчитывал бумаги покойной, усчитывал всякий грош, отыскивал связь этого гроша с опекунскими грошами, не желая, как он говорил, ни себе присвоить чужого, ни своего упустить. Среди этой сутолоки ему даже не представлялся вопрос, для чего он все это делает и кто воспользуется плодами его суеты? С утра до вечера корпел он за письменным столом, критикуя распоряжения покойной и даже фанта-

зируя, так что за хлопотами мало-помалу запустил и счета по собственному хозяйству.

И все в доме стихло. Прислуга, и прежде предпочитавшая ютиться в людских, почти совсем обросила дом, а являясь в господские комнаты, ходила на цыпочках и говорила шепотом. Чувствовалось что-то выморочное и в этом доме и в этом человеке, что-то такое, что наводит невольный и суеверный страх. Сумеркам, которые и без того окутывали Иудушку, предстояло сгущаться с каждым днем все больше и больше.

Постом, когда спектакли прекратились, приехала в Головлево Аннинька и объявила, что Любинька не могла ехать вместе с нею, потому что еще раньше законтраговалась на весь великий пост и вследствие этого отправилась в Ромны, Изюм, Кременчуг и проч., где ей предстояло давать концерты и пропеть весь каскадный репертуар.

В течение короткой артистической карьеры Аннинька значительно выровнялась. Это была уже не прежняя наивная, малокровная и несколько вялая девушка, которая в Дубровине и в Погорелке, неуклюже покачиваясь и потихоньку попевая, ходила из комнаты в комнату, словно не зная, где найти себе место. Нет, это была девица вполне определившаяся, с резкими и даже развязными манерами, по первому взгляду на которую можно было без ошибки заключить, что она за словом в карман не полезет. Наружность ее тоже изменилась и довольно приятно поразила Порфирия Владимировича. Перед ним явилась рослая и статная женщина с красивым румяным лицом, с высокою, хорошо развитою грудью, с серыми глазами навыкате и с отличнейшей пепельной косой, которая тяжело опускалась на затылок, — женщина, которая, по-видимому, проникнута была сознанием, что она-то и есть та самая «Прекрасная Елена», по которой суждено вздыхать господам офицерам. Ранним утром приехала она в Головлево и тотчас же уединилась в особенную комнату, откуда явилась в столовую к чаю в великолепном шелковом платье, шумя треном и очень искусно маневрируя им среди стульев. Иудушка хотя и любил своего бога паче всего, но это не мешало ему иметь вкус к красивым, а в особенности к крупным женщинам. Поэтому он сначала перекрестил Анниньку, потом как-то особенно отчетливо поцеловал ее в обе щеки и при этом так странно скосил глаза на ее грудь, что Аннинька чуть заметно улыбнулась.

Сели за чай; Аннинька подняла обе руки кверху и потянулась.

— Ах, дядя, как у вас скучно здесь! — начала она, слегка позевывая.

— Вот-на! не успела повернуться — уж и скучно показалось! А ты поживи с нами — тогда и увидим: может, и весело пока-

жется! — ответил Порфирий Владимирыч, которого глаза вдруг подернулись масляным отблеском.

— Нет, не интересно! Что у вас тут? Снег кругом, соседей нет... Полк, кажется, у вас здесь стоит?

— И полк стоит, и соседи есть, да, признаться, меня это не интересует. А впрочем, ежели...

Порфирий Владимирыч взглянул на нее, но не закончил, а только крякнул. Может быть, он и с намерением остановился, хотел раззадорить ее женское любопытство; во всяком случае прежняя, едва заметная улыбка вновь скользнула на ее лице. Она облокотилась на стол и довольно пристально взглянула на Евпраксеюшку, которая, вся покрасневшись, перетирала стаканы и тоже исподлобья взглядывала на нее своими большими мутными глазами.

— Это моя новая экономка... усердная! — молвил Порфирий Владимирыч.

Аннинька чуть заметно кивнула головой и потихоньку замурлыкала: «Ah! ah! que j'aime... que j'aime... les mili-mili-mili-taires!...»¹, причем поясница ее как-то сама собой вздрагивала. Воцарилось молчание, в продолжение которого Иудушка, смиренно опустив глаза, помаленьку прихлебывал чай из стакана.

— Скука! — опять зевнула Аннинька.

— Скука да скука! заладила одно! Вот погоди, поживи... Ужо велим саночки заложить — кататься, сколько душе угодно.

— Дядя! отчего вы в гусары не пошли?

— А оттого, мой друг, что всякому человеку свой предел от бога положен. Одному — в гусарах служить, другому — в чиновниках быть, третьему — торговать, четвертому...

— Ах да! четвертому, пятому, шестому... я и забыла! И все это бог распределяет... так ведь?

— Что ж, и бог! над этим, мой друг, смеяться нечего! Ты знаешь ли, что в Писании-то сказано: без воли божией...

— Это насчет вóлоса? — знаю и это! Но вот беда: нынче всё шиньоны носят, а это, кажется, не предусмотрено! Кстати: посмотрите-ка, дядя, какая у меня чудесная коса... Не правда ли, хороша?

Порфирий Владимирыч приблизился (почему-то на цыпочках) и подержал косу в руке. Евпраксеюшка тоже потянулась вперед, не выпуская из рук блюдечка с чаем, и сквозь стиснутый в зубах сахар процедила:

— Шильон, чай?

— Нет, не шиньон, а собственные мои волосы. Я когда-нибудь их перед вами распушу, дядя!

¹ Ах! ах! как я люблю... как я люблю вое... вое... военных! (франц.)

— Да, хороша коса,— похвалил Иудушка и как-то погано распустил при этом губы; но потом спохватился, что, по-настоящему, от подобных соблазнов надобно отплевываться, и при-совокупил: — Ах, егоза! егоза! все у тебя косы да шлейфы на уме, а об настоящем-то, об главном-то и не догадаешься спросить?

— Да, об бабушке... Ведь она умерла?

— Скончалась, мой друг! и как еще скончалась-то! Мирно, тихо, никто и не слышал! Вот уж именно непостыдные кончины живота своего удостоилась! Обо всех вспомнила, всех благословила, призвала священника, причастилась... И так это вдруг спокойно, так спокойно ей сделалось! Даже сама, голубушка, это высказала: «Что это, говорит, как мне вдруг хорошо!» И представь себе: только что она это высказала,— вдруг начала вздыхать! Вздохнула раз, другой, третий — смотрим, ее уж и нет!

Иудушка встал, поворотился лицом к образу, сложил руки ладонями внутрь и помолился. Даже слезы у него на глазах выступили: так хорошо он солгал! Но Аннинька, по-видимому, была не из чувствительных. Правда, она задумалась на минуту, но совсем по другому поводу.

— А помните, дядя,— сказала она,— как она меня с сестрой, маленьких, кислым молоком кормила? Не в последнее время... в последнее время она отличная была... а тогда, когда она еще богата была?

— Ну-ну, что старое поминать! Кислым молоком кормили, а вишь какую, бог с тобой, выпоили! На могилку-то поедешь, что ли?

— Поедем, пожалуй!

— Только знаешь ли что! ты бы сначала очистилась!

— Как это... очистилась?

— Ну, все-таки... актриса... ты думаешь, бабушке это легко было? Так прежде чем на могилку-то ехать, обеденку бы тебе отстоять, очиститься бы! Вот я завтра пораньше велю отслужить, а потом и с богом!

Как ни нелепо было Иудушкино предложение, но Аннинька все-таки на минуту смешалась. Но вслед за тем она сдвинула сердито брови и резко сказала:

— Нет, я так... я сейчас пойду!

— Не знаю, как хочешь! а мой совет такой: отстояли бы завтра обеденку, напились бы чайку, приказали бы пару лошадушек в кибиточку заложить и покатали бы вместе. И ты бы очистилась, и бабушкиной бы душе...

— Ах, дядя, какой вы, однако, глупенький! Бог знает какую чепуху несете, да еще настаиваете!

— Что? не понравилось? Ну, да уж не взыщи — я, брат, прямик! Неправды не люблю, а правду и другим выскажу и сам выслушаю! Хоть и не по шерстке иногда правда, хоть и горьконь-

ко — а все ее выслушаешь! И должно выслушать, потому что она — правда. Так-то, мой друг! Ты вот поживи-ка с нами да по-нашему — и сама увидишь, что так-то лучше, чем с гитарой с ярмарки на ярмарку переезжать.

— Бог знает что вы, дядя, говорите! с гитарой!

— Ну, не с гитарой, а около того. С торбаном, что ли. Впрочем, ведь ты меня первая обидела, глупым назвала, а мне, старику, и подавно можно правду тебе высказать.

— Хорошо, пусть будет правда; не будем об этом говорить. Скажите, пожалуйста, после бабушки осталось наследство?

— Как не остаться! Только законный наследник-то был налицо!

— То есть вы... И тем лучше. Она у вас здесь, в Головлеве, похоронена?

— Нет, в своем приходе, подле Погорелки, у Николы на Вопле. Сама пожелала.

— Так я поеду. Можно у вас, дядя, лошадей нанять?

— Зачем нанимать? свои лошади есть! Ты чай, не чужая! Племяннушка... племяннушкой мне приходишься! — всхлопотался Порфирий Владимирыч, осклабляясь «по-родственному». — Кибиточку... парочку лошадушек — слава те господи! не пустодомом живу! Да не поехать ли и мне вместе с тобой! И на могилке бы побывали и в Погорелку бы заехали! И туда бы заглянули, и там бы посмотрели, и поговорили бы, и подумали бы, что и как... Хорошенькая ведь у вас усадьбица, полезные в ней местечки есть!

— Нет, я уж одна... зачем вам? Кстати: ведь и Петенька тоже умер?

— Умер, дружок, умер и Петенька. И жалко мне его, с одной стороны, даже до слез жалко, а с другой стороны — сам виноват! Всегда он был к отцу непочтителен — вот бог за это и наказал! А уж ежели что бог в премудрости своей устроил, так нам с тобой переделывать не приходится!

— Понятное дело, не переделаем. Только я вот об чем думаю: как это вам, дядя, жить не страшно?

— А чего мне страшиться? видишь, сколько у меня благодати кругом? — Иудушка обвел рукою, указывая на образа. — И тут благодать и в кабинете благодать, а в образной так настоящий рай! Вон сколько у меня заступников!

— Все-таки... Всегда вы один... страшно!

— А страшно, так встану на колени, помолюсь — и все как рукой снимет! Да и чего бояться? днем — светло, а ночью у меня везде, во всех комнатах, лампадки горят! С улицы, как стемнеет, словно бал кажется! А какой у меня бал! Заступники да угодники божии — вот и весь мой бал!

— А знаете ли: ведь Петенька-то перед смертью писал к нам.

— Что ж! как родственник... И за то спасибо, что хоть родственные чувства не потерял!

— Да, писал. Уж после суда, когда решение вышло. Писал, что он три тысячи проиграл и вы ему не дали. Ведь вы, дядя, богатый?

— В чужом кармане, мой друг, легко деньги считать. Иногда нам кажется, что у человека золотые горы, а поглядеть да посмотреть, так у него на маслице да на свечечку — и то не его, а богово!

— Ну, мы, стало быть, богаче вас. И от себя сложились, и кавалеров наших заставили подписаться — шестьсот рублей собрали и послали ему.

— Какие же это «кавалеры»?

— Ах, дядя! да ведь мы... актрисы! вы сами же сейчас предлагали мне «очиститься»!

— Не люблю я, когда ты так говоришь!

— Что ж делать! Любите или не любите, а что сделано, того не переделаешь. Ведь, по-вашему, и тут бог!

— Не кощунствуй по крайней мере. Все можешь говорить, а кощунствовать... не позволяю! Куда же вы деньги послали?

— Не помню. В городок какой-то... Он сам назначил.

— Не знаю. Кабы были деньги, я должен бы после смерти их получить! Не истратил же он всех разом! Не знаю, ничего я не получил. Смотрителишки да конвойные, чай, воспользовались!

— Да ведь мы и не требуем — это так, к слову сказалось. А все-таки, дядя, страшно: как это так — из-за трех тысяч человек пропал!

— То-то, что не из-за трех тысяч. Это нам так кажется, что из-за трех тысяч — вот мы и твердим: три тысячи! три тысячи! А бог...

Иудушка совсем уж было расходился, хотел объяснить во всей подробности, как бог... провидение... невидимыми путями... и все такое... Но Аннинька бесцеремонно зевнула и сказала:

— Ах, дядя! скука какая у вас!

На этот раз Порфирий Владимирович серьезно обиделся и замолчал. Долго ходили они рядом взад и вперед по столовой; Аннинька зевала, Порфирий Владимирович в каждом углу крестился. Наконец доложили, что поданы лошади, и началась обычная комедия родственных проводов. Головлев надел шубу, вышел на крыльцо, расцеловался с Аннинькой, кричал на людей: «Ноги-то! ноги-то теплее закутывайте!» или: «Кутейки-то! кутейки-то взяли ли? ах, не забыть бы!» — и крестил при этом воздух.

Съездила Аннинька на могилку к бабушке, попросила воплинского батюшку панихидку отслужить, и когда дьячки уныло затянули вечную память, то заплакала. Картина, среди которой

совершалась церемония, была печальная. Церковь, при которой схоронили Арину Петровну, принадлежала к числу бедных; штукатурка местами обвалилась и обнажила большими заплатами кирпичный остов; колокол звонил слабо и глухо; риза на священнике обветшала. Глубокий снег покрывал кладбище, так что нужно было разгребать дорогу лопатами, чтоб дойти до могилы; памятника еще не существовало, а стоял простой белый крест, на котором даже надписи никакой не значилось. Погост стоял уединенно, в стороне от всякого селения; неподалеку от церкви ютились почерневшие избы священника и причетников, а кругом во все стороны стлалась сиротливая снежная равнина, на поверхности которой по местам торчал какой-то хворост. Крепкий мартовский ветер носился над кладбищем, беспрестанно захлестывая ризу на священнике и относя в сторону пение причетников.

— И кто бы, сударыня, подумал, что под сим скромным крестом, при бедной нашей церкви, нашла себе успокоение богатейшая некогда помещица здешнего уезда! — сказал священник по окончании литии.

При этих словах Аннинька и еще поплакала. Ей вспомнилось: *где стол был яств — там гроб стоит*, и слезы так и лились. Потом она пошла к бабушке в хату, напилась чаю, побеседовала с матушкой, опять вспомнила: *и бледна смерть на всех глядит* — и опять много и долго плакала.

В Погорелку не было дано знать о приезде барышни, и потому там даже комнат в доме не истопили. Аннинька, не снимая шубы, прошла по всем комнатам и остановилась на минуту только в спальней бабушки и в образной. В бабушкиной комнате стояла ее постель, на которой так и лежала неубранная груда замасленных пуховиков и несколько подушек без наволочек. На письменном столе валялись разбросанные лоскутья бумаги; пол был не метен, и густой слой пыли покрывал все предметы. Аннинька присела в кресло, в котором сживала бабушка, и задумалась. Сначала явились воспоминания прошлого, потом на смену им пришли представления настоящего. Первые проходили в виде обрывков, мимолетно и не задерживаясь; вторые оседали плотно. Давно ли рвалась она на волю, давно ли Погорелка казалась ей постылою — и вот теперь, вдруг, ее сердце переполнило какое-то болезненное желание пожить в этом постылом месте. Тихо здесь; неуютно, неприглядно, но тихо, так тихо, что словно все кругом умерло. Воздуху много и простору; вон оно, поле, — так бы и побежала. Без цели, без оглядки, только чтоб дышалось сильнее, чтоб грудь саднило. А там, в этой полукочевой среде, из которой она только что вырвалась и куда опять должна возвратиться, — что ее ждет? и что она оттуда вынесла? — Воспоминание о пропитанных вонью гостиницах, об вечном гвалте, несущ-

щемся из общей столовой и из биллиардной, о нечесаных и немыв-
тых половых, об репетициях среди царствующих на сцене суме-
рек, среди полотняных, раскрашенных кулис, до которых до-
тронуться гнусно, на сквозном ветру, на сырости... Вот и только!
А потом: офицеры, адвокаты, цинические речи, пустые бутылки,
скатерти, залитые вином, облака дыма и гвалт, гвалт, гвалт!
И что они говорили ей! с каким цинизмом к ней прикасались!..
Особливо тот, усатый, с охрипшим от перепоя голосом, с вос-
паленными глазами, с вечным запахом конюшни... ах, что он гово-
рил! Аннинька при этом воспоминании даже вздрогнула и зажму-
рила глаза. Потом, однако ж, очнулась, вздохнула и перешла
в образную. В киоте стояло уже немного образов, только те, кото-
рые несомненно принадлежали ее матери, а остальные, бабушки-
ны, были вынуты и увезены Иудушкой, в качестве наследника,
в Головлево. Образовавшиеся вследствие этого пустые места
смотрели словно выколотые глаза. И лампад не было — все взял
Иудушка; только один желтого воска огарок сиротливо ютился,
забытый в крохотном жестяном подсвечнике.

— Они и киотку хотели было взять, все доискивались,
точно ли она барышнина приданая была? — донесла Афимь-
юшка.

— Что ж? и пусть бы брал. А что, Афимьюшка, бабушка
долго перед смертью мучилась?

— Не то чтобы очень, всего с небольшим сутки лежали. Так,
словно сами собой извелись. Ни больны настоящим манером не
были, ничто! Ничего почесть и не говорили, только про вас с
сестрицей раза с два помянули.

— Образа-то, стало быть, Порфирий Владимирыч увез?

— Он увез. Собственные, говорит, маменькины образа! И та-
рантас к себе увез и двух коров. Все, стало быть, из барыниных
бумаг усмотрел, что не ваши были, а бабенкины. Лошадь тоже
одну оттягать хотел, да Федулыч не отдал: наша, говорит, эта
лошадь, старинная погорелковская, — ну, оставил, побоялся.

Походила Аннинька и по двору, заглянула в службы, на гумно,
на скотный двор. Там, среди навозной топи, стоял «оборотный
капитал»: штук двадцать тощих коров да три лошади. Велела при-
нести хлеба, сказав при этом: «Я заплачу!» — и каждой корове
дала по кусочку. Потом скотница попросила барышню в избу, где
был поставлен на столе горшок с молоком, а в углу у печки, за
низенькой перегородкой из досок, ютился новорожденный теле-
нок. Аннинька поела молочка, побежала к теленочку, сгоряча
поцеловала его в морду, но сейчас же брезгливо вытерла губы,
говоря, что морда у теленка противная, вся в каких-то слюнях.
Наконец вынула из портмоне три желтеньких бумажки, раздала
старым слугам и стала собираться.

— Что ж вы будете делать? — спросила она, усаживаясь

в кибитку, старика Федулыча, который в качестве старосты следовал за барышней с скрещенными на груди руками.

— А что нам делать! жить будем! — просто ответил Федулыч.

Анниньке опять взгрустнулось: ей показалось, что слова Федулыча звучат иронией. Она постояла-постояла на месте, вздохнула и сказала:

— Ну, прощайте!

— А мы было думали, что вы к нам вернетесь! с нами поживете! — молвил Федулыч.

— Нет уж... что! Все равно... живите!

И опять слезы полились у нее из глаз, и все при этом тоже заплакали. Как-то странно это выходило: вот и ничего, казалось, ей не жаль, даже помянуть нечем — а она плачет. Да и они: ничего не было сказано выходящего из ряда будничных вопросов и ответов, а всем сделалось тяжело, «жалко». Посадили ее в кибитку, укутали, и все разом глубоко вздохнули.

— Счастливо! — раздалось за ней, когда повозка тронулась.

Ехавши мимо погоста, она вновь велела остановиться и одна, без причта, пошла по расчищенной дороге к могиле. Уже порядком стемнело, и в домах церковников засветились огни. Она стояла, ухватившись одной рукой за надгробный крест, но не плакала, а только пошатывалась. Ничего особенного она не думала, никакой определенной мысли не могла формулировать, а горько ей было, всем существом горько. И не над бабушкой, а над самой собой горько. Бессознательно пошатываясь и наклоняясь, она простояла тут с четверть часа, и вдруг ей представилась Любинька, которая, быть может, в эту самую минуту соловьем разливается в каком-нибудь Кременчуге, среди развеселой компании...

Ah! ah! que j'aime, que j'aime!

Que j'aime les mili-mili-mili-taires!

Она чуть не упала. Бегом добежала до повозки, села и велела как можно скорее ехать в Головлево.

Аннинька воротилась к дяде скучная, тихая. Впрочем, это не мешало ей чувствовать себя несколько голодною (дяденька, впопыхах, даже курочки с ней не отпустил), и она была очень рада, что стол для чая был уж накрыт. Разумеется, Порфирий Владимирыч не замедлил вступить в разговор.

— Ну что, побывала?

— Побывала.

— И на могилке помолилась? панихидку отслужила?

— Да, и панихидку.

— Священник-то, стало быть, дома был?

— Конечно, был; кто же бы панихиду служил!

— Да, да... И дьячки оба были? вечную память пропели?

— Пропели.

— Да. Вечная память! вечная память покойнице! Пёчная старушка, родственная была!

Иудушка встал со стула, обратился лицом к образам и помолился.

— Ну, а в Погорелке как застала? благополучно?

— Право, не знаю. Кажется, все на своем месте стоит.

— То-то «кажется»! Нам всегда «кажется», а посмотришь да поглядишь — и тут кривёнько, и там гнилёнько... Вот так-то мы и об чужих состояниях понятие себе составляем: «кажется»! все «кажется»! А впрочем, хорошенькая у вас усадьбица; преудобно вас покойница-маменька устроила, немало даже из собственных средств на усадьбу употребила... Ну, да ведь сиротам не грех и помочь!

Слушая эти похвалы, Аннинька не выдержала, чтоб не подразнить сердобольного дяденьку.

— А вы зачем, дядя, из Погорелки двух коров увели? — спросила она.

— Коров? каких это коров? Это Чернавку да Приведёнку, что ли? Так ведь они, мой друг, маменькины были!

— А вы — ее законный наследник? Ну что ж! и владейте! Хотите, я вам еще теленочка велю прислать?

— Вот-вот-вот! ты уж и раскипятилась? А ты дело говори. Как, по-твоему, чьи коровы были?

— А я почему знаю! в Погорелке стояли!

— А я знаю, у меня доказательства есть, что коровы маменькины. Собственной ее руки я реестр отыскал, там именно сказано: «мои».

— Ну, оставим. Не стоит об этом говорить.

— Вот лошадь в Погорелке есть, лысенькая такая — ну, об этой верного сказать не могу. Кажется, будто бы маменькина лошадь, а впрочем, не знаю! А чего не знаю, об том и говорить не могу!

— Оставим это, дядя.

— Нет, зачем оставлять! Я, брат, — прямой, я всякое дело начистоту вести люблю! Да отчего и не поговорить! Своего всякому жалко: и мне жалко и тебе жалко — ну, и поговорим! А коли говорить будем, так скажу тебе прямо: мне чужого не надобно, но и своего я не отдам. Потому что хоть вы мне и не чужие, а все-таки...

— И образа даже взяли! — опять не воздержалась Аннинька.

— И образа взял и все взял, что мне, как законному наследнику, принадлежит.

— Теперь киот-то весь словно в дырах...

— Что ж делать! И перед таким помолись! Богу ведь не киот, а молитва твоя нужна! Коли ты искренно приступаешь, так и перед плохенькими образами молитва твоя дойдет. А коли ты только так: болты-болты! да по сторонам поглядеть, да книксен сделать — так и хорошие образа тебя не спасут!

Тем не менее Иудушка встал и возблагодарил бога за то, что у него «хорошие» образа.

— А ежели не нравится старый киот — новый вели сделать. Или другие образа на место вынутых поставь. Прежние — маменька-покойница наживала да устраивала, а новые — ты уж сама наживи!

Порфирий Владимирыч даже хихикнул: так это рассуждение казалось ему резонно и просто.

— Скажите, пожалуйста, что же мне теперь делать предстоит? — спросила Аннинька.

— А вот погоди. Сначала отдохни, да понежься, да поспи. Побеседуем да посудим, и так посмотрим, и этак прикинем — может быть, вдвоем что-нибудь и выдумаем!

— Мы совершеннолетние, кажется?

— Да-с, совершеннолетние-с. Можете сами и действиями своими и имением управлять!

— Слава богу, хоть это!

— Честь имеем поздравить-с!

Порфирий Владимирыч встал и полез целоваться.

— Ах, дядя, какой вы странный! все целуетесь!

— Отчего же и не целоваться! Не чужая ты мне — племяннушка! Я, мой друг, по-родственному! Я для родных всегда готов! Будь хоть троюродный, хоть четвероюродный — я всегда...

— Вы лучше скажите, что мне делать? в город, что ли, надобно ехать? хлопотать?

— И в город поедem и похлопочем — все в свое время сделаем. А прежде — отдохни, поживи! Слава богу! не в трактире, а у родного дяди живешь! И поешь, и чайку попить, и вареньицем полакомиться — всего вдоволь есть! А ежели кушанье какое не понравится — другого спроси! Спрашивай, требуй! Щец не захочется — супцу подать вели! Котлеточек, уточки, поросеночка... Евпраксеюшку за бока бери!.. А кстати, Евпраксеюшка! вот я поросеночком-то похвастался, а хорошенько и сам не знаю, есть ли у нас?

Евпраксеюшка, державшая в это время перед ртом блюдечко с горячим чаем, утвердительно повела носом воздух.

— Ну, вот видишь! и поросеночек есть! Всего, значит, чего душенька захочет, того и проси! Так-то!

Иудушка опять потянулся к Анниньке и по-родственному похлопал ее рукой по коленке, причем, конечно невзначай, слегка позамешкался, так что сиротка инстинктивно отодвинулась.

— Но ведь мне ехать надо, — сказала она.

— Об том-то я и говорю. Потолкуем да поговорим, а потом и поедем. Благословясь да богу помолясь, а не так как-нибудь: прыг да шмыг! Поспешишь — людей насмешишь! Спешат-то на пожар, а у нас, слава богу, не горит! Вот Любиньке — той на ярмарку спешить надо, а тебе что! Да вот я тебя еще что спрошу: ты в Погорелке, что ли, жить будешь?

— Нет, в Погорелке мне незачем.

— И я то же хотел тебе сказать. Поселись-ко у меня. Будем жить да поживать — еще как заживем-то!

Говоря это, Иудушка глядел на Анниньку такими масляными глазами, что ей сделалось неловко.

— Нет, дядя, я не поселюсь у вас. Скучно.

— Ах, глупенькая, глупенькая! И что тебе эта скука далась! Скучно да скучно, а чем скучно — и сама, чай, не скажешь! У кого, мой друг, дело есть да кто собой управлять умеет — тот никогда скуки не знает. Вот я, например: не вижу, как и время летит! В будни — по хозяйству: там посмотришь, тут поглядишь, туда сходишь, побеседуешь, посудишь — смотришь, а день и прошел! А в праздник — в церковь! Так-то и ты! Поживи с нами — и тебе дело найдется, а дела нет — с Евпраксеюшкой в дурачки садись или саночки вели заложить — катай да покатывай! А лето настанет — по грибы в лес поедем! на траве чай станем пить!

— Нет, дядя, напрасно вы и предлагаете!

— Право бы, пожила.

— Нет. А вот что: устала я с дороги, так спать нельзя ли мне лечь?

— И баиньки можно. И кроватка у меня готова для тебя, и все как следует! Хочется тебе баиньки — почивай, Христос с тобой! А все-таки ты об этом подумай: куда бы лучше, кабы ты с нами в Головлеве осталась!

Аннинька провела ночь беспокойно. Нервная блажь, которая застигла ее в Погорелке, продолжалась. Бывают минуты, когда человек, который дотолé только *существовал*, вдруг начинает понимать, что он не только воистину *живет*, но что в его жизни есть даже какая-то язва. Откуда она взялась, каким образом и когда именно образовалась — в большей части случаев он хорошо себе не объясняет и чаще всего приписывает происхождение язвы совсем не тем причинам, которые в действительности ее обусловили. Но для него оценка факта даже не нужна: достаточно и того, что язва существует. Действие такого внезапного откровения, бу-

дучи для всех одинаково мучительным, в дальнейших практических результатах видоизменяется, смотря по индивидуальным темпераментам. Одних сознание обновляет, воодушевляет решимостью начать новую жизнь на новых основаниях; на других оно отражается лишь преходящею болью, которая не произведет в будущем никакого перелома к лучшему, но в настоящем высказывается даже болезненнее, нежели в том случае, когда встревоженной совести, вследствие принятых решений, все-таки представляются хоть некоторые просветы в будущем.

Аннинька не принадлежала к числу таких личностей, которые в сознании своих язв находят повод для жизненного обновления, но тем не менее, как девушка неглупая, она отлично понимала, что между теми смутными мечтами о трудовом хлебе, которые послужили ей исходным пунктом для того, чтобы навсегда покинуть Погорелку, и положением провинциальной актрисы, в котором она очутилась, существует целая бездна. Вместо тихой жизни труда она нашла бурное существование, наполненное бесконечными кутежами, наглым цинизмом и беспорядочною, ни к чему не приводящею суетою. Вместо лишений и суровой внешней обстановки, с которыми она когда-то примирилась, ее встретило относительное довольство и роскошь, об которых она, однако ж, не могла теперь вспоминать без краски на лице. И вся эта перестановка как-то незаметно для нее самой случилась: шла она куда-то в хорошее место, но, вместо одной двери, попала в другую. Желания ее были действительно очень скромные. Сколько раз, бывало, сидя в Погорелке на мезонине, она видела себя в мечтах серьезною девушкой, трудящейся, алчущей образованья себя, с твердостью переносящей нужду и лишения ради идеи блага (правда, что слово «благо» едва ли имело какое-нибудь определенное значение); но едва она вышла на широкую дорогу самостоятельности, как сама собою сложилась такая практика, которая сразу разбила в прах всю мечту. Серьезный труд не приходит сам собой, а дается только упорному исканию и подготовке, ежели и не полной, то хотя до известной степени помогающей исканию. Но требованиям этим не отвечали ни темперамент, ни воспитание Анниньки. Темперамент ее вовсе не отличался страстностью, а только легко раздражался; материал же, который дало ей воспитание и с которым она собралась войти в трудовую жизнь, был до такой степени несостоятелен, что не мог послужить основанием ни для какой серьезной профессии. Воспитание это было, так сказать, институтско-опереточное, в котором перевес брала едва ли не оперетка. Тут в хаотическом беспорядке перемешивались и задача о летящем стаде гусей, и па с шалью, и проповедь Петра Пикардского, и проделки Елены Прекрасной, и ода к Фелице, и чувство признательности к начальникам и покровителям благородных девиц. В этом беспорядочном винегрете (вне которого она с полным основанием могла

назвать себя *tabula rasa*¹⁾ трудно было даже разобратся, а не то что исходную точку найти. Не любовь к труду пробуждала такая подготовка, а любовь к светскому обществу, желание быть окруженной, выслушивать любезности кавалеров и вообще погрузиться в шум, блеск и вихрь так называемой светской жизни.

Если б она следила за собой пристальнее, то даже в Погорелке, в те минуты, когда в ней еще только зарождались проекты трудовой жизни, когда она видела в них нечто вроде освобождения из плена египетского, — даже и тогда она могла бы изловить себя в мечтах не столько работающею, сколько окруженною обществом единомыслящих людей и коротающею время в умных разговорах. Конечно, и люди этих мечтаний были умные и разговоры их — честные и серьезные, но все-таки на сцене первенствовала праздничная сторона жизни. Бедность была опрятная, лишения свидетельствовали только об отсутствии излишеств. Поэтому, когда на деле мечты о трудовом хлебе разрешились тем, что ей предложили занять опереточное амплуа на подмостках одного из провинциальных театров, то, несмотря на контраст, она колебалась недолго. Наскоро освежила она институтские сведения об отношениях Елены к Менелаю, дополнила их некоторыми биографическими подробностями из жизни великолепного князя Тавриды и решила, что этого было совершенно достаточно, чтобы воспроизводить «Прекрасную Елену» и «Отрывки из Герцогини Герольштейнской» в губернских городах и на ярмарках. При этом, для очистки совести, она припоминала, что один студент, с которым она познакомилась в Москве, на каждом шагу восклицал: «Святое искусство!» — и тем охотнее сделала эти слова девизом своей жизни, что они приличным образом развязывали ей руки и придавали хоть какой-нибудь наружный декорум ее вступлению на стезю, к которой она инстинктивно рвалась всем своим существом.

Жизнь актрисы взбудоражила ее. Одинокая, без руководящей подготовки, без сознанный цели, с одним только темпераментом, жаждущим шума, блеска и похвал, она скоро увидела себя кружащеюся в каком-то хаосе, в котором толпилось бесконечное множество лиц, без всякой связи сменявших одно другое. Это были лица разнообразнейших характеров и убеждений, так что самые мотивы для сближения с тем или другим отнюдь не могли быть одинаковыми. Тем не менее и тот, и другой, и третий равно составляли ее круг, из чего должно было заключить, что тут, собственно говоря, не могло быть и речи об мотивах. Ясно, стало быть, что ее жизнь сделалась чем-то вроде въезжего дома, в ворота которого мог стучаться каждый, кто признавал себя веселым, молодым и обладающим известными материальными сред-

¹ пустым местом (буквально — чистой доской) (лат.).

ствами. Ясно, что тут дело шло совсем не об том, чтобы *подбирать* себе общество по душе, а об том, чтобы примоститься к какому бы то ни было обществу, лишь бы не изнывать в одиночестве. В сущности, «святое искусство» привело ее в помойную яму, но голова ее сразу так закружилась, что она не могла различить этого. Ни немытые рожи коридорных, ни захватанные, покрытые слизью декорации, ни шум, вонь и гвалт гостиниц и постоялых дворов, ни цинические выходы поклонников — ничто не отрезвляло ее. Она не замечала даже, что постоянно находится в обществе одних мужчин и что между нею и другими женщинами, имеющими *постоянное положение*, легла какая-то непреодолимая преграда...

Отрезвил на минуту приезд в Головлево.

С утра, почти с самой минуты приезда, ее уж что-то мучило. Как девушка впечатлительная, она очень быстро проникалась новыми ощущениями и не менее быстро применялась ко всяким положениям. Поэтому, с приездом в Головлево, она вдруг почувствовала себя «барышней». Припомнила, что у нее есть что-то свое: свой дом, свои могилы, и захотелось ей опять увидеть прежнюю обстановку, опять подышать тем воздухом, из которого она так недавно без оглядки бежала. Но впечатление это немедленно же должно было разбиться при столкновении с действительностью, встретившеюся в Головлеве. В этом отношении ее можно было уподобить тому человеку, который с приветливым выражением лица входит в общество давно не виденных им людей и вдруг замечает, что к его приветливости все относятся как-то загадочно. Погано скошенные на ее бюст глаза Иудушки сразу напомнили ей, что позади у нее уже образовался своего рода скарб, с которым не так-то легко расчитаться. И когда, после наивных вопросов погорелковской прислуги, после назидательных вздохов воплинского батюшки и его попадьи и после новых поучений Иудушки, она осталась одна, когда она проверила на досуге впечатления дня, то ей сделалось уже совсем несомненно, что прежняя «барышня» умерла навсегда, что отныне она только актриса жалкого провинциального театра и что положение русской актрисы очень недалеко отстоит от положения публичной женщины.

До сих пор она жила как во сне. Обнажалась в «Прекрасной Елене», являлась пьяною в «Периколе», пела всевозможные бесстыдства в «Отрывках из Герцогини Герольштейнской» и даже жалела, что на театральных подмостках не принято представлять «la chose» и «l'amour», воображая себе, как бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертела хвостом. Но ей никогда не приходило в голову вдумываться в то, что она делает. Она об том только старалась, чтоб все выходило у ней «мило», с «шиком» и в то же время нравилось офицерам расквартированного в городе полка. Но что это такое и какого сорта ощущения производят в офицерах ее вздрагиванья — она об этом себя не

спрашивала. Офицеры представляли в городе решающую публику, и ей было известно, что от них зависел ее успех. Они вторгались за кулисы, бесцеремонно стучались в двери ее уборной, когда она была еще полуодета, называли ее уменьшительными именами — и она смотрела на все это как на простую формальность, род неизбежной обстановки ремесла, и спрашивала себя только об том, «мило» или «не мило» выдерживает она в этой обстановке свою роль? Но ни тела своего, ни души она покуда еще не признавала публичными. И вот теперь, когда она на минуту опять почувствовала себя «барышней», ей вдруг сделалось как-то невыносимо мерзко. Как будто с нее сняли все покровы до последнего и все-народно вывели ее обнаженной; как будто все эти подлые дыхания, зараженные запахами вина и конюшни, разом охватили ее; как будто она на всем своем теле почувствовала прикосновение потных рук, слюнявых губ и блуждание мутных, исполненных плотоядной животности глаз, которые бессмысленно скользят по кривой линии ее обнаженного тела, словно требуют от него ответа: что такое «la chose»?

Куда идти? где оставить этот скерб, который надавливал ее плечи? Вопрос этот безнадежно метался в ее голове, но именно только метался, не находя и даже не ища ответа. Ведь и это был своего рода сон: и прежняя жизнь была сон и теперешнее пробуждение — тоже сон. Огорчилась девочка, расчувствовалась — вот и все. Пройдет. Бывают минуты хорошие, бывают и горькие — это в порядке вещей. Но и те и другие только скользят, а отнюдь не изменяют однажды сложившегося хода жизни. Чтоб дать последней другое направление, необходимо много усилий, потребна не только нравственная, но и физическая храбрость. Это почти то же, что самоубийство. Хотя перед самоубийством человек проклинает свою жизнь, хотя он положительно знает, что для него смерть есть свобода, но орудие смерти все-таки дрожит в его руках, нож скользит по горлу, пистолет, вместо того чтоб бить прямо в лоб, бьет ниже, уродует. Так-то и тут, но еще труднее. И тут предстоит убить свою прежнюю жизнь, но, убив ее, самому остаться живым. То «ничто», которое в заправском самоубийстве достигается мгновенным спуском курка, — тут, в этом особом самоубийстве, которое называется «обновлением», достигается целым рядом суровых, почти аскетических усилий. И достигается все-таки «ничто», потому что нельзя же назвать нормальным существование, которого содержание состоит из одних усилий над собой, из лишений и воздержаний. У кого воля изнежена, кто уже подточен привычкою легкого существования — у того голова закружится от одной перспективы подобного «обновления». И инстинктивно, отворачивая голову и зажмуривая глаза, стыдясь и обвиняя себя в малодушии, он все-таки опять пойдет по утоптанной дороге.

Ах! великая вещь — жизнь труда! Но с нею сживаются толь-

ко сильные люди да те, которых осудил на нее какой-то проклятый прирожденный грех. Только таких он не пугает. Первых — потому, что, сознавая смысл и ресурсы труда, они умеют отыскивать в нем наслаждение; вторых потому, что для них труд есть прежде всего прирожденное обязательство, а потом и привычка.

Анниньке даже на мысль не приходило основаться в Погорелке или в Головлеве, и в этом отношении ей большую помощь оказала та деловая почва, на которую ее поставили обстоятельства и которой она инстинктивно не покидала. Ей был дан отпуск, и она уже заранее распределила все время его и назначила день отъезда из Головлева. Для людей слабохарактерных те внешние грани, которые обставляют жизнь, значительно облегчают бремя ее. В затруднительных случаях слабые люди инстинктивно жмутся к этим граням и находят в них для себя оправдание. Так именно поступила и Аннинька: она решилась как можно скорее уехать из Головлева, и ежели дядя будет приставать, то оградить себя от этих приставаний необходимостью явиться в назначенный срок.

Проснувшись на другой день утром, она прошлась по всем комнатам громадного головлевского дома. Везде было пустынно, неприятно, пахло отчуждением, выморочностью. Мысль поселиться в этом доме без срока окончательно испугала ее. «Ни за что! — твердила она в каком-то безотчетном волнении. — Ни за что!»

Порфирий Владимирович и на другой день встретил ее с обычной благосклонностью, в которой никак нельзя было различить — хочет ли он приласкать человека, или намерен высосать из него кровь.

— Ну что, торопься, выпалась? куда-то теперь торопиться будешь? — пошутил он.

— И то, дядя, тороплюсь; ведь я в отпуску, надобно на срок поспевать.

— Это опять скоморошничать? не пушу!

— Пускайте или не пускайте — сама уеду!

Иудушка грустно покачал головой.

— А бабушка-покойница что скажет? — спросил он тоном ласкового укора.

— Бабушка и при жизни знала. Да что это, дядя, за выражения у вас? вчера с гитарой меня по ярмаркам посылали, сегодня об скоморошничестве разговор завели? Слышите! я не хочу, чтоб вы так говорили!

— Эге! видно, правда-то кусается! А вот я так люблю правду! По мне, ежели правда...

— Нет, нет! не хочу я, не хочу! ни правды, ни неправды мне вашей не надо! Слышите! не хочу я, чтоб вы так выражались!

— Ну-ну! раскипятилась? пойдём-ка, стрекоза, за добра ума, чай пить! Самовар-то уж, чай, давно хр-хр... да зз-зз... на столе делает.

Порфирий Владимирыч шуточкой да смешком хотел изгладить впечатление, произведенное словом «скоморошничать», и в знак примирения даже потянулся к племяннице, чтоб обнять ее за талию, но Анниньке все это показалось до того глупым, почти гнусным, что она брезгливо уклонилась от ожидавшей ее ласки.

— Я вам серьезно повторяю, дядя, что мне надо торопиться! — сказала она.

— А вот пойдём, сначала чайку попьем, а потом и поговорим!

— Да почему же непременно после чаю? почему нельзя до чаю поговорить?

— А потому что потому. Потому что все чередом делать надо. Сперва одно, потом — другое, сперва чайку попьем да поболтаем, а потом и об деле переговорим. Все успеем.

Перед таким непреодолимым пустословием оставалось только покориться. Стали пить чай, причем Иудушка самым злостным образом длил время, помаленьку прихлебывая из стакана, крестясь, похлопывая себя по ляжке, калякая об покойнице маменьке и проч.

— Ну вот, теперь и поговорим, — сказал он наконец. — Ты долго ли намерена у меня погостить?

— Да больше недели мне нельзя. В Москве еще побывать надо.

— Неделя, мой друг, — большое дело; и много дела можно в неделю сделать и мало дела — как взяться.

— Мы, дядя, лучше больше сделаем.

— Об том-то я и говорю. И много можно сделать и мало. Иногда много хочешь сделать, а выходит мало, а иногда будто и мало делается, а смотришь, с божьею помощью, все дела незаметно прикончил. Вот ты спешишь, в Москве тебе побывать, вишь, надо, а зачем, коли тебя спросить, — ты и сама путем не сумеешь ответить. А по-моему, вместо Москвы-то, лучше бы это время на дело употребить.

— В Москву мне необходимо, потому что я хочу попытать, нельзя ли нам на тамошнюю сцену поступить. А что касается до дела, так ведь вы сами же говорите, что в неделю можно много дела наделать.

— Смотря по тому, как возьмешься, мой друг. Ежели возьмешься как следует — все у тебя пойдет и ладно и плавно; а возьмешься не так, как следует, — ну, и застрянет дело, в долгий ящик оттянется.

— Так вы меня поруководите, дядя!

— То-то вот и есть. Как нужно, так «вы меня поруководите,

дядя!», а не нужно — так и скучно у дяди и поскорее бы от него уехать! Что, небось, неправда?

— Да вы только скажите, что мне делать нужно?

— Стой, погоди! Так вот я и говорю: как нужен дядя — он и голубчик, и миленький, и душенька, а ненужен — сейчас ему хвост покажут! А нет того, чтоб спроситься у дяди: как, мол, вы, дяденька-голубчик, полагаете — можно мне в Москву съездить?

— Какой вы, дядя, странный! Ведь мне в Москве необходимо быть, а вы вдруг скажете, что нельзя?

— А скажу: нельзя — и посиди! Не посторонний сказал, дядя сказал — можно и послушаться дядю. Ах, мой друг, мой друг! Еще хорошо, что у вас дядя есть — все же и пожалеть об вас и остановить вас есть кому! А вот как у других — нет никого! Ни их пожалеть, ни остановить — одни растут! Ну, и бывает с ними... всякие случайности в жизни бывают, мой друг!

Аннинька хотела было возразить, однако поняла, что это значило бы только подливать масла в огонь, и смолчала. Она сидела и безнадежно смотрела на расходившегося Порфирия Владимировича.

— Вот я давно хотел тебе сказать, — продолжал между тем Иудушка, — не нравится мне, куда как не нравится, что вы по этим... по ярмаркам ездите! Хоть тебе и нелюбо, что я об гитарах говорил, а все-таки...

— Да ведь мало сказать: не нравится! Надобно на какой-нибудь выход указать!

— Живи у меня — вот тебе и выход!

— Ну нет... это ни за что!

— Что так?

— А то, что нечего мне здесь делать. Что у вас делать! Утром встать — чай пить идти, за чаем думать: вот завтракать подадут! за завтраком — вот обедать накрывать будут! за обедом — скоро ли опять чай? А потом ужинать и спать... умрешь у вас!

— И все, мой друг, так делают. Сперва чай пьют, потом, кто привык завтракать — завтракают, а вот я не привык завтракать — и не завтракаю; потом обедают, потом вечерний чай пьют, а наконец, и спать ложатся. Что же! кажется, в этом ни смешного, ни предосудительного нет! Вот если б я...

— Ничего предосудительного, только не по мне.

— Вот если б я кого-нибудь обидел, или осудил, или дурно об ком-нибудь высказался — ну, тогда точно! можно бы и самого себя за это осудить! А то чай пить, завтракать, обедать... Христос с тобой! да и ты, как ни прятка, а без пищи не проживешь!

— Ну да, все это хорошо, да только не по мне!

— А ты не все на свой аршин меряй — и об старших поду-

май! «По мне» да «не по мне» — разве можно так говорить! А ты говори: «по-божьему» или «не по-божьему» — вот это будет дельно, вот это будет так! Коли ежели у нас в Головлеве не по-божьему, ежели мы против бога поступаем, грешим, или ропщем, или завидуем, или другие дурные дела делаем, — ну, тогда мы действительно виноваты и заслуживаем, чтоб нас осуждали. Только и тут еще надобно доказать, что мы точно не по-божьему поступаем. А то на-тко! «не по мне»! Да скажу теперича хоть про себя — мало ли что не по мне! Не по мне вот, что ты так со мной разговариваешь да родственную мою хлеб-соль хаешь, — однако я сижу, молчу! Дай, думаю, я ей тихим манером почувствовать дам — может быть, она и сама собой образумится! Может быть, покуда я шуточкой да усмешечкой на твои выходки отвечаю, ан ангел-то твой хранитель и наставит тебя на путь истинный! Ведь мне не за себя, а за тебя обидно! А-а-ах, мой друг, как это нехорошо! И хоть бы я что-нибудь тебе дурное сказал или дурно против тебя поступил, или обиду бы какую-нибудь ты от меня видела — ну, тогда бог бы с тобой! Хоть и велит бог от старшего даже поучение принять — ну, да уж если я тебя обидел, бог с тобой! сердись на меня! А то сижу я смирнехонько да тихохонько, сижу, ничего не говорю, только думаю, как бы получше да поудобнее, чтобы всем на радость да на утешение — а ты! фу-ты, ну-ты! — вот ты на мои ласки какой ответ даешь! А ты не сразу все выговаривай, друг мой, а сначала подумай, да богу помолись, да попроси его вразумить себя! И вот коли ежели...

Порфирий Владимирыч разглагольствовал долго, не переставая. Слова бесконечно тянулись одно за другим, как густая слюна. Аннинька с безотчетным страхом глядела на него и думала: как это он не захлебнется? Однако так-таки и не сказал дяденька, что ей предстоит делать по случаю смерти Арины Петровны. И за обедом пробовала она ставить этот вопрос и за вечерним чаем, но всякий раз Иудушка начинал тянуть какую-то постороннюю канитель, так что Аннинька не рада была, что и возбуждала разговор, и об одном только думала: когда же все это кончится?

После обеда, когда Порфирий Владимирыч отправился спать, Аннинька осталась один на один с Евпраксеюшкой, и ей вдруг припала охота вступить в разговор с дяденькиной экономкой. Ей захотелось узнать, почему Евпраксеюшке не страшно в Головлеве и что дает ей силу выдерживать потоки пустопорожних слов, которые с утра до вечера извергали дяденькины уста.

— Скучно вам, Евпраксеюшка, в Головлеве?

— Чего нам скучать? мы не господа!

— Все же... всегда вы одни... ни развлечений, ни удовольствий у вас — ничего!

— Каких нам удовольствий надо! Скучно — так в окошко

погляжу. Я и у папеньки, у Николы в Капельках, жила, немного веселости-то видела!

— Все-таки дома, я полагаю, вам было лучше... Товарки были, друг к другу в гости ходили, играли...

— Что уж!

— А с дядей... Говорит он все что-то скучное и долго как-то. Всегда он так?

— Всегда, цельный день так говорят.

— И вам не скучно?

— Мне что! Я ведь не слушаю!

— Нельзя же совсем не слушать. Он может заметить это, обидеться.

— А почему он знает! Я ведь смотрю на него. Он говорит, а я смотрю да этим временем про свое думаю.

— Об чем же вы думаете?

— Обо всем думаю. Огурцы солить надо — об огурцах думаю, в город за чем посылать надо — об этом думаю. Что по домашности требуется — обо всем думаю.

— Стало быть, вы хоть и вместе живете, а на самом-то деле все-таки одни?

— Да почесть что одна. Иногда разве вечером вздумает в дураки играть — ну, играем. Да и тут: середь самой игры остановятся, сложат карты и начнут говорить. А я смотрю. При покойнице, при Арине Петровне, веселее было. При ней он лишнее-то говорить побаивался; нет-нет да и остановит старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю над собой взял!

— Вот видите ли! ведь это, Евпраксеюшка, страшно! Страшно, когда человек говорит и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь. Ведь страшно? неловко ведь?

Евпраксеюшка взглянула на нее, словно ее впервые озарила какая-то удивительная мысль.

— Не вы одни,— сказала она,— многие у нас их за это не любят.

— Вот как!

— Да. Хоть бы лакеи — ни один долго ужиться у нас не может: почесть каждый месяц меняем. Приказчики тоже. И всё из-за этого.

— Надоедает?

— Тиранит. Пьяницы — те живут, потому что пьяница не слышит. Ему хоть в трубу труби — у него все равно голова как горшком прикрыта. Так опять беда: они пьяниц не любят.

— Ах, Евпраксеюшка, Евпраксеюшка! а он еще меня в Головлеве жить уговаривает!

— А что ж, барышня! вы бы и заправду с нами пожили! может быть, они бы и посовестились при вас!

— Ну, нет! слуга покорная! ведь у меня терпенья неостанет в глаза ему смотреть!

— Что и говорить! вы — господа! у вас своя воля! Однако, чай, воля-воля, а тоже и по чужой дудочке подплясывать приходится!

— Еще как часто-то!

— То-то и я думала! А я вот еще что хотела вас спросить: хорошо в актрисах служить?

— Свой хлеб — и то хорошо.

— А правда ли, Порфирий Владимирович мне сказывали: будто бы актрис чужие мужчины зэвсе за талию держат?

Аннинька на минуту вспыхнула.

— Порфирий Владимирович не понимает, — ответила она раздражительно, — оттого и несет чепуху. Он даже того различить не может, что на сцене происходит игра, а не действительность.

— Ну, однако! То-то и он, Порфирий-то Владимирович... Как увидел вас, даже губы распустил! «Племяннушка» да «племяннушка»! как и путный! А у самого бесстыжие глаза так и бегают!

— Евпраксеюшка! зачем вы глупости говорите!

— Я-то? мне — что! Поживете — сами увидите! А мне что! Откажут от места — я опять к батюшке уйду. И то ведь скучно здесь; правду вы это сказали.

— Чтоб я могла здесь остаться, это вы напрасно даже предполагаете. А вот что скучно в Головлеве — это так. И чем дольше вы будете здесь жить, тем будет скучнее.

Евпраксеюшка слегка задумалась, потом зевнула и сказала:

— Я когда у батюшки жила, тощя́я-претощя́я была. А теперь — ишь какая! печь печью сделалась! Скука-то, стало быть, впрок идет!

— Все равно долго не выдержите. Вот помяните мое слово, не выдержите.

На этом разговор кончился. К счастью, Порфирий Владимирович не слышал его — иначе он получил бы новую и благодарную тему, которая, несомненно, освежила бы бесконечную канитель его правоучительных разговоров.

Целых два дня еще мучил Порфирий Владимирович Анниньку. Все говорил: вот потерпи да погоди! потихоньку да полегоньку! благословясь да богу помолясь! и проч. Совсем ее истомил. Наконец на пятый день собрался-таки в город, хотя и тут нашел средство истерзать племянницу. Она уж стояла в передней в шубе, а он, словно назло, целый час проклажался. Одевался, умывался, хлопал себя по ляжкам, крестился, ходил, сидел, отдавал приказания вроде: «Так так-то, брат!» или: «Так ты уж тово... смотри, брат, как бы чего не было!» Вообще поступал так, как бы

оставлял Головлево не на несколько часов, а навсегда. Замаявши всех: и людей, и лошадей, полтора часа стоявших у подъезда, он наконец убедился, что у него самого пересохло в горле от пустяков, и решился ехать.

В городе все дело покончилось, покуда лошади ели овес на постоялом дворе. Порфирий Владимирыч представил отчет, по которому оказалось, что сиротского капитала, по день смерти Арины Петровны, состояло без малого двадцать тысяч рублей в пятипроцентных бумагах. Затем просьба о снятии опеки вместе с бумагами, свидетельствовавшими о совершеннолетию сирот, была принята, и тут же последовало распоряжение об упразднении опекунского управления и о сдаче имущества и капиталов владельцам. В тот же день вечером Аннинька подписала все бумаги и описи, изготовленные Порфирием Владимирычем, и наконец свободно вздохнула.

Остальные дни Аннинька провела в величайшей ажитации. Ей хотелось уехать из Головлева немедленно, сейчас же, но дядя на все ее порывания отвечал шуточками, которые, несмотря на добродушный тон, скрывали за собой такое дурацкое упорство, какого никакая человеческая сила сломить не в состоянии.

— Сама сказала, что неделю поживешь — ну, и поживи! — говорил он. — Что тебе! не за квартиру платить — и без платы милости просим! И чайку попить и покушать — все, чего тебе вздумается, все будет!

— Да ведь мне, дядя, необходимо! — отпрашивалась Аннинька.

— Тебе не сидится, а я лошадок не дам! — шутил Иудушка. — Не дам лошадок, и сиди у меня в плену! Вот неделя пройдет — ни слова не скажу! Отстоим обеденку, поедим на дорожку, чайку попьем, побеседуем... Наглядимся друг на друга — и с богом! Да вот что! не съездить ли тебе опять на могилку в Воплино? Все бы с бабушкой простилась — может, покойница и благой бы совет тебе подала!

— Пожалуй! — согласилась Аннинька.

— Так мы вот как сделаем: в среду раненько здесь обеденку отслушаем да на дорожку пообедаем, а потом мои лошадки довезут тебя до Погорелки, а оттуда до Двориков уж на своих, на погорелковских лошадках поедешь. Сама помещица! свои лошадки есть!

Приходилось смириться. Пошлость имеет громадную силу; она всегда застаёт свежего человека врасплох, и, в то время как он удивляется и осматривается, она быстро опутывает его и забирает в свои тиски. Всякому, вероятно, случалось, проходя мимо клоаки, не только зажимать нос, но и стараться не дышать; точно такое же насилие должен делать над собой человек, когда вступает в область, насыщенную празднословием и пошлостью. Он

должен притупить в себе зрение, слух, обоняние, вкус; должен победить всякую восприимчивость, одеревенеть. Только тогда миазмы пошлости не задушат его. Аннинька поняла это, хотя и поздно; во всяком случае она решилась предоставить дело своего освобождения из Головлева естественному ходу вещей. Иудушка до того победил ее непреоборимостью своего празднословия, что она не смела даже уклониться, когда он обнимал ее и по-родственному гладил по спине, приговаривая: «Вот теперь ты пайнька!» Она невольно каждый раз вздрагивала, когда чувствовала, что костлявая и слегка трепещущая рука его ползет по ее спине, но от дальнейших выражений гадливости ее удерживала мысль: «Господи! хоть бы через неделю-то отпустил!» К счастью для нее, Иудушка был малый небрезгливый и хотя, быть может, замечал ее нетерпеливые движения, но помалчивал. Очевидно, он придерживался той теории взаимных отношений полов, которая выражается пословицей: люби не люби, да почаще взглядывай!

Наконец наступил нетерпеливо-ожиданный день отъезда. Аннинька поднялась чуть не в шесть часов утра, но Иудушка все-таки упредил ее. Он уже совершил обычное молитвенное стояние и, в ожидании первого удара церковного колокола, в туфлях и халатном сюртуке слонялся по комнатам, заглядывал, подслушивал и проч. Очевидно, он был ажитирован и при встрече с Аннинькой как-то искоса взглянул на нее. На дворе уже было совсем светло, но время стояло скверное. Все небо было покрыто сплошными темными облаками, из которых сыпалась весенняя изморозь — не то дождь, не то снег; на почерневшей дороге поселка виднелись лужи, предвещающие зажоры в поле; сильный ветер дул с юга, обещая гнилую оттепель; деревья обнажились от снега и беспорядочно покачивали из стороны в сторону своими намокшими голыми вершинами; господские службы почернели и словно ослизли. Порфирий Владимирыч подвел Анниньку к окну и указал рукой на картину весеннего возрождения.

— Уж ехать ли, по́лно? — спросил он. — Не остаться ли?

— Ах, нет, нет! — испуганно вскрикнула она. — Это... это... пройдет!

— Вряд ли. Ежели ты в час выедешь, то вряд ли раньше семи до Погорелки доедешь. А ночью разве можно в теперешнюю ростепель ехать — все равно придется в Погорелке ночевать.

— Ах, нет! я и ночью, я сейчас же поеду... я ведь, дядя, храбрая! да и зачем же дожидаться до часу? Дядя! голубчик! позвольте мне теперь уехать!

— А бабенка что скажет? Скажет: вот так внучка! приехала, попрыгала и даже благословиться у меня не захотела!

Порфирий Владимирыч остановился и замолчал. Некоторое время он семенил ногами на одном месте и то взглядывал на

Анниньку, то опускал глаза. Очевидно, он решался и не решался что-то высказать.

— Постой-ка, я тебе что-то покажу! — наконец решился он и, вынув из кармана свернутый листок почтовой бумаги, подал его Анниньке, — на-тко, прочти!

Аннинька прочла:

«Сегодня я молился и просил боженьку, чтоб он оставил мне мою Анниньку. И боженька мне сказал: возьми Анниньку за поленькую тальицу и прижми ее к своему сердцу».

— Так, что ли? — спросил он, слегка побледнев.

— Фу, дядя! какие гадости, — ответила она, растерянно смотря на него.

Порфирий Владимирыч побледнел еще больше и, произнеся сквозь зубы: «Видно, нам гусаров нужно!», перекрестился и, шаркая туфлями, вышел из комнаты.

Через четверть часа он, однако ж, возвратился как ни в чем не бывало и уж шутил с Аннинькой.

— Так как же? — говорил он, — в Воплино отсюда заедешь? с старушкой, бабенкой, проститься хочешь? простись! простись, мой друг! Это ты хорошее дело затеяла, что про бабенку вспомнила! Никогда не нужно родных забывать, а особливо таких родных, которые, можно сказать, душу за нас полагали!

Отслушали обедню с панихидой, поели в церкви кутьи, потом домой приехали, опять кутьи поели и сели за чай. Порфирий Владимирыч, словно назло, медленнее обыкновенного прихлебывал чай из стакана и мучительно растягивал слова, разглагольствуя в промежутке двух глотков. К десяти часам, однако ж, чай кончился, и Аннинька взмолилась:

— Дядя! теперь мне можно ехать?

— А покушать? отобедать-то на дорожку? Неужто ж ты думала, что дядя так тебя и отпустит! И ни-ни! и не думай! Этого и в заводе в Головлеве не бывало! Да маменька-покойница на глаза бы меня к себе не пустила, если б знала, что я родную племяннушку без хлеба-соли в дорогу отпустил! И не думай этого! и не воображай!

Опять пришлось смириться. Прошло, однако ж, полтора часа, а на стол и не думали накрывать. Все разбрелись; Евпраксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворе, между кладовой и погребом; Порфирий Владимирыч толковал с приказчиком, изнуряя его беспутными приказаниями, хлопая себя по ляжкам и вообще ухищряясь как-нибудь затянуть время. Аннинька ходила одна взад и вперед по столовой, поглядывая на часы, считая свои шаги, а потом секунды: раз, два, три... По временам она смотрела на улицу и убеждалась, что лужи делаются все больше и больше.

Наконец застучали ложки, ножи, тарелки; лакей Степан пришел в столовую и кинул скатерть на стол. Но, казалось, частица

праха, наполнявшего Иудушку, перешла и в него. Еле-еле он передвигал тарелками, дул в стаканы, смотрел через них на свет. Ровно в час сели за стол.

— Вот ты и едешь! — начал Порфирий Владимирыч разговор, приличествующий проводам.

Перед ним стояла тарелка с супом, но он не прикасался к ней и до того умильно смотрел на Анниньку, что даже кончик носа у него покраснел. Аннинька торопливо глотала ложку за ложкой. Он тоже взялся за ложку и уж совсем было погрузил ее в суп, но сейчас же опять положил на стол.

— Уж ты меня, старика, прости! — зудил он. — Ты вот на почтовых суп скушала, а я — на долгих ем. Не люблю я с божьим даром небрежно обращаться. Нам хлеб для поддержания существования нашего дан, а мы его зря разбрасываем — видишь, ты сколько накрошила? Да и вообще я все люблю основательно да осмотревшись делать — крепче выходит. Может быть, тебя это сердит, что я за столом через обруч — или как это там у вас называется — не прыгаю; ну, да что ж делать! и посердишься, ежели тебе так хочется! Посердишься, посердишься, да и простишь! И ты не все молода будешь, не все через обручи будешь скакать, и в тебе когда-нибудь опытку прибавится — вот тогда ты и скажешь: а дядя-то, пожалуй, прав был! Так-то, мой друг. Теперь, может быть, ты слушаешь меня да думаешь: фяка дядя! старый ворчун дядя! А как поживешь с мое — другое запоешь, скажешь: пай дядя! добру меня учил!

Порфирий Владимирыч перекрестился и проглотил две ложки супу. Сделавши это, он опять положил ложку в тарелку и опрокинулся на спинку стула в знак предстоящего разговора.

«Кровопийца!» — так и вертелось на языке у Анниньки. Но она сдержалась, быстро налила себе стакан воды и залпом его выпила. Иудушка словно нюхом отгадывал, что в ней происходит.

— Что! не нравится! что ж, хоть и не нравится, а ты все-таки дядю послушай! Вот я уж давно с тобой насчет этой твоей поспешности поговорить хотел, да все недосужно было. Не люблю я в тебе эту поспешность: легкомыслие в ней видно, нерассудительность. Вот и в ту пору вы зря от бабушки уехали — и огорчить старушку не посовестились! — а зачем?

— Ах, дядя! зачем вы об этом вспоминаете! ведь это уж сделано! С вашей стороны это даже нехорошо!

— Поймай! я не об том, хорошо или нехорошо, а об том, что хотя дело и сделано, но ведь его и переделать можно. Не только мы грешные, а и бог свои действия переменяет: сегодня пошлет дождинка, а завтра — вёдрышка даст! А! ну-тко! ведь не бог же знает какое сокровище — театр! Ну-тко! решишь-ка!

— Нет, дядя! оставьте это! прошу вас!

— А еще тебе вот что скажу: нехорошо в тебе твое легко-

мыслие, но еще больше мне не нравится то, что ты так легко к замечаниям старших относишься. Дядя добра тебе желает, а ты говоришь: оставьте! Дядя к тебе с лаской да с приветом, а ты на него фыркаешь! А между тем знаешь ли ты, кто тебе дядю дал? Ну-ко, скажи, кто тебе дядю дал?

Аннинька взглянула на него с недоумением.

— Бог тебе дядю дал — вот кто! бог! Кабы не бог, была бы ты теперь одна, не знала бы, как с собою поступить и какую просьбу подать, и куда подать, и чего на эту просьбу ожидать. Была бы ты словно в лесу; один бы тебя обидел, другой бы обманул, а третий и просто-напросто посмеялся бы над тобой! А как дядя-то у тебя есть, так мы, с божьей помощью, в один день все твоё дело вокруг пальца повернули. И в город съездили, и в опеке побывали, и просьбу подали, и резолюцию получили! Так вот оно, мой друг, что дядя-то значит!

— Да я и благодарна вам, дядя!

— А коли благодарна дяде, так не фыркай на него, а слушайся. Добра тебе дядя желает, хоть иногда тебе и кажется...

Аннинька едва могла владеть собой. Оставалось еще одно средство отделаться от дядиных поучений: притвориться, что она, хоть в принципе, принимает его предложение остаться в Головлеве.

— Хорошо, дядя, — сказала она, — я подумаю. Я сама понимаю, что жить одной, вдали от родных, не совсем удобно... Но во всяком случае теперь я решиться ни на что не могу. Надо подумать.

— Ну видишь ли, вот ты и поняла. Да чего же тут думать! Велим лошадей распрячь, чемоданы твои из кибитки вынуть — вот и думанье все!

— Нет, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра!

Неизвестно, убедил ли этот аргумент Порфирия Владимировича, или вся сцена эта была ведена им только для прилику, и он сам хорошенько не знал, точно ли ему нужно, чтоб Аннинька осталась в Головлеве, или совсем это не нужно, а просто блажь в голову на минуту забрела. Но во всяком случае обед после этого пошел поживее. Аннинька со всем соглашалась, на все давала такие ответы, которые не допускали никакой придирки для пустословия. Тем не менее часы показывали уж половину третьего, когда обед кончился. Аннинька выскочила из-за стола, словно все время в паровой ванне высидела, и подбежала к дяде, чтоб попрощаться с ним.

Через десять минут Иудушка, в шубе и в медвежьих сапогах, провожал уж ее на крыльцо и самолично наблюдал, как усаживали барышню в кибитку.

— С горы-то полегче — слышишь! Да и в Сенькине на косогоре — смотри не вывали! — приказывал он кучеру.

Наконец Анниньку укутали, усадили и застегнули фартук у кибитки.

— А то бы осталась! — еще раз крикнул ей Иудушка, желая, чтоб и при собравшихся челядинцах все обошлось как следует, по-родственному. — По крайней мере приедешь, что ли? говори!

Но Аннинька чувствовала себя уже свободною, и ей вдруг захотелось пошкольничать. Она высунулась из кибитки и, отчеканивая каждое слово, отвечала:

— Нет, дядя, не приеду! Страшно с вами!

Иудушка сделал вид, что не слышит, но губы у него побелели.

Освобождение из головлевского плена до такой степени обрадовало Анниньку, что она ни разу даже не остановилась на мысли, что позади нее, в бессрочном плену, остается человек, для которого с ее отъездом порвалась всякая связь с миром живых. Она думала только об себе: что она вырвалась и что теперь ей хорошо. Влияние этого ощущения свободы было так сильно, что когда она вновь посетила воплинское кладбище, то в ней уже не замечалось и следа той нервной чувствительности, которую она обнаружила при первом посещении бабушкиной могилы. Спокойно отслушала она панихиду, без слез поклонилась могиле и довольно охотно приняла предложение священника откусать у него в хате чашку чая.

Обстановка, в которой жил воплинский батюшка, была очень убогая. В единственной чистой комнате дома, которая служила приемною, царствовала какая-то унылая нагота; по стенам было расставлено с дюжину крашеных стульев, обитых волосяной материей, местами значительно продранной, и стоял такой же диван с выпяченной спинкой, словно грудь у генерала дореформенной школы; в одном из простенков виднелся простой стол, покрытый загаженным сукном, на котором лежали исповедные книги прихода, и из-за них выглядывала чернильница с воткнутым в нее пером; в восточном углу висел киот с родительским благословением и с зажженной лампадкой; под ним стояли два сундука с матушкиным приданым, покрытые серым, выцветшим сукном. Обоев на стенах не было; посередине одной стены висело несколько полинявших дагерротипных портретов преосвященных. В комнате пахло как-то странно, словно она издавна служила кладбищем для тараканов и мух. Сам священник, хотя человек еще молодой, значительно потускнел в этой обстановке. Жидкие беловатые волосы повисли на его голове прямыми прядями, как ветви на плакучей иве; глаза, когда-то голубые, смотрели убито; голос вздрагивал, борода обострилась; шалоновая ряса худо запахивалась спереди и висела как на вешалке. Попадья, женщина тоже моло-

дая, от ежегодных родов казалась еще более изнуренною, нежели муж.

Тем не меньше Аннинька не могла не заметить, что даже эти забитые, изнуренные и бедные люди относятся к ней не так, как к настоящей прихожанке, а скорее с сожалением, как к заблудшей овце.

— У дяденьки побывали? — начал батюшка, осторожно принимая чашку чая с подноса у попадьи.

— Да, почти с неделю прожила.

— Теперь Порфирий Владимирыч главный помещик по всей нашей округе сделались — нет их сильнее. Только удачи им в жизни как будто не видится. Сперва один сынок помер, потом и другой, а наконец, и родительница. Удивительно, как это они вас не упросили в Головлеве поселиться.

— Дядя предлагал, да я сама не осталась.

— Что ж так?

— Да лучше, как на свободе живешь.

— Свобода, сударыня, конечно, дело не худое, но и она не без опасностей бывает. А ежели при этом иметь в предмете, что вы Порфирию Владимирычу ближайшей родственницей, а следовательно, и прямой всех его имений наследницей доводиться, то можно бы, мнится, насчет свободы несколько и постеснить себя.

— Нет, батюшка, свой хлеб лучше. Как-то легче живется, как чувствуешь, что никому не обязан.

Батюшка тускло взглянул на нее, как будто хотел спросить: да ты, полно, знаешь ли, что такое «свой хлеб»? — но посовестился и только робко запахнул полы своей ряски.

— А много ли вы жалованья в актрисах-то получаете? — вступила в разговор попадьа.

Батюшка окончательно обробел и даже заморгал в сторону попадьи. Он так и ждал, что Аннинька обидится. Но Аннинька не обиделась и без всякой ужимки ответила:

— Теперь я получаю полтора ста рублей в месяц, а сестра — сто. Да бенефисы нам даются. В год-то тысяч шесть обе получим.

— Что ж так сестрице меньше дают? достоинством, что ли, они хуже? — продолжала любопытствовать матушка.

— Нет, а жанр у сестры другой. У меня голос есть, я пою — это публике больше нравится, а у сестры голос послабее — она в водевилях играет.

— Стало быть, и там тоже: кто попом, кто дьяконом, а кто и в дьячках служит?

— Впрочем, мы поровну делимся; у нас уж сначала так было условлено, чтоб деньги пополам делить.

— По-родственному? Чего же лучше, коли по-родственному? А сколько это, поп, будет? шесть тысяч рублей, ежели на месяца разделить, сколько это будет?

— По пятисот целковых в месяц, а на двух разделить — по двести по пятидесяти.

— Вона что денег-то! Нам бы и в год не прожить! А что я еще хотела вас спросить: правда ли, что с актрисами обращаются словно бы они не настоящие женщины?

Поп совсем было всполошился и даже полы рясы распустил; но, увидев, что Аннинька относится к вопросу довольно равнодушно, подумал: «Эге! да ее, видно, и в самом деле не прошибешь!» — и успокоился.

— То есть как же это, не настоящие женщины? — спросила Аннинька.

— Ну, да вот будто целуют их, обнимают, что ли... Даже, будто, когда и не хочется, и тогда они должны...

— Не целуют, а делают вид, что целуют. А об том, хочется или не хочется, — об этом и речи в этих случаях не может быть, потому что все делается по пьесе: как в пьесе написано, так и поступают.

— Хоть и по пьесе, а все-таки... Иной с слюнявым рылом лезет, на него и глядеть-то претит, а ты губы ему подставлять должна!

Аннинька невольно заалелась; в воображении ее вдруг промелькнуло слюнявое лицо храброго ротмистра Папкова, которое именно «лезло», и увы! даже не «по пьесе» лезло!

— Вы совсем не так представляете себе, как оно на сцене происходит! — сказала она довольно сухо.

— Конечно, мы в театрах не бывали, а все-таки, чай, со всячинкой там бывает. Частенько-таки мы с попом об вас, барышня, разговариваем; жалеет мы вас, даже очень жалеет.

Аннинька молчала; священник сидел и пощипывал бородку, словно решался и сам сказать свое слово.

— Впрочем, сударыня, и во всяком звании и приятности и неприятности бывают, — наконец высказался он, — но человек, по слабости своей, первыми восхищается, а последние старается позабыть. Для чего позабыть? а именно для того, сударыня, дабы и сего последнего напоминовения о долге и добродетельной жизни, по возможности, не иметь перед глазами.

И потом, вздохнув, присовокупил:

— А главное, сударыня, сокровище свое надлежит соблюсти!

Батюшка учительно взглянул на Анниньку; матушка уныло покачала головой, как бы говоря: где уж!

— И вот это-то сокровище, мнится, в актерском звании соблюсти — дело довольно сумнительное, — продолжал батюшка.

Аннинька не знала, что и сказать на эти слова. Мало-помалу ей начинало казаться, что разговор этих простодушных людей о «сокровище» совершенно одинакового достоинства с разговорами

господ офицеров «расквартированного в здешнем городе полка» об «la chose». Вообще же она убедилась, что и здесь, как у дяденьки, видят в ней явление совсем особенное, к которому хотя и можно отнестись снисходительно, но в некотором отдалении, дабы «не замараться».

— Отчего у вас, батюшка, церковь такая бедная? — спросила она, чтоб переменить разговор.

— Не с чего ей богатой быть — оттого и бедна. Помещики все по службам разъехались, а мужичкам подняться не из чего. Да их и всех-то с небольшим двести душ в приходе!

— Вот колокол у нас чересчур уж плох! — вздохнула матушка.

— И колокол и прочее все. Колокол-то у нас, сударыня, всего пятнадцать пудов весит, да и тот, на грех, раскололся. Не звонит, а шумит как-то — даже предосудительно. Покойница Арина Петровна пообещались было новый соорудить, и ежели были бы они живы, то и мы, всеконечно, были бы теперь при колоколе.

— Вы бы дяде сказали, что бабушка обещала!

— Говорил, сударыня, и он, надо правду сказать, довольно-таки благосклонно доuku мою выслушал. Только ответа удовлетворительного не мог мне дать: не слыхал, вишь, от маменьки ничего! никогда, вишь, покойница об этом ему не говаривала! А ежели бы, дескать, слыхал, то беспрременно бы волю ее исполнил!

— Когда, чай, не слыхать! — молвила попадья. — Вся округа знает, а он не слыхал!

— Вот мы и живем таким родом. Прежде хоть в надежде были, а нынче и совсем без надежды остаемся. Иногда служить не на чем: ни просфор, ни красного вина. А об себе уж и не говорим.

Аннинька хотела встать и проститься, но на столе появился новый поднос, на котором стояли две тарелки, одна с рыжиками, другая с кусочками икры, и бутылка мадеры.

— Посидите! не обессудьте! откушайте!

Аннинька повиновалась, наскоро проглотила два рыжичка, но отказалась от мадеры.

— Вот об чем я еще хотела вас спросить, — говорила между тем попадья, — в приходе у нас девушка одна есть, Лыщевского дворового дочка; так она в Петербурге у одной актрисы в услуженье была. Хорошо, говорит, в актрисах житье, только билет каждый месяц выправлять надо... правда ли это?

Аннинька смотрела во все глаза и не понимала.

— Это для свободы, — пояснил батюшка, — а, впрочем, думается, что она неправду говорит. Напротив, я слыхал, что многие актрисы даже пенсии от казны за службу удостоиваются.

Аннинька убедилась, что чем дальше в лес, тем больше дров, и стала окончательно прощаться.

— А мы было думали, что вы теперь из актрис-то выйдете? — продолжала приставать попадья.

— Зачем же?

— Все-таки. Вы — барышня. Теперь совершенные лета получили, имение свое есть — чего лучше!

— Ну, и после дяденьки вы же прямая наследница, — при-совокупил батюшка.

— Нет, я здесь жить не буду.

— А мы-то как надеялись! Всё промежду себя говорили: непременно наши барышни в Погорелке жить будут! А летом у нас здесь даже очень хорошо: в лес по грибы ходить можно! — соблазняла матушка.

— У нас грибов и не в дождливое лето очень довольно! — вторил ей батюшка.

Наконец Аннинька уехала. По приезде в Погорелку первым ее словом было: «Лошадей! Пожалуйста, поскорее лошадей!» Но Федулыч только плечами передернул в ответ на эту просьбу.

— Чего «лошадей»? мы еще и не кормили их! — брюзжал он.

— Да отчего ж наконец! Ах, боже мой! точно все сговорились!

— Сговорились и есть. Как не сговориться, коли всякому видимо, что в ростепель ночью ехать нельзя. Все равно в поле, в зажоре просидите — так, по-нашему, лучше уж дома!

Бабенькины апартаменты были вытоплены. В спальней стояла совсем приготовленная постель, а на письменном столе пыхтел самовар; Афимьюшка оскребала на дне старинной бабенькиной шкатулочки остатки чая, сохранившиеся после Арины Петровны. Покуда настаивался чай, Федулыч, скрестивши руки, лицом к барышне, держался у двери, а по обеим сторонам стояли скотница и Марковна в таких позах, как будто сейчас, по первому манию руки, готовы были бежать куда глаза глядят.

— Чай-то еще бабенькин, — первый начал разговор Федулыч, — от покойницы на донышке остался. Порфирий Владимирыч и шкатулочку собрались было увезти, да я не согласился. Может быть, барышни, говорю, приедут, так чайку испить захочется, покуда своим разживутся. Ну, ничего! еще пошутил: «Ты, говорит, старый плут, сам выпьешь! смотри, говорит, шкатулочку-то после в Головлево доставь!» Гляди, завтра же за нею придет!

— Напрасно вы ему тогда не отдали.

— Зачем отдавать — у него и своего чаю много. А теперь по крайности мы после вас попьем. Да вот что, барышня: вы нас Порфирию Владимирычу, что ли, препоручите?

— И не думала.

— Так-с. А мы было давеча бунтовать собрались. Коли

ежели, думаем, нас к головлевскому барину под начало отдадут, так все в отставку проситься будем.

— Что так? неужто дядя так страшен?

— Не очень страшен, а тиранит, слов не жалеет. Словами-то он сгноить человека может.

Аннинька невольно улыбнулась. Именно гной какой-то просачивался сквозь разглагольствия Иудушки! Не простое пустословие это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила из себя гной.

— Ну, а с собой-то вы как же, барышня, решили? — продолжал допытываться Федулыч.

— То есть что же я должна с собой «решить»? — слегка смешалась Аннинька, предчувствуя, что ей и здесь придется выдержать разглагольствия о «сокровище».

— Так неужто же вы из актерок не выйдете?

— Нет... то есть я еще об этом не думала... Но что же дурного в том, что я, как могу, свой хлеб достаю?

— Что хорошего! по ярмаркам с торбаном ездить! пьяниц утешать! Чай, вы — барышня!

Аннинька ничего не ответила, только брови насупила. В голове ее мучительно стучал вопрос: «Господи! да когда же я отсюда уеду!»

— Разумеется, вам лучше знать, как над собой поступить, а только мы было думали, что вы к нам возвратитесь. Дом у нас теплый, просторный — хоть в горелки играй! очень хорошо покойница-бабенка его устроила! Скучно сделалось — санки запряжем, а летом — в лес по грибы ходить можно!

— У нас здесь всякие грибы есть: и рыжики, и волнушечки, и груздочки, и белые, и подосиннички — страсть сколько! — соблазнительно прошамкала Афимьюшка.

Аннинька облокотилась обеими руками на стол и старалась не слушать.

— Сказывала тут девка одна, — бесчеловечно настаивал Федулыч, — в Петербурге она в услуженье жила, так говорила, будто все актерки — белетные. Каждый месяц должны в части белет представлять!

Анниньку словно обожгло: целый день она всё эти слова слышит!

— Федулыч! — с криком вырвалось у нее, — что я вам сделала? неужели вам доставляет удовольствие оскорблять меня?

С нее было довольно. Она чувствовала, что ее душит, что еще одно слово — и она не выдержит.

НЕДОЗВОЛЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ

Однажды, незадолго до катастрофы с Петенькой, Арина Петровна, гостя в Головлеве, заметила, что Евпраксеюшка словно бы поприпухла. Воспитанная в практике крепостного права, при котором беременность дворовых девок служила предметом подробных и не лишенных занимательности исследований и считалась чуть не доходною статьею, Арина Петровна имела на этот счет взгляд острый и безошибочный, так что для нее достаточно было остановить глаза на туловище Евпраксеюшки, чтобы последняя, без слов и в полном сознании виновности, отвернула от нее свое загоревшееся полымем лицо.

— Ну-тка, ну-тка, сударка! смотри на меня! тяжела? — допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу; но в голосе ее не слышалось укоризны, а, напротив, он звучал шутливо, почти весело, словно пахнуло на нее старым, хорошим временем.

Евпраксеюшка, не то стыдливо, не то самодовольно, безмолвствовала, и только пуще и пуще алели ее щеки под испытующим взглядом Арины Петровны.

— То-то! еще вчера я смотрю — поджимаешься ты! Ходит, хвостом вертит — словно и путевая! Да ведь меня, брат, хвостами-то не обманешь! Я на пять верст вперед ваши девичьи штуки вижу! Ветром, что ли, надуло? с которых пор? Признавайся! сказывай!

Последовал подробный допрос и не менее подробное объяснение. Когда замечены первые признаки? имеется ли на примете бабушка-повитушка? знает ли Порфирий Владимирович об ожидающей его радости? бережет ли себя Евпраксеюшка, не поднимает ли чего тяжелого? и т. д. Оказалось, что Евпраксеюшка беременна уж пятый месяц; что бабушки-повитушки на примете покуда еще нет; что Порфирию Владимировичу хотя и было докладывано, но он ничего не сказал, а только сложил руки ладонями внутрь, пошептал губами и посмотрел на образ, в знак того, что все от бога, и он, царь небесный, сам обо всем промыслит; что, наконец, Евпраксеюшка однажды не остереглась, подняла самовар и в ту же минуту почувствовала, что внутри у нее что-то словно оборвалось.

— Однако оглашенные вы, как я на вас посмотрю! — тужила Арина Петровна, выслушавши эти признания. — Придется, видно, мне самой в это дело взойти! На-тко, пятый месяц беременна, а у них даже бабушки-повитушки на примете нет! Да ты хоть бы Улитке, глупая, показалась!

— И то собиралась, да барин Улитушку-то не очень...

— Вздор, сударыня, вздор! Там провинилась ли, нет ли

Улитка перед барином — это само собой! а тут этаким случай — а он на-поди! Что нам, целоваться, что ли, с ней? Нет, неминуемое дело, что мне самой придется в это дело вступить!

Арина Петровна хотела было взгрустнуть, пользуясь этим случаем, что вот и до сих пор, даже на старости лет, ей приходится тяготы носить; но предмет разговора был так привлекателен, что она только губами чмокнула и продолжала:

— Ну, сударка, теперь только распоясывайся! Любо было кататься — попробуй-ка саночки повозить! Попробуй! попробуй! Я вот трех сынов да дочку вырастила, да пятерых детей маленькими схоронила — я знаю! Вот они где у нас, мужчинки-то, сидят! — прибавила она, ударяя себя кулаком по затылку.

И вдруг ее словно озарило.

— Батюшки! да, никак, еще под постный день! Постой, погоди! сосчитаю!

Начали по пальцам считать, сочли раз, другой, третий — выходило именно как раз под постный день.

— Ну, так, так! это — святой-то человек! Ужо, погоди, подразню его! Молитвенник-то наш! в какую рюху попал! подразню! не я буду, если не подразню! — шутила старушка.

Действительно, в тот же день, за вечерним чаем, Арина Петровна, в присутствии Евпраксеюшки, подшучивала над Иудушкой.

— Смиреник-то наш! смотри, какую штуку удрал! Уж и взаправду, не ветром ли крале-то твоей надуло? Ну, брат, удивил!

Иудушка сначала брезгливо пожимался при маменькиных шуточках, но, убедившись, что Арина Петровна говорит «по-родственному», «всей душой», — и сам мало-помалу повеселел.

— Проказница вы, маменька! право, проказница! — шутил и он в свою очередь; но, впрочем, по своему обыкновению, отнесся к предмету семейного разговора уклончиво.

— Чего «проказница»! серьезно об этом переговорить надо! Ведь это — какое дело-то! «Тайна» тут — вот я тебе что скажу! Хоть и не настоящим манером, а все-таки... Нет, надо очень, да и как еще очень об этом деле поразмыслить! Ты как думаешь: здесь, что ли, ей рожать велишь, или в город повезешь?

— Не знаю я, маменька, ничего я, душенька, не знаю! — уклонялся Порфирий Владимирович. — Проказница вы! право, проказница!

— Ну, так постой же, сударка! Ужо мы с тобой на прохладе об этом деле потолкуем! И как и что — все подробно определим! А то ведь эти мужчинки — им бы только прихоть свою исполнить, а потом отдувайся наша сестра за них, как знает!

Сделавши свое открытие, Арина Петровна почувствовала себя как рыба в воде. Целый вечер проговорила она с Евпрак-

сеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у ней разгорелись и глаза как-то по-юношески заблестели.

— Ведь это, сударка, как бы ты думала? Ведь это... божественное! — настаивала она, — потому что хоть и не тем порядком, а все-таки настоящим манером... Только ты у меня смотри! Ежели да под постный день — боже тебя сохрани! и засмею тебя! и со свету сгоню!

Призвали на совет и Улитушку. Сначала об настоящем деле поговорили, что и как, не нужно ли промывательное поставить или моренковой мазью живот потереть, потом опять обратились к излюбленной теме и начали по пальцам рассчитывать — и все выходило именно как раз на постный день! Евпраксеюшка алела, как маков цвет, но не отнекивалась, а ссылалась на подневольное свое положение.

— Мне что ж! — говорила она. — Мое дело — как «они» хотят! Коли ежели барин прикажут — может ли наша сестра против их приказаньев идти!

— Ну, ну, тихоня! не лебези хвостом! — шутила Арина Петровна. — Сама, чай...

Словом сказать, женщины занялись этим делом всласть. Арина Петровна целый ряд случаев из своего прошлого вспомнила и, разумеется, не преминула повествовать об них. Сначала рассказала про свои личные беременности. Как она Степкой-балбесом мучилась, как, будучи беременной Павлом Владимычем, ездила на перекладной в Москву, чтоб дубровинского аукциона не упустить, да потом из-за этого на тот свет чуть-чуть не отправилась, и т. д. и т. д. Все роды были чем-нибудь замечательны; одни только достались легко — это были роды Иудушки.

— Просто даже вот ни на эстолько тягости не чувствовала! — говорила она. — Сижу, бывало, и думаю: «Господи! да неужто я тяжела!» И как настало время, прилегла я этак на минуточку на кровать, и уж сама не знаю как — вдруг разрешилась! Самый это легкий для меня сын был! Самый, самый легкий!

Потом начались рассказы про дворовых девок: скольких она сама «заставала», скольких выслеживала при помощи доверенных лиц, и преимущественно Улитушки. Старческая память с изумительною отчетливостью хранила эти воспоминания. Во всем ее прошлом, сером, всецело поглощенном мелким и крупным скопидомством, сослеживание вождедеющих дворовых девок было единственным романическим элементом, затрогивавшим какую-то живую струну.

Это была своего рода беллетристика в скучном журнале, в котором читатель ожидает встретиться с исследованиями о сухих туманах и о месте погребения Овидия — и вдруг вместо того читает: *Вот мчится тройка удалая...* Развязки нехитрых романов девичьей обыкновенно бывали очень строгие и даже бесчело-

вечные (виновную выдавали замуж в дальнюю деревню, непременно за мужика-вдовца, с большим семейством; виновного — разжаловывали в скотники или отдавали в солдаты); но воспоминания об этих развязках как-то стерлись (память культурных людей относительно прошлого их поведения вообще снисходительна), а самый процесс сослеживания «амурной интриги» так и мелькал до сих пор перед глазами, словно живой. Да и немудрено! этот процесс, во времена оны, велся с таким же захватывающим интересом, с каким ныне читается фельетонный роман, в котором автор, вместо того чтоб сразу увенчать взаимное вожделение героев, на самом патетическом месте ставит точку и пишет: *продолжение впродь*.

— Немало я-таки с ними мученьев приняла! — повествовала Арина Петровна. — Иная до последней минуты перемогается, лебезит — все надеется обмануть! Ну, да меня, голубушка, не перехитришь! я сама на этих делах зубы съела! — прибавляла она почти сурово, словно грозясь кому-то.

Наконец следовали рассказы из области беременностей, так сказать, политических, относительно которых Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей.

Так, например, у папеньки Петра Ивановича, дряхлого семидесятилетнего старика, тоже «сударка» была и тоже оказалась вдруг с прибылью, и нужно было, по высшим соображениям, эту прибыль от старика утаить. А она, Арина Петровна, как на грех, была в ту пору в ссоре с братцем Петром Петровичем, который тоже, ради каких-то политических соображений, беременность эту сослеживал и хотел старику глаза насчет «сударки» открыть.

— И как бы ты думала! почти на глазах у папеньки мы всю эту механику выполнили! Спит, голубчик, у себя в спальне, а мы рядышком орудуем! Да шепотком, да на цыпочках! Сама я, собственными руками, и рот-то ей зажимала, чтоб не кричала, и белье-то собственными руками убирала, а сынка-то ее — прехорошенький, здоровенький такой родился! — и того, села на извозчика да в воспитательный спроводила! Так что братец, как через неделю узнал, только ахнул: ну, сестра!

Была и еще политическая беременность: с сестрицей Варварой Михайловной дело случилось. Муж у нее в поход под турка уехал, а она возьми да и не остерегись! Прискакала как угорелая в Головлево — спасай, сестра!

— Ну, мы хоть в то время в контрах промежду себя были, однако я и виду ей не подала: честь честью ее приняла, утешила, успокоила, да, под видом гошенья, так это дело кругленько обделала, что муж и в могилу ушел — ничего не знал!

Так повествовала Арина Петровна, и, надо сказать правду, редкий рассказчик находил себе таких внимательных слушателей.

Евпраксеюшка старалась не проронить слова, как будто бы перед ней проходили воочию перипетии какой-то удивительной волшебной сказки; что же касается до Улитушки, то она, как соучастница большей части рассказываемого, только углами губ причмокивала.

Улитушка тоже расцвела и отдохнула. Тревожная была ее жизнь. С юных лет сгорала она холопским честолюбием и во сне и наяву бредила, как бы господам послужить да над своим братом покомандовать — и все неудачно. Только что занесет, бывало, ногу на ступеньку повыше, ан ее оттуда словно невидимая сила какая шарахнет и опять втопчет в самую преисподнюю. Всеми качествами полезной барской слуги обладала она в совершенстве: была ехидна, злоязычна и всегда готова на всякое предательство, но в то же время страдала какою-то неудержимой повадливостью, которая всю ее ехидность обращала в ничто. В былое время Арина Петровна охотно пользовалась ее услугой, когда нужно было секретное расследование по девичьей сделать или вообще сомнительное дело какое-нибудь округлить, но никогда не ценила ее заслуги и не допускала ни до какой солидной должности. Вследствие этого Улитка и жаловалась и языком язвила; но на жалобы ее не обращалось внимания, потому что всем было ведомо, что Улитка — девка злая, сейчас тебя в преисподнюю проклянет, а через минуту, помани ее только пальцем, — она и опять прибежит, станет на задних лапках служить. Так и промыкалась она, куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успевая достигнуть, до тех пор, пока исчезновение крепостного права окончательно не положило предела ее холопскому честолюбию.

В молодости ее был даже случай, который подавал ей надежды очень серьезные. В одну из своих побывок в Головлеве Порфирий Владимырьч свел с ней связь и даже, как гласило головлевское предание, имел от нее ребенка, за что и состоял долгое время под гневом у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась ли эта связь впоследствии, при дальнейших наездах Иудушки в отчий дом — неизвестно; но во всяком случае, когда Порфирий Владимырьч собрался в Головлево совсем на жительство, мечтаниям Улитушки пришлось рухнуть самым обидным образом. Немедленно по приезде Иудушки она кинулась к нему с целым ворохом сплетен, в которых Арина Петровна обвинялась чуть не в мошенничестве; но «барин» сплетни выслушал благосклонно, а на Улитку взглянул все-таки холодно и прежней ее «заслуги» не попомнил. Обманутая в расчетах и обиженная, Улитушка перекинулась в Дубровино, где братец Павел Владимырьч, из ненависти к братцу Порфирию Владимырьчу, охотно принял ее и даже сделал эконолкою. Тут ее фонды как будто поправились. Павел Владимырьч сидел на антресолях и выпивал рюмку за рюмкой, а она с утра до вечера бойко бегала по кладовым и

погребам, гремела ключами, громко языничала и даже завела какие-то контры с Ариной Петровной, которую чуть не сжила со свету.

Но Улитушка слишком любила всякие предательства, чтобы в тишине пользоваться выпавшим на ее долю хорошим житьем. Это было то самое время, когда Павел Владимыч испивал уже настолько, что можно было с известными надеждами относиться к исходу этого беспробудного пьянства. Порфирий Владимыч понял, что в таком положении дела Улитушка представляет неоцененный клад — и вновь поманил ее пальцем. Ей было дано из Головлева приказание — не отходить ни на шаг от облюбованной жертвы, ни в чем ей не противоречить, даже в ненависти к братцу Порфирию Владимычу, а только всеми мерами устранять вмешательство Арины Петровны. Это было одно из тех родственных злодейств, на которые Иудушка не то чтоб решался по зрелом размышлении, а как-то само собой проделывал, как самую обыкновенную затею. Излишне было бы говорить, что Улитушка выполнила поручение в точности. Павел Владимыч не переставал ненавидеть брата, но чем больше он ненавидел, тем больше пил и тем меньше становился способен выслушивать какие-либо замечания Арины Петровны насчет «распоряжения». Каждое движение умирающего, каждое его слово немедленно делались известными в Головлеве, так что Иудушка мог с полным знанием дела определить минуту, когда ему следует выйти из-за кулис и появиться на сцену настоящим господином созданного им положения. И он воспользовался этим, то есть нагрянул в Дубровино именно тогда, когда оно, так сказать, само отдалось ему в руки.

За эту услугу Порфирий Владимыч подарил Улитушке шерстяной материи на платье, но до себя все-таки не допустил. Опять шарахнулась Улитушка с высоты величия в преисподнюю, и на этот раз, казалось, так, что уж никто на свете ее никогда не поманит пальцем.

В виде особенной милости за то, что она «за братцем в последние минуты ходила», Иудушка отделил ей угол в избе, где вообще ютились оставшиеся, по упразднении крепостного права, заслуженные дворовые. Там Улитушка окончательно смирилась, так что когда Порфирий Владимыч облюбовал Евпраксеюшку, то она не только не выказала никакой строптивости, но даже первая пришла к «бариновой сударке» на поклон и поцеловала ее в плечико.

И вдруг, в ту минуту, когда она уже сама сознавала себя забытою и заброшенною, — ей опять посчастливилось: Евпраксеюшка забеременела. Вспомнили, что где-то в людской избе ютится «золотой человек», и поманили его пальцем. Правда, не сам «барин» поманил, но и того уж достаточно, что он не попрепятствовал. Улитушка ознаменовала свое вступление в господский

дом тем, что взяла у Евпраксеюшки из рук самовар и с форсом и несколько избочась принесла его в столовую, где в то время сидел и Порфирий Владимырьч. И «барин» — не сказал ни слова. Ей показалось, что он даже улыбнулся, когда в другой раз, с тем же самоваром в руках, она встретила его в коридоре и еще издали закричала:

— Барин! посторонись — ожгу!

Приванная Ариной Петровной на семейный совет, Улитушка некоторое время кобенилась и не хотела сесть. Но когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула:

— Садись-ко! садись! нечего штуки-фигуры выкидывать! Царь всех нас равными сделал — садись! — то и она села: сначала смирилась, а потом и язык распустила.

Эта женщина тоже припоминала. Много всякого гною скопилось в ее памяти из прежней крепостной практики. Независимо от выполнения деликатных поручений по предмету сослеживания девичьих вожделений, Улитушка состояла в головлевском доме в качестве аптекарши и лекарки. Сколько она поставила в своей жизни горчичников, рожков и в особенности клистиров! Ставила она клистиры и старому барину Владимиру Михайлычу, и старой барыне Арине Петровне, и молодым барчукам всем до единого — и сохранила об этом самые благодарные воспоминания. И вот теперь для этих воспоминаний представилось почти неоглядное поле...

Головлевский дом как-то таинственно оживился. Арина Петровна то и дело наезжала из Погорелки к «доброму сыну», и под ее надзором деятельно шли приготовления, которым покуда не давалось еще названия. После вечернего чая все три женщины забирались в Евпраксеюшкину комнату, лакомились домашним вареньем, играли в дураки и до поздних петухов предавались воспоминаниям, от которых «сударка» по временам шибко алела. Всякий самый ничтожный случай служил поводом к новым и новым рассказам. Подаст Евпраксеюшка вареньица малинового — Арина Петровна расскажет, как она, будучи беременна дочкой Сонькой, даже запаху малины выносить не могла.

— Только в дом принесут — я уже и слышу, что ее принесли! Так вот благим матом и кричу: «Вон! вон ее, проклятую, несите!» А после, как выпросталась, — и опять ничего! и опять полюбила!

Принесет Евпраксеюшка икорки закусить — Арина Петровна и насчет икорки случай вспомнит.

— А вот с икоркой у меня случай был — так именно диковинный! В ту пору я — с месяц ли, с два ли я только что замуж вышла — и вдруг так ли мне этой икры захотелось, вынь да положь! Заберусь это, бывало, потихоньку в кладовую и все ем, все ем! Только и говорю я своему благоверному: что, мол, это, Владимир Михайлыч, значит, что я все икру ем? А он этак улыбнулся и го-

ворит: «Да ведь ты, мой друг, тяжела!» И точно, ровно через девять месяцев после того я и выпросталась, Степку-балбеса родила!

Порфирий Владимирович между тем продолжал с прежнею загадочностью относиться к беременности Евпраксеюшки и даже ни разу не высказался определенно относительно своей прикосновенности к этому делу. Весьма естественно, что это стесняло женщин, мешало их изливаниям, и потому Иудушку почти совсем обросили и без церемонии гнали вон, когда он заходил вечером на огонек в Евпраксеюшкину комнату.

— Ступай-ка, ступай, молодец! — весело говорила Арина Петровна. — Ты свое дело сделал, теперь наше, женское дело наступило! На нашей улице праздник!

Иудушка смиренно удалялся и хотя при этом не упускал случая попенять доброму другу маменьке, что она сделалась к нему немилостива, но в глубине души был очень доволен, что его не тревожат и что Арина Петровна приняла горячее участие в затруднительном для него обстоятельстве. Если б этого участия не было — бог знает, что бы ему пришлось предпринять, чтобы смять это пакостное дело, при одном воспоминании о котором он ежился и отплевывался. А теперь, благодаря опытности Арины Петровны и ловкости Улитушки, он надеялся, что «беда» пройдет без огласки и что ему самому, быть может, придется узнать о результате ее, когда уже все совсем будет кончено.

Расчеты Порфирия Владимировича, однако ж, не оправдались. Сначала случилась катастрофа с Петенькой, а невольге за нею последовала и смерть Арины Петровны. Приходилось расплачиваться самолично, и притом без всякой надежды на какую-нибудь паскудную комбинацию. Нельзя было отослать Евпраксеюшку, яко непотребную, к родным, потому что, благодаря вмешательству Арины Петровны, дело зашло слишком далеко и было у всех на знати. На усердие Улитушки тоже надежда была плоха, потому что хоть она и ловкая девка, но ежели ей довериться, то, пожалуй, и от судебного следователя потом не убережешься. В первый раз в жизни Иудушка серьезно и искренно возроптал на свое одиночество, в первый раз смутно понял, что окружающие люди — не просто пешки, годные только на то, чтоб морочить их.

«И что бы ей стоило крошечку погодить, — сетовал он втихомолку на милого друга маменьку, — устроила бы все как следует, умнехонько да смирнехонько — и Христос бы с ней! пришло время умирать — делать нечего! жалко старушку, да коли так богу угодно, и слезы наши и доктора, и лекарства наши, и мы все — всё против воли божией бессильно! Пожила старушка, попользо-

валась! И сама барыней век прожила и детей господами оставила! Пожила и будет!»

И, по обыкновению, суетливая его мысль, не любившая задерживаться на предмете, представляющем какие-нибудь практические затруднения, сейчас же перекидывалась в сторону, к предмету более легкому, по поводу которого можно было празднословить бессрочно и беспрепятственно.

«И как ведь скончалась-то, именно только праведники такой кончины удостоиваются! — лгал он самому себе, сам, впрочем, не понимая, лжет он или говорит правду, — без болезни, без смуты... так! Вздохнула — смотрим, а ее уж и нет! Ах, маменька, маменька! И улыбочка на лице и румянчик... И ручка сложена, как будто благословить хочет, и глазки закрыла... адьё!»

И вдруг, в самом разгаре жалостливых слов, опять словно кольнет его. Опять эта пакость... тьфу! тьфу! тьфу! Ну что бы стоило маменьке крошечку повременить! И всего-то с месяц, а может быть, и меньше осталось — так вот на-поди!

Некоторое время пробовал было он и на вопросы Улитушки так же отнекиваться, как отнекивался перед милым другом маменькой: «Не знаю! ничего я не знаю!» Но к Улитушке, как бабе наглой и, притом же, почувствовавшей свою силу, не так-то легко было подойти с подобными приемами.

— Я, что ли, знаю! я, что ли, кузов-то строила! — на первых же порах обрезала она его так, что он понял, что отныне расчеты на счастливое соединение роли прелюбодея с ролью постороннего наблюдателя результатов собственного прелюбодеяния окончательно рухнули для него.

Беда надвигалась все ближе и ближе, беда неминуемая, почти осязаемая! Она преследовала его ежеминутно и, что всего хуже, парализовала его пустомыслие. Он употреблял всевозможные усилия, чтоб смять представление об ней, утопить его в потоке праздных слов, но это удавалось ему только отчасти. Пробовал он как-нибудь спрятаться за непререкаемостью законов высшего произволения и, по обыкновению, делал из этой темы целый клубок, который бесконечно разматывал, припутывая сюда и притчу о волосе, с человеческой головы не падающем, и легенду о здании, на песце строимом; но в ту самую минуту, когда праздные мысли беспрепятственно скатывались одна за другой в какую-то загадочную бездну, когда бесконечное разматывание клубка уж казалось вполне обеспеченным — вдруг, словно из-за угла, врывалось одно слово и сразу обрывало нитку. Увы! это слово было: «прелюбодеяние» и обозначало такое действие, в котором Иудушка и перед самим собой сознаться не хотел.

И вот, когда, после тщетных попыток забыть и убить, делалось, наконец, ясным, что он пойман, — на него нападала тоска.

Он принимался ходить по комнате, ни об чем не думая, а только ощущая, что внутри у него сосет и дрожит.

Это была совсем новая узда, которую в первый раз в жизни узнало его праздномыслие. До сих пор, в какую бы сторону ни шла его пустопорожняя фантазия, повсюду она встречала лишенное границ пространство, на протяжении которого складывались всевозможные комбинации. Даже гибель Володьки, Петьки, даже смерть Арины Петровны не затрудняли его праздномыслия. Это были факты обыкновенные, общепризнанные, для оценки которых существовала и обстановка общепризнанная, искони обусловленная. Панихиды, сорокоусты, поминальные обеды и проч. — все это он, по обычаю, отбыл как следует и всем этим, так сказать, оправдал себя и перед людьми и перед провидением. Но прелюбодеяние... это что же такое? Ведь это — обличение целой жизни, это — обнаружение ее внутренней лжи! Хотя и прежде его разумели кляузником, положим даже — «кровопивцем», но во всей этой людской мольбе было так мало юридической подкладки, что он мог с полным основанием возразить: докажи! И вдруг теперь... прелюбодей! Прелюбодей уличенный, несомненный (он даже мер никаких, по милости Арины Петровны (ах, маменька! маменька!), не принял, даже солгать не успел), да еще и «под постный день»... тьфу!.. тьфу! тьфу!

В этих внутренних собеседованиях с самим собою, как ни запутано было их содержание, замечалось даже что-то похожее на пробуждение совести. Но представлялся вопрос: пойдет ли Иудушка дальше по этому пути, или же пустомыслие и тут сослужит ему обычную службу и представит новую лазейку, благодаря которой он, как и всегда, успеет выйти сухим из воды?

Покуда Иудушка изнывал таким образом под бременем пустотробия, в Евпраксеюшке, мало-помалу, совершался совсем неожиданный внутренний переворот. Ожидание материнства, по видимому, разрешило умственные узы, связывавшие ее. До сих пор она ко всему относилась безучастно, а на Порфирия Владимыча смотрела как на «барина», к которому у ней существовали подневольные отношения. Теперь она впервые что-то поняла, нечто вроде того, что у нее свое дело есть, в котором она — «сама большая» и где помыкать ею безвозбранно нельзя. Вследствие этого даже выражение ее лица, обыкновенно тупое и нескладное, как-то осмыслилось и засветилось.

Смерть Арины Петровны была первым фактом в ее полубессознательной жизни, который подействовал на нее отрезвляющим образом. Как ни своеобразны были отношения старой барыни к предстоящему материнству Евпраксеюшки, но все-таки в них просвечивало несомненное участие, а не одна паскудно-гадливая уклончивость, которая встречалась со стороны Иудушки. Поэтому Евпраксеюшка начала видеть в Арине Петровне что-то вро-

де застѹпы, как бы подозревая, что впереди готовится на нее какое-то нападение. Предчувствие этого нападения преследовало ее тем упорнее, что оно не было освещено сознанием, а только наполняло все ее существо постоянною тоскливою смутой. Мысль была недостаточно сильна, чтоб указать прямо, откуда придет нападение и в чем оно будет состоять; но инстинкты уже были настолько взбудоражены, что при виде Иудушки чувствовался безотчетный страх. Да, оно придет оттуда! — отзывалось во всех сердечных ее тайниках, — оттуда, из этого наполненного прахом гроба, к которому она доселе была приставлена как простая наймитка и который каким-то чудом сделался отцом и властелином ее ребенка! Чувство, которое пробуждалось в ней при этой последней мысли, было похоже на ненависть и даже непременно перешло бы в ненависть, если б не находило для себя отвлечения в участии Арины Петровны, которая добродушной своей болтовней не давала ей времени задуматься.

Но вот Арина Петровна сначала удалилась в Погорелку, а наконец и совсем угасла. Евпраксеюшке сделалось совсем жутко. Тишина, в которую погрузился головлевский дом, нарушалась только шуршаньем, возвещавшим, что Иудушка, крадучись и подобравши полы халата, бродит по коридору и подслушивает у дверей. Изредка кто-нибудь из челядинцев набежит со двора, хлопнет дверью в девичьей, и опять изо всех углов так и ползет тишина. Тишина мертвая, наполняющая существо суеверною, саднящею тоской. А так как Евпраксеюшка в это время была уже на сносях, то для нее не существовало даже ресурса хозяйственных хлопот, которые в былое время настолько утомляли ее физически, что она к вечеру ходила уже как сонная. Пробовала было она приласкаться к Порфирию Владимирычу, но попытки эти каждый раз вызывали краткие, но злобные сцены, которые даже на ее неразвитую натуру действовали мучительно. Поэтому приходилось сидеть сложа руки и думать, то есть тревожиться. А поводы для тревоги с каждым днем становились больше и больше, потому что смерть Арины Петровны развязала руки Улитушке и ввела в головлевский дом новый элемент сплетен, сделавшихся отныне единственным живым делом, на котором отдыхала душа Иудушки.

Улитушка поняла, что Порфирий Владимирыч трусит и что в этой пустоутробной и изолгавшейся натуре трусость очень близко граничит с ненавистью. Сверх того, она отлично знала, что Порфирий Владимирыч не способен не только на привязанность, но даже и на простое жаленье; что он держит Евпраксеюшку лишь потому, что благодаря ей домашний обиход идет, не сбиваясь с однажды намеченной колеи. Заручившись этими несложными данными, Улитушка имела полную возможность ежеминутно питать и лелеять то чувство ненависти, которое закипало в душе

Иудушки каждый раз, когда что-нибудь напоминало ему о предстоящей «беде».

В скором времени целая сеть сплетен опутала Евпраксеюшку со всех сторон. Улитушка то и дело «докладывала» барину. То придет, пожалуется на безрассудное распоряжение домашнею провизией.

— Чтой-то, барин, как у вас добра много выходит! Давеча пошла я на погреб за солониной; думаю, давно ли другую кадку зачали,— смотрю, ан ее там куска с два ли, с три ли на донышке лежит!

— Неужто? — уставлялся в нее глазами Иудушка.

— Кабы не сама своими глазами видела — не поверила бы! Даже удивительно, куда этакая прорва идет! Масла, круп, огурцов — всего! У других господ кашу-то людям с гусиным жиром дают — таковские! — а у нас все с маслом, да все с чухонским!

— Неужто? — почти пугался Порфирий Владимирыч.

То придет и невзначай о барском белье доложит:

— Вы бы, баринушка, остановили Евпраксеюшку-то. Конечно, дело ее — девичье, непривычное, а вот хоть бы насчет белья... Целые вороха она этого белья извела на простыни да на пеленки, а белье-то все тонкое.

Порфирий Владимирыч только сверкнет глазами в ответ, но вся его пустая утроба так и повернется при этих словах.

— Известно, младенца своего жалеет! — продолжает Улитушка медоточивым голосом.— Думает, и невесть что случилось... прынец народится! А между прочим мог бы он, младенец-то, и на посконных простыньках уснуть... в ихнем звании!

Иногда она даже попросту поддразнивала Иудушку.

— А что я вас хотела, баринушка, спросить,— начинала она,— как вы насчет младенца-то располагаете? сынком, что ли, своим его сделаете, или по примеру прочих, в воспитательный...

Но Порфирий Владимирыч в самом начале прерывал вопрос таким мрачным взглядом, что Улитушка умолкала.

И вот, посреди закипавшей со всех сторон ненависти, все ближе и ближе надвигалась минута, когда появление на свет крошечного, плачущего «раба божия» должно было разрешить чем-нибудь царствовавшую в головлевском доме нравственную сумятицу и в то же время увеличить собой число прочих плачущих «рабов божиих», населяющих вселенную.

Седьмой час вечера. Порфирий Владимирыч успел уже выспаться после обеда и сидит у себя в кабинете, исписывая цифирными выкладками листы бумаги. На этот раз его занимает вопрос: сколько было бы у него теперь денег, если б маменька Арина

Петровна подаренные ему при рождении дедушкой Петром Ивановичем, на зубок, сто рублей ассигнациями не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного: всего восемьсот рублей ассигнациями.

— Положим, что капитал и небольшой, — праздномыслит Иудушка, — а все-таки хорошо, когда знаешь, что про черный день есть. Занялось — и взял. Ни у кого не попросил, никому не поклонился — сам взял, свое, кровное, дедушкой подаренное! Ах, маменька! маменька! и как это вы, друг мой, так, очертя голову, действовали!

Увы! Порфирий Владимирович уже успокоился от тревог, которые еще так недавно парализовали его праздномыслие. Своеобразные проблески совести, пробужденные затруднениями, в которые его поставили беременность Евпраксеюшки и неожиданная смерть Арины Петровны, мало-помалу затихли. Пустомыслие сослужило и тут свою обычную службу, и Иудушке в конце концов удалось-таки, с помощью невероятных усилий, утопить представление о «беде» в бездне праздных слов. Нельзя сказать, чтоб он сознательно на что-нибудь решился, но как-то сама собой вдруг вспомнилась старая, излюбленная формула: «Ничего я не знаю! ничего я не позволяю и ничего не разрешаю!» — к которой он всегда прибегал в затруднительных обстоятельствах, и очень скоро положила конец внутренней сумятице, временно взволновавшей его. Теперь он уж смотрел на предстоящие роды как на дело, до него не относящееся, а потому и самому лицу своему постарался сообщить выражение бесстрастное и непроницаемое. Он почти игнорировал Евпраксеюшку и даже не называл ее по имени, а ежели случалось иногда спросить об ней, то выражался так: «А что та... все еще больна?» Словом сказать, оказался настолько сильным, что даже Улитушка, которая, в школе крепостного права, довольно-таки понаторела в науке сердцеведения, поняла, что бороться с таким человеком, который на все готов и на все согласен, — совершенно нельзя.

Головлевский дом погружен в тьму; только в кабинете у барина да еще в дальней боковушке, у Евпраксеюшки, мерцает свет. На Иудушкиной половине царствует тишина, прерываемая шелканьем на счетах да шуршаньем карандаша, которым Порфирий Владимирович делает на бумаге цифирные выкладки. И вдруг, среди общего безмолвия, в кабинет врывается отдаленный, но раздирающий стон. Иудушка вздрагивает; губы его моментально трясутся; карандаш делает неподлежащий штрих.

— Сто двадцать один рубль да двенадцать рублей десять копеек... — шепчет Порфирий Владимирович, усиливаясь заглушить неприятное впечатление, произведенное стоном.

Но стоны повторяются чаще и чаще и делаются, наконец, бес-

покойными. Работа становится настолько неудобною, что Иудушка оставляет письменный стол. Сначала он ходит по комнате, стараясь не слышать; но любопытство мало-помалу берет верх над пустоутробием. Потихоньку приотворяет он дверь кабинета, просовывает голову в тьму соседней комнаты и в выжидательной позе прислушивается.

«Ахти! никак и лампадку перед иконой «Утоли моя печали» засветить позабыли!» — мелькает у него в голове.

Но вот слышались в коридоре чьи-то ускоренные, тревожные шаги. Порфирий Владимирыч поспешно юркнул головой опять в кабинет, осторожно притворил дверь и на цыпочках рысцой подошел к образу. Через секунду он уже был «при всей форме», так что когда дверь распахнулась и Улитушка вбежала в комнату, то она застала его стоящим на молитве со сложенными руками.

— Как бы Евпраксеюшка-то у нас богу душу не отдала! — сказала Улитушка, не побоявшись нарушить молитвенное стояние Иудушки.

Но Порфирий Владимирыч даже не обернулся к ней, а только поспешнее обыкновенного зашевелил губами и вместо ответа помахал одной рукой в воздухе, словно отмахиваясь от назойливой мухи.

— Что рукою-то дрыгаете! плоха, говорю, Евпраксеюшка, того гляди помрет! — грубо настаивала Улитушка.

На сей раз Иудушка обернулся, но лицо у него было такое спокойное, елейное, как будто он только что, в созерцании божества, отложил всякое житейское попечение и даже не понимает, по какому случаю могут тревожить его.

— Хоть и грех, по молитве, бранить, но, как человек, не могу не попенять: сколько раз я просил не тревожить меня, когда я на молитве стою! — сказал он приличествующим молитвенному настроению голосом, позволив себе, однако, покачать головой в знак христианской укоризны. — Ну, что еще такое у вас там?

— Чему больше быть: Евпраксеюшка мучится, разродиться не может! точно в первый раз слышите... ах, вы! хоть бы взглянули!

— Что же смотреть! доктор я, что ли? совет, что ли, дать могу? Да и не знаю я, никаких я ваших дел не знаю! Знаю, что в доме больная есть, а чем больна и отчего больна — об этом и узнавать, признаться, не любопытствовал! Вот за батюшкой послать, коли больная трудна, — это я присоветовать могу! Пошлете за батюшкой, вместе помолитесь, лампадки у образов засветите... а после мы с батюшкой чайку попьем!

Порфирий Владимирыч был очень доволен, что он в эту решительную минуту так категорически выразился. Он смотрел на Улитушку светло и уверенно, словно говорил: а ну-тка, опроверг-

ни теперь меня! Даже Улитушка не нашлась в виду этого благодушия.

— Пришли бы! взглянули бы! — повторила она в другой раз.

— Не приду, потому что ходить незачем. Кабы за делом, я бы и без зова твоего пошел. За пять верст нужно по делу идти — за пять верст пойду; за десять верст нужно — и за десять верст пойду! И морозец на дворе и метелица, а я все иду да иду! Потому знаю: дело есть, нельзя не идти!

Улитушке думалось, что она спит и в сонном видении сам сатана предстал перед нею и разглагольствует.

— Вот за попом послать, это — так. Это дельно будет. Молитва — ты знаешь ли, что об молитве-то в Писании сказано? Молитва — *недугующих исцеление*, — вот что сказано! Так ты так и распорядись! Пошлите за батюшкой, помолитесь вместе... и я в это же время помолюсь! Вы там, в образной, помолитесь, а я здесь, у себя, в кабинете, у бога милости попрошу... Общими силами: вы там, я тут — смотришь, ан молитва-то и дошла!

Послали за батюшкой, но, прежде нежели он успел прийти, Евпраксеюшка, в терзаниях и муках, уж разрешилась. Порфирий Владимырьч мог догадаться по беготне и хлопанью дверьми, которые вдруг поднялись в стороне девичьей, что случилось что-нибудь решительное. И действительно, через несколько минут в коридоре вновь слышались торопливые шаги, и вслед за тем в кабинет на всех парусах влетела Улитушка, держа в руках крохотное существо, завернутое в белье.

— На-тко-те! Погляди-тко-те! — возгласила она торжественным голосом, поднося ребенка к самому лицу Порфирия Владимыря.

Иудушку на мгновение словно бы поколебало, даже корпус его пошатнулся вперед, и в глазах блеснула какая-то искорка. Но это было именно только на одно мгновение, потому что вслед за тем он уже брезгливо отвернул свое лицо от младенца и обеими руками замахал в его сторону.

— Нет, нет! боюсь я их... не люблю! ступай... ступай! — лепетал он, выражая всем лицом своим бесконечную гадливость.

— Да вы хоть бы спросили: мальчик или девочка? — увещевала его Улитушка.

— Нет, нет... и незачем... и не мое это дело! Ваши это дела, а я не знаю... Ничего я не знаю, и знать мне не нужно... Уйди от меня, ради Христа! уйди!

Опять сонное видение, и опять сатана... Улитушку даже взорвало.

— А вот я возьму да на диван вам и брошу... нянчитесь с ним! — пригрозила она.

Но Иудушка был не такой человек, которого можно было пронять. В то время, когда Улитушка произносила свою угрозу, он

уже повернулся лицом к образам и скромно воздевал руками. Очевидно, он просил бога простить всем: и тем, «иже ведением и неведением», и тем, «иже словом, и делом, и помышлением», а за себя благодарил, что он — не тать, и не мздоимец, и не прелюбодей, и что бог, по милости своей, укрепил его на стезе праведных. Даже нос у него вздрагивал от умиления, так что Улитушка, наблюдавшая за ним, плюнула и ушла.

— Вот одного Володьку бог взял — другого Володьку дал! — как-то совсем некстати сорвалось у него с мысли; но он тотчас же подметил эту неожиданную игру ума и мысленно проговорил: «Тьфу! тьфу! тьфу!»

Пришел и батюшка, попел и покадил. Иудушка слышал, как дьячок тянул: «Заступница усердная!» — и сам разохотился — подтянул дьячку. Опять прибежала Улитушка, крикнула в дверь:

— Володимером назвали!

Странное совпадение этого обстоятельства с недавнею аберрацией мысли, тоже напоминавшей о погибшем Володьке, умилило Иудушку. Он увидел в этом божеское произволение и, на этот раз уже не отплевываясь, сказал самому себе:

— Вот и слава богу! одного Володьку бог взял, другого — дал! Вот оно, бог-то! В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь, — а он бог-то возьмет да в другом месте сторицей вознаградит!

Наконец доложили, что самовар подан и батюшка ожидает в столовой. Порфирий Владимирыч окончательно стих и умилился. Отец Александр действительно уже сидел в столовой, в ожидании Порфирия Владимирыча. Головлевский батюшка был человек политичный и старавшийся придерживаться в сношениях с Иудушкой светского тона; но он очень хорошо понимал, что в господской усадьбе еженедельно и под большие праздники совершаются всенощные бдения, а сверх того каждое первое число служится молебен, и что все это доставляет причту не менее ста рублей в год дохода. Кроме того ему не безызвестно было, что церковная земля еще не была надлежащим образом отмежевана и что Иудушка не раз, проезжая мимо поповского луга, говаривал: «Ах, хорош лужок!» Поэтому в светское обращение батюшки примешивалась и немалая доля «страха иудейска», который выражался в том, что батюшка при свиданиях с Порфирием Владимирычем старался приводить себя в светлое и радостное настроение, хотя бы и не имел повода таковое ощущать, и когда последний в разговоре позволял себе развивать некоторые ереси относительно путей провидения, предбудущей жизни и прочего, то, не одобряя их прямо, видел, однако, в них не кощунство или богохульство, но лишь свойственное дворянскому званию дерзновение ума.

Когда Иудушка вошел, батюшка торопливо благословил его

и еще торопливее отдернул руку, словно боялся, что кровопивец укусит ее. Хотел было он поздравить своего духовного сына с новорожденным Владимиром, но подумал, как-то еще отнесется к этому обстоятельству сам Иудушка, и остерегся.

— Мжица на дворе ныне,— начал батюшка,— по народным приметам, в коих, впрочем, частицею и суеверие примечается, оттепель таковая погода предзнаменует.

— А может быть, и мороз; мы загадываем про оттепель — а бог возьмет да морозцу пошлет! — возразил Иудушка, хлопотливо и даже почти весело присаживаясь к чайному столу, за которым на сей раз хозяйничал лакей Прохор.

— Это точно, что человек нередко, в мечтании своем, стремится недосыгаемая достигнуть и к недоступному доступ найти. А вследствие того или повод для раскаяния, или и самую скорбь для себя обретает.

— А потому и надо нам от гаданий да от заглядываний подалее себя держать, а быть довольными тем, что бог пошлет. Пошлет бог тепла — мы теплу будем рады; пошлет бог морозцу — и морозцу милости просим! Велим пожарче печечки натопить, а которые в путь шествуют, те в шубки покрепче завернутся — вот и тепленько нам будет!

— Справедливо!

— Многие нынче любят кругом да около ходить: и то не так, и другое не по-ихнему, и третье вот этак бы сделать, а я этого не люблю. И сам не загадываю и в других не похваляю. Высокоумие это — вот я какой взгляд на такие попытки имею!

— И это справедливо.

— Мы все здесь — странники; я так на себя и смотрю! Вот чайку попить, закусить что-нибудь, легонькое... это нам дозволено! Потому бог нам тело и прочие части дал... Этого и правительство нам не воспрещает: кушать кушайте, а язык за зубами держите!

— И опять-таки вполне справедливо! — крикнул батюшка и от внутреннего ликования стукнул об блюдечко донышком опорожненного стакана.

— Я так рассуждаю, что ум дан человеку не для того, чтоб испытывать неизвестное, а для того, чтоб воздерживаться от грехов. Вот ежели я, например, чувствую плотскую немощь или смущение и призываю на помощь ум: укажи, мол, пути, как мне ту немощь побороть — вот тогда я поступаю правильно. Потому что в этих случаях ум действительно пользу оказать может.

— А больше все-таки вера,— слегка поправил батюшка.

— Вера — сама по себе, а ум сам по себе. Вера на цель указывает, а ум — пути изыскивает. Туда толкнется, там постучится... блуждает, а между тем и полезное что-нибудь отыщет. Вот лекарства разные, травы целебные, пластыри, декокты — все это ум

изобретает и открывает. Но надобно, чтоб все было согласно с верою — на пользу, а не на вред.

— И против этого возразить ничего не могу!

— Я, батя, книжку одну читал, так там именно сказано: услугами ума, ежели оный верою направляется, отнюдь не следует пренебрегать, ибо человек без ума в скором времени делается игралищем страстей. А я даже так думаю, что и первое грехопадение человеческое оттого произошло, что дьявол, в образе змия, рассуждение человеческое затмил.

Батюшка на это не возражал, но и от похвалы воздержался, потому что не мог себе еще уяснить, к чему склоняется Иудушкина речь.

— Часто мы видим, что люди не только впадают в грех мысленный, но и преступления совершают — и всё через недостаток ума. Плоть искушает, а ума нет — вот и летит человек в пропасть. И сладенького-то хочется, и веселенького, и приятненького, а в особенности ежели женский пол... как тут без ума уберечись! А коли ежели у меня есть ум, я взял канфарки или маслица; там потер, в другом месте подсыпал — смотришь, искушение-то с меня как рукой сняло!

Иудушка замолчал, как бы выжидая, что скажет на это батюшка, но батюшка все еще недоумевал, к чему клонится Иудушкина речь, и потому только крякнул и без всякого резона сказал:

— Вот у меня на дворе куры... Суется, по случаю солноворота; бегают, мечутся, места нигде сыскать не могут...

— И все оттого, что ни у птиц, ни у зверей, ни у пресмыкающихся — ума нет. Птица — это что такое? Ни у ней горя, ни заботушки — летает себе! Вот давеча смотрю в окно: копаются воробьи носами в навозе — и будет с них! А человеку — этого мало!

— Однако в иных случаях и Писание на птиц небесных указывает!

— В иных случаях — это так. В тех случаях, когда и без ума вера спасает — тогда птицам подражать нужно. Вот богу молиться, стихи сочинять...

Порфирий Владимирыч умолк. Он был болтлив по природе, и, в сущности, у него так и вертелось на языке происшествие дня. Но, очевидно, не созрела еще форма, в которой приличным образом могли быть выражены разглагольствия по этому предмету.

— Птицам ум не нужен, — наконец сказал он, — потому что у них соблазнов нет. Или, лучше сказать, есть соблазны, да никто с них за это не взыскивает. У них все натуральное: ни собственности нет, за которой нужно присмотреть, ни законных браков нет, а следовательно, нет и вдовства. Ни перед богом, ни перед начальством они в ответе не состоят: один у них начальник — петух!

— Петух! петух! это так точно! он у них — вроде как султан турецкий!

— А человек все так сам для себя устроил, что ничего у него натурального нет, а потому ему и ума много нужно. И самому чтобы в грех не впасть и других бы в соблазн не ввести. Так ли, батя?

— Истинная это правда. И Писание советует соблазняющее око истребить.

— Это ежели буквально понимать, а можно, и не истребляя ока, так устроить, чтобы оно не соблазнялось. К молитве чаще обращаться, озлобление телесное усмирять. Вот я, например: и в поре и нельзя сказать, чтоб хил... Ну, и прислуга у меня женская есть... а мне и горюшка мало! Знаю, что без прислуги нельзя, — ну и держу! И мужскую прислугу держу и женскую — всякую! Женская прислуга тоже в хозяйстве нужна. На погреб сходить, чайку налить, насчет закуски распорядиться... ну, и Христос с ней! Она свое дело делает, я — свое... вот мы и проживаем!

Говоря это, Иудушка старался смотреть батюшке в глаза, батюшка тоже, с своей стороны, старался смотреть в глаза Иудушке. Но, к счастью, между ними стояла свечка, так что они могли вволю смотреть друг на друга и видеть только пламя свечи.

— А притом я и так еще рассуждаю: ежели с прислугой в короткие отношения войти — непременно она командовать в доме начнет. Пойдут это дразги да непорядки, перекоры да грубости: ты слово, а она — два... А я от этого устраняюсь.

У батюшки даже в глазах зарябило: до того пристально он смотрел на Иудушку. Поэтому, и чувствуя, что светские приличия требуют, чтобы собеседник хоть от времени до времени вставлял слово в общий разговор, он покачал головой и произнес:

— Тсс...

— А ежели при этом еще так поступать, как другие... вот как соседка мой, господин Анпетов, например, или другой соседка, господин Утробин... так и до греха недалеко. Вон у господина Утробина: никак с шесть человек этой пакости во дворе копается... А я этого не хочу. Я говорю так: коли бог у меня моего ангела-хранителя отнял — стало быть, так его святой воле угодно, чтоб я вдовцом был. А ежели я, по милости божьей, — вдовец, то, стало быть, должен вдовечь честно и ложе свое нескверно содержать. Так ли, батя?

— Тяжко, сударь!

— Сам знаю, что тяжело, и все-таки исполняю. Кто говорит: тяжело! — а я говорю: чем тяжелее, тем лучше, только бы бог укрепил! Не всем сладенького да легонького — надо кому-нибудь и для бога потрудиться! Здесь себя сократишь — там получишь!

Здесь — «трудом» это называется, а там — заслугой зовется! Справедливо ли я говорю?

— Уж на что же справедливее!

— Тоже и об заслугах надо сказать. И они неравные бывают. Одна заслуга — большая, а другая заслуга — малая! А ты как бы думал!

— Как же возможно! Большая ли заслуга, или малая!

— Так вот оно на мое и выходит. Коли человек держит себя аккуратно: не срамословит, не суесловит, других не осуждает, коли он притом никого не огорчил, ни у кого ничего не отнял... ну, и насчет соблазнов этих вел себя осторожно — так и совесть у того человека завсегда покойна будет. И ничто к нему не пристанет, никакая грязь! А ежели кто из-за угла и осудит его, так, по моему мнению, такие осуждения даже в расчет принимать не следует. Плюнуть на них — и вся недолга!

— В сих случаях христианские правила прощение преимущественнее рекомендуют!

— Ну, или простить! Я всегда так и делаю: коли меня кто осуждает, я его прошу да еще богу за него помолюсь! И ему хорошо, что за него молитва до бога дошла, да и мне хорошо: помолился, да и забыл!

— Вот это правильно: ничто так не облегчает души, как молитва. И скорби, и гнев, и даже болезнь — все от нее, как тьма ношная от солнца, бежит!

— Ну, вот и слава богу! И всегда так вести себя нужно, чтобы жизнь наша, словно свеча в фонаре, вся со всех сторон видна была... И осуждать меньше будут — потому, не за что! Вот хоть бы мы: посидели, поговорили, побеседовали — кто же может нас за это осудить? А теперь пойдем да богу помолимся, а потом и баиньки. А завтра опять встанем... так ли, батюшка?

Иудушка встал и с шумом отодвинул свой стул, в знак окончания собеседования. Батюшка, с своей стороны, тоже поднялся и занес было руку для благословения; но Порфирий Владимирыч, в виде особого на сей раз расположения, поймал его руку и сжал ее в обеих своих.

— Так Владимиром, батюшка, назвали? — сказал он, печально качая головой в сторону Евпраксеюшкиной комнаты.

— В честь святого и равноапостольного князя Владимира, сударь.

— Ну и слава богу! Прислуга она усердная, верная, а вот насчет ума — не взыщите! Оттого и впадают они... в пре-лю-бо-де-яние!

Весь следующий день Порфирий Владимирыч не выходил из кабинета и молился, прося себе у бога вразумления. На третий

день он вышел к утреннему чаю не в халате, как обыкновенно, а одетый по-праздничному, в сюртук, как он всегда делал, когда намеревался приступить к чему-нибудь решительному. Лицо у него было бледно, но дышало душевным просветлением; на губах играла блаженная улыбка; глаза смотрели ласково, как бы всепрощающе; кончик носа, вследствие молитвенного угобжения, слегка покраснел. Он молча выпил свои три стакана чаю и в промежутках между глотками шевелил губами, складывал руки и смотрел на образ, как будто все еще, несмотря на вчерашний молитвенный труд, ожидал от него скорой помощи и предстательства. Наконец, пропустив последний глоток, потребовал к себе Улитушку и встал перед образом, дабы еще раз подкрепить себя божественным собеседованием, а в то же время и Улите наглядно показать, что то, что имеет произойти вслед за сим, — дело не его, а богово. Улитушка, впрочем, с первого же взгляда на лицо Иудушки поняла, что в глубине его души решено предательство.

— Вот я и богу помолился! — начал Порфирий Владимирович и в знак покорности его святой воле опустил голову и развел руками.

— И распрекрасное дело! — ответила Улитушка, но в голосе ее звучала такая несомненная проницательность, что Иудушка невольно поднял на нее глаза.

Она стояла перед ним в обыкновенной своей позе, одну руку положив поперек груди, другую — уперши в подбородок; но по лицу ее так и светились искорки смеха. Порфирий Владимирович слегка покачал головой — в знак христианской укоризны.

— Небось бог милости прислал? — продолжала Улитушка, не смущаясь предостерегательным движением своего собеседника.

— Все-то ты кощунствуешь! — не выдержал Иудушка. — Сколько раз я и лаской и шуточкой старался тебя от этого остеречь, а ты все свое! Злой у тебя язык... ехидный!

— Ничего я, кажется... Обыкновенно, коли богу помолились — значит, бог милости прислал!

— То-то вот «кажется»! А ты не все, что тебе «кажется», зря болтай; иной раз и помолчать умей! Я об деле, а она — «кажется»!

Улитушка только переступила с ноги на ногу вместо ответа, как бы выражая этим движением, что все, что Порфирий Владимирович имеет сказать ей, давным-давно ей известно и переизвестно.

— Ну, так слушай же ты меня, — начал Иудушка, — молился я богу, и вчера молился, и сегодня, и все выходит, что как-никак, а надо нам Володьку пристроить!

— Известно, надо пристроить! Не щенок — в болото не бросишь!

— Стой, погоди! дай мне слово сказать... язва ты, язва! Ну! Так вот я и говорю: как-никак, а надо Володьку пристроить.

Первое дело, Евпраксеюшку пожалеть нужно, а второе дело — и его человеком сделать.

Порфирий Владимырьч взглянул на Улитушку, вероятно ожидая, что вот-вот она всласть с ним покалякает, но она отнеслась к делу совершенно просто и даже цинически.

— Мне, что ли, в воспитательный-то везти? — спросила она, смотря на него в упор.

— Ах-ах! — вступился Иудушка, — уж ты и решила... таран-та егоровна! Ах, Улитка, Улитка! все-то у тебя на уме прыг да шмыг! все бы тебе поболтать да поегозить! А почему ты знаешь: может, я и не думаю об воспитательном? Может, я так... другое что-нибудь для Володьки придумал?

— Что ж, и другое что — и в этом худого нет!

— Вот я и говорю: хоть, с одной стороны, и жалко Володьку, а с другой стороны, коли порассудить да поразмыслить — ан выходит, что дома его держать нам не приходится!

— Известное дело! что люди скажут? скажут: откуда, мол, в головлевском доме чужой мальчишечка проявился?

— И это, да еще и то: пользы для него никакой дома не будет. Мать молода — баловать будет; я, старый, хотя и с боку припеку, а за верную службу матери... туда же, пожалуй! Нет-нет — да и снизойдешь. Где бы за проступок посечь малого, а тут, за тем да за сем... да и слез бабьих да крику не оберешься — ну, и махнешь рукой! Так ли?

— Справедливо это. Надоест.

— А мне хочется, чтоб все у нас хорошохонько было. Чтоб из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. И богу слуга и царю — подданный. Коли ежели бог его крестьянством благословит, так чтобы землю работать умел... Косить там, пахать, дрова рубить — всего чтобы понемножку. А ежели ему в другое звание судьба будет, так чтобы ремесло знал, науку... Оттуда, слышь, и в учителя некоторые попадают!

— Из воспитательного-то? прямо генералами делают!

— Генералами не генералами, а все-таки... Может, и знаменитый какой-нибудь человек из Володьки выйдет! А воспитывают их там — отлично! Это уж я сам знаю! Кроватки чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на детушках беленькие, рожочки, сосочки, пеленочки... словом, всё!

— Чего лучше... для незаконных!

— А ежели он и в деревню в питомцы попадет — что ж, и Христос с ним! К трудам приучаться с малолетства будет, а ведь труд — та же молитва! Вот мы — мы настоящим манером молимся! Встанем перед образом, крестное знамение творим, и ежели наша молитва угодна богу, то он подает нам за нее! А мужичок — тот трудится! Иной и рад бы настоящим манером помолиться, да ему вряд и в праздник поспеть. А бог все-таки видит его труды —

за труды ему подает, как нам за молитву. Не всем в палатах жить, да по балам прыгать — надо кому-нибудь и в избеночке курненькой пожить, за землицей-матушкой походить да похолить ее! А счастье-то — еще бабушка надвое сказала — где оно? Иной и в палатах и в неженье живет, да через золото слезы льет, а другой и в соломку зароемся, хлебца с кваском покусает, а на душе-то у него рай! Так, что ли, я говорю?

— Чего лучше, как рай на душе!

— Так мы вот как с тобой, голубушка, сделаем. Возьми-ка ты проказника Володьку, заверни его тепленько да уютненько, да и скатай с ним живым манером в Москву. Кибиточку я распоряджусь снарядить для вас крытенькую, лошабочек парочку прикажу заложить, а дорога у нас теперь гладкая, ровная: ни ухабов, ни выбоин — кати да покатывай! Только ты у меня смотри: чтоб все честь честью было. По-моему, по-головлевски... как я люблю! Сочка чтобы чистенькая, рожочек... рубашоночек, простынек, свивальничков, пеленочек, одеяльцев — всего чтобы вдоволь было! Бери! командуй! а не дадут, так меня, старого, за бока бери — мне жалуйся! А в Москву приедешь — на постоялом остановись. Харчи там, самоварчик, чайку — требуй! Ах, Володька, Володька! вот грех какой случился! И жаль расстаться с тобой, а делать, брат, нечего! Сам после пользу увидишь, сам будешь благодарить!

Иудушка слегка воздел руками и потрепетал губами — в знак умной молитвы. Но это не мешало ему исподлобья взглядывать на Улитушку и подмечать язвительные мелькания, которыми подергивалось лицо ее.

— Ты что? сказать что-нибудь хочешь? — спросил он ее.

— Ничего я. Известно, мол: будет благодарить, коли благодетелев своих отыщет.

— Ах ты, дурная, дурная! да разве мы без билета его туда отдадим! А ты билетец возьми! По билетцу-то мы и сами его как раз отыщем! Вот выхоят, выкормят, уму-разуму научат, а мы с билетцем и тут как тут: пожалуйста молодца нашего, Володьку-проказника, назад! С билетцем-то мы его со дна морского выудим... Так ли я говорю?

Но Улитушка ничего не ответила на вопрос; только язвительные мелькания на лице ее выступили еще резче прежнего. Порфирий Владимирыч не выдержал.

— Язва ты, язва! — сказал он, — дьявол в тебе сидит, черт... тьфу! тьфу! тьфу! Ну, будет. Завтра, чуть свет, возьмешь ты Володьку, да скорехонько, чтоб Евпраксеюшка не слыхала, и отправляйтесь с богом в Москву. Воспитательный-то знаешь?

— Важивала, — однословно ответила Улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом.

— А важивала — так тебе и книги в руки. Стало быть, и вхо-

ды и выходы — все должно быть тебе известно. Смотри же, помести его да начальников низенько попроси — вот так!

Порфирий Владимирыч встал и поклонился, коснувшись рукою земли.

— Чтоб ему хорошо там было! не как-нибудь, а настоящим бы манером! Да билетец, билетец-то выправь. Не забудь! По билету мы его после везде отыщем! А на расходы я тебе две двадцатипятирублевеньких отпущу. Знаю ведь я, все знаю! И там сунуть придется и в другом месте барашка в бумажке подарить... Ахти, грехи наши, грехи! Все мы люди, все человеки, все сладенького да хорошенького хотим! Вот и Володька наш! Кажется, велик ли, и всего с ноготок, а поди-ка, сколько уж денег стоит!

Сказавши это, Иудушка перекрестился и низенько поклонился Улитушке, молчаливо рекомендуя ей не оставить проказника Володьку своими попечениями. Будущее приبلудной семьи было устроено самым простым способом.

На другое утро после этого разговора, покуда молодая мать металась в жару и в бреду, Порфирий Владимирыч стоял перед окном в столовой, шевелил губами и крестил стекло. С красного двора выезжала рогожная кибитка, увозившая Володьку. Вот она поднялась на горку, поровнялась с церковью, повернула налево и скрылась в деревне. Иудушка сотворил последнее крестное знамение и вздохнул.

«Вот батя намеднись про оттепель говорил, — сказал он самому себе, — ан бог-то морозцу вместо оттепели послал! Морозцу, да еще какого! Так-то и всегда с нами бывает! Мечтаем мы, воздушные замки строим, умствуем, думаем и бога самого перемудрить — а бог возьмет да в одну минуту все наше высокоумие в ничто обратит!»

ВЫМОРОЧНЫЙ

Агония Иудушки началась с того, что ресурс празднословия, которым он до сих пор так охотно злоупотреблял, стал видимо сокращаться. Все вокруг него опустело: одни перемерли, другие — ушли. Даже Аннинька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась головлевскими привольями. Оставалась одна Евпраксеюшка, но независимо от того, что это был ресурс очень ограниченный, и в ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и раз навсегда убедить Иудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно.

До сих пор Евпраксеюшка была до такой степени беззащитна,

что Порфирий Владимирович мог угнетать ее без малейших опасений. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера она даже не чувствовала этого угнетения. Покуда Иудушка срамословил, она безучастно смотрела ему в глаза и думала совсем о другом. Но теперь она вдруг нечто поняла, и ближайшим результатом пробудившейся способности понимания явилось внезапное, еще не сознательное, но злое и непобедимое отвращение.

Очевидно, пребывание в Головлеве погорелковской барышни не прошло бесследно для Евпраксеюшки. Хотя последняя и не могла дать себе отчета, какого рода боли вызвали в ней случайные разговоры с Аннинькой, но внутренне она почувствовала себя совершенно взбудораженной. Прежде ей никогда не приходило в голову спросить себя, зачем Порфирий Владимирович, как только встретит живого человека, так тотчас же начинает опутывать его целою сетью словесных обрывков, в которых ни за что уцепиться невозможно, но от которых делается невыносимо тяжело; теперь ей стало ясно, что Иудушка, в строгом смысле, не разговаривает, а «тиранит» и что, следовательно, не лишнее его «осадить», дать почувствовать, что и ему пришла пора «честь знать». И вот она начала вслушиваться в его бесконечные словоизлияния и действительно только одно в них и поняла: что Иудушка пристаёт, досаждаёт, зудит.

«Вот барышня говорила, будто он и сам не знает, зачем говорит,— рассуждала она сама с собою,— нет, в нем это злость действует! Знает он, который человек против него защиты не имеет,— ну и вертит им, как ему любо!»

Впрочем, это было еще второстепенное обстоятельство. Главным образом действие приезда Анниньки в Головлево выразилось в том, что он взбунтовал в Евпраксеюшке инстинкты ее молодости. До сих пор эти инстинкты как-то тупо тлели в ней, теперь — они горячо и привязчиво вспыхнули. Многие она поняла из того, к чему прежде относилась совсем безучастно. Вот, например: почему же нибудь да не согласилась Аннинька остаться в Головлеве, так-таки напрямик и сказала: страшно! Почему так? — а потому просто, что она молода, что ей «жить хочется». Вот и она, Евпраксеюшка, тоже молода... Да, молода! Это только так кажется, будто молодость в ней жиром заплывала — нет, временем куда тоже шибко она сказывается! И зовет и манит; то замрет, то опять вспыхнет. Думала она, что и с Иудушкой дело обойдется, а теперь вот... «Ах, ты, гнилушка старая! ишь ведь как обошел!» Хорошо бы теперича с дружкой пожить, да с настоящим, с молоденьким! Обнялись бы, завалились, стал бы милый дружок целовать-миловать, ласковые слова на ушко говорить: ишь, мол, ты белая да рассыпчатая! «Ах, кикимора проклятая! нашел ведь чем — костями своими старыми прельстить! Смотри, чай, и у погорелков-

ской барышни молодчик есть! Беспременно есть! То-то она подобрала хвосты да удрала. А тут вот сиди в четырех стенках, жди, пока ему, старому, в голову вступит!..»

Разумеется, Евпраксеюшка не сразу заявила о своем бунте, но, однажды вступивши на этот путь, уже не останавливалась. Отыскивала прицепки, припоминала прошлое, и между тем как Иудушка даже не подозревал, что внутри ее зреет какая-то темная работа, она молчаливо, но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва явились общие жалобы, вроде «чужой век заел»; потом наступила очередь для сравнений. «Вот в Мазулине Палагеюшка у барина в экономах живет: сидит руки скламши, да в шелковых платьях ходит. Ни она на скотный, ни на погреб — сидит у себя в покойчике да бисером вяжет!» И все эти обиды и протесты заканчивались одним общим воплем:

— Уж как же у меня теперича против тебя, распостылого, сердце разожглось! Ну так разожглось! так разожглось!

К этому главному поводу присоединился и еще один, который был в особенности тем дорог, что мог послужить отличнейшею прицепкою для вступления в борьбу. А именно: воспоминание о родах и об исчезновении сына Володьки.

В то время, когда произошло это исчезновение, Евпраксеюшка отнеслась к этому факту как-то тупо. Порфирий Владимирович ограничился тем, что объявил ей об отдаче новорожденного в добрые руки, а чтобы утешить, подарил ей новый шалевой платок. Затем все опять заплыло и пошло по-старому. Евпраксеюшка даже рьянее прежнего окунулась в тину хозяйственных мелочей, словно хотела на них сорвать неудавшееся свое материнство. Но продолжало ли потихоньку теплиться материнское чувство в Евпраксеюшке, или просто ей блажь в голову вступила, во всяком случае воспоминание о Володьке вдруг воскресло. И воскресло в ту самую минуту, когда на Евпраксеюшку повеяло чем-то новым, свободным, вольным, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсем иначе, нежели в стенах головлевского дома. Понятно, что придирка была слишком хороша, чтоб не воспользоваться ею.

— Ишь ведь, что сделал! — разжигала она себя. — Робенка отнял! словно щенка в омуте утопил!

Мало-помалу мысль эта овладела ею всецело. Она и сама поверила какому-то страстному желанию вновь соединиться с ребенком, и чем назойливее разгоралось это желание, тем больше и больше силы приобретала ее досада против Порфирия Владимировича.

— По крайности теперь хоть забава бы у меня была! Володя! Володюшка! рожонный мой! Где-то ты? чай, к панёвнице в деревню спихнули! Ах, про́пасти на вас нет, господа вы проклятые! Наделают робят, да и забросят, как щенят в яму: никто, мол, не

спросит с нас! Лучше бы мне в ту пору ножом себя по горлу полыхнуть, нечем ему, охавернику, над собой надругаться давать!

Явилась ненависть, желание досадить, изгадить жизнь, извести; началась несноснейшая из всех войн — война придинок, поддразниваний, мелких уколов. Но именно только такая война и могла сломить Порфирия Владимировича.

Однажды, за утренним чаем, Порфирий Владимирович был очень неприятно изумлен. Обыкновенно он в это время источал из себя целые массы словесного гноя, а Евпраксеюшка, с блюдечком чая в руке, молча, внимала ему, зажав зубами кусок сахара, и от времени до времени фыркая. И вдруг, только что начал он развивать мысль (к чаю в этот день был подан теплый свежеспеченный хлеб), что хлеб бывает разный: видимый, который мы едим и через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы *вкушаем* и тем стяжаем себе душу, как Евпраксеюшка самым бесцеремонным образом перебила его разглагольствия.

— Сказывают, в Мазулине Палагеюшка хорошо живет! — начала она, обернувшись всем корпусом к окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую.

Иудушка слегка вздрогнул от неожиданности, но на первый раз, однако, не придал этому случаю особенного значения.

— И ежели мы долго не едим хлеба видимого, — продолжал он, — то чувствуем голод телесный; если же продолжительное время не вкушаем хлеба духовного...

— Палагеюшка, слышь, в Мазулине хорошо живет! — вновь перебила его Евпраксеюшка, и на этот раз уже, очевидно, неспроста.

Порфирий Владимирович вскинул на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался от выговора, словно бы почуял что-то недоброе.

— А хорошо живет Палагеюшка — так и Христос с ней! — кротко молвил он в ответ.

— Ейный-то господин, — продолжала колобродить Евпраксеюшка, — никаких неприятностей ей не делает, ни работой не принуждает, а, между прочим, *з*авсе в шелковых платьях водит!

Изумление Порфирия Владимировича росло. Речи Евпраксеюшки были до такой степени ни с чем не сообразны, что он даже не нашелся, что предпринять в данном случае.

— И на всякий день у нее платья разные, — словно во сне бредила Евпраксеюшка, — на сегодня одно, на завтра другое, а на праздник особенное. И в церкву в коляске четверней ездят: сперва она, потом господин. А поп, как увидит коляску, трезвонить начинает. А потом она у себя в своей комнате сидит. Коли господину желательно с ней время провести, господина у себя принимает,

а не то так с девушкой, с горничной ейной, разговаривает или бисером вяжет!

— Ну, так что ж? — очнулся наконец Порфирий Владимирыч.

— Об том-то я и говорю, что Палагеюшкино житье очень уж хорошо!

— А твое, небось, худо житье? Ах-ах-ах, какая ты, однако ж... ненасытная!

Смолчи на этот раз Евпраксеюшка, Порфирий Владимирыч, конечно, разразился бы целым потоком бездельных слов, в котором бесследно потонули бы все дурацкие намеки, возмущившие правильное течение его празднословия. Но Евпраксеюшка, по видимому, и намерения не имела молчать.

— Что говорить! — огрызнулась она, — и мое житье не худое! В затрапезах не хожу, и то слава те господи! В прошлом году за два ситцевых платья по пяти рублей отдали... расшиблись!

— А шерстяное-то платье позабыла? а платок-то недавно кому купили? ах-ах-ах!

Вместо ответа Евпраксеюшка уперлась в стол рукой, в которой держала блюдечко, и метнула в сторону Иудушки косой взгляд, исполненный такого глубокого презрения, что ему с непривычки сделалось жутко.

— А ты знаешь ли, как бог за неблагодарность-то наказывает? — как-то нерешительно залепетал он, надеясь, что хоть напоминание о боге сколько-нибудь образумит неизвестно с чего взбаламутившуюся бабу. Но Евпраксеюшка не только не пронялась этим напоминанием, но тут же на первых словах оборвала его.

— Нечего! нечего зубы-то заговаривать! нечего на бога указывать! — сказала она, — не маленькая! Будет! повластовали! потиранили!

Порфирий Владимирыч замолчал. Налитой стакан с чаем стоял перед ним почти остывший, но он даже не притрогивался к нему. Лицо его побледнело, губы слегка вздрагивали, как бы усиливаясь сложиться в усмешку, но без успеха.

— А ведь это — Анюткины штуки! это она, ехидная, натравила тебя! — наконец произнес он, сам, впрочем, не отдавая себе ясного отчета в том, что говорит.

— Какие же это штуки?

— Да вот, что ты разговаривать-то со мной начала... Она! она научила! Некому другому, как ей! — волновался Порфирий Владимирыч. — Смотри-тка-те, ни с того ни с сего вдруг шелковых платьев захотелось! Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто из вашего звания в шелковых-то платьях ходит?

— Скажите, так буду знать!

— Да просто самые... ну, самые беспутные, те только ходят!

Но Евпраксеюшка даже этим не усовестилась, но, напротив того, с какою-то наглою резонностью ответила:

— Не знаю, почему они беспутные... Известно, господа требуют... Который господин нашу сестру на любовь с собой склонил... ну, и живет она, значит... с им! И мы с вами не молебны, чай, служим, а тем же, чем и мазулинский барин, занимаемся.

— Ах, ты... тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирыч даже помертвел от неожиданности. Он смотрел во все глаза на взбунтовавшуюся наперсницу, и целая масса праздных слов так и закипала у него в груди. Но в первый раз в жизни он смутно заподозрил, что бывают случаи, когда и праздным словом убить человека нельзя.

— Ну, голубушка! с тобой, я вижу, сегодня не сговорить! — сказал он, вставая из-за стола.

— И сегодня не сговорите, и завтра не сговорите... никогда! Будет! повластвовали! Наслушалась я довольно; послушайте теперь вы, каковы мои слова будут!

Порфирий Владимирыч бросился было на нее с сжатыми кулаками, но она так решительно выпятила вперед свою грудь, что он внезапно опешил. Оборотился лицом к образу, воздел руки, потрепетал губами и тихим шагом побрел в кабинет.

Весь этот день ему было не по себе. Он еще не имел определенных опасений за будущее, но уже одно то волновало его, что случился такой факт, который совсем не входил в обычное распределение его дня, и что факт этот прошел безнаказанно. Даже к обеду он не вышел, а притворился больным и скромненько, притворно ослабевшим голосом попросил принести ему поесть в кабинет.

Вечером, после чаю, который, в первый раз в жизни, прошел совершенно безмолвно, он встал, по обыкновению, на молитву; но напрасно губы его шептали обычное последование на сон грядущий: возбужденная мысль даже внешним образом отказывалась следить за молитвой. Какое-то дрянное, но неотступное беспокойство овладело всем его существом, а ухо невольно прислушивалось к слабеющим отголоскам дня, еще раздававшимся то там, то сям, в разных углах головлевского дома. Наконец, когда пронесся где-то за стеной последний отчаянный зевок и вслед за тем все вдруг стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, он не выдержал. Бесшумно крадучись, побрел он вдоль коридора и, подойдя к Евпраксеюшкиной комнате, приложил к двери ухо, чтоб подслушать. Евпраксеюшка была одна, и слышно было только, как она, зевая, произносит: «Господи! Спасá милостивый! Успленья матушка!» — и в то же время горстью чешет себе поясницу. Порфирий Владимирыч попробовал взяться за ручку двери замка, но дверь была заперта.

— Евпраксеюшка! ты здесь? — окликнул он.

— Здесь, да не про вас! — огрызнулась она так грубо, что Иудушке осталось молча отретироваться в кабинет.

На другой день последовал другой разговор. Евпраксеюшка, как нарочно, выбирала время утреннего чая для уязвления Порфирия Владимировича. Словно она чутьем чуяла, что все его бездельничества распределены с такою точностью, что нарушенное утро причиняло беспокойство и боль уже на целый день.

— Посмотрела бы я, хоть бы глазком бы полюбовалась, как некоторые люди живут! — начала она как-то загадочно.

Порфирия Владимировича всего передернуло. «Начинается!» — подумал он, но смолчал и ждал, что дальше будет.

— Право! с дружкой с милым да с молоденьким! Ходят по комнатам парочкой да друг на дружку любят! Ни он словом бранным ее не попрекнет, ни она против его. «Душенька моя» да «друг мой», только и разговора у них! Мило! благородно!

Эта материя была особенно ненавистна для Порфирия Владимировича. Хотя он и допускал прелюбодеяние в размерах строгой необходимости, но все-таки считал любовное времяпрепровождение бесовским искушением. Однако он и на этот раз смалодушничал, тем больше что ему хотелось чаю, который уж несколько минут прел на конфорке, а Евпраксеюшка и не думала наливать его.

— Конечно, из нашей сестры много глупых бывает, — продолжала она, нахально раскачиваясь на стуле и барабаня рукой по столу, — иную так осетит, что она из-за ситцевого платья на все готова, а другая и просто, безо всего, себя потеряет!.. Квасу, говорит, огурцов, пей-ешь сколько хочется! Нашли, чем прельстить!

— Так неужто ж из интереса одного... — рискнул робко заметить Порфирий Владимирович, следя глазами за чайником, из которого уже начинал валить пар.

— Кто говорит: из-за интереса из-за одного? уж не я ли интересанткой сделалась! — вдруг кинулась в сторону Евпраксеюшка. — Куска, видно, стало жалко! Куском попрекать стали?

— Я не попрекаю, а так говорю: не из одного, говорю, интереса люди...

— То-то «говорю»! Вы говорите, да не заговаривайтесь! Ишь ты! из интересу я служу! а позвольте спросить, какой такой интерес я у вас нашла? Окромя квасу да огурцов...

— Ну, не один квас да огурцы... — не удержался, увлекся, в свою очередь, Порфирий Владимирович.

— Что ж, сказывайте! сказывайте, что еще?

— А кто к Николе каждый месяц четыре мешка муки посылает?

— Ну-с, четыре мешка! еще чего нет ли?

— Круп, масла постного... словом, всего...

— Ну, круп, масла постного... уж для родителей-то жалко стало! Ах, вы!

— Я не говорю, что жалко, а вот ты...

— Я же виновата сделалась! Мне куска без попреков съесть не дадут, да я же виновата состою!

Евпраксеюшка не выдержала и залилась слезами. А чай между тем прел да прел на конфорке, так что Порфирий Владимирыч не на шутку встревожился. Поэтому он перемог себя, тихонько подсел к Евпраксеюшке и потрепал ее по спине.

— Ну, добро, наливай-ка чай... чего разрюмилась!

Но Евпраксеюшка еще раза два-три всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами в пространство.

— Вот ты сейчас об молоденьких говорила, — продолжал он, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацию, — что ж, ведь и мы тово... не перестарки, чай, тоже!

— Нашли чего! отстаньте от меня!

— Право-ну! Да я... знаешь ли ты... когда я в департаменте служил, так за меня директор дочь свою выдать хотел!

— Протухлая, видно, была... кособокая какая-нибудь!

— Нет, как следует девица... а как она не шей ты мне, матушка пела! так пела! так пела!

— Она-то пела, да подпеватель-то был плохой!

— Нет, я, кажется...

Порфирий Владимирыч недоумевал. Он не прочь был даже поподличать, показать, что и он может в парочке пройтись. В этих видах он начал как-то нелепо раскачиваться всем корпусом и даже покусился обнять Евпраксеюшку за талию, но она грубо уклонилась от его протянутых рук и сердито крикнула:

— Говорю честью: уйди, домовой! не то кипятком ошпарю! И чаю мне вашего не надо! ничего не надо! Ишь что вздумали — куском попрекать начали! Уйду я отсюда! вот те Христос, уйду...

И она действительно ушла, хлопнув дверью и оставив Порфирия Владимирыча одного в столовой.

Иудушка был совсем озадачен. Он начал было сам наливать себе чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея.

— Нет, этак нельзя! надо как-нибудь это устроить... сообразить! — шептал он, в волнении расхаживая взад и вперед по столовой.

Но именно ни «устроить», ни «сообразить» он ничего не был в состоянии. Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставлял его врасплох. Едва начинал он «соображать», как целая масса пустяков обступала его со всех сторон и закрывала для мысли всякий просвет на действительную жизнь. Лень какая-то

обуяла его, общая умственная и нравственная анемия. Так и тянуло его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которые он мог переставлять с места на место, одни пропускать, другие выдвигать, — словом, распоряжаться, как ему хочется.

И опять целый день провел он в полном одиночестве, потому что Евпраксеюшка на этот раз уже ни к обеду, ни к вечернему чаю не явилась, а ушла на целый день на село к попу в гости и возвратилась только поздно вечером. Даже заняться ничем он не мог, потому что и пустяки на время как будто оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила: надо как-нибудь устроить, надо! Ни праздных выкладок он не мог делать, ни стоять на молитве. Он чувствовал, что к нему приступает какой-то недуг, которого он покуда еще не может определить. Не раз останавливался он перед окном, думая к чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чем-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворе начиналась весна, но деревья стояли голые, даже свежей травы еще не показывалось. Вдали виднелись черные поля, по местам испещренные белыми пятнами снега, еще державшегося в низких местах и ложбинах. Дорога сплошь чернела грязью и сверкала лужами. Но все это представлялось ему словно сквозь сетку. Около мокрых служб царствовало полнейшее безлюдье, хотя везде все двери были настежь; в доме тоже никого докликаться было нельзя, хотя до слуха беспрестанно долетали какие-то звуки вроде отдаленного хлопанья дверьми. Вот бы теперь невидимкой оборотиться хорошо да подслушать, что об нем хамово отродье говорит! Понимают ли подлецы его милости или, может быть, за его же добро да его же судачат? Ведь им хоть с утра до вечера в хайло-то пихай, все мало, все как с гуся вода! Давно ли, кажется, новую кадку с огурцами начали, а уж... Но только что он начал забываться на этой мысли, только что начинал соображать, сколько в кадке может быть огурцов и сколько следует, при самом широком расчете, положить огурцов на человека, как опять в голове мелькнул луч действительности и разом перевернул вверх дном все его расчеты.

«Ишь ты, ведь! даже не спросилась — ушла!» — думалось ему, покуда глаза бродили в пространстве, усиливаясь различить поповский дом, в котором, по всем вероятностям, в эту минуту соловьем разливалась Евпраксеюшка.

Но вот и обед подали; Порфирий Владимирович сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп (он терпеть не мог суп без ничего, но она сегодня нарочно велела именно такой сварить).

«Чай, и попу-то до смерти тошно, что она к нему напросилась! — думается ему. — Все же лишний кусок подать надо! И щец, и каши... а для гостьи, пожалуй, и жарковца какого-нибудь...»

Опять фантазия его разыгрывается, опять он начинает забываться, словно сон его заводит. Сколько лишних ложек щец пойдет? сколько каши? и что поп с попадьею говорят по случаю прихода Евпраксеюшки? как они промежду себя ругают ее... Все это, и кушанья и речи, так и мечется у него, словно живое, перед глазами.

«Поди, из чашки так все вместе и хлебают! Ушла! сумела, где себе найти лакомство! на дворе слякоть, грязь — долго ли до беды! Придет ужо, хвосты обтрепайные принесет... ах ты, гадина! именно гадина! Да, надо, надобно как-нибудь...»

На этой фразе мысль неизменно обрывалась. После обеда лег он, по обыкновению, заснуть, но только измучился, проворочавшись с боку на бок. Евпраксеюшка пришла домой уж тогда, когда стемнело, и так прокралась в свой угол, что он и не заметил. Приказывал он людям, чтоб непременно его предупредили, когда она воротится, но и люди, словно стакнулись, смолчали. Попробовал он опять толкнуться к ней в комнату, но и на этот раз нашел дверь запертою.

На третий день, утром, Евпраксеюшка хотя и явилась к чаю, но заговорила еще грознее и шибче.

— Где-то Володюшка мой теперь? — начала она, притворно давая своему голову слезливый тон.

Порфирий Владимирыч совсем помертвел при этом вопросе.

— Хоть бы глазком на него взглянула, как он, родимый, там мается! А то, пожалуй, и помер уж... право!

Иудушка трепетно шевелил губами, шепча молитву.

— У нас все не как у людей! Вот у мазулинского господина Палагеюшка дочку родила — сейчас ее в батист-дикос нарядили, постельку розовенькую для ей устроили... Одной мамке сколько сарафанов да кокошников надарили! А у нас... э-эх... вы!

Евпраксеюшка круто повернула голову к окну и шумно вздохнула.

— Правду говорят, что все господа проклятые! Народят детей — и забросят в болото, словно щенят! И горюшка им мало! И ответа ни перед кем не дадут, словно и бога на них нет! Волк — и тот этого не сделает!

У Порфирия Владимирыча так и вертелo все нутро. Он долго перемогал себя, но наконец не выдержал и процедил сквозь зубы:

— Однако... новые моды у тебя завелись! уж третий день сряду я твои разговоры слушаю!

— Что ж, и моды! Моды — так моды! не все вам одним говорить — можно, чай, и другим слово вымолвить! Право-ну! Ребенка прижили — и что с ним сделали! В деревне, чай, у бабы в избе сгноили! ни призору за ним, ни пищи, ни одежды... лежит, поди, в грязи да соску прокислую сосет!

Она прослезилась и концом шейного платка утерла глаза.

— Вот уж правду погорелковская барышня сказала, что страшно с вами. Страшно и есть. Ни удовольствия, ни радости, одни только каверзы... В тюрьме арестанты лучше живут. По крайности, если б у меня теперича ребенок был, — все бы я забаву какую ни на есть видела. А то на-тко! был ребенок — и того отняли!

Порфирий Владимирыч сидел на месте и как-то мучительно мотал головой, точно его и в самом деле к стене прижали. По временам из груди его даже вырывались стоны.

— Ах, тяжело! — наконец произнес он.

— Нечего «тяжело»! сама себя раба бьет, коли плохо жнет! Право, съезжу я в Москву, хоть глазком на Володьку взгляну! Володька! Володенька! ми-и-илый! Барин! съезжу-ка, что ли, я в Москву?

— Незачем! — глухо отозвался Порфирий Владимирыч.

— Ан, съезжу! и не спрошусь ни у кого, и никто запретить мне не может! Потому я — мать!

— Какая ты мать! Ты девка гулящая — вот ты кто! — разразился наконец Порфирий Владимирыч. — Сказывай, что тебе от меня надобно?

К этому вопросу Евпраксеюшка, по-видимому, не приготовилась. Она уставилась в Иудушку глазами и молчала, словно размышляя, чего ей, в самом деле, надобно?

— Вот как! уж девкой гулящей звать стали! — вскрикнула она, заливаясь слезами.

— Да! девка гулящая! девка, девка! тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирыч окончательно вышел из себя, вскочил с места и почти бегом выбежал из столовой.

Это была последняя вспышка энергии, которую он позволил себе. Затем он как-то быстро осунулся, отупел и струсил, тогда как приставаньям Евпраксеюшки и конца не было видно. У нее была в распоряжении громадная сила: упорство тупоумия, и так как эта сила постоянно была в одну точку: досадить, изгадить жизнь, то по временам она являлась чем-то страшным. Мало-помалу арена столовой сделалась недостаточною для нее; она врывалась в кабинет и там настигала Иудушку (прежде она и подумать не посмела бы войти туда, когда барин «занят»). Придет, сядет к окну, упрется посоловелыми глазами в пространство, почешется лопатками об косяк и начнет колобродить. В особенности же пришлась ей по сердцу одна тема для разговоров — тема, в основании которой лежала угроза оставить Головлево. В сущности, она никогда серьезно об этом не думала и даже была бы очень изумлена, если б ей вдруг предложили возвратиться в родительский дом; но она догадывалась, что Порфирий Владимирыч пуще всего боится, чтоб она не ушла. Приговаривалась

она к этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчит, почешет в ухе и вдруг словно бы что вспомнит.

— Сегодня у Николы, поди, блины пекут!

Порфирий Владимирович при этом вступлении зеленеет от злости. Перед этим он только что начал очень сложное вычисление — на какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в округе примрут, а у него одного, с божьей помощью, не только останутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего вдвое. Однако, ввиду прихода Евпраксеюшки и поставленного ею вопроса о блинах, он оставляет свою работу и даже усиливается улыбнуться.

— Отчего же там блины пекут? — спрашивает он, осклабясь всем лицом своим. — Ах, батюшки, да ведь и в самом деле, родительская сегодня! а я-то, ротозей, и позабыл! Ах, грех какой! маменьку-то, покойницу, и помянуть будет нечем!

— Поела бы я блинчиков... родительских.

— А кто ж тебе не велит! распорядись! Кухарку Марьюшку за бока! а не то так Улитку! Ах, хорошо Улитка блины печет!

— Может, она и другим чем на вас потрафила? — язвит Евпраксеюшка.

— Нет, грех сказать, хорошо, даже очень хорошо Улитка блины печет! Легкие, мягкие — ай, поешь!

Порфирий Владимирович хочет шуточкой да смешком развлечь Евпраксеюшку.

— Поела бы я блинов, да не головлевских, а родительских! — кобенится она.

— И за этим у нас дело не станет! Архипушку кучера за бока! вели парочку лошадушек заложить, кати себе да покатывай!

— Нет уж! что уж! попалась птица в западню... сама глупа была! Кому меня, этакую-то, нужно? Сами гулящей девкой недавно называли... чего уж!

— Ах-ах-ах! И не стыдно тебе напраслину на меня говорить! А ты знаешь ли, как бог-то за напраслину наказывает?

— Называли, прямо так-таки гулящей и называли! вот и образ тут, при нем, при батюшке! Ах, распостылое мне это Головлево! сбегу я отсюда! право, сбегу!

Говоря это, Евпраксеюшка ведет себя совершенно непринужденно: раскачивается на стуле, копается в носу, почесывается. Очевидно, она разыгрывает комедию, дразнит.

— Я, Порфирий Владимирович, вам что-то хотела сказать, — продолжает она колобродить, — ведь мне домой надобно!

— Погостить, что ли, к отцу с матерью собралась?

— Нет, я совсем. Останусь, значит, у Николы.

— Что так? обиделась чем-нибудь?

— Нет, не обиделась, а так... надо же когда-нибудь... Да и скучно у вас... инда страшно! В доме-то словно все вымерло!

Людишки — вольница, всё по кухням да по людским прячутся, сиди в целом доме одна; еще зарежут того гляди! Ночью спать ляжешь — изо всех углов шепоты ползут!

Однако проходили дни за днями, а Евпраксеюшка и не думала приводить в исполнение свою угрозу. Тем не менее действие этой угрозы на Порфирия Владимыча было очень решительное. Он вдруг как-то понял, что, несмотря на то, что с утра до вечера изнывал в так называемых трудах, он, собственно говоря, ровно ничего не делал и мог бы остаться без обеда, не иметь ни чистого белья, ни исправного платья, если б не было чьего-то глаза, который смотрел за тем, чтоб его домашний обиход не прерывался. До сих пор он как бы не чувствовал жизни, не понимал, что она имеет какую-то обстановку, которая создается не сама собой. Весь его день шел однажды заведенным порядком; все в доме группировалось лично около него и ради него; все делалось в свое время; всякая вещь находилась на своем месте — словом сказать, везде царствовала такая неизменная точность, что он даже не придавал ей никакого значения. Благодаря этому порядку вещей, он мог на всей своей воле предаваться и празднословию и праздномыслию, не опасаясь, чтобы уколы действительной жизни когда-нибудь вывели его на свежую воду. Правда, что вся эта искусственная махинация держалась на волоске; но человеку, постоянно погруженному в самого себя, не могло и в голову прийти, что этот волосок есть нечто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь установилась прочно, навсегда... И вдруг все это должно рушиться, рушиться в один миг, по одному дурацкому слову: нет уж! что уж! уйду! Иудушка совершенно растерялся. Что, ежели она в самом деле уйдет? — думалось ему. И он мысленно начинал строить всевозможные нелепые комбинации, с целью как-нибудь удержать ее, и даже решался на такие уступки в пользу бунтующей Евпраксеюшкиной младости, которые ему никогда бы прежде и в голову не пришли.

— Тьфу! тьфу! тьфу! — отплевывался он, когда возможность столкновения с кучером Архипушкой или с конторщиком Игнатом представлялась ему во всей обидной наготе своей.

Скоро, однако ж, он убедился, что страх его насчет ухода Евпраксеюшки был по малой мере неоснователен, и вслед за тем существование его как-то круто вступило в новый и совершенно для него неожиданный фазис. Евпраксеюшка не только не уходила, но даже заметно приутихла с своими приставами. Взамен того она совершенно обросила Порфирия Владимыча. Наступил май, пришли красные дни, и она уж почти совсем не являлась в дом. Только по постоянному хлопанью дверей Иудушка догадывался, что она за чем-нибудь прибежала к себе в комнату, с тем чтобы вслед за тем опять исчезнуть. Вставая утром, он не находил на обычном месте своего платья и должен был вести продолжи-

тельные переговоры, чтобы получить чистое белье, чай и обед ему подавали то спозаранку, то слишком поздно, причем прислуживал полупьяный лакей Прохор, который являлся к столу в запятнанном сюртуке и от которого вечно воняло какою-то противной смесью рыбы и водки.

Тем не менее Порфирий Владимирович уж и тому был рад, что Евпраксеюшка оставляла его в покое. Он примирился даже с беспорядком, лишь бы знать, что в доме все-таки есть некто, кто этот беспорядок держит в своих руках. Его страшила не столько безурядица, сколько мысль о необходимости личного вмешательства в обстановку жизни. С ужасом представлял он себе, что может наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказывать, надсматривать. В предвидении этой минуты он старался подавить в себе всякий протест, закрывал глаза на наступавшее в доме безначалие, стушевывался, молчал. А на барском дворе между тем шла ежедневная открытая гульба. С наступлением тепла головлевская усадьба, дотоле степенная и даже угрюмая, оживилась. Вечером все население дворовых, и заштатные, и состоящие на действительной службе, и стар, и млад, — все высыпало на улицу. Пели песни, играли на гармонике, хохотали, взвизгивали, бегали в горелки. На Игнате-конторщике появилась ярко-красная рубаха и какая-то неслыханно узенькая жакетка, борты которой совсем не закрывали его молодецки выпяченной груди. Архип-кучер самовольно завладел выездною шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и, очевидно, соперничал с Игнатом в планах насчет сердца Евпраксеюшки. Евпраксеюшка бегала между ними и, словно шальная, кидалась то к одному, то к другому. Порфирий Владимирович боялся взглянуть в окно, чтоб не сделаться свидетелем любовной сцены; но не слышать не мог. По временам в ушах его раздавался звук полного удара: это кучер Архипушка всей пятерней дал разá Евпраксеюшке, гоняясь за нею в горелках (и она не рассердилась, а только присела слегка); по временам до него доносился разговор:

— Евпраксея Никитишна! а Евпраксея Никитишна! —
взывает пьяненький Прохор с барского крыльца.

— Чего надобно?

— Ключ от чаю пожалуйста, барин чаю просят!

— Подождет... кикимора!

В короткое время Порфирий Владимирович совсем одичал. Весь обычный ход его жизни был взбудоражен и извращен, но он как-то уж перестал обращать на это внимание. Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтоб его не тревожили в его последнем убежище — в кабинете. Насколько он прежде был придир-

чив и надоедлив в отношениях к окружающим, настолько же теперь сделался боязлив и угрюмо-покорен. Казалось, всякое общение с действительной жизнью прекратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видеть — вот чего он желал. Евпраксеюшка могла целыми днями не показываться в доме, людишки могли сколько хотели вольничать и бездельничать на дворе — он ко всему относился безучастно, как будто ничего не было. Прежде, если б конторщик позволил себе хотя малейшую неаккуратность в доставлении рапортичек о состоянии различных отраслей хозяйственного управления, он наверное истиранил бы его поручениями; теперь — ему по целым неделям приходилось сидеть без рапортичек, и он только изредка тяготился этим, а именно, когда ему нужна была цифра для подкрепления каких-нибудь фантастических расчетов. Зато в кабинете, один на один с самим собою, он чувствовал себя полным хозяином, имеющим возможность праздномыслить, сколько душе угодно. Подобно тому как оба брата его умерли, одержимые запоем, так точно и он страдал тою же болезнью. Только это был запой иного рода — запой праздномыслия. Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом.

В этом омуте фантастических действий и образов главную роль играла какая-то болезненная жажда стяжания. Хотя Порфирий Владимирович и всегда вообще был мелочен и склонен к кляузе, но, благодаря его практической нелепости, никаких прямых выгод лично для него от этих склонностей не получалось. Он надоедал, томил, тиранил (преимущественно самых беззащитных людей, которые, так сказать, сами напрашивались на обиду), но и сам чаще всего терял от своей затейливости. Теперь эти свойства всецело перенеслись на отвлеченную, фантастическую почву, где уже не имелось места ни для отпора, ни для оправданий, где не было ни сильных, ни слабых, где не существовало ни полиции, ни мировых судов (или, лучше сказать, существовали, но единственно в видах ограждения его, Иудушкиных, интересов) и где, следовательно, он мог свободно опутывать целый мир сетью кляуз, притеснений и обид.

Он любил мысленно вымучить, разорить, обездолить, пососать кровь. Перебирал, одну за другой, все отрасли своего хозяйства: лес, скотный двор, хлеб, луга и проч., и на каждой созидал узорчатое здание фантастических притеснений, сопровождаемых самыми сложными расчетами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общие бедствия, и приобретение ценных бумаг, — словом сказать, целый запутанный мир праздных

помещичьих идеалов. А так как тут все зависело от произвольно предполагаемых переплат или недоплат, то каждая переплаченная и недоплаченная копейка служила поводом для переделки всего здания, которое таким образом видоизменялось до бесконечности. Затем, когда утомленная мысль уже не в силах была следить с должным вниманием за всеми подробностями спутанных выкладок по операциям стяжания, он переносил арену своей фантазии на вымыслы более растяжимые. Припоминал все столкновения и пререкания, какие случались у него с людьми не только в недавнее время, но и в самой отдаленной молодости, и разрабатывал их с таким расчетом, что всегда из всякого столкновения выходил победителем. Он мстил мысленно своим бывшим сослуживцам по департаменту, которые опередили его по службе и растравили его самолюбие настолько, что заставили отказаться от служебной карьеры; мстил однокашникам по школе, которые некогда пользовались своею физической силой, чтоб дразнить и притеснять его; мстил соседям по имению, которые давали отпор его притязаниям и отстаивали свои права; мстил слугам, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово или просто не оказали достаточной почтительности; мстил маменьке Арине Петровне за то, что она просадила много денег на устройство Погорелки, денег, которые, «по всем правам», следовали ему; мстил братцу Степке-балбесу за то, что он прозвал его Иудушкой; мстил тетеньке Варваре Михайловне за то, что она, в то время когда уж никто этого не ждал, вдруг народила детей «с бору да с сосенки», вследствие чего сельцо Горюшкино навсегда ускользнуло из головлевского рода. Мстил живым, мстил мертвым.

Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения; земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало угрожающее выражение. И, по мере того как росла фантазия, весь воздух кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу.

Существование его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног, разумеется тот немудреный мир, который был доступен его скудному миросозерцанию. Каждый простейший мотив он мог варьировать бесконечно, за каждый мог по несколько раз приниматься сызнова, разрабатывая всякий раз на новый манер. Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. Ничем не ограничиваемое воображение создает мнимую действительность, которая, вследствие постоянного возбуждения умственных сил, претворяется в конкретную, почти осязаемую. Это — не вера, не убеждение, а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются; их лица иска-

жаются, глаза горят, язык произносит непроизвольные речи, тело производит непроизвольные движения.

Порфирий Владимирович был счастлив. Он плотно запирали окна и двери, чтобы не слышать, спускал шторы, чтобы не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку, почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую, наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него, при столкновении с живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу. Молитвенное стояние сократил; слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл; крестные знамения и воздеяния рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучительных возмездиях (за каждый грех — возмездие особенное), по-видимому, покинуло его.

А Евпраксеюшка между тем млела в чаду плотского вожделения. Гарцуя в нерешимости между конторщиком Игнатом и кучером Архипушкой и в то же время кося глазами на красно-рожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить господский погреб, она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь «новую комедию» разыгрывает, и немало веселых слов было произнесено по этому поводу в дружеской компании почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доедал кусок жареного гуся, и вдруг ей сделалось жутко.

Порфирий Владимирович сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась уж вата; он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной вместо бороды.

— Баринушка! что такое? что случилось? — бросилась она к нему в испуге.

Но Порфирий Владимирович только глупо-язвительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чем-нибудь уязвить!

— Баринушка! да что такое? Говорите! что случилось? — повторяла она.

Он встал, уставил в нее исполненный ненависти взгляд и с расстановкою произнес:

— Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь... в кабинет ко мне... Убью!

Благодаря этой случайности существование Порфирия Владимыча, с внешней стороны, изменилось к лучшему. Не чувствуя никаких материальных помех, он свободно отдался своему одиночеству, так что даже не видал, как прошло лето. Август уж перевалил на вторую половину; дни сократились; на дворе непрерывно сеял мелкий дождь; земля взмокла; деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтевшие листья. На дворе и около людской царствовала невозмутимая тишина; дворовые ютились по своим углам, частью вследствие хмурой погоды, частью вследствие того, что догадались, что с барином происходит что-то неладное. Евпраксеюшка окончательно очнулась; забыла и о шелковых платьях и о милых дружках и по целым часам сидела в девичьей на ларе, не зная, как ей быть и что предпринять. Пьяненький Прохор дразнил ее, что она извела барина, опоила его и что не миновать ей за это по Владимирке погулять.

А Иудушка между тем сидит, запершись, у себя в кабинете и мечтает. Ему еще лучше, что на дворе свежее сделалось; дождь, без устали дребезжащий в окна его кабинета, наводит на него полудремоту, в которой еще свободнее, шире разворачивается его фантазия. Он представляет себя невидимкою и в этом виде мысленно инспектирует свои владения, в сопровождении старого Ильи, который еще при папеньке, Владимире Михайловиче, старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен.

— Умный мужик Илья! старинный слуга! Нынче такие-то люди выводятся. Нынче что: поюлить да потарантить, а чуть до дела коснется — и нет никого! — рассуждает сам с собою Порфирий Владимыч, очень довольный, что Илья из мертвых воскрес.

Не торопясь да богу помолясь, никем не видимые, через поля и овраги, через доли и луга, пробираются они на пустошь Уховщину и долго не верят глазам своим. Стоит перед ними лешище стена стеной, стоит да только вершинами в вышине гудёт. Деревья все одно к одному, красные — сосняк; которые в два, а которые и в три обхвата; стволы у них прямые, обнаженные, а вершины могучие, пушистые: долго, значит, еще этому лесу стоять можно!

— Вот, брат, так лесок! — в восхищении восклицает Иудушка.

— Заказничёк! — объясняет старик Илья. — Еще при покойном дедушке вашем, при Михаиле Васильиче, с образами обошли — вон он какой вырос!

— А сколько, по-твоему, тут десятин будет?

— Да в ту пору ровно семьдесят десятин мерили, ну, а нынче... тогда десятина-то хозяйственная была, против нынешней в полтора раза побольше.

— Ну, а как ты думаешь; сколько на каждой десятине, примерно, дерев сидит?

— Кто их знает! у бога они сосчитаны!

— А я так думаю, что непременно шестьсот — семьсот на десятину будет. Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку. Пстой! погоди! ежели по шестисот... ну, по шестисот по пятидесяти положить — сколько же на ста пяти десятинах дерев будет?

Порфирий Владимирыч берет лист бумаги и умножает 105 на 650: оказывается 68 250 дерев.

— Теперича ежели весь этот лес продать... по разноте... как ты думаешь, можно по десяти рублей за дерево взять?

Старик Илья трясет головой.

— Мало! — говорит он. — Ведь это — какой лес! из каждого дерева два мельничных вала выйдет, да еще строевое бревно, хоть в какую угодно стройку, да семеричёк, да товарничку, да сучья... По-вашему, мельничный-то вал — сколько он стоит?

Порфирий Владимирыч притворяется, что не знает, хотя он давно уж все до последней копейки определил и установил.

— По здешнему месту один вал десяти рублей стоит, а кабы в Москву, так и цены бы ему, кажется, не было! Ведь это — какой вал! его на тройке только-только увезти! да еще другой вал, потоньше, да бревно, да семеричёк, да дров, да сучьев... Ан дерево-то, бедно-бедно, в двадцати рублях пойдет.

Слушает Порфирий Владимирыч Ильины речи и не наслушается их! Умный, верный мужик, этот Илья! Да и все вообще управление ему как-то необыкновенно удачно привел бог сладить! В помощниках у Ильи старый Вавило служит (тоже давно на кладбище лежит) — вот, брат, так кряж! В конторщиках маменькин земский Филипп-перевезёнец (из вологодских деревень его, лет шестьдесят тому назад, перевезли); полесовщики всё испытанные, неутомимые; псы у амбаров — злые! И люди и псы — все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть!

— А ну-тко, брат, давай прикинем: сколько это будет, ежели всю пустошь по разноте распродать?

Порфирий Владимирыч снова рассчитывает мысленно, сколько стоит большой вал, сколько вал поменьше, сколько строевое бревно, семерик, дрова, сучья. Потом складывает, умножает, в ином месте отсекает дробь, в другом прибавляет. Лист бумаги наполняется столбцами цифр.

— На-тко, брат, смотри, что вышло! — показывает Иудушка воображаемому Илье какую-то совсем неслыханную цифру, так что даже Илья, который и со своей стороны не прочь от приумножения барского добра, и тот словно съежился.

— Что-то как будто и многовато! — говорит он, в раздумье поводя лопатками.

Но Порфирий Владимирович уже откинул все сомнения и только веселенько хихикает.

— Чудак, братец, ты! Это уж не я, а цифра говорит... Наука, братец, такая есть, арифметика называется... уж она, брат, не солжет! Ну хорошо, с Уховщиной теперь покончили; пойдём-ка, брат, в Лисьи Ямы, давно я там не бывал! Сдается мне, что мужики там пошаливают, ой пошаливают мужики! Да и Гаранька-сторож... знаю! знаю! Хороший Гаранька, усердный сторож, верный — это что и говорить! а все-таки... Маленько он как будто сшибаться стал!

Идут они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую, едва пробираются и вдруг останавливаются, притаивши дыхание. На самой дороге лежит на боку мужицкий воз, а мужик стоит и тужит, глядячи на сломанную ось. Потужил-потужил, выругал ось, да и себя кстати ругнул, вытянул лошадь кнутом по спине («ишь, ворона!»), однако делать что-нибудь надо — не стоять же на одном месте до завтра! Озирается вор-мужичонка, прислушивается: не едет ли кто, потом выбирает подходящую березку, вынимает топор... А Иудушка все стоит, не шелохнется... Дрогнула березка, зашаталась и вдруг, словно сноп, повалилась наземь. Хочет мужик отрубить от комля, сколько на ось надобно, но Иудушка уж решил, что настоящий момент наступил. Крадучись, подползает он к мужику и мигом выхватывает из рук его топор.

— Ах! — успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор.

— «Ах»! — передразнивает его Порфирий Владимирович, — а чужой лес воровать дозволяется? «Ах!», а чью березку-то, свою, что ли, срубил?

— Простите, батюшка!

— Я, братец, давно всем простил! Сам богу грешен и других осуждать не смею! Не я, а закон осуждает. Ось-то, которую ты срубил, на усадьбу привези, да и рублик штрафа кстати уж захвати; а куда пускай топорик у меня полежит! Небось, брат, сохранно будет!

Довольный тем, что успел на самом деле доказать Илье справедливость своего мнения насчет Гараньки, Порфирий Владимирович с места преступления заходит мысленно в избу полесовщика и делает приличное поучение. Потом он отправляется домой и по дороге ловит в господском овсе трех крестьянских кур. Воротившись в кабинет, он опять принимается за работу, и целая особенная хозяйственная система вдруг зарождается в его уме. Все растущее и прозябающее на его земле, сеянное и несеянное, обращается в деньги по разноте, и притом со штрафом.

Все люди вдруг сделались порубщиками и потравщиками, а Иудушка не только не скорбит об этом, но, напротив, даже руки себе потирает от удовольствия.

— Травите, батюшки, рубите! мне же лучше,— повторяет он, совершенно довольный.

И тут же берет новый лист бумаги и принимается за выкладки и вычисления.

Сколько на десятине овса растет и сколько этот овес может денег принести, ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят?

«А овес-то, хоть и помят, ан после дождичка и опять поправился!» — мысленно присовокупляет Иудушка.

Сколько в Лисьих Ямах березок растет и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят и за все порубленное штраф заплатят?

«А березка-то, хоть она и срублена, ко мне же в дом на протопление пойдет, стало быть дров самому пилить не надо!» — опять присовокупляет Иудушка мысленно.

Громадные колонны цифр испещряют бумагу; сперва рубли, потом десятки, сотни, тысячи... Иудушка до того устает за работой и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтовавшееся воображение и тут не укрощает своей деятельности, а только избирает другую, более легкую тему.

— Умная женщина была маменька, Арина Петровна,— фантазирует Порфирий Владимырьч,— умела и спросить, да и приласкать умела — оттого и служили ей все с удовольствием! однако и за ней грешки водились! Ой, много было за покойницей блох!

Не успел Иудушка помянуть об Арине Петровне, а она уж и тут как тут; словно чует ее сердце, что она ответ должна дать: сама к милому сыну из могилы явилась.

— Не знаю, мой друг, не знаю, чем я перед тобой провинилась! — как-то уныло говорит она.— Кажется, я...

— Те-те-те, голубушка! лучше уж не грешите! — без церемонии обличает ее Иудушка.— Коли на то пошло, так я все перед вами сейчас выложу! Почему вы, например, тетеньку Варвару Михайловну в ту пору не остановили?

— Как же ее останавливать! она и сама в полных летах была, сама имела право распоряжаться собою!

— Ну, нет-с, позвольте-с! Муж-то какой у нее был? Старенький да пьяненький — ну, самый, самый, значит... бесплодный! А между тем у ней четверо детей проявилось... откуда, спрашиваю я вас, эти дети взялись?

— Что это, друг мой, как ты странно говоришь! как будто я в этом причинна.

— Причинны не причинны, а все-таки повлиять могли! Смешком да шуточкой, «голубушка», да «душенька» — смотришь, она бы и посовестилась! А вы всё напротив! На дыбы да с кондачка! Варька да Варька, да подлая, да бесстыжая! чуть не со всей округой ее перевенчали! вот она и того... и она тоже на дыбы встала! Жаль! Горюшкино-то наше бы теперь было!

— Далось тебе это Горюшкино! — говорит Арина Петровна, очевидно становясь в тупик перед обвинением сына.

— Мне что Горюшкино! Мне, пожалуй, и ничего не надо! Было бы на свечку да на маслице — вот я и доволен! А вообще, по справедливости... Да, маменька, и рад бы смолчать, а не сказать не могу: большой грех на вашей душе лежит, очень, очень большой!

Арина Петровна уже ничего не отвечает, а только руками разводит, не то подавленная, не то недоумевающая.

— Или бы вот, например, другое дело, — продолжает между тем Иудушка, любясь смущением маменьки: — зачем вы для брата Степана в ту пору дом в Москве покупали?

— Надо было, мой друг; надо же было и ему какой-нибудь кусок выбросить, — оправдывается Арина Петровна.

— А он взял да и промотал его! И добро бы вы его не знали: и буян-то он был, и сквернослов, и непочтительный — нет-таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотели ему отдать! А деревенька-то какая! вся в одной меже, ни соседей, ни чересполосицы, лесок хорошенький, озерцо... стоит как облущенное яичко, Христос с ней! хорошо, что я в то время случился да воспрепятствовал... Ах, маменька, маменька, и не грех это вам!

— Да ведь сын он... пойми, все-таки — сын!

— Знаю я, и даже очень хорошо понимаю! И все-таки не нужно было этого делать, не следовало! Дом-то двенадцать тысяч серебром заплачен — а где они? Вот тут двенадцать тысяч плакали, да Горюшкино тетеньки Варвары Михайловны, бедно-бедно, тысяч на пятнадцать оценить нужно... Ан денег-то и многонько выйдет!

— Ну, ну, полно! уж перестань! не сердись, Христа ради!

— Я, маменька, не сержусь, я только по справедливости сужу... что правда, то правда — терпеть не могу лжи! с правдой родился, с правдой жил, с правдой и умру! Правду и бог любит, да и нам велит любить. Вот хоть бы про Погорелку; всегда скажу, много, ах как много денег вы извели на устройство ее.

— Да ведь я сама в ней жила...

Иудушка очень хорошо читает на лице маменьки слова: кровопивец ты несуразный! — но делает вид, что не замечает их.

— Нужды нет, что жили, а все-таки... Киотка-то и до сих пор в Погорелке стоит, а чья она? Лошадь маленькая — тоже;

шкатулочка чайная... сам собственными глазами еще при папеньке в Головлеве ее видел! а вещичка-то хорошенькая!

— Ну, что уж!

— Нет, маменька, не говорите! оно, конечно, сразу не видно, однако как тут рубль, в другом месте — полтина, да в третьем — четвертачок... Как посмотришь да поглядишь... А впрочем, позвольте, я лучше сейчас все на цифрах прикину! Цифра — святое дело; она уж не солжет!

Порфирий Владимырьч опять устремляется к столу, чтоб привести наконец в полную ясность, какие убытки ему нанесла добрый друг маменька. Он стучит на счетах, выводит на бумаге столбцы цифр — словом, готовит все, чтоб изобличить Арину Петровну. Но, к счастью для последней, колеблющаяся его мысль не может долго удержаться на одном и том же предмете. Незаметно для него самого к нему подкрадывается новый предмет стяжания и, словно каким волшебством, дает его мысли совсем иное направление. Фигура Арины Петровны, еще за минуту перед тем так живо мелькавшая у него в глазах, вдруг окунулась в омуте забвения. Цифры смешались...

Давно уж собирался Порфирий Владимырьч высчитать, что может принести ему полеводство, и вот теперь наступил самый удобный для этого момент. Он знает, что мужик всегда нуждается, всегда ищет занять и всегда же отдает без обмана, с лихвой. В особенности щедр мужик на свой труд, который «ничего не стоит» и на этом основании всегда, при расчетах, принимается ни во что, в знак любви. Много-таки на Руси нуждающегося народа, ах, как много! Много людей, не могущих определить сегодня, что ждет их завтра, много таких, которые, куда бы ни обратили тоскливые взоры — везде видят только безнадежную пустоту, везде слышат только одно слово: отдай! отдай! И вот, вокруг этих-то безнадежных людей, около этой-то перекатной голи стелет Иудушка свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую фантастическую оргию.

На дворе апрель, и мужику, по обыкновению, нечего есть. «Проелись, голубчики! зиму-то пропраздновали, а к весне и животы подвело!» — рассуждает Порфирий Владимырьч сам с собою, а он, как нарочно, только-только все счета по прошлогоднему полеводству в ясность привел. В феврале были обмолочены последние скирды хлеба, в марте зерно лежало ссыпанное в закрома, а на днях вся наличность уже разнесена по книгам в соответствующие графы. Иудушка стоит у окна и поджидает. Вот вдали, на мосту, показался в тележке мужик Фока. На поворотке в Головлево он как-то торопливо задержал вожжами и, за неимением кнута, пугнул рукой лошадь, еле передвигающую ноги.

— Сюда! — шепчет Иудушка. — Ишь у него лошадь-то! как только жива! А покормить ее с месяц-другой — ничего животок будет! Рубликов двадцать пять, а не то и все тридцать отдашь за нее.

Между тем Фока подъехал к людской избе, привязал к изгороди лошадь, подкинул ей охапку сенной трухи и через минуту уже переминается с ноги на ногу в девичьей, где Порфирий Владимирыч имеет обыкновение принимать подобных просителей.

— Ну, друг! что скажешь хорошенького? — начинает Порфирий Владимирыч.

— Да вот, сударь, ржицы бы...

— Что так! свою-то, видно, уж съели? Ах, ах, грех какой! Вот кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да богу молились, и земляца-то почувствовала бы! Где нынче зерно — смотришь, ан в ту пору два или три получилось бы! Занимать-то бы и не надо!

Фока как-то нерешительно улыбается вместо ответа.

— Ты думаешь, бог-то далеко, так он и не видит? — продолжает морализировать Порфирий Владимирыч. — Ан бог-то — вот он он. И там, и тут, и вот с нами, покуда мы с тобой говорим, — везде он! И все он видит, все слышит, только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут; посмотрим, будут ли они меня помнить! А мы этим пользуемся, да, вместо того чтоб богу на свечку из достатков своих уделить, мы — в кабак да в кабак! Вот за это за самое и не подает нам бог ржицы — так ли, друг?

— Это уж что говорить! Это так точно!

— Ну, так вот видишь ли, и ты теперь понял. А почему понял? потому что бог милость свою от тебя отвратил. Уродись у тебя ржица, ты бы и опять фордыбачить стал, а вот как бог-то...

— Справедливо это, и кабы ежели мы...

— Пстой! дай я скажу И всегда так бывает, друг, что бог забывающим его напоминает об себе. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы делается. Кабы мы бога помнили, и он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал: и ржицы, и овсеца, и картофельцу — на, кушай! И за скотинкой бы за твоей наблюдаю — вишь, лошадь-то у тебя! в чем только дух держится! и птице, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал!

— И это вся ваша правда, Порфирий Владимирыч.

— Бога чтить — это первое, а потом — старших, которые от самих царей отличие получили, помещиков например.

— Да мы, Порфирий Владимирыч, и то, кажется...

— Тебе вот «кажется», а поразмысли да посуди, — ан, может, и не так на поверку выйдет. Теперь, как ты за ржицей ко мне пришел, грех сказать! очень ты ко мне почтителен и ласков;

а в позапрошлом году, помнишь, когда жнеи мне понадобились, а я к вам, к мужичкам, на поклон пришел? помогите, мол, братцы, вызвольте! вы что на мою просьбу ответили? Самим, говорят, жать надо! Нынче, говорят, не прежнее время, чтоб на господ работать, нынче — воля! Воля, а ржицы нет!

Порфирий Владимирович учительным взглядом на Фоку; но тот не шелохнется, словно оцепенел.

— Горды вы очень, от этого самого вам и счастья нет. Вот я, например: кажется, и бог меня благословил и царь пожаловал, а я — не горжусь! Как я могу гордиться! что я такое! червь! козявка! тьфу! А бог-то взял да за смиренность за мое и благословил меня! И сам милостию своею выискал, да и царю внушил, чтобы меня пожаловал.

— Я так, Порфирий Владимирович, мекаю, что прежде, при помещиках, не в пример лучше было! — льстит Фока.

— Да, брат, было и ваше времечко! — поспрашивали, пожил! Всего было у вас, и ржицы, и сенца, и картофельцу! Ну, да что уж старое поминать! я не злопамятен; я, брат, давно об жнеях позабыл, только так, к слову вспомнилось! Так как же ты говоришь, ржицы тебе понадобилось?

— Да, ржицы бы...

— Купить, что ли, собрался?

— Где купить! в одолжение, значит, до новой!

— Ахти-хти! Ржица-то, друг, нынче кусается! Не знаю уж, как и быть мне с тобой...

Порфирий Владимирович впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить: «и помочь человеку хочется, да и ржица кусается...»

— Можно, мой друг, можно и в одолжение ржицы дать, — наконец говорит он, — да, признаться сказать, и нет у меня продажной ржи: терпеть не могу божьим даром торговать! Вот в одолжение — это так, это я с удовольствием. Я, брат, ведь помню: сегодня я тебя одолжу, а завтра — ты меня одолжишь! Сегодня у меня избыток — бери, одолжайся! четверть хочешь взять — четверть бери! осьминка понадобилась — осьминку отсыпай! А завтра, может быть, так дело повернет, что и мне у тебя под окошком постучать придется: одолжи, мол, Фокушка, ржицы осьминку — есть нечего!

— Где уж! пойдете ли, сударь, вы!..

— Я-то не пойду, а к примеру... И не такие, друг, повороты на свете бывают! Вон в газетах пишут: какой столб Наполеон был, да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат. Сколько же тебе требуется ржицы-то?

— Четвертцу бы, коли милость ваша будет.

— Можно и четвертцу. Только раньше я тебе говорю: кусается, друг, нынче рожь, куда как кусается! Так вот как мы

с тобой сделаем: я тебе шесть четверичков отмерить велю, а ты мне, через восемь месяцев, два четверичка приполнцу отдашь — так оно четвертца в аккурат и будет! Процентом я не беру, а от избытка ржицей...

У Фоки даже дух занялся от Иудушкинова предложения; некоторое время он ничего не говорит, только лопатками пошевеливает.

— Не многовато ли будет, сударь? — наконец произносит он, очевидно робея.

— А много — так к другим обратись! Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылал, сам ты меня нашел. Ты — с запросцем, я — с ответцем. Так-то, друг!

— Так-то так, да словно бы приполну-то уж много?

— Ах, ах, ах! А я еще думал, что ты — справедливый мужик, степенный! Ну, а мне-то, скажи, чем мне-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворять? Ведь у меня сколько расходов — знаешь ли ты? Конца-краю, голубчик, расходам у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положи! Всем надо, все Порфирий Владимирыча теребят, а Порфирий Владимирыч отдувайся за всех! Опять и то: кабы я купцу рожь продал — я бы денежки сейчас на стол получил. Деньги, брат, — святое дело. С деньгами накуплю я себе билетов, положу в верное место и стану пользоваться процентами! Ни заботушки мне, ни горюшка, отрезал купончик — пожалуйста денежки! А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нее, да постарайся! Сколько ее усохнет, сколько на россыпь пойдет, сколько мышь съест! Нет, брат, деньги — как можно! И давно бы мне за ум взяться пора! давно бы в деньги все обратить да и уехать от вас!

— А вы с нами, Порфирий Владимирыч, поживите.

— И рад бы, голубчик, да сил моих нет. Кабы прежние силы, конечно, еще пожил бы, повоевал бы. Нет! пора, пора на покой! Уеду отсюда к Троице-Сергию, укроюсь под крылышко угоднику — никто и не услышит меня. А уж мне-то как хорошо будет: мирно, честно, тихо, ни гвалту, ни свары, ни шума — точно на небеси!

Словом сказать, как ни вертится Фока, а дело слаживается, как хочется Порфирию Владимирычу. Но этого мало: в самый момент, когда Фока уж согласился на условия займа, является на сцену какая-то Шелепиха. Так, пустошонка лядащая, с десятинку покосцу, да и то вряд ли... Так вот бы...

— Я тебе одолжение делаю — и ты меня одолжи, — говорит Порфирий Владимирыч, — это уж не за проценты, а так, в одолжение! Бог за всех, а мы друг по дружке! Ты десятинку-то шутя скосишь, а я тебя напередки попомню! я, брат, ведь прост! Ты мне на рублик послужишь, а я...

Порфирий Владимирович встает и в знак окончания дела молится на церковь. Фока, следуя его примеру, тоже крестится.

Фока исчез; Порфирий Владимирович берет лист бумаги, вооружается счетами, а костяшки так и прыгают под его проворными руками... Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах Иудушки словно дымкой; с лихорадочною торопливостью переходит он от счетов к бумаге, от бумаги к счетам. Цифры растут, растут...

РАСЧЕТ

На дворе декабрь в половине; окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенеет; за ночь намело на дороге столько сугробов, что крестьянские лошади тяжело барахтаются в снегу, вывозя пустые дровнишки. А к головлевской усадьбе и следа почти нет. Порфирий Владимирович до того отвык от посещений, что и главные ворота, ведущие к дому, и парадное крыльцо с наступлением осени наглухо заколотил, предоставив домочадцам сообщаться с внешним миром посредством девичьего крыльца и боковых ворот.

Утро; бьет одиннадцать. Иудушка, одетый в халат, стоит у окна и бесцельно поглядывает вперед. Спозаранку бродил он взад и вперед по кабинету и все об чем-то думал и высчитывал воображаемые доходы, так что наконец запутался в цифрах и устал. И плодовитый сад, раскинутый против главного фасада господского дома, и поселок, приютившийся на задах сада,— все утонуло в снежных сувоях. После вчерашней вьюги день выдался морозный, и снежная пелена сплошь блестит на солнце миллионами искр, так что Порфирий Владимирович невольно щурит глаза. На дворе пустынно и тихо; ни малейшего движения ни у людской, ни около скотного двора; даже крестьянский поселок угомонился, словно умер. Только над поповым домом вьется сизый дымок и останавливает на себе внимание Иудушки.

«Одиннадцать часов било, а попадья еще не отстряпалась,— думается ему,— вечно эти попы трескают!»

Выйдя из этого пункта, он начинает соображать: будни или праздник сегодня, постный или скоромный день, и что должна стряпать попадья — как вдруг внимание его отвлекается в сторону. На горке, при самом выезде из деревни Нагловки, показывается черная точка, которая постепенно придвигается и растет. Порфирий Владимирович вглядывается и, разумеется, прежде всего задается целой массой праздных вопросов. Кто едет? мужик или другой кто? Другому, впрочем, некому — стало быть, мужик... да, мужик и есть! Зачем едет? ежели за дровами, так ведь наглов-

ский лес по ту сторону деревни... наверное, шельма, в барский лес воровать собрался! Ежели на мельницу, так тоже, выехавши из Нагловки, надо взять вправо... Может быть, за попом? кто-нибудь умирает или уж и умер?.. А может быть, и родился кто? Какая же это баба родила? Ненила по осени с прибылью ходила, да той, кажется, еще рано... Ежели уродился мальчик, так в ревизию со временем попадет — сколько, бишь, в Нагловке, по последней ревизии, душ? А ежели девочка, так тех в ревизию не записывают, да и вообще... А все-таки и без женского пола нельзя... тьфу!

Иудушка отплевывается и смотрит на образ, как бы ища у него защиты от лукавого.

Очень вероятно, что он долго блуждал бы таким образом мыслью, если б показавшаяся у Нагловки черная точка обыкновенным порядком помелькала и исчезла; но она все росла и росла и, наконец, повернула на гать, ведущую к церкви. Тогда Иудушка совершенно отчетливо увидел, что едет небольшая рогаженная кибитка, запряженная парой гусем. Вот она поднялась на взлобок и поравнялась с церковью («не благочинный ли? — мелькнуло у него, — то-то у попа не отстряпались о сю пору!»), вот повернула вправо и направилась прямо к усадьбе. «Так и есть, сюда!» Порфирий Владимирыч инстинктивно запахнул халат и отпрянул от окна, словно боясь, чтоб проезжий не заметил его.

Он отгадал: повозка подъехала к усадьбе и остановилась у боковых ворот. Из нее поспешно выскочила молодая женщина. Одета она была совсем не по сезону, в городское ватное пальто, больше для вида, нежели для тепла, отороченное барашком, и, видимо, заоченела. Особа эта, никем не встреченная, вприпрыжку побежала на девичье крыльцо, и через несколько секунд уж слышно было, как хлопнула в девичьей дверь, а следом за этим опять хлопнула другая дверь, а затем во всех ближайших к выходу комнатах началась ходьба, хлопанье и суета.

Порфирий Владимирыч стоял у двери кабинета и прислушивался. Он так давно не видал никого постороннего и вообще так отвык от общества людей, что его взяла оторопь. Прошло с четверть часа; ходьба и хлопанье дверью не перемежались, а ему все еще не докладывали. Это еще больше взволновало его. Ясно, что приезжая принадлежала к числу лиц, которые, в качестве «присных», не дают никакого повода сомневаться относительно своих прав на гостеприимство. Кто же у него «присные»? Он начал припоминать, но память как-то тупо ему служила. Был у него сын Володька, да сын Петька, была маменька Арина Петровна... давно, ах давно это было! Вот в Горюшкине с прошлой осени поселилась Надька Галкина, покойной тетеньки Варвары Михайловны дочь — неужто ж она? Да нет, та уж однажды пыталась

ворваться в головлевское капище, да шиш съела! «Не смеет она! не посмеет!» — твердил Иудушка, приходя в негодование при одной мысли о возможности приезда Галкиной. Но кто же может быть еще?

Покуда он таким образом припоминал, Евпраксеюшка осторожно подошла к двери и доложила:

— Погорелковская барышня, Анна Семеновна, приехала.

Действительно, это была Аннинька. Но она до такой степени изменилась, что почти не было возможности узнать ее. В Головлево явилась на этот раз уж не та красивая, бойкая и кипящая молодостью девушка, с румяным лицом, серыми глазами навыкате, с высокой грудью и тяжелой пепельной косой на голове, которая приезжала сюда вскоре после смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо с впалой грудью, вдавненными щеками, с нездоровым румянцем, с вялыми телодвижениями, существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолепная ее коса выглядела как-то мизерно, и только глаза, вследствие общей худобы лица, казались еще больше, нежели прежде, и горели лихорадочным блеском. Евпраксеюшка долгое время вглядывалась в нее, как в незнакомую, но наконец-таки узнала.

— Барышня! вы ли? — вскрикнула она, всплеснув руками.

— Я. А что?

Сказавши это, Аннинька тихонько засмеялась, точно хотела прибавить: «Да, вот как! отделали-таки меня!»

— Дядя здоров? — спросила она.

— Что дяденька! так нйшто... Только слава, что живут, а то и не видим их почесть никогда!

— Что же с ним?

— Да так... от скуки, видно, с ними сделалось...

— Неужто и на бобах разводить перестал?

— Нынче они, барышня, молчат. Всё говорили, и вдруг замолчали. Слышим иногда, как промежду себя в кабинете что-то разговаривают и даже смеются будто, а выдут в комнаты — и опять замолчат. Сказывают, с покойным ихним братцем, Степаном Владимирычем, то же было... Всё были веселы — и вдруг замолчали. Вы-то, барышня, всё ли здоровы?

Аннинька только махнула рукою в ответ.

— Сестрица всё ли здорова?

— Уж целый месяц, как в Кречетове при большой дороге в могиле лежит.

— Чтой-то, спаси господи! уж и при дороге?

— Известно, как самоубийц хоронят.

— Господи! всё барышни были — и вдруг сами на себя ручку наложили... Как же это так?

— Да, сперва «были барышни», а потом отравились — только

и всего. А я вот струсила, жить захотела! к вам вот приехала! Ненадолго, не пугайтесь... умру!

Евпраксеюшка глядела на нее во все глаза, словно не понимала.

— Что на меня глядите? хороша? Ну, какова есть.. А впрочем, после об этом... после... Теперь велите-ка ямщика рассчитать да дядю предупредите.

Говоря это, она вынула из кармана старенький портмоне и достала оттуда две желтеньких бумажки.

— А вот и имущество мое! — прибавила она, указывая на жиденький чемодан. — Тут все: и родовое и благоприобретенное! Иззябла я, Евпраксеюшка, очень иззябла! Вся я больна, ни одной косточки во мне не больной нет, а тут, как нарочно, холодище... Еду да об одном только думаю: вот доберусь до Головлева, так хоть умру в тепле! Водки бы мне... есть у вас?

— Да вы бы, барышня, чайку лучше; самовар сейчас будет готов.

— Нет, чай — потом, а теперь водки бы... Вы дяде, впрочем, не сказывайте об водке-то покуда... Все само собой после увидится.

Покамест в столовой накрывали к чаю, явился и Порфирий Владимирыч. В свою очередь и Аннинька с изумлением встретила с ним: до такой степени он похудел, выцвел и задичал. Он обошелся с Аннинькой как-то странно: не то чтобы прямо холодно, а как будто ему до нее совсем дела нет. Говорил мало, вынужденно, точно актер, с трудом припоминающий фразы из давнишних ролей. Вообще был рассеян, как будто в голове его в это время шла совсем другая и очень важная работа, от которой его досадным образом оторвали по пустякам.

— Ну вот, ты и приехала! — сказал он. — Чего хочешь? чаю? кофею? распорядись!

В прежнее время, при родственных свиданиях, роль чувствительного человека обыкновенно разыгрывал Иудушка, но на этот раз расчувствовалась Аннинька, и расчувствовалась вправду. Должно быть, очень у нее наболело внутри, потому что она бросилась к Порфирию Владимирычу на грудь и крепко его обняла.

— Дядя! я к вам! — крикнула она и вдруг залилась слезами.

— Ну, что ж! милости просим! комнат у меня довольно — живи!

— Больна я, дяденька! очень, очень больна!

— А больна, так богу молиться надо! Я и сам, когда болен, — все молитвой лечусь!

— Умирать я приехала к вам, дядя!

Порфирий Владимирыч испытующим оком взглянул на нее, и чуть заметная усмешка скользнула по его губам.

— Доигралась? — произнес он чуть слышно, почти про себя.

— Да, доигралась. Любинька — та «доигралась» и умерла, а я вот... живу!

При известии о смерти Любиньки Иудушка набожно покрестился и молитвенно пошптал. Аннинька между тем села к столу, облокотилась и, смотря в сторону церкви, продолжала горько плакать.

— Вот плакать и отчаиваться — это грех! — учительно заметил Порфирий Владимирыч. — По-христиански-то, знаешь ли, как надо? не плакать, а покоряться и уповать — вот как по-христиански надлежит!

Но Аннинька откинулась на спинку стула и, тоскливо повесив руки, повторяла:

— Ах, уж и не знаю! не знаю, не знаю, не знаю!

— Ежели ты об сестрице так убиваешься — так и это грех! — продолжал между тем поучать Иудушка, — потому что хотя и похвально любить сестриц и братцев, однако, если богу угодно одного из них или даже и нескольких призвать к себе...

— Ах, нет, нет! вы, дядя, добрый? добрый вы? скажите!

Аннинька опять бросилась к нему и обняла.

— Ну, добрый, добрый! Ну, говори! хочется чего-нибудь? закусочки? чайку, кофейку? требуй! сама распорядись!

Анниньке вдруг вспомнилось, как в первый приезд ее в Головлево дяденька спрашивал: «Телятинки хочется? поросенок? картофельцу?» — и она поняла, что никакого другого утешения ей здесь не сыскать.

— Благодарю вас, дядя, — сказала она, снова присаживаясь к столу, — ничего особенного мне не нужно. Я заранее уверена, что буду всем довольна.

— А будешь довольна, так и слава богу! В Погорелку-то поедешь, что ли?

— Нет, дядя, я покамест у вас поживу. Ведь вы ничего не имеете против этого?

— Христос с тобой! живи! Ежели я и спросил про Погорелку, так потому, что на случай поездки распоряжение нужно сделать: кибиточку, лошадушек...

— Нет! после! после!

— И прекрасно. Когда-нибудь после съездишь, а покудова с нами поживи. По хозяйству поможешь — я ведь один! Краля-то эта, — Иудушка почти с ненавистью указал на Евпраксеюшку, разливавшую чай, — все по людским рыскает, так иной раз и не докличешься никого, весь дом пустой! Ну, а покамест прощай. Я к себе пойду. И помолюсь, и делом займусь, и опять помолюсь... так-то, друг! Давно ли Любинька-то скончалась?

— Да с месяц, дядя.

— Так мы завтра ранехонько к обеденке сходим, да кстати и панихидку по новопреставлявшейся рабе божией Любви отслу-

жим... Так прощай покуда! Кушай-ка чай-то, а ежели закусочки захочется с дорожки, и закусочки подать вели. А в обед опять увидимся. Поговорим, побеседуем; коли нужно что — распорядимся, а не нужно — и так посидим!

Так произошло это первое родственное свидание. С окончанием его Аннинька вступила в новую жизнь в том самом постылом Головлеве, из которого она, уж дважды в течение своей недолгой жизни, не знала, как вырваться.

Аннинька пошла под гору очень быстро. Вызванное головлевской поездкой (после смерти бабушки Арины Петровны) сознание, что она «барышня», что у нее есть свое гнездо и свои могилы, что не все в ее жизни исчерпывается вонью и гвалтом гостиниц и постоялых дворов, что есть, наконец, убежище, в котором ее не настигнут подлые дыханья, зараженные запахом вина и конюшни, куда не ворвется тот «усатый», с охрипшим от перепоя голосом и воспаленными глазами (ах, что он ей говорил! какие жесты в ее присутствии делал!), — это сознание улетучилось почти сейчас вслед за тем, как только пропало из вида Головлево.

Аннинька отправилась в ту пору из Головлева прямо в Москву и начала хлопотать, чтоб ее и сестру приняли на казенную сцену. С этой целью она обращалась и к маман, директрисе института, в котором она воспитывалась, и к некоторым институтским товаркам. Но везде ее приняли как-то странно. Маман, отнесшаяся к ней в первую минуту довольно радушно, как только узнала, что она играет на провинциальном театре, вдруг переменила благосклонное выражение лица на важное и строгое, а товарки, большей частью замужние женщины, взглянули на нее с таким нахальным изумлением, что она просто-напросто струсилась. Только одна, более добродушная, нежели другие, желая показать участие, спросила:

— А скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, одеваетесь в уборных, то вам стягивают корсеты офицеры?

Одним словом, ее попытки утвердиться в Москве так и остались попытками. Надо, впрочем, сказать правду, что и настоящих задатков она для успеха на столичной сцене не имела. И она и Любинька принадлежали к числу тех бойких, но не особенно даровитых актрис, которые всю жизнь играют одну и ту же роль. Анниньке удалась «Перикола», Любиньке — «Анютинны глазки» и «Полковник старых времен». И затем, за что бы они ни принимались — везде выходили «Периколы» и «Анютинны глазки», а в большинстве случаев, пожалуй, и совсем ничего не выходило. Приходилось Анниньке играть и «Прекрасную Елену» (по обязанностям службы даже и часто); она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парик, делала в тунике

разрез до самого пояса, но и за всем тем выходило посредственно, вяло, даже не цинично. От «Елены» она перешла к «Отрывкам из Герцогини Герольштейнской», и так как тут к бесцветной игре прибавилась еще совершенно бессмысленная постановка, то вышло уже что-то совсем глупое. Наконец взялась играть Клеретту в «Дочери рынка», но здесь, стараясь наэлектризовать публику, до такой степени переиграла, что и неприхотливым провинциальным зрителям показалось, что по сцене мечется даже не актриса, желающая «угодить», а просто какая-то непристойная лохань. Вообще об Анниньке составила репутация, что она актриса проворная, обладающая недурным голосом, а так как при этом у нее была красивая внешность, то в провинции она могла, пожалуй, делать сборы. Но и только. Заставить говорить об себе она не могла и никакой определенной физиономии не имела. Даже в среде провинциальной публики ее партию составляли исключительно служители всех родов оружия, главная претензия которых заключалась в том, чтобы иметь свободный вход за кулисы. В столице же она была мыслима не иначе, как навязанная очень сильным покровительством, но и за всем тем от публики она, наверное, заслужила бы только незавидное прозвище «арфистки».

Приходилось возвращаться в провинцию. В Москве Аннинька получила от Любиньки письмо, из которого узнала, что их труппа перекочевала из Кречетова в губернский город Самоварнов, чему она, Любинька, очень рада, потому что подружилась с одним самоварновским земским деятелем, который до того увлекся ею, что «готов, кажется, земские деньги украсть», лишь бы выполнить все, что она ни пожелает. И действительно, приехавши в Самоварнов, Аннинька застала сестру среди роскошной, сравнительно, обстановки и легкомысленно решившею бросить сцену. В минуту приезда у Любиньки находился и «друг» ее, земский деятель Гаврило Степаныч Люлькин. Это был отставной гусарский штабс-ротмистр, еще недавно *belhomme*¹, но теперь уже слегка отяжелевший. Лицо у него было благородное, манеры благородные, образ мыслей благородный, но в то же время все, вместе взятое, внушало уверенность, что человек этот отнюдь не обратится в бегство перед земским ящиком. Любинька приняла сестру с распростертыми объятиями и объявила, что в ее квартире для нее приготовлена комната.

Но, под влиянием недавней поездки в «свое место», Аннинька рассердилась. Между сестрами завязался горячий разговор, а потом произошла и размолвка. Невольно вспомнилось при этом Анниньке, как воплинский батюшка говорил, что трудно в актерском звании «сокровище» соблюсти.

¹ красавец мужчина (франц.).

Аннинька поселилась в гостинице и прекратила всякие сношения с сестрой. Прошла Святая; на Фоминой начались спектакли, и Аннинька узнала, что на место сестры уже выписана из Казани девица Налимова, актриса неважная, но зато совершенно беспрепятственная в смысле телодвижений. По обыкновению, Аннинька вышла перед публикой в «Периколе» и привела самоварновских обывателей в восторг. Возвратившись в гостиницу, она нашла в своем номере пакет, в котором оказались сторублевая бумажка и коротенькая записка, гласившая: «А в случае чего, и еще столько же. Купец, торгующий модным товаром, Кукишев». Аннинька рассердилась и пошла жаловаться хозяину гостиницы, но хозяин объявил, что у Кукишева такое уж «обнаковение», чтоб всех актрис с приездом поздравлять, а впрочем-де, он человек смирный и обижаться на него не стоит. Следуя этому совету, Аннинька запечатала в конверт письмо и деньги и, возвратив на другой день все по принадлежности, успокоилась.

Но Кукишев оказался более упорным, нежели как об нем отозвался хозяин гостиницы. Он считал себя в числе друзей Люлькина и находился в приятельских отношениях к Любиньке. Человек он был состоятельный и, сверх того, подобно Люлькину, в качестве члена городской управы состоял в самых благоприятных условиях относительно городского ящика. И при сем, подобно тому же Люлькину, обладал неустрашимостью. Наружность он имел, с гостинодворской точки зрения, обольстительную. А именно, напоминал того жука, которого, по словам песни, вместо ягод нашла в поле Маша:

Жука черного с усами
И с курчавой головой,
С чернобурыми бровями —
Настоящий милый мой!

Затем, заручившись такою наружностью, он тем более считал себя вправе дерзать, что Любинька прямо обещала ему свое содействие.

Вообще Любинька, по-видимому, окончательно сожгла свои корабли, и об ней ходили самые неприятные для сестрина самолюбия слухи. Говорили, что каждый вечер у ней собирается кутежная ватага, которая ужинает с полуночи до утра. Что Любинька председатель в этой компании и, представляя из себя «цыганку», полураздетая (при этом Люлькин, обращаясь к пьяным друзьям, восклицал: посмотрите! вот это так грудь!), с распущенными волосами и с гитарой в руках, поет:

Ах, как было мне приятно
С этим милым усачом!

Аннинька слушала эти рассказы и волновалась. И что всего более изумляло ее — это то, что Любинька поет романс об усаче на цыганский манер: точь-в-точь как московская Матреша! Аннинька всегда отдавала полную справедливость Любиньке, и если б ей сказали, например, что Любинька «неподражаемо» поет куплеты из «Полковника старых времен», — она, разумеется, нашла бы это совершенно натуральным и охотно поверила бы. Да этому нельзя было и не верить, потому что и курская, и тамбовская, и пензенская публика до сих пор помнит, с какою неподражаемою наивностью Любинька своим маленьким голоском заявляла о желании быть подполковником... Но чтобы Любинька могла петь по-цыгански, на манер Матрешы — это извините-с! это — ложь-с! Вот она, Аннинька, может так петь — это несомненно. Это ее жанр, это ее амплуа, и весь Курск, видевший ее в пьесе «Русские романсы в лицах», охотно засвидетельствует, что она может.

И Аннинька брала в руки гитару, перекидывала через плечо полосатую перевязь, садилась на стул, клала ногу на ногу и начинала: и-эх! и-ах! И действительно: выходило именно точка в точку, так, как у цыганки Матрешы.

Как бы то ни было, но Любинька роскошничала, а Люлькин, чтобы не омрачать картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, по-видимому уже приступил к позаимствованиям из земского ящика. Не говоря о массе шампанского, которая всякую ночь выпивалась и выливалась на пол в квартире Любиньки, она сама делалась с каждым днем капризнее и требовательнее. Явились на сцену сперва выписанные из Москвы платья от m-me Минангуа, а потом и бриллианты от Фульда. Любинька была расчетлива и не пренебрегала ценностями. Пьяная жизнь — сама по себе, а золото и камешки, и в особенности выигрышные билеты — сами по себе. Во всяком случае жилось не то чтобы весело, а буйно, беспардонно, из угара в угар. Одно было неприятно: оказывалось нужным заслуживать благосклонное внимание господина полицмейстера, который хотя и принадлежал к числу друзей Люлькина, но иногда любил дать почувствовать, что он в некотором роде власть. Любинька всегда угадывала, когда полицмейстер бывал недоволен ее угощением, потому что в таких случаях к ней являлся на другой день утром частный пристав и требовал паспорт. И она покорялась: утром подавала частному приставу закуску и водку, а вечером собственноручно делала для господина полицмейстера какой-то «шведский» пунш, до которого он был большой охотник.

Кукишев видел это разливанное море и сгорал от зависти. Ему захотелось во что бы ни стало иметь точно такой же въезжий дом и точь-в-точь такую же «кралю». Тогда можно было бы и время разнообразнее проводить: сегодня ночь — у люлькинской

«красавица», завтра ночь — у него, Кукишева, «красавица». Это была его заветная мечта, мечта глупого человека, который чем глупее, тем упорнее в достижении своих целей. И самую подходящую личностью для осуществления этой мечты представлялась Аннинька.

Однако ж Аннинька не сдавалась. До сих пор кровь еще не говорила в ней, хотя она имела много поклонников и не стеснялась в обращении с ними. Была одна минута, когда ей казалось, что она готова полюбить местного трагика, Милославского 10-го, который и в свою очередь, по-видимому, сгорал к ней страстью. Но Милославский 10-й был так глуп и притом так упорно нетрезв, что ни разу ничего ей не высказал, а только таращил глаза и как-то нелепо икал, когда она проходила мимо. Так эта любовь и заглохла в самом зачатке. На всех же остальных поклонников Аннинька просто смотрела как на неизбежную обстановку, на которую провинциальная актриса осуждена самыми условиями своего ремесла. Она покорялась этим условиям, пользовалась теми маленькими льготами (рукоплескания, букеты, катанья на тройках, пикники и проч.), которые они ей предоставляли, но дальше этого, так сказать, внешнего распутства не шла.

Так поступила она и теперь. В продолжение целого лета она неуклонно пребывала на стезе добродетели, ревниво ограждая свое «сокровище» и как бы желая заочно доказать воплинскому батюшке, что и в среде актрис встречаются личности, которым не чуждо геройство. Однажды она даже решилась пожаловаться на Кукишева начальнику края, который благосклонно ее выслушал и за геройство похвалил, рекомендовав и на будущее время пребывать в оном. Но вместе с сим, увидев в ее жалобе лишь предлог для косвенного нападения на его собственную, начальника края, персону, изволил присовокупить, что, истратив силы в борьбе с внутренними врагами, не имеет твердого основания полагать, чтобы он мог быть в требуемом смысле полезным. Выслушав это, Аннинька покраснела и ушла.

Между тем Кукишев действовал так ловко, что успел заинтересовать в своих домогательствах и публику. Публика как-то вдруг догадалась, что Кукишев прав и что девица Погорельская 1-я (так она печаталась в афишах) не бог весть какая «фря», чтобы разыгрывать из себя недотрогу. Образовалась целая партия, которая поставила себе задачей обуздать строптивую выскочку. Началось с того, что закулисные завсегдатаи стали обегать ее уборную и свили себе гнездо по соседству, в уборной девицы Налимовой. Потом — не выказывая, впрочем, прямо враждебных действий — начали принимать девицу Погорельскую, при ее выходах, с такою убийственной воздержностью, как будто на сцену появился не первый сюжет, а какой-нибудь оглашенный статист. Наконец настояли на том, чтобы антрепренер отобрал у Анниньки некоторые роли и отдал их Налимовой. И, что еще

любопытнее, во всей этой подпольной интриге самое деятельное участие принимала Любинька, у которой Налимова состояла на правах наперсницы.

К осени Аннинька с изумлением увидела, что ее заставляют играть Ореста в «Прекрасной Елене» и что из прежних первых ролей за ней оставлена только Перикола, да и то потому, что сама девица Налимова не решилась соперничать с ней в этой пьесе. Сверх того, антрепренер объявил ей, что, ввиду охлаждения к ней публики, жалованье ее сокращается до семидесяти пяти рублей в месяц с одним полубенефисом в течение года.

Аннинька струсила, потому что при таком жалованье ей приходилось переходить из гостиницы на постоянный двор. Она написала письма к двум-трем антрепренерам, предлагая свои услуги, но отовсюду получила ответ, что нынче и без того от Перикол отбою нет, а так как, сверх того, из достоверных источников сделалось известно об ее строптивости, то и тем больше надежд на успех не предвидится.

Аннинька проживала последние запасные деньги. Еще неделя — и ей не миновать было постоянного двора, наравне с девицей Хорошавиной, игравшей Парфенису и пользовавшейся покровительством квартального надзирателя. На нее начало находить что-то вроде отчаяния, тем больше что в ее номер каждый день таинственная рука подбрасывала записку одного и того же содержания: «Перикола! покорись! Твой Кукишев». И вот в эту тяжелую минуту к ней совсем неожиданно ворвалась Любинька.

— Скажи на милость, для какого принца ты свое сокровище бережешь? — спросила она кратко.

Аннинька оторопела. Прежде всего ее поразило, что и воплинский батюшка и Любинька в одинаковом смысле употребляют слово «сокровище». Только батюшка видит в сокровище «основу», а Любинька смотрит на него как на пустое дело, от которого, впрочем, «подлецы мужчины» способны доходить до одурения.

Затем она невольно спросила себя: что такое в самом деле это сокровище? действительно ли оно сокровище и стоит ли беречь его? — и увь! не нашла на этот вопрос удовлетворительного ответа. С одной стороны, как будто совестно остаться без сокровища, а с другой... ах, черт побери! да неужели же весь смысл, вся заслуга жизни в том только и должны выразиться, чтобы каждую минуту вести борьбу за сокровище?

— Я в полгода успела тридцать выигрышных билетов скопить, — продолжала между тем Любинька, — да вещей сколько... Посмотри, какое на мне платье!

Любинька повернулась кругом, обдернулась сперва спереди, потом сзади и дала себя осмотреть со всех сторон. Платье было действительно и дорогое и изумительно сшитое: прямо от Минангуа из Москвы.

— Кукишев — добрый, — опять начала Любинька, — он тебя, как куколку, вырядит, да и денег даст. Театр-то можно будет и побоку... достаточно!

— Никогда! — горячо вскрикнула Аннинька, которая еще не забыла слов: святое искусство!

— Можно и остаться, если хочешь. Старший оклад опять получишь, впереди Налимовой пойдешь.

Аннинька молчала.

— Ну, прощай. Меня внизу ждут наши. И Кукишев там. Едем?

Но Аннинька продолжала молчать.

— Ну, подумай, коли есть над чем думать... А когда надумаешь — приходи! Прощай!

17 сентября, в день Любинькиных именин, афиша самоварного театра возвещала экстраординарное представление. Аннинька явилась вновь в роли Прекрасной Елены и в тот же вечер, «на сей только раз», роль Ореста выполнила девица Погорельская 2-я, то есть Любинька. К довершению торжества, и тоже «на сей только раз», девицу Налимову одели в трико и коротенькую визитку, слегка тронули лицо сажень, вооружили железным листом и выпустили на сцену в роли кузнеца Клеона. Ввиду всего этого и публика была как-то восторженно настроена. Едва показалась из-за кулис Аннинька, как ее встретил такой гвалт, что она, совсем уже отвыкшая от оваций, почувствовала, что к ее горлу подступают рыдания. А когда, в третьем акте, в сцене ночного пробуждения, она встала с кушетки почти обнаженная, то в зале поднялся в полном смысле слова стон. Так что один чересчур наэлектризованный зритель крикнул появившемуся в дверях Менелаю: «Да уйди ты, постылый человек, вон!» Аннинька поняла, что публика простила ее. С своей стороны Кукишев, во фраке, в белом галстуке и белых перчатках, с достоинством заявлял о своем торжестве и в антрактах поил в буфете шампанским знакомых и незнакомых. Наконец и антрепренер театра, преисполненный ликования, явился в уборную Анниньки и, встав на колени, сказал:

— Ну вот, барышня, теперь — вы пайнька! И потому с нынешнего же вечера по-прежнему переводитесь на высший оклад с соответствующим числом бенефисов-с!

Одним словом, все ее хвалили, все поздравляли и заявляли о сочувствии, так что она и сама, сначала робевшая и как бы не находившая места от гнетущей тоски, совершенно неожиданно прониклась убеждением, что она... выполнила свою миссию!

После спектакля все отправились к имениннице, и тут поздравления усугубились. В квартире Любиньки собралась такая толпа и сразу так надымил табак, что трудно было дышать. Сейчас же сели за ужин, и полилось шампанское. Кукишев ни на шаг не

отходил от Анниньки, которая, по-видимому, была слегка смущена, но в то же время уже не тяготилась этим ухаживанием. Ей казалось немножко смешно, но и лестно, что она так легко приобрела себе этого рослого и сильного купчину, который шутя может подкову согнуть и разогнуть и которому она может все приказывать, и что захочет, то с ним и сделает. За ужином началось общее веселье, то пьяное, беспорядочное веселье, в котором не принимают участия ни ум, ни сердце и от которого на другой день болит голова и ощущаются позывы на тошноту. Только один из присутствующих, трагик Милославский 10-й, глядел угрюмо и, уклоняясь от шампанского, рюмка за рюмкой хлопал водку-простеца. Что касается до Анниньки, то она некоторое время воздерживалась от «упоевания»; но Кукишев был так настоятелен и так жалко умолял на коленях: «Анна Семеновна! за вами дюбёт-с (debet)! Позвольте просить-с! за наше блаженство-с! совет да любовь-с! Сделайте ваше одолжение-с!» — что ей хоть и досадно было видеть его глупую фигуру и слушать его глупые речи, но она все-таки не могла отказаться, и не успела опомниться, как у нее закружилась голова. Любинька, с своей стороны, была так великодушна, что сама предложила Анниньке спеть «Ах, как было мне приятно с этим милым усачом», что последняя и выполнила с таким совершенством, что все воскликнули: «Вот это так уж точно... по-Матрешинному!» Взамен того Любинька мастерски спела куплеты о том, как приятно быть подполковником, и всех сразу убедила, что это настоящий ее жанр, в котором у нее точно так же нет соперниц, как у Анниньки — в песнях с цыганским пошибом. В заключение Милославский 10-й и девица Налимова представили «сцену-маскарад», в которой трагик декламировал отрывки из «Уголино» («Уголино», трагедия в пяти действиях, соч. Н. Полевого), а Налимова подавала ему реплики из неизданной трагедии Баркова. Выходило нечто до такой степени неожиданное, что девица Налимова чуть-чуть не затмила девиц Погорельских и не сделалась героинею вечера.

Было уже почти светло, когда Кукишев, оставивши дорогую именинницу, усаживал Анниньку в коляску. Благочестивые мещане возвращались от заутрени и, глядя на расфранченную и слегка пошатывавшуюся девицу Погорельскую 1-ю, угрюмо ворчали:

— Люди из церкви идут, а они вино жрут... пропасти на вас нет!

От сестры Аннинька отправилась уже не в гостиницу, а на свою квартиру, маленькую, но уютную и очень мило отделанную. Туда же следом за ней вошел и Кукишев.

Вся зима прошла в каком-то неслыханном чаду. Аннинька окончательно закружилась, и ежели по временам вспоминала об «сокровище», то только для того, чтобы сейчас же мысленно

присовокупить: «Какая я, однако ж, была дура!» Кукишев, под влиянием гордого сознания, что его идея насчет «краси» равного достоинства с Любинькой осуществилась, не только не жалел денег, но, подстрекаемый соревнованием, выписывал непременно два наряда, когда Люлькин выписывал только один, и ставил две дюжины шампанского, когда Люлькин ставил одну. Даже Любинька начала завидовать сестре, потому что последняя успела за зиму накопить сорок выигрышных билетов, кроме порядочного количества золотых безделушек с камешками и без камешков. Они, впрочем, опять сдружились и решили все накопленное хранить сообща. При этом Аннинька все еще о чем-то мечтала и в интимной беседе с сестрой говорила:

— Когда все это кончится, то мы поедем в Погорелку. У нас будут деньги, и мы начнем хозяйничать.

На что Любинька очень цинично возражала:

— А ты думаешь, что это когда-нибудь кончится... дура!

На несчастье Анниньки, у Кукишева явилась новая «идея», которую он начал преследовать с обычным упорством. Как человеку неразвитому и притом несомненно неумному, ему казалось, что он очутится наверху блаженства, если его «краси» будет «делать ему акомпанемент», то есть вместе с ним станет пить водку.

— Хлопнемте-с! вместе-с! по одной-с! — приставал он к ней беспрестанно (он всегда говорил Анниньке «вы», во-первых, ценя в ней дворянское звание и, во-вторых, желая показать, что и он недаром жил в «мальчишках» в московском гостинном дворе).

Аннинька некоторое время отнекивалась, ссылаясь на то, что и Люлькин никогда не заставлял Любиньку пить водку.

— Однако же оне из любви к господину Люлькину все-таки кушают-с! — возразил Кукишев. — Да и позвольте вам доложить, красечка-с, разве нам господа Люлькины образец-с! Они — Люлькины-с, а мы с вами — Кукишевы-с! Оттого мы и хлопнем, по-нашему-с, по-кукишевски-с!

Одним словом, Кукишев настоял. Однажды Аннинька приняла из рук своего возлюбленного рюмку, наполненную зеленой жидкостью, и разом опрокинула ее в горло. Разумеется, не взвидела света, поперхнулась, закашлялась, закружилась и этим привела Кукишева в неистовый восторг.

— Позвольте вам доложить, красечка! вы не так кушаете-с! вы слишком уж скоро-с! — поучал он ее, когда она немного успокоилась. — Пакальчик (так называл он рюмку) следует держать в ручках вот как-с! Потом поднести к устам и не торопясь: раз, два, три... Господи баславй!

И он спокойно и серьезно опрокинул рюмку в горло, точно вылил содержание ее в лохань. Даже не поморщился, а только

взял с тарелки миниатюрный кусочек черного хлеба, обмакнул в солонку и пожевал.

Таким образом, Кукишев добился осуществления и второй своей «идеи» и начал уж помышлять о том, какую бы такую новую «идею» выдумать, чтобы господам Люлькиным в нос бросилось. И, разумеется, выдумал.

— Знаете ли что-с? — вдруг объявил он. — Ужо, как лето наступит, отправимтесь-ка мы с господами Люлькиными за канпанию ко мне на мельницу-с, возьмем с собой саквояж-с (так называл он коробок с вином и закуской) и искупаемся в речке-с, с обоюдного промежду себя согласия-с!

— Ну, уж этому-то никогда не бывать! — возражала с негодованием Аннинька.

— Отчего так-с? Сначала искупаемся-с, потом чуточку хлопнем-с, а потом немного проклажé и опять искупаемся-с! Расчудесное будет дело-с!

Неизвестно, осуществилась ли эта новая «идея» Кукишева, но известно, что целый год длился этот пьяный угар, и в продолжение этого времени ни городская управа, ни земская таковая ж не обнаружили ни малейшего беспокойства относительно господ Кукишева и Люлькина. Люлькин, впрочем, ездил, для вида, в Москву и, воротившись, сказывал, что продал на сруб лес, а когда ему напомнили, что он уже четыре года тому назад, когда жил с цыганкой Домашкой, продал лес, то он возражал, что тогда он сбыл урочище Дрыгаловское, а теперь — пустошь Дашкину Стыдобушку. Причем, для придания своему рассказу большего вероятия, присовокупил, что проданная пустошь была так названа потому, что, при крепостном праве, в этом лесу «за-стали» девку Дашку и тут же на месте наказывали за это розгами. Что касается Кукишева, то он, для отвода глаз, распускал под рукой слух, что беспошлинно провез из-за границы в карандашах партию кружев и этою операцией нажил хороший барыш.

Тем не менее в сентябре следующего года полицмейстер попросил у Кукишева заимообразно тысячу рублей, и Кукишев имел неблагоразумие отказать. Тогда полицмейстер начал о чем-то перешептываться с товарищем прокурора («оба у меня шампанское каждый вечер лакали!» — показывал впоследствии на суде Кукишев). И вот, 17 сентября, в годовщину кукишевских «любвей», когда он вместе с прочими вновь праздновал именины Любиньки, прибежал гласный из городской управы и объявил Кукишеву, что в управе собралось присутствие и составляется протокол.

— Стало быть, «дюбёт» нашли? — довольно развязно воскликнул Кукишев и без дальних разговоров последовал за посланным в управу, а оттуда в острог.

На другой день всполошилась и земская управа. Собрались члены, послали в казначейство за денежным ящиком, считали, пересчитывали, но как ни хлопали на счетах, а в конце концов оказалось, что и тут «дюбёт». Люлькин присутствовал при ревизии, бледный, угрюмый, но... благородный! Когда «дюбёт» обнаружился вполне осязательно и члены, каждый про себя, обсуждали, какое Дрыгаловское урочище придется каждому из них продавать для пополнения растраты, Люлькин подшел к окну, вынул из кармана револьвер и тут же всадил себе пулю в висок.

Много говору наделало в городе это происшествие. Судили и сравнивали. Люлькина жалели, говорили: «По крайней мере благородно покончил!» Об Кукишеве отзывались: «Аршинником родился, аршинником и умрет!» А об Анниньке и Любиньке говорили прямо, что это — «они», что это — «из-за них» и что их тоже не мешало бы засадить в острог, чтобы подобным прощелыгам впредь неповадно было.

Следователь, однако ж, не засадил их в острог, но зато так настрадал, что они совсем растерялись. Нашлись, конечно, люди, которые приятельски советовали припрятать что поценнее, но они слушали и ничего не понимали. Благодаря этому адвокат истцов (обе управы наняли одного и того же адвоката), отважный малый, в видах обеспечения исков, явился в сопровождении судебного пристава к сестрам, и все, что нашел, описал и опечатал, оставив в их распоряжении только платья и те золотые и серебряные вещи, которые, судя по выгравированным надписям, оказывались приношениями восхищенной публики. Любинька успела, однако ж, при этом захватить пачку бумажек, подаренную ей накануне, и спрятать за корсет. В этой пачке оказалось тысяча рублей — все, чем сестры должны были неопределенное время существовать.

В ожидании суда их держали в Самоварном месяца четыре. Затем начался суд, на котором они, а в особенности Аннинька, выдержали целую пытку. Кукишев был циничен до мерзости; даже надобности не было в тех подробностях, которые он выложил, но он, очевидно, хотел порисоваться перед самоварновскими дамами и излагал решительно все. Прокурор и частный обвинитель, люди молодые и тоже желавшие доставить самоварновским дамам удовольствие, воспользовались этим, чтоб сообщить процессу игривый характер, в чем, конечно, и успели. Аннинька несколько раз падала в обморок, но частный обвинитель, озабочиваясь обеспечением иска, решительно не обращал на это внимания и ставил вопрос за вопросом. Наконец следствие кончилось, и предоставлено было слово заинтересованным сторонам. Уж поздно ночью присяжные вынесли Кукишеву обвинительный приговор, с смягчающими, впрочем, обстоятельствами, вследствие

чего он был тут же присужден к ссылке на житье в Западную Сибирь, в места не столь отдаленные.

С окончанием дела сестры получили возможность уехать из Самоварного. Да и время было, потому что спрятанная тысяча рублей подходила под исход. А сверх того и антрепренер кречетовского театра, с которым они предварительно сошлись, требовал, чтобы они явились в Кречетов немедленно, грозя, в противном случае, прервать переговоры. О деньгах, вещах и бумагах, опечатанных по требованию частного обвинителя, не было ни слуху ни духу...

Таковы были последствия небрежного обращения с «сокровищем». Измученные, истерзанные, подавленные общим презрением, сестры утратили всякую веру в свои силы, всякую надежду на просвет в будущем. Они похудели, опустили, трусили. И, к довершению всего, Аннинька, побывавшая в школе Кукишева, приучилась пить.

Дальше пошло еще хуже. В Кречетове, едва успели сестры выйти из вагона, как их тотчас же разобрали по рукам. Любиньку принял ротмистр Папков, Анниньку — купец Забвенный. Но прежних приволий уже не было. И Папков и Забвенный были люди грубые, драчуны, но тратились умеренно (Забвенный выражался: глядя по товару), а через три-четыре месяца и значительно охладели. К довершению, рядом с умеренными любовными успехами шли и чересчур умеренные успехи сценические. Антрепренер, выписавший сестер в расчете на скандал, произведенный ими в Самоварнове, совсем неожиданно просчитался. На первом же представлении, когда обе девицы Погорельские были на сцене, кто-то из райка крикнул: «Эх вы, подсудимые!» — и кличка эта так и осталась за сестрами, сразу решив их сценическую судьбу.

Потянулась вялая, глухая, лишенная всякого умственного интереса жизнь. Публика была холодна, антрепренер дулся, покровители — не заступались. Забвенный, который, подобно Кукишеву, мечтал, как он будет «понуждать» свою кралю прохаживаться с ним по маленькой, как она сначала будет жеманиться, а потом мало-помалу уступит, был очень обижен, когда увидел, что школа уже пройдена сполна и что ему остается только одна утеха: собирать приятелей и смотреть, как Анютка «водку жрет». С своей стороны, и Папков был недоволен и находил, что Любинька похудела, или, как он выражался, «постервела».

— У тебя прежде телеса были — допрашивал он ее, — сказывай, куда ты их девала?

И вследствие этого не только не церемонился с нею, но даже не раз, под пьяную руку, бивал

К концу зимы сестры не имели ни покровителей «настоящих», ни «постоянного положения». Они еще держались кой-как около

театра, но о «Периколах» и «Полковниках старых времен» не было уж и речи. Любинька, впрочем, выглядела несколько бодрее, Аннинька же, как более нервная, совсем опустилась и, казалось, позабыла о прошлом и не сознавала настоящего. Сверх того, она начала подозрительно кашлять: навстречу ей, видимо, шел какой-то загадочный недуг...

Следующее лето было ужасно. Мало-помалу сестер начали возить по гостиницам к проезжающим господам, и на них установилась умеренная такса. Скандалы следовали за скандалами, побоища за побоищами, но сестры были живучи, как кошки, и все льнули, все желали жить. Они напоминали тех жалких собачонок, которые, несмотря на ошпаривания, израненные, с перешибленными ногами, все-таки лезут в облюбованное место, визжат и лезут. Держать при театре подобные личности оказывалось неудобным.

В эту мрачную годину только однажды луч света ворвался в существование Анниньки. А именно, трагик Милославский 10-й прислал из Самоварнова письмо, в котором настоятельно предлагал ей руку и сердце. Аннинька прочла письмо и заплакала. Целую ночь она металась, была, как говорится, сама не своя, но наутро послала короткий ответ: «Для чего? для того, что ли, чтоб вместе водку пить?» Затем мрак сгустился пуще прежнего, и снова начался бесконечный подлый угар.

Любинька первая очнулась, или, лучше сказать, не очнулась, а инстинктивно почувствовала, что жить довольно. Работы впереди уже не предвиделось: и молодость, и красота, и зачатки дарования — все как-то вдруг пропало. О том, что есть у них приют в Погорелке, ей ни разу даже не вспомнилось. Это было что-то далекое, смутное, совсем забытое. Если их прежде не манило в Погорелку, то теперь и подавно. Да, именно теперь, когда приходилось почти умирать с голоду, теперь-то меньше всего и манило туда. С каким лицом она явится? — с лицом, на котором всевозможные пьяные дыхания выжгли тавро: подлая! Везде они легли, эти проклятые дыхания, везде они чувствуются, на всяком месте. И что всего ужаснее, и она и Аннинька настолько освоились с этими дыханиями, что незаметно сделали их неразрывною частью своего существования. Им не омерзительны ни трактирная вонь, ни гвалт постоянных дворов, ни цинизм пьяных речей, так что если б они ушли в Погорелку, то им, наверное, всего этого будет не доставать. Но, кроме того, ведь и в Погорелке надо чем-нибудь существовать. Сколько уж лет они мыкаются по белу свету, а об доходах с Погорелки что-то не слышать. Не миф ли она? не вымерли ли там все? Все эти свидетели далекого и вечно памятного детства, когда их, сироток, бабенка Арина Петровна воспитывала на кислом молоке и попорченной солонине... Ах, что это было за детство!

что это за жизнь... вся вообще! Вся жизнь... вся, вся, вся жизнь!

Ясно, что надо умереть. Раз эта мысль осветила совесть, она делается уж неотвязною. Обе сестры нередко пробуждались от угара, но у Анниньки эти пробуждения сопровождались истериками, рыданиями, слезами и проходили быстрее. Любинька была холоднее по природе, а потому не плакала, не проклинала, а только упорно помнила, что она «подлая». Сверх того, Любинька была рассудительна и как-то совершенно ясно сообразила, что жить даже и расчета нет. Совсем ничего не видится впереди, кроме позора, нищеты и улицы. Позор — дело привычки, его можно перенести, но нищету — никогда! Лучше покончить разом со всем.

— Надо умереть, — сказала она однажды Анниньке тем же холодно-рассудительным тоном, которым два года тому назад спрашивала ее, для кого она бережет свое сокровище.

— Зачем? — как-то испуганно возразила Аннинька.

— Я тебе серьезно говорю: надо умереть! — повторила Любинька. — Пойми! очнись! постарайся!

— Что ж... умрем! — согласилась Аннинька, едва ли, однако же, сознавая то суровое значение, которое заключало в себе это решение.

В тот же день Любинька наломала головок от фосфорных спичек и приготовила два стакана настоя. Один из них выпила сама, другой подала сестре. Но Аннинька мгновенно струсила и не хотела пить.

— Пей... подлая! — кричала на нее Любинька. — Сестрица! милая! голубушка! пей!

Аннинька, почти обезумев от страха, кричала и металась по комнате. И в то же время инстинктивно хваталась руками за горло, словно пыталась задавиться.

— Пей! пей... подлая!

Артистическая карьера девиц Погорельских кончилась. В тот же день вечером Любинькин труп вывезли в поле и зарыли. Аннинька осталась жива.

По приезде в Головлево Аннинька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо атмосферу самого беспардонного кочеванья. Вставала поздно; затем, неодетая, нечесаная, с отяжелевшей головой, слонялась вплоть до обеда из угла в угол и до того вымученно кашляла, что Порфирий Владимирович, сидя у себя в кабинете, всякий раз пугался и вздрагивал. Комната ее вечно оставалась неприбранною; постель стояла в беспорядке; принадлежности белья и туалета валялись разбросанные по стульям и на полу. В первое время она виделась с дядей только во время

обеда и за вечерним чаем. Головлеvский владыка выходил из кабинета весь одетый в черное, говорил мало и только, по-прежнему, изнурительно долго ел. По-видимому, он присматривался, и Аннинька, по скошенным в ее сторону глазам его, догадывалась, что он присматривался именно к ней.

Вслед за обедом наступали ранние декабрьские сумерки, и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладе парадных комнат. Аннинька любила следить, как постепенно потухают мерцания серого зимнего дня, как меркнет окрестность и комнаты наполняются тенями и как потом вдруг весь дом окунется в непроницаемую мглу. Она чувствовала себя легче среди этого мрака и потому почти никогда не зажигала свечей. Только в конце длинной залы стрекотала и оплывала дешевенькая пальмовая свечка, образуя своим пламенем небольшой светящийся круг. Некоторое время в доме происходило обычное послеобеденное движение: слышалось лязганье перемываемой посуды, раздавался стук выдвигаемых и задвигаемых ящиков, но вскоре доносилось топанье удаляющихся шагов, и затем наступала мертвая тишина. Порфирий Владимирович ложился на послеобеденный отдых, Евпраксеюшка зарывалась в своей комнате в перину, Прохор уходил в людскую, и Аннинька оставалась совершенно одна. Она ходила взад и вперед, напевая вполголоса и стараясь утомить себя и, главное, ни о чем не думать. Идя по направлению к зале, вглядывалась в светящийся круг, образуемый пламенем свечи; возвращаясь назад, усиливалась различить какую-нибудь точку в сгустившейся мгле. Но, назло усилиям, воспоминания так и плыли ей навстречу. Вот уборная, оклеенная дешевенькими обоями по дощатой перегородке с неизбежным трюмо и не менее неизбежным букетом от подпоручика Папкова 2-го; вот сцена с закопченными, захватанными и скользкими от сырости декорациями; вот и она сама вертится на сцене, именно только вертится, воображая, что играет; вот театральный зал, со сцены кажущийся таким нарядным, почти блестящим, а в действительности убогий, темный, с сборною мебелью и с ложами, обитыми обшарканным малиновым плисом. И в заключение обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца. Потом гостиница с вонючим коридором, слабо освещенным коптящею керосиновой лампой; номер, в который она, по окончании спектакля, впопыхах забегает, чтоб переодеться для дальнейших торжеств, номер с неприбранной с утра постелью, с умывальником, наполненным грязной водой, с валяющеюся на полу простыней и забытыми на спинке кресла кальсонами; потом общая зала, полная кухонного чада, с накрытым посредине столом; ужин, котлеты под горошком, табачный дым, гвалт, толкотня, пьянство, разгул... И опять обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца...

Таковы были воспоминания, относившиеся к тому времени,

которое она когда-то называла временем своих успехов, своих побед, своего благополучия...

За этими воспоминаниями начинался ряд других. В них выдающуюся роль играл постоянный двор, уже совсем вонючий, с промерзающими зимой стенами, с колеблющимися полами, с дощатою перегородкой, из щелей которой выглядывали глянце-витые животы клопов. Пьяные и драчливые ночи; проезжие помещики, торопливо вынимающие из тощих бумажников зелененькую, хваты-купцы, подбадривающие «актерок» чуть не с нагайкой в руках. А наутро головная боль, тошнота и тоска, тоска без конца. В заключение — Головлево...

Головлево — это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тут умерли; двое двоюродных братьев здесь получили «особенно тяжкие» раны, последствием которых была смерть; наконец и Любинька... Хоть и кажется, что она умерла где-то в Кречетове «по своим делам», но начало «особенно тяжких» ран несомненно положено здесь, в Головлеве. Все смерти, все отравы, все язвы — все идет отсюда. Здесь происходило кормление протухлой солониной, здесь впервые раздались в ушах сирот слова: постылые, нищие, дармоеды, ненасытные утробы и проч.; здесь ничто не проходило им даром, ничто не укрывалось от пронизательного взора черствой и блажной старухи: ни лишний кусок, ни изломанная грошовая кукла, ни изорванная тряпка, ни стоптанный башмак. Всякое правонарушение немедленно восстанавливалось или укоризной, или шлепком. И вот, когда они получили возможность располагать собой и поняли, что можно бежать от этого паскудства, они и бежали... туда! И никто не удержал их от бегства, да и нельзя было удержать, потому что хуже, постылее Головлева не предвиделось ничего.

Ах, если б все это забыть! если б можно было хоть в мечте создать что-нибудь иное, какой-нибудь волшебный мир, который заслонил бы собою и прошедшее и настоящее. Но, увы! действительность, которую она пережила, была одарена такою железною живучестью, что под гнетом ее сами собой потухли все проблески воображения. Напрасно мечта усиливается создать ангельчиков с серебряными крылышками — из-за этих ангельчиков неумолимо выглядывают Кукишевы, Люлькины, Забвенные, Папковы... Господи! да неужто же все утрачено? неужто даже способность лгать, обманывать себя — и та потонула в ночных кутежах, в вине и разврате? Надо, однако же, как-нибудь убить это прошлое, чтоб оно не отравляло крови, не рвало на куски сердца! Надо, чтоб на него легло что-нибудь тяжелое, которое раздавило бы его, уничтожило бы совсем, дотла!

И как все это странно и жестоко сложилось! нельзя даже вообразить себе, что возможно какое-нибудь будущее, что суще-

ствуется дверь, через которую можно куда-нибудь выйти, что может хоть что-нибудь случиться. Ничего случиться не может. И что всего несноснее: в сущности, она уже умерла, и между тем внешние признаки жизни — налицо. Надо было тогда кончать, вместе с Любинькой, а она зачем-то осталась. Как не раздавила ее та масса срама, которая в то время со всех сторон надвинулась на нее? И каким ничтожным червем нужно быть, чтобы выползти из-под такой груды разом налетевших камней?

Вопросы эти заставляли ее стонать. Она бегала и кружилась по зале, стараясь уgomонить взбудораженные воспоминания. А навстречу так и плыли: и герцогиня Герольштейнская, потрясающая гусарским ментиком, и Клеретта Анго, в подвенечном платье, с разрезом впереди до самого пояса, и Прекрасная Елена, с разрезами спереди, сзади и со всех боков... Ничего, кроме бесстыдства и наготы... вот в чем прошла вся жизнь! Неужели все это было?

Около семи часов дом начинал вновь пробуждаться. Слышались приготовления к предстоящему чаю, а наконец раздавался и голос Порфирия Владимирыча. Дядя и племянница садились у чайного стола, разменивались замечаниями о проходящем дне, но так как содержание этого дня было скудное, то и разговор оказывался скудный же. Напившись чаю и выполнив обряд родственного целования на сон грядущий, Иудушка окончательно заползал в свою нору, а Аннинька отправлялась в комнату к Евпраксеюшке и играла с ней в мельники.

С одиннадцати часов начинался разгул. Предварительно удостоверившись, что Порфирий Владимирыч уgomонился, Евпраксеюшка ставила на стол разное деревенское соленье и графин с водкой. Припоминались бессмысленные и бесстыжие песни, раздавались звуки гитары, и в промежутках между песнями и подлым разговором Аннинька выпивала. Пила она сначала «по-кукишевски», хладнокровно, «господи баслави!», но потом постепенно переходила в мрачный тон, начинала стонать, проклинать...

Евпраксеюшка смотрела на нее и «жалела».

— Посмотрю я на вас, барышня,— говорила она,— и так мне вас жалко! так жалко!

— А вы выпейте вместе — вот и не жалко будет! — возражала Аннинька.

— Нет, мне как возможно! Меня и то уж из-за дяденьки вашего чуть из духовного звания не исключили, а ежели да при этом...

— Ну, нечего, стало быть, и разговаривать. Давайте-ка лучше я вам «Усача» спою.

Опять раздавалось бречанье гитары, опять поднимался гик: и-ах! и-ох! Далеко за полночь на Анниньку, словно камень,

сваливался сон. Этот желанный камень на несколько часов убивал ее прошедшее и даже угомонял недуг. А на другой день, разбитая, полуобезумевшая, она опять выползала из-под него и опять начинала жить.

И вот, в одну из таких паскудных ночей, когда Аннинька лихо распевала перед Евпраксеюшкой репертуар своих паскудных песен, в дверях комнаты вдруг показалась изнуренная, мертвенно-бледная фигура Иудушки. Губы его дрожали, глаза ввалились и, при тусклом мерцании пальмовой свечи, казались как бы незрящими впадинами; руки были сложены ладонями внутрь. Он постоял несколько секунд перед обомлевшими женщинами и затем, медленно повернувшись, вышел.

Бывают семьи, над которыми тяготеет как бы обязательное предопределение. Особливо это замечается в среде той мелкой дворянской сошки, которая, без дела, без связи с общей жизнью и без правящего значения, сначала ютилась, под защитой крепостного права, рассеянная по лицу земли русской, а ныне, уже без всякой защиты, доживает свой век в разрушающихся усадьбах. В жизни этих жалких семей и удача и неудача — все как-то слепо, не гадаю, не думано.

Иногда над подобной семьей вдруг прольется как бы струя счастья. У захудалых корнета и корнетши, смиренно хиреющих в деревенском захолустье, внезапно появляется целый выводок молодых людей, крепоньких, чистеньких, проворных и чрезвычайно быстро усвояющих жизненную суть. Одним словом, «умницы». Все сплошь умницы — и юноши и юницы. Юноши — отлично кончают курс в «заведениях» и уже на школьных скамьях устраивают себе связи и покровительства. Вовремя умеют выказать себя скромными (*j'aime cette modestie!*¹ — говорят про них начальники) и вовремя же — самостоятельными (*j'aime cette indépendance!*²); чутко угадывают всякого рода веяния и ни с одним из них не порывают, не оставив назади надежной лазейки. Благодаря этому они на всю жизнь обеспечивают для себя возможность без скандала и во всякое время сбросить старую шкуру и облечься в новую, а в случае чего и опять надеть старую шкуру. Словом сказать, это истинные делатели века сего, которые всегда начинают искательством и почти всегда кончают предательством. Что же касается до юниц, то и они, в мере своей специальности, содействуют возрождению семьи, то есть удачно выходят замуж, и затем обнаруживают столько такта в распоря-

¹ Мне нравится эта скромность! (франц.)

² Мне нравится эта независимость! (франц.)

жении своими атурами, что без труда завоевывают видные места в так называемом обществе.

Благодаря этим случайно сложившимся условиям, удача так и плывет навстречу захудалой семье. Первые удачники, бодро выдержавши борьбу, в свою очередь воспитывают новое чистенькое поколение, которому живется уже легче, потому что главные пути не только намечены, но и проторены. За этим поколением вырастут еще поколения, покуда, наконец, семья естественным путем не войдет в число тех, которые, уж без всякой предварительной борьбы, прямо считают себя имеющими прирожденное право на пожизненное ликование.

В последнее время, по случаю возникновения запроса на так называемых «свежих людей», запроса, обусловленного постепенным вырождением людей «не свежих», примеры подобных удачливых семей начали прорываться довольно часто. И прежде бывало, что от времени до времени на горизонте появлялась звезда с «косицей», но это случалось редко, во-первых, потому, что стена, окружавшая ту беспечальную область, на воротах которой написано: «Здесь во всякое время едят пироги с начинкой», почти не представляла трещин, а во-вторых, и потому, что для того, чтобы, в сопровождении «косицы», проникнуть в эту область, нужно было воистину иметь за душой что-либо солидное. Ну, а нынче и трещин порядочно прибавилось, да и самое дело проникновения упростилось, так как от пришельца солидных качеств не спрашивается, а требуется лишь «свежесть» и больше ничего.

Но наряду с удачливыми семьями существует великое множество и таких, представителям которых домашние пенаты, с самой колыбели, ничего, по-видимому, не дарят, кроме безвыходного злополучия. Вдруг, словно вша, нападает на семью не то невзгода, не то порок и начинает со всех сторон есть. Расползается по всему организму, прокрадывается в самую сердцевину и точит поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднующих и вообще неудачников. И чем дальше, тем мельче вырабатываются людишки, пока наконец на сцену не выходят худосочные зауморыши, вроде однажды уже изображенных мною Головлят¹, зауморыши, которые при первом же натиске жизни не выдерживают и гибнут.

Именно такого рода злополучный фатум тяготел над головлевской семьей. В течение нескольких поколений три характеристические черты проходили через историю этого семейства: праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие и

¹ См. рассказ «Семейные итоги». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

пустоутробие, последний — являлся как бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы. На глазах у Порфирия Владимирыча сгорело несколько жертв этого фатума, а, кроме того, предание гласило еще о дедах и прадедах. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда не пригодные пьянчуги, так что головлевская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы среди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, благодаря своей личной энергии, довела уровень благосостояния семьи до высшей точки, но и за всем тем ее труд пропал даром, потому что она не только не передала своих качеств никому из детей, а, напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием.

До сих пор Порфирий Владимирыч, однако ж, крепился. Может быть, он сознательно оберегался пьянства, в виду бывших примеров, но, может быть, его покуда еще удовлетворял запой пустомыслия. Однако ж окрестная молва недаром обрекала Иудушку заправскому, «пьяному» запою. Да он и сам по временам как бы чувствовал, что в существовании его есть какой-то пробел; что пустомыслие дает многое, но не все. А именно: недостает чего-то оглушающего, острого, которое окончательно упразднило бы представление о жизни и раз навсегда выбросило бы его в пустоту.

И вот вождеденный момент подвернулся сам собою. Долгое время, с самого приезда Анниньки, Порфирий Владимирыч, запершись в кабинет, прислушивался к смутному шуму, доносившемуся до него с другого конца дома; долгое время он отгадывал и недоумевал... И наконец учуял.

На другой день Аннинька ожидала поучений, но таковых не последовало. По обычаю, Порфирий Владимирыч целое утро просидел запершись в кабинете, но когда вышел к обеду, то вместо одной рюмки водки (для себя) налил две и молча, с глуповатой улыбкой, указал рукой на одну из них Анниньке. Это было, так сказать, молчаливое приглашение, которому Аннинька и последовала.

— Так ты говоришь, что Любинька умерла? — спохватился Иудушка в середине обеда.

— Умерла, дядя.

— Ну, царство небесное! Роптать — грех, а помянуть — следует. Помянем, что ли?

— Помянемте, дядя.

Выпили еще по одной, и затем Иудушка умолк: очевидно, он еще не вполне оправился после своей продолжительной одичалости. Только после обеда, когда Аннинька, выполняя родственный обряд, подошла поблагодарить дяденьку поцелуем в щеку, он в свою очередь потрепал ее по щеке и вымолвил:

— Вот ты какая!

Вечером, в тот же день, во время чая, который на сей раз длился продолжительнее обыкновенного, Порфирий Владимирович некоторое время с той же загадочной улыбкой посматривал на Анниньку, но наконец предложил:

— Закусочки, что ли, велеть поставить?

— Что ж... велите!

— То-то, лучше уж у дяди на глазах, чем по закоулкам... По крайней мере дядя...

Иудушка не договорил. Вероятно, он хотел сказать, что дядя по крайней мере «удержит», но слово как-то не выговорилось.

С этих пор, каждый вечер, в столовой появлялась закуска. Наружные ставни окон затворялись, прислуга удалялась спать, и племянница с дядей оставались глаз на глаз. Первое время Иудушка как бы не поспевал, но достаточно было недолговременной практики, чтоб он вполне сравнялся с Аннинькой. Оба сидели, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и беседовали. Разговор, сначала безразличный и вялый, по мере того как головы разгорячались, становился живее и живее и, наконец, неизменно переходил в беспорядочную ссору, основу которой составляли воспоминания о головлевских умертвиях и увечьях.

Зачинщицею этих ссор всегда являлась Аннинька. Она с беспощадною назойливостью раскапывала головлевский архив и в особенности любила дразнить Иудушку, доказывая, что главная роль во всех увечьях, наряду с покойной бабушкой, принадлежала ему. При этом каждое слово ее дышало такою циническою ненавистью, что трудно было себе представить, каким образом в этом замученном, полупотухшем организме могло еще сохраняться столько жизненного огня. Эти поддразнивания уязвляли Иудушку до бесконечности; но он возражал слабо и больше сердился, а когда Аннинька, в своем озорливом науськиванье, заходила слишком далеко, то кричал криком и проклинал.

Такого рода сцены повторялись изо дня в день, без изменения. Хотя все подробности скорбного семейного синодика были исчерпаны очень быстро, но синодик этот до такой степени неотступно стоял перед этими подавленными существами, что все мыслительные их способности были как бы прикованы к нему. Всякий эпизод, всякое воспоминание прошлого растравляли какую-нибудь язву, и всякая язва напоминала о новой свите головлевских увечий. Какое-то горькое, мстительное наслаждение чувствовалось в разоблачении этих отрав, в их расценке и даже в преувеличениях. Ни в прошлом, ни в настоящем не оказывалось ни одного нравственного устоя, за которым можно бы удержаться. Ничего, кроме жалкого скопидомства, с одной стороны, и бессмысленного пустоутробия — с другой. Вместо хлеба — камень, вме-

сто поучения — колотушка. И, в качестве варианта, паскудное напоминание о дармоедстве, хлебогадстве, о милостыне, об утаенных кусках... Вот ответ, который получало молодое сердце, жаждавшее привета, тепла, любви. И что ж! по какой-то горькой насмешке судьбы, в результате этой жестокой школы оказалось не суровое отношение к жизни, а страстное желание насладиться ее отравками. Молодость сотворила чудо забвения; она не дала сердцу окаменеть, не дала сразу развиться в нем начаткам ненависти, а, напротив, опьянила его жаждой жизни. Отсюда бесшабашный, закулисный угар, который в течение нескольких лет не дал прийти в себя и далеко отодвинул вглубь все головлевское. Только теперь, когда уже почуялся конец, в сердце вспыхнула со-сущая боль, только теперь Аннинька настоящим образом поняла свое прошлое и начала настоящим образом ненавидеть.

Хмельные беседы продолжались далеко за полночь, и если б их не смягчала хмельная же беспорядочность мыслей и речей, то они, на первых же порах, могли бы разрешиться чем-нибудь ужасным. Но, к счастью, ежели вино открывало неистощимые родники болей в этих замученных сердцах, то оно же и умиротворяло их. Чем глубже надвигалась над собеседниками ночь, тем бессвязнее становились речи и бессильнее обуревавшая их ненависть. Под конец не только не чувствовалось боли, но вся насущная обстановка исчезала из глаз и заменялась светящеюся пустотой. Языки запутывались, глаза закрывались, телодвижения коснели. И дядя и племянница тяжело поднимались с мест и, пошатываясь, расходились по своим логовищам.

Само собой разумеется, что в доме эти ночные похождения не могли оставаться тайной. Напротив того, характер их сразу определился настолько ясно, что никому не показалось странным, когда кто-то из домочадцев, по поводу этих походов, произнес слово «уголовщина». Головлевские хоромы окончательно оцепенели; даже по утрам не видно было никакого движения. Господа просыпались поздно, и затем, до самого обеда, из конца в конец дома раздавался надрывающий душу кашель Анниньки, сопровождаемый непрерывными проклятиями. Иудушка со страхом прислушивался к этим раздирающим звукам и угадывал, что и к нему тоже идет навстречу беда, которая окончательно раздавит его.

Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали «умертвия». Куда ни пойдешь, в какую сторону ни повернешься, везде шевелятся серые призраки. Вот папенька Владимир Михайлович, в белом колпаке, дразнящийся языком и цитирующий Баркова; вот братец Степка-балбес и рядом с ним братец Пашка-тихоня; вот Любинька, а вот и последние отпрыски головлевского рода: Володька и Петька... И все это хмельное, блудное, измученное, истекающее кровью... И над всеми этими

призраками витает живой призрак, и этот живой призрак — не кто иной, как сам он, Порфирий Владимирович Головлев, последний представитель выморочного рода...

В конце концов постоянные припоминания старых умертвий должны были оказать свое действие. Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, нежели первое. К удивлению, оказывалось, что совесть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и как бы позабыта. И вследствие этого утратила ту действительную чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании.

Такие пробуждения одичалой совести бывают необыкновенно мучительны. Лишенная воспитательного ухода, не видя никакого просвета впереди, совесть не дает примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только бесконечно и бесплодно терзает. Человек видит себя в каменном мешке, безжалостно отданным в жертву агонии раскаяния, именно одной агонии, без надежды на возврат к жизни. И никакого иного средства утишить эту бесплодную разъедающую боль, кроме шанса воспользоваться минутой мрачной решимости, чтобы разбить голову о камни мешка...

Иудушка в течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, о бок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да богу помолясь, и отнюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тяжелое увечье. А следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий.

И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт. Вот он состарился, одичал, одной ногой в могиле стоит, а нет на свете существа, которое приблизилось бы к нему, «пожалело» бы его. Зачем он один? зачем он видит кругом не только равнодушие, но и ненависть? отчего все, что ни прикасалось к нему, — все погибло? Вот тут, в этом самом Головлеве, было когда-то целое человечье гнездо — каким образом случилось, что и пера не осталось от этого гнезда? Из всех выпестованных в нем птенцов уцелела только племянница, но и та явилась, чтоб надругаться над ним и доконать его. Даже Евпраксеюшка — уж на что простодушна — и та ненавидит. Она живет в Головлеве, потому что отцу ее, пономарю, ежемесячно посылается отсюда домашний запас, но живет, несомненно ненавидя. И ей он, Иуда, нанес тягчайшее увечье, и у ней

он сумел отнять свет жизни, отняв сына и бросив его в какую-то безыменную яму. К чему же привела вся его жизнь? Зачем он лгал, пустословил, притеснял, скопидомствовал? Даже с материальной точки зрения, с точки зрения «наследства» — кто воспользуется результатами этой жизни? кто?

Повторяю: совесть проснулась, но бесплодно. Иудушка стонал, злился, метался и с лихорадочным озлоблением ждал вечера не для того только, чтобы бестияльно упиться, а для того, чтобы утопить в вине совесть. Он ненавидел «распутную девку», которая с такою холодной наглостью бередила его язвы, и в то же время неудержимо влекся к ней, как будто еще не все между ними было высказано, а оставались еще и еще язвы, которые тоже необходимо было растравить. Каждый вечер он заставлял Анниньку повторять рассказ о Любинькиной смерти, и каждый вечер в уме его больше и больше созревала идея о саморазрушении. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но, по мере того как процесс умиртвий выяснялся, она прокрадывалась глубже и глубже и, наконец, сделалась единственной светящейся точкой во мгле будущего.

К тому же и физическое его здоровье резко пошатнулось. Он уже серьезно кашлял и по временам чувствовал невыносимые приступы удушья, которые, независимо от нравственных терзаний, сами по себе в состоянии наполнить жизнь сплошной агонией. Все внешние признаки специального головлевского отравления были налицо, и в ушах его уже раздавались стоны брата Павлушки-тихони, задохшегося на антресолях дубровинского дома. Однако ж эта впалая, худая грудь, которая, казалось, ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучею. С каждым днем вмещала она все бóльшую и бóльшую массу физических мук, а все-таки держалась, не уступала. Как будто и организм, своей неожиданной устойчивостью, мстил за старые умертвия. «Неужто ж это не конец?» — каждый раз с надеждой говорил Иудушка, чувствуя приближение припадка; а конец все не приходил. Очевидно, требовалось насилие, чтобы ускорить его.

Одним словом, с какой стороны ни подойди, все расчеты с жизнью покончены. Жить и мучительно и не нужно; всего нужнее было бы умереть; но беда в том, что смерть не идет. Есть что-то изменнически-подлое в этом озорливом замедлении умирания, когда смерть призывается всеми силами души, а она только обольщает и дразнит...

.

Дело было в исходе марта, и страстная неделя подходила к концу. Как ни опустился в последние годы Порфирий Владимирович, но установившееся еще с детства отношение к святости

этих дней действовало и на него. Мысли сами собой настраивались на серьезный лад; в сердце не чувствовалось никакого иного желания, кроме жажды безусловной тишины. Согласно с этим настроением и вечера утратили свой безобразно-пьяный характер и проводились молчаливо, в тоскливом воздержании.

Иудушка и Аннинька сидели вдвоем в столовой. Не далее как час тому назад кончилась всенощная, сопровождаемая чтением двенадцати евангелий, и в комнате еще слышался сильный запах ладана. Часы пробили десять, домашние разошлись по углам, и в доме водворилось глубокое, сосредоточенное молчание. Аннинька, взявши голову в обе руки, облокотилась на стол и задумалась; Порфирий Владимирович сидел напротив, молчаливый и печальный.

На Анниньку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатление. Еще будучи ребенком, она горько плакала, когда батюшка произносил: «И сплетше венец из терния, возложиша на главу его, и трость в десницу его» — и всхлипывающим дискантиком подпевала дьячку: «Слава долготерпению твоему, господи! слава тебе!» А после всенощной, вся взволнованная, прибегала в девичью и там, среди сгустившихся сумерек (Арина Петровна не давала в девичью свечей, когда не было работы), рассказывала рабыням «страсти господни». Лились тихие рабы слезы, слышались глубокие рабы воздыхания. Рабыни чуяли сердцами своего господина и искупителя, верили, что он воскреснет, воистину воскреснет. И Аннинька тоже чуяла и верила. За глубокой ночью истязаний, подлых издевок и покиваний для всех этих нищих духом виднелось царство лучей и свободы. Сама старая барыня, Арина Петровна, обыкновенно грозная, делалась в эти дни тихою, не брюзжала, не попрекала Анниньку сиротством, а гладила ее по головке и уговаривала не волноваться. Но Аннинька даже в постели долго не могла успокоиться, вздрагивала, металась, по несколько раз в течение ночи вскакивала и разговаривала сама с собой.

Потом наступили годы учения, а затем и годы странствования. Первые были бессодержательны, вторые — мучительно пошлы. Но и тут, среди безобразий актерского кочевья, Аннинька ревниво выделяла «святые дни» и отыскивала в душе отголоски прошлого, которые помогали ей по-детски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснилась вся, до последней подробности, когда прошлое проклялось само собою, а в будущем не предвиделось ни раскаяния, ни прощения, когда иссяк источник умиления, а вместе с ним иссякли и слезы, — впечатление, произведенное только что выслушанным сказанием о скорбном пути, было поистине подавляющим. И тогда, в детстве, над нею тяготела глубокая ночь, но за тьмою все-таки предчувствовались лучи. Теперь — ничего не предчувствовалось, ни-

чего не предвиделось: ночь, вечная, бессменная ночь — и ничего больше. Аннинька не вздыхала, не волновалась и, кажется, даже ни о чем не думала, а только впала в глубокое оцепенение.

С своей стороны, и Порфирий Владимирыч, с неменьшею аккуратностью, с молодых ногтей чтит «святые дни», но чтит исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник. Каждогодно, накануне великой пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стучался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных евангелий и все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Аннинька разбудила в нем сознание «умертвий», он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над Истиной...

Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилося то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом, а что именно — в массе невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемою завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если б еще оно заправду раздавило — это было бы самое лучшее; но ведь он живуч — пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей — слишком гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильною смутю. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяц приглядывается к ней, и теперь, кажется, не проминёт. «В субботу приобщаться будем — надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить!» — вдруг мелькнуло у него в голове.

— Сходим, что ли? — обратился он к Анниньке, сообщая ей вслух о своем предложении.

— Пожалуй... съездимте...

— Нет, не съездимте, а... — начал было Порфирий Владимирыч и вдруг оборвал, словно сообразил, что Аннинька может помешать.

«А ведь я перед покойницей-маменькой... ведь я ее замутил... я!» — бродило между тем в его мыслях, и жажда «проститься» с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце. Но «проститься» не так, как обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии.

— Так ты говоришь, что Любинька сама от себя умерла? — вдруг спросил он, видимо с целью подбодрить себя.

Сначала Аннинька словно не расслышала вопроса дяди,

но, очевидно, он дошел до нее, потому что через две-три минуты она сама ощутила непреодолимую потребность возвратиться к этой смерти, измучить себя ею.

— Так и сказала: пей... подлая!? — переспросил он, когда она подробно повторила свой рассказ.

— Да... сказала.

— А ты осталась? не выпила?

— Да... вот живу...

Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец подошел к Анниньке и погладил ее по голове.

— Бедная ты! бедная ты моя! — произнес он тихо.

При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ее начало искажаться, искажаться, и вдруг целый поток истерических, ужасных рыданий вырвался из ее груди.

— Дядя! вы добрый? скажите, вы добрый? — почти криком кричала она.

Прерывающимся голосом, среди слез и рыданий, твердила она свой вопрос, тот самый, который она предложила еще в тот день, когда после «странствия» окончательно воротилась для водворения в Головлеве, и на который он в то время дал такой нелепый ответ.

— Вы добрый? скажите! ответьте!.. вы добрый?

— Слышала ты, что за всенощной сегодня читали? — спросил он, когда она, наконец, затихла.— Ах, какие это были страдания! Ведь только такими страданиями и можно... И простил! всех навсегда простил!

Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота.

— Всех простил! — вслух говорил он сам с собою.— Не только тех, которые тогда напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь, и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью... Ужасно! ах, это ужасно!

И вдруг, остановившись перед ней, спросил:

— А ты... простила?

Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла.

— Надо меня простить! — продолжал он, — за всех... И за себя... и за тех, которых уж нет... Что такое! что такое случилось?! — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом.— Где... все?..

.

Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатам. Но Порфирию Владимирычу не спалось. Он ворочался с боку на бок

в своей постели и все припоминал, какое еще обязательство лежит на нем. И вдруг в его памяти совершенно отчетливо восстановились те слова, которые случайно мелькнули в его голове часа за два перед тем. «Надо на могилку к покойнице-маменьке проститься сходить...» При этом напоминании ужасное, томительное беспокойство овладело всем существом его...

Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было еще темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимыч некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом искипителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь.

На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимыч шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата.

На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден зачоченевший труп головлевского барина. Бросились к Анниньке, но она лежала в постели в бессознательном положении, со всеми признаками горячки. Тогда снарядили нового верхового и отправили его в Горюшкино к «сестрице» Надежде Ивановне Галкиной (дочке тетеньки Варвары Михайловны), которая уже с прошлой осени зорко следила за всем, происходившим в Головлеве.





СКАЗКИ

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на

необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился,— сказал один генерал,— вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы.— Ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что,— отвечал другой генерал,— подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева току-ют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вот нашел старый номер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натошак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то при-поминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

— Как все это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пиккулями и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом. — Ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Станный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!»

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить и, вспомнив о найденном номере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

— «Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских, фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее: — «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по

куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел: — «Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, — все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озаарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили, как встрепанные, и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него. — Небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и зачоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам



пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!»

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежесбок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопля, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убежал, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани, — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаше и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха, ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Уставши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и, на свет глядячи, радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно



только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прощению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, — видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

— Одно только слово написано, — молвит глупый помещик, — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим. — Потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «Моя вода!», курица за околицу выбредет — помещик кричит: «Моя земля!» И земля,

и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

— Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице рóстить собрался? — сказал Садовский и с этим словом и сам уехал и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гран-пасьянс да гран-пасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульту-другую сыграть!»

Сказано — сделано; написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик, — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы. — Стало быть, теперь у вас этого холопьевого запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульту, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульты, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И, как назло, сколько раз ни разложит — все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду, позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб всё паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех!» Посмотрит в окошко — а там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве

продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреть — ан там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — Ну, пускай себе до поры до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что́ может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя. — Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?... это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!



— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чувствует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати и регалии и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и все думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам

по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит чрез комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышинный аппетит.

— Кшшш... — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и чрез мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иванович, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь. — Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

«Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; поменьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло́ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок,— говорил старый пискарь, умирая,— коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром расстреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И неводá, и сети, и вёрши, и норотá, и, наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? — Нитка, на нитке — крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он.— Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — аи в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попало! И щуки, и окуни, и голавли, и плотва, и гольцы, даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли,— это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко

таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это — «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом как полоумная выскочит, потом опять окунется — и присмирет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пушай в реке порастет!» Взял его под жабры да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, — сказал он себе, — а не то как раз пропадешь!» — и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него

целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи, жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет...» А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были

здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискарю достаточное питание получали, чтоб не чуждались обществу, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами занимались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарю породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискарю могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискарю. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплаву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде; ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискарю, — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка, прошу я у премудрого пискарю, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыбовод на уд не поймал?» Плынут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарю вой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылуя свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что́ тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Зайка! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: «Через столько-то суток и часов смерть должна прийти». Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьи скажет и оба зальются: «Ха-ха!» И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: «Изменил мне косой!» А может быть, подождала-подождала да и с другим... слюбилась... А может быть, и так: играла, бедняжка, в кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего —

куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегают, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

— Невеста-то твоя помирает, — говорит. — Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь толко об одном и думает: «Неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!»

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части рывалось. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пушал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайньке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую зайньку, передними лапками за ушки и все бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прынет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу, — говорит, — волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осужденный.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой зайньке и без жениха и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! — лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

— Так и так, ваше благородие, — вступился тут невестин

брат,— сестрица моя, а его невеста помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм... это хорошо, что невеста жениха любит,— говорит волчиха.— Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено...

— Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как бог свят прибегу! — заспешил осужденный и, чтобы волк не сомневался, что он может мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра,— сказал он,— я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он ее «на уру» возьмет; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («неприменно женюсь!» — ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы быстроте его удивлялись, говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар, а вон он как... улепетывает!»

Прибежал наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая зайчиха как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем; не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отве-дать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой на-миловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест, — говорил он, — так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытии (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; заранее так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит; глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: «Через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит!» Вспомнит он об этом — и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота — всё ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все

кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: «Неужто ж я друга не выручу!»

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы дневные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот наконец гора. За этой горой — болото и в нем — волчье логово... Опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним, как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

БЕДНЫЙ ВОЛК

Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию.

Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная: ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой.

Не легко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее — сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько-таки

волк голодный ходит да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари, от страха да от тоски, душа в пятки уходит. А волчиха его еще тоскливее подвывает, потому что у нее волчата, а накормить их нечем.

Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении: «Проклятый волк! убийца! душегуб!» И бежит он вперед да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему: «Разбойник! живорез!» Уволок волк, с месяц тому назад, у бабы овцу — баба-то и о сю пору слез не осушила: «Проклятый волк! душегуб!» А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было: овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось... И баба воет, и он воет... как тут разберешь!

Говорят, что волк мужика обездоливает; да ведь и мужик тоже, как обозлится, куда лют бывает! И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. «Душегуб! разбойник! — только и раздается про волка в деревнях, — последнюю корову зарезал! остатнюю овцу уволок!» А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя?

И убьешь-то его, так проку от него нет. Мясо — негодное, шкура жесткая — не греет. Только и корысти-то, что вдоволь над ним, проклятым, натешишься, да на виды живьем поднимешь: пускай, гадина, капля по капле кровью исходит!

Не может волк, не лишая живота, на свете прожить — вот в чем его беда! Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат, убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет — только и всего. Лошадь — тяжести возит, корова — дает молоко, овца — волну, а он — разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк — все «живут», каждый по-своему.

И вот нашелся, однако ж, между волками один, который долгие веки все убивал да разбойничал, и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное.

Жил этот волк смолоду очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день, и ночь он разбойничал, и все ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал; во дворы по деревням забирался; коров резал; лесника однажды до смерти загрыз; мальчика маленького, у всех на глазах, с улицы в лес унес. Слышал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да только лютей и лютей от этих покров становился.

— Послушали бы, что в лесу-то делается, — говорил он, — нет той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь

зверюга не верещала, с жизнью расставаясь, — так неужто ж на это смотреть?

И дожил он таким родом, промежду разбоев, до тех лет, когда волк уж «матерым» называется. Отяжелел маленько, но разбой все-таки не оставил; напротив, словно бы даже полютел. Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько-таки слухи по лесу ходят, что там-то и там-то Михайло Иваныч оплошал: в клочки серые вороги шубу ему разорвали.

Держит медведь волка в лапах и думает: «Что́ мне с ним, с подлецом, делать? ежели съесть — с души сопрёт, ежели так задавить да бросить — только лес запахом его падали заразишь. Дай посмотрю: может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть да поклянется он вперед не разбойничать — я его отпущу».

— Волк, а волк! — молвил Топтыгин, — неужто у тебя совести нет?

— Ах, что вы, ваше степенство! — ответил волк, — разве можно хоть один день на свете без совести прожить!

— Стало быть, можно, коли ты живешь. Подумай: каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал — разве это на совесть похоже?

— Ваше степенство! позвольте вам доложить! должен ли я пить-есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? какую вы на этот счет резолюцию изволите положить?

Подумал-подумал Михайло Иваныч, — видит: коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет.

— Должен, — говорит.

— А ведь я, кроме мясного, — ни-ни! Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медком от пчел позаимствуетесь, и овсеца пососете, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая вольгота у вашего степенства есть: зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето — нет той минуты, чтобы я о пище не думал! И все об мясе. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушу?

Задумался медведь над этими волчьими словами, однако все еще попытаться хочет.

— Да ты бы, — говорит, — хоть полегче, что ли...

— Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица — та зудит: рванет раз — и отскочит, потом опять рванет — и опять отскочит... А я прямо за горло хватаю — шабаш!

Еще пуще задумался медведь. Видит, что волк ему правду-матку режет, а отпустить его все еще опасается: сейчас он опять за разбойные дела примется.

— Раскайся, волк! — говорит.

— Не в чем мне, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не враг, и я в том числе; так в чем же тут моя вина?

— Да ты хоть пообещай!

— И обещать, ваше степенство, не могу. Вот лиса — та вам что хотите обещает, а я — не могу.

Что делать? Подумал, подумал медведь, да наконец и решил.

— Пренесчастнейший ты есть зверь — вот что я тебе скажу! — молвил он волку. — Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя. Одно могу прибавить: на твоём месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благо бы смерть для себя почитал! И ты над этими моими словами подумай!

И отпустил волка на все четыре стороны.

Освободился волк из медвежьих лап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лес, да и шабаш. Поводился в одну и ту же деревню; в две, в три ночи целое стадо зря перерезал — и ништо ему. Заляжет с сытым брюхом в болоте, потягивается да глаза жмурит. Даже на медведя, своего благодетеля, войной пошел, да тот, по счастью, вовремя спохватился да только лапой ему издали погрозил.

Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб; хоть и отлежался он, а все-таки уж на прежнего удальца-живореза не похож стал. Кинется вдогонку за зайцем — а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести — а собаки так и скачут-заливаются. Подождет он хвост, да и бежит с пустом.

— Никак, я уж и собак бояться стал? — спрашивает он себя.

Воротится в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет — страсти господни, какой поднимется в деревне переполох!

Только промыслил он однажды ягненокка и волочет его за шиворот в лес. А ягненок-то самый еще несмысленочек был: волочет его волк, а он не понимает. Только одно твердит: «Что такое? что такое?..»

— А я вот покажу тебе, что такое... мммерррзавец! — остервенился волк.

— Дяденька! я в лес гулять не хочу! я к маме хочу! не буду я, дяденька, не буду! — вдруг догадался ягненок и не то заблеял, не то зарыдал, — ах, пастушок, пастушок! ах, собачки! собачки!

Остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волк ухватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит не шелохнется, словно натуральную повинность исправляет. А вот и ма-

лыш — а поди как плачет: хочется ему жить! Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка! Вот и он, волк, — стар-стар, а все бы годков еще с сотенку пожил!

И припомнились ему тут слова Топтыгина: «На твоём бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал...» Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь — благо, а для него она — проклятье и позор?

И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост, в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть.

Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того, что он уж давно знал, а именно: что никак ему, волку, иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем.

Лег он плашмя на землю и никак улежать не может. Ум — одно говорит, а нутро — чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли в разор разорила, голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах: «Проклятый! душегуб! живорез!» Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает? Ведь проклятий-то все-таки не заглушишь! Ох, видно, правду сказал медведь: только и остается, что руки на себя наложить!

Так ведь и тут опять горе: зверь — ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может: ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живет он словно во сне и умрет — словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит; так и тут он только захрапит да корчей его на мгновение сведет — и дух вон. А откуда и как пришла смерть — он и не догадается.

Вот разве голодом он себя изведет... Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или витютня — только этим и сыт. Так даже и тут прочие витютни хором кричат: «Проклятый! проклятый! проклятый!»

Именно проклятый. Ну, как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинаят, нерезонно: не своей волей он разбойничает, — но как не проклинять! Сколько он зверья на своем веку погубил! сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал!

Много лет он в этих мыслях промучился; только одно слово в ушах его и гремело: «Проклятый! проклятый! проклятый!» Да и сам себе он все чаще и чаще повторял: «Именно проклятый! проклятый и есть; душегуб, живорез!» И все-таки, мучимый голодом, шел на добычу, душил, рвал и терзал...

И начал он звать смерть. «Смерть! смерть! хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!» — день и ночь выл он, на небо гляючи.

А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: «Душегуб! душегуб! душегуб!» Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтоб проклятья на него со всех сторон не сыпались.

Наконец смерть сжалилась-таки над ним. Появились в той местности «лукаши»¹, и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтоб устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит — зовут. Он встал и пошел. Видит: впереди путь вежами означен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову, навстречу смерти...

И вдруг его ударило прямо между глаз.

— Вот она... смерть-избавительница!

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и, в качестве таковых, заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

І. ТОПТЫГИН 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он все на одно поворачивал: «Кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!»

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать

¹ «Лукаши» — мужички из Великолуцкого уезда Псковской губернии, которые занимаются изучением привычек и нравов лесных зверей и потом предлагают охотникам свои услуги для облав. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор,— говорили они,— засыплет он нам — тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день, и сейчас же решил: «Быть назавтра кровопролитию». Что заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что, в ожидании кровопролития, задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенный это был Чижики, умный: и ведерко таскать умел и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш Чижики со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говорил (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушал, как Чижики у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умен был Чижики, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: «Бесприменно это должен быть внутренний супостат!»

— Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рявкнул он наконец.

Улететь бы Чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгреб грубияна в лапу да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: «Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин. — Меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись!» — а я, с первого же шага, чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видал.

Увы! Не знал, видно, Топтыгин, что, в сфере административной деятельности, первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

— Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он Чижику съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижику съел!

Он — за вороной, а из-за куста зайчика выпрыгнул:

— Бурбон стоеросовый! Чижику съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

— *Risum teneatis, amici!*¹ Чижику съел!

Лягушка в болоте квакнула:

— Олух царя небесного! Чижику съел!

Словом сказать, и смешно и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор Чижику съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что сделал! И куда ни направит Михайло Иванович свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! Чижику съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! Чижику съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди, и

¹ Можно ли не рассмеяться, друзья! (лат.)

в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижика съел!» Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... Чижик! скажите на милость! Чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное-то мнение, что значит! — тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло. — А потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с Чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминании об ней, задумывался. Сам по себе он знал об ней очень смутно, но от Осла слышал, что даже Лев ее боится: «Не хорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть!» История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал — ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! — съел Чижика и тем себя прославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел — и первым делом Чижика съел... ах Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз и сын степей калмык — все будут говорить: «Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он, вместо того, Чижика съел!» Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут кричать: «Чижика съел! Чижика съел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний

цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: «Ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а Чижику съели — правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! Чижику съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить...»

— Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! — молвил Михайло Иванович и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малинике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать да кстати целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственноручно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижику сие!»

И приказал отчислить его по инфантерии.

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографий начал — быть бы ему теперь генералом.

II. ТОПТЫГИН 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэто-

му, еще до получения прогонных денег, он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казенный ручной станок, который лесные куранты тискал, но еще при Магницком этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставая, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней писем, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу по крайней мере университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать (*«similia similibus curantur»*), но получил в ответ, что Магницкий, волею божией, помер.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя, — сказал он себе, — стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано — сделано. Выбрал он ночь потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется. «Постой, — говорит, — я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по миру пушу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провалилась. Повис майор на воздухе; видит, что неминуемое дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся — кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодеяния могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодеяния срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодеяний на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодеяниям, каковы бы ни были их размеры, присвоится наименование «срамных».

По докладу о сем Осла, Лев собственноручно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

III. ТОПТЫГИН 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! — сказал он себе, прочитав резолюцию Льва. — Мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут... Полно, схать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» Но Осел ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях — молчок! И затем, на все его дальнейшие добуки и настояния, Осел отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

— Вот до какого мы времени дожили! — роптал Топтыгин 3-й. — Чин на тебя большой накладывают, а какими злодеяниями его подтвердить — не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: «Полно, ехать ли?» — и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих — очень скромно. Ни

официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя — и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет? добро бы Лев или Осел — это бы куда ни шло! — а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли — вот уж подлинно ис-то-ри-я!!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминая, а на сердце у него жутко: чувствует он, что сам Лев Истории боится... Как тут будешь лесную сволочь подтягивать — и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится — стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права́» завелись. Даже у белки, и у той нынче права! Дробину тебе в нос — вот какие твои права! У них — права, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое место! Они — друг друга поедом едят, а он — задрать никого не смеет! На что похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивья быстра соделал? узы ему кто разрешил?» — вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рывкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и неблагоприятный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок», — стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит

из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютomu, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды, в дружеской беседе, Осел говорил:

— Об каких это вы всё злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле — это: *laissez passer, laissez faire!*¹ Или, по-русски выражаясь: «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!» Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них... — слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вождеденные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

¹ позволять, не мешать (франц.).

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай проявится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать¹.

— Как это хорошо,— говорила вяленая вобла,— что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет! Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства — об этом, еще живучи на воле, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишками обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпиреях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышит, что пискари об конституциях болтают,— сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же и за всем тем не без страху жила, потому что не ровен час, вдруг... «Мудреное нынче время! — думала она. — Такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут, это, шарить, а ты около где-нибудь спрятаешься,— ан и около пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? — господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! — торжествовала она. — Когда угодно и кто угодно приходи! теперь у меня все доказательства налицо!»

Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних» мыслей и чувств — неизвестно, но что действительно на наших глазах много лишнего завелось — с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что, куда ни обернись,— везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он

¹ Я знаю, что в природе этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, прямиком пройти, а не прямик буреломом завалило, промоинами исковеркало — ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость уж сознает, а какое для начальства от того отягощение, — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех — все служит! А нынче придет он в час, уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время — так, около столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать: «Посмотрите, какой курьез!» — за другое возьмется: «Глядите! ведь это — отдай всё да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда в своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами, — везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!

Трудно, ах, как трудно среди этой массы привесков жить! приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил «около». Бесполезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел — много их, невиноватых-то этих! сегодня он не виноват, а завтра кто ж его знает? — да вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять — мимо! В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные партикулярные люди (те, которые сальных свечей не едят и стеклом не утираются) — и те стали втупик! И так как на ежа голым телом никому неохота садиться, то всякий и вопиет: «Господи! прониеси!»

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят? Не все же нахалом вперед лезут — иное что и полезное сыщется.

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако повторяю: и она, вместе с прочими, чувствовала, что или от привесков, или по поводу привесков — ей всячески мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило, когда она убедилась, что внутри у нее ничего,

кроме молока, не осталось, — только тогда она ободрилась и сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»

И точно: теперь она, даже против прежнего, сделалась солиднее и благонадежнее. Мысли у ней — резонные, чувства — никого не задевающие, совести — на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет — она оглянется, коли есть посторонние — сунет нищему в руку грошик; коли нет никого — кивнет головой: бог подаст! Встретится с кем-нибудь — непременно в разговор вступит; откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь — людей насмешишь, и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

— Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! — воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких.

— И всем скучно сначала, — стыдливо ответит воблушка. — Сначала — скучно, а потом — хорошо. Вот как поживешь на свете да пошарят около тебя вдоволь — тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: «Спасибо, что уму-разуму учила!»

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят, как сонные, ни к чему приступить не умеют, ничему не радуются, ничем не печалются. И вдруг в ушах раздается успокоительно-соблазнительный шепот: «Потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать...» Это она; это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка, правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы осталось — пропасть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет! Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось — ешь! спать вздумалось — спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив — только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя, — все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте! И нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери настежь. «Вперед без страха и сомненья!» — или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

— И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? — спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, неискалеченными остались.

— От рожденья бог меня разумом наградил, — скромно отвечает воблушка, — а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» — ведь это то самое, о чем древние римляне говорили: «*Respice finem!*»¹ Только более нам ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподленá, а другая — налганá. А главное, конца-краю не видать. Слушаешь или читаешь и все думаешь: «Ловко-то ловко, да что же дальше?» — а дальше опять клевета, опять яд... Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь — и тебя никто не тронет!» — ведь это целая поэма! Тускленька, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски, — вот тогда и выступает воблушка с своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: «Вон сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай — всего не разберешь!»

Смотри на эти каракули и, ежели есть охота — доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: и заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба уши не растут. И затем — живи.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. А впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применений.

Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком

¹ Будь предусмотрительным! (лат.)

она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что, по обстоятельствам, лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное,— твердила она,— чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем действительно сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.

Забралась вялая вобла в ряды «излюбленных» — и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: «Мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли к стопам!» Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: «Моя речь еще впереди». И действительно: раз повергли, в другой — повергли, в третий — опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: «Мало!», другой перекрикивает: «Много!», а третий прямо бунт объявляет: «Едем, братцы, прямо...» — так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорит, мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание». — «Как так? почему?» — «А потому, говорит, что так исстари заведено: коли спрашивают — повергай! а не спрашивают — сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму.

— Откуда у тебя такая ума палата взялась? — обступили ее со всех сторон. — Ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей,

ни лишней совести — ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

— Правильно! — согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: — Коли спрашивают — повергать! а не спрашивают — сидеть и получать присвоенное содержание...

Каковое правило соблюдается и донныне.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить — и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судьбе: «Проверь самого себя!» А ежели у кого совесть, вместе с прочей требухой, изнутри вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней — полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится и против каждого камешек припасен — тоже под номером. Остается только нелюбезную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью — полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частности — искалечь частицу: вперед наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог...

Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера неуставаючи ходила она по градам и весям и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!» И не то чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что. Разве что в горячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» — ну, да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал...

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: «Пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь...»

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они — коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить, извольте добиться, чтоб они усвоили себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы, в случае надобности, и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что

это задача мучительная. А между тем сколько, во имя ее, погубляется жизней, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок, мнимой), то это уже награда, которая считается достаточной, чтобы оправдать целые годы последующих отрав...

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучались, метались, вопрошали и, вместо ответа, видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло не хорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. «Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?» — ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радехоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает малопомалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не растут уши выше лба, не растут!»

Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умирительно, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, с провяленными молоками и выветрившимся мозгом, совершила такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели. Одно утешает их: что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей. Если б они не взывали к посредничеству ежовых рукавиц, если б не угрожали согнутием в бараний рог, — могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возрожденческую пропаганду? Не заклевали ли бы ее? не насмеялись ли бы над нею? И, наконец, не перспектива ли скорпионов и ран, ежеминутно ими, клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей?

Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно, — говорили они. — Мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, а на место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше отрезвление — вот вопрос. В этом смысле мирный характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, нежданно-негаданно, благодаря авторитету пословицы, — положим, благонамеренной и освященной вековым опытом, но

все-таки не более как пословицы, — является радикальное и повсеместное отрезвление! Полно, так ли это? искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представляет ли оно искусного компромисса или временного *modus vivendi*¹, допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веяний и наслоений, и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усвоили; потом он в трактиры проник, потом... Дамочки радовались и говорили: «Теперь у нас балы начнутся». Гостинодворцы развертывали материи и ожидали оживления промышленности.

Оставалось одно: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: «Надо дело делать», но какое — не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

— Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело», — возражают ей. — Дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заладила одно и ни пяди уступить не согласна! Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется — кто же его делать-то будет?

— Вы, Иван Иванович, будете дело делать?

— Где мне, Иван Никифорович! Моя изба с краю... вот разве вы...

— Что вы! что вы! да разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного — изба с краю, другой — не об двух головах, третий — чего-то не забыл... все глядят, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки — как плети...

«Уши выше лба не растут» — хорошо это сказано, сильно, а

¹ состояния (лат.).

дальше что? На стене каракули-то читать? — положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? — прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: «А дальше что?»

Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеко-ненавистники.

«Само по себе взятое, — говорили и писали они, — учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и на счет которых мы, с самого начала, предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во внимание. «*Caveant consules!*»¹ — повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: «Не зевай!»

Таким образом, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки, в конце концов, ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной — в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды.

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: «Годиков через сто я непременно все это тисну!»

¹ Консулы да будут бдительны! (лат.)

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городского, то непременно сравнивают его с орлом. «Подобно орлу, говорят, городской бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав,— простил».

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь в самом деле красиво! Выхватил... простил! простил?!» — вот что в особенности пленяло. «Кого простил? — мышь!! Что такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль: «С чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?»

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городского может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они, в то же время, сильны, дальнзорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что, при появлении их, все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики

живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Ворóны бы сплетни ему переносили, попугаи — кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы — величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и всё.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворах полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы в особенности считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: «Пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!»

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким по́лом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц

найти не мог. Поэтому и он надумал: «Пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!»

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянец на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слышал: что эта птица — малая, не стоит из-за ее клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.

— Какой такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было», — а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову, — и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется да и со стороны посмотреть не зазорно. Учение — свет, а неучение — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали — значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведро с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают», коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи — новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог,

под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс, да кстати уж и вороньятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вождеденный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, а орел подтвердил: «Имянно!»

Наконец снегирь надоел.

— Следующий! — цыркнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». — «Было у солнца, — говорил дятел, — трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолжить, как уже орел в нетерпенье кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш!

— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он наконец. — Позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты

взял да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших» Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год, вместо «Орел», подписывался «Арер», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще бо́льшая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: «Бб... зз... хх...», а сокол, тоже ежеминутно, внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «Вв... зз... рррр...»

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орел.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача,— сказал он,— награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам,— сколько на твою долю достанется?

— Всё,— отвечал орел.

— Ты говори дело,— возразил сокол.— Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «Не всё». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества, с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего «золотого века» не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобочка воровала без прорыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченную.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем...

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как-то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужеского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помер.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянсы-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали играль-ных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орел с орлицею и при них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накапливалось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «Новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились: «А что, бишь, на этот счет в азбуке-копейке сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок»: то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе,— об этом он умолчал.

КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

— Вот уж увидишь!

Карась — рыба смиренная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись,— не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под

водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирает карась.

— Не верю,— говорил он,— чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспевание, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дождись! — иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и беспокойно. Это — рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у ней на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития, она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась.— И не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: «На то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех нис и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

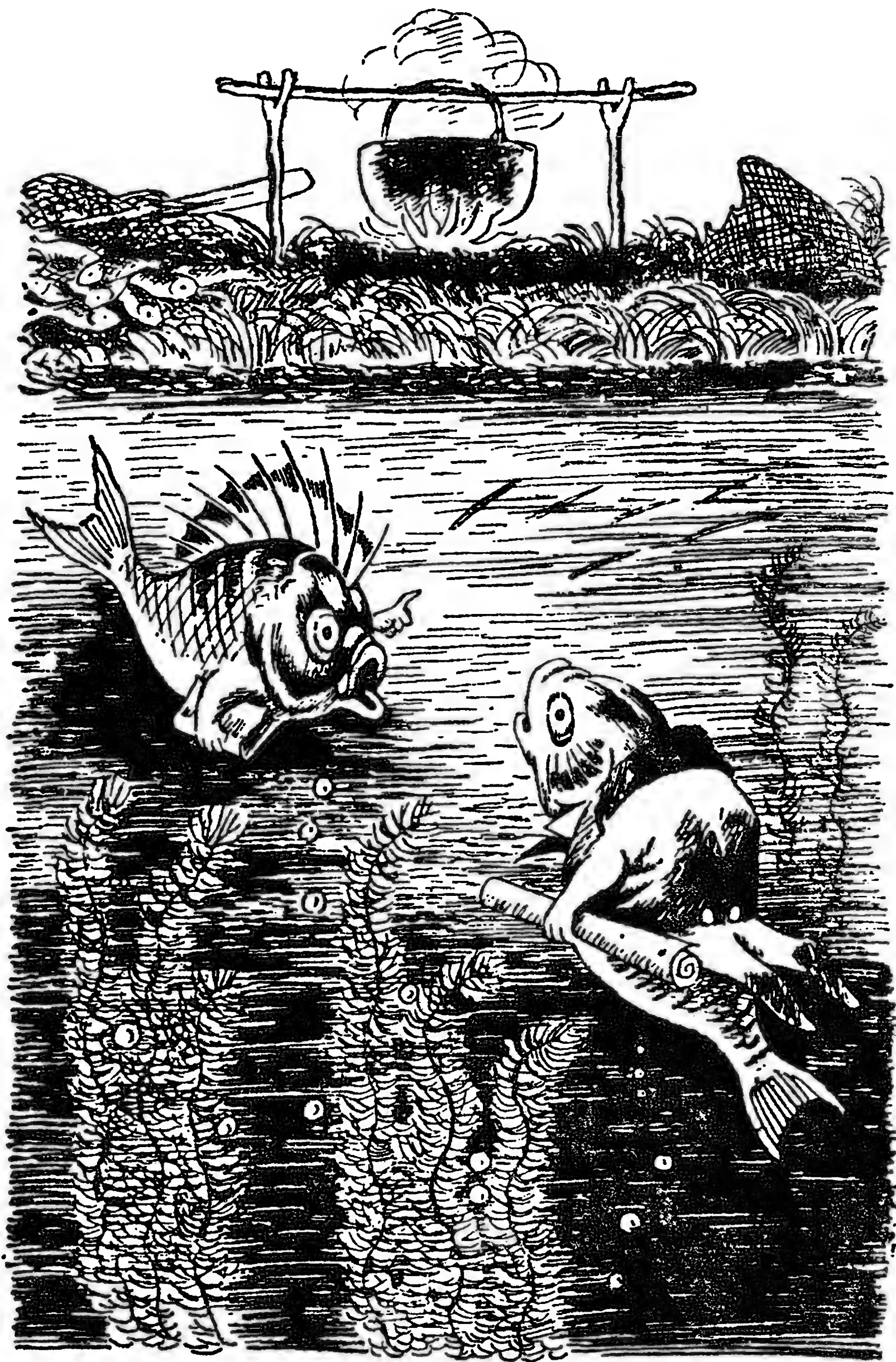
— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но, спустя малое время, собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет,— разглагольствовал карась.— Зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! разве это ответ?



— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что́ я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены, — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем; а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ошетиживался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, — объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?...» И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготавливаться — только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренно возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились... — загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? — думалось ему. — Того гляди, проврется, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася. — Не для чего пасть-то разевать; можно и шепотком, что нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо, — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, наостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимая, сболтнет! А об головлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю, — ну, какую ты, не ровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется, — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: «Вот кабы все рыбы между собой согласились...» А что, если бы ракушки между собой согласились, — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это... — пробормотал он смущенно.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубину тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были, — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с таким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтоб он серьезную пакость сделал, — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: может ли такое злодейство случиться! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что

с теми карасями сталось: йно их съели, йно в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он. — Чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась. — Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: «Знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?»

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот прокалю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас, с малых лет, в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Все-таки...

— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: «Не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!»

— А он тебя, за грубость, на сковороду либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопы чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился, где погуще, и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пау-

ки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси,— отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

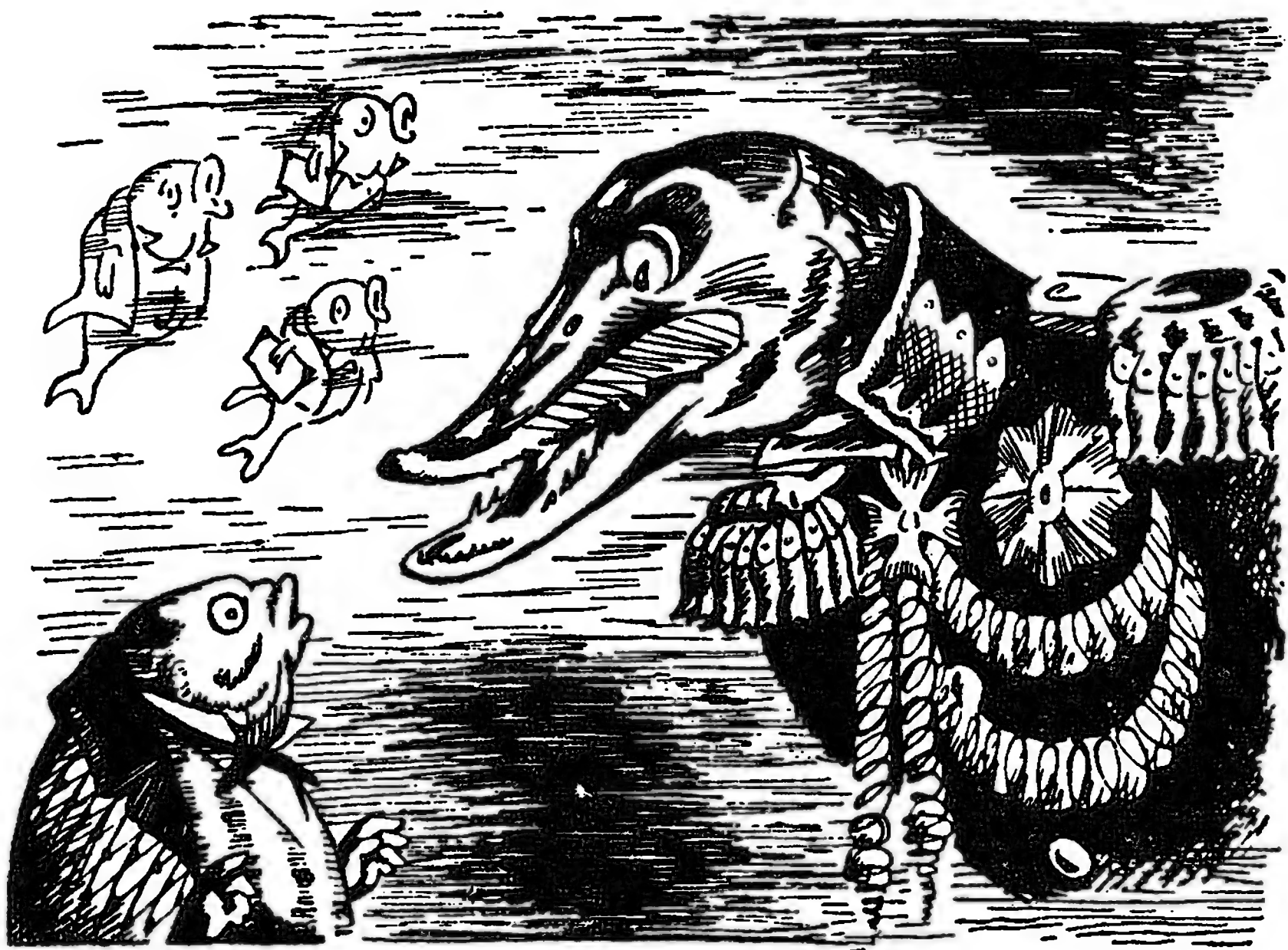
Карась, однако ж, не обробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слышала. А щука возьмет да и скажет: «За то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этою заводью; будь ты над нею начальник!»

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплеток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я,— молвила щука,— что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастье я больше думаю,— скромно, но с достоинством ответил карась.— Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.



— Гм... и ты думаешь, что такому делу стать возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

— Так что же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то... съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по мо-

им скромным способностям и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него во всяком случае не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: «Бунтовские, мол, речи карась говорит!» Только думаю: «Дай лучше сама послушаю...» Ан вот ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего,— пробормотал он в смущении,— это я по простоте...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты — карась как карась,— только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головы и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и при том с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник,— начала опять первая щу-

ка,— да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, зашелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что́ такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке — узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

СОСЕДИ

В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семенычем», а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый — даже отличный. Как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, говорит, с моей стороны лепта. Другой, говорит, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно — это уж свинство. А я еще ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но, взамен того, производил ценности. И тоже говорил: «Это с моей стороны лепта».

Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым — всем досужно, сядут на лавочку перед хоромы Ивана Богатого и начнут калякать.

— У тебя завтра с чем щи? — спросит Иван Богатый.

— С пúстом, — ответит Иван Бедный.

— А у меня с убоиной.

Зевнет Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.

— Чудно́ на свете деется, — молвит он, — который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?

— И я давно думаю: «С чего бы это?» — да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привез дров — смотришь, навоз возить или с сохой выезжать пора пришла. Так, между делом, мысли-то и уходят.



— Надо бы, однако, нам это дело рассудить.

— И я говорю: надо бы.

Зевнет и Иван Бедный с своей стороны, перекрестит рот, пойдет спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется — смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил: убоины, ради праздника, во щи прислал.

В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся.

— Веришь ли, — молвит Иван Богатый, — и наяву и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен!

— И на этом спасибо, — ответит Иван Бедный.

— Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты... не выйди-ка ты вовремя с сохой — пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?

— Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду.

— Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю, — ни боже мой! Я только об одном и тужу: «Господи! как бы так сделать, чтобы Ивану Бедному хорошо было?! Чтобы и я — свою порцию, и он — свою порцию».

— И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это действи-

тельно, что кабы не добродетель ваша — сидеть бы мне праздник на тюре на одной...

— Чтó ты! чтó ты! разве я об том! Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался: «Пойду, мол, и отдам пол-имения нищим!» И отдавал. И что же! Сегодня я отдал пол-имения, а назавтра проснусь — у меня, вместо убылой-то половины, целых три четверти опять объявилось.

— Значит, с процентом...

— Ничего, братец, не поделаешь. Я — от денег, а деньги — ко мне. Я бедному пригоршню, а мне, вместо одной-то, неведомо откуда две. Вот ведь чудо какое!

Наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый все-таки думу думает: «Чтó бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щи с убоиной были?» Думает-думает да и выдумает.

— Слушай-ка, миляга! — скажет. — Теперь уж недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя, по силе возможности, награжу, — словно бы ты и взаправду работал.

И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработал».

Долго ли, коротко ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду невтерпеж ему стало. «Пойду, говорит, к самому Набольшему, паду перед ним и скажу: «Ты у нас око царево! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну вёрсту поверстать. Чтобы с него рекрут — и с меня рекрут, с него подвода — и с меня подвода, с его десятины грош — и с моей десятины грош. А души чтобы и его и моя от акциза одинаково свободны были!»

И как сказал, так и сделал. Пришел к Набольшему, пал перед ним и объяснил свое горе. И Набольший за это Ивана Богатого похвалил. Сказал ему: «Исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивашку Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы подданные в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят!» Сказал это Набольший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы, в виде опыта, обоим Иванам суд равный был и дани равные, а того бы, как прежде было: один тяготы несет, а другой песенки поет — впредь чтобы не было.

Воротился Иван Богатый в свое село, земли под собою от радости не слышит.

— Вот, друг сердешный, — говорит он Ивану Бедному, — своротил я, по милости начальнической, с души моей камень тяжелый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, никакой



вольготы не будет. С тебя рекрут — и с меня рекрут, с тебя подвода — и с меня подвода, с твоей десятины грош — и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки во щак ежедёнъ убойна будет!

Сказал это Иван Богатый, а сам, в надежде славы и добра, уехал на теплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге.

Был в Вестфалии — ел вестфальскую ветчину; был в Страсбурге — ел страсбургские пироги; в Бордо был — пил бордоское вино; наконец приехал в Париж — все вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насилу ноги унес. И все время об Иване Бедном думал: «То-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щеки уписывает!»

А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник, а завтра, коли бог вёдрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жнет, и боронует, и сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли — и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и все-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех пор, как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.

— Незадача нам,— говорит бедняга жене,— вот и сравнивали меня, в виде опыта, в тягостях с Иваном Богатым, а мы всё при прежнем интересе находимся. Живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись.

Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабаке прибыли свои таскает. «Неужели он так закоренел? неужели он неисправим?» — восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мот, не расточитель, а хозяин радетельный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь гнедая покалеченная — 1; корова бурая, с подпалиной — 1; овца — 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки — и те прислонены к забору стоят, хотя, по летнему времени, надобности в них нет и, стало быть, можно было бы, без ущерба для хозяйства, их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу — и там все налицо, только с крыши местами солома повыдергана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов не достало, так из прелой соломы резку для скота готовили.

Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной, задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить все свое право на жизнь, но, по какому-то горькому недоразумению, осуществлял его лишь в самой недостаточной степени.



— Господи! да с чего ж это? — тужил Иван Богатый. — Вот и поровняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и все-таки пользы для тебя не предвидится — с чего бы?

— Я и сам думаю: «С чего бы?» — уныло откликнулся Иван Бедный.

Стал Иван Богатый умом раскидывать и, разумеется, нашел причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество — равнодушное; частные люди — всякий об себе промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сделано. Собрал Иван Семеныч Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общественного и частного почина... Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями метал; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспевания и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя заранее обрекают на постепенное вымирание и конечную гибель. Словом сказать, все, что в Азбуке-копейке вычитал, все так и выложил пред слушателями.

Результат превзошел все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот темный люд. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, называли героем. И в заключение единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество Доброхотной копейки.

В тот же день, по числу приписанных к селу душ, в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал неимущим сто экземпляров Азбуки-копейки, сказав: «Читайте, други! тут все есть, что для вас нужно!»

Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям самопомощи и содействию Азбуки-копейки, несомненно, должны были принести плод сторицею.

Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге — страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он, по окончании срока, воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.

Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый;

на столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна, по случаю праздника, подлила, для запаха, ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришел чужак и не потребовал сиротской доли.

— С чего бы это? — с горечью, почти с безнадежностью, воскликнул Иван Богатый.

— И я говорю: «С чего бы это?» — по привычке отозвался Иван Бедный.

Опять начались предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого; но как ни всесторонне рассматривали собеседники удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но, рассудив, убедился, что есть пирог с начинкою — вовсе не такая трудная наука, чтоб для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же абзуга такие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе зарок — никогда ни до чего не докапываться. Наконец решились на последнее средство: обратиться за разъяснением к местному мудрецу и филозофу Ивану Простофилю.

Простофиля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который, по случаю убожества, ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп Семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бобах развести и чудеса в решете показать. Посулит Простофиля красного петуха — глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо — глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись, а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.

И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос: «С чего бы?» — Простофиля тотчас же, нимало не задумываясь, ответил:

— Оттого, что в плантú так значится.

Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой. Но Богатый Иван решительно недоумевал.

— Плант такой есть, — пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством, — и в оном плантú значится: живет Иван Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богатство-то и течет все мимо да скрозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стёка, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные,

частоколы кругом выведены крепкие. Притекут к твоему жильству ручки с богатством — тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера пол-имения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты — от денег, а деньги — к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь, везде богатство лежит. Вот он каков, этот плант. И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значится.

ЗДРАВОМЫСЛЕННЫЙ ЗАЯЦ

Хоть и обыкновенный это был заяц, а преумный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору. Притаится под кустом, чтоб не видать его было, и сам с собой разговаривает.

— Всякому, говорит, зверю свое житье предоставлено. Волку — волчье, льву — львиное, зайцу — заячье. Доволен ты или. Недоволен своим житьем, никто тебя не спрашивает: живи, только и всего. Нашего брата, зайца, например, все едят — кажется, имели бы мы основание на сие претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы назваться правильною. Во-первых, кто ест, тот знает, зачем и почему ест; а во-вторых, если бы мы и правильно претендовали, от этого нас есть не перестанут. Сверх препорции все равно не будут есть, а сколько надо — непременно съедят. Статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые...

На этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в беспамятство. Но выпится и опять примется здраво рассуждать:

— Едят нас, едят, а мы, зайцы, что год, то больше плодимся. Стало быть, и нам пальца в рот не клади. И летом, и зимой, посмотри на поляну — то и дело, что зайцы вдоль и поперек сигают. Заберемся мы в капустники или в овсы, или около молодых яблонь пристроимся, — пожалуй, и от нашего брата солоно мужичку придется. Да, и за нами, за зайцами, глаз да глаз нужен. Недаром статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые...

Новый сон, новые пробуждения, новые здравые мысли. Без конца заяц умную свою канитель разводил; и так прикинет, и этак смекнет — и все у него хорошо выходило. И что всего дороже — ни карьеры он при этом в виду не имел, ни перед начальством оригинальностью взглядов блеснуть не рассчитывал (он знал, что начальство, не выслушавши его, съест), а просто-напросто сам для себя любил солидно, по-заячьи, обо всем рассудить. Дескать,

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов...

Вот, мол, у нас как!

Сидел он однажды таким манером под кустиком, да и вздумал перед зайчихой своей здоровыми мыслями щегольнуть. Встал на задние ножки, ушки на макушку взбодрил, передними лапками штуки-фигуры выделявает, а языком, слово за словом, точно горох, так и сыплет.

— Нет, говорит, мы, зайцы, даже очень хорошо прожить можем. Мы и свадьбы справляем, и хороводы водим, и пиво в престольные праздники варим. Расставим верст на десять сторожей, да и горланим. А волк услышит, да и прибежит: «Кто песни пел?..» Ну, тут, натурально, кто куда поспел! Успел улепетнуть — в другом месте пиво вари; не успел — съест тебя волк, как пить даст! И ничего ты с этим не поделаешь. Зайчиха! правду ли я говорю?

— Коли не врешь, так правду говоришь, — ответила зайчиха, которая уже за десятым мужем за этим зайцем была, и все прежние девятéro у нее на глазах напрасною смертью погибли.

— Подлый народ эти волки — это правду надо сказать. Все у них только разбой на уме! — продолжал заяц. — Сколько раз я и говорил, и в газетах писал: «Господа волки! вместо того, чтоб зайца сразу резать, вы бы только шкурку с него содрали — он бы, спустя время, другую вам предоставил! Заяц, хошь он и плодущ, однако, ежели сегодня целый косяк вырезать, да завтра другой косяк — глядь, ан на базаре-то, вместо двугривенного, заяц уж в полтину вскочил! А кабы вы чередом пришли: «Господа, мол, зайцы! не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить?» — «С удовольствием, господа волки! Эй, староста! гони очередных!» И шло бы у нас все по закону, как следует. И волки, и зайцы — все бы в надежде были. И мы бы, и вы бы, и с одной стороны, и с другой стороны... ах, господа, господа!»

Говорил-говорил заяц и чуть было совсем не зарапортовался, как вдруг услышал, что неподалёчку, в траве, что-то шуршит. Смотрит, ан зайчиха-то его давно стречка дала, а лиса-кляузница легла на брюхо, да и ползет на него, словно поиграть с зайньюкой собралась.

— Вон ты какой, заяц, умный! — первая заговорила лиса, — так ты сладко растабарываешь, что век бы я тебя слушала, и все бы слушать хотелось!

Умен был заяц, а спервоначалу и он обомлел. Стоит на задних лапках, как вкопанный, не то в сторону глазами косит, куда бы стречка дать, не то обдумывает: «Вот оно, когда пришлось с здоровой точки зрения на свое положение взглянуть...»

— Голодна, тетенька? — спросил он, стараясь как можно меньше робеть.

— И! что ты! господь с тобой! да я пресытехонька! разве

потом что будет, а теперь — и боже меня сохрани! Здравствуй, зайныка, будь здоров!

Села лиса по-собачьему и зайныку присесть пригласила; и он ножки под себя поджал. Поджал, сердечный, и все сам с собой рассуждает: «Как, мол, я ожидал, так, по-моему, и вышло. Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье. Ну-тка, вывози теперь, заячье житье!»

А лисица точно читает в его сокровенных мыслях, сидит да, знай, зайныку похваливает.

— И откуда ты к нам, такой филозоф, пожаловал?

— Недавно я, тетенька, из-за тридевять земель, как угорелый, сюда прикатил. Жил я в своем месте, можно сказать, даже очень хорошо. И семейство у меня было, и обзаведеньице, и все такое. Целую зиму мы у помещика на скотном дворе в омете припеваючи прожили: днем спим, а ночью кленков да яблонек погрызем. Уж дело к весне шло, в лес бы собираться на дачу пора, ан к нам в омет волк пожаловал. «Какие такие звери? по какому виду? с чьего разрешения?..» Я-то, признаться, убег, а зайчиха с зайчатами...

— Слышала я об этом. Волк-то мне кумом приходится, так сказывал. «Намеднись, говорит, я целое заячье гнездо разорил, а заяц убег, так как бы нам, кума, его разыскать?» Ан ты вот он — он. Смотри, жену-то, чай, жалко было?

— Уж и не помню. Вижу, что надо бежать, — и побежал. Прибежал, смотрю — зайчиха-вдова сидит: «Давай, мол, вместе жить!» И стали жить. Жили мы с ней, нельзя похаять, исправно, а теперь вот она убежала, а я остался.

— Ах ты, горюн, горюн! Ну, дай срок, мы ее изы́мем!

Лисица зевнула, легонько куснула зайца за ляжку (он, однако, сделал вид, что не заметил), повалилась на бок, откинула голову и зажмурилась.

— Ишь ведь солнце-то жарит, — лениво пробормотала она, — словно дело делает! Сём, я вздремну, а ты тем временем сядь поближе да покалякай.

Так и сделали. Лиса задремала, а заяц с таким расчетом сел, чтоб лисе его во всякое время мордой достать было можно, и начал сказки сказывать.

— Я, тетенька, не привередлив, — говорил он, — я всячески жить согласен. И трех лет еще нет, как я на свете живу, а уж чуть не половину России обегал. Только что в одном месте оснуёшься — глядь, либо волк, либо сова, либо охотнички с облавой на тебя собрались. Беги сломя голову, устраивайся по-новому за тридевять земель. Но я на это не ропщу, потому понимаю, что такова есть заячья жизнь. А ежели иной раз и не понимаю, то и не понимаячи все-таки бегу. Все одно как мужики в наших местах. Он спать собрался, а под окном у него — тук-тук! «Ступай, дядя

Михей, с подводой!» На дворе метель, стыть, лошаденка у него чуть дышит, а он навалит на подводу солдат, да и прет двадцать верст около саней пешком. Через сутки, гляди, опять домой вернулся, ребятам пряника привез, жене — платок на голову, всем вообще — слезы. Спроси его: «Что сие означает?» — он тебе ответит: «Означает сие мужицкую жизнь». Так-то и мы, зайцы. Жить — живем, а рук на себя не накладываем. Всегда мы готовы... Так ли я, тетенька, говорю?

Лиса, вместо ответа, тихо лайнула, точно во сне; заяц искоса взглянул на нее: «Не спит ли, мол, тетенька?» Не было ли у него при этом на уме, в случае чего, стрелка дать? — Наверное сказать не могу, но очень возможно, что и такого рода политика в программу заячьей жизни входит. Однако хотя лиса не только глаза зажмурила, но легла на спину и даже ноги, подлая, распялила, но заяц чутьем догадался, что она это комедии перед ним разыгрывает.

— Расскажу я тебе, — продолжал он, — как у меня дядя у одного солдата в услужении жил. Поймал его солдат еще махонького и всему солдатскому обиходу выучил. Из ружья ли выпалить, артикул ли выкинуть, смаршировать ли, барабан ли зорю отбить — на все дядя за первый сорт был. Ездят, бывало, вдвоем по базарам, представленья показывают, а им — кто яйцо, кто копеечку, кто хлеба кусок, Христа ради, подаст. Так вот этот самый солдат житие свое дяде рассказывал. «Жил я, говорит, в дому у родителей, и послал меня однажды батюшка сани на зиму изладить. Излаживаю я, песенки попеваю, трубочку покуриваю — вдруг десятский на двор: «Ступай, Семен, в волостную, тебя в солдаты требуют». Я, в чем был, в том и ушел; хорошо, что трубку-то в штаны спрятать успел. Ушел да двадцать лет после того и пропонтировал¹. А через двадцать лет воротился в свое место — ни кола, ни двора, чисто!..» Так вот оно, — прибавил рассудительно заяц, — мужичья-то жизнь как оборачивается! Сейчас он — мужик, а сейчас — солдат, и то и другое житьем называется. Так-то вот и с нами, зайцами...

— Неужто ж и вас в солдаты отдают? — спросила лиса, точно сейчас проснулась.

— Нет, нас едят, — ответил заяц как можно веселее.

— И я тоже думаю, потому что какие же вы солдаты! хуже старинной гарнизы, которую славный генерал Бибииков «негодницей» звал. И дядю-то твоего, поди, солдат под конец съел?

— Нет, солдат-то умер, а дядя в ту пору бежал. Пришел домой, а заячьей работы работать не может — отвык. И тетка зада-

¹ Заяц, очевидно, говорит про очень старинные времена, когда солдатская служба продолжалась не меньше 20 лет и когда рекрутов, из опасения, чтобы они не бежали в дороге, забивали в колодки. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

ром кормить его не согласна. Вот он однажды и надумал: «Пойду в село на базар, буду комедии представлять». Да только что зачал «кавалерийскую рысь» на барабане отхватывать — его собаки и разорвали!

— И поделом: зачем публику беспокоил. Впрочем, ведь дядя-то твой, чай, и зараньше знал, что когда-нибудь да съедят его. Не собаки, так волк, не волк, так лисица. Резолюция-то вам всем одна. Ну, а покуда что, скажи мне: лисицы-то каковы в вашей стороне? Лихи, чай?

— В нашей стороне лисицы, нужно правду сказать, даже очень лихи. Я-то ни с одной близко не встречался, а видел, как однажды лисицу, у меня в глазах, охотничек заполевал. И, признаться...

Заяц хотел сказать: «обрадовался», но спохватился и обробел; однако лиса отгадала его мысль.

— Вот ведь ты кровопивец какой! — укорила она его и так больно укусила ему бок, что из раны полилась кровь.

— Ах! — взвизгнул заяц от боли, но в одну минуту сдержал себя и молодецки поправился, — это я, ваше высокое степенство, о тамошних лисах говорю, а здешние лисицы, сказывают, добрые.

— Ой ли?

— Верно говорю. В прошлом году у нас в лесу зайчик-сирота остался, так одна лисица его с своими детьми, слышь, воспитала.

— Вырастила, значит, и выпустила? Где ж он теперь, сиротка-то ваш?

— Кто его знает, где он теперь... Пропал будто. Поворовывать, говорят, начал, скружился, а наконец, и лисицу молоденькую соблазнил. За это будто бы его старуха-лисица и съела.

— Я его съела, я — та самая лисица и есть, о которой ты слышал. Только не за то я его съела, что он скружился и в разврат впал, а за то, что пора его приспела.

Лисица на минуту задумалась и щелкнула зубами, поймав блоху. Потом, не торопясь, встала, встряхнулась и совершенно добродушно спросила зайца:

— А теперь, как ты полагаешь, кого я есть буду?

Умен был заяц, а не угадал. Или, лучше сказать, у него тогда же в уме мелькнуло: «Вот оно, заячье-то житье... начинается!» — но ему смерть не хотелось даже самому себе признаться в этом.

— Не знаю, — ответил он.

Однако и по лицу, и по голосу его так было явно, что он лжет, что лиса не на шутку рассердилась.

— Вот ты какой лгун! — сказала она. — Мне про тебя и невесть чего наговорили: и филозо́ф-то ты, и сердцеведец-то, а вы-

ходит, что ты самый обыкновенный, плохой зайчонко! Тебя буду есть! тебя, сударь, тебя!

Лиса отпрянула назад и сделала вид, что вот-вот сейчас бросится на зайца и съест. Но вслед за тем она села и, как ни в чем не бывало, начала задней ногой за ухом чесать.

— А может быть, ты и помилуешь? — вполголоса сделал робкое предположение заяц.

— Час от часу не легче! — еще пуще рассердилась лиса. — Где ты это слышал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали? Разве для того мы с тобой, фофан ты этакой, под одним небом живем, чтобы в помилованья играть... а?

— Ну, тетенька, примеры-то эти бывали! — настаивал заяц, все еще хорохорясь. Но тут же, впрочем, упал духом и затосковал.

Вспомнилось ему, как он из конца в конец бежал, словно мужик-раскольник, «вышнего града взыскуя»; как он по целым суткам в дупле, не евши, дрожал; как однажды, от лихого зверя спасаясь, он в подполицу к мужику расскался, да благо в ту пору великий пост был, мужик-от его и выпустил. Вспомнил про своих зайчих-любешек, как он вместе с ними зайчат зоблил и как ни с одной порядком даже надышаться не успел. И, вспоминая, то и дело втихомолку твердил:

— Ах, кабы пожить! Ах, кабы хоть чуточку еще пожить!

А лиса, тем временем, и взаправду приятный сюрприз зайцу приготовила.

— Слушай, подлый зайчишко, — сказала она, — я ведь думала, что ты в самом деле философ, а тебя между тем, вишь, как от одной мысли о смерти коробит. Так вот я какую для тебя вольтоту придумала. Отойду я на четыре сажени вперед, сяду к тебе задом и не буду на тебя, на гаденка этакого, целых пять минут смотреть. А ты в это время старайся мимо меня так пробежать, чтобы я тебя не поймала. Успеешь улизнуть — твоя взяла; не успеешь — сейчас тебе резолюция готова.

— Ах, тетенька, где уже мне!

— Глупый! ежели и не улизнешь, так все-таки время проведешь. Делом займешься, потрафлять будешь — ан тоски-то и убавится. Все равно как солдат на войне: потрафляет да потрафляет — смотришь, ан и пропал!

Заяц подумал-подумал и должен был согласиться, что лиса хорошо придумала. Между делом быть съеденным все-таки вольтотнее, нежели в томительно-праздном ожидании. Настоящая-то заячья смерть именно такова и есть, чтобы на всем скаку: бежишь во весь опор, ан тут тебе и капут.

«Ничего ты не понимаешь, что с тобой делается, а тебя вдруг пополам разорвали! — соображал заяц и машинально прибавил, — а может быть...»

— Ну, эти фантазии-то ты оставь! — предупредила его лиса,

угадав неясную надежду, мелькнувшую у него в голове.— Ты лучше уж без фантазий... раз, два, три! господи благослови, начинай!

Сказавши это, лиса отошла на четыре сажени вперед, предварительно посадивши зайца задом к частому-частому кустарнику, чтобы никак он не мог назад убежать, а бежал бы не иначе, как мимо нее.

Села лисица и занялась своим делом, словно и не видит зайца. Но заяц нимало не сомневался, что если б она и еще на четыре сажени вперед отошла, то и тогда ни одно самомалейшее его движение не ускользнуло бы от нее. Несколько раз он вскакивал на ноги и уши на спину складывал; несколько раз он весь собирался в комок, намереваясь сделать какой-то диковинный скачок, благодаря которому он сразу очутился бы вне преследования; но уверенность, что лиса, и не видя, все видит, приводила его в оцепенение. Тем не менее лиса все-таки была, по-своему, права: у зайца действительно нашлось заячье дело, которое в значительной мере агонию его смягчило.

Наконец урочные пять минут истекли, застав зайца неподвижным на прежнем месте и всецело погруженным в созерцание своего заячьего дела.

— Ну, теперь давай, заяц, играть! — предложила лисица.

Начали они играть. С четверть часа лисица прыгала вокруг зайца: то укусит его и совсем уж сберется горло перервать, то прыгнет в сторону и задумается: «Не простить ли, мол?» Но даже и это было для зайца своего рода дело, потому что ежели он и не оборонялся вправду, то все-таки лапками закрывался, верезжал...

Но через четверть часа все было кончено. Вместо зайца остались только клочки шкуры да здравомысленные его слова: «Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье».

ЛИБЕРАЛ

В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во все горло гаркает: «Ах, господа, господа! что вы делаете! ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а, напротив, все говорили: «Пускай предупреждает — нам же лучше!»

— Три фактора, — говорил он, — должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и самостоятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели обще-

ство сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Если общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе: «Это оттого, что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастье, и злосчастье приходят без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущения, или какая-нибудь фантасмагория». Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и все живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал наслаждаться под сению излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел, и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и простачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал наступя на горло, а всегда только по возможности.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал примирился с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? обеспеченность? самодеятельность? Все это отвлеченные термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти, в своей общности, могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению не-

дугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение: «по возможности», которое, из двух приходящих в соприкосновение сторон, одну заставляет в известной степени отказаться от замкнутости, а другую — в значительной степени сократить свои требования.

Все это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, препоясаясь на брань с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

— Свобода — ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? — спросил он их.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально, — ответили сведущие люди. — Ведь это только клеветают на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности мы только об ней и печалимся... Но, разумеется, в пределах...

— Гм... «в пределах»... понимаю! А что вы скажете насчет обеспеченности?

— И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.

— А как вы находите мой идеал общественной самодеятельности?

— Его только и недоставало. Но, разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусти-ка савраса без узды — он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздою — святое дело! Идет саврас и оглядывается: а ну-тко я тебя, саврас, кнутом шарахну... вот так!

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет; а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

— Действуй! — поощряли они его. — Тут обойди, здесь ступай, а там и вовсе не касайся. И будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен!

— Вижу-то вижу, — соглашался либерал, — но только как мне стыдно свои идеалы ломать! так стыдно! ах, как стыдно!

— Ну, и постыдись маленько: стыд глаза не выест! зато, по возможности, все-таки затею свою выполнишь!

Однако по мере того, как либеральная затея по возможности осуществлялась, сведущие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны — недостаточно созрело, к восприятию не готово.

— Невмоготу нам твои идеалы! — говорили либералу сведущие люди. — Не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что действительно в предприятии его существует какой-то фаталистический огрех: не лезет в штаны, да и баста.

— Ах, как это печально! — роптал он на судьбу.

— Чудак! — утешали его сведущие люди. — Есть от чего плакать! Тебе что нужно? — будущее за твоими идеалами обеспечить? — так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради Христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовольствуйся тем, что отвоюешь «хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да богу помолясь — смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище! В капище-то, с самой постройки его, никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул... И за то бога благодари.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать, и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил, и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно прежде, нежели даст плод сторицею! Так же и тут, в погоне за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» — сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» — сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-нибудь» — и вся недолга. На камень оно, что ли, попало или в навозе сопре-ло — поди, разбирай!

— Что за причина такая? — бормотал либерал в великом смущении.

— Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко, — отвечали сведущие люди. — А народ у нас между тем слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложку утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

— Помилуйте! что уж теперь о чистоте говорить! С каким я запасом-то в путь вышел, а кончил тем, что весь его по дороге растерял. Сперва «по возможности» действовал, потом на «хоть что-нибудь» съехал — неужто можно и еще дальше под гору идти?

— Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

— Как так?

— Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы

говорим: «Прекрасно; только ежели ты хочешь, чтобы мы восчувствовали, то действуй применительно».

— Ну?

— Значит, идеалами-то не превозносишь, а по нашему масштабу их сократи да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим... Мы, брат, тоже травленные волки, прожектеров-то видели! Намеднись генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: «Господа, говорит, мой идеал — кутузка! пожалуйте!» Мы сдуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны, стали его понуждать: «Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори... действуй!»

И стал он действовать. И все применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть, а сведущий человек сейчас его за рукав: «Куда, либерал, глаза скосил? гляди прямо!»

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспейния «применительно к подлости». Идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась, — а либерал все-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец молодцом!» А сведущие люди слушали эти его похвальбы и поддакивали: «Именно так!»

И вот, шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал вверх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе ни облака и солнышко, как угорелое, на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помой из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

— Что за чудо! — говорит приятелю либерал. — Дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!

— А видишь, вон за углом некоторый человек притаился, — ответил приятель, — это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он, «применительно к подлости», из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло.

БАРАН-НЕПОМНЯЩИЙ

Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека; их настоящие родоначальники неизвестны.

Брем

Были ли когда-нибудь домашние бараны «вольными» — история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем, через все века, баран проходит распространенным по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собою ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других — для сала, третьих — ради теплых овчин, четвертых — ради обильной и мягкой волны.

Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет, по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месячки, предлагаемых ему в пищу.

Однако грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, не одну месячку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал.

Стал он припоминать, что такое случилось: но, хоть убей, ничего вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали и осталось в нем, но никакого определенного очертания, ни одного живого образа...

— Овца! а овца! что́ я такое во сне видел? — спросил он лежащую рядом овцу, которая, яко воистину овца, отроду снов не видала.

— Спи, выдумщик! — сердито отвечала овца. — Не для того тебя из-за моря привезли, чтоб сны видеть да модника из себя представлять!

Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Созонтыч Растаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтоб от него поколение умных баранов пошло, а для того, чтоб он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец.

И в первое время по приезде его на место баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам нарадоваться на него не мог и соседей любоваться водил: «Смотрите!»

И вдруг этот сон... Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дела блесет:

— Что такое я во сне видел? растолкуйте мне, что такое я видел?

Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и филозофом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели «моветон».

С тех пор как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шлёнской породы, баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал, но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из кухни на блюде, с триумфом, в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава — и больше ничего знать не хотел. И что же! его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднюлюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеет, а они, овцы, между тем ходят яловы!

— Совсем нас этот аглецкой олух не совершенствует! — жаловались овцы овчару Никите. — Как бы нам за него, за фофана, перед Иваном Созонтычем в ответе не быть?

— Успокойтесь, милые! — обнадежил их Никита. — Завтра мы его выстрижем, а потом крапивой высечем — шелковый будет!

Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел.

С тех пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема уже сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.

И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и

лицо у него словно не баранье делается, а серьезное, строгое, как у старого, благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдет мимо, непременно скажет: «Не на скотном дворе этому барану место — ему бы бурмистром следовало быть!»

Тем не менее, сколько он ни подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными.

Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-то, сдуру, искал, а чего именно — сам себе объяснить не мог... Баран, да еще меланхолик, — что, кроме ножа, может ожидать его в будущем?

Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное, подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу — и не может дать ответа на вопрос, что такое свет, простор, свобода...

По мере учащения снов волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении; овчар Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому.

— Коли ты в бараньем сословии уродился, — говорил он солидно, — в ём, значит, и живи!

Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чужалось какое-то совсем другое «сословие».

Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею.

Тем не менее, с течением времени, тревоги его начали утихать,

и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.

Баран — очевидно с предвзятым намерением — с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность.

В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел и наконец сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели о нем. Все знали, что он честный и добрый баран и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастье, вовсе баранам не свойственное, но в то же время, — как многие инстинктивно догадывались, — делающее ему лично великую честь.

Сам Иван Созонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле — нож, но Растаковский упорно отклонял это предложение.

— Плакали мои денежки, — говорил он, — но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет!

И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.

В бараньем загоне все спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко, посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее блеяние вырвалось из его груди...

Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пес тоже проснулся и с лаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох: он весь ушел в созерцание.

Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов...

Еще минута — и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю.

Иван Созонтыч был очень смертью его огорчен.

— И что́ за причина такая? — сетовал он вслух. — Все был баран как баран, и вдруг словно его осéтило... Никита! ты пятьдесят лет в овчарах состоишь, стало быть, должен дурью эту породу знать: скажи, отчего над ним такая беда стряслась?

— Стало быть, «вольного барана» во сне увидел, — ответил Никита. — Увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог... Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно как из нашего брата бывает...

Но Иван Созонтыч от дальнейшего объяснения уклонился.

— Сие да послужит нам уроком! — похвалил он Никиту. — В другом месте из этого барана, может быть, козел бы вышел, а по нашему месту такое правило: ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно: и травы, и сена, и месячки. И овцы к тебе будут ласковы... Так ли, Никита?

— Это так точно, Иван Созонтыч! — отозвался Никита.

КОНЯГА

Коняга лежит при дороге и тяжело дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели.

Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.

Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся!» — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами

упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная, точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он — только ушами автоматически вздрагивает от укулов. Дремлет ли Коняга, или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с охой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-края нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: ейчас оно помертвело, ейчас — опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле — раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз... Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравой. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию — бедный Коняга знает о нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы паружными отличками ни наделил его случай, он

всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не скажет, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло.

Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга — неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солому, а Пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: «Хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи».

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду, проведаю, каково-то мой братец живет!»

Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попада, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.

Один скажет:

— Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!

Другой возразит:

— Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что такое здравый смысл? Здравый смысл — это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! И, покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни — что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своею личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господа, господа! всё-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон веку к своей юдоли привышен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит — кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось — а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек таких, по полю разбрелось — и все, как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.

— Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе и влюбе, — смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно, дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

ДЕРЕВЕНСКИЙ П ЖАР

(Ни то сказка, ни то быль)

В деревне Софонихе, около полден, вспыхнул пожар. Это случилось в амый развал июньской пахоты. И мужики и бабы были в поле. Сказывали: шел мимо деревни солдатик, присел на завалинку, покурил трубочки и ушел. А вслед за ним загорелось.

Деревня горела дотла. Только тот порядок, где были житницы, уцелел наполовину. Мужики в одночасье потеряли все и сделались нищими. Сгорела бабушка Прасковья да еще Татьяна мальчик Петька. Мужики и бабы, завидев густой дым, бежали с поля как угорелые, оставив сохи и лошадей. Но спасти было уже нечего. Хорошо, что скота не было дома да навоз был только что вывезен, а то пришлось бы совсем хоть помирай. Малолетки, которые, в минуту пожара, играли на улице, спаслись в речку и отчаянно ревели. Девочки-подростки, с младенцами на руках, испуганно выглядывали на обуглившиеся избы и обнаженные остовы печей.

Тетка Татьяна была бодрая и еще молодая бобылка. Лет шесть тому назад у нее умер муж, но она продолжала держать хозяйство. Платила миру за половину надела, сама пахала, косила и жала. У нее был единственный сын, Петька, лет восьми, в котором она души не чаяла и в котором уже видела будущего мужика. Он и сам видел в себе мужика и говорил:

— Я, мама, буду мужик... хресьянин.

Вся деревня его любила. Мальчик был вострый и ласковый и уже ходил в школу. Бывало, идет по деревне мимо стариков.

— Ну что, мужичок, помогаешь мамке? — спрашивают старики.

— Помогаю.

Между тем улица запружалась всяким мужицким хламом: мужику все дорого, все надобно. Домохозяйева, окруженные домохадцами, бродили каждый по своему пепелищу и тащили все, что попадалось на глаза: старую подошву, заржавленный гвоздь, обрывок шлеи, обломок сошника и проч. У некоторых уцелели подполицы; но так как время было голодное (Петров пост), то подполицы были пусты. Один заведомый нищий, лет десять ходивший «в кусочки», метался и кричал:

— Где моя кубышка? где? кто унес? сказывайте: кто?

Бабушка Авдотья ходила взад и вперед по улице и всем показывала два обгоревших выигрышных билета внутреннего займа. Обгорели края; середка с несколькими купонами осталась цела.

— Чай, выдадут! — утешал ее староста Михей. — Ишь и

нумера видны (на уцелевших купонах); ужо барыня в Питере хлопочет¹.

Старики собрались в кучу и обсуждали мирскую нужу. На всех лицах была написана душевная мука; у некоторых глаза сочились слезами. Решили идти всем миром, поклониться соседней одноготчинной деревне, чтобы дала приют погорельцам, покуда не будут устроены хотя какие-нибудь временные помещения. Затем снарядили старосту и послали верхом в город, в управу, за пособием и страховыми.

Пришел сельский батюшка и, похаживая между мужиками, утешал их.

— Кто дал? Бог! — говорил он. — Кто взял? Бог! Неужто ж он не знает?

Мужики молча ему поклонились.

— А вы не унывайте! — продолжал батюшка. — С какого права? почему? как? кто дозволил? Скот — при вас, земледельческие орудия целехоньки, навоз вывезен — чего еще земледельцу нужно? А вы ропщете! Вот ужо управа на постройку денег отпустит; помещица — нуждающимся хлеба пришет; и я тоже... разве я не молюсь за вас? Я не только за вас, но и за всех молюсь. «И всех православных христиан» — вот как.

Опять поклонились мужики, а словоохотливый батюшка продолжал:

— Коли страх божий будете в сердцах сохранять да храм божий усердно посещать, так и не увидите, как бог сторицей вознаградит. Хлеб нынче обещает жатву изрядную. Озимые отменные; яровые, бог даст, поправятся. Ужо снимите у барыни полевину — вот вы и с сеном. Свезете по возку, по другому — ан и денежки в кошеле завелись; а там озимое, ржицы на базар свезете — опять деньги; а наконец и овсецо — тоже деньги. В будущем же году и не увидите, как на месте истребленных неумолимым пламенем хижин будут красоваться новые дома, удобные и просторные, и все вы поживете в них, кийждо под смоковницею своею, и всерадостно и всецело возблагодарите господа вашего за ниспосланное вам благодаяние. Вот увидите.

А тетка Татьяна беспомощно ходила по своему пепелищу, сгребала тлеющие бревна и выкликала:

— Петь, а Петь, где ты, милый? Откликнись!

И не слыхала, как ветхий старик Калистратыч говорил ей:

¹ Факт. В 1872 году приходила к автору крестьянка села Заозерья (Углицкого уезда) и показывала два или три обгоревших по краям билета, но так, что на уцелевших посередке купонах видны были и № билета, и серия. Я просил некоторых добрых знакомых ходатайствовать в банке. Всем казалось дело несомненным, но г. Ламанский, тогдашний управляющий банком, рассудил иначе. Ни возобновить билеты, ни даже выдать за них нарицательную цену оказалось невозможно. Это, извольте видеть, польза банка. Вот как истинные саповники блюдут интересы казны! (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

— Смотри, не в лес ли он убежал? Давеча видел я его. Сидел у житницы на приступочке, как ваша-то изба занялась. Смотрю: кружится Петька по горнице, рубашонкой раздувает. Я ему кричу: «Толкни, милый, дверь, толкни!» Только кружился он, кружился, а потом и ничего не стало видно. Наверное, убежал в лес с испугу.

Но Татьяна ничего не чувствовала, кроме того, что сердце ее рвется на части.

— Петь, а Петь! где ты, милый? Откликнись! — раздавался ее вопль среди общего говора деревенского люда.

Наконец человека два сжалились над нею и пришли на помощь. Разворочали обрушившийся потолок и под дымящимися обломками его нашли труп мальчика. Вся сторона тела и лица, обращенная кверху, представляла безобразную черную массу; но та, которая прилежала к полу, осталась нетронутою.

Татьяна пошатнулась, в глазах потемнело, и из груди на всю деревню вырвался потрясающий ее вопль.

— Господи! видишь ли?

Этот вопль услышал и батюшка и, разумеется, поспешил с утешением.

— Ропщешь? — говорил он с ласковой укоризной. — А Иова помнишь? Нет? Так я тебе напомню! Он был богат и славен, имел детей, стада и сокровища — и вдруг, с дозволения божия, все было у него отнято: и дети, и скот, и друзья, а сам он был поражен проказою, изгнан из города и лежал у городских ворот, на гноище. Псы лизали его раны... псы! Но и за всем тем он не токмо не возроптал, но наипаче возлюбил господа, создавшего его. И бог, видя таковую его преданность, воззрел на него. Через короткое время Иов был и здоров, и богат, и славен более прежнего. Стада умножились, детей народилось достаточно, словом сказать — все...

Однако и батюшкины увещания доходили до Татьяны в форме смутного и назойливого шума. Она устремила глаза на ту линию, которая разделяла уцелевшую часть Петькина лица от обуглившейся, и тихо шептала:

— Господи! видишь ли?

В усадьбе в это время добрая барыня, Анна Андреевна Копейщикова, праздновала день своего рождения. Собрались немногие, но искренние друзья: предводитель Кипящев с женою, исправник Шипящев с племянницею, да еще Иван Иванович Глаз, партикулярный человек, про которого говорили, что при нем язык за зубами держать надо. Впрочем, так как тут были все люди, при которых тоже нужно было язык держать на привязи (сама Анна Андреевна говорила, что она где-то «служит»),

то Иван Иванович чувствовал себя в этой компании очень удобно. Присутствовал тут и батюшка с попадшей.

Анна Андреевна была генеральская вдова, лет сорока с небольшим, еще красивая и особенно выдающаяся роскошным бюстом на балах и вечерах, где обязательно декольте и где ее бюст приковывал к себе взоры людей всех возрастов и всех оружий. Но она раз навсегда сказала себе: «*Ni-ni — c'est fini*»¹, и всю себя отдала своим детям. За это в свете про нее говорили: «*C'est une sainte*»², а за патриотизм: «*C'est une fière matrone!*»³ Как и все русские дамы, она говорила по-французски, знала *un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie (cette pauvre Léda!)*⁴, долго жила за границей, а в последнее время сделалась патриоткой и полюбила «добрый русский народ». Три года тому назад она посетила родное Горбилево и с тех пор ездила туда каждое лето. Поставила в саду мавзолей покойному мужу и каждый день молилась. Ни с кем не знакомилась, кроме испытанных «друзей порядка», хозяйства не вела, а отдавала землю мужикам исполу и видимо экономничала. У нее был сын Сережа, правовед лет шестнадцати, и восемнадцатилетняя дочь Верочка, шустрая особа, которая тоже знала *un peu d'arithmétique et un peu de mythologie*.

Господа уже возвратились из церкви и сидели за завтраком, когда прибежали сказать, что Софониха горит. Батюшка мгновенно скрылся увещевать; прочие побежали к окнам и смотрели. За громадной тучей дыма не было видно пламени, но дым прямо летел по ветру на усадьбу, и чувствовался в комнатах горький запах его. Людей тоже не было видно, но по дороге бежали к пожарищу толпы соседних крестьян и дворовых.

— Как вы хотите, господа,— сказала наконец Анна Андреевна,— а я не могу оставаться равнодушной зрительницей. Ведь они — мои. Злые люди разлучили нас,— надеюсь, временно,— но я все-таки помню, что они — мои.

Но ей не дали одной совершить подвиг самоотвержения и всей компанией вызвались сопровождать ее.

— Да и вообще это наш долг,— продолжала Анна Андреевна,— если б даже это были и не мои крестьяне, все-таки наша священная обязанность — быть там, где страдают. Мы обеднели, мы обижены... но мы всё забыли. Мы помним только, что к нам обращает взоры страждущий меньший брат!

Узнавши, что в этот день пекли хлебы для рабочих и дворо-

¹ Ни-ни — это кончено (франц.).

² Это — святая (франц.).

³ Это твердая патрицианка! (франц.)

⁴ Немножко арифметики, немножко географии и немножко мифологии (ах, эта бедная Леда!) (франц.).

вых, она велела разрезать несколько на ломти и снести погорельцам.

— А завтра опять испечете хлеба для своих... надо же! Да не забудьте солью посыпать!

Словом сказать, сделала все, что было в ее власти, и, наконец, захватила портмоне, сказав: «Это на всякий случай!» И Верочка, по примеру матери, взяла кошелек с заветными светленькими монетами.

Компания остановилась у входа в деревню, но Верочка и мамзель Шипящева не утерпели и пошли вглубь по улице.

— Скажите мужичкам, что я им две четверти ржи жертвую! — крикнула им вслед Анна Андреевна.

Минут через пять Верочка прибежала назад, вся в слезах.

— Ах, мамочка! — объявила она. — Там есть бедная женщина, у которой сгорел мальчик-сын! Ах, как страшно... Что с ней делается! Батюшка увещевает ее, а она не слушается, только повторяет: «Господи! видишь ли?» Мамочка! это ужасно, ужасно, ужасно!

— Жаль бедную; но какая ты, однако ж, нервная, Вера! — упрекнула ее Анна Андреевна. — Это не годится, мой друг! Везде Промысел — это прежде всего нужно помнить! Конечно... это большая утрата; но бывают и не такие, а мы покоряемся и терпим! Помнишь: крах Баймакова и наш текущий счет... Давал шесть процентов... и что ж! Впрочем, соловья баснями не кормят. Господа, — обратилась она к окружающим, — сделаемте маленькую коллекту в пользу бедной страдальцы матери! Кто сколько может!

Она трепетною рукою вынула из портмоне десятирублевую бумажку, положила ее на ладонь и протянула руку. Верочка тотчас же положила туда весь свой кошелек; гости тоже вынули несколько мелких ассигнаций. Только Иван Иванович Глаз отвернулся в сторону и посвистывал. Собралось около тридцати рублей.

— Ну вот, снеси ей! — сказала Анна Андреевна дочери. — Скажи, что свет не без добрых людей. Да подтверди мужичкам насчет ржи... две четверти! Да хлеба принесли ли? Скажи, чтоб роздали! Это для утоления первого голода!

Верочка быстро побежала. Ей представлялось в эту минуту, что она — ангел-хранитель и помахивает серебряными крылами в небесной лазури, с тридцатью рублями в руках. Она застала Татьяну все в том же положении. Последняя стояла с широко открытыми глазами, машинально шевелила губами, без всякого признака самочувствия. Батюшка по-прежнему стоял подле нее и рассказывал пример из истории первых мучеников времен жестокого царя Нерона. Татьяне еще не представлялся вопрос: что с ней будет? нужна ли ей изба, поле и вообще все, что до сих

пор наполняло ее жизнь? или она должна будет скитаться по белу свету в батрачках?

И вдруг — ангел-хранитель.

— На тебе, милая! мамочка прислала! — говорила Верочка, протягивая деньги.

Татьяна ничего не поняла, даже не взглянула на милостыню.

— Бери, строптивая! — увещевал ее батюшка. — Добрые господа жалуют, а ты небрежешь!

Даже мужички заинтересовались и принялись уговаривать:

— Бери, тетка Татьяна, бери, коли дают! на избу пригодится... бери!

Татьяна не шелохнулась.

Верочка постояла, положила деньги на землю и удалилась, огорченная. Батюшка поднял их.

— Ну, ежели ты не хочешь брать, — сказал он, — так я ими на церковное украшение воспользуюсь. Вот у нас паникадило плоховато, так мы старенькое-то в лом отдадим да вместе с этими деньгами и взбодрим новое! Засвидетельствуйте, православные!

— Мамочка, она не взяла! — говорила Верочка со слезами в голосе.

Изумились.

— Однако душок-то этот в них еще есть! не выбили! — загадочно молвил Глаз.

Но на этот раз Анна Андреевна не согласилась с ним.

— Есть душок — это правда; но не следует терять из вида глубину ее горя! Только сердце матери может понять, каково потерять... сына!

Предсказание батюшкино сбылось. Года через два я проезжал мимо Софонихи и увидел сущую метаморфозу. На месте старого пепелища стоял порядок новых домов, высоких и сравнительно просторных. Крыши, правда, были крыты соломою, но под щетку, так что глаз не огорчался ни махрами, ни висящими клочьями. Новые срубы блестели на солнце, как облупленное яичко. Только на месте Татьяниной избы валялись неприбранные головешки, а сама она скрылась из деревни неизвестно куда. Должно быть, по святым местам странствует, Христовым именем. Мужики жили дружно и, следовательно, исправно. Усердно работали, платили выкупные и мирские платежи безнедоимочно, отбывали повинности: рекрутскую, подводную и дорожную. Ежели же требовалось сверх того, то и это исполняли с готовностью.

Исправник Шипяцев не нахвалится ими.

— Эта деревня у меня — в первом номере! — говорит он. — Бог в помощь, ребята!

ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

(Разговор)

Шли путем-дорогою два мужика: Иван Бодров да Федор Голубкин. Оба были односельчане и соседи по дворам, оба только что в весенний мясоед женились. С апреля месяца жили они в Москве в каменщиках и теперь выпросились у хозяина в побывку домой на сенокосное время. Предстояло пройти от железной дороги верст сорок в сторону, а такую махину, пожалуй, и привычный мужик в одни сутки не оплетет.

Шли они не тóропко, не надрываясь. Вышли ранним утром, а теперь солнце уж высоко стояло. Они отошли всего верст пятнадцать, как ноги уж потребовали отдыха, тем больше что день выдался знойный, душный. Но, высматривая по сторонам, не встретится ли стога сена, под которым можно было бы поесть и соснуть, они оживленно между собой разговаривали.

— Ты чтó домой, Иван, несешь? — спросил Федор.

— Да три пятишницы хозяин до расчета дал. Одну-то, признаться, в Москве еще на мелочи истратил, а две домой несу.

— И я тоже. Да только куда с двумя пятишницами повернешься?

— Тут и в пир и в мир, а отец велел сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и все туда уйдет.

— А у нас и хлеба-то до нового не хватит. Пришел сенокос, руки-то целый день намахаешь, так поневоле есть запросишь. Ничего-то у нас нет, ни хлеба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорят: вы каменщики, в Москве работаете, у вас должны деньги значиться... А сколько их и по осени-то принесешь!

— Худо наше крестьянское житье! Нет хуже.

— Чего еще!

Путники вздохнули и несколько минут шли молча.

— Что-то теперь наши делают? — опять начал Федор.

— Что делают! Чай, навоз вывезли, пашут... и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а все хлеба нет. Сряду три года — то вымокнет, то сухмень высушит, то градом побьет... Как-то нынче господь совершит!

— А у меня, брат, и еще горе. К Дуньке волостной старшина увязался; не дает бабе проходу, да и вся недолгá. Свах с подарками засылает; одну батюшко вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не поделаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матренка задавилась? Тоже старшина... Терпела-терпела да и в петлю...

— Нам худо, а бабам нашим еще того хуже. Мы, по крайности, в Москву сходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдет? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо, словно голенище, черное делается, и на человека-то не похоже. И всякий-то норовит ее обидеть да обозвать...

— Давай-ка, Федя, песню с горя споем!

Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.

— А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор.

— И я тоже не одно́ва спрашивал у людей: где, мол, Правда, где ее отыскать? А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили, — пошутил Федор.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила.

— Старики сказывают, что дедушко Еремей еще при старом барине всё Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.

— Прежде многие Правду разыскивали; тяжелее, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде... Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, только со стены-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Чтó крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные мы люди, несчастные; вздохнешь да поплачешь: господи, помилуй! — только и всего. И молиться-то мы не умеем.

— Прежде ходоки такие были, за мир стояли. Соберется, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу...

— Все-таки прежде хоть насчет Правды лучше было. И старики детям наказывали: «Одолела нас Неправда, надо Правды искать». Батюшко сказывал: «Такое сердце у дедушки Еремея было — так и рвется за мир постоять!» И теперь он на печи изувеченный лежит; в чем душа, а все о Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.

— То-то что легче, говорят, стало — оттого и Еремея не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке и в кабаке — везде нонче легость...

— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души, да и шабаш.

— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; обок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением. Старшина приедет — с ним

вместе бражничают, долги его прежде казенных податей собирает; становой приедет — тоже у него становится. У него и щи с убоиной, и водка. Летось молодой барин из Питера приезжал — сейчас: «Попросите ко мне Василия Игнатьича!..» «Ну что, Василий Игнатьич, всё ли подобра-поздорову? хорошо ли торгуете?»

— «Чайку вместе попьемте... вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! печетесь о себе, другим пример показываете... И ежели, мол, вам что нужно, так пишите ко мне в Петербург».

— Одворицу выкупил, да надел на семь душ! Совсем из мира увольнился, сам барин.

— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос убирают и хлеб жнут...

— Вот так легость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?

— У бога она, должно быть. Бог ее на небо взял и не пускает.

Опять смолкли спутники, опять завздохали. Но Федор верил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свете, и ему не по нраву было, что товарищ его относится к этой вере так легко.

— Нет, я попробую, — сказал он. — Я как приду, так сейчас же к дедушке Еремсю схожу. Все у него выпрошу, как он Правду разыскивал.

— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали, да в Сибирь совсем было собрали, только барин вдруг спохватился: «Определить Еремея лесным сторожем!» И сторожил он барские леса до самой воли, жил в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет уж, лучше ты этого дела не замай!

— Никак этого сделать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я приду, сейчас она мне все расскажет... Что ж я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалеко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!

— Ишь ведь! Все говорил об Правде, а теперь на кишки своротил. Разве это Правда? знаешь ли ты, что за такую Правду с тобой сделают?

— И пущай делают. По-твоему, значит, так и оставить. Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда... Нет, это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!

— Ах ты, жарынь какая! — молвил Иван, чтобы переменить разговор. — Скоро, поди, столб будет, а там деревнюшка. Туда, что ли, полдничать пойдем или в поле отдохнем?

Но Федор не мог уж уговориться и все бормотал: «Сыщу я Правду, сыщу!»

— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас: время, вишь, не наступило! —

сказал Иван.— Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба испить, чтобы до нового есть было что.

— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.

— И то придется; да десятину сенокоса ему за подожданье уберем! Батюшко, пожалуй, скажет: «Чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб ее сберег».

— Терпим и холод и голод, каждый год все ждем: авось будет лучше... доколе же? Ин и в самом деле Правды на свете нет! так только, попусту, люди болтают: «Правда, Правда...» — а где она?!

— Намеднись начетчик один в Москве говорил мне: «Правда — у нас в сердцах. Живите по правде — и вам и всем хорошо будет».

— Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет.

— А может, и господа набаловали. Простой, дескать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.

В это время навстречу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочесть: «От Москвы 18, от станции Рудаки 3 версты».

— Что ж, в поле отдохнем? — спросил Иван.— Вон и стожок близко.

— Известно, в поле, а то где ж? в деревне, что ли, харчиться?

Товарищи свернули с дороги и сели под тенью старого, накренившегося стога.

— Есть же люди,— заметил Иван, снимая лапти,— у которых еще старое сено осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приели.

Начали полдничать: добыли воды да хлеб из мешков вынули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись.

— Смотри, Федя,— молвил Иван, укладываясь и позевывая,— во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам...

БОГАТЫРЬ

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»

Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит — он его с корнем вырвал; видит, другой стоит —

он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нем дупло — залез Богатырь в дупло и заснул.

Застонала мать зеленая дубравушка от храпов его перека-тистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами — и был таков.

Прошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся вообще потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А сверх того, и надежда есть: беспрременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие, в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой стон по земле пошел — никак, в «оной» земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!» И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»

И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик! Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто — шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пускает.

Долго глядели супостаты, долго думали: «Могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!»

Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то году и города, и селенья огнем попало, не стало у людишек ни крова, ни одежды, ни ешева; думали: «Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» — а он и тут в дупле проспал.

Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.

Что же это за Богатырь такой?

Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала — и верила; взды-

хала — и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу остороженько подступил — воняет; другой подошел — тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на страну.

Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату — глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»

Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не выпускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубравушка.

Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком — смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.

Спи, Богатырь, спи!

ВОРОН-ЧЕЛОБИТЧИК

(Сказка)

Все сердце у старого вóрона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьет. И хоть бы ради прибýtка, а то просто ради потехи. Да и само воронье измалодушничалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет; осыплют вóроны гурьбой березу и кричат зря: «Вот мы где!» Натурально, сейчас — паф! — и десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней, привольной, тоже не стало. Леса кругом повырубили, болота повысушили, зверье угнали — никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, по скотным дворам шнырять. А за это опять — паф! — и опять десятка или двух в стае как не бывало! Хорошо еще, что вóроны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платил?

Начнет он, старик, своих младших собратий увещевать:

«Не каркайте зря! не летайте по чужим огородам!» — да только один ответ слышит: «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! нельзя, по нынешнему времени, не воровать. И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут: дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам! Мы еще где дó свету встанем, снимемся с гнезд

и весь лес обшарим — везде хоть шаром покати. Ни ягоды лесной, ни пичуги малой, ни зверя упалого. Даже червь и тот в землю зарылся».

Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала вороний род бескормица; без числа воронье погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти — рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься! Однако и тогда уж было заметно, что недолго воронье эту школу выдержит. Смотреть, как другие живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода — от одного этого хоть чье хочешь сердце изноет.

И наука кстати на помощь пришла: клюй, что можешь и где можешь! Удастся набить зоб — летай на свободе сытый и веселый; не удастся — виси простреленный на огороде, вместо чучела! На то война.

Когда принес его сюда, едва оперившегося, старый батко из-за тридевять морей, места здесь были вольные. Лес да вода — и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверя, птицы — и всего вдоволь; в воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб, но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал: сегодня из одного гнезда унесет вороненка, завтра из другого; а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подати тогда были не тяжелые: по яйцу с гнезда, да по перу с крыла, да с каждой десяти гнезд по вороненку орлу в презент. Отбыл повинность — и спи на оба уха.

Но чем дальше шло, тем глубже и глубже все изменялось. Облюбовал вольные места человек и начал с того, что пустил в ход топор. Леса поредели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились займки, потом деревни, села, помещичьи усадьбы. Стук топора гулким эхом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе, но молодое воронье с веселым карканьем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам; лесные глубины опостылели. Потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Воронье разделилось на партии; начались пререкания, усобицы, рознь...

Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб оказался стоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках, но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу в воронье существование врывались

новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его тарым колпаком; воронье оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того чтоб пресечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и шутя говорил: «Вот уж, придет реформа, узнаете вы, как кузькину мать зовут!» Наконец и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему, в видах пущего контроля, поставили кречета.

Прилетели новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я вас к одному знаменателю приведу!» — цыркнул ястреб, а кречет прибавил: «И я тоже». Сказавши это, объявили, что отныне налоги увеличиваются против прежнего втрое, выдали окладные листы и улетели.

Началось окончательное разорение. Воронье роптало: «Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили!» — раздавалось по лесу; но ни ястреб, ни кречет не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря пустые речи в народ пускают. Много было тогда гнезд разорено, много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что воронье, испугавшись, на хвосте дани принесет. Но воронье от испуга только металось и жалобно каркало: «Хоть режьте, хоть стреляйте, а даней нам взять неоткуда!»

Так оно и посейчас идет: воронье разоряется, а казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было воронье новых мест искать и летунов вперед для разведок отправило, но они улететь — улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и шутка сказать — с насиженных мест неведомо куда лететь! Нет нынче вольных мест! всюду проник человек! И ему тесно стало. Идет вперед с топором; стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожиданье, когда-то вся эта сутолока в порядок придет.

Думал-думал старый ворон и наконец надумал: «Надо лететь всю правду объявить». Только стар он и слаб — долетит ли? Ведь лететь — дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а наконец и к коршуну, который в ту пору вороньим племенем, вроде как начальник края, правил.

У птиц тоже, как у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: «Был ли у ястреба? был ли у кречета?», а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослынешь.

Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и поле-

тел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит.

— Здравствуй, старче! — приветствовал его ястреб благодушно. — Зачем пожаловал?

— Прилетел я к твоему степенству правду объявить! — горячо закаркал старый ворон. — Гибнет вороний род! гибнет! человек его истребляет, дани немилостивые разоряют, копчики донимают... Мрет вороний род, а кои и живы — и тем прокормиться нечем.

— Вот как! А не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний род опрокинулись?

— Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живем в трудах, как честному воронью жить надлежит, только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало.

Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал:

— Изворачивайтесь!

Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало ворона.

— Знаю я, что нынче все изворотами живут, — горячо ответил он, — да прост на это наш вороний род. Другие миллионы крадут, и всё им как с гуся вода, а ворона украдет копейку — ей за это смерть. Подумай, разве это не злодейство: за копейку — смерть. А ты еще учишь: «Изворачивайтесь!» Прислан ты к нам начальником, чтоб защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем! Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы...

Ворон не договорил и испугался: не легко, видно, правду-то объявлять.

Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно.

— Знаю, не договаривай, — сказал он, — давно мы эту песню слышим, да покуда бог еще миловал... А ты все-таки на ус себе намотай: прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся... Все ли ты сказал?

— Все покамест, — отвечал ворон, продолжая робеть.

— Ну, так я тебе вот что отвечу: правда твоя давно всем известна; не только вам, вóронам, а и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не ко двору она в наше время пришлась, а потому, сколько об ней ни объявляй, хоть на всех перекрестках кричи — ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится, — этого покуда никто не знает. Понял?

— Понял я одно: что вороньему роду конец пришел! — с горечью ответил ворон.

— Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет,— но разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал — а мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох — и палит в нас: что́ вздумается, то над нами и делает. Мы все равно что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то подбор новый. А они только знай перевертываются. Каким таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось — разве темный человек может это понять? А дело-то простое: Губошлепов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червя жить подобает. Червя и вы, воронье, потачки не даете; вспомни-ка! что, если б он на вас гвалт поднял, не вы ли бы первые удивились: «Червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает!» Так-то, старче! Кто одолеет, тот и прав. Понял теперь?

— Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! — затосковал ворон.

— Жестоко ли мое слово или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий в расчет принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корм у вас на лету отнимают, что я сам, ястреб, ваши гнезда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж: вы кормиться хотите — и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее — вы бы нас ели, а мы сильнее — мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял?

— Погибать! погибать надо! — продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребовых речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое.

Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком.

— А хочешь, я тебя съем! — сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал: — Ну тебя! тощ ты и стар — какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет!

Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьев нет — волк голодный и тот на такую птицу не позарится.

— Вот видишь, каков ты стал. А все оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи, без думы, жил — такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что

поборы с вас, воронья, немилостивые берут,— и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики — много ли они могут дать? Рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки? — эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно воронье живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает — что же удивительного, что оно в ревизские сказки попало? А коли попал в ревизские сказки — держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше — и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче — на это отвечает ваше воронье житье. Ну, а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу.

Однако ворон не возвратился восвояси, а направил полет к кречету.

«Будь что будет,— думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями,— а я доведу дело до конца! Если и кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому коршуну, а от правды не отступлюсь!»

Кречет жил в впадине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его жилища сидел дежурный копчик и принимал просителей. На этот раз дежурным оказался известный всему вороньему роду копчик Иван Иванович, фаворит кречета (слухи шли даже, что он его побочный сын), который поручал ему самые важные и секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь был и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облачком, и полетать с девушками-чечеточками в горелки, и даже одолжение другу-приятелю сделать; но все это благодушие оставалось при нем лишь до тех пор, покуда он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей (особливо секретных поручений), то мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь — он настигнет; прикажут удавить — задавит. Если птица и вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та загодя начинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха.

— Не проспался, старик? — иронически приветствовал челобитчика Иван Иванович.

Старый ворон понял, что здесь уже все известно. И у птиц существуют свои лазутчики, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны.

— Какой уж у стариков сон! — уклончиво отвечал он.

— Правду объявлять прилетел? — продолжал копчик. — Ну, да, впрочем, это твое дело. Доложить?

— Да, уж сделай такую милость.

Иван Иванович юркнул в впадину и около часа там оставался. Ворон, с замиранием сердца, ждал его появления. Наконец он появился.

— Велено тебе сказать, — молвил он, — что растабарывать с тобой некогда. Правда твоя искони всем известна, да, стало быть, есть в ней порок, ежели она сама собой не проявляется. Беспокойный у тебя нрав, пустые ты речи в народ пущаешь. Давно бы за это съест тебя надо, да, слышь, стар ты, худ и немощен. К начальнику края, чай, теперь полетишь?

— Нет уж, что уж... — хотел было утаиться ворон.

— Не запирайся! насквозь я тебя вижу! Что же, лети! только как бы тебе очи за твою правду не выклевали. Смотри, не прогадай! Да ты, поди, и дороги не знаешь; видишь, вон, облако, там, над самым этим облаком, — там и есть.

Несмотря на предсказание копчика, ворон решился довести свое челобитие до конца. Долгим и кружным путем взбирался он, ночуя в покинутых звериных норах и пропитываясь ягодами, изредка попадавшимися на отрогах гор. Наконец он врезался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище.

Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца. Издали казался точно сказочный замок, у подножия которого застыли облака, а наверху, вместо крыши, расстилалась бесконечная небесная лазурь.

Коршун сидел на скале, окруженный целой массой разнообразнейших птиц. По правую сторону его сидел белый кречет, помощник его и советник; у ног кувыркались всех сортов чиновники особых поручений: попугаи, ученые снегири и чижи; сзади хор скворцов докладывал утреннюю почту; в сторонке, на отдельной вершине, дремали совы, филины и нетопыри, образуя из себя нечто вроде губернского совета; вороны во множестве мелькали вдали, с перьями за ушами, строчили указы, предписания и донесения и кричали: «С пылу, с жару! по пяточку за пару!»

Коршун был ветхий старик и от старости едва-едва скрипел клювом. В ту минуту, когда у ног его опустился ворон, он только что пообедал и в полудремоте, смежив очи, покачивал головой, несмотря на оглушающий говор и шум. Однако появление челобитчика произвело среди птиц некоторый переполох, благодаря которому коршун встрепенулся.

— С просьбицей, старче? — спросил он ворона ласково.

— Прилетел я из-за тридевяти земель правду твоему великостепенству объявить! — начал ворон восторженно, но тут же был остановлен кречетом.

— Не разводи риторики! — холодно прервал его послед-

ний.— Докладывай дело без украшений, ясно, просто, по пунктам. Что тебе надобно?

Начал ворон по пунктам свое челобитье излагать: человек вороний род истребляет, копчики, ястреба, кречета донимают, сборы немилостивые разоряют... И каждый раз, как кончит он один пункт, коршун поскрипит клювом и молвит:

— Правда твоя, старче!

Сердце играло в груди старого ворона при этих подтверждениях. «Наконец-то! — думалось ему, — увижу я эту правду, по которой сизмлада тоскую! Послужу своему племени, поревную за него!» И чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец он высказал все, что у него было на душе, и замолк.

— Все ли ты сказал? — спросил его коршун.

— Все, — ответил ворон.

— У ястреба, у кречета челом бил?

— Бил и у них.

Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также свое неудавшееся свидание с кречетом.

— Так вот что́ я тебе на твою правду скажу, — молвил коршун, — больше двухсот лет я сижу на этом утесе и хоть бочком да на солнце смотрю... Но Правде и до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог.

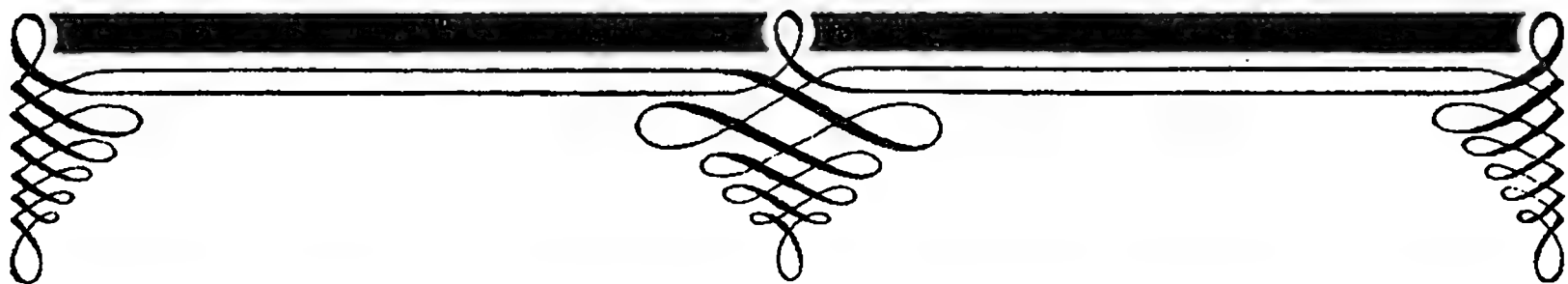
— Но почему же? — в недоумении каркнул ворон.

— А потому, что вместить ее птице не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить ее должен; а мы, стало быть, не можем выполнить — оттого и смотрим на нее исподлобья. Думается: «Авось-либо она мимо пройдет!»

Коршун на минуту задумался и продолжал:

— Жестокое тебе слово ястреб сказал, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время и не на всяком месте ее слушать пригоже. Иных она в соблазн ввести может, другим — вроде укоризны покажется. Иной и рад бы правде послужить, да как к ней с пустыми руками приступить! Правда не ворона — за хвост ее не ухватишь. Посмотри кругом — везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на свою личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна, — тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются, как дым, и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбё. Так-то, старик! А покуда лети с миром и объяви вороньему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь.

Комментарии



Н. В. ГОГОЛЬ

РЕВИЗОР

(стр. 45)

Ч а с т н ы й п р и с т а в — полицейский чиновник, ведавший участком, то есть определенной частью города.

У н т е р - о ф и ц е р — низший чин командного состава царской армии. Унтер-офицерами становились обыкновенно выслужившиеся солдаты. Солдаты могли подвергаться телесному наказанию, унтер-офицеры — нет.

Р е з о н е р — здесь: человек, любящий пускаться в длинные рассуждения и нравоучения.

П о п е ч и т е л ь б о г о у г о д н ы х з а в е д е н и й — чиновник, ведавший благотворительными учреждениями, то есть больницами, приютами, домами для престарелых и сирот и т. п.

К в а р т а л ь н ы й н а д з и р а т е л ь — полицейский, ведавший городским кварталом.

З а с е д а т е л ь — член уездного суда, выбравшийся из дворян уезда.

В о л т е р и а н ц ы (вольтерьянцы) — последователи французского писателя-просветителя XVIII века Вольтера; здесь употреблено в смысле: вольнодумцы, безбожники.

К а ф е д р а — возвышение, на котором в гимназиях находилось место учителя.

А с с и р и я н е и в а в и л о н я н е — народы, населявшие в древности долины рек Тигра и Евфрата (Месопотамию).

А л е к с а н д р М а к е д о н с к и й (356—323 до н. э.) — царь Македонии, ученик великого греческого философа Аристотеля, знаменитый полководец, создавший крупнейшую мировую монархию древности.

...р а з н ы е п а с с а ж и — то есть всякого рода необыкновенные происшествия, случаи.

«Московские ведомости» — официальная газета, издававшаяся с 1756 года при Московском университете.

...в э м п и р е я х... — здесь: в полном довольстве. Эмпирей — в греческой философии античности — верхняя часть неба; в средние века — символ потустороннего мира; в «Божественной комедии» великого итальянского поэта средневековья Данте — местопребывание душ блаженных.

Ш т а н д а р т — знамя кавалерийских частей русской армии.

...в п а р т и к у л я р н о м п л а т ь е — то есть в обычном гражданском платье, а не в форменном чиновничьем мундире.

П о д о р о ж н а я — особый документ с указанием фамилии, чина, пути следования; служил основанием для получения лошадей на почтовых станциях.

«Д е я н и я И о а н н а М а с о н а» — английская книга мистического содержания, получившая распространение в России в конце XVIII века.

Г а б е р с у п — овсянка.

С о л о м о н — царь Израильско-иудейского царства в X веке до н. э. Согласно Библии, отличался необычайной мудростью.

Ч а с т н ы й д о м — помещение полицейского участка.

Е л и с т р а т и ш к а — искаженное «регистраторишка», то есть коллежский регистратор; по табели о рангах чин XIV класса, самый низший в чиновничьей иерархии.

Щ у к и н д в о р — торговые ряды в Петербурге.

К а р т у з — здесь: мешочек из бумаги.

С ъ е з ж а я — помещение для арестованных при полицейском участке.

Ш т о с — азартная игра в карты.

...И з «Р о б е р т а». — «Роберт-дьявол» — опера французского композитора Мейербера (1791—1864), популярная в 30—40-х годах прошлого века в России.

И о х и м — петербургский каретный мастер.

...В л а д и м и р а в п е т л и ц у... — то есть орден св. Владимира 4-й степени, носившийся в петлице.

Ф р и ш т и к — завтрак (нем. Frühstück).

Л а б а р д а н — свежепросольная треска.

...з а б а с т у е ш ь... как нужно гнуть от трех углов... — Забастовать в азартных карточных играх — перестать увеличивать ставку при проигрыше. Гнуть от трех углов — увеличивать ставку втрое, загибая углы карт.

В о я ж и р о в к а — путешествие (от франц. voyage).

К о л л е ж с к и й а с е с с о р — по табели о рангах чин VIII класса.

«Ж е н и т ь б а Ф и г а р о». — По-видимому, в данном случае речь идет об опере Моцарта (1786), написанной на сюжет одноименной комедии французского комедиографа Бомарше (1784). «Н о р м а» — опера итальянского композитора Беллини (1831).

«Б а р о н Б р а м б е у с» — псевдоним О. И. Сенковского, писателя, редактора распространенного в 30-е годы XIX века журнала «Библиотека для чтения» «Ф р е г а т «Н а д е ж д а» — повесть писателя-романтика А. А. Бестужева-Марлинского (1797—1837).

«Московский телеграф» — журнал, издававшийся критиком и писателем-романтиком Н. А. Полевым (1796—1846). Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — русский писатель и книгопродавец; издавал, в частности, журнал «Библиотека для чтения», редактором которого был О. И. Сенковский.

Вист — карточная игра.

Департамент — часть или отдел ряда русских правительственных учреждений (министерств, сената). Департамент управлялся директором — чиновником высокого ранга.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — знаменитый римский оратор, писатель и политический деятель.

Бонтон — хорошие манеры, светская учтивость в словах и в обращении (франц. *bonton*).

Якобинец — в эпоху Великой французской революции XVIII века представитель наиболее радикального, демократического крыла революционной партии. Здесь: вольнодумец.

Приказ общественного призрения — благотворительное учреждение, ведавшее больницами, приютами, богадельнями (домами престарелых); занималось также разного рода денежными операциями: выдавало ссуды, осуществляло залог имений, принимало вклады.

Фельдъегерь — курьер, посылаемый для доставления правительственных распоряжений; пользовался особыми привилегиями.

Прогон, или прогоны — плата за проезд на почтовых лошадях.

Постой, или постойная повинность — обязанность принимать без платы на временное жительство солдат и офицеров стоящей в городе воинской части.

Сиделец — продавец в купеческой лавке.

Фризовая шинель — шинель из грубого сукна, одежда бедняков.

«О ты, что в горести напрасной на бога ропщешь, человек!» — первый стих оды М. В. Ломоносова «Выбранная из Иова».

«Законы осуждают...» начальная строка песни, которую поет один из героев повести Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм» (1794). Первая строфа этой песни:

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Кавалерия в данном случае: широкая орденская лента, присвоенная высшим орденам Российской империи и носимая через плечо. Лента красного цвета носилась при орденах Станислава и Анны I степени, голубого — при ордене Андрея Первозванного, которым награждались особы царской фамилии и те, кто имел особо выдающиеся заслуги.

Амбре — благоухание (франц. *ambre*).

...«Отче наш» не знаешь... — «Отче наш» — начальные слова молитвы.

Жировать — наслаждаться жизнью (от франц. *jouir*).

Генерал-губернатор — начальник нескольких губерний, в отличие от губернатора, управлявшего одной губернией.

М о в е т о н — человек дурного тона, плохо воспитанный (от франц. mauvais ton).

Р е п р и м а н т — урок (от франц. réprimande).

«В о т т е б е, б а б у ш к а, и Ю р ь е в д е н ь» — поговорка, возникшая в конце XVI века, когда было отменено право перехода крестьян от одного помещика к другому, которое осуществлялось в Юрьев день (26 ноября старого стиля). Тем самым крестьяне были окончательно закрепощены.

МЕРТВЫЕ ДУШИ

(стр. 121)

К а н и ф а с о в ы е — из канифаса, льняной полосатой, очень плотной ткани.

Д е м и к о т о н н ы й — из демикотона, плотной хлопчатобумажной ткани.

С б и т е н щ и к — продавец сбитня, горячего напитка из меда с пряностями.

С а м - ш ё с т, с а м - с ё м — вшестером, всемером.

П а р а ч а ю — порция чаю с сахаром вприкуску; подавалась в двух чайниках: один — с кипятком, другой — с заваркой.

П у л ь р к а — откормленная курица (от франц. roularde).

П а л а т а — вообще всякое присутственное место (государственное учреждение) в губернии. Казенная палата, например, ведала государственными (казенными) сборами. В гражданской палате совершались сделки по продаже и покупке крепостных крестьян.

П р о к у р о р — губернский чиновник, на обязанности которого лежало наблюдение за верным применением и точным исполнением законов.

Ч а щ е ж е в с е г о б ы л о з а м е т н о п о т е м н е в ш и х г о с у д а р с т в е н н ы х о р л о в... — До введения «откупов», то есть права винокурения и продажи вина, предоставляемого государством частным лицам, так называемым «откупщикам», это право было государственной монополией, почему над питейными заведениями и красовался герб Российской империи — двуглавый орел.

...д а в а л а с ь д р а м а г. К о ц е б у... — Речь идет о драме бездарного, но популярного в свое время немецкого писателя Августа Коцебу (1761—1819) «Гишпанцы в Перу, или Смерть Роллы».

К и с л ы е щ и — шипучий напиток, род кваса.

...и м е л н а ш е е А н н у — орден св. Анны, посившийся на ленте на шее. ...п р е д с т а в л е н к з в е з д е — ордену Станислава, принадлежавшему к числу высших российских орденов.

«В а ш и м п р е в о с х о д и т е л ь с т в о м» именовались лишь лица, имевшие генеральский чин (по табели о рангах не ниже IV класса, то есть в гражданской службе — действительного статского советника). С т а т с к и й с о в е т н и к — чин V класса, то есть еще не «ваше превосходительство».

Б о с т о н ч и к — бостон, карточная игра.

...ф о р е й т о р с к и е к р и к и в д а л и... — Фореитор — при запряжке лошадей «цугом», или «гусем» (одна за другой), кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей.

З е л е н ы й с т о л — стол для карточной игры, покрытый зеленым сукном.

Ф и н и ф т ь — художественная эмаль.

Взятка — в карточной игре: карта, «взятая», покрытая старшею или козырем.

Городской глава, или голова — председатель городской думы, выборного, от купцов и мещан, учреждения, ведавшего городским хозяйством.

...таможенных надсмотрщиках и чиновниках... — то есть служащих таможни, особого учреждения, контролирующего провоз грузов, в том числе багажа и почты, через государственную границу.

Горячее вино — водка.

Дворовой крепостной человек — крепостной крестьянин, не имевший земельного надела, служивший своему барину в качестве лакея, повара, кучера и т. п.

Шалонový — из шалона (шерстяной ткани).

«Сын отечества» — исторический, политический и литературный журнал, издававшийся в 1812—1844 годах. Приобретя в 30—40-е годы официально-консервативный характер, выступал против Гоголя и писателей гоголевского направления.

Фемистоклос — имя знаменитого древнегреческого полководца Фемистокла, или Фемистоклеса, данное сыну Манилова, наделено латинским окончанием «юс». Алкид (то есть сын Алкмены, дочери царя Микен) — Геркулес, герой древнегреческих мифов, совершивший многие необыкновенные подвиги. Отцом Геркулеса был верховный бог древних греков Зевс.

Тягло — в данном случае: семья крепостных крестьян, принимавшаяся за единицу обложения повинностями в пользу помещиков.

Купчая крепость — акт приобретения в собственность имущества (в том числе, при крепостном праве, крестьянских «душ»), а также утвержденное в суде свидетельство на купленное имущество.

Пономарь — церковнослужитель, прислуживавший в церкви и читавший молитвы.

Пестрядевый — из пестряди, грубой пеньковой ткани, пестрой или полосатой.

Пряженцы — «маленькие пирожки с мясом и луком» (из записной книжки Гоголя).

Внучатный — троюродный.

Павел Петрович — русский царь Павел I, правивший в 1796—1801 годах.

Прометей — в древнегреческой мифологии титан, похитивший у богов с Олимпа огонь и передавший его людям.

Овидий (Публий Овидий Назон, 43 до н. э. — ок. 18 н. э.) — римский поэт, автор поэмы «Метаморфозы» (о «превращениях» людей и богов в животных, созвездия и пр.).

Коллежская секретарша — жена или вдова коллежского секретаря (по табели о рангах чин X класса).

Ассигнации — бумажные денежные знаки.

Морить пчел — одурманивать дымом, чтобы вынуть соты с медом.

Синие ассигнации — бумажные деньги пятирублевого достоинства (синего цвета).

Ш а н и ш к и — «род ватрушки, немного меньше» (из записной книжки Гоголя). **П р я г л ы** — «пышки, оладьи» (из записной книжки Гоголя).

...о с в я т к а х... — то есть к концу декабря. Святки начинаются с христианского праздника рождества (25 декабря по старому стилю) и продолжаются 12 дней до праздника крещения. **Ф и л и п п о в п о с т** — пост перед праздником рождества, с конца ноября.

П о б р а т и м а — «шарообразный сосуд, деревянный, с узким горлом; кладут мед, варенье» (из записной книжки Гоголя).

С о м о в и й п л ё с — «хвост сома, весь из жира» (из записной книжки Гоголя).

Н и ж ё — ни даже.

В е н г е р к а — гусарская куртка с нашитыми поперечными шнурами по образцу форменной одежды венгерских гусар.

А р х а л у к — род домашнего платья, короткий стеганный халат.

...н а о б ы в а т е л ь с к и х... — на переменных лошадях, нанимаемых у местных жителей, а не на собственных или почтовых.

П а р о л ё — удвоение ставки после выигрыша. **З а г н у т ь у т к у** — загнуть угол карты в знак удвоения ставки. **Б а н к** — здесь: все деньги, участвующие в игре. **С о р в а т ь б а н к** — выиграть эти деньги.

И г р а т ь д у б л е т о м — «не отделять от выигрыша и пускать вдвое» (из записной книжки Гоголя).

Г а л ь б и к — карточная игра.

Ф о р т у н к а — рулетка, азартная игра, в которой на вращающийся круг с нумерованными гнездами (очками) бросается шарик, попадание которого в одно из гнезд и определяет выигрыш или проигрыш (нулевое очко).

Ф е н а р д и — известный в свое время акробат и фокусник.

...д в у г р и в е н н и к в с е г о... Д а й е й п о л т и н у... — Двугривенник серебром равнялся восьмидесяти копейкам ассигнациями. Полтина — пятьдесят копеек, в данном случае — ассигнациями.

...с о з в е з д о й н а г р у д и — с одним из высших российских орденов.

К у р и т е л ь н ы е с в е ч к и — свечи из угольного порошка и благовонных смол, служившие для окуривания.

Ч е р н ы е м я с а — ляжки у борзых собак.

Щ и т о к — острая собачья морда.

«Г у с т о п с о в ы е — собаки с шерстью длиною по всей собаке; **ч и с т о п с о в ы е** — гладкие, с шерстью длиною на хвосте и на ляжках; **м у р у г и е** — искрасна-черные; **п о л в о - п е г и е** — с желтым пятном по белому; **м у р у г о п е г и е** — с черными пятнами по желтому» (из записной книжки Гоголя).

С к о с ы р ь — хват, забияка; **ч е р к а й** — от слова «черкаться» (черты-хаться, браниться чертом); **с е в е р г а** — нетерпеливый, торопыга.

П е р е л е г и — земля под паром, оставляемая без посева с целью повышения плодородия почвы и накопления влаги.

«М а л ь б р у к в п о х о д п о е х а л» — старинная французская песенка. Мальбруг — герцог Мальборо (Marlborough, 1650—1722), английский полководец.

...ручки... были самой субдительной суперфлю...— Субдительный — возможно, образовано от субтильный (нежный, тонкий, хрупкий; франц. subtil). Суперфлю (франц. superflu) — нечто излишнее, бесполезное.

Т а л и я — колода или две колоды карт, участвующие в игре.

К р а п — оборотная цветная сторона карт; на него шулерами (картежниками-мошенниками) наносились незаметные чужому глазу пометы, позволявшие узнавать нужные карты.

К а п и т а н - и с п р а в н и к — начальник уездной полиции.

Д и к и й — о цвете: пепельный.

К и р ч е н а я и з б а — «вытесанная, когда бревна стесаны в гладкую стену» (из записной книжки Гоголя).

М а в р о к о р д а т о, М и а у л и, К а н а р и — греческие полководцы и политические деятели времени Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 годов.

Б а г р а т и о н, Петр Иванович (1765—1812) — князь, русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года.

Б о б е л и н а — греческая партизанка, героиня национально-освободительного движения 1821—1829 годов.

М а с о н — член тайного религиозно-мистического общества, возникшего в начале XVIII века в Англии.

Г о г а и м а г о г а — в иудейской, христианской и мусульманской мифологии два диких народа, нашествие которых должно предшествовать «Страшному суду».

К о л о к о т р о н и — деятель Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 годов.

Т р ю ф е л и — грибы, растущие под землей, употребляются как приправа к изысканным блюдам.

С и б и р к а — короткий кафтан в талию со сборами и стоячим воротником. Обычная одежда русских купцов.

М о н и с т ы — ожерелье из монет.

Ч а п ы ж н и к — «мелкий, кривой, дрянной лес, кустами выросший от корня» (из записной книжки Гоголя).

Л ю д с к а я — помещение в барской усадьбе, где жили слуги — дворовые люди.

Ю ф т ь — особый сорт мягкой кожи.

С у ш и л ы — «верхний этаж над амбарами, ледниками и проч., где лежат пух, окорока, рыба высушенная, овчины, кожи разные» (из записной книжки Гоголя).

Г у б и н а — «все, что подходит под губу, съедобное; всякая овощь, кроме хлеба и мяса» (из записной книжки Гоголя).

Щ е п н о й д в о р — рынок, где продавался так называемый «щепной товар» — изделия из лучины, а также деревянные резные или токарные изделия (кадки, ложки и т. п.). П е р е с е к — «бочка, разделанная надвое, ушат» (из записной книжки Гоголя). Л а г у н — «форма ведра с закрышкой» (из записной книжки Гоголя). М ы к о л ь н и к — лукошко или короб.

В а л я л ь н я — помещение или заведение для валяния (сбивания) сукон, войлока, валяной обуви.

К о м п а т р и о т к а — соотечественница (от франц. compatriote).

П е н н и к — водка.

П р и к а з н ы е — мелкие канцелярские служащие без чина, писцы.

К р а с н а я б у м а ж к а — ассигнация десятирублевого достоинства (красного цвета).

Д у х о в н а я — завещание.

Ш и л л е р, Иоганн Фридрих (1759—1805) — великий немецкий поэт; его имя стало синонимом возвышенности, мечтательности, идеальности.

С е н н а я п л о щ а д ь — в Петербурге XIX века торговая площадь, где теснились увеселительные и питейные заведения, лавчонки мелких торговцев; там же совершались публичные телесные наказания.

П о д ь я ч и й — мелкий канцелярский служащий, писец.

Г о с у д а р с т в е н н а я — ассигнация достоинством в сто или пятьсот рублей.

К о л о д к и — ножные деревянные кандалы.

Б а б к и — игра в кости.

С у д а-с у р я к и — суда, названные по имени реки Сура, притока Волги.

...п о д о б н о д р е в н е м у З е в е с у Г о м е р а — Гоголь вспоминает эпизод из древнегреческой эпической поэмы Гомера «Илиада», когда во время битвы греков с троянцами, по молению греческого героя Аякса, верховный бог Зевс

Быстро и облак отвел, и мрак ненавистный рассеял;
Солнце с небес засияло, и битва кругом осветилась.

(«Илиада», песнь XVII, перевод Н. И. Гнедича.)

...г о л о в ы ж р е ц о в Ф е м и д ы — то есть судейских чиновников.
Ф е м и д а — богиня правосудия в древнегреческой мифологии.

Как некогда **В и р г и л и й** прислужился **Д а н т у**. — Древнеримский поэт **Виргилий** (правильнее **Вергилий**) в поэме «Божественная комедия» великого итальянского поэта **Данте Алигьери** (1265—1321) сопровождает автора в его странствиях по кругам Ада.

З е р ц а л о — эмблема правосудия, увенчанная двуглавым орлом (государственным гербом России), трехгранная призма с тремя указами Петра I о соблюдении законности. Стояла на столах судебных и других государственных учреждений.

К е л е й н о — то есть секретно, с глазу на глаз.

С т р я п ч и й — судейский чиновник.

Б е л е н ь к а я — ассигнация в двадцать пять рублей.

М а с л я н ц ы — клецки в растопленном масле.

В з в а р е н ц ы — компот, сушеные плоды и ягоды, вареные и подслащенные изюмом или медом.

Г о р к а — народная карточная игра.

П р и ш и п и л с я — притаился, присмирел.

Трехпольное хозяйство — система полеводства, при которой земля делилась на три поля; два из них засеивались, а третье отдыхало «под паром».

...послание в стихах Вертера к Шарlotte... — По-видимому, имеется в виду предсмертное письмо героя романа великого немецкого поэта Гете (1749—1832) «Страдания юного Вертера» к его возлюбленной Шарlotte (в оригинале это письмо, однако, написано прозой).

Ланкастеровая школа взаимного обучения — учебная система английского педагога Д. Ланкастера (1778—1838), в соответствии с которой учитель обучает более сильных учеников, а те, в свою очередь, обучают слабейших.

«Людмила» Жуковского — романтическая баллада, напечатанная в 1808 году.

«Юнговы ночи» — поэма английского поэта первой половины XVIII века Э. Юнга «Жалобы, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии».

«Ключ к тайнам природы» — религиозно-мистическое сочинение немецкого писателя К. Эккартсгаузена (1752—1803).

Мадонна — по христианской мифологии, Мария, богородица, мать Иисуса Христа. Ее образ как символ прекрасной женщины-матери занимает большое место в искусстве Возрождения, в творчестве таких замечательных итальянских художников, как С. Боттичелли, Рафаэль, Леонардо да Винчи и многих других.

Инкомодите — недомогание (франц. *incommodité*).

Кокурка — булочка с яйцом.

Сконапель истoar (франц. *ce qu'on appelle histoire*) — что называется, история.

Строить куры — ухаживать (от франц. *faire la cour*).

Ринальдо Ринальдини — герой романа немецкого писателя К. А. Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников», переведенного в начале XIX века на русский язык и пользовавшегося большой популярностью.

Оррер — ужас (франц. *horreur*).

Иора (ёра) — забияка, беспутный малый, удалец.

Оттопанный доезжачими заяц — отпугнутый, отогнанный. **Оттопать** — «загнать опять в лес, чтобы выгнать на барина» (из записной книжки Гоголя). **Доезжачий** — охотник, обучающий гончих собак и ведающий их стаей.

Неотбойный (охотничий термин) — не отстающий от стаи (о гончих собаках), неотступный.

Андроны едут — чушь, чепуха (андроны — телеги с жердями, концы которых, тащась по земле, шумят и трещат).

Комераж — сплетни, пересуды (франц. *commérage*).

Казенные крестьяне — то есть государственные, принадлежавшие казне, а не помещику.

Экспедиция — здесь: почта.

Воксал (вокзал) — первоначально, до открытия железных дорог, места общественных увеселений (англ. *vauxhall*).

Красный — город в Смоленской губернии, в сражении под которым в ноябре 1812 года русская армия нанесла тяжелое поражение отступающей армии

Наполеона. Под немецким городом Лейпцигом в 1813 году произошла битва войск союзников с французской армией (так называемая «битва народов»).

И н в а л и д н ы й к а п и т а л — капитал для выдачи пенсий и пособий инвалидам Отечественной войны 1812 года, созданный в 1814 году из частных пожертвований.

Ш е х е р е з а д а — героиня средневековых арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Здесь в смысле: нечто волшебное, чудесное.

С е м и р а м и д а — ассирийская царица конца IX века до н. э., с именем которой легенда связывает сооружение в Вавилоне «висячих садов» — одного из семи чудес света.

С и н ю х а — пятирублевая ассигнация.

Д а н т и с т э д а к о й — буквально: зубной врач; здесь употреблено в смысле «зубодробитель», человек, способный на кулачную расправу.

Л е т а — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве: души умерших, отведав воды из Леты, забывали о своей земной жизни.

...в ы п у с т и л и е г о с о с т р о в а Е л е н ы... — Наполеон, после отречения в 1815 году от престола, был сослан на о. Св. Елены в Атлантическом океане, где и провел пленником англичанин последние годы жизни (ум. в 1821 году).

М и с т и ц и з м — вера в сверхъестественное, потустороннее; стал модой в последние годы царствования Александра I.

А п о к а л и п с и ч е с к и е ц и ф р ы — мистическое число 666, которым в Апокалипсисе, одной из книг Нового завета (канонизированных церковью жизнеописаний Иисуса Христа), обозначалось имя Антихриста.

...т о м г е р ц о г и н и Л а в а л ь е р... — «Герцогиня де Лавальер» — sentimentalный роман французской писательницы Жанлис (1746—1830). Будучи переведен на русский язык в 1804—1805 годах, пользовался тогда широкой известностью.

С т о л б о в ы е д в о р я н е — потомственные дворяне знатных родов, занесенные в родословные книги («столбцы» — то есть свитки). Л и ч н ы е д в о р я н е — выслужившие дворянство, а не принадлежавшие к нему по рождению.

С о л о н (VII—VI века до н. э.) — греческий государственный деятель-реформатор; античные предания причисляли его к «семи мудрецам».

В а к х — в древнегреческой мифологии бог винограда и вина.

П о в ы т ч и к — чиновник, ведавший каким-либо отделением (столом) в суде (от устаревшего существительного «выть» — доля, часть).

Р е к о м е н д а т е л ь н ы е п и с ь м а з а п о д п и с ь ю к н я з я Х о в а н с к о г о... — то есть взятка (от имени кн. А. Н. Хованского, управлявшего государственным ассигнационным банком; факсимиле его подписи значилось на денежных знаках).

Ч е т в е р т а к — 25 копеек.

Ш к о л ы д л я к а н т о н и с т о в — низшие военные школы, где воспитывались кантонисты — сыновья солдат, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.

Б р а б а н т с к и е к р у ж е в а — тончайшие, высокохудожественной выделки кружева, производившиеся в Брабанте (Бельгия).

П о в е р е н н ы й — ходатай по делам.

Опекунский совет — учреждение для управления воспитательными домами; при опекунских советах была учреждена ссудная касса, выдававшая ссуды под залог имущества и другого имущества, с целью поддержки разоряющихся дворян.

Припертенъ — обидчик.

ШИНЕЛЬ

(стр. 316)

Титулярный советник — по табели о рангах чин IX класса.

Сенат — в России начала XIX века высший судебный орган, осуществлявший надзор за деятельностью государственных учреждений.

Квартальный офицер — начальник полиции городского квартала.

Пряжка в петлицу — знак, выдававшийся чиновникам за многолетнюю безупречную службу.

Штурмовой вист — карточная игра.

Фальконетов монумент — памятник Петру I в Петербурге на Сенатской площади («Медный всадник»), созданный скульптором Э. М. Фальконе (1716—1791).

Тайные, действительные, надворные советники — по табели о рангах чины III, IV, VII классов.

Серпянка — бумажная материя редкого плетения.

Коленкор — хлопчатобумажная ткань.

Ванька — легковой извозчик на крестьянской лошаденке и с плохой упряжкой.

Чухонка — так называли финнов в Петербурге XIX века.

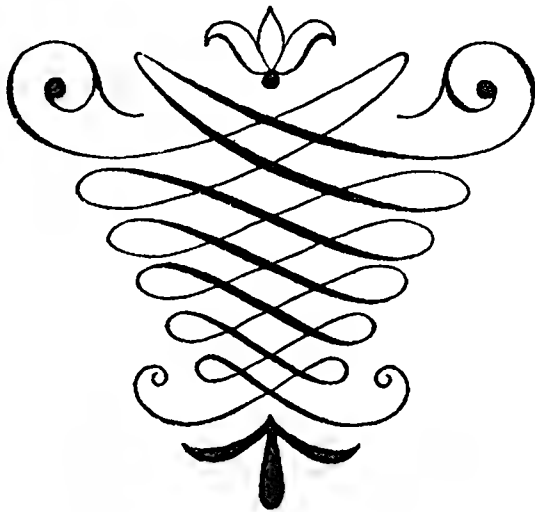
Губернский секретарь — по табели о рангах чин XII класса.

Получивши генеральский чин... — то есть чин действительного статского советника, соответствовавший чину генерал-майора военной службы.

...распечен генералом, да еще и чужим — то есть не того ведомства, в котором служил Акакий Акакиевич.

Жаба — устаревшее наименование ангины.

Десть — единица счета писчей бумаги, 24 листа (русская десть); в метрической системе — 50 листов.



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

(стр. 343)

Б у р м и с т р — управляющий помещичьим имением, староста; обычно им был зажиточный крестьянин, поставленный помещиком за свою преданность. **В о т ч и н а** — родовое имение, полученное по наследству.

...для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян...— Паспорта получали крестьяне, отпущенные помещиком на так называемые «отхожие промысла», занимавшиеся в городах извозничеством, содержанием трактиров, разного рода ремеслами.

А у к ц и о н — публичные торги.

...в рекрутское присутствие и лоб забрить — то есть сдать в солдаты. Рекрутами назывались лица податных сословий (крестьяне, мещане), выставляемые общиной для службы в армии.

...был другом Баркова...— И. С. Барков (ок. 1732—1768) — поэт и переводчик, автор непристойных стихотворений, расхваливавшихся в списках.

Е р о ф е и ч — водка, настоянная на травах.

...раз узнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету.— Имения, заложенные в опекунском совете, в случае неуплаты в срок взятой суммы, продавались с торгов, чем и пользовалась Арина Петровна.

П а р и я — в старой Индии слой населения, «стоящий вне каст», лишенный всяких прав, социальных и религиозных; в переносном смысле — бесправное, униженное, отверженное существо.

Степень кандидата в дореволюционной России получали по окончании университета лучшие студенты; при поступлении на службу она давала право на присвоение чина коллежского секретаря (по табели о рангах чин X класса).

П р о т е к ц и я — покровительство.

Надворный суд — учреждение для разбора гражданских и уголовных дел, касающихся собственности.

...был рад-радехонек поступить, в качестве заместителя, в ополчение...— В 1855 году, во время Крымской войны, было создано так называемое «государственное ополчение», то есть временное войско для отражения вражеского нашествия. Участие дворян в «государственном ополчении» было обязательным, но позволялось, в случае нежелания, нанимать за плату «заместителей» из бедных дворян.

И у д у ш к а — Иуда Искарот — один из апостолов (учеников Иисуса Христа), предавший своего учителя за тридцать сребреников. Иуда в переносном смысле — предатель, лицемер.

Суздаль-монастырь — Спасо-Ефимьевский мужской монастырь в г. Суздале Владимирской губернии; в него ссылались за преступления против веры и церкви.

В ы ж и г а — здесь: чистое серебро, оставшееся по сожжении пряденого или тканого серебра.

З а ч е т н а я рекрутская квитанция выдавалась помещику за

каждого рекрута, поставленного общиной крепостных крестьян. Помещик мог также купить такую квитанцию вместо того, чтобы поставить рекрута.

«А завтра — где ты, человек?» — строка из оды Г. Р. Державина (1743—1816) «На смерть князя Мещерского» (1779).

Страшный суд — в христианской религии — последнее судилище, которое должно определить судьбы «праведников» и «грешников».

...евангельская притча о блудном сыне... — притча о сыне, покинувшем отчий дом, впавшем в нужду и по возвращении прощенном.

Погост — отдельно стоящая на церковной земле церковь, с домами попа и причта, с кладбищем.

Медузина голова — Медуза, в греческой мифологии, одна из горгон, ужасных чудовищ с телом, покрытым чешуей, и головами, на которых вместо волос двигались, шипя, ядовитые змеи; взгляд горгон обращал в камень.

Земский — старший писарь при помещичьей «вотчинной» конторе или при бурмистре.

Полоток — половина распластанной птицы (соленой, вяленой, копченой).

Ломбард — кредитное учреждение, выдающее ссуды под залог недвижимого имущества и принимающее вклады.

Мытаря судить приехали?.. вон, фарисеи... — По евангельской легенде, фарисеи (ученые-богословы) доносят Христу на мытарей (так назывались сборщики податей) и в то же время совещаются, как погубить Христа. В переносном смысле фарисей — лицемер.

Куранты — здесь: плутни, проделки.

Ризы (церк.-слав.) — одежды.

Застольная — помещение, где ели дворовые люди.

...вряд ли ближе масленицы... — Масленица, масленая неделя — весенний праздник у православных предшествует великому посту.

Красный двор — передний, чистый двор.

Овин — строение с печами для сушки хлеба в снопах. Рига — сарай для сушки хлеба с местом для обмолота.

Цеп — орудие для молотбы хлеба, состоящее из длинной деревянной ручки и прикрепленного к ней ремнем деревянного била.

Ухичивать — утеплять, готовить к зиме.

Покров — здесь: полотнище, которым покрывался гроб во время похорон.

Соборне — церковная служба с участием нескольких священников.

Сорокоусты — молитвы об умерших, читаемые в церкви в течение сорока дней после смерти.

В горних — то есть в небесах, в раю.

Пикейный — из хлопчатобумажной ткани с выпуклым узором.

«Кувыркoм, кувыркoм...» — строка, в русском переводе, арии Елены из оперетты Ж. Оффенбаха (1819—1880) «Прекрасная Елена» (1864).

Заволока — старинный способ лечения нарывов: при помощи особой иглы под кожу вводится тесьма, вбирающая гной.

Вексель — письменное обязательство об уплате в срок определенной суммы.

...дворянские собрания с их адресами... губернские комитеты... редакционные комиссии...— После того как правительство Александра II, побуждаемое плачевным состоянием экономики России после Крымской войны, а также массовым недовольством крепостных крестьян, объявило о своем намерении уничтожить крепостное право, собрания дворян в ряде губерний (Тверской и др.) поддержали это намерение в своих адресах. В 1857 году царским рескриптом было объявлено об учреждении губернских комитетов по крестьянскому вопросу с целью выработки проектов освобождения крестьян. В 1859 году были созданы редакционные комиссии, которые на основании этих проектов готовили новое законодательство по крестьянскому вопросу. Крепостное право было отменено в феврале 1861 года.

С е р г и й - т р о и ц а — Троице-Сергиева лавра, монастырь в семидесяти километрах от Москвы (ныне г. Загорск).

Х о т ь к о в — Хотьков-Покровский женский монастырь.

П о д п и ш е т о н в а м « о б м о к н и » — потом и с судом, пожалуй, не разделаетесь...— Ситуация из комедии Гоголя «Тяжба», когда в завещании вместо подписи «Евдокия» стояло «обмокни», что и должно было послужить поводом к тяжбе.

П р и с н ы е — близкие люди.

К у т ь я — кушанье, приготовленное из крупы с медом или риса с изюмом, которое едят на поминках.

М е с я ч и н а — продукты питания, выдававшиеся ежемесячно наиболее заслуженным дворовым людям.

...к р е с т ь я н н а в ы к у п о т д а л...— В соответствии с законом о крестьянской реформе, бывшие крепостные вынуждены были выкупать у помещиков землю, причем выкупать по искусственно завышенной цене.

...н а... э к з а м е н а х и з « Н а ч а т к о в » с р е з а л с я...— «Начатки» — первоначальный учебник по закону божью.

П р о с к о м и д и я — первая часть христианской обедни.

П р о с в и р а (просфора) — белый круглый хлебец, употребляемый в православном богослужении.

В а в и л о н с к а я б а ш н я — по библейскому мифу, башня, которую после всемирного потопа попытались построить люди, чтобы достигнуть небес.

А ф о н — прославленный греческий мужской монастырь на Халкедонском полуострове у Эгейского моря.

П о к о й н а я Л я д о в а — известная в 60-е годы в Петербурге опереточная актриса, внезапно скончавшаяся в 1870 году.

...и з к о р п у с а в ы ш е л...— Корпус — кадетский корпус, среднее военное учебное заведение для детей дворян.

...н а м а с л и ц е д л я « н е у г а с и м о й » — лампада перед иконой, в которой постоянно поддерживается огонь на средства верующих.

С т а н о в о й п р и с т а в — полицейский офицер, ведавший станом (частью уезда).

Б л а г о ч и н н ы й — священник, старший над несколькими церковными приходами. Дьякон — низший духовный сан, помощник священника при служении. Дьячки — прислужники в церкви.

Х а н а а н с к а я з е м л я — так в Библии называется Финикия (древняя страна на восточном побережье Средиземного моря), славившаяся необыкновенным плодородием.

...среднее какое-то место — то есть Чистилище.

Вот в Париже, говорят, крысы во время осады ели.— Речь идет о голоде во время осады Парижа немцами в 1870 году во время франко-прусской войны.

Тартюф — главный герой одноименной комедии великого французского драматурга XVII века Мольера. Его имя стало нарицательным обозначением сознательного лгуна и лицемера.

Посредник, или мировой посредник — общественная должность, учрежденная для разбора тяжб и недоразумений, возникавших между крестьянами и помещиками в ходе крестьянской реформы.

...Наполеон III уже не царствует...— Император Франции Наполеон III был низложен в 1870 году, умер в 1873.

Красно (или кросно) — крестьянский холст.

Десятский — помощник старосты, служитель при земской полиции.

«Филозоф без огурцов» — заключительные слова басни И. А. Крылова «Огородник и философ».

...в ту коронацию — то есть в коронацию (вступление на престол) Николая I в августе 1826 года.

«Периколла» — оперетта Ж. Оффенбаха. «Анютини глазки» — «Барская спесь и Анютини глазки» — французский водевиль, переделанный для русской сцены в 60-е годы.

Ф. Н. Плевако и А. И. Языков — знаменитые петербургские адвокаты 60—70-х годов.

...помяни, господи, царя Давида и всю кротость его — молитва, читаемая в случае, если надо предотвратить гнев и немилость сильных мира сего.

Иов — по библейской легенде, праведник, безропотно перенесший посланные ему богом испытания, среди которых и смерть детей, и не потерявший веру.

Иегова — древнееврейское название бога.

Печная — заботливая.

Каскадный репертуар — в оперетте каскадом называется быстрый танец с пением.

...без воли божией...— Имеется в виду известное библейское изречение о том, что без воли бога ни один волос не упадет с головы человека.

Лития — краткая служба об упокоении душ усопших.

«...где стол был яств — там гроб стоит... и бледна смерть на всех глядит...» — строки из оды Г. Р. Державина (1743—1816) «На смерть князя Мещерского» (1779).

Половые — слуги в трактирах.

Желтенькие бумажки — рублевые ассигнации.

...проповедь Петра Пикардского.— Петр Пикардский (Петр Амьенский, Петр Пустынник) — французский католический монах, проповедник, вдохновитель первого крестового похода (XI век), то есть похода на Восток будто бы для освобождения «святой земли» (Палестины) от «неверных» (мусульман).

«Фелица» (1782) — ода Г. Р. Державина, прославляющая императрицу Екатерину II под именем царевны Фелицы.

...великолепный князь Тавриды — Г. А. Потемкин (1739—1791), фаворит и ближайший помощник Екатерины II, даровавшей ему титул светлейшего князя Таврического после присоединения в 1783 году Крыма к России (Таврида — Крым). Широкое распространение получили анекдоты о скандальных любовных похождениях Потемкина, которые и имеет в виду Салтыков-Щедрин, говоря о «некоторых биографических подробностях» из жизни князя.

«Герцогиня Герольштейнская» — оперетта Ж. Оффенбаха (1876), в которой изображались «галантные» подвиги Екатерины II.

Ажитация — возбуждение, волнение, беспокойство (франц. agitation).

Зажоры — вода в яме на дороге под слоем снега или льда.

Дагерротипные портреты — предшествующий фотографии способ изображения на медных пластинках, покрытых слоем йодистого серебра (изобретен в 1829 году французским художником Дагерром).

Наперекладной — на переменных лошадях.

...с места погребения Овидия... — Древнеримский поэт Овидий был сослан императором Августом в г. Томы на берегу Черного моря (ныне порт Констанца в Румынии). Место его погребения неизвестно.

«Вот мчится тройка удалая» — народная песня (вариант части стихотворения Ф. Н. Глинки «Сон русского на чужбине»).

Воспитательный дом — казенное учреждение, куда принимались незаконнорожденные дети и сироты.

Муж у нее в поход под турка уехал... — то есть на войну с Турцией в 1820—1829 годах.

Посконный — из домотканого холста.

«Утоли моя печали» — икона, изображающая богородицу.

Выморочный — вымерший, оставшийся без наследников. В более широком социально-нравственном и психологическом смысле, обобщающем судьбу Иудушки, — умирающий и сеющий вокруг себя сплошные «умертвия».

Панёвница — простая крестьянка (панёвой называлась пестрая юбка, которую носили замужние крестьянки).

Охаверник — бесстыдник, озорник, нахал.

Затрапез — домашнее платье из пестряди.

«Нешей ты мне, матушка...» — ставшая народной песня А. Е. Варламова (1801—1848) на слова артиста Малого театра, собирателя и автора популярных песен Н. Г. Цыганова (1797—1831).

Родительская суббота — посвященная поминовению умерших.

...нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. — Спиритизм — мистическое учение о загробном существовании душ умерших и возможности общения с ними, которое будто бы и происходит во время спиритических сеансов.

...по владимирке погулять... — Владимирка — дорога из Москвы во Владимир, по которой осужденных на каторгу гнали в Сибирь.

Заказничек — заповедная роща или лес, запрещенный, «заказанный» для порубки.

Семиричок — бревна толщиной в семь четвертей (более одного метра).

Товарничок — лес для продажи.

П о л е с о в щ и к — лесник, лесной сторож.

С у в о й — небольшой сугроб, наметенный вихревым движением ветра.

«П о л к о в н и к с т а р ы х в р е м е н» — популярная комедия-водевиль, переведенная с французского.

«Д о ч ь Р ы н к а» — «Дочь мадам Анго», комическая опера французского композитора Шарля Лекока (1832—1918).

С в я т а я — пасха, весенний церковный праздник. Ф о м и н а — неделя, следующая за пасхальной неделей.

З е м с к и й д е я т е л ь — деятель органов местного самоуправления, учрежденных в России в 60-е годы. З е м с к и й я щ и к — общественные денежные средства земских учреждений. Г о р о д с к а я у п р а в а — учреждение, ведавшее делами города (хозяйством и т. п.). Г о р о д с к о й я щ и к — касса, денежные средства городской управы.

А н т р е п р е н е р — предприниматель, содержащий театральную труппу.
...з а в а м и д ю б е т - с — то есть долг.

А р ш и н н и к — презрительное наименование купца.

О б е р - о ф и ц е р ы — низшие офицерские чины царской армии (по табели о рангах — с XIV по IX класс).

М е н т и к — короткая гусарская куртка с шнурками и меховой опушкой.

К о р н е т — низший офицерский чин в кавалерии XIV класса.

Д о м а ш н и е п е н а т ы... — У древних римлян так назывались души предков, покровительствующие домашнему очагу; в переносном смысле — сам домашний очаг.

С и н о д и к — книга со списком умерших для поминовения в церкви.

Б е с т и а л ь н о — по-скотски, как животное.

С т р а с т н а я н е д е л я — предшествующая пасхальной, святой, в эту неделю в церкви читаются главы Евангелия, повествующие о распятии Христа («Страсти господни»). В с е н о щ н а я — церковная служба с вечера до окончания ночи.

СКАЗКИ

(стр. 584)

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Ж и л и д а б ы л и д в а г е н е р а л а... — Речь идет о штатских генералах.

Ф о н т а н к а — речка в Петербурге.

«М о с к о в с к и е в е д о м о с т и» — с начала 60-х годов, под редакцией М. Н. Каткова, стала реакционным изданием, постоянно высмеивавшимся Салтыковым-Щедриным.

Р а н д е в у — свидание (франц. rendez-vous).

«Шекснинска стерлядь золотая» — из «Приглашения к обеду» Г. Р. Державина.

Мякинный хлеб — хлеб с примесью мякины, то есть колоса, от которого отвеяно зерно.

Вавилонское столпотворение — по библейскому мифу строительство в Вавилоне башни до небес. Разгневанный дерзостью людей, бог «смешал их язык» и рассеял по лицу земли.

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

(стр. 591)

«В е с т ь» — реакционная газета, защитница узкоэгоистических помещичьих интересов.

А к т е р С а д о в с к и й — П. М. Садовский (1818—1872) — знаменитый актер московского Малого театра.

...х о д и т п о б е р е г а м Е в ф р а т а и Т и г р а... — две реки, орошавшие, по библейским сказаниям, земной рай — эдем.

В р е м е н н о о б я з а н н ы е. — Так называли после реформы 1861 года бывших крепостных крестьян, несших повинности в пользу помещика за пользование землей.

...б е з в и н н о й и с о л я н о й р е г а л и й — то есть без сумм, поступающих государству от продажи вина и соли (такая продажа была государственной монополией).

...н е п а х н е т л и в о д в о р е н и е м к а к и м? — То есть высылкой на поселение.

Д р е в н и й И с а в — старший из сыновей-близнецов библейских Исаака и Ревекки, родившийся косматым.

ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

(стр. 599)

А р и д о в ы в е к и — чрезвычайное долголетие, от имени библейского патриарха Иареда, прожившего 962 года.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

(стр. 603)

А м а н а т — заложник.

БЕДНЫЙ ВОЛК

(стр. 607)

В о л н а — шерсть.

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

(стр. 612)

С к р и ж а л и — по библейской мифологии, каменные доски с десятью божьими заповедями. В переносном смысле — хранилище идей, памятных событий и т. п.

...С к о л ь к о п р о г о н о в и п о р ц и о н о в и з в е л — казенных денег на проезд и пропитание.

И д и к и й т у н г у з и д р у г с т е п е й к а л м ы к... — из стихотворения Пушкина «Памятник»:

...и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

О т ч и с л и т ь п о и н ф а н т е р и и — уволить в отставку.

«К у р а н т ы» — так называлась первая русская рукописная газета, выходившая в XVII веке.

М а г н и ц к и й М. Л. (1778—1855) — попечитель Казанского учебного округа, мракобес и реакционер. В 1819 году потребовал не только закрытия Казанского университета, но и разрушения его здания.

С т е р в о — труп животного, падаль.

«...ни чего, ни чего, мол ч а н и с...» — из «Записок сумасшедшего» Гоголя.

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

(стр. 621)

В э м п и р е я х — здесь: в мечтаниях.

..п и с к а р и о б к о н с т и т у ц и я х б о л т а ю т... — запретная при самодержавном режиме тема, иногда робко поднимавшаяся либеральной печатью.

П а р т и к у л я р н ы й ч е л о в е к — частный, неслужащий.

«В п е р е д б е з с т р а х а и с о м н е н ь я!» — начальная строка стихотворения А. Н. Плещеева (1825—1893), цитируемая здесь иронически.

...з л е ц ы я д о м п е р е д о в ы х с т а т е й ж и з н ь о т р а в л я ю т... — намек на передовые статьи газеты «Московские ведомости», писавшиеся М. Н. Катковым.

П е с т р ы й ч е л о в е к — в щедринском словоупотреблении человек, лишенный убеждений, постоянно меняющий свои мнения, способный на предательство.

В ы, И в а н И в а н о в и ч... Г д е м н е, И в а н Н и к и ф о р ы ч. — Салтыков-Щедрин использует образы из гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

(стр. 630)

Ш и р я т ь — широко взмахивать крыльями.

Г о р о д о в о й — полицейский, обычно в звании унтер-офицера.

П а н е г и р и к — восхваление.

В е г е т а р и а н ц ы — употребляющие лишь растительную пищу.

О к л а д н ы е л и с т ы — документы, по которым взимаются подати или налоги.

...б е з п р е д в а р и т е л ь н о й ц е н з у р ы... — Цензура могла быть предварительной, то есть такой, которая рассматривала то или иное сочинение до его публикации, и карательной, налагавшей взыскание на печатное издание в случае нарушения им существующих законов о печати.

Г о с т и н о д в о р ц ы — купцы.

...Б о н а п а р т - т о у м е р ? — Речь идет о Наполеоне III.

«Н а у к и ю н о ш е й п и т а ю т» — строка из «Оды на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, 1847 года» М. В. Ломоносова.

А к а д е м и я д е с и я н с — Академия наук (от франц. Académie des Sciences).

В а с и л и й К и р и л ы ч Т р е д и а к о в с к и й (1703—1768) — русский стихотворец и теоретик поэтического творчества.

...б ы л а б ы у н е г о р о з н и ч н а я п р о д а ж а х о р о ш а я... — Доход издателя газеты зависел не столько от распространения ее по подписке, сколько от розничной продажи на улицах, вокзалах и т. п.

Г е н е а л о г и я — родословная.

Э к з е к у ц и я — здесь: телесное наказание.

Ч а с о с л о в — православная богослужебная книга, содержащая молитвы и песнопения.

КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

(стр. 637)

Н и к с ы — водяные духи (нем. Nix).

«Х о д» р ы б ы — ее массовое передвижение весной, во время метания икры.
М а м о н — здесь: живот, брюхо.

СОСЕДИ

(стр. 647)

...о т а к ц и з а — от налога.

О с ь м и н н и к — старинная земельная мера, неодинаковая в разных местах России.

«П о с у л и т П р о с т о ф и л я к р а с н о г о п е т у х а...» — то есть предскажет пожар.

ЗДРАВОМЫСЛЕННЫЙ ЗАЯЦ

(стр. 654)

«Н е п р а в о о в е щ а х т е д у м а ю т, Ш у в а л о в...» — строки из «Письма о пользе стекла» М. В. Ломоносова.

...п о к а к о м у в и д у? — Вид — здесь: паспорт.

А р т и к у л — ружейные приемы («к ноге», «на плечо» и т. д.)

М у ж и к-р а с к о л ь н и к — раскольник, старообрядец, не признающий нововведений патриарха Никона (XVII век). Старообрядчество в XVII—XIX веках часто было у русских крестьян формой социального протеста, поисков «правды», идеала («вышнего града»).

А г о н и я — предсмертные мучения.

ЛИБЕРАЛ

(стр. 660)

К о л о д н и к и — арестанты, заключенные в колодки, ножные кандалы.

К у т у з к а — тюрьма.

БАРАН-НЕПОМНЯЩИЙ

(стр. 665)

Б р е м А л ь ф р е д Э д м у н д (1829—1884) — немецкий зоолог и путешественник, автор сочинения «Иллюстрированная жизнь животных».

М е л а н х о л и к — одержимый тоской, унынием.

О с ё т и т ь — пленить, подчинить себе.

КОНЯГА

(стр. 669)

С ы т á — вода, подслащенная медом.

...ж и з н ь д у х а и д у х ж и з н и... — несколько измененная цитата из стихотворения «Киев», принадлежащего поэту, философу, публицисту славянофильского направления А. С. Хомякову (1804—1860).

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЖАР

(стр. 674)

Ж и т н и ц ы — строения для хранения зерна.

И с п о л у — на условиях оплаты половиной урожая.

З л ы е л ю д и р а з л у ч и л и н а с... — так помещица-крепостница воспринимает крестьянскую реформу, освободившую крестьян от крепостной зависимости.

К р а х Б а й м а к о в а. — Банкирская контора «Баймаков и К°» объявила себя несостоятельной в декабре 1876 года. Сатира Салтыкова-Щедрина убийственно-беспощадна: кощунственно звучат слова помещицы, ставящей на одну доску утрату своих банковских капиталов и гибель крестьянского ребенка.

К о л л е к т а — складчина.

...пример из истории первых мучеников времен жестокого царя Нерона.— Нерон, римский император I века н. э., жестоко преследовал первых христиан.

ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

(стр. 680)

Весенний мясоед — время от Рождества (25 декабря по старому стилю) до крестьянских свадеб.

Волостной старшина — глава волостного правления, ведавшего делами волости — административной единицы, состоящей из нескольких сел и деревень.

Холодная — помещение для арестантов.

...рвется за мир постоять... — Мир — крестьянская община.

Одворица — наделная земля, находящаяся около деревни. Выкупил — то есть уже внес все выкупные платежи.

Начетчик — человек, начитанный в церковных книгах.

БОГАТЫРЬ

(стр. 683)

...и вдруг целая тысяча.— В 1862 году праздновалось тысячелетие России, а точнее сказать — российского самодержавия, символом которого и был для Салтыкова-Щедрина Богатырь его сказки.

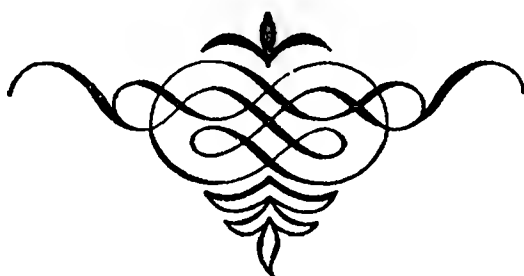
Ежево — еда.

ВОРОН-ЧЕЛОБИТЧИК

(стр. 685)

Орнитологический — относящийся к орнитологии, науке о птицах.

...Губошлепов дорогу заполучил... — то есть получил концессию (разрешение от правительства) на строительство железной дороги. Губошлеповым Салтыков-Щедрин именовал известного дельца-концессионера, строителя железных дорог в России П. И. Губонина (1825—1894). Прибыли железнодорожных компаний гарантировались правительством, то есть, в случае убыточности строительства и эксплуатации железных дорог, выплачивались из государственной казны и, следовательно, увеличивая налоги, ложились тяжким бременем на плечи крестьянства.



СОДЕРЖАНИЕ

К. И. Т ю н ь к и н. Вершины русской сатиры 3

Н. В. ГОГОЛЬ

«РЕВИЗОР»

Комедия в пяти действиях

Р и с у н к и Л. С е л и з а р о в а

Действие первое 48
Действие второе 60
Действие третье 72
Действие четвертое 86
Действие пятое 107

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

Поэма

ТОМ ПЕРВЫЙ

Р и с у н к и А. Л а п т е в а

Глава первая 121
Глава вторая 130
Глава третья 147
Глава четвертая 164
Глава пятая 187
Глава шестая 204
Глава седьмая 222
Глава восьмая 239
Глава девятая 258
Глава десятая 274
Повесть о капитане Копейкине 276
Глава одиннадцатая 289

«ШИНЕЛЬ»

Повесть 316

Р и с у н к и К у к р ы н и к с о в

«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»

Р и с у н к и К у к р ы н и к с о в

Семейный суд	343
По-родственному	388
Семейные итоги	424
Племяннушка	463
Недозволенные семейные радости	502
Выморочный	525
Расчет	551

«СКАЗКИ»

Р и с у н к и Н. К у з ь м и н а

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил	584
Дикий помещик	591
Премудрый пискарь	599
Самоотверженный заяц	603
Бедный волк	607
Медведь на воєводстве	612
Вяленая вобла	621
Орел-мещенат	630
Карась-идеалист	637
Соседи	647
Здравомысленный заяц	654
Либерал	660
Баран-непомнящий	665
Коняга	669
Деревенский пожар	674
Путем-дорогою	680
Богатырь	683
Ворон-челобитчик	685
К о м м е н т а р и и	693

Р и с у н о к н а ф р о н т и с п и с е
Л. Ф а л и н а

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(т о м 9)

Николай Васильевич Гоголь

РЕВИЗОР
МЕРТВЫЕ ДУШИ
ШИНЕЛЬ

*

*Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин*

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ
СКАЗКИ

*

ИБ № 4635

Ответственный редактор
К. А. Черненко

Художественный редактор
Н. Э. Левинская

Технический редактор
И. П. Савенкова

Корректоры
Л. И. Дмитриук
и А. П. Саркисян

*

Сдано в набор 03.07.81. Подписано к печати 29.12.81. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 46,13. Усл. кр.-отт. 48,01. Уч.-изд. л. 49,28. + 9 вкл.=49,85. Тираж 407 000 (200 001—407 000) экз. Заказ № 3927. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Гоголь Н. В.

- Г58** Ревизор: Комедия; Мертвые души: Поэма; Шинель: Повесть. Салтыков-Щедрин М. Е. Господа Головлевы: Роман; Сказки/Вступит. ст. и примеч. К. И. Тюнькина; Рис. Кукрыниксов, Н. В. Кузьмина, А. М. Лаптева, Л. Ф. Селизарова, Л. И. Фалина.— М.: Дет. лит., 1982.— 718 с., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 9).

В пер.: 2 р. 20 к.

В том входят: «Ревизор», «Мертвые души», «Шинель» Н. В. Гоголя и «Господа Головлевы», «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вступительная статья и комментарии К. И. Тюнькина.

Г 4803010101—088 Подп. изд.
М101(03)82

Р1



2р. 20к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»